John Irving
Джон Ирвинг
Мир глазами Гарпа



Знаменитый американский бестселлер –
Национальная книжная премия и премия "Оскар"
за одноименный фильм

THE BEST OF **ИНОСТРАНКА**

Мир глазами Гарпа
Джон Уинслоу Ирвинг

Аннотация
Джон Ирвинг. Мир глазами Гарпа
1. «Бостон-Мерси»
2. Кровь и синяк
3. Кем он хотел бы стать, когда вырастет
4. Окончание школы
5. В городе, где умер Марк Аврелий
6. «Пансион „Грильпарцер“»
7. Всплеск «плотского вожделения»
8. Вторые дети, вторые романы, вторая любовь
9. Вечный муж
10. Собака в переулке, ребенок в небесах
11. Миссис Ральф
12. Теперь это случилось с Хелен
13. Уолт простудился
14. Мир глазами Марка Аврелия
15. «Мир глазами Бензенхавера»
16. Первый убийца
17. Похороны Главной Феминистки и другие похороны
18. Привычки Подводной Жабы
19. Жизнь после Гарпа

Аннотация

«Мир глазами Гарпа» — лучший роман Джона Ирвинга, удостоенный национальной премии. Главный его герой — талантливый писатель, произведения которого, реалистичные и абсурдные, вплетены в ткань романа, что делает повествование ярким и увлекательным. Сам автор точнее всего определил отношение будущих читателей к книге: «Она, возможно, вызовет порой улыбку даже у самого мрачного типа, однако разобьет немало чересчур нежных сердец».

Мир глазами Гарпа был экранизирован в 1982 году.

Джон Ирвинг
Мир глазами Гарпа

Посвящается Калину и Брендану

1. «Бостон-Мерси»

В 1942 году в Бостоне мать Гарпа, Дженни Филдз, была арестована за нанесение в кинотеатре тяжких телесных повреждений незнакомому мужчине. Это случилось вскоре после того, как японцы напали на Пёрл-Харбор, и публика относилась к солдатам достаточно терпимо, поскольку внезапно солдатами стали практически все, однако Дженни Филдз твердо стояла на позиции абсолютно нетерпимого отношения к распущенности мужчин в целом и солдат в частности. Тогда, в кинотеатре, ей пришлось три раза пересаживаться, но этот солдат всякий раз вновь подсаживался к ней поближе, пока она не оказалась практически прижатой к заплеснелой стене, а экран, где шла сводка новостей, загораживала какая-то идиотская колоннада. Тем не менее, Дженни решила больше с места не вставать. Солдат же пересел еще раз и теперь устроился с нею рядом.

Дженни было 22 года. Она бросила колледж, едва успев туда поступить, зато окончила курсы медсестер и была там лучшей ученицей; ей

нравилась эта работа. Выглядела Дженни очень спортивно, на щеках у нее всегда играл румянец, что прекрасно сочеталось с ее темными блестящими волосами, однако ее походку мать презрительно называла «мужской» (Дженни шагала широко и при ходьбе размахивала руками); у нее была крепкая небольшая попка и стройные сильные ноги, так что сзади ее запросто можно было принять за мальчишку. Только вот, по мнению самой Дженни, грудь у нее была великовата; ей даже казалось, что при таком «представительном» бюсте она смахивает на «легко доступную дешевку».

А она ею отнюдь не была. По правде сказать, она и колледж-то бросила, заподозрив, что родители послали ее учиться в Уэлсли в основном потому, что им хотелось заставить ее встречаться с парнями и в конечном счете выдать замуж за «молодого человека из хорошей семьи». Рекомендация насчет Уэлсли поступила от старших братьев Дженни, которые убедили родителей, что тамошние студентки особенно высоко котируются на брачном рынке, ибо считаются девушками серьезными и весьма строгих взглядов. Дженни сочла это оскорбительным: отдав дочь в колледж, родители словно вежливо попросили ее немного

подождать, пока она, словно телка, не будет готова к введению устройства для осеменения.

В колледже она выбрала основной дисциплиной английскую литературу, но, увидев, что однокурсницы озабочены главным образом накоплением сексуального опыта и умением привлекать к себе мужчин, Дженни без малейших затруднений или угрызений совести приняла решение поменять филологию на медицину и получила профессию медсестры. Эту профессию она, во-первых, могла немедленно применить на практике, а, во-вторых, изучение медицины явно не таило в себе никаких скрытых мотивов (позднее, правда, она писала в своей знаменитой автобиографии, что слишком многие медсестры «вертят хвостом» перед врачами, но к тому времени и учеба, и работа медсестрой были уже позади).

Ей нравилась простая, без всяких изысков форма медсестры. Белый халат был достаточно просторным и скрадывал пышный бюст; туфли были удобные и как нельзя лучше подходили для ее быстрой, размашистой походки. А во время ночных дежурств она по-прежнему могла довольно много читать. Она прекрасно обходилась без общества студентов мужского пола,

которые, впрочем, сразу терялись и мрачнели, если девушка явно не желала себя компрометировать, но дай им только повод и взгляни поласковей, как они тут же задирали нос. Пациентами этой больницы были большей частью солдаты и рабочие, люди простые, откровенные и с куда меньшими претензиями; если девушка все же оказывала им внимание, рискуя быть скомпрометированной, то они, по крайней мере, испытывали благодарность и старались поддерживать с ней добрые отношения. А потом вдруг буквально все вокруг стали солдатами — и сразу задрали нос от сознания собственной важности, прямо как студенты-молокососы; и тогда Дженни Филдз вообще прекратила какие бы то ни было попытки вступить с мужчинами в более близкие отношения.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — была волком-одиночкой (точнее, одинокой волчицей, конечно!)».

Благосостояние семейства Филдз было связано с производством обуви, хотя и мать Дженни (из богатых бостонских Уиксов) получила в качестве приданого также весьма значительную сумму. Отлично нажившись на обуви, родители Дженни Филдз вскоре переехали в собственный дом,

расположенный вдали от обувной фабрики. Этот огромный дом с гонтовой крышей возвышался на побережье Нью-Гемпшира, в бухте Догз-Хэд-Харбор. На выходные Дженни всегда приезжала домой — главным образом, чтобы угодить матери и убедить эту пожилую даму, что она, Дженни, хотя и «пустила свою жизнь козе под хвост, став медсестрой» (как выражалась ее мать), все же не приобрела еще ни плебейских замашек, ни дурного тона в речи или одежде.

Дженни часто встречалась с братьями на Северном железнодорожном вокзале, и они вместе ехали домой.

По традиции, свято соблюдавшейся всеми членами семейства Филдз, они всегда садились в вагоне справа по ходу поезда, принадлежавшего компании «Бостон энд Мэн», когда ехали из Бостона, и слева — когда возвращались обратно. Таково было неуклонное требование старшего мистера Филдза, который был прекрасно осведомлен, что самый гнусный пейзаж расстилается именно по эту сторону дороги, однако полагал, что все его наследники просто обязаны лицезреть сей мрачный источник независимости и благополучия их семейства, ибо по правую сторону от железной дороги на пути из Бостона и по левую

— на обратном тянулись бесконечные унылые здания самой большой обувной фабрики Филдзов, располагавшейся в городке Хаверхилл; там, над железнодорожной веткой, ведущей прямо к фабрике, высился огромный рекламный щит с изображением гигантского рабочего башмака, обладатель которого твердой поступью шагал прямо на вас. Бесчисленные миниатюрные отражения этого башмака поблескивали в окнах фабричных зданий. А под самим башмаком красовалась надпись:

ФИЛДЗ ОБУЕТ ВАС И В ПОЛЕ, И В ЦЕХУ![1]

На фабрике выпускали также туфли для медсестер, и мистер Филдз непременно дарил дочери пару таких туфель всякий раз, когда она приезжала домой; у Дженни уже скопилось их не меньше дюжины. Что же до миссис Филдз, по-прежнему абсолютно уверенной, что ее дочь, покинув Уэлсли, сама обрекла себя на исключительно мрачное будущее, то и она всякий раз, когда Дженни приезжала домой, делала ей подарок. Практически всегда это была грелка — по крайней мере, так утверждала миссис Филдз, ну а Дженни просто приняла это утверждение на веру: она так и не

---

1 Примечание: 1
Field — поле (мн. ч. fields — филдз) (Здесь и далее прим. перев).

распаковала ни одного подарка матери, хотя та регулярно ее спрашивала: «Дорогая, ты еще пользуешься той грелкой, что я тебе подарила?» И Дженни, подумав с минуту (и не будучи уверена, что не оставила подарок в поезде или не выбросила случайно с мусором), отвечала: «По-моему, я куда-то ее задевала, мам; но я совершенно уверена, что еще одна грелка мне не нужна». Однако миссис Филдз все-таки доставала припрятанный заранее подарок, неизменно завернутый в аптечную упаковочную бумагу, и буквально силой заставляла дочь принять его. При этом миссис Филдз всегда повторяла: «Пожалуйста, Дженнифер, никуда ее не засовывай. И пожалуйста, *пользуйся* ею!»

Будучи медсестрой, Дженни прекрасно знала, сколь мало нужны подобные старомодные грелки, и считала сей предмет всего лишь трогательным древним символом чисто психологического комфорта. Но отдельным экземплярам все же удалось-таки добраться до ее маленькой комнатки неподалеку от больницы «Бостон-Мерси». Впрочем, Дженни их так и не распаковала и держала в шкафу, почти до отказа набитом коробками с новехонькими туфлями для медсестер.

Она никогда не ощущала особых родственных

связей с родителями и братьями, и в детстве ей казалось странным, что семья столь щедро уделяет ей свое внимание; а потом в определенный момент этот поток любви вдруг иссяк, превратившись в ожидание. Все словно ждали от нее, что она (причем достаточно быстро) сумеет воспользоваться той впитанной в себя любовью, которую дарила ей семья, а затем (может быть, в течение несколько более продолжительного периода) выполнит определенные обязательства, которые любящая семья на нее возложила. Когда Дженни разорвала эту цепь, поменяв престижный Уэлсли на самое заурядное учебное заведение и работу обычной медсестры, она сразу оказалась как бы вне семейного круга, а семья, словно ей не оставалось ничего другого, отнюдь не спешила — ее в этот круг вернуть. Для семьи Филдз было бы куда лучше, если б Дженни, бросив Уэлсли, стала, например, врачом или еще студенткой вышла замуж за врача. Каждый раз, приезжая домой и встречаясь с родителями и братьями, она чувствовала, что всем им в обществе друг друга становится все более и более неуютно. Они словно проходили весьма странный и мучительно долгий процесс отчуждения.

Это, должно быть, характерно для всех семей

на определенном этапе, думала Дженни. Сама она была уверена, что, если у нее когда-нибудь будут дети, она станет любить их и в двадцать лет ничуть не меньше, чем в два года; в двадцать они, пожалуй, еще больше нуждаются в материнской любви, думала она. Да и вообще, много ли нужно двухгодовалому ребенку? Для нее дети относились к числу самых легких пациентов. Чем старше становятся дети, тем больше им требуется, думала Дженни, и тем меньше их любят родители, и тем меньше они кому-то нужны…

Дженни чувствовала себя так, словно выросла на огромном корабле, ни разу не побывав в машинном отделении и совершенно не зная, что там происходит. Ей нравилось, что в больнице, по сути, все ограничено тем, что человек ест, если ему вообще полезно и необходимо есть, и тем, куда потом деваются результаты того, что он ест. В детстве Дженни никогда не приходилось иметь дела даже с грязными тарелками; по правде сказать, она была уверена, что, когда прислуга убирает со стола, грязные тарелки просто выбрасывают (это было еще до того, как ей разрешили ходить на кухню). И когда по утрам разносчик ставил у их порога бутылки с молоком, Дженни считала (в течение некоторого времени, правда),

что и новые тарелки тоже приносит он: звон стеклянных бутылок был очень похож на звон тарелок за закрытой дверью кухни, где что-то там делали слуги.

Дженни Филдз было пять лет, когда она впервые увидела ванную комнату отца. Она сама нашла ее по запаху отцовского одеколона. Там она обнаружила запотевшую душевую кабинку — новшество для 1925 года, — личный туалет и ряд флаконов, настолько отличавшихся от знакомых флаконов матери, что Дженни даже решила, что обнаружила логово какого-то таинственного незнакомца, годами тайно проживавшего у них в доме. По сути дела, так оно и было.

В больнице она быстро разобралась, куда что девается; кроме того, она все время открывала для себя простые человеческие истины, начисто лишенные какой бы то ни было магии, находя ответы на вопросы, откуда берется та или иная вещь. Дома, в Догз-Хэд-Харбор, даже когда Дженни была совсем еще маленькой, у нее, как и у каждого члена семьи, была своя ванная, своя спальня, свои зеркала на обратной стороне дверей. Там уважали уединение. В больнице же уединение отнюдь не считалось чем-то священным; здесь практически не существовало никаких секретов

ни от кого, а если вам нужно было зеркало, следовало просто попросить его у сестры.

В детстве для Дженни самым таинственным помещением, которое ей разрешили самостоятельно исследовать, был подвал; а также огромный глиняный кувшин, который каждый понедельник наполняли всякими съедобными моллюсками — разиньками, венерками и т. п. Мать Дженни каждый вечер посыпала плененных моллюсков кукурузной мукой и каждое утро промывала их свежей морской водой из длинной трубы, которая тянулась в подвал прямо из самого моря. К концу недели моллюски становились очень толстыми и уже не помещались в своих раковинах, где больше не оставалось песка; обычно они самым непристойным образом болтались на поверхности воды, и по пятницам Дженни помогала поварихе разбирать их; дохлые уже не втягивали шею, когда к ним прикоснешься.

Как-то раз Дженни попросила купить ей книжку про моллюсков. Она прочла о них все чем они питаются, как размножаются, как растут. Это были первые живые существа, которых она полностью понимала: она многое узнала об их жизни, любви и смерти. Окружавшие ее в Догз-Хэд-Харбор люди не были столь доступны. И в

больнице Дженни Филдз все время чувствовала, что наверстывает упущенное; она постоянно делала для себя небольшие открытия: например, выяснила, что люди вряд ли более таинственны или более привлекательны, чем моллюски.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — была не из тех, кто тонко чувствует различия между людьми».

Единственное существенное отличие моллюсков от людей, по мнению Дженни Филдз, заключалось в том, что большинство людей обладает хоть каким-то чувством юмора; впрочем, у самой Дженни склонности к юмору не было. Среди медсестер больницы ходил весьма популярный в ту пору анекдот, однако Дженни Филдз он вовсе не казался забавным. Анекдот был связан с названием одной из бостонских больниц. Та больница, где работала Дженни, называлась Бостонской больницей милосердия, или «Бостон-Мерси»; кроме нее, в городе имелась еще Массачусетская клиническая больница, или «Масс-Клин». А третья больница носила имя Питера Бента Бригэма, или по-простому «Питер Бент»[2].

---

2 Примечание: 2

Питер Бент — разговорное выражение, которое можно перевести как «свернутый набок или сломанный член».

Суть шутки заключалась в том, что однажды бостонского таксиста остановил на улице мужчина, который лишь с огромным трудом, чуть не падая, сумел сойти с тротуара и добраться до машины. От боли лицо его совершенно побагровело, он то ли задыхался, то ли сдерживал дыхание — видимо, ему было очень тяжело говорить. Таксист вылез, открыл дверцу и помог бедолаге забраться в машину; тот улегся прямо на пол параллельно заднему сиденью и поджал колени к груди.

— В больницу! В больницу! — со стонами молил он.

— В какую? «Питер Бент»? — спросил таксист. Это была ближайшая больница.

— Какой там Питер Бент! Гораздо хуже! — простонал несчастный. — Мне кажется, Молли его откусила!

Мы уже говорили, что Дженни Филдз находила мало забавного в анекдотах, а уж в этом и подавно. Анекдоты про мужской член, как его ни назови, она вообще не воспринимала и темы этой старательно избегала. Уж она-то навидалась в больнице самых различных неприятностей, случавшихся с этими штуками! Кстати, совершенно непонятно, думала она, почему их называют «питерами». И рождение детей было еще далеко

не самой худшей из связанных с этими «питерами» бед. Конечно же, ей попадались женщины, которые совсем не желали иметь детей и очень расстраивались, узнав, что беременны. Таким вовсе не следует иметь детей, думала Дженни. Но больше всего ей было жаль тех детей, которые все-таки у этих женщин рождались. Впрочем, встречались ей и другие женщины, которые, напротив, очень хотели иметь детей; из-за них-то и она сама захотела родить себе ребеночка. Когда-нибудь, думала Дженни Филдз, у меня тоже будет ребенок, но только один-единственный. Ибо Дженни по-прежнему старалась иметь как можно меньше общего с мужчинами и этими их «питерами», во всяком случае, насколько это было допустимо в больнице.

Процедуры, которым подвергались пресловутые «питеры», Дженни видела не раз. Чаще всего они выпадали на долю солдат. В армии США только с 1943 года появился благословенный пенициллин; а большая часть солдат пенициллина не видела вплоть до 1945 года. В «Бостон-Мерси» в начале 1942 года «питеры» лечили, как правило, сульфамидами и мышьяком. От триппера давали сульфатиазол, рекомендуя побольше пить, а при сифилисе, пока не появился пенициллин, приме-

няли неоарсфенамин. Дженни Филдз казалось, что это и есть тот самый кошмар, к которому способен привести секс. Подумать только, вводить человеку в организм яд, *мышьяк*, чтобы очистить его от заразы!

Существовал также наружный способ лечения «питеров», который требовал огромного количества воды. Дженни часто помогала врачу при проведении этой дезинфекционной процедуры, поскольку в такие минуты пациенту требовалось повышенное внимание; иногда, сказать по правде, его попросту нужно было крепко держать. Сама-то процедура сложностью не отличалась; нужно было всего лишь прогнать через пенис по мочеиспускательному каналу примерно сотню кубиков жидкости, не давая ей при этом выливаться обратно, но пациент после такого лечения чувствовал себя так, словно у него внутри не осталось живого места. Устройство для такого лечения изобрел врач по имени Валентайн, и называлось оно «ирригатор Валентайна». Впоследствии устройство доктора Валентайна было существенно усовершенствовано, а потом и заменено другим «ирригационным» устройством, но медсестры в «Бостон-Мерси» еще долго называли это лечение «процедурой Валентайна».

Достойная кара для любовников, считала Дженни Филдз.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — была совершенно лишена романтических наклонностей».

Когда тот солдат в кино пересел вслед за нею в первый раз, то есть при первом же его поползновении «познакомиться», Дженни Филдз сердито подумала, что «процедура Валентайна» была бы для этого типа в самый раз. Но «ирригатора» она, разумеется, при себе не имела: аппарат был слишком громоздким, чтоб уместиться в сумочке. Вдобавок, чтобы его применить, потребовалось бы значительное содействие со стороны пациента. Но если и не «ирригатор», то уж скальпель-то Дженни носила с собой всегда. Она отнюдь не украла его в хирургическом отделении, нет, скальпель просто выбросили, поскольку на лезвии была довольно большая зазубрина (видимо, его нечаянно уронили на пол или в раковину) и для хирургических операций он уже не годился. Но Дженни и не стремилась использовать его в профессиональных целях.

Сперва скальпель изрезал все кармашки на шелковой подкладке ее сумочки. Потом Дженни нашла половинку старого футляра от термометра, которая прекрасно закрывала острый кончик

скальпеля, как колпачок авторучку. Вот этот-то «колпачок» она и сняла, как только солдат плюхнулся с нею рядом и положил свою лапищу на подлокотник, которым они (вот уж действительно абсурд!) предположительно должны были пользоваться сообща. Его огромная кисть свободно свисала с подлокотника, болтаясь и дергаясь, как хвост лошади, отгоняющей мух. Дженни держала одну руку в сумочке, крепко сжимая скальпель, а другой рукой прижимала сумочку к своим обтянутым белым халатом коленям. Она воображала, что ее белый халат сияет точно священный щит, а этот подонок, что сидит рядом, по какой-то противоестественной причине испытывает тягу именно к белому.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — всю жизнь остерегалась тех, кто на бегу вырывает у женщин сумочки, а также тех, кто любит женщин лапать».

Но тот солдат в кино охотился вовсе не за ее сумочкой. Когда он решительно положил руку Дженни на колено, она громко и отчетливо произнесла: «А ну убери свою вонючую лапу!» Зрители в зале стали на них оглядываться.

«Да ладно тебе», — нетерпеливо шепнул солдат, и его рука быстро скользнула Дженни под

юбку. Он обнаружил, что бедра девушки плотно сжаты, и вдруг почувствовал, что с ним самим творится что-то неладное: вся его рука от плеча до запястья была аккуратно располосована до кости. Дженни вонзила скальпель прямо сквозь знаки различия на рукаве его рубашки и умело взрезала кожу и мышцы, обнажив локтевой сустав. («Если бы я хотела его убить, я бы вскрыла ему и вены на запястье, — объясняла она потом полицейским. — Я ведь медсестра, я знаю, как вызвать сильное кровотечение».)

Солдат заорал. Потом вскочил и, уже падая, успел здоровой рукой вмазать Дженни прямо в ухо, от этого удара в голове у нее зазвенело, она чуть не оглохла, однако сумела ответить взмахом скальпеля, лишив парня довольно-таки заметной части верхней губы. («Я вовсе не пыталась перерезать ему горло, — заявила она в полиции. — Я просто хотела отрезать ему нос, но промахнулась».)

Стеная и плача, солдатик на четвереньках выполз в проход между креслами и потащился в сторону освещенного фойе, где надеялся обрести защиту. В зале кто-то тихо поскуливал от страха.

Дженни аккуратно вытерла скальпель о сиденье кресла, закрыла лезвие колпачком от термо-

метра и спрятала в сумочку. А потом спокойно двинулась в фойе, где слышались жалобные стоны и перепуганный директор кинотеатра тщетно взывал, обращаясь к темному залу: «Есть здесь врач? Пожалуйста, откликнитесь! Есть здесь врач?..»

Врача не оказалось, зато была профессиональная медсестра, которая и поспешила на помощь пострадавшему. Но, увидев ее, солдат впал в беспамятство, и вовсе не от потери крови. Дженни отлично знала, как сильно кровоточат даже самые пустяковые раны на лице и как легко они вводят людей в заблуждение. А вот глубокая рана на руке солдата конечно же требовала немедленного вмешательства, но в целом раненый отнюдь не истекал кровью. Хотя никто, кроме Дженни, видимо, этого не понимал — вокруг было слишком много крови, и особенно ужасно выглядели огромные кровавые пятна на ее белом медицинском халате. Все быстро догадались, что раны солдату нанесла именно она. А потому служители кинотеатра не дали ей даже прикоснуться к потерявшему сознание парню, а еще кто-то из «добровольцев» отнял у нее сумочку. Ого! Да она сумасшедшая, эта медсестра! Смотрите, как она его порезала! Но Дженни хранила полное спо-

койствие. Она была уверена, что представители власти сумеют правильно оценить ситуацию. Однако прибывшие полицейские отнеслись к ней отнюдь не так благосклонно, как она ожидала.

— Вы давно с этим парнем встречаетесь? — спросил ее один полицейский по дороге в участок.

А другой, чуть позже, удивился:

— И с чего это вы решили, что он на вас напасть собирается? Он, между прочим, утверждает, что всего лишь хотел с вами познакомиться.

— А ведь это на самом деле очень опасное оружие, милочка вы моя, — заметил третий. — Скальпель не стоит повсюду носить с собой. Так ведь и до беды недалеко.

Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, Дженни пришлось дожидаться в полиции приезда братьев. Они оба учились на юридическом в Кеймбридже, за рекой. Один был еще студентом, а второй уже закончил и теперь преподавал на своем факультете.

«И оба они, — писал позднее Гарп, — считали, что практическое применение юриспруденции вульгарно и неинтересно, а вот ее углубленное изучение — занятие весьма утонченное».

Когда братья наконец прибыли в полицейский

участок, то утешения от них Дженни не дождалась.

— Ты ж матери сердце разобьешь, — заявил один.

— Оставалась бы ты лучше в Уэлсли! — заявил другой.

— Одинокая девушка должна уметь себя защитить, — возразила Дженни. — Что тут неестественного?

Тогда один из братьев спросил, сумеет ли она доказать, что ранее никаких интимных отношений с этим мужчиной не имела.

— Строго между нами, — прошептал другой, — скажи честно: ты давно с ним встречаешься?

В конце концов все прояснилось само собой: полиция установила, что этот солдат из Нью-Йорка и там у него жена и ребенок. А в Бостоне он просто был в увольнении и больше всего опасался, как бы об этой истории не узнала его жена. И все как будто сошлись во мнении, что именно это и было бы самым ужасным, так что Дженни отпустили, не предъявив никаких обвинений. А когда она подняла шум и потребовала немедленно вернуть ей скальпель, один из братьев воскликнул:

— Господи помилуй, Дженнифер, ты что, не можешь еще один стащить?

— Я этот скальпель не крала, — твердо заявила Дженни.

— Слушай, тебе просто необходимо завести друзей, — посоветовал старший брат.

— И лучше в Уэлсли! — добавили оба хором.

— Спасибо, что сразу приехали, как только я вам позвонила, — сказала Дженни.

— Так мы же одна семья, — ответил один из братьев.

— Узы крови, — подтвердил другой и побледнел, потрясенный неожиданной ассоциацией: медицинский халат Дженни был весь перепачкан кровью.

— Учтите, я девушка честная, — мрачно заявила им Дженни.

— Ты тоже учти, Дженнифер, — ответил ей старший брат, который в детстве служил ей вечным примером для подражания как в плане занятий, так и всего, что в их тогдашней жизни считалось «правильным», — с женатыми мужчинами лучше не связываться. — Тон у него при этом был самый что ни на есть серьезный и торжественный.

— Ты не бойся, маме мы ничего не скажем, — пообещал младший брат.

— А отцу и подавно! — подхватил старший. И

вдруг подмигнул Дженни в весьма неуклюжей попытке хоть как-то выказать теплое отношение к сестре; при этом лицо брата так искривилось, что Дженни решила: первый в ее жизни и наилучший пример для подражания страдает нервным тиком.

Братья стояли рядом с огромным почтовым ящиком, на который был наклеен плакат с изображением Дяди Сэма и микроскопического солдатика в коричневой форме, который карабкался вниз, цепляясь за огромные руки Дяди Сэма и намереваясь спуститься прямо на карту Европы. Под картинкой красовалась подпись: «ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ПАРНЕЙ!» Старший брат внимательно наблюдал, как Дженни рассматривает этот плакат, а потом сказал:

— И вообще не связывайся с солдатами! — А ведь всего через несколько месяцев ему тоже предстояло стать солдатом. Причем одним из тех, кто не вернулся с войны. И своей гибелью он сделал именно то, о чем с таким отвращением предупреждал Дженни: разбил сердце своей матери.

Второй брат Дженни погиб значительно позднее, через много лет после войны в результате несчастного случая на воде. Он утонул в море в

нескольких милях от того берега, где высилось семейное гнездо Филдзов в Догз-Хэд-Харбор. И мать Дженни сказала тогда о его горюющей вдове «Она еще достаточно молода и привлекательна, да и дети довольно малы и пока что не слишком несносны. Пройдет положенное время, она снимет траур, а потом, я уверена, найдет себе кого-нибудь другого». Но только с Дженни вдова ее брата решилась в конце концов заговорить на эту тему; тогда она уже почти год была без мужа. И вот что она спросила: прошло ли уже «положенное время», когда, по мнению Дженни, можно снять траур и начать поиски «кого-нибудь другого». Больше всего она боялась обидеть мать Дженни.

— Если траур тебе уже надоел, зачем же ты тогда его носишь? — спросила ее Дженни. Впоследствии Дженни писала в своей автобиографии: «Эта несчастная женщина ждала указаний насчет того, что именно она должна *чувствовать».*

А Гарп писал об этой истории вот что: «По мнению моей матери, это была самая глупая из всех женщин, с которыми ей когда-либо доводилось встречаться. И училась она в Уэлсли».

Сама же Дженни Филдз, распрощавшись с братьями возле дома, где снимала жилье (непода-

леку от «Бостон-Мерси»), даже сердиться толком не могла, настолько она была ошеломлена случившимся. Вдобавок ей было больно: болело ухо, по которому ее ударил солдат, и отчего-то сводило судорогой мышцы спины между лопатками — она все вертелась и не могла уснуть, а потом решила, что в спине, видно, порвались какие-то связки, когда служители кинотеатра схватили ее в фойе и заломили руки назад. Тут она вспомнила, что в таких случаях вроде бы помогает горячая грелка, встала с постели, подошла к шкафу и достала один из подарочных свертков, некогда полученных от матери.

Это была вовсе не грелка. Слово «грелка» оказалось просто эвфемизмом, к которому мать прибегла, чтобы не употреблять другое название, для нее совершенно непроизносимое. В свертке оказался прибор для спринцевания, очень похожий на кружку Эсмарха. Мать Дженни хорошо знала, для чего нужна эта вещь. Дженни тоже. Она не раз помогала пациенткам в больнице пользоваться такими спринцовками, хотя там ими пользовались не для предотвращения нежелательной беременности, а при самых обычных женских гигиенических процедурах и еще при лечении венерических заболеваний. Дженни эта

штуковина представлялась более удобной и облагороженной версией «ирригатора Валентайна».

Дженни развернула все свертки с подарками. В каждом была такая же спринцовка. «И пожалуйста, пользуйся ею!» — всякий раз твердила ей мать. Дженни знала, что мать, желая ей добра, тем не менее уверена, что дочь ведет совершенно безответственную распутную жизнь. Несомненно, мать полагала, что «именно поэтому она и бросила Уэлсли», после чего «погрязла в блуде» и вообще «пустилась во все тяжкие».

Дженни забралась обратно в постель, налив в эту дурацкую кружку Эсмарха горячей воды и пристроив ее между лопатками; она очень надеялась, что зажимы на трубке аппарата достаточно надежные и протечек не будет, но все же не выпускала трубку из рук — сжимала, точно четки во время молитвы, — а наконечник с множеством отверстий на всякий случай опустила в стакан. Так она и провела ночь, слушая, как вода потихоньку капает из наконечника в стакан.

В этом мире, полном грязных мыслей, думала Дженни, нужно непременно быть либо чьей-то женой, либо чьей-то наложницей, шлюхой; во всяком случае, нужно изо всех сил стремиться побыстрее стать или той, или другой. Если же ты

случайно не подпадаешь ни под одну из этих категорий, всяк тут же решит, да и тебе попытается внушить, что с тобой что-то не в порядке. Нет уж, со мной-то все в порядке! — думала Дженни.

Эти размышления наверняка и легли в основу книги, которая через много лет сделает Дженни Филдз знаменитой. Правда, Гарп считал (как бы грубо это ни звучало), что автобиография его матери — хотя многие отмечали выдающиеся литературные достоинства и чрезвычайную популярность книги у читателей — имеет «ровно столько же литературных достоинств, что и каталог товаров любой торговой фирмы».

Так что же все-таки сделало Дженни Филдз вульгарной? Вовсе не ее родные братья, и не тот солдат в кино, запятнавший своей кровью ее белый халат, и не бесчисленные спринцовки, подаренные матерью, хотя отчасти именно из-за них Дженни в конце концов изгнали из ее жалкого жилища. Дело в том, что ее домохозяйка (жуткая баба, которая — в силу одной ей известных причин — подозревала, что любая женщина в любое время готова похоти ради броситься на первого же попавшегося мужчину) однажды обнаружила у Дженни в комнате и в туалете не менее девяти огромных спринцовок. Яркий пример так на-

зываемого комплекса вины по ассоциации: по мнению этой явно психически неуравновешенной особы, такое обилие спринцовок безусловно говорило о страхе «что-то подцепить», причем страхе несравненно большем, нежели тот, каким страдала сама домохозяйка. Или еще хуже: все эти спринцовки свидетельствовали о внушающей ужас *необходимости* постоянно прибегать к ним!

На какие мысли навело хозяйку наличие двенадцати одинаковых пар туфель, страшно даже вымолвить. Дженни, считая родительские подарки полным абсурдом, вдобавок обнаружила, что и у нее самой возникают весьма двусмысленные соображения по этому поводу. Поэтому спорить с хозяйкой не стала и попросту переехала.

Но это отнюдь не сделало ее вульгарной. Поскольку и братья, и родители, и домохозяйка считали, что она ведет распутную жизнь — хотя на самом деле Дженни использовала для подражания лишь весьма достойные образцы, — она решила, что все ее уверения в своей невинности абсолютно бессмысленны и звучат как оправдания. И без колебаний сняла маленькую отдельную квартирку, что вызвало новый приток спринцовок (со стороны матери) и туфель (со сто-

роны отца). И тут Дженни поняла: они думают, что раз уж она стала шлюхой, то пусть хотя бы живет в чистоте и ходит в приличной обуви.

Война в известной мере удерживала Дженни как от размышлений о том, сколь мало ее понимают в собственной семье, так и от горьких чувств, и от жалости к самой себе. Дженни вообще не была склонна к «размышлениям». Она была хорошей медсестрой, и работа отнимала у нее все больше и больше времени. Многие медсестры вступили в армию, но у Дженни не возникло желания ни сменить форму, ни отправиться в другие страны; она всегда предпочитала одиночество и не очень-то любила знакомиться с новыми людьми. Кроме того, ее раздражала любая система субординации, даже та, что была в «Бостон-Мерси», ну а в армейском полевом госпитале, как она полагала, будет только хуже.

Прежде всего ей будет не хватать новорожденных. Вот главная причина, по которой она оставалась в больнице, тогда как многие сестры отправлялись в действующую армию. Дженни казалось, что в качестве медсестры она способна принести максимум пользы — особенно для «мамочек» и новорожденных малышей, тем более что появилось множество детишек, чьи отцы на-

ходились неизвестно где, погибли или пропали без вести; и матерям таких малышей Дженни старалась помочь в первую очередь. Сказать по правде, она им даже завидовала. Такое положение вещей представлялось ей идеальным: мать один на один с новорожденным ребенком, а муж ее взорвался где-то в небе над Францией. Молодая женщина и ее малыш — и у них вся жизнь впереди, и в мире их только двое! Собственный ребенок без каких-либо обязательств и условий! — мечтала Дженни Филдз. Почти непорочное рождение. По крайней мере, в будущем уже не возникнет необходимости иметь дело с чьим-то «питером».

Однако эти женщины далеко не всегда были так счастливы и так довольны своей судьбой, как, по мнению Дженни, была бы счастлива она сама на их месте. Многие из них сильно горевали; многие были брошены мужем или любовником; некоторые даже ненавидели своих новорожденных детей, а некоторые, родив очередного ребенка, просто хотели таким образом заполучить мужа для себя и отца для остальных своих детей. Но Дженни Филдз всегда их всех поддерживала и одобряла — она, всегда стремившаяся к одиночеству, пыталась доказать этим женщинам, что на самом деле им повезло.

— Разве вы не считаете себя честной женщиной? — спрашивала она, и женщины большей частью отвечали, что так оно и есть.

— А какой милый у вас ребенок, верно? — Большинство полностью разделяло это мнение.

— Ну а что, собственно, представлял из себя его отец? — Ответы были примерно таковы: бездельник чертов, свинья, подонок, лжец, потаскун паршивый, да и мужик никудышный!

— Ах, теперь это неважно, ведь он же погиб! — рыдая, твердили очень и очень немногие.

— Но, может быть, так для вас даже лучше? — осторожно спрашивала Дженни.

Некоторые, конечно, в итоге с ней соглашались, однако репутация Дженни в больнице из-за ее «крестового похода» против мужчин весьма пострадала. Больничные власти в целом относились к матерям-одиночкам отнюдь не столь одобрительно.

— Дженни у нас прямо как старая Дева Мария, — насмешливо говорила о ней одна из сестер. — Не желает она, видите ли, заводить ребенка самым простым способом. Что ж, пусть молит Господа, может, Он ей младенца ниспошлет…

В своей автобиографии Дженни потом писала: «Я хотела работать, и работа мне нравилась. А

еще я хотела жить одна. Что и превратило меня в „сексуально подозреваемую“. Тем более что я хотела иметь ребенка, но ни с кем не желала ради этого делить ни свое тело, ни свою жизнь. Это, естественно, лишь добавляло сомнений в моей половой ориентации; я ведь и так уже была „сексуально подозреваемой“».

Вот эти-то подозрения более всего и делали Дженни «вульгарной». (Именно отсюда и возникло название ее знаменитой автобиографической книги: «Сексуально подозреваемая».)

Дженни Филдз вскоре обнаружила, что шокирующими высказываниями и поступками можно добиться гораздо большего уважения к себе, нежели стремлением жить одиноко и независимо, никого в свою личную жизнь не допуская. И Дженни прилюдно заявила, что в один прекрасный день найдет-таки себе мужчину, которого использует только для того, чтобы забеременеть, — и ни для чего больше! Она даже не рассматривала вероятность того, что с одной попытки можно и не забеременеть. Нет, Дженни была абсолютно уверена, что сделает все с первого же раза! Так она и сказала медсестрам. Ну а те, естественно, не замедлили сообщить об этом всем, кого знали. И очень скоро Дженни получи-

ла несколько вполне конкретных предложений. Внезапно ей пришлось принимать решение: она, конечно, могла и отступить, пристыженная тем, что ее тайна вылезла наружу, но могла и принять вызов.

Один юный студент-медик заявил Дженни, что готов стать добровольцем, если ему будет предоставлено по крайней мере шесть попыток в течение трех дней. Дженни ответила, что такому человеку она вообще никогда не доверится: она хотела иметь ребенка, но не на подобных условиях.

Больничный анестезиолог сказал ей, что готов даже оплатить обучение будущего ребенка, включая колледж, однако Дженни не устраивала его внешность: слишком близко посаженные глаза и скверные зубы; она не желала, чтобы ее будущее дитя было столь же уродливым.

А приятель одной из медсестер весьма жестоко подшутил над нею: в больничном кафетерии он поднес ей стакан, почти до краев наполненный какой-то мутной, беловатой и вязкой жидкостью.

— Сперма! — гордо заявил он, указывая на стакан. — И все это — за один выстрел. Я дурака валять не привык. Так что, если предоставляется

только одна попытка, тебе нужен именно я.

Дженни взяла стакан и стала спокойно его рассматривать. Бог его знает, что именно было в этом стакане, но нахальный молодой человек продолжал:

— У меня прямо-таки выдающиеся способности по этой части. Там же сплошные «семечки»! — И он горделиво улыбнулся.

Дженни молча опрокинула стакан в ближайший цветочный горшок, потом сказала:

— Мне нужен ребенок, а не завод по разведению спермы.

Дженни знала, что ей придется трудно. Но она научилась терпеть насмешки и теперь платила за них той же монетой.

В итоге все решили, что Дженни Филдз чересчур груба и вообще слишком много себе позволяет. Что уж, людям и пошутить нельзя? Но Дженни, похоже, воспринимала все абсолютно серьезно. Тут возможны два объяснения: либо она, буквально стиснув зубы, цеплялась за свои убеждения из простого упрямства, либо действительно так считала. Во всяком случае, сотрудники больницы ни рассмешить ее не умели, ни затащить в постель. Впоследствии Гарп так писал об этом: «Ее коллеги наконец поняли, что она считает себя

выше их. А кому может такое понравиться?»

И тогда коллеги решили воздействовать на Дженни, так сказать, с позиции силы. Причем это было общее решение всего персонала больницы. Так, «для ее же собственного блага», как они говорили, они отстранили Дженни от работы с матерями и новорожденными. У нее и без того сплошные дети на уме; хватит с нее акушерства, да и к «детским» ее подпускать больше не стоит — слишком у нее мягкое сердце. Или мозги.

Дженни — очень хорошая медсестра, говорили они, вот пусть и поработает в интенсивной терапии. По собственному опыту они знали, что, работая в отделении интенсивной терапии, любая медсестра быстро утрачивает всякий интерес к своим личным проблемам. Дженни, конечно, понимала, почему ее отстранили от работы с новорожденными и с матерями; неприятно поражало ее только одно: почему все так низко оценивают ее способность к самоконтролю? Неужели только потому, что ее цель кажется им странной, они решили, что у нее масса всяческих недостатков — в том числе и нехватка самообладания? Не умеют люди мыслить логически, вздыхала про себя Дженни. Она прекрасно знала, что времени на то, чтобы забеременеть, у нее

сколько угодно. И вовсе не торопилась с осуществлением задуманного, ибо план действий у нее был давно выношен и сформулирован.

Ведь по-прежнему шла война. Работая теперь в интенсивной терапии, Дженни сталкивалась с войной гораздо чаще. Армейские госпитали постоянно присылали к ним в больницу своих пациентов, причем это всегда были так называемые терминальные случаи. Кроме того, к ним, как обычно, поступали старики со всеми их немочами, а также жертвы производственных аварий и дорожно-транспортных происшествий; немало было и детей с поистине ужасными травмами. Но в основном в отделении все же лежали солдаты, и случившееся с ними никак нельзя было назвать «происшествием» или «аварией».

Дженни по-своему делила раненых солдат на несколько категорий.

1. Солдаты с ожогами (иногда просто ужасными). Чаще всего они получали эти ожоги на борту корабля (самые тяжелые поступали из военно-морского госпиталя в Челси) или в самолете, но некоторые обгорали и на земле. Таких Дженни называла «внешники».

2. Солдаты с огнестрельными ранениями и прочими травмами в самых «неудачных» местах.

Обычно состояние у них было очень тяжелым из-за повреждений внутренних органов. Дженни так и называла их: «жизненно важные органы».

3. Солдаты, ранения которых представлялись Дженни почти мистическими. Это были те, кто «здесь» уже почти и не присутствовал, — у большинства были страшные ранения головы или позвоночника. Многие в параличе, многие просто ничего не воспринимали. Дженни называла их «отсутствующими». Случалось, кто-то из «отсутствующих» проходил также и по категории «внешники» или «жизненно важные органы». Для таких в больнице имелось особое название.

4. Таких все называли «конченые».

«Мой отец, — писал Гарп, — был из „конченых“. С точки зрения моей матери, именно это делало его весьма привлекательным — ни каких-либо обязательств, ни каких-либо условий».

Отец Гарпа был воздушным стрелком и попал в переделку в небе над Францией.

«Воздушный стрелок, — писал Гарп, — это член экипажа бомбардировщика, наиболее уязвимый для зенитного огня с земли. Для воздушного стрелка этот огонь похож на стремительно выплескивающиеся вверх чернила, которые расплываются по всему небу, точно по листу про-

мокашки. В таких случаях маленький человечек (ведь для того, чтобы стрелок умещался в поворотной башенке бомбардировщика, специально подбирают малорослых), скрюченный в своем гнезде за пулеметами, напоминает насекомое в коконе, ибо поворотная башенка — металлическая сфера с застекленным окошком — более всего похожа на кокон или на безобразно вспухший пупок на брюхе бомбардировщика B-17. В этом микроскопическом пространстве размещался спаренный пулемет калибра 0,5 дюйма и маленький стрелок, который должен был поймать в прицел атакующий истребитель. Когда башенка поворачивалась, стрелок вращался вместе с нею. Перед ним были деревянные рукоятки с гашетками, чтобы вести огонь; постоянно сжимая эти рукоятки, воздушный стрелок выглядел как некий ужасный зародыш, подвешенный в амниотическом пузыре к брюху бомбардировщика, самым идиотским образом выставленный на всеобщее обозрение и предназначенный для защиты собственной матери. С помощью рукояток стрелок мог поворачивать башенку, правда, лишь до определенной точки, чтобы ненароком не отстрелить пропеллеры собственного самолета.

Когда небо оказывалось, по сути дела, под ним,

стрелок, должно быть, чувствовал себя особенно неуютно: он был прицеплен к самолету как некое запоздалое соображение. При приземлении поворотная башенка обычно убиралась внутрь фюзеляжа — но отнюдь не всегда, и в таких случаях она начинала высекать из асфальта или бетона такие же мощные и жуткие искры, какие высекает потерявший колесо автомобиль, мчащийся на большой скорости».

Техник-сержант Гарп, покойный воздушный стрелок, без преувеличения более чем близко знакомый со смертью в бою, служил в Восьмой воздушной армии, базировавшейся в Англии и оттуда летавшей бомбить континентальную Европу. Сержант Гарп уже имел некоторый опыт полетов в качестве головного стрелка на B-17C и бортового стрелка на B-17E, прежде чем его назначили воздушным стрелком.

Ему совсем не нравилось летать верхним стрелком в бомбардировщике B-17E. В этой модели самолета два места для верхних стрелков; их «гнезда» втиснуты между шпангоутами фюзеляжа в верхней его части друг против друга, и сержант Гарп неизменно получал по уху, если его напарник поворачивал свой пулемет именно в тот момент, когда Гарп начинал поворачивать

свой. В последующих конструкциях этого бомбардировщика, чтобы стрелки не мешали друг другу, их «гнезда» стали располагать ступенчато. Но сержанта Гарпа это нововведение уже не застало.

Его первой боевой операцией был дневной налет бомбардировщиков B-17E на Руан (17 августа 1942 года), который обошелся без потерь. Сержант Гарп, находясь в своем гнезде верхнего стрелка, получил от напарника один раз по левому уху и два раза по правому. И все из-за того, что напарник Гарпа был гораздо крупнее и его локти находились как раз на уровне ушей Гарпа.

А в поворотной башенке в день налета на Руан был стрелок по фамилии Фаулер, ростом даже меньше Гарпа. Этот Фаулер до войны был жокеем. Стрелял он лучше, чем Гарп, но Гарпу очень хотелось занять его место. Он был сиротой, однако ж любил одиночество и ненавидел тесноту, и ему совершенно не нравилось толкаться локтями со своим напарником или получать от него по уху. Конечно, как и многие воздушные стрелки, Гарп мечтал, что после, скажем, пятидесятого боевого вылета его переведут во Вторую воздушную армию — учебно-тренировочное соединение ВВС, где он спокойно сможет выйти в отставку в должности стрелка-инструктора. И, пока Фаулер

не погиб, Гарп продолжал завидовать ему — из-за его места в башенке совершенно отдельно от других.

— Между прочим, это самое вонючее место, особенно если много пердеть от страха, — утверждал Фаулер. Бывший жокей всегда был циничен. Он часто покашливал сухим, как бы насмешливым и оттого всех раздражающим кашлем. А среди медсестер полевого госпиталя Фаулер пользовался наигнуснейшей репутацией.

Он погиб при аварийной посадке на проселочную дорогу. Стойки шасси сорвало, когда самолет угодил в особенно глубокую выбоину, бомбардировщик грохнулся на брюхо и пополз, сплющивая поворотную башенку, как упавшее дерево сплющивает лежащую на земле виноградину. Фаулер всегда утверждал, что гораздо больше верит в машины, нежели в людей или лошадей; он скрючился в своей неубранной башенке, когда самолет навалился на него всей тяжестью, и бортовые стрелки, включая сержанта Гарпа, видели, как сплющенную, искореженную башенку выбросило из-под брюха бомбардировщика. Адъютанта командира эскадрильи, который оказался ближе всех к месту аварийной посадки, вырвало прямо в джипе. А командир эскадрильи не стал ждать,

пока смерть Фаулера зафиксируют официально, и тут же назначил замену: следующего по тщедушности стрелка. Сержанта Гарпа, которому всегда так хотелось стать башенным стрелком. И вот в сентябре 1942 года он им стал.

«Моя мать всегда питала пристрастие к мельчайшим подробностям», — напишет много лет спустя Т.С. Гарп. Так, например, когда в больницу привозили нового раненого, Дженни Филдз первой начинала расспрашивать врача, что и как произошло. И тут же про себя относила вновь поступившего к одной из своих классификационных категорий: «внешник», «жизненно важные органы», «отсутствующий» или «конченый». И еще она придумывала всякие шутливые рифмы, которые помогали ей поскорее запомнить фамилии раненых и тип их ранения. Например: рядовой Кросс потерял в бою нос; мичману Бруку оторвало руку; капрал Гленн утратил свой член; капитан Смог лишился ног, майор Плаза остался без глаза и т. п.

Сержант Гарп оказался сущей загадкой. Над Францией во время своего тридцать пятого вылета маленький стрелок вдруг перестал стрелять. Пилот отметил отсутствие пулеметного огня из подфюзеляжной капсулы и решил, что в Гар-

па попали. Если это и произошло, то пилот не почувствовал никакого удара в брюхо самолета. И продолжал надеяться, что с Гарпом тоже ничего особенного не произошло. После благополучного приземления пилот поспешил сам перенести Гарпа в коляску мотоцикла, на котором подъехал санитар, потому что все машины «скорой помощи» были в разгоне. Как только его поместили в коляску, маленький сержант вдруг занялся онанизмом. В мотоциклетной коляске имелся брезентовый фартук, чтобы закрывать пассажира от ветра и дождя. Пилот заботливо натянул фартук, прикрывая Гарпа, но сквозь прозрачное окошечко в фартуке санитар, пилот и собравшиеся вокруг летчики могли наблюдать за действиями сержанта Гарпа. При таком маленьком росте у него был на удивление большой пенис, но обращался он с ним совершенно неумело, как ребенок. Даже до какой-нибудь обезьяны из зоопарка ему было далеко! Впрочем, Гарп выглядывал из своего убежища действительно как обезьянка и с изумлением смотрел на собравшихся вокруг людей.

— Гарп, в чем дело? — спросил пилот. Лоб Гарпа был весь в капельках уже подсохшей крови, а из-под летного шлема, словно приклеенного к

темечку, капала кровь, но на теле не было видно никаких повреждений.

— Гарп! — заорал пилот. В металлической сфере, там, где раньше торчал спаренный пулемет калибра 0,5 дюйма, зияла огромная дыра; похоже, зенитный снаряд угодил прямо в стволы пулеметов, разбив кожух и даже раздробив рукоятки, но руки Гарпа почему-то остались целы — вот только мастурбировал он как-то очень неуклюже.

— Гарп! — заорал пилот.

— Гарп? — переспросил Гарп, словно передразнивая его, — прямо как говорящий попугай или ворона. — Гарп, — утвердительно повторил он, словно только что выучил это слово. Пилот ободряюще закивал в надежде, что Гарп вспомнил собственную фамилию. Гарп улыбнулся и радостно воскликнул: — Гарп! — Казалось, он решил, что именно этим словом люди приветствуют друг друга.

— Господи помилуй, Гарп! — пробормотал пилот.

В амбразуре поворотной башенки тоже виднелось несколько дырок, стекло треснуло. Санитар приоткрыл молнию на фартуке мотоциклетной коляски и внимательно посмотрел Гарпу в глаза. С глазами у Гарпа творилось что-то невообра-

зимое: они вращались в орбитах совершенно независимо друг от друга. Санитар решил, что Гарп сейчас видит мир вокруг то резко наплывающим на него, то вдруг проносящимся мимо — если Гарп вообще способен видеть. Однако ни пилот, ни санитар не могли тогда знать, что мелкие и острые осколки зенитного снаряда повредили Гарпу глазомоторные нервы и вообще существенно повредили мозг. Собственно, осколки многое порубили и порезали в мозгу Гарпа; это здорово напоминало фронтальную лоботомию, хотя хирург действовал слишком уж небрежно.

Санитар, кое о чем догадываясь, страшно перепугался подобной «лоботомии» и решил пока не снимать с раненого пропитанный кровью летный шлем, который прилип к голове Гарпа, чуть съехав ему на лоб и краем своим почти касаясь огромной тугой и блестящей шишки, которая, казалось, росла прямо на глазах. Все стали озираться в поисках мотоциклиста-водителя, но тот куда-то исчез — видимо, чтобы проблеваться. Санитар понял, что вести мотоцикл придется ему самому, и попросил, чтобы кто-нибудь сел в коляску вместе с Гарпом.

— Гарп? — спросил Гарп у санитара, осваивая новое слово.

— Гарп, — подтвердил санитар.

Гарп, казалось, был полностью удовлетворен. Обеими руками он по-прежнему сжимал свой член, продолжая успешно мастурбировать, пока не кончил.

— Гарп! — рявкнул он, отмечая это событие. В голосе его звучали радость и некоторое удивление. Он повращал глазами, словно умоляя мир в последний раз наплыть на него и наконец остановиться. Он явно ничего не понимал. — Гарп? — спросил он с сомнением.

Пилот похлопал его по руке и кивнул остальным членам экипажа и наземной команды, словно говоря: «Давайте поможем сержанту, парни. Пусть чувствует себя как дома». И парни, потрясенные столь мощной эякуляцией у крошечного стрелка, дружно заорали: «Гарп! Гарп!», стараясь подбодрить Гарпа и помочь ему почувствовать себя легко и непринужденно.

Гарп кивнул, счастливый и довольный, но санитар схватил его за руку и прошептал на ухо:

— Нет-нет! Только головой не мотай, ладно? А, Гарп? Пожалуйста, головой не мотай!

Глаза Гарпа снова стали вращаться, обходя и пилота, и санитара, а те все ждали, что он остановит на них свой взгляд, но так и не дождались.

— Ты не напрягайся, Гарп, — прошептал пилот. — Сиди себе тихонько, хорошо?

Лицо Гарпа излучало полное умиротворение. Продолжая сжимать руками свой увядающий член, маленький сержант выглядел так, словно сделал именно то, что от него и требовалось в данной ситуации.

В Англии для сержанта Гарпа не сумели сделать ровным счетом ничего. Однако ему повезло: его отправили домой, в Бостон, задолго до окончания войны. Этим озаботился некий сенатор. Одна из бостонских газет в редакционной статье обвинила ВМС США, что те, дескать, перевозят домой только таких раненых, которые принадлежат к богатым и влиятельным семьям Америки. Желая пресечь распространение столь нелепых слухов, тот сенатор выступил с заявлением, что если какому-либо тяжелораненому и посчастливилось вернуться в Америку, хотя война еще не кончена, то таким раненым «мог оказаться любой, *даже* сирота». Началась суета: искали хотя бы одного раненого сироту, чтобы подтвердить высказывание сенатора, и в итоге нашли даже лучше, чем просто сироту.

Сержант Гарп был не просто сиротой; он был идиотом, словарь которого состоял из одного-

единственного слова, так что прессе он ни на что пожаловаться не мог. И на всех фото воздушный стрелок Гарп неизменно улыбался.

Когда пускающего слюни сержанта привезли в «Бостон-Мерси», Дженни Филдз не сразу сумела отнести его к какой-либо конкретной категории. Он явно был из «отсутствующих» (послушнее ребенка), однако насколько тяжелым является его ранение, Дженни не знала.

— Привет, как дела? — спросила она, когда Гарпа, по обыкновению улыбавшегося, ввезли на каталке в палату.

— Гарп! — рявкнул он в ответ. Глазомоторный нерв у него частично восстановился, и глаза теперь практически не вращались, но все же дергались порой странными рывками. На руках у Гарпа красовались марлевые перчатки — результат того, что Гарпу вздумалось поиграть с огнем, когда на госпитальном судне случился пожар. Увидев пламя, он радостно потянулся к нему и в итоге не только обжег себе руки, но и брови начисто спалил; по мнению Дженни, он был похож на «обритую сову».

Ожоги у Гарпа, впрочем, были довольно легкие, так что его можно было бы отнести к категории «внешников», но по другим признакам он ско-

рее подходил к категории «отсутствующих». Об этом свидетельствовал и еще один признак: в его медицинской карте было указано, что он часто и вполне успешно мастурбирует — вдобавок без малейшего смущения, — правда, теперь, с перевязанными руками, пока лишился такой возможности. Те, кто после пожара на корабле наблюдал за ним постоянно, опасались, что впавший в детство воздушный стрелок вскоре впадет также и в депрессию, поскольку остался без своего единственного «взрослого» развлечения.

Гарпа, разумеется, можно было отнести и к категории «жизненно важные органы». Голова — безусловно орган жизненно важный, а в голову ему попало огромное количество осколков, причем многие застряли в таких местах, что извлечь их было невозможно. И мозговые нарушения у сержанта Гарпа, увы, едва ли закончились упомянутой грубой «лоботомией»; застрявшие в мозгу осколки постоянно ухудшали общее состояние больного, «которое, — как писал позднее Гарп, — и без того было достаточно сложным».

В «Бостон-Мерси» еще до сержанта Гарпа был пациент с аналогичными повреждениями головы. Несколько месяцев он вполне успешно выздоравливал, правда, все время разговаривал

сам с собой да иногда мочился в постель. Но потом у него вдруг стали выпадать волосы, а если он начинал какую-нибудь фразу, то никак не мог ее завершить. А незадолго до смерти у него начали расти женские груди!

Если судить по результатам обследований, по теням и белым иглам на рентгеновских снимках, воздушный стрелок Гарп, скорее всего, относился к категории «конченых». Однако, по мнению Дженни Филдз, он выглядел просто прекрасно. Маленький, аккуратный человечек, бывший стрелок был в своих потребностях совершенно невинен и прям, как двухлетний ребенок. Он кричал «Гарп!», когда был голоден и когда радовался; он спрашивал «Гарп?», когда что-то его удивляло или когда он обращался к незнакомым людям; он просто говорил «Гарп» (как говорят «да-да», без вопросительной интонации), когда узнавал вошедшего. Обычно он был очень послушен и делал все, что ему велели, но полагаться на это не стоило: он был слишком забывчив и — хотя порой проявлял разум и послушание шестилетнего ребенка — вполне мог вдруг стать таким же безмозглым и любопытным, как полуторагодовалый ползунок.

Депрессивные состояния, подробно описанные

в медицинской карте Гарпа, по всей видимости, совпадали у него с эрекциями. В такие моменты он мог, например, ухватиться забинтованными руками за свой несчастный член и заплакать. Он плакал потому, что ощущение от обожженных и забинтованных рук было совсем не таким приятным, как — подсказывала ему его короткая память — от рук обнаженных, незабинтованных; кроме того, его рукам было просто больно к чему-либо прикасаться. Именно в такие моменты Дженни Филдз и старалась подольше посидеть с ним. Она почесывала ему спину между лопатками, и в итоге он от удовольствия начинал запрокидывать голову, как кошка; она все время о чем-то ласково говорила с ним, и голос ее был полон поистине восхитительных переливов. Сестры обычно говорили с пациентами спокойно, размеренно, даже монотонно — чтобы больной поскорее заснул. Но Дженни прекрасно знала, что Гарпу нужен вовсе не сон. Она понимала, что сейчас он, по сути дела, превратился в ребенка и ему просто скучно, его нужно чем-то развлечь. И Дженни старательно его развлекала. Она, например, включала для него радио, но с радио не все было так просто: некоторые передачи буквально выводили Гарпа из равновесия — никто не

понимал почему. От других передач у него возникала чудовищная эрекция, что вело к очередной депрессии и прочим скверным последствиям. А во время одной радиопрограммы он уснул и кончил в постель прямо во сне. Это так его изумило и обрадовало, что с тех пор он всегда хотел по крайней мере *видеть* радиоприемник рядом с собой. Но Дженни так и не сумела вновь отыскать ту радиопередачу, хотя прекрасно знала, что, если ей удастся подключить бедного Гарпа к этой замечательной программе, и ее работа, и жизнь самого Гарпа станут гораздо веселее. Но это оказалось совсем не просто.

Всякие попытки научить Гарпа новым словам Дженни в итоге прекратила. Когда она его кормила и видела, что еда ему нравится, она говорила:

— Ах, как вкусно! Ведь вкусно, да!

— Гарп! — соглашался он.

А когда он с ужасными гримасами выплевывал пищу на слюнявчик, Дженни говорила:

— Да, и правда невкусно! Какая плохая еда!

— Гарп, Гарп… — давился он.

Первый признак того, что состояние пациента ухудшается, Дженни уловила, когда он потерял в слове «Гарп» первую букву. Однажды утром он встретил ее возгласом «Арп».

— Гарп, — поправила она. — Гарп!

— Арп, — сказал он. И она поняла, что дело худо. День за днем он превращался в младенца. Когда он спал, то бестолково махал кулачками в воздухе, надувал губы, втягивал щеки, и веки его при этом трогательно подрагивали. Дженни провела достаточно много времени с новорожденными и понимала, что воздушный стрелок во сне сосет материнскую грудь. Она даже подумывала, не украсть ли ей для него соску-пустышку из родильного отделения, но туда ей теперь ходить было запрещено. К тому же ее заранее раздражали возможные шутки коллег («А, да это наша Непорочная Дева Мария! Ты что, Дженни, хочешь стащить соску для своего младенца? Интересно, кто же счастливый отец?»). Дженни смотрела, как сержант Гарп чмокает губами во сне, и старалась убедить себя, что и последний его вздох будет спокойным и мирным: он вернется в эмбриональное состояние и просто перестанет дышать. Личность его благополучно отделится от тела, и одна ее половина будет видеть во сне космическое Яйцо, а вторая — оплодотворяющую его сперму. И в конце концов он просто исчезнет, перестанет существовать.

Собственно, все к тому и шло. Превращение

Гарпа в младенца-сосунка стало столь явственным, что он даже просыпался, как младенец, через каждые четыре часа, чтобы его покормили. И плакал тоже, как младенец: личико багровело, из глаз брызгали слезы, которые, впрочем, тут же высыхали, стоило его успокоить — звуками радио или тихим голосом. Когда Дженни однажды сидела возле него, почесывая ему спинку, он отрыгнул, точно грудничок, и она расплакалась. Она искренне желала ему быстрого и безболезненного путешествия обратно в утробу матери и далее — к космическому Яйцу.

Если б у него руки зажили, думала Дженни, он бы и пальчик сосал. Когда он просыпался после своих «сосательных» снов, голодный, требуя грудь или то, что ему там снилось, Дженни давала ему свой палец, и он тут же буквально впивался в него. Хотя у Гарпа, как у всех взрослых людей, были вполне нормальные зубы, он явно считал себя беззубым младенцем и ни разу ее за палец не укусил. Именно это и подвигло Дженни предложить ему однажды ночью не палец, а собственную грудь. Грудь он взял тут же и сосал неутомимо, точно очень голодный младенец, причем не испытывал никакого неудовольствия от того, что высосать из ее груди было нечего. А

Дженни думала, что, если он будет продолжать сосать ее грудь, у нее в конце концов, может быть, появится и молоко; она ощущала, как мощно напрягается ее матка от прилива материнских и сексуальных чувств, и ощущения эти стали настолько острыми, что некоторое время она верила даже, что способна и *зачать* оттого лишь, что ее грудь сосет впавший в детство воздушный стрелок.

Гарп действительно был похож на ее младенца, а она — на кормящую мать, да только в младенца он превратился все-таки еще *не совсем.* Однажды ночью, когда он сосал ее грудь, Дженни заметила, что у него мощная эрекция — даже простыня поднялась. Замотанными в бинты руками Гарп пытался онанировать, завывая от разочарования и боли, и при этом чуть ли не по-волчьи въедался ей в грудь. Тогда она решила ему помочь и взяла его член в свою чистую прохладную руку. Он перестал сосать ее грудь, просто тыкался в нее носом и постанывал: «Ар!» Конечное «п» он теперь тоже потерял.

Сперва было «Гарп», потом «Арп», а теперь осталось только «Ар», и Дженни понимала, что он умирает. В его распоряжении остались всего две буквы — одна гласная и одна согласная.

Когда он кончил, она почувствовала, что ладонь у нее залита чем-то горячим и липким, а из-под простыни пахнет как летом в теплице — мощной фертильностью, нелепой (в данном случае) способностью к размножению, целиком вышедшей из-под контроля. В теплице в таких условиях можно сажать все, что угодно, — все вырастет, расцветет, станет приносить плоды. Дженни даже подумалось: если пролить в теплую тепличную землю хоть немного спермы раненого Гарпа, то детишки, наверное, начнут проклевываться из этой земли буквально на глазах.

Эту мысль она обдумывала еще целых двадцать четыре часа.

— Гарп? — шепотом окликнула раненого Дженни и, расстегнув блузку, вынула груди, которые всегда считала чересчур большими. — Гарп! — прошептала она еще раз ему на ухо; его веки дрогнули, губы вытянулись вперед. Их уголок, точно белым саваном, был отгорожен от остальной палаты занавеской из белых простынь. По одну сторону от Гарпа лежал «внешник» — жертва огнемета, весь скользкий от мазей и обмотанный бинтами. Веки у него отсутствовали, так что казалось, он все время подсматривает, но он был слеп. Дженни скинула свои тяжелые

туфли, отстегнула чулки, сняла платье. Потом приложила палец к губам Гарпа.

По другую сторону от отгороженной белым кровати Гарпа лежал пациент из категории «жизненно важные органы», совершавший постепенный переход в категорию «отсутствующих». Он лишился большей части толстого кишечника, включая прямую кишку; теперь у него еще и барахлили почки, а боли в печени доводили до умопомешательства. Кроме того, его мучили ужасные кошмары, будто его заставляли насильно справлять большую и малую нужду, хотя об этом вообще уже речи не было. По сути дела, он ничего и не чувствовал, ибо эти физиологические функции осуществлял через трубки, подсоединенные к резиновым емкостям. Он часто довольно громко стонал и, в отличие от Гарпа, четко произносил при этом разные слова.

— Вот дерьмо! — простонал он.

— Гарп! — чуть громче прошептала Дженни, сняла с себя комбинацию, трусики и лифчик и откинула простыню, которой был укрыт Гарп.

— О господи! — тихо пробормотал «внешник». Губы у него были в пузырях от ожогов.

— Дерьмо проклятое! — заорал тот, что был из категории «жизненно важные органы».

— Гарп, — внятно сказала Дженни Филдз и, ухватив башенного стрелка за сильно эрегированный член, оседлала его, широко раздвинув ноги.

— А-а-а! — только и сказал Гарп. Теперь он и «р» потерял. Для выражения радости и горя у него осталась всего лишь одна гласная. — А-а-а… — удовлетворенно вздохнул он, когда Дженни опустилась на него всем своим весом.

— Гарп, — спросила она, — тебе хорошо? Хорошо?

— Хорошо, — совершенно отчетливо произнес он. И это было единственное слово, которое ему удалось извлечь из своей искалеченной памяти, когда он вошел в нее. Первое и последнее настоящее слово, которое Дженни Филдз от него услышала. Стоило ему кончить, снабдив Дженни своей животворной спермой, как он снова вернулся к уровню одной-единственной гласной. А потом и вовсе закрыл глаза и уснул. И когда Дженни предложила ему грудь, оказалось, что «младенец» уже не голоден.

— О господи! — крикнул «внешник». Звук «г» он произносил очень мягко, почти растворяя его: язык у него тоже был обожжен.

— Да пошел ты!.. — рявкнул «жизненно важные

органы».

Дженни Филдз обмыла и Гарпа, и себя теплой водой с мылом, воспользовавшись белым эмалированным больничным тазиком. Конечно же, она не собиралась спринцеваться! И у нее не было практически никаких сомнений в том, что чудо зачатия свершилось. Она ощущала себя столь же восприимчивой к посеву, как хорошо подготовленная почва — унавоженная, удобренная, взрыхленная, — и, по ее мнению, Гарп влил в нее столько своей животворной жидкости, что запросто летом мог бы поливать лужайки вместо поливальных машин.

Больше она с ним этим не занималась. Причин не было. Да и не очень-то ей это понравилось. Но время от времени она все же помогала ему рукой, а когда он плакал, давала ему грудь, но через неделю-другую эрекции у него прекратились совсем. Когда ему сняли повязки с рук, врачи обнаружили, что даже процесс заживления как будто повернул вспять, так что руки пришлось забинтовать снова. Сосать грудь он тоже больше не хотел, и Дженни думала, что он, наверное, видит во сне примерно то же, что, скажем, могла бы видеть во сне рыба. Она понимала: Гарп вернулся в материнское чрево — приняв эмбриональную

позу, он маленькой кучкой лежал посредине кровати и не издавал ни звука. Однажды утром Дженни заметила, как он брыкнул своей маленькой, слабой ножкой, и ей почудилось, что это у нее в утробе толкнулся младенец. И, хотя для таких толчков было еще рановато, она поняла, что ее ребенок уже существует, уже вовсю растет и развивается.

Вскоре Гарп и брыкаться перестал. Дышал он пока самостоятельно, снабжая свой слабенький организм кислородом, но Дженни понимала, что это не более чем лишний пример человеческой приспособляемости. Гарп перестал есть — пришлось питать его внутривенно, подсоединив к нему что-то вроде пуповины. Дженни с некоторой нервозностью ожидала наступления заключительной фазы. Может быть, под конец он все же начнет бороться за жизнь, как отчаянно борются за жизнь сперматозоиды? Или, может быть, и космическая сперма не поможет, и беззащитному Яйцу останется просто ждать смерти? Да и как разделится душа Гарпа в его последнем коротком путешествии вспять? Однако последней фазы Дженни не наблюдала: сержант Гарп умер, когда у нее был выходной.

«А когда же еще он мог умереть? — писал позд-

нее его сын. — Только в отсутствие мамы. Для него это была единственная возможность улизнуть».

«Конечно же, меня обуревали самые разные чувства, когда он умер, — писала Дженни Филдз в своей знаменитой автобиографии. — Но я знала: лучшая его часть осталась во мне. И для нас обоих это был единственный способ: для него — продолжить жизнь, для меня — заполучить ребенка. А что весь остальной мир считает это аморальным, по-моему, говорит лишь о том, что остальной мир не уважает права личности».

Шел 1943 год. Когда беременность Дженни стала заметной, она потеряла работу. Естественно, именно этого и ожидали от нее родители и братья! Они нисколько не удивились. Впрочем, и сама Дженни давно прекратила попытки убедить их в своей невинности. Теперь она, как призрак, бродила по длинным коридорам родительского дома на берегу Догз-Хэд-Харбор, однако вид у нее был вполне довольный. Невозмутимость Дженни настолько ошеломила все семейство, что ее оставили в покое. И она втайне была совершенно счастлива; однако, принимая во внимание то, сколько времени она посвящала мыслям о будущем ребенке, представляется удивительным, что ей и в голову не пришло придумать ему имя.

И когда Дженни наконец произвела на свет отличного девятифунтового младенца, никакого имени у нее наготове не оказалось. Едва Дженни разрешилась от бремени, мать спросила ее, как она намерена назвать сына, но Дженни только что приняла успокоительное, и говорить ей не хотелось, а хотелось спать.

— Гарп, — только и сказала она.

Отец Дженни, обувной король, решил даже, что это просто отрыжка, вызванная значительным напряжением, но мать шепнула ему:

— Это *его* имя. Гарп.

— Гарп? — переспросил он. Оба понимали, что теперь легко могли бы установить, кто отец ребенка, ибо Дженни, естественно, ни в чем не призналась.

— Ах сукин сын! — прошептал отец Дженни. — Выясни у нее, это его имя или фамилия?

— Дорогая, но «Гарп» — это имя или фамилия? — Мать склонилась к Дженни.

А Дженни уже почти спала.

— Просто Гарп, — с трудом пробормотала она. — Гарп, и все.

— Думаю, это фамилия, — сказала мать.

— А имя? — довольно резко спросил отец.

— Понятия не имею, — пробормотала Дженни.

Что было сущей правдой: она действительно не имела об этом ни малейшего понятия.

— Она даже не знает, как звали этого типа! — возмущенно заорал отец.

— Тише, дорогой, — сказала мать. — Дженни, милая, конечно же у него не могло не быть имени!

— Техник-сержант Гарп, — сообщила ей Дженни Филдз.

— Траханый солдат! Так я и знал! — Отец был вне себя.

— Техник-сержант? — переспросила мать.

— Ну да, Т.С., — сказала Дженни Филдз. — Т.С. Гарп. Так и будут звать моего сына. — И она уснула.

Отец Дженни был просто вне себя.

— Т.С. Гарп! — орал он. — Что это еще за дурацкое имя для ребенка?!

— Ну да, это его имя, — позднее подтвердила свое решение Дженни. — Это его собственное, черт побери, имя! Его собственное!

«До чего же здорово было ходить в школу с таким именем, — писал позднее Гарп. — Учителя вечно спрашивали, что означают эти инициалы. Сперва я отвечал, что это *просто инициалы,* но мне никто не верил. Потом я стал предлагать: „А

вы позвоните моей матери, она вам объяснит“. И они звонили! И моя старушка Дженни выдавала им на полную катушку!»

Так мир получил Т.С. Гарпа. Его матерью была хорошая и честная медсестра, и родился он в полном соответствии с ее желанием; а отцом — воздушный башенный стрелок. Т.С. Гарп стал последним выстрелом в его жизни.

2. Кровь и синяк

Гарп всегда подозревал, что умрет молодым. «Как и у моего отца, — писал он, — у меня, видимо, некая склонность к краткости. Я — человек одного выстрела». Гарп едва избежал участи вырасти на территории женской школы, где его матери предложили работу медсестры. Но Дженни Филдз поняла, какие опасности таит в себе такое решение вопроса: маленький Гарп постоянно находился бы в окружении сплошных женщин (Дженни с Гарпом предложили квартирку в одном из общежитий). Она живо представила себе первый сексуальный опыт сына: фантазия эта была инспирирована видом и запахами школьной прачечной, где не в меру резвые девицы, разыгравшись, вполне могли засунуть ребенка в мягкую гору своего нижнего белья. Дженни хотелось получить эту работу, но ради Гарпа она от нее отказалась и вскоре устроилась в огромную и знаменитую Стиринг-скул, где стала всего лишь одной из многих медсестер, а жить ей с Гарпом предстояло рядом со школьным изолятором, находившимся в холодной

пристройке к школьному зданию, где окна были как в тюрьме.

«Ну и не расстраивайся», — сказал Дженни отец. Он сердился на нее за то, что она вообще пошла работать; денег в семье было более чем достаточно, и ему было бы гораздо спокойнее, если бы дочь просто укрылась в родительском доме, пока ее ублюдок не вырастет и не уберется прочь. «Если у твоего ребенка вдруг обнаружатся врожденные способности, — говорил Дженни отец, — он в итоге и так будет учиться в Стиринг-скул, а сейчас пусть бы рос здесь, в более подходящей для него обстановке».

«Врожденные способности» относились к числу тех выражений, какими пользовался отец Дженни, говоря о сомнительном генетическом наследстве воздушного стрелка Гарпа. Стиринг-скул, где в свое время учились и отец Дженни, и ее братья, была в ту пору чисто мужской школой. Дженни надеялась, что, если ей удастся выдержать заключение в этой «тюрьме» хотя бы несколько лет, пока Гарп будет учиться в подготовительных классах, она уже сделает для своего сына практически максимум возможного. «Таким образом ты хочешь компенсировать ему отсутствие отца!» — заявил ей отец.

«Странно, — писал позднее Гарп, — что моя мать, которая прекрасно знала себя и понимала, как неприятно ей жить рядом даже с одним мужчиной, решилась поселиться рядом с восемью сотнями мальчиков».

Итак, Гарп рос при матери в маленькой квартирке возле школьного изолятора. Относились к нему, правда, не так, как ученики обычно относятся к «учительскому отродью». Во-первых, школьная медсестра не считалась настоящим членом преподавательского состава; более того, Дженни не делала ни малейших попыток изобрести для Гарпа какого-нибудь мифического отца — придумать какую-нибудь историю, чтобы мало-мальски узаконить происхождение своего сына. Она принадлежала к семейству Филдз и полагала необходимым сообщать всем и каждому свою фамилию. А ее сын был просто Гарп. И она полагала необходимым всем и каждому сообщать, что ее сына зовут именно Гарп. «Это его собственное имя», — говорила она.

И все всё поняли. В Стиринг-скул не только спокойно относились к некоторым проявлениям надменности и самоуверенности; пожалуй, некоторые их проявления здесь даже поощрялись, однако в приемлемых пределах. В конце концов,

это ведь тоже дело вкуса и стиля. Надменным и самоуверенным следует быть только по достойным причинам, а способ проявления надменной самоуверенности обязан все же быть разумным и даже очаровательным, особенно у женщины. Впрочем, сообразительность не относилась к числу «врожденных способностей» самой Дженни. Впоследствии Гарп писал, что его мать «сама никогда специально не стремилась казаться надменной, но была надменна лишь по принуждению». Впрочем, в сообществе Стиринг-скул и гордость весьма почиталась, однако Дженни Филдз, похоже, гордилась своим *незаконнорожденным* сыном. Вешать голову, разумеется, у нее не было никакого резона, и все же она могла бы выказать хоть чуточку смирения.

Но Дженни не только гордилась Гарпом; она была чрезвычайно горда и довольна тем способом, каким его заполучила. Впрочем, тогда мир еще не познакомился с этим способом, ибо Дженни еще не успела опубликовать свою знаменитую автобиографию, даже не начала еще писать ее. Она ждала, пока сам Гарп достаточно подрастет, чтобы узнать и должным образом оценить эту историю.

Пока что Гарп знал только то, что Дженни

говорила каждому, у кого хватало наглости ее расспрашивать. И ответы сводились к трем коротеньким фразам.

1. Отцом Гарпа был солдат.
2. Он погиб на войне.
3. До свадеб ли, когда вокруг война?

И четкость ее ответов, и таинственность этой истории можно ведь интерпретировать и в романтическом Духе. Например, отец Гарпа вполне мог быть героем войны. Можно вообразить себе даже некий роман, изначально обреченный на печальный конец. Медсестра Филдз вполне могла служить в полевом лазарете. И влюбиться «прямо на фронте». А отец Гарпа вполне мог считать, что обязан исполнить свой последний долг «перед людьми». Однако Дженни Филдз ни единым словом не поощряла подобных мелодраматических выводов. Начать с того, что своим одиночеством она была чрезвычайно довольна и никогда не напускала туману, говоря о своем прошлом. Практически ничто не отвлекало ее от воспитания маленького Гарпа — она всецело посвятила себя сыну. Да еще и умудрялась оставаться отличной медсестрой.

Конечно, фамилия Филдз в Стиринг-скул была хорошо известна. Знаменитый обувной король

Новой Англии был из самых щедрых выпускников. Впоследствии он стал даже членом попечительского совета, хотя неизвестно, подозревали об этом Дженни с Гарпом или нет. Его состояние не принадлежало к самым старым в Новой Англии, но он не был и нуворишем, а его жена, мать Дженни, происходила из бостонского семейства Уикс, которое в Стиринг-скул знали, пожалуй, еще лучше. Кое-кто из пожилых преподавателей помнил, что много лет подряд школу непременно оканчивал кто-нибудь из Уиксов. И все же, как считало большинство в Стиринг-скул, Дженни Филдз, к сожалению, не унаследовала тех способностей, какими обладали другие члены этого семейства. Она была красива, это признавали все, но простовата и вечно ходила в форме медсестры, хотя могла одеваться куда лучше. По сути, вся эта история с ее превращением в медсестру — а Дженни, кстати, очень гордилась своей профессией — выглядела достаточно странно. Особенно если учесть, из какой Дженни была семьи! Профессия медсестры не считалась достойной для дочери семейства Филдз или Уикс.

Что до общения с людьми, то Дженни отличалась такой неуклюжей серьезностью, от которой люди более веселые и развязные невольно чув-

ствуют себя не в своей тарелке. Она много читала и постоянно рылась на полках школьной библиотеки; стоило заинтересоваться какой-нибудь книгой, как выяснялось, что она уже выдана медсестре Филдз. На запросы по телефону Дженни в таких случаях отвечала очень вежливо и нередко даже предлагала доставить желающему означенную книгу — как только сама ее дочитает. Впрочем, читала она очень быстро, но никогда не говорила, что думает о той или иной книге. А в школьном сообществе человек, который читает книги с какой-то своей, тайной целью, не стремясь обсуждать прочитанное с другими, всегда слывет странным. С какой же целью читала Дженни?

Еще более странно, что в свободное от работы время она посещала различные лекции и курсы. В уставе Стиринг-скул было записано, что преподавательский состав и обслуживающий персонал школы (и/или их супруги) могут бесплатно посещать любые занятия, просто получив разрешение от преподавателя. Кто мог отказать медсестре? И она ходила слушать всевозможные лекции: по истории Елизаветинской эпохи, по истории викторианского романа, по истории России до 1917 года, по основам генетики, по истории западной

цивилизации (и вводный, и общий курсы!). В течение нескольких лет Дженни Филдз шла от Цезаря к Эйзенхауэру, попутно изучая Лютера и Ленина, Эразма и кариокинез, осмос и Фрейда, Рембрандта, Ван Гога и хромосомы — поднимаясь от Стикса до Темзы и от Гомера до Вирджинии Вулф. На этом пути от Афин до Освенцима она не произнесла ни слова. На любых занятиях она была единственной женщиной. Спокойная, в своем белом медицинском халате, она слушала так тихо и внимательно, что мальчики, а в конце концов и сам преподаватель совершенно забывали о ней и чувствовали себя абсолютно свободно. У них продолжался обычный учебный процесс, а Дженни сидела среди них, белая, тихая, безмолвная, — то ли бесстрастный свидетель происходящего, то ли судия, всем и вся выносящий свой молчаливый приговор.

Дженни Филдз получала то образование, которого ждала все предыдущие годы, и вот теперь для этого как будто наконец пришло время. Но мотивы, двигавшие ею, были не вполне эгоистичны — она изучала Стиринг-скул прежде всего с точки зрения ее пригодности для своего сына. Когда Гарп достигнет школьного возраста, она будет в состоянии давать ему советы и консультации,

хорошо представляя себе, что в каком предмете «мертвый груз», какие дисциплины являются профилирующими, а какие и вовсе никому не нужны.

Книги переполняли ее крошечную квартирку рядом с изолятором. Она провела в Стиринг-скул десять лет, прежде чем обнаружила, что в книжном магазине дают 10 процентов скидки всем преподавателям и обслуживающему персоналу (ей эту скидку в магазине никогда не предлагали). Это ее разозлило. Сама-то она давала книги всем желающим, а в конце концов стала размещать их на полках в комнатах унылого изоляторного крыла. Потом книги наводнили и это помещение, просочились в приемную, в рентгеновский кабинет, сперва закрыв собой, а затем и полностью вытеснив газеты и журналы. И мало-помалу, заболев и побывав в изоляторе, ученики Стиринг-скул начинали осознавать, каким серьезным местом является эта школа, если даже медицинский изолятор не забит, как в обычной больнице, легким чтивом и газетно-журнальной макулатурой. В очереди к врачу можно было просмотреть такие солидные исследования, как «Осень Средневековья»; ожидая результатов лабораторных анализов, можно было попросить сестру прине-

сти какой-нибудь бесценный труд по генетике, например «Ген и геном». Если ты серьезно заболевал и надолго застревал в изоляторе, в твоем полном распоряжении была, скажем, «Волшебная гора». Для мальчишки с переломом ноги или еще какой-нибудь травмой, полученной на спортплощадке, всегда находились отличные литературные герои с замечательно интересными приключениями — здесь можно было почитать Конрада и Мелвилла, а не «Спортс иллюстрейтед»; вместо «Тайма» и «Ньюсуика» лежали Диккенс, Хемингуэй и Марк Твен. Какое райское наслаждение для любителей литературы — заболеть и попасть в изолятор Стиринг-скул! По крайней мере, это была больница с хорошим запасом хорошей литературы.

К тому времени как Дженни Филдз провела в Стиринг-скул лет двенадцать, у школьных библиотекарей уже выработалась привычка: выяснив, что у них нет той или иной книги, которую кто-то спрашивает, говорить: «Наверное, она есть в изоляторе».

Да и продавцы книжного магазина, если какая-то книга заканчивалась на складе, а заказы на нее издатели уже не принимали, вполне могли порекомендовать: «Обратитесь к медсестре Фил-

дз; может быть, у нее есть».

А Дженни, хмуро выслушав подобную просьбу, обычно отвечала: «Кажется, она в двадцать шестой палате, в изоляторе, ее как раз читает Маккарти. У него грипп. Вот закончит и с радостью передаст ее вам». Или, в другом случае, она могла сказать: «В последний раз я видела ее у бассейна. Возможно, первые страницы у нее немного подмокли».

Трудно сказать, насколько влияние Дженни отразилось на качестве обучения в Стиринг-скул, но сама она так никогда и не простила тамошнему магазину, что в течение десяти лет ее обманывали, не давая 10-процентной скидки. «Этому книжному магазину моя мать оказала поистине неоценимую помощь, — писал позднее Гарп. — По сравнению с нею в Стиринге вообще никто ничего не читал».

Когда Гарпу исполнилось два года, Стиринг-скул предложила Дженни трехгодичный контракт; она бесспорно была хорошей медсестрой, ну а что до некоторого раздражения, которое она у многих вызывала, то за последние два года оно ничуть не усилилось. Ребенок, в конце концов, был таким же, как все дети; разве что летом загар у него был потемнее, чем у других, а зимой он вы-

глядел побледнее — да еще, пожалуй, толстоват немного. Он вообще был какой-то кругленький, как закутанный в меха эскимос, даже когда вообще ни во что не был закутан. А те из молодых преподавателей, которые только что вернулись с войны, говорили, что им этот ребенок больше всего напоминает бомбу. Но даже незаконнорожденные дети — все-таки дети. Так что с тем легким раздражением, которое вызывали странности Дженни, в целом вполне можно было мириться.

Она согласилась на трехгодичный контракт, продолжая постоянно учиться, повышать свой интеллектуальный уровень, а заодно мостить для маленького Гарпа дорогу в Стиринг-скул. «Высокий уровень образования» — вот что могла предложить Гарпу Стиринг-скул. Так утверждал отец Дженни. И она решила сперва убедиться в этом сама.

Когда Гарпу исполнилось пять, Дженни Филдз стала старшей медсестрой. Найти молодых и активных медсестер, которые бы выдержали буйный темперамент и непредсказуемое поведение мальчишек-подростков, — дело трудное; еще труднее было найти таких, которые согласились бы жить при школе, а Дженни, казалось, была вполне довольна и своей работой, и своим жи-

льем рядом с изолятором. В этом смысле она стала для многих чем-то вроде матери — всегда приходила на помощь по ночам, когда кого-то из ребят начинало тошнить, или у кого-то разбивалась чашка и он не мог напиться, или кто-то тщетно пытался вызвать звонком дежурную сестру. Или когда кто-нибудь из хулиганистых парней затевал ночью возню, гонки на больничных кроватях или гладиаторские бои на инвалидных креслах, завлекал разговорами городских девчонок, которые так и лезли к забранным железными решетками окнам изолятора, а некоторые сорванцы даже пытались перебраться через кирпичную стену изолятора по толстым побегам плюща, обвивавшим все здание.

Изолятор сообщался с пристройкой подземным туннелем, достаточно широким, чтобы проехала больничная койка на колесах, с обеих сторон сопровождаемая медсестрами (желательно худенькими). Хулиганистые парни нередко играли в этом туннеле в шары, и стук шаров был слышен Дженни и Гарпу в их отдаленной пристройке. Звуки эти вызывали ощущение, будто все крысы и кролики из школьной лаборатории, расположенной в подвале, за одну ночь успели вырасти до гигантских размеров и теперь катали по тун-

нелю мусорные баки, подталкивая их своими длинными мордами и стараясь загнать как можно глубже.

Когда Гарпу исполнилось пять — и когда его мать стала старшей сестрой, — общество в Стиринг-скул заметило в мальчике некую странность. Что уж такого особенно странного и отличного от других может быть в пятилетнем ребенке, не совсем ясно, но голова Гарпа почему-то казалась слишком гладкой, темной и мокрой (словно голова тюленя), а удивительная компактность и округлость его тела вновь и вновь вызывала к жизни сплетни об унаследованных им генах. Темпераментом ребенок походил на мать: решительный, может быть чуточку туповатый, он держался несколько отчужденно и всегда довольно настороженно. Для своего возраста он был, пожалуй, мелковат, зато в других отношениях казался неестественно взрослым. Особенно всех раздражало его недетское спокойствие. Аккуратный, коренастенький, он напоминал зверька, отлично умеющего держать равновесие и координировать свои движения. Матери других детишек иной раз с тревогой отмечали, что Гарп запросто может взобраться практически на любую высоту: на самое высокое дерево, на любой

гимнастический снаряд, на вершину ледяной горки. Ему это ничего не стоило.

Однажды вечером после ужина Дженни никак не могла отыскать сынишку. Вообще-то ему позволялось свободно гулять по изолятору и пристройке, разговаривать с ребятами, и Дженни обычно звала его домой с помощью интеркома. «Гарп, домой!» — коротко произносила она. Мальчику были даны четкие указания, в какие именно палаты ходить нельзя, например, в инфекционные, и с кем лучше не болтать — обычно с теми, кто чувствовал себя скверно и хотел, чтобы его оставили в покое. Чаще всего Гарп торчал у ребят со спортивными травмами: он любил рассматривать гипсовые повязки, разные вытяжки, подвески, огромные бандажи и слушать рассказы о том, как эти травмы были получены, причем охотно слушал одно и то же по многу раз. Как и его мать, медсестра по призванию, малыш Гарп был просто счастлив оказать больным какую-нибудь услугу сбегать куда-нибудь с поручением, отнести записку, притащить поесть. И вот однажды ночью пятилетний Гарп не отозвался на призыв: «Гарп, домой!» Динамики интеркома были во всех помещениях изолятора и пристройки, даже там, куда Гарпу строго воспрещалось

заходить, — в лаборатории, в операционной, в рентгенкабинете. И поскольку Гарп не услышал призыв «Гарп, домой!», Дженни поняла, что он либо попал в беду, либо находится вне здания. И быстро организовала поисковую группу из наиболее здоровых и мобильных пациентов.

Ночь выдалась туманная (дело было ранней весной); одни ребята, выйдя наружу, стали громко звать Гарпа сквозь мокрую мглу, окутавшую заросли кустарника и парковочную площадку. Другие искали его по темным углам и пустым складским помещениям, куда ему вообще ходить было запрещено. Гарп не откликался, и Дженни впервые почувствовала страх. Она проверила спуск для грязного белья — скользкую трубу, ведшую с четвертого этажа сквозь все здание прямо в подвал (Гарпу не разрешалось даже грязное белье туда сбрасывать). Но на холодном бетонном полу подвала, куда из этой трубы вылетало все, что туда бросали, оказалось только грязное белье. Дженни проверила и бойлерную, и раскаленную, огромную водогрейную печь, но Гарп там явно не испекся. Она проверила все лестничные клетки, но Гарп хорошо знал, что играть на лестнице нельзя, так что его искалеченного тела ни под одной из лестниц не нашли. Тогда Дженни обу-

яли необъяснимые страхи: например, что Гарп пал жертвой какого-нибудь тайного сексуального маньяка из числа учеников Стиринг-скул. Однако ранней весной в изоляторе лежало слишком много мальчишек, Дженни и уследить-то за всеми не могла, а уж узнать их как следует, чтоб подозревать в сексуальных извращениях, и подавно. В изоляторе хватало ненормальных, которые рванули купаться в первый же солнечный день, хотя даже снег еще не весь растаял. Были там и последние жертвы затяжных зимних простуд, ослабевшие настолько, что у них уже не осталось сил сопротивляться болезни. Были и жертвы последних зимних соревнований и первых весенних состязаний.

Один такой, верзила по фамилии Хэтуэй, в данный момент как раз давил на звонок, вызывая Дженни к себе в палату на четвертый этаж Хэтуэй, играя в лакросс, порвал себе связки в колене; ему наложили гипс и разрешили передвигаться исключительно на костылях, а он спустя два дня после этого отправился гулять под дождем, резиновые набалдашники костылей соскользнули с верхней ступеньки длинной мраморной лестницы Хайл-холла, и при падении бедолага сломал себе и здоровую ногу. И теперь обе длинные за-

гипсованные ноги Хэтуэя беспомощно лежали на постели, а он по-прежнему гордо сжимал в своих огромных ручищах клюшку для лакросса. Лежал он в палате на четвертом этаже один, поскольку остальным почему-то очень не нравилась его идиотская привычка кидать мяч через всю палату, чтоб он отскакивал от дальней стены. Ловко поймав жесткий и прыгучий мяч сеткой на конце клюшки, Хэтуэй снова и снова кидал его в стену. Дженни легко могла бы заставить его прекратить это, но у нее был собственный сын, и она отлично знала, что мальчишкам иногда просто необходимо предаваться какому-нибудь бессмысленному, бесконечно повторяющемуся занятию. Это, похоже, давало им возможность расслабиться, будь им пять лет, как Гарпу, или семнадцать, как Хэтуэю.

Однако ее бесило, когда Хэтуэй, не всегда достаточно ловко обращавшийся со своей клюшкой, начинал то и дело терять мячи и трезвонить ей. Она все сделала, чтобы удалить его от остальных пациентов, чтобы никто больше не жаловался на стук мяча, но, уронив мяч, Хэтуэй неизменно звонил и требовал, чтобы ему кто-нибудь этот мяч подал. Хотя в изоляторе имелся лифт, на четвертый этаж редко кто забирался, и Дженни, увидев,

что лифт занят, бегом понеслась наверх и, когда добралась до палаты Хэтуэя, сильно запыхалась и разозлилась.

— Я знаю, что для тебя значит эта игра, Хэтуэй, — сказала Дженни, — но сейчас твои звонки совершенно неуместны: нет у меня времени искать твой мяч! У меня Гарп потерялся!

Хэтуэй был, в общем, парнишка добродушный, но не слишком сообразительный, с одутловатым лицом, пока что абсолютно лишенным признаков растительности. Зато надо лбом у него вечно торчали рыжеватые космы, и одна прядь упорно свисала вниз, закрывая один из его водянистых глаз, поэтому у него была привычка мотать головой, откидывая упрямую прядь назад. Однако рыжие космы все равно снова падали ему на глаза, и по этой причине, а также в силу его высокого роста окружающие смотрели на Хэтуэя снизу вверх, тщетно пытаясь увидеть оба его глаза, но видели только широко вырезанные ноздри.

— Мисс Филдз, а знаете… — сказал Хэтуэй, и только тут Дженни заметила, что в руках у него нет клюшки для лакросса.

— Ну, что еще? — раздраженно буркнула Дженни. — Извини, у меня совершенно нет времени. Гарп куда-то потерялся, и я его ищу, ищу…

— А, — сказал Хэтуэй, — извините. — И огляделся по сторонам, словно Гарп мог прятаться где-то здесь, и повторил: — Извините, мисс Филдз, мне очень жаль, что я не могу помочь вам его искать… — и он беспомощно взглянул на свои загипсованные ноги.

Дженни легонько постучала пальцами по его загипсованному колену — словно в дверь комнаты, где кто-то спит.

— Ничего, не беспокойся, — сказала она. И замолчала, ожидая, что он все-таки скажет, зачем вызвал ее на четвертый этаж. Но Хэтуэй, казалось, совсем об этом забыл. — Эй, Хэтуэй! — окликнула она его и опять легонько постучала по гипсу, как бы желая узнать, есть ли кто дома. — Что тебе было нужно-то? Опять свой мяч потерял?

— Нет, — наконец отозвался Хэтуэй. — Я потерял клюшку.

И они оба машинально стали осматривать палату в надежде понять, куда же могла деться клюшка.

— Я спал, — объяснил Дженни Хэтуэй, — а когда проснулся, клюшки уже не было.

Сперва Дженни пришло в голову, что это дело рук Меклера, сущего проклятия для всего второго этажа изолятора. Обладавший блестящими спо-

собностями, но весьма язвительный и вредный, этот мальчик попадал в изолятор практически каждый месяц, по крайней мере дня на четыре. В свои шестнадцать лет он уже был заядлым курильщиком — действительно смолил непрерывно, одну за одной. Меклер редактировал все школьные издания и дважды получал высшие награды за свои работы по гуманитарным дисциплинам. Откровенно презирая то, чем кормили в школьной столовой, он питался исключительно кофе и бутербродами с яичницей, которые покупал в закусочной Бастера, где, по сути, и писал свои длинные (и обычно здорово просроченные), но совершенно блестящие курсовые работы и доклады. Ежемесячно попадая в изолятор на предмет излечения от последствий физического надругательства над своим желудком и нервной системой, Меклер всякий раз обращал свои блестящие способности на придумывание жутких выходок, ни одну из которых Дженни так никогда и не смогла вменить ему в вину. Один раз он «заварил» в заварном чайнике, отправленном в лабораторию, головастиков, и сотрудники лаборатории долго жаловались потом, что чай пахнет рыбой; в другой раз Меклер — Дженни была уверена, что это его работа! — наполнил

презерватив яичным белком и аккуратно пристроил к ручке двери ее квартиры. Она прекрасно знала, что внутри «резинки» яичный белок — она потом обнаружила даже скорлупки от яиц. В своей сумочке. И никто иной, как Меклер, Дженни была уверена, организовал несколько лет назад во время эпидемии ветрянки совершенно идиотскую затею на третьем этаже изолятора: сперва мальчишки по очереди дрочили, а потом сломя голову неслись к микроскопам с горячей спермой в руке, чтоб проверить, не стали ли они стерильными в результате болезни.

Что же до клюшки для лакросса, то Дженни полагала, что просто украсть ее — совершенно не в стиле Меклера; он, скорее всего, просто прорезал бы дырку в ее сетке, а потом вложил бы ставшую бесполезной клюшку в руки спящего Хэтуэя.

— Знаешь, мне кажется, это Гарп взял твою клюшку, — сказала Дженни Хэтуэю. — Найдем Гарпа, найдется и клюшка. — И она (наверное, уже в сотый раз!) подавила желание убрать у Хэтуэя с глаз треклятый клок рыжих волос, но вместо этого просто ласково пожала пальцы его ног, торчавшие из гипса.

Итак, если Гарп решил поиграть в лакросс, размышляла Дженни, то куда он мог направиться?

На улице уже темно, мячика совсем не видно, недолго его и потерять. Единственное место, где Гарп мог не услышать ее призыв по интеркому, — подземный туннель между пристройкой и изолятором. Он же — отличное место для игры в лакросс. Дженни это прекрасно знала. Она не раз прогоняла оттуда мальчишек, а однажды ей пришлось уже после полуночи разнимать там настоящую свалку.

Дженни спустилась на лифте прямо в подвал. Этот Хэтуэй, в сущности, парень очень приятный, думала она; неплохо бы и Гарпу вырасти таким же. Хотя лучше бы он вырос немного поумнее.

Хэтуэй соображал медленно, но все же вполне соображал. И очень надеялся, что с Гарпом ничего не случилось. Он совершенно искренне жалел, что не может подняться и помочь в поисках. Гарп частенько забегал к нему в палату. Хэтуэй ему нравился — еще бы, поверженный атлет с гипсом на обеих ногах! Это было куда интереснее, чем обычные ребята. Кроме того, Хэтуэй позволил Гарпу рисовать на его гипсе цветными карандашами, и теперь поверх многочисленных подписей, оставленных там приятелями Хэтуэя, красовались кривые, перекрученные морды и чудища, порожденные воображением Гарпа.

Беспокоясь о Гарпе, Хэтуэй взглянул на эти рисунки и вдруг заметил мяч для лакросса, зажатый между загипсованными бедрами. Вот почему он его не почувствовал! Мяч лежал у него между ног, словно яйцо, которое Хэтуэй сам отложил и теперь высиживал. Интересно, как же это Гарп играет в лакросс без мяча?

Тут Хэтуэй услышал воркованье голубей и сразу понял, что Гарп вовсе не играет в лакросс! Ну конечно, голуби! Он не раз жаловался Гарпу на этих проклятых птиц, которые не давали ему спать своим воркованьем и бесконечной возней под карнизом и в водосточном желобе под крутой шиферной крышей. Это действительно была настоящая проблема для тех, кому приходилось спать на четвертом, самом верхнем этаже Стиринг-скул — казалось, здесь всем правят исключительно голуби. Работники опутали сеткой все свесы крыш и карнизы, но голуби продолжали топтаться в водосточных желобах в сухую погоду, а в дождь находили себе щели под крышей, под карнизами и в узловатых мощных зарослях плюща, вьющегося по стенам. Избавиться от них было совершенно невозможно. А как громко они ворковали! Хэтуэй просто возненавидел этих птиц! Он не раз говорил Гарпу, что если

б у него хоть одна нога была целой, уж он бы до них добрался!

«А как?» — спросил однажды Гарп.

«Ночью они летать не любят, — объяснил Хэтуэй. Он почерпнул эти сведения о привычках голубей из курса биологии; Дженни Филдз, кстати, этот курс тоже прослушала. — И вот ночью, когда нет дождя, я бы забрался на крышу, — продолжал Хэтуэй, — и переловил бы их прямо в водосточном желобе. Они же всю ночь только и делают, что сидят в этом желобе и воркуют, да еще гадят!»

«И как бы ты их переловил? — спросил Гарп. — Руками?»

В ответ Хэтуэй помахал клюшкой для лакросса, в сетке которой сидел мяч. Он ловко выкатил мяч себе между ног и мягко опустил сетку прямо Гарпу на голову.

«А вот так, — сказал он. — Этой штукой их запросто переловить можно. Одного за другим».

Хэтуэй вспомнил, как восторженно и понимающе улыбнулся ему тогда Гарп, — этот малыш, должно быть, считал своего огромного друга с загипсованными ногами настоящим героем! Хэтуэй выглянул в окно: совсем темно, и дождя нет. И Хэтуэй нажал на кнопку вызова сестры.

— Гарп! — простонал он. — О господи, Гарп! — И держал палец на кнопке не отпуская.

Когда Дженни Филдз увидела, что вызов идет с четвертого этажа, она решила, что Гарп принес клюшку назад. Какой хороший мальчик этот Хэтуэй, думала она, поднимаясь на лифте и спеша в палату, на ходу поскрипывая своими добротными туфлями. Она сразу увидела мяч для лакросса у Хэтуэя в руках. И его единственный видимый ей глаз смотрел испуганно.

— Он на крыше, — уверенно сказал Хэтуэй.

— На крыше? — переспросила Дженни.

— Ну да, пытается ловить голубей моей клюшкой для лакросса, — объяснил Хэтуэй.

Взрослый мужчина, стоя на верхней ступеньке пожарной лестницы на высоте четвертого этажа, с трудом мог дотянуться до края водосточного желоба. Когда в Стиринг-скул чистили желоба — а это случалось либо поздней осенью, когда с деревьев опадали все листья, либо в конце зимы, до начала мощных весенних ливней, — на эту работу посылали только самых высокорослых, поскольку остальные вечно жаловались, что им не видно, что за дрянь валяется в желобах; а там действительно попадались и дохлые голуби, и полуразложившиеся белки, и тому подобная га-

дость. Так что, не имея возможности заглянуть в желоб, совать туда руки они не спешили. Желоба были почти такие же широкие и глубокие, как корыта для свиней, но, увы, отнюдь не такие же прочные — проржавели от старости. В то время все в Стиринг-скул обветшало.

Когда Дженни Филдз вылезла с четвертого этажа на пожарную лестницу и поднялась по ней, она едва смогла кончиками пальцев дотянуться до водосточного желоба; выше желоба она не видела уже ничего, даже крутой шиферной крыши. Во тьме и тумане она могла более или менее разглядеть только внешнюю сторону желоба — примерно до ближайшего угла здания. Гарпа она не видела вовсе.

— Гарп? — прошептала она. Четырьмя этажами ниже среди кустарника и поблескивающих капотов припаркованных автомобилей мелькали мальчишки, которые тоже звали малыша.

— Гарп! — окликнула Дженни чуть громче.

— Мам, это ты? — шепотом отозвался он, очень ее испугав, хотя шепот его был совсем тихим; голос Гарпа она слышала где-то совсем рядом, но самого мальчика не видела. Потом, всмотревшись во тьму, она разглядела на фоне бледной от тумана, тусклой луны клюшку для лакросса с

сеткой на конце; ее силуэт был похож на странную сетчатую лапу неведомого ночного зверя; клюшка с сеткой торчала из водосточного желоба почти прямо над нею. Дженни еще немного потянулась вверх и в ужасе нащупала ногу Гарпа, провалившуюся сквозь ржавый желоб, неровный край которого разорвал ему штаны и поранил голень. Сам Гарп лежал в скрипучем ветхом желобе на животе, одна его нога свисала из дыры, а другая была вытянута вдоль кромки крутой шиферной крыши.

Провалившись сквозь желоб, Гарп слишком испугался, чтобы закричать и позвать на помощь. Ему казалось, что проржавевший желоб может рухнуть вместе с крышей даже от звука его голоса. И он лежал, прижавшись щекой к ржавому днищу желоба, и сквозь дырочку наблюдал за ребятами, которые сновали в кустах и на парковочной площадке, искали и звали его. Клюшка, в сетку которой и в самом деле угодил зазевавшийся голубь, упала на край желоба, и птица сумела вырваться на свободу. Но голубь почему-то никуда не улетел, а уселся рядом с Гарпом и, как последний идиот, принялся ворковать.

Дженни бросило в дрожь, когда она поняла, что Гарп никак не мог дотянуться до желоба с

пожарной лестницы, а стало быть, взбирался на крышу по плющу, зажав в одной руке клюшку для лакросса. Она еще крепче ухватила сынишку за ногу. Голая теплая его лодыжка была чуть липкой от крови, но порезы, полученные, когда он провалился сквозь желоб, были, видимо, не слишком глубокими. Все равно нужен укол против столбняка, думала Дженни. Кровь почти высохла, и швы, наверное, накладывать не придется, хотя в темноте ей, конечно, было не разглядеть, насколько серьезно Гарп поранился. Господи, только бы вытащить его оттуда! Свет, падавший из нижних окон, освещал кусты, и с высоты желтые их цветы казались язычками пламени от газовых горелок.

— Ма, — шепотом позвал Гарп.

— Да-да, — прошептала она. — Сейчас я тебя вытащу.

— Не отпускай меня, хорошо?

— Хорошо, — ответила она, и тотчас — словно от звука ее голоса — желоб ощутимо осел и прогнулся.

— Ма! — снова испуганно позвал Гарп.

— Не бойся, все будет хорошо, — сказала Дженни. А что, если просто дернуть его за ногу, дернуть очень сильно и протащить сквозь прогнивший

желоб? — думала она. А вдруг от такого рывка весь желоб оторвется от крыши? Что тогда? Перед ее глазами мелькнуло страшное видение: их обоих сметает с пожарной лестницы, и они вместе с грудой ржавого железа летят вниз… С другой стороны, Дженни прекрасно понимала, что никто не сумеет забраться в этот желоб и сперва втащить ее ребенка на крышу, а затем передать ей. Желоб едва держит пятилетнего мальчишку; взрослого он точно не выдержит. Но она знала совершенно твердо, что так и будет стоять на пожарной лестнице, крепко держа Гарпа за ногу, пока кто-нибудь не попытается высвободить его из этой ловушки.

Увидела их снизу одна из новеньких медсестер, мисс Грин, и сразу же помчалась за деканом Боджером, вспомнив, что к темной машине декана (на которой он каждую ночь раскатывал по школьному кампусу, высматривая мальчишек, улизнувших на улицу после отбоя) приделана специальная фара-искатель. Невзирая на жалобы садовников, Боджер ездил по всем дорожкам и лужайкам парка, высвечивая этой фарой темные закоулки и густые заросли кустарника возле зданий, что превращало парк при школе в весьма опасное место — как для воров, так и для влюб-

ленных парочек, которым больше некуда было податься.

Кроме того, сестра Грин вызвала и доктора Пелла; в критических ситуациях мысли ее всегда обращались к людям, способным принять на себя командование. Она, правда, не подумала о пожарниках — а вот Дженни о них вспомнила, хотя и опасалась, что желоб успеет рухнуть, прежде чем они сюда доберутся. Вдобавок она опасалась, что пожарники заставят ее отпустить ногу Гарпа, чтобы все проделать без ее участия.

Внезапно Дженни увидела у себя перед носом маленькую, насквозь промокшую теннисную туфлю Гарпа, которая возникла в призрачном слепящем свете фары-искателя, и стала внимательно эту туфлю рассматривать. Свет встревожил голубей, которые, вероятно, не ожидали, что утренняя заря наступит так скоро; впрочем, они, как всегда, с готовностью принялись возиться, скрестись и ворковать.

А внизу, на лужайке, мальчишки в белых больничных пижамах носились как сумасшедшие вокруг машины декана Боджера, чрезвычайно взволнованные всем случившимся и взбодренные решительными приказами декана. Боджер всех учеников называл «мужики». «Эй, мужи-

ки! — кричал он. — Разложить матрасы под пожарной лестницей! Живо!» Боджер уже лет двадцать преподавал в Стиринг-скул немецкий, когда его наконец назначили деканом, и его команды звучали как скорострельный пулемет, выплевывающий сплошные немецкие глаголы.

«Мужики» навалили под лестницу матрасы и теперь глазели сквозь ступени пожарной лестницы на освещенную фарой Дженни в безупречно белом медицинском халате. Один из мальчишек стоял, прислонившись к стене здания, прямо под лестницей, и пялился Дженни под юбку, на ее освещенные ноги; это зрелище так заворожило его, что он начисто забыл о трагичности ситуации — просто стоял и не мог оторвать глаз. «Шварц!» — рявкнул на него декан Боджер. Но фамилия мальчишки была Уорнер, и он на окрик не отреагировал, так что декану Боджеру пришлось оттолкнуть его, чтоб прекратить это любование. «Тащи еще матрасы, Шмидт!» — приказал ему Боджер.

А Дженни как раз что-то попало в глаз — то ли кусочек ржавчины, то ли соринка с дерева, — и, чтобы сохранить равновесие, ей пришлось пошире расставить ноги. Желоб осел еще больше; голубя, которого Гарп поймал, а потом невольно

выпустил, так и вышвырнуло из пролома, и он, судорожно махая крыльями, был-таки вынужден совершить короткий и довольно нелепый перелет на безопасный участок крыши. Дженни сперва показалось, что это вовсе не голубь, а падающее вниз тело ее сына; но она, еще крепче сжав ногу Гарпа, убедилась, что мальчик по-прежнему в желобе. Под тяжестью оседавшего желоба с лежащим в нем Гарпом Дженни сперва присела на корточки, а затем сорвалась с верхней ступеньки на следующую и упала, подвернув под себя ногу. Только тут она поняла, что теперь они оба в безопасности — желоб прочно опирался о верхнюю ступеньку, а сама она сидела чуть ниже. И только теперь Дженни решилась наконец отпустить ногу Гарпа. Великолепный синяк — почти полный отпечаток всех ее пальцев — красовался потом на лодыжке Гарпа целую неделю.

Снизу все это выглядело весьма непонятно. Декан Боджер заметил наверху какое-то странное движение, услышал скрежет ржавого железа, увидел, как сестра Филдз упала на следующую ступеньку лестницы и как трехфутовый обломок водосточного желоба рухнул куда-то во тьму. Однако ребенок сверху не падал, только нечто похожее на голубя метнулось сквозь луч света

от фары-искателя, но он не смог проследить за полетом птицы, исчезнувшей в ночи. Голубь, надо сказать ослепленный ярким светом, ударился о железную боковину пожарной лестницы и свернул себе шею. После чего штопором свалился вниз, словно спустивший футбольный мяч. Упал он довольно далеко от матрасов, которые Боджер приказал разложить на крайний случай, и декан сперва принял маленькое тельце падающей птицы за ребенка.

Вообще-то декан Боджер был человеком смелым и мужественным. У него было четверо детей, и он всех их воспитал в строгости. А увлечение чисто полицейским патрулированием кампуса мотивировал не столько желанием не давать людям развлекаться, сколько твердым убеждением, что почти любой несчастный случай, а они часто происходят в темноте, можно предотвратить — при наличии известной хитрости и предприимчивости.

Боджер, например, не сомневался, что сумеет поймать в воздухе падающего ребенка, поскольку в душе всегда был готов именно к такой ситуации — когда тело одного из учеников летит с темного неба прямо к нему в руки. Декан Боджер, коротко стриженный, мускулистый и большеголовый,

телосложением напоминал питбультерьера — такие же маленькие горящие глазки, как у этих собак, с такими же красными веками (и, в общем, напоминавшие свиные). Подобно питбулю, декан Боджер хорошо умел рыть землю и всегда готов был броситься вперед, к поставленной цели, что и сделал, выставив перед собой руки и не сводя глаз с падающего голубя. «Вот я тебя и поймал, сынок!» — воскликнул он, приведя в ужас мальчишек в больничных пижамах, явно не готовых к такому поведению декана.

Боджер резко нырнул вперед, хватая птицу, которая с такой силой ударилась о его грудь, что даже Боджер оказался не готов к подобному толчку. Несчастный голубь сбил его с ног и повалил на спину. У декана даже дыхание перехватило. Мертвую птицу он крепко сжимал в ладонях, клюв голубя упирался ему в подбородок. И тут один из перепуганных мальчишек догадался направить луч фары-искателя прямо на декана. Увидев, что прижимает к груди мертвую птицу, Боджер отшвырнул голубя, да так, что тот перелетел через головы изумленных ребят на парковочную площадку.

Вскоре в приемном покое изолятора воцарилась жуткая суматоха. Прибывший наконец

доктор Пелл немедленно занялся ногой Гарпа — там зияла рваная, хотя и неглубокая рана, которую пришлось здорово почистить, но накладывать швы не потребовалось. Сестра Грин сделала мальчику укол против столбняка, а доктор Пелл извлек кусочек ржавчины из глаза Дженни. Дженни немного потянула спину, пока держала на себе Гарпа вместе с обломком желоба, но, если не считать этого, была в полном порядке. Наконец все вздохнули с облегчением, и только тут Дженни посмотрела Гарпу прямо в глаза. Для всех Гарп был чуть ли не спасенным героем, однако сам он, по всей вероятности, хорошо понимал, что его ждет, когда они с Дженни останутся один на один.

Декан Боджер был одним из немногих в Стиринг-скул, кто питал добрые чувства к Дженни Филдз. Он отозвал ее в сторонку и сообщил — вполне конфиденциально *что*, если она считает нужным, он готов как следует отчитать Гарпа, если, конечно, такой выговор из уст декана школы окажет более серьезное и длительное воздействие, чем ее собственный нагоняй. Дженни выразила Боджеру свою глубокую признательность, и они договорились о том, какая именно угроза должна произвести на Гарпа наиболее

сильное впечатление. После чего Боджер стряхнул с груди голубиные перья и пух, заправил в штаны рубашку, вылезшую из-под ремня и тесного жилета, как крем из пирожного, и неожиданно объявил собравшимся, что желал бы остаться с маленьким Гарпом наедине. Все поспешно убрались из приемного покоя, и Гарп тоже попытался улизнуть следом за Дженни.

— Нет, — остановила его она. — Декан школы хочет поговорить с тобой.

И ушла. Гарп не знал еще, что такое *декан школы.*

— Твоя мать занята на работе по горло, верно, сынок? — спросил Боджер, когда они остались наедине. Гарп не понял, к чему он клонит, но согласно кивнул. — И она со своей работой справляется очень хорошо, если хочешь знать мое мнение, — продолжал Боджер. — И ей совершенно необходимо, чтобы в рабочее время она могла полностью доверять своему сыну. Ты знаешь, что такое «доверять», а, сынок?

— Нет, — сказал Гарп.

— Это значит — быть всегда уверенной, что ты находишься там, где, по твоим словам, и должен находиться; что ты никогда не сделаешь того, что не положено. Вот что значит «доверять», мой

мальчик. Как ты считаешь, твоя мать может тебе доверять?

— Да, — сказал Гарп.

— Тебе здесь нравится? — спросил Боджер. От Дженни он прекрасно знал, что мальчишке здесь очень нравится. Она сама предложила ему сыграть именно на этом.

— Да, — сказал Гарп.

— Ты слыхал, как меня ребята зовут? — спросил декан.

— Бешеным Псом? — неуверенно спросил Гарп. Он слыхал, как ребята в изоляторе называли кого-то Бешеным Псом, а декан Боджер, по мнению Гарпа, смотрелся в данный момент как настоящий бешеный пес. Однако декан очень удивился: у него было много разных кличек, но такой он еще не слыхал.

— Я имел в виду, что ребята обращаются ко мне «сэр», — пояснил Боджер и тут же с удовлетворением отметил, что Гарп — ребенок достаточно впечатлительный: сразу понял, что чем-то человека обидел.

— Да, сэр, — смущенно сказал Гарп.

— Так тебе действительно здесь нравится? — повторил декан свой вопрос.

— Да, сэр, — сказал Гарп.

— Ну так вот: если ты еще раз заберешься на пожарную лестницу, или на крышу, или еще куда-нибудь в этом роде, то больше ты здесь жить не будешь. Понятно?

— Да, сэр, — сказал Гарп.

— Вот и ладно. Ну, будь хорошим мальчиком и всегда слушайся маму. Иначе тебе придется уехать отсюда далеко-далеко, в чужие края.

Гарпу показалось, что вокруг вдруг стало темно, и он почувствовал себя страшно одиноким — как когда лежал в водосточном желобе, на целых четыре этажа выше того мира, где царят свет и полная безопасность. Он заплакал, но Боджер взял его за подбородок своими короткими толстыми пальцами — большим и указательным, — тихонько покачал его головенкой из стороны в сторону и сказал:

— Никогда больше не огорчай свою мать, мой мальчик. Иначе тебе всю жизнь будет вот так же плохо.

«Бедняга Боджер конечно же хотел мне добра, — писал позднее Гарп. — Но *так же* плохо мне было почти всю жизнь, и почти всю жизнь я только тем и занимался, что *огорчал* свою мать. Впрочем, мнение Боджера о том, как на самом деле устроен мир, представляется столь же сомнительным,

как и любое другое мнение по этому вопросу».

Гарп имел в виду иллюзию, которую бедняга Боджер питал в последующие годы своей жизни: ему казалось, что поймал он именно маленького Гарпа, когда тот падал с крыши, а вовсе не голубя. Впрочем, нет сомнений, что в те годы свалившийся из желоба голубь наверняка значил для добросердечного Боджера ничуть не меньше, чем маленький Гарп.

Декан Боджер часто воспринимал реальность в несколько искаженном виде. Той ночью, например, декан обнаружил, что кто-то снял с его машины фару-искатель. В ярости он перевернул вверх дном все палаты изолятора, даже те, где лежали заразные больные. «Этот фонарь в один прекрасный день засияет на чьей-то физиономии!» — орал Боджер. Но никто так и не признался. Дженни была уверена, что это Меклер, но доказать ничего не смогла. Декан Боджер уехал домой без своей фары. А дня через два он заболел, подхватив от кого-то грипп, и его стали лечить в изоляторе как амбулаторного пациента. Дженни особенно ему сочувствовала.

Прошло еще четыре дня, прежде чем Боджер случайно заглянул в «бардачок» своей машины. В тот вечер чихающий и сморкающийся декан,

как всегда, объезжал кампус, освещая его новой фарой-искателем, как вдруг его остановил новичок-патрульный из группы охраны.

— Господи помилуй, да ведь я здешний декан! — заорал Боджер на дрожащего как осиновый лист юного патрульного.

— Откуда мне это знать, сэр? — отвечал патрульный. — Мне велено никому не разрешать раскатывать тут по дорожкам.

— Вас должны были предупредить, что с деканом Боджером связываться опасно! — еще громче заорал Боджер.

— Да, меня предупреждали, сэр, — робко промямлил патрульный. — Но я же не знаю, что именно вы и есть декан Боджер!

— Ну хорошо, — уже более спокойно сказал Боджер, втайне весьма довольный такой преданностью патрульного своему долгу. — Я, несомненно, могу доказать, кто я такой. — Тут декан Боджер внезапно вспомнил, что у него просрочено водительское удостоверение, и решил предъявить патрульному свидетельство о регистрации автомобиля. Он полез за документом в «бардачок» и обнаружил там… дохлого голубя!

Итак, Меклер нанес очередной удар, и улик против него опять не было. Голубь оказался по-

чти «свежий», во всяком случае, черви на нем (пока что) не кишели. Зато в «бардачке» кишели вши, сбежавшие с мертвого голубя в поисках нового хозяина. Декан постарался как можно скорее вытащить свидетельство о регистрации и захлопнуть «бардачок», но патрульный не сводил с голубя глаз.

— Мне сказали, они тут стали серьезной проблемой, — заметил патрульный, — повсюду залезают, и вообще…

— Это мальчишки повсюду залезают! — проворчал Боджер. — Голуби, в общем-то, безвредны, а вот за мальчишками нужен глаз да глаз!

Довольно долгое время, которое показалось Гарпу несправедливо затянувшимся, Дженни буквально глаз с него не спускала. Она действительно все время *следила* за ним, но и понемногу училась ему доверять. И теперь старалась, чтобы Гарп сам доказал ей, что доверять ему можно.

В столь ограниченном людском сообществе, какое представляла собой Стиринг-скул, новости распространялись быстрее, чем стригущий лишай. История о том, как маленький Гарп забрался на крышу, а его мать даже не знала, что он туда залез, бросала тень подозрения на обоих: ребенок вроде Гарпа может дурно влиять на других детей;

мать вроде Дженни недостойна уважения, ибо плохо присматривает за своим сыном. Маленький Гарп, конечно, довольно долго не ощущал никакой дискриминации, но Дженни, которая незамедлительно распознавала дискриминацию (и незамедлительно пресекала любые ее попытки), в очередной раз почувствовала, что люди вокруг сделали ничем не оправданные выводы. Раз пятилетний ребенок был оставлен без присмотра и залез на крышу, значит, она — плохая мать и плохо воспитывает свое дитя. И к тому же этот Гарп — явно странный ребенок.

Мальчик ведь растет без отца, говорили некоторые, а у таких вечно на уме всякие гадости.

«Очень странно, — писал позднее Гарп, — но представление о том, что именно семья в конечном итоге должна убедить человека в его уникальности, моей матери всегда было чуждо. Мать была женщиной практичной; она верила только в реальные факты и в реальные результаты. Например, она верила в Боджера, поскольку то, чем занимался декан, было ей, по крайней мере, понятно. Она верила в конкретную работу: в работу учителя истории, в работу тренера по борьбе и конечно же в работу сестры милосердия. Но та семья, которая, собственно, и убедила меня

в моей неповторимости, в моей уникальности, никогда не пользовалась у моей матери уважением. Мать считала, что семья Перси вообще *никогда и ничего* не делает».

В этом убеждении Дженни Филдз была не одинока. Стюарт Перси, хотя имел вполне определенную должность и довольно высокий титул, реально никакой работой не занимался. Он назывался генеральным секретарем попечительского совета Стиринг-скул, однако никто и никогда не видел его, например, печатающим на машинке или хотя бы отдающим распоряжения своей секретарше. Да, конечно же, у него была секретарша, только вот сомнительно, чтобы у нее было что печатать. Некоторое время казалось, что Стюарт Перси имеет связи в Ассоциации выпускников Стиринг-скул, организации достаточно влиятельной — в силу богатства ее членов и кое-каких сентиментальных ностальгических воспоминаний, у них сохранившихся, — чтобы ее высоко ценили в администрации школы. Однако директор по делам выпускников утверждал, что Стюарт Перси слишком непопулярен среди бывших своих однокашников, чтобы от него была хоть какая-нибудь польза. Все эти люди хорошо помнили Перси еще с тех дней, когда учились в

Стиринг-скул.

Популярностью среди теперешних учеников школы Перси тоже не пользовался, они подозревали (и не без оснований), что он ни черта не делает.

Стюарт Перси был крупный краснолицый мужчина с выпяченной бочкообразной грудью, которая на поверку оказывалась всего-навсего приличных размеров животиком — в любую минуту эта браво торчавшая вперед «грудь» могла вдруг опасть, и распахнувшийся твидовый пиджак являл на всеобщее обозрение полосатый галстук цветов Стиринг-скул. «Кровь и синяк» — так именовал эти цвета Гарп.

Стюарт Перси, которого жена нежно называла Стьюи — хотя несколько поколений учеников школы именовали его не иначе, как Жирный, — носил какую-то странную, плоскую прическу, аккуратно зачесывая свои волосы цвета «тусклого серебра». Мальчишки говорили, что плоская голова, видимо, напоминает Стюарту палубу авианосца, потому что во время Второй мировой войны Стюарт служил на флоте. Его вклад в учебный процесс Стиринг-скул заключался в единственном предмете, который он и преподавал на протяжении пятнадцати лет — именно этот срок

потребовался кафедре истории, чтобы собраться с духом и запретить Стюарту преподавание. Но целых пятнадцать лет он таки приводил всех в полное замешательство. Только самых простодушных новичков и удавалось заманить на занятия, где он читал свой курс под названием «Мое участие в войне на Тихом океане»; этот курс охватывал лишь те морские сражения, в которых Стюарт Перси участвовал лично. Их было всего два. Так что печатного пособия по этому курсу не существовало. Имелись только лекции Стюарта и его личная коллекция слайдов. Слайды были пересняты со старых черно-белых фотографий — в итоге получилось нечто весьма загадочное и в высшей степени малопонятное. И по меньшей мере одна из этих серий памятных слайдов относилась к увольнению на берег, которое Стюарт провел на Гавайях: тогда-то он и познакомился со своей будущей женой Мидж и вступил с ней в законный брак

— Имейте в виду, мальчики, она ведь не из местных, — втолковывал Стюарт классу (хотя на сероватом снимке было трудно разглядеть, что она из себя представляет). — Она просто приехала на Гавайи погостить, — снова и снова повторял Стюарт, демонстрируя бесконечные слайды,

запечатлевшие «замечательные пепельные» волосы Мидж.

Все дети Перси также были белобрысыми, и напрашивалось предположение, что в один прекрасный день их волосы тоже приобретут цвет «тусклого серебра», как и у самого Стюарта, которого во времена Гарпа ученики прозвали Жирным Стью[3] в честь рагу, подававшегося в школьной столовой по меньшей мере раз в неделю. Это рагу готовили из остатков еще другого, тоже практически еженедельно подававшегося блюда, которое именовали «мясным месивом». Только Дженни всегда утверждала, что Стюарт Перси весь сделан из волос цвета пресловутого «тусклого серебра».

Но как бы ни обзывали Стюарта, просто Жирным, или Жирным Рагу, или Жирным Стью, те, кого ему удавалось затащить на свой курс «Мое участие в войне на Тихом океане», навсегда запоминали, что его жена Мидж вовсе не из гавайцев, хотя некоторым это приходилось буквально вдалбливать. Но вот о чем знали наиболее смышленые из учеников, а каждый преподаватель и сотрудник Стиринг-скул помнил практически с

---

3 Примечание: 3
Рагу (англ.).

первого дня (и впоследствии подвергал молчаливому презрению), так это что на Гавайях Стюарт Перси женился не на какой-то Мидж, а на Мидж *Стиринг.* Она была последней в роду Стирингов. И еще — неофициальной «принцессой» школы, поскольку ни одного директора Стиринг-скул ей в сети не попалось. Что же до Стюарта, то он женился на таких больших деньгах, что совершенно не нуждался в какой-либо карьере — достаточно было оставаться женатым на Мидж.

Отец Дженни Филдз, обувной король, при упоминании о деньгах Мидж Стиринг обычно весь передергивался.

«Мидж всегда была жуткой идиоткой, — писала Дженни Филдз в своей автобиографии. — Это ж надо придумать — поехать отдыхать на Гавайи во время Второй мировой войны! Ну полная идиотка! Да еще умудрилась влюбиться в Стюарта Перси и тут же начала рожать ему одного за другим детей, таких же никчемных, как он сам, и с такими же бесцветными волосами! А ведь, между прочим, еще шла война! Ну а потом, когда война закончилась, она притащила и своего муженька, и всех его многочисленных отпрысков в Стиринг. И потребовала, чтобы школа немедленно дала работу ее несравненному Стьюи!»

«Когда я был мальчишкой, — писал Гарп, — у Перси уже было трое или четверо маленьких „персиков“, и еще больше — уж не знаю сколько! — на подходе».

По поводу бесчисленных беременностей Мидж Перси Дженни Филдз даже сочинила что-то вроде детской дразнилки:

— Что таится у Мидж в ее кругленьком брюшке? Это вовсе не мяч и вообще не игрушка — Не волчок и не кукла, а так, ерунда: Отпрыск Стьюи Великого — как и всегда.

«Моя мать оказалась никуда не годной писательницей, — писал Гарп по поводу автобиографии Дженни. — Но рифмоплетом она была еще более скверным».

Впрочем, в те времена Гарпу было лет пять, так что эти стишки Дженни ему, разумеется, не прочла. И все-таки отчего Дженни так недоброжелательно относилась к Стюарту и Мидж Перси?

Дженни прекрасно знала, что Жирный Стью посматривает на нее свысока. Она никак на это не реагировала, просто всегда держалась начеку. Гарп же постоянно играл с детьми Перси, которым, однако, не разрешалось заходить к Гарпу в гости. «У нас в доме детям гораздо лучше, — как-то сказала Мидж в телефонном разговоре

с Дженни. — Я хочу сказать, — добавила она со смешком, — что у нас, по крайней мере, ничем не заразишься!»

Разве что глупостью, подумала Дженни, но в ответ сурово заметила: «Я прекрасно знаю, где лежат заразные больные, а где — незаразные. И на крыше больше никто не играет».

Если честно, то Дженни отлично знала, что в доме Перси, семейном гнезде Стирингов, детям очень удобно и просторно, там много воздуха, мягкие ковры на полу и полно прекрасных игрушек, собранных несколькими поколениями его обитателей. Это действительно был очень богатый дом. А поскольку о нем заботилось множество слуг, он не оскорблял своим богатством, был очень уютен и даже непритязателен. Эта самая непритязательность, которую семейство Перси могло себе позволить, больше всего и оскорбляла Дженни. Она считала, что ни у Стюарта, ни у Мидж при их невероятном богатстве просто не хватает мозгов, чтобы должным образом заботиться о своих детях; да и детей-то у них было слишком много. Может быть, думала Дженни, когда у тебя так много детей, даже естественно, что ты не уделяешь каждому из них особого внимания?

Когда Гарп играл с детьми Перси, Дженни очень

беспокоилась о своем сыне. Она и сама выросла в богатом доме, принадлежавшем людям из высшего общества, и прекрасно понимала, что дети богачей отнюдь не защищены от любых бед каким-то волшебным образом; просто в силу того, что родились в более благоприятных условиях, они чуть крепче других и обладают более устойчивым иммунитетом и обменом веществ. В Стиринг-скул, однако, было немало таких, кто, похоже, свято верил, что уже сама принадлежность к знатному или богатому семейству способна защитить от любых невзгод; ведь чисто внешне все выглядело именно так. Было что-то такое в этих детишках из аристократических семей — прически у них всегда в порядке, кожа чистая, ни царапин, ни синяков, да и выглядели они всегда спокойными и уверенными. Вероятно, думала Дженни, это потому, что им не о чем беспокоиться и они ничего особенного в жизни не желают. Но тут же вспоминала, что ей-то самой удалось вырасти абсолютно не похожей на этих детей.

Ее беспокойство о Гарпе, по правде говоря, основывалось на наблюдениях за детьми Перси. Те вечно носились повсюду без всяких ограничений, словно их мать и вправду верила, что их оберегает некая волшебная сила. Почти альби-

носы, с совершенно прозрачной кожей, детишки Перси действительно казались заколдованными, а может, были просто здоровее других детей. И какие бы чувства ни испытывали преподаватели школы и члены их семей по отношению к Жирному Стью, они не могли не признать, что в детях Перси, и даже в самой Мидж, «видна порода». Тут явно работают мощные защитные гены, думали они.

«Моя мать, — писал позднее Гарп, — всегда воевала с теми, кто воспринимал заложенное в генах чересчур серьезно».

Однажды днем Дженни, выглянув в окно, увидела, что ее маленький темноволосый сынишка бежит через лужайку перед изолятором по направлению к школьным зданиям, более изящным, выкрашенным белой краской, с зелеными ставнями; там же располагался и дом Перси — в самом центре, как старейшая церковь города, полного и других церквей. Некоторое время Дженни наблюдала за Гарпом и стайкой детей, которая следовала за ним. Они стремглав неслись по ровным, совершенно безопасным и тщательно размеченным дорожкам кампуса. Гарп мчался впереди, а вереница неуклюжих, спотыкающихся детишек Перси неслась за ним

вместе с другой ребятней.

Среди них был и Кларенс дю Гар, чей папаша преподавал в школе французский и всю зиму держал окна закрытыми, хотя от него так несло потом, словно он вообще никогда не моется; был среди этих ребят и Толбот Мейер-Джонс, отец которого куда лучше знал историю всей Америки, чем Стюарт Перси — историю своего участия в войне на Тихом океане; была там и Эмили Хамилтон, у которой было восемь братьев и которая окончит гораздо менее престижную женскую школу всего за год до того, как в Стиринг-скул начнут принимать девочек. Мать Эмили потом покончит жизнь самоубийством, что вовсе не обязательно связано с решением о приеме девочек в Стиринг-скул, но совпало с ним по времени (у Стюарта Перси это вызовет реплику, что решение о допуске в школу девочек способно привести лишь к большему количеству самоубийств). Были там и братья Гроув — Айра и Бадди, «дети из города»; их отец работал в хозяйственном отделе Стиринг-скул, вопрос о приеме их в школу оказался довольно щекотливым — преподаватели долго решали, можно ли позволить «детям из города» учиться в Стиринг-скул и стоит ли ожидать, что *такие* дети будут здесь достаточно

хорошо успевать.

Стоя у окна, Дженни наблюдала за детьми, бегавшими по квадратным ярко-зеленым лужайкам и по дорожкам, залитым свежим асфальтом, среди кирпичных домов, стены которых настолько выгорели на солнце, что теперь мягкой окраской напоминали розовый мрамор. Вместе с детьми, с некоторым беспокойством отметила Дженни, носилась и собака Перси — совершенно безмозглая и уродливая тварь (вообще-то огромный ньюфаундленд), на протяжении многих лет игнорировавшая городские законы о выгуливании собак только на поводке; эта гнусная псина выставляла напоказ свою безнаказанность точно так же, как семейство Перси — свою непритязательность. Щенком она вечно опрокидывала мусорные баки, рылась в них и обожала воровать бейсбольные мячи.

Однажды этот пес стащил у детей волейбольный мяч и разорвал его — вовсе не по злобе, а просто по глупости: мяч ему был совершенно не нужен. Но когда мальчик, хозяин порванного мяча, попытался извлечь «останки» из огромной пасти, пес разозлился и здорово покусал парнишку, оставив довольно глубокие раны у локтя и на запястье. Будучи медсестрой, Дженни прекрасно

понимала, что это отнюдь не случайность, что пес Бонкерс не «просто немного заигрался, он ведь так любит играть с детьми!» — как заявила Мидж Перси, которая, собственно, и дала собаке это дурацкое имя: Бонкерс. Мидж рассказывала Дженни, что взяла эту собаку вскоре после рождения своего четвертого ребенка. Слово «бонкерс» означает «слегка помешанный», и Мидж сообщила Дженни, что именно таковой она себя ощущает по отношению к Стьюи даже после того, как родила от него четверых детей. «Я всегда была слегка помешана на нем, — сказала Мидж, — вот и собаку так назвала — Бонкерс. Хотела лишний раз подтвердить свои чувства к Стьюи».

«Мидж Перси и точно была не в своем уме, — писала потом Дженни Филдз. — Эта собака была просто убийцей, однако ее защищало типичное для высшего американского общества убогое и бессмысленное утверждение, что дети и домашние животные, воспитанные в аристократическом семействе, никак не могут ни быть чересчур свободными, ни навредить кому-либо этой своей свободой. Другим людям, победнее и попроще, ни в коем случае не дозволяется ни заполонять собою весь мир, ни спускать с поводка своих собак, а вот дети и собаки богачей вправе

бегать на свободе».

«Ублюдки из высшего общества» — так впоследствии именовал их Гарп: и собак, и детей.

Даже в те годы он бы вполне согласился с утверждением своей матери, что собака Перси, ньюфаундленд Бонкерс, опасна для окружающих. Ньюфаундленд — собака с густой непромокаемой шерстью, чем-то похожая на сенбернара, если того выкрасить в черный цвет, а лапы снабдить перепонками. Обычно ньюфаундленды ленивы и дружелюбны. Но Бонкерс был не такой. Однажды в разгар футбольного матча на лужайке перед домом Перси он вылетел на поле и всеми своими ста семьюдесятью фунтами навалился сзади на пятилетнего Гарпа, а вдобавок откусил ему мочку левого уха и часть ушной раковины. Бонкерс мог бы запросто откусить Гарпу и все ухо, но отличался неспособностью сосредоточиться на чем-то одном. Остальные дети в панике разбежались.

— Бонки кого-то укусил, — сообщил один из юных Перси матери, оттаскивая ее от телефона. В семействе Перси бытовала привычка добавлять ласкательно-уменьшительный суффикс «и» к именам всех его членов. Таким образом, дети — Стюарт (младший), Рэндолф, Уильям, Кушмен (девочка) и Бейнбридж (еще одна девочка) — пре-

вратились в Стьюи-младшего, в Допи, в Писклю Вилли, в Куши и Пух. Бедная Бейнбридж, к имени которой трудно было присобачить «и»; она была последним ребенком в семье и еще носила подгузники; а посему в «изящной» попытке придать ее домашнему имени не просто описательный, но вполне литературный характер она и получила прозвище Пух.

В данный момент именно Куши тащила Мидж за руку, и это она сообщила матери, что «Бонки кого-то укусил».

— Кого на этот раз? — спросил Жирный Стью и схватил ракетку для сквоша, словно намереваясь немедленно во всем разобраться. Однако он оказался совершенно не одет, так что именно Мидж, запахнув поплотнее халат, приготовилась стать первым взрослым человеком на месте свершившегося преступления.

Стюарт Перси частенько болтался по дому чуть ли не голым. Причем неизвестно почему. Может быть, чтобы снять напряжение, которое возникало у него, когда он бродил по кампусу при полном параде и совершенно не знал, чем бы заняться. Просто бродил, демонстрируя «тусклое серебро» своей прически. А может быть, он поступал так в силу необходимости — чтобы столь активно

плодиться и размножаться, он просто обязан был раздеваться, и довольно часто.

— Бонки укусил Гарпа, — сообщила маленькая Куши Перси. Ни Стюарт, ни Мидж не успели заметить, что Гарп уже появился в дверях холла. Одна сторона его головы была в крови и казалась совершенно изжеванной.

— Миссис Перси, — прошептал Гарп, но недостаточно громко, и его не услышали.

— Так это был Гарп? — переспросил Стюарт. Наклоняясь, чтобы положить ракетку обратно в шкаф, он сдавил свой жирный живот и пукнул. Мидж быстро глянула на него, но ничего не сказала. — Значит, Бонки укусил Гарпа? — продолжал Стюарт. — Ну что ж, по крайней мере, у этого пса хороший вкус!

— Ох, Стьюи! — воскликнула Мидж и издала короткий смешок, будто плюнула. — Гарп ведь еще совсем маленький.

А маленький Гарп так и стоял, едва не теряя сознание и пятная кровью дорогущий ковер, которым полностью был застелен пол в четырех огромных комнатах первого этажа.

Куши Перси, чья молодая жизнь впоследствии оборвется, когда она попытается вытолкнуть из себя своего первенца, увидела, что Гарп пачкает

кровью фамильный ковер, наследие Стирингов, и, выкрикнув: «Вот здорово!», выскочила вон.

— Ох, надо бы позвонить твоей матери, — сказала Мидж Гарпу, у которого в голове стоял звон от собачьего лая и рычанья.

Долгие годы Гарп так и будет ошибочно считать, что крик Куши «Вот здорово!» относился вовсе не к его изуродованному и окровавленному уху, а к огромному серовато-бледному и абсолютно обнаженному телу ее отца, которое, казалось, заполняло собой весь холл. Именно это и могло быть «здорово», с точки зрения Гарпа: здоровенный мужик, бывший моряк, с животом, точно пивная бочка, и совершенно голый наступал на него из глубины холла от вздымавшейся вверх винтовой лестницы.

Стюарт Перси опустился перед Гарпом на колени, с любопытством глядя на окровавленное лицо мальчика. При этом смотрел он вроде бы совсем и не на изгрызенное псом ухо, Гарп даже подумал, не надо ли указать этому голому мужику, где именно у него рана. Но Стюарт Перси действительно смотрел не на укус. Он смотрел в блестящие карие глаза Гарпа, изучал их цвет и разрез и при этом что-то бормотал, словно убеждая себя в только что открытой истине, потом

утвердительно кивнул и сообщил своей глупой светловолосой Мидж:

— Джап!

Пройдет немало лет, прежде чем Гарп поймет и это. А Стюарт Перси продолжал доказывать жене:

— Я достаточно времени провел на Тихом океане, чтобы с ходу распознать джапские глаза. Говорю тебе, он был японцем! — Под словом «он» Стюарт Перси имел в виду человека, который, как он полагал, был отцом Гарпа. В Стиринг-скул игра-угадайка «кто отец Гарпа» пользовалась большой популярностью. И вот теперь Стюарт Перси, основываясь на своем опыте войны на Тихом океане, решил, что отцом Гарпа был японец.

«А в тот момент, — писал позднее Гарп, — я решил, что слово „джап“ означает, что у меня больше нет уха».

— Звать его мамашу нет смысла, — сказал Стюарт жене. — Просто отведи его в изолятор. Она же медсестра, верно? Она лучше знает, что надо делать.

Что надо делать, Дженни действительно знала.

— Вам бы надо привести сюда собаку, — сказала она Мидж, тщательно промывая то, что осталось от уха Гарпа.

— Бонкерса? — спросила Мидж.

— Приведите его сюда, — сказала Дженни. — Я сделаю ему укол.

— Инъекцию? — спросила Мидж и засмеялась. — Вы хотите сказать, что после вашего укола он больше никого кусать не будет?

— Нет, — спокойно ответила Дженни. — Я хочу сказать, что таким образом вы можете сэкономить на ветеринаре. Я имела в виду укол, после которого пес сдохнет. Существуют такие инъекции, знаете ли. И тогда он уж точно больше никого не укусит.

«Вот так, — писал позднее Гарп, — и начались наши „Персидские“ войны. Для моей матери, как мне кажется, они носили классовый характер; впрочем, как она заявляла впоследствии, все войны — так или иначе классовые. Ну а я просто четко усвоил, что Бонкерса следует опасаться. Да и всех остальных Перси тоже».

Стюарт Перси направил Дженни Филдз меморандум, напечатанный на официальном бланке Стиринг-скул. «Я не могу поверить, — писал он, — что вы действительно хотите усыпить Бонкерса!»

— Можем поспорить на вашу жирную задницу, что именно этого я и хочу, — ответила ему

Дженни по телефону. — Или пусть он, по крайней мере, отныне и навсегда сидит на привязи.

— Какой же смысл держать собаку и не позволять ей побегать на свободе? — заметил Стюарт.

— Тогда усыпите его, — сказала Дженни.

— Бонкерс уже получил все необходимые инъекции, но все равно — спасибо за предложение, — сказал Стюарт. — Бонкерс ведь очень добрый, право! И только если его раздразнить…

«По всей видимости, — писал позднее Гарп, — наш Жирный Стью полагал, что Бонкерса „раздразнила“ моя „японистость“».

— А что такое «хороший вкус»? — спросил через некоторое время у Дженни маленький Гарп. В изоляторе, где доктор Пелл как раз зашивал ему ухо, Дженни напомнила доктору, что Гарпу недавно уже делали укол от столбняка, и повернулась к сыну.

— Хороший вкус? — переспросила она, внимательно на него глядя. Надо сказать, что искалеченное ухо вынудило Гарпа отныне постоянно носить длинные волосы, а он эту прическу не любил и часто жаловался на свои «патлы».

— Ну да, Жирный Стью сказал, что у Бонкерса хороший вкус, — повторил Гарп.

— И потому, значит, он и укусил тебя? — уточ-

нила Дженни.

— Наверное, — сказал Гарп. — Так что это значит? Дженни прекрасно знала что. Но ответила:

— Это значит, что Бонкерс, видимо, понимал, что ты самый вкусный мальчик из всей вашей компании.

— А я вправду вкусный? — спросил Гарп.

— Конечно, — уверенно ответила Дженни.

— А Бонкерсу откуда это известно?

— Вот этого я не знаю, — призналась Дженни.

— А что такое «джап»? — спросил Гарп.

— Это Жирный Стью тебя так называл? — спросила его Дженни.

— Нет, — ответил Гарп. — Думаю, он сказал это про Мое ухо.

— А, ну конечно про твое ухо! — согласилась Дженни. — Это просто значит, что ушки у тебя особенные. — Однако она уже всерьез подумывала, не сказать ли сыну прямо сейчас, что она думает об этих Перси, или же он, будучи достаточно похож на нее, сумеет сам во всем разобраться некоторое время спустя и дать выход своему гневу не без выгоды для себя, ибо, во-первых, приобретет ни с чем не сравнимый опыт, а во-вторых, это может произойти в более важный момент его жизни. Возможно, думала она, лучше

приберечь свои размышления до той поры, когда Гарп сможет ими воспользоваться. Дженни всегда считала, что впереди их ждет еще немало сражений, и куда более крупных.

«Моя мать как будто нуждалась во врагах, — писал позднее Гарп. — Реальные или воображаемые, враги эти помогали ей понять, как она должна себя вести и как должна воспитывать меня. Материнство не было у нее инстинктом. Честно говоря, моя мать, по-моему, вообще сомневалась в том, что человеку хоть что-либо дается естественным путем. Она всегда была до предела застенчивой и осмотрительной».

Вот так мир, который был своим для Жирного Стью, стал враждебным для Дженни, и случилось это уже в первые годы жизни Гарпа; начался этап, который можно назвать «подготовкой Гарпа к поступлению в Стиринг-скул».

Дженни наблюдала, как у сына отрастают волосы, постепенно скрывая его искалеченное ухо, и удивлялась, насколько он хорош собой, ведь мужская красота никогда не была определяющим фактором в ее отношениях с техником-сержантом Гарпом. Даже если техник-сержант и был очень недурен, то Дженни этого толком не заметила. Но юный Гарп оказался мальчиком действительно

красивым, этого она не могла не видеть, хотя и оставался маленьким, словно родился специально для того, чтобы ему было удобно в поворотной башенке бомбардировщика.

Малышня, носившаяся по дорожкам Стиринг-скул, квадратным зеленым лужайкам и игровым площадкам, менялась на глазах; дети, взрослея, становились все более застенчивыми и неуклюжими. Кларенсу дю Тару вскоре потребовались очки, которые он вечно разбивал; за эти годы Дженни неоднократно приходилось лечить его простуженные уши, а однажды — сломанный нос. Толбот Мейер-Джонс вдруг начал шепелявить; фигурой он напоминал бутылку, зато отличался добрым нравом, но, к сожалению, страдал небольшим хроническим синуситом. Эмили Хамилтон так вытянулась, что без конца спотыкалась, и ее локти и коленки от бесконечных падений вечно были в ссадинах и кровоточили, а когда у нее появились маленькие груди, которыми она чрезвычайно гордилась, Дженни иногда с грустью думала: жаль, что у меня нет дочери. У Айры и Бадди Гроувов, «детей из города», были толстые коленки, широкие запястья и мощные шеи, а пальцы всегда в грязи и ссадинах, потому что оба они вечно отирались в хозяйственном от-

деле, которым командовал их отец. Подрастали и дети Перси, бесцветно-блондинистые и какие-то металлически-чистые; глаза и волосы у них были цвета тусклого льда на солоноватой Стиринг-ривер, что протекала через солончаковые болота к недалекому морю.

Стюарт-младший окончил Стиринг еще раньше, чем Гарп туда поступил; Дженни дважды его лечила: один раз он растянул щиколотку, а в другой раз подцепил триппер. Позднее ему предстояли и другие испытания: курс в Гарвардской школе бизнеса, курс лечения от стафилококковой инфекции и развод.

Рэндолфа Перси именовали Допи[4] до самой смерти (от сердечного приступа, ему тогда было всего тридцать пять; он оказался таким же плодовитым, как и его жирный папаша, и произвел на свет пятерых отпрысков). Допи так и не сумел получить аттестат в Стиринг-скул, однако успешно перевелся в какую-то другую приготовительную школу и через некоторое время ее окончил. А как-то в воскресенье вдруг раздался пронзительный крик Мидж: «Наш Допи умер!» В этих обстоятельствах дурацкая кличка прозвуча-

4 Примечание: 4
Полусонный, одурманенный (англ).

ла столь ужасно, что вся семья с тех пор называла покойника исключительно Рэндолфом.

Уильям Перси, он же Пискля Вилли, надо отдать ему должное, всегда стеснялся своего прозвища и хотя был на три года старше Гарпа, относился к нему дружески, при том что был старшеклассником, а Гарп только еще поступил в школу. Дженни этот мальчик всегда нравился, и она звала его только Уильям. Она много раз лечила его от бронхитов и была страшно огорчена, узнав, что он погиб на войне (сразу по окончании Йейльского университета); она даже послала письмо с соболезнованиями Мидж и Жирному Стью.

Что же касается девочек, то Куши Перси впоследствии добилась своего (и Гарп сыграл в этом известную роль, хотя и небольшую; они с Куши были почти ровесники). А бедняжка Бейнбридж, самая младшая из детей Перси, получившая издевательскую кличку Пух, снова встретилась с Гарпом, когда он был уже на пике своей писательской карьеры.

Все эти дети, и Гарп вместе с ними, взрослели у Дженни на глазах. Дженни дожидалась, когда Гарп дорастет до Стиринга, а черный монстр Бонкерс меж тем состарился и едва ходил, но зубов своих, как замечала Дженни, не растерял. И Гарп

по-прежнему его остерегался, даже когда Бонкерс перестал бегать за ребятами, а всего лишь прятался в тени возле белых колонн у входа — весь в космах отросшей, спутанной шерсти, похожий в темноте на куст терновника. Гарп все равно глаз с него не спускал. А вот ученики младших классов, особенно новички, не раз подходили к псу чересчур близко, и тот пускал в ход свои зубы. Дженни вела строгий учет всех наложенных швов и откушенных «частей тела», за которые был в ответе этот проклятый пес, но Жирный Стью игнорировал любые критические замечания Дженни, и Бонкерс продолжал бесчинствовать.

«Мне кажется, мать в итоге просто жить не могла без этой собаки, хотя никогда бы в этом не призналась даже себе самой, — писал Гарп. — Бонкерс стал для нее таким же врагом, как все семейство Перси, этаким сгустком враждебной энергии, воплощенной в мощных мышцах, длинной шерсти и отвратительном запахе. Похоже, мама с радостью наблюдала, как эта собака стареет, а я подрастаю».

Когда Гарп был готов к поступлению в Стирингскул, Бонкерсу стукнуло четырнадцать. А когда Гарп поступил в школу, у Дженни Филдз появилось уже и несколько собственных волос цвета

«тусклого серебра». Она к этому времени успела уже прослушать все стоящие курсы и составила их перечень в порядке, так сказать, универсальной ценности и развлекательности. Когда Гарп учился в Стиринг-скул, Дженни получила подарок, обычный для преподавателей и штатных сотрудников школы, сумевших протянуть в ней пятнадцать лет, — знаменитые стиринговские обеденные тарелки. На донышках этих тарелок были изображены и богато изукрашены цветами скучные кирпичные здания школы, включая пристройку с изолятором. В общем, те же старые добрые «кровь и синяк».

3. Кем он хотел бы стать, когда вырастет

В 1781 году вдова и дети Эверетта Стиринга основали Стиринг-скул, вернее, «Частное учебное заведение Стиринга», как она сперва называлась, поскольку, разрезая последнего в своей жизни рождественского гуся, Эверетт Стиринг объявил своему семейству, что его огорчает только одно: он не учредил в родном городе частной школы, способной подготовить его мальчиков к поступлению в университет. Дочерей своих он даже не упомянул. Он был судостроителем в городишке, который связывала с морем обреченная на обмеление река. И Эверетт знал, что и город тоже обречен. Человек суровый, обычно не склонный к шуткам и играм, в тот последний рождественский вечер он вдруг принялся увлеченно играть в снежки со своими многочисленными детьми, а в итоге получил апоплексический удар и скончался еще до наступления ночи. Ему было семьдесят два, так что даже его «мальчики и девочки» были, пожалуй, староваты, чтобы играть в снежки с таким восторгом и упоением. Однако он имел

полное право называть Стиринг *своим* городом.

Местные жители назвали город в его честь в порыве энтузиазма, вслед за провозглашением независимости.

Во время Гражданской войны Эверетт Стиринг организовал доставку орудий на конной тяге и их установку в стратегически важных пунктах по берегу реки; орудия предназначались для отражения атаки, которой так и не последовало, — атаки британских войск, которые, как ожидалось, должны были подняться вверх по реке со стороны моря, от Грейт-Бэй. Река называлась Грейт-ривер, но по окончании войны ее переименовали в Стиринг-ривер, а городишко, вообще не имевший названия — его звали просто «медоуз», луга, поскольку он лежал в низине меж соленых и пресноводных болот в нескольких милях от Грейт-Бэй, — тоже окрестили Стирингом.

Многие семьи в Стиринге были связаны с судостроением и иными видами бизнеса, пришедшими сюда с моря по реке; городишко издавна служил для Грейт-Бэй дополнительным портом. Но, уведомив семейство о своем желании основать частное учебное заведение для мальчиков, Эверетт Стиринг вдобавок сообщил, что портом Стирингу недолго оставаться. Река, как

он заметил, скоро окончательно обмелеет из-за наносного ила.

За всю свою жизнь Эверетт Стиринг пошутил один-единственный раз, да и то лишь в кругу семьи. Шутка сводилась к тому, что единственная река, которую назвали его именем, полна ила и грязи, и чем дальше, тем этой грязи все больше. Вокруг до самого моря тянулись сплошные болота и низменные луга, и если горожане не примут решения сохранить Стиринг в качестве порта и не углубят русло реки, то скоро даже гребной лодке будет очень непросто пройти от Стиринга до Грейт-Бэй (разве что при очень уж высоком приливе). Эверетт понимал, что когда-нибудь приливная волна дойдет и до его дома, и до Атлантического океана.

В следующем столетии у семейства Стиринг хватило ума перевести свои финансовые средства из судостроения в текстильную промышленность — фабрику, функционировавшую благодаря использованию силы течения Стиринг-ривер. Ко времени Гражданской войны единственным предприятием в городе было «Стиринг-миллз». Семейство, таким образом, переметнулось от кораблей и лодок к тряпкам.

Другое семейство стирингских судостроителей

оказалось не столь удачливым. Последний корабль, построенный на их верфи, сумел одолеть только полпути от Стиринга до моря. На когда-то печально знаменитом участке реки, который называли Кишка, последний построенный в Стиринге корабль навеки увяз в грязи; его еще многие годы было видно с дороги — наполовину залитый водой в прилив и практически целиком выступающий из воды при отливе. Дети играли на нем, пока он не рухнул набок, задавив при этом чью-то собаку. Фермер-свиновод по фамилии Гилмор сумел вытащить из грязи мачты упавшего корабля и соорудил из них сарай К тому времени, когда юный Гарп начал учиться в Стиринг-скул, школьная гребная команда могла гонять по реке на своих «шеллах»[5] только при высоком приливе. В отлив же Стиринг-ривер превращалась в сплошной поток жидкой грязи от Стиринга до самого моря.

Так что частная мужская школа в Стиринге была основана в 1781 году благодаря инстинктивной догадке Эверетта о судьбе реки. А примерно столетие спустя Стиринг-скул начала процветать и стала знаменитой.

---

5 Примечание: 5
«Шелл» — восьмивесельная гоночная лодка (англ.)

«Однако, — писал позднее Гарп, — с годами хитроумные стиринговские гены оказались слишком сильно разбавлены другими генами; „речные инстинкты“, некогда превосходные, в итоге сошли на нет». Гарп предпочитал упоминать о Мидж Стиринг-Перси именно в таком контексте: «Она как раз из тех Стирингов, чьи „речные“ инстинкты сбились с пути». Гарп считал истинной иронией судьбы, что «гены Стирингов с заложенным в них „речным“ инстинктом растеряли все нужные хромосомы, пока добрались до Мидж. Ее „чувство воды“, — писал он, — оказалось столь извращенным, что сперва повлекло ее на Гавайи, а затем прибило к Военно-морским силам США — точнее, к Жирному Стью».

Мидж Стиринг-Перси была последней в роду. После ее смерти только название Стиринг-скул напоминало о династии Стирингов; старик Эверетт, возможно, предвидел и это. Впрочем, многие знатные семейства не оставили после себя даже такого наследия, а многие оставили и кое-что похуже. Во времена Гарпа Стиринг-скул, по крайней мере, еще сохраняла упорную преданность поставленной задаче — «подготовке мальчиков к поступлению в университет», как говорил старый Стиринг. Что же касается Гарпа, то его мать

имела аналогичную цель и относилась к ней не менее серьезно. Сам Гарп тоже относился к школе настолько серьезно, что даже Эверетт Стиринг, с его единственной за всю жизнь шуткой, был бы им доволен.

Гарп заранее знал, на какие курсы и к каким конкретно преподавателям стоит записаться. Собственно, зачастую именно это и определяет, насколько успешно учится тот или иной ученик. Гарп способностями не блистал, но обладал четкой направленностью; многие из выбранных им предметов хорошо знала и помнила Дженни, а уж погонять сына она умела прекрасно. Как и его мать, Гарп, вероятно от природы, не питал склонности к интеллектуальным занятиям, зато отличался чрезвычайной дисциплинированностью, тоже унаследованной от Дженни; настоящая медсестра ведь просто обязана поддерживать строжайшую дисциплину. К тому же Гарп очень доверял своей матери.

Если Дженни что-то и упустила, столь пристально опекая сына, то лишь в одном плане: она никогда не придавала особого значения спорту и ничего не могла посоветовать Гарпу в этом отношении. Зато она могла подсказать ему, что курс лекций по истории культур Восточной

Азии, который вел мистер Меррил, понравится ему значительно больше, чем курс «Англия при Тюдорах», который читал мистер Лэнгдел. Но Дженни понятия не имела о том, какова разница между обычным футболом и американским, и не представляла себе ни тех восторгов, ни тех огорчений, которые может принести каждая из этих игр. Она видела, что ее сын невелик ростом, однако достаточно силен и ловок, что у него быстрая реакция и что шумным играм он предпочитает одиночество. И решила, что Гарп сам разберется, какая из спортивных игр ему по душе. А как раз в этом-то он разобраться никак и не мог.

Командные игры, по его мнению, были сплошной глупостью. Грести в лодке, стараясь работать веслом в унисон с другими, то есть как раб на галере, макать идиотское весло в тухлую воду — ничего глупее просто не придумаешь, тем более что вода в Стиринг-ривер и впрямь воняла тухлятиной и там в изобилии плавали промышленные отходы и человеческое дерьмо, а после каждого отлива на берегах оставались еще и горы морской слизи (мерзость, напоминавшая замороженный свиной жир). Река Эверетта Стиринга была полна всякой дряни, но даже если бы в ней текла кристально чистая вода, все равно гребец

из Гарпа был никудышный. И теннисист тоже. В одном из своих первых сочинений — в первый год учебы в Стиринге — Гарп писал: «Не люблю играть с мячом. Мяч словно мешает спортсмену выполнять спортивное упражнение. То же самое можно сказать и о шайбах для хоккея, и о воланах для бадминтона; а коньки и лыжи совершенно определенно становятся преградой между телом спортсмена и землей. И спортсмен как бы отдаляется от своей цели в состязании — ему мешают всякие ракетки, клюшки, мячи и т. п., — теряет не только чистоту движения, но и свои силы, и свое внимание». Судя по приведенной цитате, Гарп даже в пятнадцать лет уже обладал вполне заметным собственным эстетическим чувством.

Поскольку для европейского футбола он был маловат, а американский футбол тоже не обходился без мяча, он начал бегать на длинные дистанции, что здесь называли «кроссом», но слишком часто попадал в лужи и вечно страдал от простуды.

Когда открылся зимний спортивный сезон, Дженни была очень огорчена тем, как неуверенно ощущает себя Гарп, и даже начала было ругать его за то, что он никак не может сделать элементарный выбор и решить, какой вид спорта ему больше всего подходит. Но Гарпу спорт вовсе

не казался ни отдыхом, ни развлечением. Он вообще пока не нашел для себя такого занятия, которое давало бы ему ощущение отдыха. С самого начала он, казалось, знал, что ему суждено заниматься лишь вещами серьезными, требующими большого напряжения сил. («Писатели не читают для собственного удовольствия», — писал впоследствии Гарп, имея в виду себя.) Еще до того, как юный Гарп понял, что хочет стать писателем, он, похоже, ничего не делал «просто для удовольствия».

В тот день, когда Гарпу предстояло расписаться в графике занятий зимними видами спорта, он сидел в заключении — в изоляторе. Дженни даже с постели ему встать не разрешила.

— Все равно ведь не знаешь, чем тебе заняться, — заявила она ему. И Гарпу оставалось только послушно лежать в постели и кашлять. — Неужели ты настолько глуп, — сердито продолжала Дженни, — что, прожив пятнадцать лет в этой гнусной школе, до сих пор не додумался, во что тебе играть на спортивной площадке?!

— Но мне спорт вообще не нравится, мам, — просипел Гарп. — Хотя все равно надо что-то выбрать…

— А зачем? — спросила Дженни.

— Не знаю!!! — простонал он. И снова закашлялся.

— Господи помилуй! — воскликнула Дженни. — Ну ладно, я сама выберу, чем тебе заниматься. Прямо сейчас пойду в спорткомплекс и запишу тебя в какую-нибудь спортивную секцию.

— Нет! — заорал Гарп.

И тут Дженни произнесла то, что — за *четыре* года в Стиринг-скул — стало для Гарпа аксиомой:

— Я ведь знаю больше, чем ты, верно?

— Верно, но сейчас дело совсем не в этом, мам! — воскликнул Гарп в полном отчаянии. — Конечно, ты прослушала почти все здешние курсы, но ты же никогда не играла ни в одной команде! Ты вообще спортом никогда не занималась!

Если Дженни Филдз и признала в душе, что на сей раз ее сын совершенно прав, то вслух она этого не сказала. И, не желая отступать от намеченной цели, собралась уходить. Стоял типичный для здешних мест декабрьский денек, земля превратилась в поблескивающую на морозе слякоть, а выпавший снежок был совершенно серый, затоптанный грязными башмаками восьми сотен мальчишек Дженни Филдз закуталась потеплее и потащилась через мрачный зимний

кампус, убежденная, что поступает так исключительно ради блага своего сына. Посмотреть на нее — точь-в-точь сестра милосердия, которая безропотно идет на передовую, неся сражающимся на русском фронте солдатам хоть маленькую надежду на победу и спасение. Именно с таким выражением лица она и появилась в спорткомплексе Стиринг-скул. За все пятнадцать лет, проведенные в этой школе, здесь она не была ни разу: считала ненужным. В дальнем конце кампуса, окруженный несколькими акрами спортплощадок, катков и теннисных кортов, высился спорткомплекс, похожий на срез улья. На фоне грязного снега он показался Дженни грозным противником, ибо битву она уже предвкушала. И сердце ее наполнилось горечью и беспокойством.

Школьный спорткомплекс, а также стадион, несколько хоккейных площадок и катков носили имя Майлса Сибрука — знаменитого спортсмена и летчика-аса времен Первой мировой войны; его лицо и массивный торс приветствовали Дженни с фотографического триптиха, размещенного в стеклянном шкафу у входа в спорткомплекс. Майлс Сибрук на фото 1909 года был в кожаном футбольном шлеме и никому не нужных в дан-

ный момент наплечниках. Под фото бывшего номера 32 лежала его футболка, от времени превратившаяся практически в мятую тряпку, выцветшую и траченную молью; футболка красовалась в закрытом шкафу для спортивных трофеев прямо под первой из фотографий Майлса, с подписью: «Настоящая футболка М.Сибрука».

Центральное фото триптиха демонстрировало Майлса Сибрука в роли хоккейного вратаря. В те далекие времена вратари тоже надевали защитные доспехи, но масок не носили, так что смелое лицо героя было хорошо видно: глаза вызывающе сверкают, лоб и щеки все в шрамах. Огромное тело Майлса, казалось, заполняло собой хоккейные ворота, казавшиеся удивительно маленькими. Разве мог кто-нибудь забить шайбу в ворота, когда там стоял Майлс Сибрук, у которого по-кошачьи ловкие руки в кожаных рукавицах (отчего они напоминают лапы медведя), огромная клюшка и толстенный нагрудник, а его гигантские коньки подобны челюстям гигантского муравьеда? Под футбольным и хоккейным снимками висели таблицы с результатами самых крупных ежегодных школьных соревнований по всем тем видам спорта, которые были популярны в Стиринг-скул; каждый сезон традиционно кончался матчем

с командой Бат-скул, почти такой же старой и знаменитой частной школы, как Стиринг-скул. Команда Бата была основным соперником команды Стиринга. Однако парни из Бат-скул в своей гнусной, зеленой с золотом, форме (во времена Гарпа эти цвета называли «блевонтин с детской неожиданностью») не могли устоять перед спортсменами Стиринга. «Стиринг — Бат: 7–6», «Стиринг — Бат: 3–0»… Никто не мог забить гол в ворота Майлса!

Капитан Майлс Сибрук (именно так гласила подпись под третьим фото) был одет в слишком хорошо знакомую Дженни Филдз форму. Это был летный костюм, она тут же его узнала, хотя некоторые детали и успели измениться между двумя мировыми войнами; она узнала и отделанный овчиной воротник летной куртки, кокетливо поднятый вверх, и самоуверенно не застегнутый летный шлем, и отвернутые назад наушники (у Майлса Сибрука уши никогда не мерзнут!), и летные очки, небрежно сдвинутые на лоб. На шее у Майлса красовался белоснежный шарф. Под этой фотографией не было таблицы с финальным счетом, но если бы у кого-нибудь из преподавателей физкультуры в Стиринге хватило чувства юмора, то Дженни наверняка бы прочитала:

«США — Германия: 16-1». Шестнадцать самолетов противника сбил Майлс Сибрук, прежде чем немцы сумели-таки «забить гол» и ему!

Ордена и медали лежали на пыльной полке в шкафу для спортивных трофеев, словно подношения на алтарь Майлса Сибрука. Лежал там и какой-то исковерканный кусок дерева, который Дженни приняла за обломок сбитого самолета (она была готова увидеть здесь любую безвкусицу), но оказалось, это обломок его последней хоккейной клюшки. А почему в таком случае они не выставили здесь его «ракушку»[6]? Или локон его волос, как это делают в память об умершем ребенке? Волосы Майлса на всех трех фото были закрыты — шлемом, шапочкой, огромным полосатым носком. А может, с легким презрением подумала Дженни, Майлс Сибрук вообще был лысый?

Дженни терпеть не могла подобных выставок, этаких «проявлений уважения» к покойному. Тоже мне уважение — нелепые пыльные реликвии в застекленном шкафу! Этот воин и спортсмен просто несколько раз сменил свою форму. И каждый раз форма давала его телу лишь видимость

---

6 Примечание: 6
Ракушка — защитный футляр для гениталий у спортсмена

защиты: за пятнадцать лет работы медсестрой в Стиринг-скул Дженни Филдз достаточно насмотрелась на самые различные травмы и увечья, полученные во время футбольных и хоккейных матчей, несмотря на все эти шлемы, маски, «ракушки», нагрудники, наплечники и прочее. А ранения сержанта Гарпа и многих других доказали Дженни, что солдат на войне вообще ни от чего защищен быть не может.

Она устало двинулась дальше. Миновала застекленные шкафы с трофеями и почувствовала, что приближается к двигателю какой-то опасной и шумной машины. Старательно обходя стороной все те залы, откуда доносились крики и вопли соревнующихся, Дженни держалась полутемных коридоров, где, как она полагала, размещались кабинеты преподавателей. Неужели я провела в этом аду пятнадцать лет, чтобы отдать сюда своего единственного ребенка? — думала она.

Она сразу узнала этот запах: дезинфицирующий раствор. Здесь десятилетиями мыли и скребли полы и стены, однако Дженни не сомневалась: спорткомплекс — как раз такое место, где всякие чудовищные микробы только и ждут своего часа, чтобы начать безудержно размножаться. Знакомый запах напомнил ей больницу

и изолятор Стиринг-скул; примерно так пахло в хирургическом отделении, еще не проветренном после операции. Впрочем, в этом огромном комплексе, построенном в память о Майлсе Сибруке, запах дезинфекции был немного другим — столь же неприятным для Дженни Филдз, как и запах секса. Комплекс и спортплощадки вокруг были построены еще в 1919 году, без малого за год до появления Дженни на свет, и чуяла она сейчас скопившуюся почти за сорок лет мешанину запахов дезинфекции, пота и невольно выпущенных кишечных газов — запах состязания, яростного, жестокого, полного разочарований. Дженни все это было совершенно чуждо, спорт и спортивные соревнования обошли ее стороной.

В дальнем коридоре, находившемся в стороне от центральных залов спорткомплекса, Дженни остановилась и прислушалась. Где-то рядом тренировались штангисты: она слышала грохот падающих на пол штанг и страшные стоны тяжелоатлетов, до предела напрягавших свои грыжи, — у Дженни был чисто медицинский взгляд на подобные упражнения. Ей даже казалось, что само здание стонет и напрягается, словно все ученики Стиринг-скул, мучаясь запорами, пришли искать спасения в этом ужасном

спорткомплексе.

Дженни Филдз была явно не в своей тарелке, так чувствует себя очень осторожный человек, столкнувшись с результатами собственной ошибки.

В этот момент на нее буквально налетел окровавленный борец. Этот мальчик, едва стоявший на ногах, застиг ее врасплох, внезапно выскочив из двери, за которой виднелось небольшое и совершенно безобидное на вид помещение; перед ней вдруг возникло потное лицо борца — спутанные волосы, защитные наушники сбились набок, так что подбородочный ремешок попал в рот, расплющив верхнюю губу, отчего лицо стало похоже на ухмыляющуюся рыбью морду; чашечка на ремешке, которая поддерживала нижнюю челюсть, съехала и была полна крови, текущей из разбитого носа.

Будучи медсестрой, Дженни не слишком разволновалась при виде крови, но вся съежилась, ожидая столкновения с огромным, мокрым, разгоряченным схваткой парнем, который ухитрился как-то ее обойти, нырнув вбок, и его тут же вырвало — прямо на второго борца, пытавшегося его поддержать.

— Извините, — пробулькал он: мальчики в

Стиринг-скул были хорошо воспитаны.

Приятель помог бедняге, стащив с него наушники, чтобы он не захлебнулся рвотой, а потом, не обращая ни малейшего внимания на собственный непрезентабельный вид, громко крикнул в открытую дверь борцовского зала:

— Карлайла наизнанку вывернуло!

Из двери зала тянуло теплом, и Дженни невольно подошла поближе — так тропический жар оранжереи манит порой серым холодным зимним днем. Она услышала четкий мужской голос:

— Карлайл, ты, между прочим, сегодня два раза просил добавки за ланчем! Слышишь? Чтобы проиграть, тебе, милый, хватило бы и одной! Да и она бы потом обратно пошла! Ну что ж, Карлайл, у меня ты сочувствия не дождешься!

Карлайл, обойденный сочувствием, тяжело двинулся дальше по коридору, капая кровью и шатаясь как пьяный. Добравшись до очередной закрытой двери, он открыл ее и исчез. Его приятель, который, по мнению Дженни, также не заслуживал ни малейшего сочувствия, бросил шлем и ремешок Карлайла на пол в коридоре, рядом с мерзкой расплывающейся лужей и следом за Карлайлом прошел в раздевалку. Дженни очень надеялась, что там он вымоется и пере-

оденется.

Она глянула на распахнутую дверь борцовского зала, набрала в легкие побольше воздуха и решительно шагнула внутрь. И тут же чуть не упала. Под ногами было что-то мягкое, как плоть, а стена почему-то прогнулась, стоило на нее опереться. Дженни очутилась в очень странном помещении — маты на полу, маты на стенах, мягкие и податливые, а вокруг такая духота и так воняет потом, что она чуть не задохнулась.

— Закройте дверь! — раздался довольно высокий мужской голос, ведь борцы, как позднее узнала Дженни, обожают жару и запах собственного пота, особенно если им надо сбросить вес; они только тогда и чувствуют, что живут полной жизнью, когда полы и стены пышут жаром и податливы, как задница спящей девчонки.

Дженни закрыла дверь, тоже обитую матом, и прислонилась к нему, воображая, что потом кто-нибудь откроет дверь снаружи и милосердно освободит ее. Обладатель высокого голоса оказался тренером. Не обращая внимания на убийственную жару, он нервно расхаживал вдоль длинной стены зала и, прищурившись, наблюдал за своими борцами.

— Тридцать секунд! — крикнул он.

Противники на матах тут же задергались, словно их ударило электрическим током, и сплелись самым неестественным образом в тугие узлы, причем, на взгляд Дженни, их усилия и намерения были столь же решительными, сколь и безнадежными — точь-в-точь неудачная попытка изнасилования.

— Пятнадцать секунд! — крикнул тренер. — Работайте!

Ближайшая к Дженни пара вдруг распалась — руки и ноги расплелись, вены на шеях и руках вздулись от напряжения. Один из борцов исторг сдавленный крик и струйку слюны, когда соперник вырвался из его захвата, и оба они отлетели к обитым матами стенам.

— Время! — крикнул тренер. Свистком он не пользовался. Все борцы как-то внезапно обмякли и медленно расцепились. Человек шесть побрели в сторону Дженни, к двери. Они жаждали напиться воды и глотнуть свежего воздуха, но Дженни казалось, что они стремятся в холл — просто проблеваться или тихо-мирно истечь кровью где-нибудь в уголке.

Дженни и тренер единственные в зале стояли неподвижно. Дженни отметила, что тренер — мужчина опрятный, небольшого роста, крепкий

и внутренне напряженный, как сжатая пружина. Она также заметила, что он почти слеп, потому что, щурясь, он пялился в ее сторону, видимо понимая, что это белое пятно не имеет с борцами ничего общего. Потом он принялся искать свои очки, которые обычно прятал за верхним стенным матом как можно выше — там их вряд ли мог бы раздавить кто-то из борцов, отброшенных к стене. Тренер был примерно ровесником Дженни. И она до сих пор не встречала этого человека ни в школе, ни в кампусе — ни в очках, ни без оных.

Тренер действительно появился в Стиринге недавно. Звали его Эрни Холм, и он уже успел прийти к выводу, что общество в Стиринг-скул чрезвычайно гнусное, — в этом их с Дженни оценки полностью совпадали. Эрни Холм дважды входил в десятку лучших борцов университета Айовы, но так и не смог добиться звания чемпиона страны и уже пятнадцать лет работал тренером в разных школах штата Айова, в одиночку воспитывая свою единственную дочь. По его словам, Средний Запад в итоге ему до смерти надоел, и он перебрался на Восточное побережье, желая обеспечить дочери «классное» образование (также по его собственным словам). Он без конца повторял, что дочка — мозговой центр их

семьи; а Дженни заметила, что девочка очень хороша собой и, видимо, очень похожа на мать, о которой Эрни Холм не произнес ни слова.

Пятнадцатилетняя Хелен Холм чуть ли не с рождения часа по три в день торчала в борцовских залах — и в Айове, и в Стиринге, глядя, как парни разного роста и комплекции потеют и мучают друг друга. Много лет спустя Хелен скажет, что именно детство, проведенное в борцовских залах, где она была единственной девочкой, превратило ее в заядлого читателя. «Мое воспитание вполне могло бы превратить меня в патологического зрителя, — скажет Хелен. — Или хуже того — в этакого наблюдателя-извращенца».

Однако она так увлеклась чтением, что Эрни Холм, в общем-то, и на Восток решил перебраться исключительно ради нее. Он устроился тренером в Стиринг-скул, поскольку в его контракте было сказано, что дети преподавателей и обслуживающего персонала могут бесплатно посещать любые занятия или же получить соответствующую денежную компенсацию, позволяющую учиться в другой частной школе. Сам Эрни Холм читать не особенно любил, потому и проглядел тот пункт в контракте, где говорилось, что в Стиринг-скул принимают только мальчиков.

Вот так холодной осенью он приехал в неуютный Стиринг, и его умненькой способной дочке в очередной раз пришлось поступить в очередную маленькую и скверную государственную школу. Собственно, государственная школа в Стиринге была еще хуже, чем большая часть обычных государственных школ, поскольку все умненькие мальчики в городе поступали в Стиринг-скул, а умненькие девочки уезжали из этого отвратительного городишки куда-нибудь еще. Эрни Холму даже в голову не приходило отсылать дочь куда-нибудь еще, он и переехал именно ради того, чтобы они оставались вместе. Так что пока Эрни Холм привыкал к своим новым обязанностям в Стиринге, Хелен Холм болталась по огромной территории школы, с аппетитом поглощая книжные запасы магазина и школьной библиотеки (и, несомненно, слушая рассказы о другой, столь же заядлой читательнице — Дженни Филдз). А самое главное — как и в Айове, Хелен по-прежнему скучала среди одноклассниц в скучной государственной школе.

Эрни Холм хорошо понимал, чем людям грозит скука. Шестнадцать лет назад он женился на медсестре, и после рождения Хелен его жена бросила работу, решив быть только матерью. Но

через полгода она заскучала и снова захотела стать медсестрой, однако в Айове в те годы не было детских яслей, так что пришлось ей сидеть дома с Хелен. И молодая жена Эрни Холма все больше охладевала к своей материнской доле и страстно жаждала не только забот по дому, но и другой работы. И однажды просто ушла. Причем бросила и мужа, и маленькую дочь, не оставив никаких объяснений.

Так что Хелен Холм росла в борцовских залах, совершенно, правда, безопасных для детей, поскольку там повсюду мягкие маты и всегда тепло. Книги помогали ей справиться со скукой, хотя Эрни Холм все же беспокоился: надолго ли хватит девочке прилежания и усердия, если она по-прежнему будет существовать в некоем вакууме. Эрни полагал, что склонность к скуке заложена у его дочери на генетическом уровне.

Вот так Эрни Холм попал в Стиринг. Вот так Хелен, которая тоже носила очки, почти столь же необходимые ей, как и ее отцу, оказалась вместе с отцом в борцовском зале, когда туда вошла Дженни Филдз. Дженни не заметила Хелен; ее вообще редко кто замечал, пока ей было всего пятнадцать. Хелен же заметила Дженни сразу; Хелен в отличие от отца не занималась борьбой

и не демонстрировала мальчикам разные захваты и повороты, так что очки держала все время при себе.

Хелен Холм всегда очень интересовали медсестры, потому что среди них она постоянно высматривала свою исчезнувшую мать, которую ее отец, Эрни, даже не пытался разыскивать. В своих отношениях с женщинами Эрни Холм давно привык практически в любом ответе слышать «нет». Но когда Хелен была маленькой, Эрни потчевал ее весьма сомнительной сказочкой, которую рассказывал довольно часто и с удовольствием. И Хелен действительно была заинтригована. «В один прекрасный день, — рассказывал отец, — ты увидишь симпатичную медсестру, у которой будет такой вид, словно она не понимает, где она находится. И эта медсестра посмотрит на тебя внимательно — как если бы она не знала, кто ты такая, но очень хочет это узнать…»

«И это будет моя мама?» — спрашивала маленькая Хелен.

«И это будет твоя мама!» — отвечал Эрни.

Так что, подняв глаза от книги, Хелен Холм, сидевшая в уголке борцовского зала Стиринг-скул, решила, что этот миг настал и перед ней ее мать.

Дженни Филдз, в своем белом медицинском халате почти везде выглядевшая неуместно, здесь, на фоне ярко-красных матов, казалась чуть ли не красавицей — темноволосая, пышущая здоровьем, сильная, замечательная женщина, — и Хелен Холм, должно быть, подумала, что никакая другая женщина не смогла бы так спокойно войти в этот ад с мягкими полами, где трудился ее отец. Очки у Хелен тут же запотели, она захлопнула книгу, встала и неуклюже прислонилась к стене борцовского зала — обычная девочка в обычном сером спортивном костюме, скрывавшем ее не успевшую еще толком сформироваться фигуру — худенькие бедра и маленькие груди. Затаив дыхание, она ждала, когда же отец узнает гостью.

Но Эрни Холм все никак не мог отыскать свои очки; он, правда, видел какую-то расплывчатую белую фигуру, вроде бы женскую, может быть, медсестру, и сердце его вдруг прыгнуло в груди, поверив в возможность того, во что он на самом деле никогда не верил: в возвращение жены, в то, как она скажет: «Ох, как же я без вас соскучилась!» Да и какая другая медсестра могла зайти к нему, в борцовский зал?

Хелен видела, как взволнованный отец судорожно ищет очки, и приняла это за желанный

знак. Она шагнула навстречу Дженни по кроваво-красным матам, и Дженни подумала: «Господи, это же девочка! Прелестная девочка в очках. Интересно, что такая хорошенькая девочка может *здесь* делать?»

— Мам? — обратилась девочка к Дженни. — Это я, мам! Хелен! — воскликнула она и залилась слезами. Потом бросилась Дженни на грудь и прижалась к ней мокрым лицом, обхватив за плечи своими тоненькими, совсем еще детскими руками.

— Господи Иисусе! — воскликнула Дженни Филдз, которая не любила, чтобы к ней прикасались. И все же она была профессиональной сестрой милосердия и, наверное, почувствовала боль и тоску, измучившие Хелен. Она не оттолкнула девочку, хотя прекрасно знала, что она ей не мать. Дженни Филдз считала, что матерью вполне достаточно стать *один раз.* Она лишь погладила плачущую девочку по спине и вопросительно посмотрела на тренера, как раз отыскавшего свои очки.

— Я и не ее, и не ваша мать тоже, — вежливо сказала ему Дженни, потому что он смотрел на нее с таким же выражением внезапного облегчения и зачарованности, какое было на лице

прелестной девочки.

А Эрни Холм думал о том, что между этой медсестрой и его сбежавшей женой и вправду есть сходство. И объединяет их нечто более глубокое, чем сестринская форма и визит в борцовский зал, хотя Дженни была не такая красавица, как его бывшая жена; даже пятнадцать лет, думал Эрни, не смогли бы превратить его супругу в милую и заурядную женщину вроде Дженни. И все же, по мнению Эрни Холма, Дженни выглядела вполне привлекательной, так что он улыбнулся ей неуверенной и виноватой улыбкой, какую привыкли видеть его ученики, проигрывая схватку на ковре.

— Моя дочь решила, что вы ее мать, — сказал Эрни Холм Дженни. — Ведь она давненько ее не видела.

Ну, это-то понятно, подумала Дженни. Она почувствовала, как девочка напряглась в ее объятиях и тихонько выскользнула из ее рук.

— Это вовсе не мама, детка, — сказал Эрни Холм. Но Хелен уже снова отошла в дальний угол зала; она была девочка с характером и никогда не любила демонстрировать свои переживания даже перед отцом.

— А вам что же, показалось, будто я ваша же-

на? — спросила Дженни, почти уверенная, что на миг Эрни тоже принял ее за другую женщину. И подумала: интересно, сколько же времени девочка не видела свою мать?

— Да, на минутку, — застенчиво улыбнулся Эрни; улыбался он редко.

Хелен скорчилась в дальнем углу, свирепо посматривая на Дженни, словно та была виновата в постигшем ее разочаровании. А Дженни была искренне тронута; давно миновала та пора, когда Гарп вот так бросался ей на грудь, и даже такой строгой матери, как Дженни, недоставало ощущения доверчиво прильнувшего к ней детского тела.

— Как тебя зовут? — ласково спросила она Хелен. — Меня — Дженни Филдз.

Это имя Хелен Холм уже слышала и знала, что так зовут самую заядлую читательницу в Стиринг-скул. Хелен, по натуре довольно замкнутая, раньше никому не показывала своей тоски по матери. И хотя сейчас, в зале, столь бурное проявление этих чувств явилось чистой случайностью, Хелен почти не жалела о своем порыве, особенно когда услышала имя Дженни Филдз. На лице у девочки появилась такая же, как у отца, смущенная улыбка, она с благодарностью смотрела на

Дженни и чувствовала себя очень странно — ей вдруг захотелось снова броситься Дженни на грудь, но она сдержалась. Мимо пробегали борцы, возвращавшиеся от фонтанчика с питьевой водой; одни напились вдоволь и тяжело отдувались, другие же, кому было велено сбрасывать вес, лишь прополоскали рот.

— Тренировка окончена, — объявил Холм, взмахом руки распуская своих подопечных. — На сегодня хватит. Ступайте на беговую дорожку.

Ребята покорно, даже с облегчением, устремились обратно к двери, унося свое снаряжение — спортивные костюмы, шлемы, магнитофонные бобины. Эрни Холм ждал, пока зал опустеет, а его дочь и Дженни Филдз ждали от него объяснений. Он понимал, что должен дать хоть какие-то объяснения, а это ему легче всего было сделать здесь, в зале, где он чувствовал себя наиболее уверенно. Ему казалось, что здесь самое подходящее место, чтобы рассказать даже такую странную, не имеющую конца историю, как у него, причем даже совершенно незнакомому человеку. Так что, когда зал опустел, Эрни терпеливо начал рассказ о своей жизни вдвоем с дочерью после того, как его жена, тоже медсестра между прочим, бросила их; рассказал он и о Среднем Западе, откуда они толь-

ко что приехали. Эту историю Дженни вполне могла оценить по достоинству, ведь впервые в жизни ей встретился отец-одиночка с ребенком. И хотя у нее самой на миг тоже возникло искушение рассказать им историю своей жизни — в ней так много сходных моментов, но много и различий, — Дженни все-таки предпочла повторить стандартную версию: отцом Гарпа был солдат, он погиб и так далее. А кто думает о свадьбах, когда идет война? И при всей своей неполноте история ее определенно понравилась и Хелен, и Эрни, которые не видели в Стиринг-скул никого, столь же восприимчивого и открытого, как Дженни.

Так они и сидели в жарко натопленном красном борцовском зале, на мягких спортивных матах среди обитых мягкими матами стен. В такой обстановке между людьми иной раз возникает внезапная и необъяснимая близость.

Конечно же, Хелен на всю жизнь запомнила эту первую встречу с Дженни; хотя ее горячее чувство к этой женщине мало-помалу претерпело некоторые изменения, причем в худшую сторону. Но тогда, в борцовском зале, Дженни Филдз казалась Хелен куда более родной, чем ее собственная мать. Дженни тоже запомнила, какое чувство испытываешь, когда тебя обнимают как родную

мать, и даже отметила в своей автобиографии, что объятия дочери существенно отличаются от объятий сына. Хотя, по меньшей мере, забавно, что столь важное открытие она сделала на основании того единственного случая, который имел место декабрьским днем в огромном спортивном комплексе, носившем имя Майлса Сибрука.

Беда, если бы Эрни Холм почувствовал, что его влечет к Дженни Филдз, если бы хоть на минуту вообразил, что это еще одна женщина, с которой он мог бы связать свою судьбу, — ведь сама Дженни была очень далека от подобных чувств. Ей Эрни Холм показался милым, добрым человеком, и только; возможно — она очень на это надеялась, — они подружатся. И тогда он будет ее первым другом.

Эрни и Хелен, должно быть, очень удивились, когда Дженни спросила, нельзя ли ей на минутку остаться в зале одной. Зачем это ей? — видимо, недоумевали они. Тут только Эрни спохватился и наконец спросил Дженни, зачем она, собственно, пришла.

— Чтобы записать сына в секцию борьбы, — быстро ответила Дженни. Она надеялась, что Гарп одобрит ее выбор.

— Конечно-конечно, — сказал Эрни, — оставай-

тесь, только не забудьте потом выключить свет и *все* электрокамины. А дверь просто захлопните.

Оставшись одна, Дженни выключила свет и камины, слушая, как ее постепенно окутывает тишина. В темноте, но при настежь распахнутой двери она сняла туфли и походила по мату босиком. Борьба — явно очень агрессивный вид спорта, размышляла она. Но почему же я чувствую себя в этом зале так хорошо и спокойно? Неужели *из-за него!* Но мысль об Эрни быстро исчезла — подумаешь, маленький, аккуратный и мускулистый очкарик. Если Дженни вообще думала о мужчинах — а она о них почти никогда не думала, — то всегда приходила к выводу, что для нее наиболее приемлемы малорослые и достаточно опрятные; к тому же она предпочитала, чтобы у мужчин — да и у женщин тоже — была хорошо развитая мускулатура; ей нравились сильные люди. А люди в очках нравились ей так, как они нравятся тому, кто очков не носит, а «очкариков» считает «милыми и беспомощными». Нет, решила Дженни, пожалуй, все дело в самом этом зале; красном, огромном, обитом матами. Она вдруг с глухим стуком упала на колени, просто чтобы проверить, достаточно ли мягко маты примут ее. Потом ловко сделала обратный

кувырок и порвала себе при этом платье. А потом уселась по-турецки и стала смотреть на крупного парня, возникшего в дверном проеме. Это был Карлайл, тот, что в коридоре выблевал весь свой ланч. Он уже переоделся в чистое и явился за дальнейшими взысканиями. Застыв в дверях, он с изумлением уставился на Дженни в белом медицинском облачении на фоне алых матов; надо сказать, в эти минуты она смахивала на медведицу в логове.

— Извините, мэм, — сказал он, — я просто искал, с кем бы потренироваться.

— Ну, только не со мной, — ответила Дженни. — Ступайте на беговую дорожку!

— Да, мэм, — сказал Карлайл и ретировался.

Выйдя в коридор и захлопнув дверь, Дженни вспомнила, что туфли ее остались внутри. Уборщик не сумел отыскать нужный ключ, зато предложил ей на время огромные мужские кеды, которые нашлись среди забытых вещей в кладовке. Дженни потащилась в них по замерзшей грязи к себе в изолятор, отчетливо сознавая, что первый выход в мир спорта привел к весьма существенным переменам в ее душе.

Гарп по-прежнему лежал в постели и без конца кашлял.

— Борьба! — прокаркал он. — Господи, мам, ты что, хочешь, чтоб меня там пришибли?

— Думаю, тренер тебе понравится, — сказала Дженни. — Я с ним познакомилась. Приятный человек. И с дочерью его я тоже познакомилась.

— О господи! — застонал Гарп. — Дочь тоже занимается борьбой?!

— Нет. Она много читает, — одобрительно сказала Дженни.

— Звучит завлекательно, — сказал Гарп. — А ты понимаешь, что связь с дочерью тренера по борьбе может стоить мне жизни? Тебе это надо?

Дженни ничего такого вовсе не имела в виду. Она действительно думала только о борцовском зале и об Эрни Холме, а к Хелен испытывала чисто материнские чувства, и когда ее грубый юный сын предположил возможность своего романа с Хелен Холм, Дженни несколько всполошилась. Раньше она никогда даже не задумывалась о том, что ее сын может кем-то заинтересоваться в *таком* плане; она отчего-то решила, что он еще долго ни к кому не проявит подобного интереса. Его реплика чрезвычайно ее встревожила, и в ответ она только пробормотала:

— Тебе ведь всего-навсего пятнадцать, не забывай.

— Ну, допустим. А дочери-то его сколько лет? — спросил Гарп. — И как ее зовут?

— Хелен. Ей тоже всего пятнадцать. И она носит очки! — лицемерно добавила Дженни. В конце концов, она-то сама относилась к людям в очках очень хорошо; может, и Гарпу они тоже нравятся? — Они из Айовы приехали, — добавила она и прямо-таки почувствовала себя еще более гнусным снобом, чем ненавистные денди из числа учеников Стиринг-скул.

— Секция борьбы, господи, за что? — снова застонал Гарп, и Дженни облегченно вздохнула: он, кажется, забыл о Хелен. Дженни сама себе удивлялась: как же сильно ей, оказывается, претит возможный «роман» сына с этой девочкой. Девочка, конечно, прелестная, думала она, хотя и неброская; а ведь парни обычно увлекаются броскими девушками. Неужели мне будет приятнее, если Гарп заинтересуется именно такой?

Что касается «именно таких», то Дженни давно уже присматривалась к Куши Перси — пожалуй, слишком дерзкая на язык и чересчур расхлябанная. И похоже, уже в пятнадцать лет порода Перси проявилась в Куши чрезвычайно ярко. Потом Дженни даже обругала себя за это слово «порода».

Для нее это был нелегкий день. Она устала и прилегла вздремнуть. Ее наконец перестал тревожить кашель сына, потому что, видимо, впереди его могут ждать и куда более серьезные проблемы. Причем именно тогда, когда мы наконец-то обрели дом и полностью свободны ото всех, думала Дженни. Придется, видимо, с кем-то обсудить мальчишечьи проблемы — может быть, с Эрни Холмом; она надеялась, что не ошиблась насчет его порядочности и доброты.

Как выяснилось, Дженни была права насчет ощущения покоя и комфорта, которое дает борцовский зал; то же самое почувствовал в нем и Гарп. Понравился мальчику и Эрни Холм. В первый год занятий борьбой Гарп работал очень активно и был вполне счастлив, разучивая разные приемы и захваты. И хотя регулярно получал изрядную трепку от ребят своей весовой категории — более опытных членов школьной команды, — никогда не жаловался. Он уже понял, что нашел свой вид спорта и лучшую для себя форму отдыха; борьба еще долго будет забирать большую часть его энергии, пока дело не дойдет до писательства. Ему нравились поединки и грозные очертания борцовского ринга; нравились почти невыносимые нагрузки на тренировках

и постоянная сосредоточенность на том, чтобы не набрать лишний вес. И в тот первый год его занятий борьбой Дженни тоже вздохнула с облегчением: Гарп крайне редко упоминал о Хелен, которая по-прежнему сидела в уголке — в очках, в сером спортивном костюме — и читала. Иногда она все же поднимала глаза — когда слышался особенно громкий удар тела о мат или вопль боли.

А в тот раз именно Хелен принесла в пристройку Дженнины туфли. Дженни была так смущена, что даже не пригласила девочку зайти. Ведь они обе уже чувствовали какую-то особую близость, но в комнате был Гарп, а знакомить их Дженни не хотела. Кроме того, Гарп был простужен.

Однажды в борцовском зале Гарп сел рядом с Хелен. Он чувствовал, что на шее у него зреет прыщ, что он весь мокрый от пота, но у Хелен запотели очки, и Гарп сомневался, что она и строчки-то в своей книге видит нормально.

— А ты много читаешь! — заметил он.

— Не так много, как твоя мать, — ответила Хелен, не поднимая глаз.

Спустя еще два месяца Гарп сказал Хелен:

— Ты себе все глаза испортишь, если будешь читать в такой жарище.

Она посмотрела на него — очки ее на сей раз были совершенно чистыми и так увеличивали ее и без того огромные глаза, что он был просто потрясен.

— У меня глаза уже давно испорчены, — сказала она. — Я родилась с испорченными глазами.

Но Гарпу ее глаза показались очень красивыми — до того красивыми, что он не нашелся, что еще ей сказать.

Потом борцовский сезон закончился. Гарп перешел из младших классов в старшие и записался в секцию легкой атлетики, без всякого энтузиазма выбрав себе летний вид спорта. Он и так был в отличной спортивной форме после борцовских тренировок и запросто пробегал милю, он занял третье место в командном забеге Стиринг-скул на этой дистанции, но выше этого не поднимался уже никогда. На финише Гарп чувствовал себя так, словно только-только начинает забег. («Уже тогда я стал писателем, — писал Гарп годы спустя. — Но только пока еще этого не понимал».) Занимался он также метанием копья, но метал его не очень далеко.

Метанием копья занимались в Стиринге на поле за футбольным стадионом, где ребята большую часть времени тратили на то, что подкалыва-

ли копьями лягушек. Позади стадиона имени Сибрука тянулись пресноводные верховья Стиринг-ривер, здесь было утеряно немало копий и перебито немало лягушек. Весна — скверный сезон, думал Гарп, который не находил себе места, скучая по борцовскому залу, — если уж нет тренировок по борьбе, тогда пусть поскорее наступает лето. С такими мыслями он совершал забеги на длинные дистанции по дороге к побережью, к Догз-Хэд-Харбор.

Однажды он заметил Хелен Холм, сидевшую в полном одиночестве с книгой на самом верхнем ряду пустого стадиона Сибрука. Он взобрался по ступеням наверх, постукивая копьем по бетонным стенкам, чтобы не напугать ее и не появиться перед нею совершенно внезапно. Но она не напугалась. Она неделями наблюдала за ним и другими ребятами.

— Ну что, много маленьких беззащитных тварей убил? — поинтересовалась Хелен. — Теперь на других охотишься?

«Хелен всегда, с ранней юности, прекрасно умела выбрать нужное слово», — писал позднее Гарп.

— Ты так много читаешь, что, наверное, станешь писательницей, — сказал Гарп; он старался

говорить непринужденно, однако виновато прикрыл ногой наконечник своего копья.

— Никогда в жизни, — сказала Хелен. У нее в этом сомнений не было.

— Ну тогда, может, выйдешь замуж за писателя, — сказал Гарп. Она подняла глаза и очень серьезно на него посмотрела. Новые, только что прописанные доктором противосолнечные очки больше подходили к ее широкоскулому лицу, чем прежние, вечно сползавшие на кончик носа.

— Если я за кого и выйду, то за писателя, — сказала Хелен. — Только я сомневаюсь, что вообще выйду замуж.

Гарп-то пытался шутить, и серьезность Хелен привела его в замешательство.

— Ну, — сказал он, — в одном я уверен точно: замуж за борца ты не выйдешь.

— В этом ты можешь быть совершенно уверен, — сказала Хелен. Вероятно, в эту минуту Гарп не сумел напустить на себя достаточно равнодушный вид, потому что Хелен тут же прибавила: — Разве что борец будет заодно и писателем.

— Но прежде всего писателем, — предположил Гарп.

— Да, но настоящим писателем, — загадочно сказала Хелен, готовая, впрочем, тут же разъ-

яснить, что она имела в виду. Впрочем, Гарп спросить не осмелился. И ушел, оставив ее читать книгу.

Вниз по ступенькам стадиона он брел почему-то очень долго, волоча за собой копье. Интересно, она когда-нибудь носит что-нибудь еще, кроме серого спортивного костюма? — думал он. Позднее Гарп писал, что впервые обнаружил у себя богатое воображение именно тогда, когда попытался представить себе тело Хелен «Поскольку она вечно ходила в этом треклятом спортивном костюме, — писал он, — мне пришлось вообразить себе ее тело; другого способа увидеть его просто не было».

Воображение подсказало тогда Гарпу, что тело у Хелен очень красивое, — и ни в одном из своих произведений он не говорит, что был разочарован, когда наконец увидел его наяву.

Именно в тот день, на пустом стадионе, где он стоял с перепачканным лягушачьей кровью копьем, Хелен Холм впервые разбудила его воображение. И Т.С. Гарп решил, что станет писателем. Причем *настоящим писателем* — как сказала Хелен.

4. Окончание школы

Последние два года, проведенные в старших классах Стиринг-скул, Т.С. Гарп писал примерно по рассказу в месяц, но прошло не меньше года, прежде чем он решился показать кое-что из написанного Хелен Холм. Просидев целый год в спортзале, где ее отец тренировал юных борцов, Хелен наконец поступила в частную женскую школу Толбота, и теперь Гарп виделся с нею лишь изредка, по выходным. Иной раз Хелен заходила посмотреть на школьные соревнования по борьбе, и после одного из состязаний Гарп попросил ее подождать, пока он примет душ и приведет себя в порядок, потому что, сказал он, у него в раздевалке кое-что для нее приготовлено.

— Надо же, — сказала Хелен. — Хочешь подарить мне свои старые налокотники?

В тренировочный зал она больше не заходила, даже когда приезжала домой на каникулы. Теперь она носила темно-зеленые гольфы и серую фланелевую юбку в складку; свитер у нее чаще всего был под цвет гольфов, но всегда темный и одноцветный; длинные темные волосы Хелен

обычно заплетала в косу и тщательно закалывала на макушке в пучок. Рот у нее был довольно большой, хотя губы тонкие; губной помадой она никогда не пользовалась, и от нее всегда хорошо пахло, однако Гарп пока ни разу не посмел к ней прикоснуться. И не представлял, что к ней вообще кто-то прикасался; она была такая тоненькая и высокая, как молодое деревце, — выше Гарпа дюйма на два, если не больше. Лицо у нее было худенькое, остроскулое, и порой казалось чуть ли не болезненным, но огромные медово-карие глаза за стеклами очков всегда смотрели мягко и ласково.

— Это твои старые борцовские туфли? — спросила Хелен, глядя на большой и пухлый запечатанный конверт.

— Это тебе прочитать надо, — буркнул Гарп.

— Мне много чего прочитать надо, — в тон ему ответила Хелен.

— Но это мое. Это я написал, — пояснил Гарп.

— Надо же! — сказала Хелен.

— Тебе необязательно читать это прямо сейчас, — сказал Гарп. — Можешь, например, взять с собой, а потом написать мне…

— Мне много чего написать надо, — не сдавалась Хелен. — У меня куча письменных работ

не сдана.

— Тогда, может, поговорим об этом позже? — предложил Гарп. — Ты на Пасху приедешь?

— Да, но у меня на каждый день свидание назначено, — ответила вредная Хелен.

— Надо же, — пробормотал Гарп и протянул руку, чтобы забрать свой пакет. Но она не отдавала! Так вцепилась, что даже костяшки пальцев побелели.

В тот год Гарп закончил борцовский сезон с общим результатом двенадцать побед при одном поражении в своей весовой категории до 133 фунтов, проиграв только в финале чемпионата Новой Англии. А в свой последний школьный год он стал победителем во всех матчах, был избран капитаном команды и по итогам голосования получил титул Самого Ценного Борца и выиграл звание чемпиона Новой Англии. С тех пор команда Стиринг-скул под руководством Эрни Холма почти двадцать лет доминировала в состязаниях борцов Новой Англии. В этой части страны у Эрни Холма было то, что он называл «преимуществом Айовы». После ухода Эрни работа борцовской секции в Стиринг-скул пошла на спад. А поскольку Гарп стал первой из многих звезд Стиринга, Эрни навсегда сохранил к нему особое отношение.

Хелен ко всему этому, казалось, проявляла полное безразличие. Она, конечно, радовалась, когда побеждала команда отца, поскольку в такие дни ее отец был счастлив. Но в последний год учебы Гарпа в Стиринге, особенно когда он стал капитаном школьной команды, Хелен не пришла ни на один поединок. Она, правда, отослала назад из Толбота рассказ Гарпа, приложив к нему собственное письмо следующего содержания:

Дорогой Гарп!

В этом рассказе безусловно что-то есть, но я думаю, что пока ты все-таки скорее борец, чем писатель. Чувствуется, что ты тщательно поработал над выбором слов и сильно продвинулся в понимании людских характеров и судеб, однако ситуация, описанная в рассказе, представляется все же несколько искусственной, а конец, извини меня, совершенно детский. Тем не менее я высоко ценю твое доверие. Было очень приятно, что ты показал свою работу именно мне.

Твоя Хелен

В писательской карьере Гарпа, конечно же, были и куда более жесткие оценки его творчества, однако ни одна из рецензий никогда не значила для него столько, сколько эта. Хелен вообще-то

отнеслась к его произведению очень мягко. В рассказе, что Гарп дал ей прочесть, речь шла о двух юных влюбленных, которых убил на кладбище отец девушки, принявший их за грабителей. Влюбленных похоронили, разумеется, рядышком, но вскоре по какой-то непонятной причине их могилы были осквернены. Что произошло дальше с отцом девушки, так и осталось покрыто мраком неизвестности; о судьбе же злодеев и вовсе не было ни слова.

Дженни честно сказала Гарпу, что первые его произведения слишком далеки от реальной действительности, зато Гарп пользовался поддержкой преподавателя английской литературы — человека, более всех в Стиринге близкого к писательству, тощего, хрупкого заики по фамилии Тинч. У мистера Тинча отвратительно пахло изо рта (и Гарп каждый раз вспоминал ту гнусную вонь, что исходила из пасти Бонкерса), однако говорил Тинч весьма неглупые вещи и всячески стимулировал воображение Гарпа. Именно он научил Гарпа пользоваться исключительно доброй старой грамматикой и привил ему любовь к точному выбору слов. Во времена Гарпа мальчишки в Стиринге придумали Тинчу кличку Вонючка и вечно подкладывали ему записки насчет дурного

запаха изо рта, оставляли у него на столе пузырьки с полосканием и регулярно посылали по почте зубные щетки.

Получив очередную пачку мятной жвачки, приклеенную к карте «Литературная Англия», мистер Тинч напрямик спросил своих учеников: правда ли, что у него так дурно пахнет изо рта? Класс замер, а Тинч выбрал Гарпа, которого больше всех любил и которому больше всех доверял, и спросил:

— Гарп, как в-в-вы полагаете, у м-м-меня действительно изо рта плохо п-п-пахнет?

Правда в тот весенний день витала в воздухе, вплывая и выплывая сквозь распахнутые окна, — кончался последний год пребывания Гарпа в Стиринг-скул. Гарп славился своей честностью, начисто лишенной иронии или юмора, своими успехами на борцовском ковре и сочинениями по английской литературе. По другим предметам его отметки были от удовлетворительных до плохих. С самого раннего возраста Гарп, как он позднее утверждал, всегда стремился к совершенству в чем-то одном и никогда не разбрасывался. Результаты тестов на общую проверку способностей свидетельствовали, что особыми способностями он не обладает. От рождения ему не было дано ни-

чего. Гарпа это не удивляло: он разделял со своей матерью уверенность, что ничто не дается просто так, от рождения. И когда кто-то из литературных критиков после выхода второго романа Гарпа назвал его «прирожденным писателем», Гарп решил над ним поиздеваться. Он послал копию этой рецензии в Принстон, штат Нью-Джерси, тем, кто ранее его тестировал, с просьбой еще раз проверить их первоначальные выводы относительно его, Гарпа, «врожденных» способностей. А получив копию результатов своих тестов, переслал ее тому критику с запиской, в которой говорилось: «Чрезвычайно Вам благодарен за Ваши оценки, но у меня в жизни не было ни одного „врожденного“ таланта». Гарп считал, что стал «прирожденным» писателем, хотя с тем же успехом мог бы стать «прирожденным» медбратом или «прирожденным» воздушным стрелком.

— Г-г-гарп! — повторил мистер Тинч, наклоняясь к юноше, который тут же почувствовал запах ужасной правды. Гарп знал, что должен выиграть ежегодный приз за лучшее сочинение. В этом отношении единственным судьей всегда был Тинч. А если он сумеет еще и сдать экзамен за курс математики, который ему пришлось проходить повторно, то вполне успешно окончит

школу, чем весьма порадует мать.

— У м-м-меня п-п-плохо пахнет изо рта? — спросил Тинч

— «Хорошо» или «плохо» — это дело вкуса, сэр, — ответствовал Гарп.

— Ну, а на в-в-ваш вкус, Гарп? — настаивал Тинч.

— На мой вкус, — не моргнув глазом, заявил Гарп, — у вас изо рта пахнет лучше, чем у любого другого учителя в этой школе. — И он пристально посмотрел через весь класс на Бенни Поттера из Нью-Йорка — вот уж кто действительно был умницей и «прирожденным» остряком, даже сам Гарп не стал бы против этого возражать — и не сводил с него глаз до тех пор, пока с лица Бенни не исчезло насмешливое выражение, глаза Гарпа говорили ясно: он свернет Бенни шею, если тот только пикнет.

Тинч сказал: «Благодарю вас, Гарп!», и Гарп получил первый приз за сочинение, хотя, сдавая мистеру Тинчу свою работу, он приложил к ней следующую записку:

Мистер Тинч! Я тогда солгал Вам при всех, потому что не хотел, чтобы эти засранцы над Вами смеялись. Вам, однако, следует знать, что изо рта у Вас пахнет действительно очень скверно.

Извините. Т.С. Гарп.

— Знаете, что я в-в-вам скажу? — начал Тинч, когда они наедине обсуждали последний рассказ Гарпа.

— Что? — спросил Гарп.

— Я ничего не могу п-п-п-поделать с этим з-з-з-за-пахом! Думаю, это потому, что я ум-м-м-мираю, — заявил он и почему-то подмигнул Гарпу. — Я з-з-загниваю изнутри, а запах вырывается наружу!

Но Гарпу его шутка не понравилась. И, уже окончив школу, он постоянно справлялся о мистере Тинче, искренне радуясь, что старый джентльмен не болеет ничем серьезным.

Тинч умер значительно позже от причин, ничего общего не имевших с дурным запахом изо рта. Зимней ночью, возвращаясь домой с преподавательской вечеринки, где, как потом говорили, вероятно, выпил лишнего, он поскользнулся на обледенелой дорожке, упал, ударился головой и потерял сознание. Ночной сторож обнаружил его тело, когда уже рассвело; скорее всего, мистер Тинч умер просто от переохлаждения.

К несчастью, первым, кто сообщил эту печальную новость Гарпу, оказался именно записной школьный остряк Бенни Поттер. Гарп случай-

но встретил его в Нью-Йорке, где Поттер писал статейки для какого-то иллюстрированного журнала. Скверное мнение Гарпа о Поттере еще усугублялось его низким мнением об иллюстрированных журналах вообще и убеждением, что Поттер всегда завидовал известности, которой Гарп пользовался как писатель. «Поттер — один из тех бедолаг, — писал позднее Гарп, — у кого в столе хранится с десяток готовых романов, но они никогда не осмелятся никому их показать».

В школьные годы Гарп, правда, и сам не очень-то стремился показывать кому-либо свои творения. Только Дженни и Тинч имели возможность наблюдать за его развитием и успехами. И как известно, один рассказ он дал почитать Хелен Холм, после чего решил ничего больше Хелен не показывать до тех пор, пока не напишет что-нибудь такое, о чем она не сможет сказать ни одного дурного слова.

— Ты слыхал? — спросил Бенни Поттер, встретив Гарпа в Нью-Йорке.

— О чем? — удивился Гарп.

— Старый Вонючка-то копыта отбросил, — сказал Бенни. — Замерз насмерть.

— Как ты сказал? — переспросил Гарп. — Кто копыта отбросил?

— Старый Вонючка, — повторил Поттер. Гарп всегда терпеть не мог эту кличку. — Напился пьяным и поперся домой по обледеневшей тропке через лужайку. Упал, ударился башкой и замерз насмерть.

— Ну и жопа же ты! — сказал Гарп с чувством.

— Правда-правда, Гарп, — сказал Бенни. — Такая гребаная холодина стояла, пятнадцать ниже нуля. Хотя, — добавил он вдруг, — его вонючая пасть должна была бы греть его в-в-всю н-н-ночь.

Они стояли в баре вполне приличного отеля, где-то в районе Парк-авеню; Гарп никогда не знал, куда он попадал, когда оказывался в Нью-Йорке. Он приехал в город на встречу с кем-то и случайно наткнулся на Поттера, который и затащил его в этот бар. Гарп подхватил Поттера под мышки и посадил его на стойку.

— Ты просто гнида, Поттер, — сказал он.

— Ты меня никогда не любил! — попытался вырваться Бенни.

Гарп слегка подтолкнул его, и полы расстегнутого пиджака Бенни Поттера угодили в раковину за стойкой, где отмокали грязные стаканы.

— Оставь меня в покое! — взвизгнул Бенни. — Ты всегда был любимым лизожопом старого

Вонючки!

Гарп еще подтолкнул его, и задница Бенни съехала в раковину; мыльная вода выплеснулась на стойку.

— Сэр, прошу вас слезть со стойки, — вежливо сказал бармен, обращаясь к Бенни.

— Господи помилуй! — возмутился тот. — Да меня же толкнули! Вот кретин!

Но Гарп уже шел к выходу. Бармену пришлось вытащить Бенни из раковины и усадить за самый дальний столик

— Ну что за сукин сын! — бесился Бенни. — У меня теперь вся задница мокрая!

— Прошу вас, сэр, выбирайте выражения! — сказал бармен.

— Ну вот, и траханый бумажник весь промок! — Бенни, пытаясь отжать мокрые брюки, продемонстрировал бармену свой мокрый бумажник — Гарп! — заорал он, но Гарпа и след простыл. — У тебя всегда было отвратное чувство юмора, Гарп!

В общем, замечание справедливое, Гарп и в самом деле, особенно в школьные годы, без особого юмора относился даже к самым своим любимым занятиям — к борьбе и к писательству, то бишь к своей будущей карьере.

— А почему ты решил, что станешь писателем? — спросила его однажды Куши Перси.

Гарп в тот год заканчивал школу. Они с Куши гуляли по окраине города, направляясь берегом Стиринг-ривер в какое-то замечательное место, которое хорошо знала Куши. Она приехала домой на уик-энд из школы Диббса.

Надо сказать, это была уже пятая из приготовительных школ, где училась Куши Перси. Начинала она в Толбот-скул, в одном классе с Хелен, но вскоре у Куши возникли проблемы с дисциплиной, и ее попросили покинуть это учебное заведение. Те же проблемы поочередно возникали и в трех других школах. Среди учеников Стиринга Диббс-скул была хорошо известна и даже пользовалась популярностью — из-за тех самых девочек, у которых были проблемы с дисциплиной.

Был прилив, и Стиринг-ривер казалась на удивление полноводной. Гарп смотрел, как восьмивесельный «шелл» скользит по воде, следом за ним летела чайка. Куши взяла Гарпа за руку. У Куши было множество сложных способов проверить, как к ней относится тот или иной мальчик. Многие из учеников Стиринг-скул мечтали остаться с Куши наедине, но мало кому хотелось,

чтобы остальные видели, как он демонстрирует свой интерес к ней. Гарпу, как она заметила, было на это наплевать. Он крепко держал ее за руку. Конечно, они росли вместе, но Куши отнюдь не считала, что за это время они стали близкими друзьями. По крайней мере, думала она, если Гарп хочет того же, что и все остальные, его не смущает, что кто-то видит, *как* он этого добивается. Этим-то он Куши и нравился.

— А я думала, ты станешь борцом, — сказала она.

— Борцом я уже стал, — сказал Гарп. — А буду — писателем.

— И женишься на Хелен Холм, — насмешливо сказала Куши.

— Может быть, — сказал Гарп и немного отпустил руку Куши. Куши знала, что Хелен Холм — тема, к которой Гарп относится абсолютно без юмора, так что здесь надо поосторожнее.

Вскоре им навстречу попалась компания мальчишек из Стиринг-скул, и один из них, оглянувшись, крикнул:

— Господи, во что это ты ввязался, Гарп?

— Не обращай внимания, — сказала Куши, сжав руку Гарпа.

— Я и не обращаю, — спокойно ответил он.

— А о чем ты собираешься писать? — спросила Куши.

— Не знаю, — ответил Гарп.

Он не знал даже, будет ли поступать в колледж. Несколько колледжей Среднего Запада проявляли интерес к его борцовским талантам: Эрни Холм успел разослать несколько рекомендательных писем. Из двух мест Гарпу пришли приглашения, и он туда съездил. В борцовских залах этих колледжей Гарп почувствовал себя даже не аутсайдером, но прямо-таки нежелательным элементом. Тамошние борцы, казалось, стремились не просто победить его, а уничтожить морально. Его же стремление победить их было не слишком велико. В одном колледже ему сделали очень любопытное предложение — небольшая стипендия на первом курсе, но никаких обещаний насчет второго года обучения. Что ж, в общем-то честно, если учесть, что он из Новой Англии. Но Эрни предупреждал его: «Там это совершенно иной вид спорта, парень. То есть у тебя, конечно, есть способности и, если уж на то пошло, отличная подготовка. Но тебе не хватает честолюбия, азартного стремления к победе. А стоило бы такое стремление развить. Это похоже на чувство голода, понимаешь? Надо

быть действительно заинтересованным в победе, очень желать ее».

А когда Гарп спросил у Тинча, куда ему поступить, чтобы стать писателем, Тинч вроде как совершенно растерялся и не знал, что посоветовать. «В к-к-какой-нибудь х-х-хороший к-к-колледж, наверное, — сказал он — Но ес-с-сли ты с-с-собираешься писать, это ведь м-м-можно делать г-г-где угодно, не так ли?»

— А у тебя красивое тело, — шепнула Гарпу Куши Перси, и в ответ он крепче сжал ее руку.

— У тебя тоже, — честно признался он. Хотя, по правде сказать, тело Куши было далеко от совершенства. Она была маленькая, коренастая, но на редкость по-женски соблазнительная, этакий компактный, плотненький бутончик. Ее бы следовало назвать не Кушмен, думал Гарп, а Кушетка; сам он еще в детстве иной раз дразнил ее так: «Эй, Кушетка, гулять пойдешь?» А сейчас она сказала, что знает одно место…

— Куда ты меня ведешь? — спросил Гарп.

— Ха! — ответила она. — Это ты меня ведешь! А я просто показываю тебе дорогу. К тому самому месту, — добавила она.

Они сошли с тропинки там, где Стиринг-ривер в старину называлась Кишкой: когда-то здесь

засосало в грязь целый корабль, от которого теперь уж и следов не осталось. Только на берегу еще можно было отыскать кое-что интересное. Именно здесь, у излучины реки, Эверетт Стиринг и намеревался уничтожить англичан — здесь по сей день стояли его пушки, три огромных чугунных чудовища, насквозь проржавевших и вросших в бетонное основание. Когда-то они, конечно, могли поворачиваться, но потом отцы города навечно закрепили их в одном положении. Рядом с пушками лежала горка ядер, тоже скрепленных бетоном. Ядра настолько проржавели, что стали зелено-красными, словно их сняли с давно затонувшего корабля, а бетонное основание, на котором они лежали, сплошь покрывал мерзкий современный мусор — банки из-под пива и битое стекло. Поросший травой склон, что вел вниз к практически неподвижной воде обмелевшей реки, был вытоптан, словно здесь паслось огромное стадо овец, но Гарп хорошо знал, что склон истоптан ногами мальчишек из Стиринг-скул, бегавших сюда на свидания. В общем, выбор Куши оригинальностью не отличался, хотя и был вполне в ее стиле.

Куши нравилась Гарпу, а ее брат Уильям Перси всегда очень хорошо к нему относился. Гарп был

слишком мал, чтобы быть хорошо знакомым со Стьюи Вторым, ну а Допи всегда был всего лишь Допи. Маленькая Пух казалась Гарпу ребенком немного странным и очень робким. Видимо, свою трогательную глупость Куши целиком унаследовала от матери, Мидж Стиринг-Перси. Гарп подозревал, что ведет себя не очень честно — ведь при Куши он никогда не упоминал, что считает ее папашу, Жирного Стью, полнейшим кретином и засранцем.

— Ты что, никогда раньше здесь не бывал? — спросила Куши.

— Может, и бывал, вместе с матерью, когда-то давно, — сказал Гарп. Конечно же, он знал, что это за место — «у пушек». В Стиринг-скул даже существовало расхожее выражение «потрахаться у пушек». Например: «Я здорово потрахался у пушек в прошлый уик-энд!» или «Видел бы ты, как старина Фенли кончил вчера у пушек!» Да и сами пушки пестрели соответствующими надписями: «Пол трахал здесь Бетти. 1958 г.» или: «М. Овертон, 59 г. Кончил здесь пять раз».

На том берегу сонной реки виднелись игроки в гольф из Стиринг-Кантри-клаб. Даже на таком расстоянии их дурацкая одежда казалась совершенно неестественной в этих лугах и заросших

тростником болотах. Яркие головные платки и пестрая шотландка на фоне зелено-коричневых трав и серо-коричневой грязной воды превращали игроков в каких-то напуганных и неуместных здесь животных, преследующих прямо по озеру свою скачущую добычу — белые мячи-точки.

— Господи, до чего же идиотская игра этот гольф, — сказал Гарп.

Он по-прежнему отрицательно относился к играм с мячами и клюшками; Куши уже слыхала его тезисы на сей счет и пропустила эту реплику мимо ушей. Она уселась там, где трава была помягче, — внизу застыла река, вокруг торчали густые кусты, а сверху нависали огромные разверстые жерла пушек. Гарп заглянул в ближайшее жерло и вздрогнул, обнаружив там голову разбитой куклы; голова как живая смотрела на него одним уцелевшим стеклянным глазом.

Куши расстегнула ему рубашку и слегка куснула за сосок.

— Ты мне нравишься, — сказала она.

— Ты мне тоже, Кушетка, — сказал Гарп.

— Как ты думаешь, — спросила Куши, — то, что мы старые друзья, *этому* не помешает?

— Да нет! — ответил Гарп. Он надеялся, что они быстренько перейдут прямо к делу, потому

что еще никогда *этим* не занимался и очень рассчитывал на опыт Куши. Некоторое время они целовались взасос, сидя на истоптанной траве. У Куши это здорово получалось, она крепко прижимала свои мелкие твердые зубки к его зубам.

Честный даже в столь юном возрасте, Гарп попытался все же промямлить, что, по правде сказать, отец ее — полный идиот.

— Ну конечно идиот, — согласилась Куши. — Но и твоя мать тоже немножко странная, верно?

Ну да, Гарп тоже так считал.

— Но я все равно ее люблю, — заявил этот самый преданный из сыновей. Даже в такой момент.

— Ага, мне она тоже нравится, — сказала Куши. Таким образом, они выяснили все, что требовалось, и Куши разделась. Гарп тоже разделся, но тут она вдруг спросила:

— Слушай, а где *он?*

— Какой еще «он»? — в панике спросил Гарп. Он-то думал, что она как раз в «него» и вцепилась.

— Где эта штука? — требовательно спросила Куши, дергая его за то, что Гарп как раз «этой штукой» и считал.

— Да что тебе нужно? — спросил Гарп.

— Как, неужели ты ничего с собой не взял? —

спросила Куши. Гарп лихорадочно соображал, что именно он должен был взять с собой.

— А что я должен был взять? — все-таки спросил он.

— Ох, Гарп! — вздохнула Куши. — У тебя что, резинок нету?

Он виновато поглядел на нее. Он ведь был мальчишкой, всю жизнь прожившим вдвоем с матерью, и единственная «резинка», какую он видел в жизни, была однажды надета на дверную ручку их квартирки рядом с изолятором, по всей вероятности, гнусным мальчишкой по фамилии Меклер, который давным-давно закончил школу и уехал куда-то продолжать свое саморазрушение. Тем не менее о таких вещах следовало знать. Он ведь не раз слышал от мальчишек о презервативах

— Иди сюда. — Куши подвела его к пушкам. — Ты ведь ни разу *этим* не занимался, верно? — спросила она. Он кивнул, как всегда честный до идиотизма. — Ох, Гарп! — снова вздохнула она. — Не будь ты моим старым другом… — Она улыбнулась, но он понял, что теперь *этого* уже не будет: она не даст. Куши ткнула пальцем в дуло средней пушки. — Погляди сюда. — Он поглядел. Осколки стекла сверкали как драгоценные

камни. Наверное, подумал Гарп, так сверкают камешки на морском берегу где-нибудь в тропиках… Виднелось в жерле пушки и кое-что еще, не столь приятное на вид. — Вот они, резинки, — сказала Куши.

Ствол пушки и впрямь был весь забит использованными кондомами. Сотни презервативов! Выставка остановленного размножения. Подобно собакам, помечающим мочой границы своей территории, парни из Стиринг-скул оставляли свою сперму в дуле пушки, охраняющей Стиринг-ривер. Современный мир, таким образом, оставил свой след и на этом историческом памятнике.

Куши уже одевалась.

— А ты, оказывается, ничего и не умеешь, — поддразнила она его. — О чем же ты писать-то будешь?

Гарп и впрямь заподозрил, что через несколько лет это вырастет для него в настоящую проблему.

Он тоже собрался было одеться, но Куши заставила его лечь на землю, чтоб как следует его рассмотреть.

— Ты и вправду очень красивый, — сказала она. — И не бери в голову — ничего страшного не произошло. — Она поцеловала его.

— Я могу сбегать за резинками, — сказал он. — Это же быстро. И тогда мы сможем сюда вернуться.

— У меня поезд в пять, — сказала Куши, но сочувственно ему улыбнулась.

— Я же не знал, что тебе нужно так быстро вернуться, — сказал Гарп.

— Видишь ли, даже в Диббсе существуют некоторые дурацкие правила. — В голосе Куши звучала обида — за свою школу и ту репутацию, которую эта школа заслужила своими свободными нравами. — И потом… ты же встречаешься с Хелен, верно? Я знаю, что встречаешься.

— Но не так, как с тобой, — признался Гарп.

— Гарп, никогда и никому не рассказывай всего, — сказала Куши.

Та же проблема была и с его писательскими опытами: мистер Тинч говорил ему то же самое.

— Ты все воспринимаешь слишком серьезно, — сказала Куши, в кои-то веки оказавшись в ситуации, когда имела полное право прочесть ему нотацию.

По речной глади внизу скользил восьмивесельный «шелл», пробираясь по узкому каналу, оставшемуся от Кишки; гребцы торопились к эллингу Стиринг-скул, пока прилив не кончился

и лодка не села на мель.

Тут Гарп и Куши увидали игрока в гольф. Прилив уже отступил, и он спустился по заросшему болотной травой противоположному берегу реки и, закатав свои яркие штаны до колен, вошел в грязную жижу. Далеко впереди на ее поверхности лежал мячик для гольфа, футах в шести от берега. Игрок осторожно двинулся вперед; грязь доходила ему почти до колен. Пользуясь клюшкой как балансиром, он окунул ее блестящий конец в жижу и выругался.

— Харри, назад! — крикнул кто-то. Это был его партнер по гольфу, одетый столь же ярко и безвкусно — в шорты до колен, такого интенсивно-зеленого цвета, какой нельзя выработать ни из одной травы на свете, и желтые носки. Игрок по имени Харри сделал еще шаг к мячику — ни дать ни взять диковинная птица, пытающаяся извлечь свое яйцо из покрытых нефтяной пленкой наносов.

— Харри, ты же утонешь в этом дерьме! — встревожился его партнер. И тут Гарп узнал его — мужчина в зеленых шортах и желтых носках был отец Куши, Жирный Стью.

— Мяч-то совсем новый! — крикнул ему Харри и провалился одной ногой до самого паха, затем,

пытаясь повернуть назад, потерял равновесие, плюхнулся в грязь и тут же утонул по пояс. На багровом лице его проступило отчаяние. В грязной воде особенно ярко выделялась его синяя рубашка — синей, чем самое синее небо. Он взмахнул было клюшкой, но та выскользнула у него из рук и упала в грязь в нескольких дюймах от мяча, который по-прежнему сверкал неестественно белым пятнышком, теперь уже совершенно недостижим.

— Помогите! — взвизгнул Харри. Став на четвереньки, он все же сумел на несколько футов приблизиться к Жирному Стью и безопасному берегу. — Тут, похоже, сплошные угри! — орал Харри, продолжая ползти дальше на брюхе и отталкиваясь руками, как тюлень ластами. Его продвижение сопровождалось жуткими чавкающими звуками, будто под слоем отвратительной грязи скрывалась чья-то пасть, норовившая засосать его.

Гарп и Куши, укрывшись в кустах, с трудом сдерживали смех. Харри сделал последний бросок к берегу. Стюарт Перси, пытаясь помочь, тоже ступил в жидкую грязь, правда только одной ногой, и тут же потерял туфлю, которую засосало вместе с желтым носком.

— Тихо! Не шевелись! — предупредила Куши. И вдруг они заметили, что у Гарпа эрекция. — Ой, вот незадача! — прошептала Куши, грустно глядя на его вставший член, но когда он попытался притянуть ее к себе и завалить на траву, серьезно сказала: — Я не хочу никаких детей, Гарп. Даже от тебя. К тому же твои дети могут оказаться джапами. А такие мне точно ни к чему.

— Что? — заорал Гарп. Одно дело ничего не знать о презервативах, но что это за чушь про детей-джапов?

— Тихо, тихо, — прошептала Куши. — Я сейчас кое-что тебе покажу, а после ты, возможно, об этом напишешь.

Разъяренные игроки в гольф уже выбрались на берег и шагали сквозь болотную траву назад, к аккуратным игровым трекам, а Гарп между тем почувствовал губы Куши на тугом узле, что образовался у него внизу живота. Впоследствии Гарп так и не мог с уверенностью сказать, насколько мощный толчок его памяти дало слово «джап» и действительно ли в этот миг вспомнил, как истекал кровью в доме Перси, а маленькая Куши твердила своей матери, что «Бонки укусил Гарпа» (и как тщательно осматривал маленького Гарпа голый Жирный Стью). Вполне возможно, в его

памяти все же сохранилось выражение Стюарта «джапские глаза», и собственное его прошлое словно разом совместилось с общей временной перспективой; но так или иначе, Гарп решил как следует расспросить Дженни и узнать побольше подробностей о своем происхождении, потому что мать рассказывала ему об этом крайне мало. Он ощущал жгучую потребность знать не только то, что его отец был солдатом и погиб. Но ощущал и влажные губы Куши у себя на животе, а когда она вдруг взяла его «штуку» в свой горячий рот, он был настолько потрясен, что все серьезные мысли и намерения словно взорвались вместе с сознанием. Вот так, под дулами трех семейных пушек Стирингов, Т.С. Гарп впервые познакомился с сексом в его относительно безопасной и нерепродуктивной форме. Конечно, с точки зрения Куши, это была далеко не лучшая форма секса, без взаимности.

Обратно они возвращались держась за руки.

— Я хочу быть с тобой в следующий уик-энд, — сказал Гарп. Он уже сделал себе пометку в памяти: не забыть про «резинки».

— Ты же все равно любишь Хелен, — сказала Куши. Она, наверное, ненавидела Хелен Холм, если вообще была с нею знакома. Еще бы, Хелен

такая зазнайка, так гордится своими мозгами!

— И все равно я хочу быть с тобой, — упрямо сказал Гарп.

— Ты очень милый, — сказала Куши, сжимая его руку. — И ты — самый старый мой друг. — Хотя обоим не мешало бы знать, что можно быть знакомым с человеком всю жизнь, но так и не стать его другом.

— А кто тебе сказал, что мой отец японец? — спросил Гарп.

— Не помню, — сказала Куши. — Я вовсе не уверена, что он был японец.

— Я тоже, — сказал Гарп.

— А почему бы тебе не спросить у матери? — сказала Куши. Разумеется, он спрашивал, и не раз, но Дженни упорно не желала отступать от первой и единственной версии его происхождения.

Когда Гарп позвонил Куши в Диббс-скул, она сказала:

— Ой, это ты! Тут только что звонил мой папаша, и он сказал, что мне нельзя ни видеться с тобой, ни писать тебе, ни даже с тобой разговаривать. Даже письма твои читать нельзя! Как будто ты мне пишешь письма! Думаю, нас кто-то видел, когда мы были у пушек. — Ей это казалось очень забавным, однако Гарп сразу почувствовал, что

его будущее у пушек обречено. — Я приеду на ваш выпуск, — сообщила Куши.

А Гарп мучился сомнениями: если он купит презервативы прямо сейчас, будут ли они еще пригодны в выпускной вечер? И вообще, могут ли «резинки» испортиться? Сколько недель их можно хранить? И не лучше ли в холодильнике? Спросить было не у кого.

Гарпу хотелось спросить об этом у Эрни Холма, но он опасался, что о его свидании с Куши Перси узнает Хелен. И, хотя между ним и Хелен ничего особенного пока не было и обвинить его в неверности она не могла, у Гарпа было богатое воображение и свои определенные планы на будущее.

Он написал Хелен длинное исповедальное письмо о своем «вожделении», как он его называл, и о том, что оно не идет ни в какое сравнение с теми высокими чувствами, которые он испытывает к ней. Хелен быстро ответила, что совершенно не понимает, с какой стати он ей-то обо всем этом пишет, но прибавила, что *пишет* он теперь, как ей кажется, гораздо лучше, чем прежде. Гораздо лучше, например, чем тот рассказ, который он ей показывал. И она надеется, что он будет и впредь показывать ей все, что напишет.

Хелен также добавила, что Куши Перси — девица довольно глупая, судя по тому немногому, что она о ней слышала. «Но чисто внешне она симпатичная», — писала Хелен. И если уж Гарпом овладело «вожделение», то это просто удача, что рядом оказалась именно Куши.

Гарп ответил Хелен, что покажет ей теперь только вещь, достойную ее уровня. Он поделился с нею и своими мыслями насчет нежелания поступать в колледж. Во-первых, он считал, что в колледж стоит поступать только в том случае, если продолжать заниматься борьбой, а он вовсе не уверен, что так уж сильно хочет заниматься борьбой, да еще и на более высоком уровне. А в обычном поддержании уже достигнутого уровня он просто не видит смысла — если он поступит в какой-нибудь небольшой колледж, где на спорт особого внимания не обращают. «Борьбой стоит продолжать заниматься, — писал он Хелен, — только если хочешь стать лучшим». А он отнюдь не был уверен, что ему это нужно, да и понимал, в общем, что вряд ли ему удастся стать лучшим. Во-вторых, рассуждал далее Гарп, слыхала ли Хелен хоть об одном человеке, который специально поступил в колледж, чтобы стать настоящим писателем, лучшим из лучших?

И где он только почерпнул эту идею — непременно стать лучшим из лучших?

Хелен написала, что, на ее взгляд, ему хорошо бы поехать в Европу, и Гарп немедленно обсудил эту мысль с Дженни.

К его удивлению, Дженни, оказывается, отнюдь не стремилась отправить его в колледж. И отнюдь не была уверена, что подготовительные школы вроде Стиринга предназначены именно для этого.

— Если Стиринг-скул дает первоклассное образование, — заявила Дженни, — то за каким чертом тебе идти еще куда-то? По-моему, если ты хорошо учился здесь, значит, ты уже человек образованный. Я права или нет?

Гарп отнюдь не чувствовал себя человеком образованным, но все же ответил, что, наверное, мать права. Тем более, как ему представляется, учился он не так уж и плохо. А вот идея насчет поездки в Европу Дженни очень заинтересовала.

— Ну что ж, можно попробовать, — сказала она. — Все лучше, чем без конца торчать здесь.

Вот тут-то Гарп и понял, что мать намерена «торчать здесь» вместе с ним!

— Я постараюсь узнать, в какую европейскую страну стоит прежде всего поехать начинающему

писателю, — сказала Дженни. — Я ведь и сама подумываю кое-что написать.

После этих слов Гарпу стало настолько паршиво, что он сразу ушел к себе и лег спать. А утром, как только проснулся, с горечью написал Хелен, что, видно, обречен всю жизнь жить вместе с матерью. «Как я могу стать писателем, научиться писать по-настоящему, — жаловался он, — если мать все время будет заглядывать мне через плечо?» На этот вопрос у Хелен ответа не нашлось, и она сообщила, что посоветуется с отцом; может, Эрни что-нибудь тактично подскажет Дженни. Дженни очень нравилась Эрни Холму; он порой приглашал ее в кино, а она стала чуть ли не постоянным зрителем на всех состязаниях по борьбе, и, хотя между ними не было и не могло быть ничего, кроме дружбы, Эрни очень близко к сердцу принимал жизненные перипетии этой отважной матери-одиночки. Он, конечно, слышал версию Дженни о появлении Гарпа на свет и, приняв ее как должное, яростно защищал Дженни от не в меру любопытных представителей Стиринг-скул, которым хотелось бы знать побольше о прежней жизни Дженни Филдз.

Но в вопросах, связанных с культурой, Дженни полагалась только на советы мистера Тинча. Его

она и спросила, в какую европейскую страну им стоит поехать — где атмосфера наиболее творческая и где писалось бы лучше всего. Мистер Тинч в последний раз посетил Европу в 1913 году и провел там всего одно лето. Сначала он поехал в Англию, где проживало еще несколько Тинчей, его британских родственников, однако те здорово напугали его, грубо и настырно требуя денег, так что Тинч тут же сбежал на континент. Однако и во Франции с ним обращались довольно грубо, а в Германии все почему-то слишком громко кричали. Из-за слабого желудка он опасался итальянской кухни и в итоге поехал в Австрию.

— Только в Вене, — сказал Тинч Дженни, — я нашел наконец н-н-настоящую Европу. Там т-т-такая с-с-созер-цательная, т-т-такая творческая ат-т-тмосфера. Т-т-там ощущаешь и грусть, и в-в-величие европейской культуры…

Год спустя началась Первая мировая война. В 1918 году множество венцев из тех, что уцелели в войну, погибли во время страшной эпидемии испанки. Грипп убил и старика Климта, и молодого Шиле, и его юную жену. А потом еще сорок процентов оставшегося в живых мужского населения Вены погибло во время Второй мировой войны. И та Вена, куда Тинч советовал поехать

Дженни и Гарпу, стала городом полумертвым, утомленным, где жизнь уже подходила к концу. Правда, ее спокойную утомленность еще можно было по ошибке принять за «с-с-созерцательную ат-т-тмосферу», но никакого «в-в-величия» в ней уже не осталось. И, слушая полуправдивые рассказы Тинча, Дженни и Гарп ощутили невольную грусть. «Творческая атмосфера, — писал позднее Гарп, — возникает в *любом* месте, где творит художник».

— Вена? — удивленно спросил Гарп, когда Дженни поведала ему о своих планах. Он спросил это почти тем же тоном, каким более трех лет назад с отвращением простонал: «Господи, борьба!» Он тогда лежал больной в постели и очень сомневался, что мать способна выбрать для него подходящий вид спорта. Однако он понимал, что тогда Дженни оказалась права, да и вообще он практически ничего не знал как о Европе, так и о любом другом месте. В Стиринге Гарп три года учил немецкий, так что хотя бы с этим особых затруднений возникнуть не должно было, а Дженни (совершенно неспособная к языкам) когда-то читала книгу, в которой рассказывалось о странно соседствовавших явлениях и личностях австрийской истории — о Марии Терезии

и фашизме. Книга называлась «От империи до аншлюса». Гарп видел ее в ванной, она там валялась несколько лет, но теперь ее вряд ли можно было бы отыскать. Вероятнее всего, ее постепенно унесло в канализацию.

— Последним, у кого я видела эту книгу, был Улфелдер, — сказала Дженни Гарпу.

— Мам, но ведь Улфелдер уже три года как школу окончил, — напомнил ей Гарп.

Когда Дженни сообщила декану Боджеру о своем уходе, Боджер искренне огорчился и сказал, что в Стиринг-скул будет ее не хватать и что они всегда готовы принять ее обратно. Дженни не хотела показаться невежливой, но все же промямлила, что медсестра всюду найдет работу; она, конечно, еще не знала, что никогда уже не будет работать медсестрой. Боджера очень удивило, что Гарп не собирается поступать в колледж. По мнению декана, у Гарпа не было ни малейших проблем с дисциплиной с тех самых пор, как он в пятилетнем возрасте благополучно пережил происшествие на крыше; вдобавок Боджер всегда гордился своей ролью в спасательной операции, и эта гордость питала его теплое отношение к Гарпу. Кроме того, Боджер болел за школьную борцовскую команду, а также был одним из

немногочисленных поклонников Дженни. Впрочем, он вполне спокойно воспринял известие, что мальчик как будто увлекся «писательским делом» (так Боджер называл увлечение Гарпа). Дженни, конечно же, не стала ему говорить, что и сама хочет попытать счастья на писательском поприще.

Собственно, эти ее планы и вызывали у Гарпа наибольшее замешательство, но он ни словом не обмолвился о своих сомнениях даже в письмах к Хелен. События развивались очень быстро, и Гарп успел выразить свои дурные предчувствия лишь в разговоре с тренером, Эрни Холмом.

— Твоя мать знает, что делает, я уверен, — сказал ему Эрни. — Ты бы лучше о себе побеспокоился.

Даже старый Тинч был полон оптимизма.

— Эт-т-то, конечно, ч-ч-чуточку эк-к-ксцентрич-но, — сказал он Гарпу, — однако м-м-многие блестящие идеи сп-п-перва кажутся эк-к-к-ксцентричными.

Годы спустя Гарп вспомнит, что заикание Тинча было своеобразным предупреждением, которое посылало ему собственное тело, видимо пытаясь сообщить своему хозяину, что он умрет от п-п-п-переохлаждения.

Дженни твердила, что они уедут сразу же после выпускного вечера, но Гарп рассчитывал остаться в Стиринге на все лето.

— Господи, ради чего? — удивилась Дженни.

Ради Хелен, хотелось ему сказать, впрочем, у него пока не было таких рассказов, которые оказались бы достаточно хороши для Хелен, и он уже написал ей об этом. Вот почему оставалось только ехать и срочно начинать писать хорошие рассказы. Да и вряд ли можно рассчитывать, что Дженни согласится провести в Стиринге целое лето только ради того, чтобы он мог еще разок сбегать «к пушкам» на свидание с Куши Перси, которое, вполне возможно, вообще не состоится. Но он все же надеялся повидать Куши в первый же уик-энд после выпускного вечера.

В день выпуска шел проливной дождь, превращая в кисель и без того достаточно влажную почву кампуса; ливневые стоки были напрочь забиты, и машины двигались по улицам Стиринга, как яхты в шторм. Женщины в летних нарядах выглядели совершенно беспомощными; семейные фургоны загрузили поспешно, кое-как. Перед спорткомплексом имени Майлса Сибрука была воздвигнута огромная ярко-красная палатка, похожая на купол цирка; под куполом стояла

ужасная духота, и в этой духоте выпускникам вручались аттестаты об окончании школы; речи ораторов тонули в стуке дождевых капель по тугому красному брезенту.

Гарп не заметил никого из близких знакомых. Хелен не приехала, поскольку в Толбот-скул выпускной вечер должен был состояться только через неделю и она еще сдавала последние экзамены. Куши Перси на этой бездарной церемонии конечно же присутствовала, но Гарп ее не увидел. Он понимал, что она где-то здесь, рядом со своими отвратительными родственничками, но держался подальше от Жирного Стью — в конце концов, отец есть отец и оснований злиться на очередного «поклонника» Куши у него предостаточно, пусть даже честь Кушмен Перси утеряна давным-давно и отнюдь не по вине Гарпа.

Под вечер из-за туч наконец выглянуло солнце, но это уже не имело значения. Территория школы буквально исходила паром, а почва — от спорткомплекса Сибрука до «пушек» — настолько пропиталась водой, что на много дней превратилась в настоящее болото. Гарп представил себе, какими широкими потоками стекает в реку вода возле пушек; да и сама Стиринг-ривер наверняка здорово вздулась. И в пушках небось полно воды

— дула-то у них задраны вверх. После сильного дождя из пушек всегда выливалось на бетонный постамент гнусное месиво из битого стекла и сотен старых презервативов. Нечего и думать, что в такой день удастся заманить Куши к пушкам, думал Гарп.

А пакетик с тремя презервативами все-таки шуршал у него в кармане, как маленький огонек надежды.

— Слушай, — сказала Дженни, — я пива купила. Можешь даже напиться, если хочешь.

— Господи, мам, ну ты даешь! — сказал Гарп, но все же выпил с нею пива. В ночь после выпуска они сидели совершенно одни; изолятор рядом опустел, с коек было снято постельное белье. Гарп пил пиво и размышлял о том, что вот все и кончилось; напряжение постепенно спадало; потом он постарался приободрить себя, вспомнив, что, учась в Стиринге, все-таки прочитал несколько очень неплохих рассказов. Надо сказать, читателем он был никудышным, не чета Хелен или Дженни. А к такому жанру, как рассказ, Гарп вообще относился довольно странно: он отыскивал какой-нибудь один, который ему особенно нравился, и без конца перечитывал его, причем в этот довольно длительный пери-

од никаких других рассказов уже не читал. За время учебы в Стиринге он, например, прочитал «Тайного участника» Джозефа Конрада тридцать четыре раза, а «Человека, который любил острова» Д.Г.Лоуренса — двадцать один раз и в данный момент был вполне готов перечесть его снова.

За окнами их маленькой пристройки раскинулся кампус Стиринг-скул — темный, насквозь промокший и всеми покинутый.

— Ну ладно, давай посмотрим на это с другой стороны, — сказала Дженни; она видела, что Гарп совсем пал духом. — Тебе потребовалось всего четыре года, чтобы закончить Стиринг, а вот я ходила в эту проклятую школу целых восемнадцать лет! — На этом, впрочем, ее речь и закончилась: пить Дженни совершенно не умела и на половине второй бутылки просто уснула за столом, и Гарп отнес ее в постель. Туфли она скинула по дороге, Гарпу осталось лишь вынуть у нее из волос заколку, чтоб она не укололась, ворочаясь во сне. Ночь была теплая, так что он не стал ее ничем укрывать.

Он выпил еще пива, а потом вышел прогуляться.

Конечно же, он знал, куда направляется.

Фамильный дом Перси — изначально фамиль-

ный дом Стирингов — высился посреди мокрой лужайки не так уж далеко от изолятора. Весь дом был темный, свет горел только в одном окне, и Гарп прекрасно знал, чье это окно, — маленькая Пух Перси, которой было уже четырнадцать, не могла спать в темноте. Куши рассказала Гарпу и о том, что Пух до сих пор старается на всякий случай надевать на ночь непромокаемые трусы с подгузником; может быть, подумал Гарп, это потому, что все ее семейство до сих пор упорно называет Бейнбридж Бедняжкой Пух?

«Ничего страшного я в этом не вижу, — говорила Куши. — Подумаешь! Она же не всегда *пользуется* подгузниками, ей просто нравится иногда их надевать. Так уж ее в нашей милой семейке изуродовали…»

Стоя на мокрой траве под окном Пух Перси, Гарп пытался вспомнить, которое окно принадлежит Куши. А поскольку так и не вспомнил, то решил разбудить Пух; она уж точно его узнает и наверняка позовет Куши. Пух появилась в окне будто привидение и, похоже, не сразу узнала Гарпа, который висел, вцепившись в заросли плюща, у нее под окном. Глаза у Бейнбридж Перси сверкали, как у лани, ослепленной фарами автомобиля и готовой к тому, что сейчас ее собьют.

— Господи, Пух, не бойся, это же я! — прошептал Гарп.

— Тебе нужна Куши, да? — тупо спросила Пух.

— Да, — сказал Гарп, закашлялся, и тут плющ не выдержал и оборвался. Гарп рухнул прямо на кусты. Куши, которая почему-то спала в купальнике, помогла ему выбраться.

— Ты же весь дом перебудишь! — упрекнула она его. — Выпил, что ли?

— Я просто упал! — раздраженно ответил Гарп. — а твоя сестрица — настоящая ведьма.

— Сейчас везде мокро, — словно не слыша его, заметила Куши. — Куда бы нам пойти?

Но Гарп уже подумал об этом. В изоляторе было целых шестьдесят пустых коек.

Однако не успели Гарп и Куши миновать веранду, как перед ними вырос Бонкерс. Черное чудовище запыхалось, едва спустившись с крыльца, а его серо-седая пасть была вся в пене; Гарп почувствовал зловонное дыхание пса — ощущение было такое, словно ему в лицо плеснули тухлятиной. Бонкерс рычал, но от старости даже это делал теперь как-то замедленно.

— Скажи ему, чтоб убрался, — шепнул Гарп Куши.

— Да он глухой, — сказала Куши. — Он ведь

совсем старый.

— Знаю я, какой он старый, — сказал Гарп. Бонкерс залаял — звук был глухой и скрипучий, словно кто-то попытался отворить старую дверь с проржавевшим замком и несмазанными петлями. Пес явно похудел, но на вид все равно весил не менее ста сорока фунтов. Страдая от чесотки и ушных клещей, весь покрытый шрамами, полученными в боях с другими собаками и в сражениях с колючей проволокой, Бонкерс сразу учуял давнего врага и загнал Гарпа в угол возле веранды.

— Пшел прочь, Бонки! — прошипела Куши.

Гарп попробовал обойти пса и отметил, какой замедленной стала у того реакция.

— Он же наполовину слепой, — прошептал Гарп.

— И чутье почти потерял, — сказала Куши.

— Ему б давно пора сдохнуть, — буркнул себе под нос Гарп и снова попытался обойти пса. Тот, пошатываясь, последовал за ним. Его пасть по-прежнему напоминала Гарпу ковш экскаватора, а провисшие мышцы когда-то сильной груди говорили о том, какой мощный у него был бросок — когда-то.

— Не обращай на него внимания, — сказала

Куши, и тут Бонкерс бросился на Гарпа.

Но псу не хватило расторопности, так что Гарп успел отскочить, обойти его сзади и ухватить за передние лапы. Он дернул Бонкерса за лапы и одновременно всей своей тяжестью рухнул ему на спину. Пес сунулся носом в землю, продолжая отбиваться задними лапами. Гарп крепко зажал его передние лапы, придавив огромную голову к земле. Бонкерс издал чудовищное рычание, и тогда Гарп изо всех сил вцепился зубами в его шею, покрытую густой шерстью. И тут он увидел собачье ухо — оно буквально само угодило ему в рот. И Гарп, не долго думая, укусил Бонкерса за ухо. Укусил так, что тот взвыл. Но Гарп и не думал отпускать его; он укусил Бонкерса в отместку за свое откушенное ухо, в отместку за те четыре года, которые ему пришлось провести в Стиринге, и в отместку за те восемнадцать лет, которые пришлось провести здесь его матери.

Только когда в доме Перси стали загораться окна, Гарп отпустил старого Бонкерса.

— Бежим! — предложила Куши. Гарп схватил ее за руку, и они помчались прочь.

Гарпа подташнивало, во рту был отвратительный привкус.

— Ух ты! А кусать его было обязательно? —

спросила Куши.

— Он же меня укусил, — напомнил ей Гарп.

— Да, я помню. — Куши крепко сжала его руку, и он повел ее дальше — куда хотел отвести.

— Что за чертовщина тут творится?! — услыхали они за спиной раздраженный крик Стюарта Перси.

— Это все Бонки! — пискнула Пух Перси.

— Бонкерс! — позвал Жирный Стью. — Ко мне, Бонкерс! Ко мне! — И все услышали ответное завывание старого оглохшего пса.

В общем, поднялся такой шум, что были разбужены все немногочисленные обитатели опустевшего кампуса, в том числе и Дженни Филдз, которая тут же высунулась в окно. К счастью, Гарп вовремя заметил, как мать зажигает свет, и, быстренько спрятав Куши в коридоре пустого изолятора, отправился к Дженни за медицинской помощью.

— Что с тобой? — спросила она сына. Но Гарпу прежде всего хотелось выяснить, чья это кровь струится у него по подбородку — его собственная или же Бонкерса. Отмывая его возле кухонного стола, Дженни смыла у него с шеи нечто черное, похожее на струп, величиной с серебряный доллар. «Струп» упал на стол, и мать с сыном

уставились на него.

— Что это?! — удивилась Дженни.

— Ухо, — ответил Гарп. — Или часть его.

На белой поверхности стола лежал кусок черной кожи, чуть свернувшейся по краям и потрескавшейся, как высохшая от старости перчатка.

— Я налетел на Бонкерса, — сказал Гарп.

— Ну что ж, ухо за ухо, — сказала Дженни Филдз.

У самого Гарпа не было ни царапины — он просто перепачкался в крови Бонкерса.

Когда Дженни снова ушла к себе в спальню, Гарп подземным туннелем провел Куши в изолятор. За восемнадцать лет он хорошо изучил этот путь и отвел ее в крыло, находившееся в самом дальнем от материнской спальни конце; они устроились в комнате над главным приемным покоем, рядом с кабинетами хирурга и анестезиолога.

С тех пор секс для Гарпа неизменно ассоциировался с определенными медицинскими запахами и ощущениями. Этот случай навсегда остался в тайниках его памяти, но не как волнующее переживание, а просто как память о заслуженной награде, которая наконец-то досталась ему после всех пережитых мучений. И этот смутно-

больничный запах тоже навсегда сохранился у него в памяти как нечто глубоко личное. А свое тогдашнее окружение он воспринимал как некое совершенно пустое пространство. И секс остался в памяти как единичный акт, совершенный в покинутой всеми и тщательно вымытой дождем земле. Причем акт, всегда вселяющий невероятный оптимизм.

Куши, конечно же, вспомнила про пушки. Когда третий презерватив из пакетика был уже использован, она спросила, неужели это все, что он припас, неужели купил только один пакетик Но борец больше всего ценит именно заслуженный отдых после тяжелой схватки, и Гарп уснул под аккомпанемент жалобных причитаний Куши.

— В прошлый раз ты вообще ни одного не захватил, — плакалась она, — а теперь взял слишком мало, и они сразу кончились. Хорошо еще, что мы с тобой старые друзья.

Было еще темно и далеко до зари, когда их разбудил Стюарт Перси. Голос Жирного Стью гремел в стенах пустого изолятора, словно началась какая-то невиданная эпидемия. «Откройте!» — требовал он, и Куши с Гарпом подкрались к окну посмотреть, что происходит.

На ослепительно зеленой после дождя лужай-

ке стоял в махровом халате и шлепанцах — и с Бонкерсом на поводке! — отец Куши и орал, глядя на окна изолятора. Немного погодя в окне своей спальни появилась Дженни.

— Вы заболели? — спросила она Стюарта.

— Где моя дочь? — гаркнул Стюарт.

— Вы пьяны? — холодно спросила Дженни.

— Немедленно впустите меня! — завизжал Стюарт.

— Доктор в отъезде, — спокойно пояснила Дженни Филдз. — А я лично сомневаюсь, что вас вообще надо от чего-то лечить.

— Су-у-ука! — проблеял Стюарт. — Твой ублюдок совратил мою дочь! Я знаю, они там, в вашем траханом изоляторе!

Да, теперь это действительно траханый изолятор, подумал Гарп, тая от прикосновений и запаха Куши, которая тряслась от ужаса рядом с ним. В открытое окно влетал прохладный утренний ветерок, холодил кожу, заставляя и Гарпа поеживаться и вздрагивать; оба молчали.

— Вы только поглядите на мою собаку! — продолжал орать Стюарт. — Вся в крови! Она аж под гамак спряталась! Да у меня все крыльцо кровью залито! Что ваш проклятый ублюдок сделал с моим Бонкерсом?!

Гарп почувствовал, что Куши передернулась, услышав голос его матери. То, что затем сказала Дженни Филдз, заставило Куши Перси вспомнить собственные свои слова, произнесенные тринадцать лет назад. А сказала Дженни всего лишь: «Гарп укусил Бонки». Потом свет в ее комнате погас, и во мраке, упавшем на изолятор и пристройку, было слышно только злобное пыхтение Жирного Стью и стук капель дождя, омывающего Стиринг-скул, смывающего все дочиста.

5. В городе, где умер Марк Аврелий

Когда Дженни с восемнадцатилетним Гарпом уехали в Европу, он был гораздо лучше большинства своих сверстников подготовлен к затворнической жизни, какую обычно ведут писатели. Он отлично чувствовал себя в том мире, который создал собственным воображением; в конце концов, его и воспитала женщина, полагавшая затворничество (если не одиночное заключение) наиболее естественной формой существования. Прошло немало лет, прежде чем Гарп заметил, что у него совсем нет друзей; однако Дженни Филдз это отнюдь не казалось странным. Ведь ее первым и единственным другом был Эрни Холм с его слегка отчужденной и подчеркнуто вежливой манерой держаться.

Дженни и Гарп далеко не сразу нашли себе жилье по вкусу, сперва переезжали из пансиона в пансион, колеся по всей Вене. Этот способ определить, в какой части города им больше всего нравится жить, подсказал мистер Тинч: пусть поживут понемногу во всех районах Вены,

а потом решат, где лучше. Возможно, жизнь в пансионе и показалась приятной мистеру Тинчу в 1913 году, но теперь на дворе был 1961 год, и Дженни с Гарпом быстро устали таскать свои пишущие машинки по всему городу. Однако именно опыт жизни в различных венских пансионах и позволил Гарпу написать первый и, возможно, лучший его рассказ — «Пансион „Грильпарцер“». Гарп понятия не имел, *что* такое пансион, пока не приехал в Вену, но ему быстро стало ясно, что пансион способен предложить несколько меньше, чем гостиница, и вообще он всегда меньше, чем гостиница, и никогда не бывает достаточно элегантным; и далеко не всегда в пансионах предлагается завтрак. В иных пансионах ты как бы заключал некую сделку с самим собой, в других — почти сразу понимал, что совершил ошибку. Некоторые пансионы, выбранные Гарпом и Дженни, были вполне приятными — чистыми, комфортабельными, с дружелюбным персоналом, но зачастую слишком ветхими.

Дженни и Гарп почти сразу решили, где хотели бы жить: на Рингштрассе либо поблизости от нее. Эта широкая улица кольцом охватывает Старый город, сердце столицы; здесь можно было найти практически все необходимое буквально

в двух шагах, так что Дженни, совсем не знавшая немецкого, вполне могла обойтись и без Гарпа, ведь, если можно так выразиться, это была наиболее космополитичная часть Вены, и здешнее население отличалось достаточно высокой образованностью.

Гарпа весьма забавляло, что теперь ему приходилось отвечать за свою мать и практически быть хозяином в доме: три года занятий немецким языком в Стиринг-скул сделали свое дело.

— Возьми шницель, мама, — советовал Дженни Гарп.

— А, по-моему, Kalbsnieren звучит интереснее, — неуверенно говорила Дженни.

— Это телячьи почки, — переводил ей Гарп. — Ты что, любишь телячьи почки?

— Не знаю, — признавалась Дженни. — Наверное, нет. Когда они наконец сняли квартиру, Гарп взял на себя закупку провизии и стряпню. Дженни восемнадцать лет питалась исключительно в столовой Стиринг-скул и готовить так и не научилась, а теперь не могла даже и в поваренную книгу заглянуть, не зная немецкого. Именно в Вене Гарп обнаружил, что ему очень нравится готовить. Но больше всего ему в Европе, по его собственным словам, понравился ватерклозет.

В пансионах это, правда, была всего лишь крошечная комнатка, где, кроме унитаза, ничего не имелось, но это-то и показалось Гарпу чрезвычайно осмысленным. Он писал Хелен Холм: «Самая разумная система — когда люди испражняются в одном месте, а чистят зубы в другом». Ватерклозет даже стал впоследствии одним из «героев» рассказа Гарпа «Пансион „Грильпарцер“». Но в данный момент ни этого рассказа, ни чего-либо другого он еще не написал.

Для восемнадцатилетнего юноши Гарп был на удивление дисциплинирован и усидчив, однако вокруг оказалось слишком много интересного и незнакомого; кроме того, на него вдруг обрушилась неожиданная ответственность за мать, так что он, при постоянной занятости работой, за несколько месяцев не написал ничего, кроме нескольких пространных писем к Хелен. Разум его был слишком взбудоражен исследованиями новой территории обитания, и он просто не в силах был работать методически, как ни старался.

Ему хотелось написать историю одной семьи, но пока он знал про своих будущих героев только то, что они ведут довольно интересную жизнь и очень близки друг другу, как и полагается в настоящей дружной семье. Однако даже для начала

этого было явно недостаточно.

В квартире, где поселились Дженни и Гарп, были кремовые стены и высокие потолки, а располагалась она на втором этаже старинного дома по Швиндгассе, небольшой улочке в четвертом районе Вены. Совсем недалеко находились Принц-Ойгенштрассе, Шварценбергплац, а также Верхний и Нижний Бельведеры. Гарп часто посещал различные музеи и художественные галереи, но Дженни с ним ходить отказывалась; исключение она делала только для Верхнего Бельведера, хотя Гарп предупредил ее, что там она сможет увидеть только полотна XIX–XX веков, но Дженни заявила, что с нее и этого вполне достаточно. Гарп не раз предлагал ей прогуляться по саду до Нижнего Бельведера и посмотреть коллекцию барокко, но Дженни только головой качала; в Стиринг-скул она прослушала несколько курсов по истории искусства и считала себя вполне образованной.

— А Брейгели, мама! — заманивал ее Гарп. — Тебе и нужно-то всего доехать на трамвае до Мариахильфер-штрассе. Музей истории искусств находится прямо напротив трамвайной остановки.

— До Бельведера я могу и пешком дойти, — воз-

ражала Дженни. — Зачем мне куда-то тащиться на трамвае?

Пешком она могла дойти и до Карлскирхе, и до Аргентиниерштрассе, где в весьма интересных с архитектурной точки зрения зданиях располагались посольства. А, например, болгарское посольство было прямо напротив их дома на Швиндгассе. Дженни упрямо твердила, что ей нравятся окрестности их дома, так что лучше она не будет от него отдаляться. Примерно в квартале от них находилась небольшая кофейня, и Дженни заходила туда, чтобы почитать английские газеты. Но ни в кафе, ни в ресторан она в одиночку не ходила; обедать ее водил Гарп (если он не готовил что-нибудь сам). Если же никакой еды дома не было, а Гарп куда-нибудь уходил, Дженни просто сидела голодная. Впрочем, она относилась к этому очень спокойно, полностью поглощенная идеей написать книгу, и, надо сказать, что в их «венский период» эта идея занимала Дженни гораздо больше, чем ее сына, который собирался стать писателем.

— На данном этапе у меня нет ни малейшего желания чувствовать себя здесь туристкой, — говорила она Гарпу. — Но ты, разумеется, не должен оглядываться на меня. Ты сюда приехал именно

для того, чтобы повсюду ходить и впитывать культуру.

«В-в-впитывайте, в-в-впитывайте культуру!» — говорил им мистер Тинч. И Дженни казалось, что Гарп именно это и должен делать; сама же она, как ей казалось, уже впитала достаточно, чтобы иметь право высказать и собственное мнение. Дженни Филдз был сорок один год. Ей казалось, что наиболее интересная часть ее жизни уже прожита и теперь пришла пора поведать о ней другим.

Гарп дал матери листочек бумаги и велел повсюду носить его с собой на случай, если она заблудится в незнакомом городе. На листочке был написан их адрес: Швиндгассе 15-2, Вена IV. С превеликим трудом Гарп заставил мать выучить, как произносится их адрес.

— Швиндгассефюнфценцвай! — выплевывала Дженни.

— Еще раз! — требовал Гарп. — Ты что, хочешь заблудиться?

Сам Гарп день за днем методично исследовал Вену, то и дело обнаруживая такие места, куда можно бы повести Дженни вечером или после обеда, когда она заканчивала свои писательские экзерсисы. Они пили пиво или вино, и Гарп рас-

сказывал, как провел день, а Дженни вежливо слушала. От вина и пива ее обычно клонило в сон. Обычно они съедали на обед что-нибудь вкусное, и затем Гарп доставлял мать домой на трамвае; он особенно гордился тем, что, досконально изучив систему городских трамвайных линий, никогда не пользовался такси. Иногда с утра пораньше он отправлялся на какой-нибудь открытый рынок, потом возвращался домой и до обеда возился на кухне. Впрочем, Дженни никогда не жаловалась, и ей было все равно, дома они едят или в ресторане.

— Это «Gumpoldskirchner», — говорил, например, Гарп и подробно рассказывал ей об этой марке вина. — Его очень хорошо подавать к Schweinebraten, к свиному жаркому.

— Какие смешные слова, — замечала Дженни.

В одном из своих типичных отзывов о стиле Дженниной прозы Гарп позднее писал: «Моя мать выдержала такое сражение с английским языком, что нечего удивляться: немецкий она выучить так и не удосужилась».

Хотя Дженни Филдз каждый день честно по многу часов просиживала за пишущей машинкой, писать она совершенно не умела. Впрочем, писать-то она писала, но терпеть не могла пере-

читывать написанное. Вскоре она, правда, нашла иной способ самооценки: вспоминала прочитанные некогда произведения, которые ей особенно нравились, и пыталась сравнивать их с собственными литературными опытами. До сих пор Дженни всегда начинала с самого начала: «Я родилась… Мои родители хотели, чтобы я осталась в Уэлсли…» и так далее. А потом сразу переходила к делу: «Я решила, что хочу ребенка, своего собственного, и вскоре мне удалось заполучить его, и вот каким образом…» Однако Дженни прочитала все-таки немало хороших книг и понимала, что ее «интересная история» звучит не так уж интересно и далеко не так хорошо, как те хорошие и интересные истории, которые она помнила. В чем же дело? — думала она и в очередной раз посылала Гарпа в немногочисленные венские книжные магазины, где продавались книги на английском языке. Ей хотелось повнимательнее присмотреться, как и с чего начинались ее любимые книги; надо сказать, ей удалось весьма быстро «нашлепать» три сотни машинописных страниц, однако она и сама чувствовала, что ее книга *по-настоящему* еще не началась.

Но Дженни переживала свои писательские неудачи молча; с Гарпом она всегда была весела

и приветлива, хотя и редко достаточно внимательна. Дженни Филдз всю жизнь прожила с ощущением, что жизнь ее закончилась, не успев начаться. Как и образование Гарпа. Как и ее собственное образование. Как и ее отношения с сержантом Гарпом. От этого она, разумеется, не стала меньше любить сына, но теперь ей казалось, что фаза материнской опеки закончилась; она воспитала сына, теперь он взрослый, и надо позволить ему найти себе занятие по душе, которым бы он действительно увлекся. Не могла же она прожить жизнь за него, записывая на занятия борьбой или чем-либо еще. Но жить рядом с сыном Дженни нравилось; мало того, ей даже в голову не приходило, что когда-нибудь они будут жить отдельно. Правда, она ожидала, что в Вене Гарп будет не только впитывать культуру, но и постоянно развлекаться. И Гарп развлекался как мог.

Он не слишком-то продвинулся со своим рассказом о дружной семье, разве что нашел для них интересную работу. Отец семейства инспектировал рестораны, гостиницы и пансионы, и семья ездила с ним по всей Австрии. Он определял уровень заведений и присваивал им соответствующую категорию — *A, B* или *C.* Такой работой и

сам Гарп занимался бы с удовольствием. В стране вроде Австрии, которая во многом зависит от туризма, очень важно точно знать, как туристы устроены, как они едят и спят, и классификация жилья для них должна быть делом чрезвычайно важным, хотя пока что Гарп толком не мог обосновать, что же особенно важного в этой классификации — и для кого. Ну да, у придуманного им главы семейства работенка была действительно забавная: он мог разоблачать различные злоупотребления, мог по своему усмотрению присваивать категории… а что дальше? Нет, куда легче и приятней было писать длинные письма Хелен!

Весь конец лета и первые месяцы осени Гарп посвятил пешим и трамвайным прогулкам по Вене, но до сих пор никого интересного не встретил. Он писал Хелен: «В какой-то мере взрослость — это ощущение, что вокруг тебя нет никого, кто хотя бы отчасти тебя напоминал, тем самым помогая тебе понять самого себя». Гарп не сомневался, что это ощущение внушила ему «чаровница Вена», потому что «здесь действительно *нет* никого, похожего на меня».

Пожалуй, в этом он не ошибся. В Вене тогда было очень мало ровесников Гарпа. Во-первых,

не так уж много венцев родилось в 1943 году. Во-вторых, рождаемость среди коренных венцев с аншлюса и до конца войны, то есть в 1938–1945 годах, была минимальной, хотя немало детишек родились в результате изнасилований. В целом же многие жители Вены вполне сознательно *не хотели* заводить детей вплоть до 1955 года — до конца русской оккупации. В течение семнадцати лет Вена была оккупирована иностранцами, и понятно, что ее жители отнюдь не считали этот период достаточно благоприятным, чтобы иметь детей. Ну а для Гарпа это оказалось весьма поучительно — довольно долго прожить в таком месте, где чувствуешь себя странно одиноким только потому, что тебе восемнадцать лет. Возможно, именно это заставило его быстрее повзрослеть и почувствовать, что «Вена скорее музей, где помещается мертвый город, — как он писал Хелен, — чем город, который полон музеев и все еще жив».

Впрочем, наблюдения Гарпа не носили критического характера. Ему как раз очень нравилось слоняться по городу как по музею. «Более живой и реальный город, возможно, не настолько пришелся бы мне по душе, — писал он позднее. — Вена, находившаяся в своей предсмертной фазе,

лежала притихшая и совершенно не мешала мне смотреть на нее, думать о ней и снова смотреть. В *живом* городе я бы никогда не сумел заметить столь многого. Живые города никогда не стоят на месте и вечно меняют свой облик».

Итак, Т.С. Гарп в течение всех оставшихся теплых месяцев только и делал, что писал «заметки» о Вене и письма Хелен Холм, а также вел домашнее хозяйство, обеспечивая нормальную и спокойную жизнь своей матери, которая к давно избранному ею одиночеству прибавила писательское затворничество. «Моя мать, писательница», — шутливо именовал ее Гарп в письмах к Хелен, однако в душе завидовал Дженни: ведь она все-таки что-то упорно писала, а он чувствовал, что безнадежно увяз в своем неначатом рассказе. Он понимал, что первоначально задуманный сюжет можно развивать до бесконечности, подсовывая выдуманным героям одно приключение за другим, но что же с ними случится в итоге? Они попадут в очередной ресторан категории *B*, где десерты готовят настолько плохо, что им никогда в жизни не получить вожделенной категории? Или в очередную гостиницу, которая вот-вот скатится в категорию *C*, потому что в вестибюле там вечно пахнет плесенью? Впрочем, можно бы,

скажем, отравить кого-нибудь из членов инспекторской семьи в ресторане класса *А*, но что это будет *значить?* Можно ввести в повествование сумасшедших или даже преступников, которые, например, будут скрываться в одном из пансионов, но как увязать этих преступников с общим замыслом произведения?

Вот тут-то Гарп и понимал, что общего замысла у него нет.

Однажды он увидел, как бродячие цирковые артисты из Венгрии или Югославии выгружаются на вокзальный перрон, и попытался вообразить этих людей внутри своего рассказа. У циркачей был медведь, который кружил на мотоцикле по автостоянке. Собралась небольшая толпа, и между людьми ходил на руках какой-то человек, собирая в плошку, которую держал ногами, деньги за выступление медведя; иногда он случайно падал, как, впрочем, и медведь на своем мотоцикле.

Наконец мотоцикл заглох окончательно и больше заводиться не пожелал. Гарп так и не узнал, что за номера у остальных двух членов труппы, которые как раз намеревались сменить «на арене» медведя и человека, ходившего на руках, потому что в этот момент появились поли-

цейские и потребовали от циркачей заполнить целую кучу каких-то документов. Зрителям это было совсем неинтересно, и они постепенно разошлись. Гарп задержался дольше остальных, но не потому, что его интересовало продолжение жалкого представления, а потому, что ему хотелось вставить этих циркачей в свой рассказ. Хотя пока что он понятия не имел, как это сделать. Уже уходя с вокзала, он услышал, как взревывает мотоцикл: медведь готовился в очередной раз повторить свой номер.

Единственное, что удалось придумать Гарпу за несколько недель, это название рассказа: «Австрийское туристическое бюро». Название ему не нравилось. Он словно опять отступил назад, став туристом, вместо того чтобы стать писателем.

Но с приходом холодов Гарп окончательно устал от туризма; он начал писать Хелен злые письма, упрекая ее, что она слишком редко и нерегулярно ему отвечает, что, собственно, свидетельствовало скорее о том, что сам он писал ей слишком часто. Да и занята Хелен была куда больше: она училась в колледже, поступила сразу на второй курс, так что ей пришлось досдавать массу предметов. Если в те ранние годы Хелен и Гарп и были в чем-то похожи, так это в том, что

оба словно вечно куда-то спешили и опаздывали. «Оставь бедную Хелен в покое, — советовала Гарпу Дженни. — Вообще-то я полагала, что ты будешь писать и еще кое-что, кроме писем к ней». Но Гарпу было неприятно работать в одной квартире с матерью, будто соревнуясь, кто больше напишет. Пишущая машинка Дженни почти не умолкала, не давая ей времени подумать, и порой Гарпу казалось, что этот равномерный стук вполне способен положить конец его писательской карьере еще до того, как она успеет начаться. «Моя мать никогда понятия не имела ни о работе в тишине, ни о том, чтобы хоть изредка пересматривать собственные мысли и изречения», — как-то заметил Гарп.

К ноябрю у Дженни на письменном столе лежало шестьсот машинописных страниц рукописи, однако ей по-прежнему казалось, что к работе она еще и не приступала. У Гарпа даже сюжета такого не было, чтобы изложить его на пристойном количестве страниц. И он понял, что воображение пробудить куда труднее, чем воспоминания.

«Прорыв», как он назвал это в одном из писем к Хелен, случился холодным снежным днем в Музее истории Вены. От их дома до этого музея ничего не стоило дойти пешком, но Гарп почему-

то до сих пор туда не сходил, считая, что музей совсем близко и можно посетить его в любой свободный день. Дженни не раз говорила ему о Музее истории. Это было одно из немногих мест, которые она посещала самостоятельно и которые находились в пределах пространства, называемого ею «у нас по соседству».

Упоминала она и о том, что там есть специальная комната какого-то писателя, только она забыла, какого именно. Хотя ей казалось, что иметь в музее такую писательскую комнату — затея весьма интересная.

— Это настоящая комната писателя, мам? — спросил Гарп.

— Да, и обставлена его собственной мебелью. А может, они и стены и пол тоже к себе перенесли — не знаю уж, как они умудрились.

— А зачем? — удивился Гарп. — И что делает эта комната в музее?

— По-моему, это была его спальня, — продолжала Дженни. — Но, кажется, он и писал там же.

От изумления Гарп округлил глаза. Ему это казалось почти неприличным: неужели там же стоит стакан с зубной щеткой писателя? И его ночной горшок?

Но комната была самая обыкновенная, только

кровать выглядела слишком маленькой, словно детской. И письменный стол тоже. Вряд ли это был человек экспансивный, почему-то подумал Гарп. Мебель темного дерева выглядела невероятно хрупкой. Гарп подумал, что у его матери кабинет гораздо лучше. Тот писатель, чья комната была, точно в раку, помещена в Музей истории Вены, носил имя Франц Грильпарцер[7], Гарп о нем никогда не слышал.

Франц Грильпарцер умер в 1872 году; этот австрийский поэт и драматург мало известен за пределами Австрии. Он один из тех писателей, которым не удалось пережить свой век и сохранить сколько-нибудь продолжительную популярность у читателей. Впоследствии Гарп будет отстаивать точку зрения, что Грильпарцер и не заслуживал пережить XIX век. Пьесы и стихотворения Гарпа не интересовали вообще, однако он пошел в библиотеку и прочел то, что считалось шедевром среди прочих произведений Грильпарцера: длиннющий рассказ «Бедный музыкант». Возможно, подумал Гарп, моих трех лет изучения немецкого в Стиринг-скул все-таки недостаточно, чтобы

7 Примечание: 7

Франц Грильпарцер (1791–1872) — австрийский писатель, поэт и драматург, сочетавший в своем творчестве мифологические, исторические и сказочные черты и сюжеты.

по-настоящему оценить этот рассказ (который вызвал у него чуть ли не отвращение), и отыскал в букинистической лавке на Габсбургергассе его английский перевод, но и на английском рассказ ему совершенно не понравился.

Ему казалось, что рассказ этот — просто смехотворная мелодрама, написанная к тому же весьма неумело и страшно сентиментальная. Отчасти, хотя и весьма отдаленно, «Бедный музыкант» напоминал некоторые русские рассказы XIX века, в которых главный герой обычно нерешителен, робок и вообще — неудачник во всех отношениях. Однако Достоевский, например, вполне способен был, по мнению Гарпа, увлечь читателя даже подобным слезливым сюжетом. Что же касается Грильпарцера, то он просто раздражал своей слащавой тривиальностью.

В той же букинистической лавке Гарп купил английский перевод «Размышлений» Марка Аврелия; на занятиях латынью в Стиринг-скул их заставляли читать Марка Аврелия, но по-английски Гарп его никогда прежде не читал. А купил он эту книгу потому, что хозяин лавки сказал ему, что Марк Аврелий умер именно в Вене.

«Время человеческой жизни, — писал Марк Аврелий, — миг; ее сущность — вечное течение;

ощущение — смутно; строение всего тела — бренно; душа — неустойчива; судьба — загадочна; слава — недостоверна. Одним словом, все, относящееся к телу, подобно потоку, относящееся к душе — сновидению и дыму». И Гарп почему-то подумал, что Марк Аврелий жил не иначе как в Вене, когда писал это.

Мрачные размышления Марка Аврелия были, разумеется, предметом серьезного писательства, думал Гарп. А вот разница между Грильпарцером и Достоевским была отнюдь не в предмете. Она — в уровне ума и доброты, заключил он, в уровне истинного мастерства и артистичности. Отчего-то столь очевидное «открытие» его обрадовало. Годы спустя Гарп прочитал у одного критика в предисловии к произведениям Грильпарцера: «Это был весьма впечатлительный, измученный жизненными невзгодами человек, часто подверженный депрессиям, а порою самый настоящий параноик, вечно раздраженный, вечно всем недовольный, буквально задыхающийся от собственной меланхолии, — короче, очень сложный и вполне современный человек».

«Возможно, все это и справедливо, — писал сам Гарп, — однако Грильпарцер был еще и на редкость плохим писателем».

Убежденность Гарпа в том, что Франц Грильпарцер был «плохим» писателем, как ни странно, дала ему самому впервые какую-то уверенность в собственных силах — он поверил в себя как в писателя, еще ничего толком не написав. Возможно, в жизни каждого писателя необходим такой момент, когда какого-то другого автора клеймят за полную профессиональную непригодность. Инстинкт убийцы, проснувшийся в душе Гарпа по отношению к бедному Грильпарцеру, был тайным и чисто борцовским. Читая отзывы критиков, Гарп как бы наблюдал своего противника во время схватки с другим борцом и старательно отмечал его слабости и просчеты, *понимая,* что сам может сделать лучше. Он даже заставил Дженни прочесть «Бедного музыканта» — один из редких случаев, когда его интересовало именно ее *литературное* мнение.

— Чепуха, — вынесла свой приговор Дженни. — Примитив. Слезливо и сентиментально-слащаво. Взбитые сливки.

И оба остались этим приговором несказанно довольны.

— А знаешь, мне и комната его совсем не нравится, — сказала Дженни. — Разве такой должна быть комната настоящего писателя?

— Ну, это-то, по-моему, никакого значения не имеет, мам, — заметил Гарп.

— Не скажи. Вся забитая барахлом, темная… И атмосфера в ней какая-то чересчур *нервная.*

Гарп заглянул в комнату матери. На постели, на комоде под зеркалом (так что посмотреться в него было совершенно невозможно) — всюду громоздились стопки страниц ее невероятно длинного и путаного манускрипта. В общем, Гарпу показалось, что комната матери тоже не очень-то похожа на комнату настоящего писателя, но вслух он этого не сказал.

Он написал Хелен длиннющее послание, в котором обильно цитировал Марка Аврелия и мордовал несчастного Франца Грильпарцера. По мнению Гарпа, «Франц Грильпарцер умер в 1872 году, и умер навсегда, подобно дешевому местному вину, которое даже вывезти никуда нельзя из Вены, потому что по дороге оно испортится». Письмо напоминало борцовскую разминку мускулов перед состязанием, и Хелен, похоже, это поняла. Гарп даже написал письмо под копирку — настолько оно ему нравилось — и послал Хелен копию, а оригинал оставил себе. «У меня такое ощущение, — написала ему в ответ Хелен, — что я понемногу превращаюсь в библиотеку или,

точнее, в папку для твоих черновиков».

Обиделась ли она? Гарп не настолько задумывался о чувствах Хелен, чтобы спрашивать ее об этом. Он просто написал в следующем письме, что «вот-вот будет готов писать». И не сомневался, что результатами Хелен теперь будет довольна. Возможно, подобная самоуверенность у кого-то другого могла вызвать и негативные чувства, но Хелен отнеслась к высказываниям Гарпа спокойно. Она упорно училась, «пожирая» предлагаемые в колледже курсы с утроенной быстротой. Некоторая самовлюбленность и эгоизм будущего писателя Гарпа ничуть не смутили ее; Хелен Холм и сама бежала к поставленной перед собой цели с весьма примечательной скоростью и очень ценила тех, кто исполнен такой же решимости. Кроме того, ей нравились письма Гарпа; она отлично его понимала, сама будучи в значительной степени эгоисткой, да и письма эти оказались на редкость хорошо и интересно написаны, о чем она не уставала ему повторять.

А между тем жившие в Вене Дженни и Гарп по-прежнему развлекались шуточками по адресу несчастного Грильпарцера. Они начали обнаруживать множество мелких признаков того, что покойный писатель жил именно в этом

городе: там имелись улица Грильпарцергассе и кофейня его имени, а однажды в кондитерской они с изумлением обнаружили слоеное пирожное, названное в его честь «грильпарцерторте»! Пирожное оказалось чересчур сладким. Они выдумывали всякие дурацкие словечки вроде «грильпарцерированный»; так, предлагая матери яйца на завтрак, Гарп спрашивал, хочет ли она яйца всмятку или «грильпацерированные». А как-то раз в зоопарке они долго наблюдали за исключительно долговязой и неуклюжей антилопой, бока которой были покрыты клочьями вылезшей шерсти и засохшими экскрементами; антилопа печально стояла в своем узком и вонючем зимнем загоне, и Гарп тут же дал ей название «гну Грильпарцера».

По поводу своих писательских успехов Дженни однажды заметила, что «занимается чистым грильпарцерством». Она имела в виду, что в тексте у нее появляются персонажи и сцены, «похожие на отвратительный надрывный звонок будильника». Она намекала на сцену в бостонском кинотеатре, когда к ней подсел тот солдат. «В кинотеатре, — писала Дженни Филдз, — ко мне приблизился какой-то солдат, явно охваченный плотским вожделением».

— Но это же просто ужасно, мам! — воскликнул Гарп, прочитав эти слова. Использование выражений типа «охваченный плотским вожделением» Дженни и сама называла «заниматься грильпарцерством».

— Но ведь именно так и было! — возразила она на этот раз. — Типичное плотское вожделение.

— Ты лучше напиши, что его распирало от похоти, — предложил Гарп.

— Ну, опять «грильпарцерское» выражение, — сказала Дженни.

В общем-то, в жизни именно плотское вожделение и интересовало ее меньше всего. Они обсудили эту тему достаточно подробно, и Гарп признался в своем «плотском вожделении» к Куши Перси и даже выдал матери вполне пристойное описание сцены соблазнения. Но Дженни от его рассказа в восторг отнюдь не пришла.

— А как же Хелен? — спросила она. — К Хелен ты тоже испытываешь плотское вожделение?

Гарп признался, что испытывает.

— Ужас какой! — воскликнула Дженни. Плотское вожделение как чувство было ей недоступно, она не понимала, что это такое и каким образом у Гарпа оно ассоциируется с удовольствием, и еще меньше понимала, как вожделение можно

ассоциировать с любовью или привязанностью.

— «Все, относящееся к телу, подобно потоку», — неуклюже процитировал Гарп Марка Аврелия. Мать только головой покачала. Они как раз обедали в ресторане, убранство которого отличалось обилием красных тонов, поблизости от улицы Блутгассе.

— «Кровавая улица»! — радостно перевел матери Гарп.

— Прекрати переводить мне каждое слово! — заявила вдруг Дженни. — Я совсем не желаю знать *все*. — Ей просто не очень понравилась обстановка в ресторане, еда была слишком дорогой, да и обслуживали их чересчур медленно. Домой они возвращались уже поздним вечером. Было холодно, и игривые огоньки Кернтнер-штрассе мало их согревали.

— Давай возьмем такси, — предложила Дженни. Но Гарп упрямо твердил, что тут совсем рядом остановка трамвая. — Черт бы тебя побрал с твоими трамваями! — проворчала Дженни.

В общем, было ясно, что тема «плотского вожделения» окончательно испортила ей вечер.

Первый район Вены сиял рождественскими огнями; между высоченными шпилями собора Св. Стефана и массивным зданием Оперы было

по меньшей мере семь кварталов сплошных магазинов, баров и гостиниц. Зимой здесь можно было найти развлечение на любой вкус.

— Мам, давай все-таки как-нибудь вечерком сходим в Оперу, — предложил Гарп. Они прожили в Вене уже полгода, но в Опере не были ни разу: Дженни не любила слишком поздно ложиться.

— Сходи один, — ответила она и вдруг увидела впереди трех женщин, стоявших в рядок, в длинных меховых шубах; у одной из них была еще муфточка из того же меха, что и шуба, и она прижимала муфту к лицу, дыша в нее, чтобы согреть руки. Эта дама казалась вполне элегантной, хотя наряды ее соседок по панели отдавали рождественской мишурой. Дженни с восторгом уставилась на муфточку. — Вот что мне хотелось бы иметь! — воскликнула она, указывая на женщину. — Где я могу такую купить? — Гарп не сразу понял, что она имеет в виду.

Он-то прекрасно знал, что эти женщины — проститутки.

А проститутки, увидев столь странную парочку, были весьма озадачены: красивый мальчик и простоватая, но миловидная женщина, которая по возрасту годилась ему в матери. Однако Дженни, шагая по улице, с таким достоинством

опиралась на руку Гарпа, и в разговоре их чувствовалось такое странное напряжение и даже смущение, что проститутки тут же решили, что эта женщина никак не может быть матерью хорошенького мальчика. А когда Дженни чуть ли не пальцем указала на них, они разозлились, решив, что она тоже проститутка, перехватившая клиента на их территории, да еще совсем мальчишку, да еще явно платежеспособного.

В Вене проституция легализована и находится под весьма сложным контролем. У проституток даже есть нечто вроде профсоюза; каждой из них выдаются медицинские сертификаты и удостоверения личности, а в публичных домах регулярно устраивается врачебный осмотр. На богатые улицы первого района допускались лишь самые шикарные проститутки. Ближе к окраинам «жрицы любви» были и поскромнее, и постарее, и менее красивые. И там они конечно же стоили гораздо дешевле. В каждом районе цены на услуги этих женщин были фиксированными. Так что, завидев Дженни, шлюхи дружно выступили ей навстречу и преградили путь. Они быстро определили, что Дженни совершенно не тянет на проститутку из первого района и вообще, по всей видимости, работает независимо — что является

нарушением закона, а может, просто тайком выползла со своей окраины, надеясь подзаработать деньжат. Ну что ж, не деньги она сейчас получит, а неприятности!

Честно говоря, принять Дженни за проститутку было довольно трудно, хотя определить ее род занятий и возраст тоже оказалось затруднительно. Она столько лет носила только медицинский халат, что совершенно не знала, как ей следует одеваться в Вене. И пожалуй, склонялась к излишествам, особенно когда куда-нибудь выходила с Гарпом, возможно вознаграждая себя за тот старый купальный халат, в котором обычно писала. Она не имела почти никакого опыта в покупке одежды, тем более что здесь, в чужом европейском городе, все вещи смотрелись как-то по-другому. Не обладая собственным вкусом, Дженни просто покупала самые дорогие наряды; в конце концов, деньги у нее были, а желания «таскаться по магазинам» не было вовсе. Как и терпения. Вот почему в своих обновках она порой выглядела точно рождественская елка, и, когда шагала рядом с Гарпом, никому в голову не приходило принять их за близких родственников. Сам Гарп почти постоянно носил форму Стиринг-скул: пиджак, галстук, удобные брюки

— этакий стандартный набор из магазина готового платья, который делал Гарпа практически неразличимым в толпе любого большого города.

— Ты не мог бы спросить у этой женщины, где она купила муфточку? — пристала к сыну Дженни. И тут именно женщина с муфтой вдруг заступила ей дорогу.

— Это же шлюхи, мам! — прошептал Гарп. Дженни так и замерла на месте. Женщина с муфтой что-то говорила ей сердитым и резким тоном, но Дженни, разумеется, не понимала ни слова и уставилась на Гарпа, надеясь, что он переведет.

— Моя мать всего лишь хотела спросить у вас, где вы купили такую хорошенькую муфточку, — медленно сказал Гарп по-немецки.

— А, так они иностранцы! — пренебрежительно сказала одна из проституток.

— Господи, это ж его *мать!* — ужаснулась другая.

Женщина с муфтой продолжала пристально смотреть на Дженни, а та буквально глаз не сводила с ее муфты. Гарп рассматривал проституток. Одна совсем молоденькая, волосы уложены в высокую прическу, усыпанную золотыми и серебряными звездочками; на щеке татуировка — зеленая звезда, а верхнюю губу чуточку подтя-

гивает кверху приметный шрам, отчего казалось, что с лицом у нее что-то не так, но что именно, сразу и не скажешь. Тело у девицы, впрочем, изъянов не имело; она была высокая, гибкая, стройная, и Дженни вдруг обнаружила, что внимательно на нее смотрит.

— Спроси у нее, сколько ей лет, — попросила она Гарпа.

— Мне восемнадцать, — ответила девушка на ломаном английском. — Я хорошо знаю по-английски.

— Моему сыну столько же, — сказала ей Дженни, подталкивая Гарпа локтем. Она так и не поняла, что они сперва приняли ее за свою «товарку». Когда Гарп позднее сказал ей об этом, она пришла в ярость, но злилась только на себя. «Это всё мои платья! — кричала она. — Я совершенно не умею одеваться!» И с этого дня Дженни Филдз забросила свои наряды, вновь облачилась в форму сестры милосердия и ходила в ней повсюду, словно пребывала на вечном дежурстве, хотя медсестрой она больше никогда не работала и не хотела работать.

— Можно мне взглянуть на вашу муфточку? — спросила Дженни у женщины в роскошной шубе, полагая, что все эти незнакомки говорят

по-английски, однако английский знала только молодая проститутка, и Гарпу пришлось выступить в роли переводчика. Женщина весьма неохотно сняла муфточку, и из этого теплого гнездышка, где прятались ее красивые руки, унизанные сверкающими перстнями, повеяло ароматом ее духов.

У третьей из шлюх на лбу виднелась оспинка, будто отпечаток персиковой косточки. За исключением этой рябинки да еще рта, который, на вкус Гарпа, был чересчур маленьким и пухлым, точно ротик раскормленного младенца, все остальное в ней вполне соответствовало стандарту — зрелая женщина лет двадцати с небольшим. Возможно, подумал Гарп, у нее весьма пышная грудь, однако под черной меховой шубкой разглядеть ее грудь как следует не смог.

А вот женщина с муфтой, по мнению Гарпа, была просто красавицей. Нежное продолговатое, немного печальное лицо. И тело, наверное, безупречное, а движения спокойные и неторопливые. Во всяком случае, рот у нее был очень спокойный. Только по затаенной грусти в глазах и по обнаженным рукам Гарп догадался, что ей, по крайней мере, столько же лет, сколько его матери, а может и больше.

— Это подарок, — сказала она Гарпу, указывая на муфту. — Мне подарили ее вместе с шубой. — Мех был очень светлый, серебристый, удивительно мягкий и приятный на ощупь.

— Да уж, вещь настоящая! — заметила молодая шлюха, говорившая по-английски. Она явно восхищалась старшей подругой.

— Да вы почти в любом магазине можете купить что-нибудь подобное, ну, может, не такое дорогое, — посоветовала Гарпу женщина с оспиной на лбу. И она указала в сторону Кернтнер-штрассе. — Сходите, например, к Штефлю.

Она говорила на каком-то забавном наречии, которое Гарп понимал с трудом. Дженни даже головы в ее сторону не повернула, а Гарп благодарно кивнул и снова уставился на обнаженные запястья старшей из проституток, на ее тонкие пальцы, унизанные кольцами.

— У меня руки замерзли, — тихонько заметила она Гарпу, и он взял у Дженни муфту и вернул ей. Но Дженни и не думала уходить.

— Давай поговорим с ней! — не унималась она. — Я хочу расспросить ее о плотском вожделении.

— О чем? — Гарп обомлел. — Мам, да ты что? Господи!

— О том, что мы недавно с тобой обсуждали, — спокойно пояснила Дженни. — Я хочу спросить, что она думает о плотском вожделении.

Проститутки постарше вопросительно посмотрели на ту, что знала английский язык, однако ее английский был не настолько хорош, чтобы сразу понять, о чем говорят эти иностранцы.

— Холодно, мама, — жалобным тоном сказал Гарп. — И поздно уже. Пойдем домой, а?

— Скажи ей, что мы хотели бы пойти в какое-нибудь приличное и теплое место, чтобы просто посидеть и поговорить, — настаивала Дженни. — Она ведь позволит нам заплатить за нее, верно?

— Ну да, наверное, — простонал Гарп. — Но, мам, она ведь абсолютно ничего не знает о плотском вожделении. Они же обычно почти ничего не чувствуют.

— Я хочу узнать о том плотском вожделении, которое испытывают *мужчины*, — строго сказала ему Дженни. — О твоем, например. Уж о мужском-то вожделении она должна кое-что знать, я полагаю.

— Мама, ради бога! — взмолился Гарп.

— Was macht's? В чем дело? — спросила Гарпа молоденькая проститутка. — Она что, хочет купить муфту?

— Нет, нет, — поспешно ответил Гарп. — Она хочет купить одну из вас!

Старшая из проституток просто остолбенела, а та, что с оспиной на лбу, рассмеялась.

— Вы не поняли, мама хочет всего лишь *поговорить* с одной из вас! — пояснил Гарп.

— Холодно очень, — сообщила молоденькая шлюха, подозрительно на него глядя.

— Но ведь поговорить можно в любом месте, в тепле, где вы сами захотите, — заторопился он.

— Спроси вон у той, сколько она берет, — сказала Дженни, указывая на женщину с муфтой.

— Wieviel kostet? — пробормотал Гарп.

— Пятьсот шиллингов, — сказала молоденькая шлюха.

Гарпу пришлось объяснять Дженни, что это примерно двадцать долларов. Даже прожив в Австрии больше года, Дженни так и не выучила немецкие числительные и не различала денежные знаки.

— Двадцать долларов за то, чтобы всего лишь поговорить? — спросила Дженни.

— Нет-нет, мама, — сказал Гарп. — За обычные услуги. Дженни задумалась. Не слишком ли много — за обычные услуги? Но этого она не знала.

— Скажи, что мы дадим ей десять, — пред-

ложила Дженни, но на лице молодой шлюхи отразилось сомнение, да и на лице старшей тоже, словно разговор мог быть для нее куда труднее, чем «обычная» работа. Сомневалась она не только из-за цены; она не доверяла Гарпу и Дженни. И спросила свою молодую подругу, говорившую по-английски, англичане это или американцы. Американцы, сказала та, и старшая вздохнула с некоторым облегчением.

— Видите ли, англичане часто бывают извращенцами, — сказала она Гарпу по-немецки. — А американцы обычно нормальные люди.

— Вы поймите, мы просто хотим с вами поговорить, — повторил Гарп, с ужасом понимая, что проститутка явно воображает себе некую оргию, в которой будут участвовать и мать с сыном.

— Хорошо. Двести пятьдесят шиллингов, — наконец согласилась она. — И вы угостите меня кофе.

Она провела их в то местечко, куда обычно заходят погреться проститутки, — в крошечный бар с миниатюрными столиками; все время звонил телефон, но лишь несколько мужчин с мрачным видом из-за вешалки рассматривали женщин и уходили прочь. По негласному правилу к женщинам нельзя было подойти, пока они сидят в

этом баре; он служил проституткам чем-то вроде запасного аэродрома, потайного убежища.

— Спроси, сколько ей лет, — велела Дженни Гарпу, но, когда он спросил, женщина мягко опустила ресницы и покачала головой. — Ладно, — сказала Дженни. — Тогда спроси ее, почему, как ей кажется, она нравится мужчинам?

У Гарпа от удивления округлились глаза.

— Но тебе-то ведь она *нравится*, верно? — спросила его Дженни. Гарп честно признался, что нравится. — Ну и чего тебе от нее надо? Чего ты от нее хочешь получить больше всего? Я не имею в виду ее гениталии; я хотела бы знать, есть ли в ней что-нибудь еще, что привлекает тебя? Что-нибудь такое, что можно было бы о ней вообразить, некая *аура,* может быть?

— Слушай, мам, может, ты лучше просто заплатишь мне двести пятьдесят шиллингов и перестанешь задавать ей дурацкие вопросы? — устало предложил Дженни Гарп.

— Не будь идиотом, — сказала Дженни. — Я хочу знать, не унижает ли ее чувство, что ее *просто хотят,* и необходимость потом *отдаваться;* или, может, она думает, что этим она унижает только мужчин?

Гарп с огромным трудом попытался все это

перевести. Женщина с муфтой, как ни странно, задумалась над этим вопросом; лицо ее было очень серьезным. Может, она меня просто не поняла? — думал Гарп.

— Я не знаю, — наконец коротко ответила она.

— Хорошо. У меня есть и другие вопросы, — сказала Дженни.

Этот кошмар продолжался примерно час. Затем женщина сказала, что ей пора. Дженни не была ни удовлетворена, ни разочарована этим ночным интервью, хотя ей явно недоставало конкретных результатов; она казалась прямо-таки ненасытно любопытной. А Гарп понял, что никого в жизни не хотел так сильно, как эту женщину с муфтой.

— Хочешь ее? — спросила у него Дженни настолько внезапно, что он не смог солгать. — Неужели после всего этого, после всех этих вопросов ты действительно хочешь еще и заняться с ней сексом?

— Конечно, мам, — с несчастным видом признался Гарп. Вряд ли Дженни понимала теперь, что такое «плотское вожделение», лучше, чем до обеда, потому что выглядела она крайне озадаченной.

— Ну хорошо, — сказала она наконец и вручила ему 250 шиллингов, а потом еще 500, сказав

лишь: — Делай что хочешь. Вернее, что *должен*. Но, пожалуйста, сперва отвези меня домой.

Проститутка внимательно следила за передачей денег, глаз у нее был наметанный. Получив точную сумму, она коснулась руки Гарпа холодными, как и ее кольца, пальцами и сказала:

— Послушай, это нормально, что твоя мать хочет купить меня для тебя. Но пойти она с нами не сможет. Этого я ей никогда не позволю. Ни за что на свете! Я все-таки католичка, хочешь верь, хочешь нет, но это так. А если тебе хочется какой-нибудь особенной забавы, то лучше попроси Тину.

Гарп поинтересовался, кто такая Тина, и содрогнулся при мысли, что уж для Тины-то ничто на свете не может показаться *слишком* забавным.

— Я сейчас отвезу мать домой, — сказал Гарп женщине с муфтой, — но назад к тебе сегодня уже не вернусь.

Она улыбнулась ему, и он почувствовал, что его распирает от желания, от пресловутого «плотского вожделения» — вот-вот лопнут штаны и из карманов посыплются никому не нужные шиллинги. Зубы у женщины были просто идеальные, и только на одном, на верхнем резце, красовалась золотая коронка.

В такси (Гарп все-таки согласился поехать домой в такси!) он изложил матери венскую систему проституции. Дженни ничуть не удивилась, что проституция здесь узаконена; ее удивило, что во многих странах проституция находится вне закона.

— Разве она не должна быть законной? — вопрошала она. — Разве не может женщина использовать собственное тело так, как хочет? А если кто-то желает ей заплатить, то это просто нормальная маленькая сделка. Разве двадцать долларов так уж много?

— Нет, цена вполне приемлемая, — сказал Гарп со знанием дела. — По-моему, даже довольно низкая для таких хорошеньких женщин.

Дженни влепила ему пощечину.

— Что-то больно много ты обо всем этом знаешь! — Однако она тут же извинилась и сказала, что ей очень стыдно; ведь она никогда прежде его не била, а сейчас ну просто совершенно не в силах понять, что это за гребаное плотское вожделение такое!

Дома, на Швиндгассе, Гарп твердо решил никуда больше не ездить; он уже спал, а Дженни все мерила шагами свою заваленную машинописными страницами комнату и никак не могла

сформулировать мысль, что так и просилась наружу, так и кипела в ее мозгу.

А Гарпу снились другие проститутки. В Вене он уже имел дело с двумя или тремя, но никогда еще не платил им по первому разряду. На следующий день после раннего ужина он оставил мать за работой и отправился к той женщине с норковой муфточкой.

Ее «рабочее» имя было Шарлотта. Она не удивилась, увидев его. Она не первый день жила на свете и сразу чуяла, когда клиент клюнул, хотя так и не сказала Гарпу, сколько ей лет. Шарлотта явно тщательнейшим образом ухаживала за собой, и лишь когда она была совершенно голой, ее истинный возраст выдавали не только чересчур выпуклые, но местами и узловатые вены на тонких и длинных запястьях. На животе и грудях виднелись тонкие белые следы растяжек — следы беременности, — но она сказала Гарпу, что ребенок ее давно умер. Она не возражала, когда он касался шрама от кесарева сечения у нее на животе.

После того как Гарп четыре раза встречался с Шарлоттой по фиксированной цене первого района, он как-то случайно налетел на нее на рынке Нашмаркт утром в субботу. Она покупала фрук-

ты. Видимо, она еще не успела вымыть голову и повязала ее платочком; из-под платочка торчала челка и две косички, как у молоденькой девчонки. Челка прикрывала бледноватый при дневном свете лоб. И ни следа косметики; на Шарлотте были американские джинсы, теннисные туфли и длинный толстый свитер с высоким воротом. Гарп, пожалуй, и не узнал бы ее, если бы не руки, которыми она выбирала фрукты: все ее кольца оставались на ней.

Сперва она даже не ответила, когда он поздоровался и заговорил с ней, однако, как только улеглось первое раздражение от встречи с клиентом в нерабочее время, смягчилась. Гарп и раньше рассказывал ей, что всегда сам ходит за покупками и готовит еду для себя и для матери, и она находила это очень милым. Гарп вообще долгое время не задумывался над тем, что ему примерно столько же лет, сколько было бы сыну Шарлотты, останься он жив. Шарлотта как-то по-другому, чем всем остальным, интересовалась его жизнью вдвоем с матерью.

— Как у твоей матери продвигается работа? — обычно спрашивала она.

— Тарахтит на машинке без передыху! — отвечал Гарп. — По-моему, до сих пор так и не

разрешила проблему «плотского вожделения».

Но Шарлотта не очень-то позволяла Гарпу подшучивать над матерью.

И Гарп тоже не чувствовал себя с нею уверенно; например, он никогда не рассказывал ей, что тоже пробует писать. Знал, что она сочтет его слишком молодым для этого. Да и сам порой так считал. Тем более что рассказ был по-прежнему не готов, и рассказывать-то было особенно не о чем. Хотя кое-что он сделал — придумал рассказу новое название: «Пансион „Грильпарцер“», и это название ему действительно очень нравилось и помогало собираться с мыслями. Теперь он уже представлял себе место, где должно было случиться почти все самое важное. И можно было сосредоточенно думать о героях рассказа — о семье инспектора ресторанов и гостиниц, об обитателях маленького и очень унылого пансиона (этот пансион непременно должен быть маленьким и унылым, находиться в Вене и носить имя Франца Грильпарцера). А обитателями пансиона должны были стать цирковые артисты — нечто вроде маленькой труппы средней руки, — которым больше негде жить.

В системе инспекторских категорий здешний мирок определенно угодил в категорию С. Раз-

мышляя об этом, Гарп — медленно, с трудом — все же заставил себя начать и продвигаться в нужном направлении. Он чувствовал, что направление выбрано *правильно,* но ощущение это оказалось слишком новым, чтобы он сразу решился начать писать или хотя бы записывать разрозненные мысли. Он понимал, что чем чаще шлет письма Хелен, тем меньше пишет в другом, гораздо более важном смысле. Обсуждать проблемы своего творчества с матерью он не мог: по части воображения она не была сильна. А обсуждать эти дела с Шарлоттой и вовсе глупо.

Теперь Гарп часто встречался с нею по субботам на Нашмаркте. Сделав покупки, они иногда завтракали вместе в сербском ресторанчике рядом с городским парком. В таких случаях Шарлотта всегда платила за себя сама. Во время одного из таких завтраков Гарп признался ей, что ему сложно платить ей по таксе первого района, скрывая от матери, куда он тратит так много денег. Шарлотта рассердилась, потому что он опять заговорил о «делах» в «нерабочее» время. Но Гарп знал, что она рассердилась бы куда сильнее, скажи он, что ходит к ней так редко потому, что цены у проституток шестого района, с перекрестка улиц Карл-Швайгхофергассе и Мариахильфер, куда он

иногда наведывался, настолько ниже, что ему ничего не стоит скрыть такие траты от матери.

Шарлотта была весьма невысокого мнения о проститутках, которые работали за пределами первого района. Как-то она даже сказала Гарпу, что сразу уйдет на пенсию, как только почувствует, что клиентура первого района от нее ускользает. Во всяком случае, в других районах она работать не собиралась ни за что. Шарлотте удалось скопить довольно крупную сумму денег, так что, завершив свою нынешнюю «карьеру», она собиралась переехать в Мюнхен (где никто не знает, что она шлюха) и выйти замуж за молодого врача, который бы заботился о ней во всех отношениях, пока она не умрет. Ей не нужно было объяснять Гарпу, что она всегда привлекала молодых мужчин, но признание, что она хотела бы выйти замуж именно за врача, оказалось для него неожиданно неприятным. Впоследствии он часто населял свои романы и рассказы различными непривлекательными персонажами медицинской профессии, хотя ему даже в голову не приходило, сколь сильно на него повлияли откровения Шарлотты. Правда, в «Пансионе „Грильпарцер“» никакого врача нет. В самом начале там есть кое-какие рассуждения о смерти,

и эта тема в итоге становится главной в рассказе. Но сперва у Гарпа был только *сон о смерти,* и он отдал этот сон самому старому персонажу в рассказе — бабушке. Гарп догадывался, что именно бабушке и суждено умереть первой.

ПАНСИОН «ГРИЛЬПАРЦЕР»

Мой отец работал в Австрийском туристическом бюро. Идея устроить семейное путешествие, когда отец отправится тайно инспектировать разные гостиницы, пансионы и рестораны, принадлежала моей матери. Мать и мы с братом должны были повсюду сопровождать отца и сообщать ему о любых недостатках — проявлениях грубости, плохо убранных помещениях, невкусной еде. Он велел нам создавать персоналу инспектируемых заведений всевозможные трудности: например, никогда не заказывать в точности то, что указано в меню, всячески подражая иностранцам с их причудами и странными просьбами, сообщать точное время, когда мы хотели бы принять ванну, без конца требовать принести в номер аспирин или спрашивать, как добраться до зоопарка. Нам было велено вести себя в высшей степени благовоспитанно, но капризно; а когда визит в тот или иной отель либо

ресторан заканчивался, мы скрупулезно отчитывались перед отцом, уже сидя в машине.

К примеру, мать говорила: парикмахерская по утрам вечно закрыта, однако администратор дает вполне приличные рекомендации насчет ближайших парикмахерских. Мне кажется, говорила мать, это нормально, если, конечно, они не заявляют, что в гостинице есть собственные мастера.

— Видишь ли, они как раз и заявляют, что мастера у них есть, — отвечал отец и что-то записывал в огромную тетрадь.

Я всегда играл роль шофера. И сообщал отцу, что, хотя машина стояла на гостиничной стоянке, а не на улице, с тех пор как мы вручили ключи от нее швейцару, на счетчике появилось лишних четырнадцать километров.

— А вот об этом следует доложить непосредственно управляющему гостиницей, — сурово говорил отец.

— В туалете мокро и вода все время течет, — добавлял я.

— Я даже дверь туда открыть не мог, — подхватывал мой братишка Робо.

— У тебя, Робо, вечно неприятности с дверями, — говорила мать.

— Но это же, наверное, категория С? — снисходительно говорил я.

— Боюсь, что нет, — отвечал отец. — В списке гостиница проходит по категории *B*. — На некоторое время воцарялось скорбное молчание; самый суровый приговор заключался в понижении классности гостиницы или пансиона. И мы к этому относились с полной серьезностью.

— Я думаю, стоит написать управляющему, — предлагала мать. — Письмо не слишком приятное, но и без излишних грубостей. Простая констатация фактов, и все.

— Мне он, пожалуй, даже понравился, — говорил отец. Он всегда считал необходимым встретиться с управляющим гостиницей и основным персоналом.

— Не забудь, они ездили по своим делишкам на нашей машине! — вставлял я. — Это же просто безобразие!

— И яйца были тухлые, — заявлял Робо; но ему еще не было десяти, так что его суждения особо в расчет не принимались.

Мы стали еще более жесткими оценщиками, когда умер мой дед и нам в наследство досталась бабушка, мамина мать, которая с тех пор всегда сопровождала нас в путешествиях. Бабушка Йо-

ханна, еще не утратившая своей царственной осанки, привыкла к путешествиям категории *A*, но мой отец чаще всего инспектировал как раз заведения класса *B* или *C*. Именно такие недорогие гостиницы и пансионы и предпочитали туристы. С ресторанами было, правда, получше: люди, которые не могли себе позволить останавливаться в дорогих гостиницах, все-таки старались есть в местах достойных.

— Я не допущу, чтобы на мне пробовали сомнительную пищу, — заявила как-то раз Йоханна и повернулась к нам с братом. — Я понимаю, вы в восторге от этих поездок, для вас это просто продолжение веселых каникул, но мне слишком дорого обходится беспокойство, которое я испытываю при мысли о том, где придется провести следующую ночь. Американцы, возможно, находят очень милым и забавным, что в наших гостиницах до сих пор есть номера без ванной и туалета, но меня, старуху, отнюдь не приводит в восторг прогулка по коридору в поисках места, где можно умыться и опорожнить кишечник. Да что там беспокойство! Вполне возможны ведь и реальные инфекции — и не только в недоброкачественной пище. Если постель вызывает у меня сомнения, клянусь, я в нее не лягу! А юные души

так впечатлительны! Вы, родители, должны серьезно подумать о том, какое влияние оказывает на них гостиничная публика. — Отец и мать согласно кивали, но молчали, и бабушка набрасывалась на меня: — А ты что, не можешь ехать помедленней? Умерь-ка свой пыл, любитель острых ощущений! — Я сбавлял скорость. — Ах, Вена!.. — мечтательно продолжала бабушка Йоханна. — В Вене я всегда останавливалась в «Амбассадоре»...

— Йоханна, дорогая, но «Амбассадор» инспекторы тайком не посещают, — сказал отец.

— Еще бы! — презрительно фыркнула Йоханна. — Но мне думается, даже и обыкновенная гостиница класса *А* нам не светит?

— Да, чаще всего мы останавливаемся в туристских гостиницах класса В, — признался отец.

— Но мне показалось, в твоем списке была указана одна гостиница категории *А?*

— Нет, — сказал отец. — Там одна гостиница категории С.

— Это хорошо! — вмешался Робо. — В таких гостиницах весело, там драки бывают!

— Вот-вот, я так и думала, — поджала губы Йоханна.

— Это не гостиница, а пансион. Очень малень-

кий. — Отец говорил таким тоном, словно размер пансиона мог служить оправданием.

— И его хозяева, разумеется, претендуют на категорию В? — спросила мать.

— Но на них поступило несколько жалоб, — подхватил я.

— Я в этом не сомневаюсь, — мрачно буркнула Йоханна.

— И еще там были животные… — снова высунулся было я, но мать остановила меня взглядом.

— Животные? — Йоханна застыла от ужаса.

— Ну да, животные, — подтвердил я.

— *Подозрение* на то, что там могли быть животные, — поправила меня мать.

— Да-да, именно так, — сказал и отец.

— Прекрасно! — Бабушка просто взбеленилась. — Животные в гостинице! Это что значит, а? Клочья шерсти на коврах? Отвратительные экскременты по углам? Разве вам неизвестно, что у меня тут же начинается приступ астмы, стоит мне заглянуть в комнату, где была кошка?

— Та жалоба касалась вовсе не кошек, — начал было я, но мать сильно ударила меня локтем в бок.

— Значит, собак? Бешеных псов, которые способны укусить человека, когда он идет в ванную!

— Нет, — попытался я загладить свою вину. — И не собак.

— Это были медведи! — радостно завопил Робо.

— Ну, насчет медведей, Робо, ты преувеличиваешь, — сказала мама. — Да и вообще мы ничего наверняка не знаем.

— Нет, это совершенно несерьезно! Разве можно жить в таком месте? — воскликнула Йоханна.

— Ну конечно же нет! Мальчишки просто всякую ерунду болтают, — попытался успокоить ее отец. — Откуда в пансионе могут быть медведи?

— Нет, я помню, там было одно письмо, в котором говорилось про медведей, — запротестовал я. — Туристическое бюро еще решило, что это жалоба какого-то сумасшедшего. А потом пришло второе письмо, и в нем подтверждалось, что в пансионе есть медведь…

Отец в зеркальце заднего вида хмуро посмотрел на меня, но я решил, что раз уж мы взялись за подобное расследование, то разумнее держать бабушку в курсе.

— А может, это и не настоящий медведь? — с явным разочарованием протянул Робо.

— А кто же? Человек в медвежьей шкуре? Оборотень? — вскричала Йоханна. — Или какой-то извращенец? Человек, переодетый чудовищем,

или чудовище в человечьем обличье снует поблизости, а я знать не знаю, что ему надо! Нет, я бы хотела в первую очередь посетить именно этот пансион! Пусть это будет первое и последнее наше испытание категорией Си, пусть оно как можно скорее останется позади!

— Но на сегодня у нас даже номера там не заказаны, — возразила мама.

— Зато мы можем предоставить им возможность, что называется, расстараться, — сказал отец. Он никогда не говорил своим жертвам, что работает в Австрийском туристическом бюро. Но все же считал, что заказать номера заранее — наиболее приличный способ дать обслуживающему персоналу шанс получше подготовиться к приему постояльцев.

— Я уверена, что совершенно незачем заранее бронировать номера в таком месте, где люди переодеваются в шкуры диких зверей! — твердо заявила Йоханна. — И я совершенно не сомневаюсь, что там *всегда* есть свободные номера. Потому что человек вполне способен умереть прямо в своей постели от испуга, если ночью к нему в номер заявится какой-то безумец в вонючей медвежьей шкуре.

— А может, и настоящий медведь! — с надеж-

дой подхватил Робо, чувствуя, что настоящий медведь в теперешней ситуации был бы для бабушки, пожалуй, даже предпочтительнее. По-моему, сам Робо настоящего медведя абсолютно не боялся.

Я как можно незаметнее подогнал машину к темному перекрестку Планкен и Зайлергассе. Перед нами был темный маленький домишко — пансион категории С, претендовавший на категорию *В*.

— Парковаться негде, — сообщил я отцу, который уже заносил этот недостаток в свой кондуит.

Я с трудом припарковался у тротуара кому-то в хвост, и мы продолжали сидеть в машине и смотреть на пансион «Грильпарцер»; в нем было всего четыре невысоких этажа, и он был зажат между булочной-кондитерской и табачной лавкой.

— Видите? — сказал отец. — Никаких медведей.

— Никаких *таких* людей, я надеюсь, — заметила бабушка.

— А может, они ночью приходят? — осторожно предположил Робо, поглядывая по сторонам.

Потом мы все-таки вылезли из машины, вошли в пансион, и там нас встретил менеджер, некий

господин Теобальд, увидев которого Йоханна мгновенно насторожилась.

— О, целых три поколения путешествуют вместе! — восторженно вскричал господин Теобальд. — Совсем как в добрые старые времена! — Это он прибавил специально для бабушки. — Когда еще не было такого количества разводов, а молодые супружеские пары не требовали себе отдельных спален. Должен сказать, у нас настоящий *семейный* пансион. Жаль только, вы не заказали номера заранее, чтобы я мог разместить вас поудобнее и поближе друг к другу.

— Мы не привыкли спать в одной комнате, знаете ли! — отрезала бабушка.

— О, я совсем не это имел в виду! — поспешил успокоить ее Теобальд. — Я всего лишь хотел сказать, что ваши номера будут расположены не так близко друг к другу, как вам, возможно, хотелось бы.

Это явно встревожило бабушку.

— И как далеко они будут друг от друга? — спросила она.

— Видите ли, у меня всего два свободных номера, — сказал он. — И только один из них достаточно велик, чтобы в нем могли поместиться эти два мальчика и их родители.

— А где же будет моя комната? — холодно спросила Йоханна.

— Прямо напротив ватерклозета! — сообщил ей Теобальд, словно это был явный плюс.

Но когда нас повели в номера — бабушка при этом настороженно держалась рядом с отцом в самом конце процессии, — я услышал, как она сердито пробормотала:

— Не так я представляла себе заслуженный отдых на старости лет! Общая уборная прямо напротив моей двери! И слышно, как каждый туда входит и выходит!

— Ни одна из наших комнат не похожа на другую! — вещал между тем господин Теобальд. — Вся мебель старинная, фамильная… — В это мы вполне могли поверить: большая комната, которую нам с Робо предстояло разделить с родителями, больше смахивала на музей, битком набитый всякими безделушками. Там было несколько старинных платяных шкафов, украшенных разностильными ручками, раковина отделана бронзой, а изголовья кроватей — резьбой. Я видел, как отец прикидывает в уме все минусы и плюсы, чтобы занести их в свою заветную тетрадь. Йоханна, похоже, заметила это и сказала ему:

— Это ты можешь сделать и попозже. Пусть мне сперва покажут, где я буду спать!

Всей семьей мы послушно последовали за Теобальдом и бабушкой по длинному извилистому коридору, причем отец явно подсчитывал, сколько шагов ему потребуется пройти до уборной. Ковер в коридоре был тонкий, невнятного серого цвета. На стенах висели старые фотографии участников соревнований по конькобежному спорту — коньки у всех были какие-то странные: их лезвия загибались вверх, точно мыски башмаков средневековых шутов или полозья старинных саней.

Робо, убежавший далеко вперед, оповестил нас, что уборная обнаружена.

Комната бабушки действительно оказалась напротив — битком набитая фарфором и полированным деревом и пропахшая плесенью. Шторы на окнах были влажные, а посредине кровати виднелось странное возвышение — так у собак порой поднимается шерсть на загривке и вдоль хребта; возвышение это вызывало слегка тревожное чувство: казалось, кто-то очень худой лежит, вытянувшись, точнехонько в самом центре кровати.

Бабушка не сказала ни слова, и только когда

Теобальд выкатился из комнаты с таким видом, словно его сперва ранили в самое сердце, а потом сообщили, что жить он все-таки будет, бабушка спросила отца:

— На каком таком основании этот пансион надеется получить категорию *B?*

— Вряд ли он ее получит; это совершенно определенно категория С, — ответил отец.

— В категории *C* родился и в ней же умрет, — вставил я.

— Что до меня, то я бы сказала, что это категория *E* или даже *F,* — сурово заявила Йоханна.

Мы снова вышли в коридор. В маленькой полутемной гостиной, где мы рассчитывали выпить чаю, какой-то человек без галстука пел венгерскую песню.

— Это вовсе не значит, что он венгр, — сказал бабушке отец, но она скептически заметила:

— Даже если и так, то его странное поведение не делает ему чести.

От чая и кофе бабушка отказалась. Робо съел маленькое пирожное, по его словам очень вкусное. Мы с матерью выкурили сигарету; она как раз пыталась бросить курить, а я — начать. Поэтому сигарету мы разделили пополам и дали друг другу слово никогда не выкуривать целую

сигарету в одиночку.

— Это один из наших лучших постояльцев, — шепнул отцу господин Теобальд, указывая на певца. — Он знает песни всех стран мира.

— Венгерские-то, по крайней мере, он точно знает, — заметила бабушка, но все же улыбнулась.

Потом к нам подошел какой-то маленький человечек, чисто выбритый, однако с той вечной тенью цвета вороненой стали на худом лице, какая бывает у очень темноволосых людей. Он был в чистой белой рубашке (хотя и немного пожелтевшей от старости и бесконечных стирок), в брюках от вечернего костюма и в совершенно не подходившем к этим брюкам пиджаке. Он что-то сказал бабушке, но она не поняла и переспросила:

— Простите, как вы сказали?

— Я сказал, что могу рассказывать сны, — повторил человечек.

— *Рассказывать* сны? То есть пересказываете те сны, которые видели? — уточнила бабушка.

— Да, я вижу сны и умею их рассказывать, — загадочно подтвердил он. Певец тут же умолк, прислушался к разговору и пояснил:

— Он вам мигом расскажет любой сон любого

человека, какой вы только пожелаете узнать.

— Я совершенно уверена, что не желаю ничего слушать про какие-то чужие сны, — отрезала бабушка. И с отвращением посмотрела на клок черных волос, выглядывающий из расстегнутого ворота певца. На рассказчика снов она вообще смотреть не стала.

— Насколько я вижу, вы настоящая дама, — сказал ей рассказчик снов. — И не станете откликаться на любой сон, который возьмет да и приснится, верно?

— Разумеется нет! — ответствовала бабушка и наповал сразила моего отца одним из своих знаменитых взглядов «как-ты-мог-допустить-что-бы-такое-случилось-со-мной!».

— Но я знаю один сон, который вы бы никогда не оставили без внимания, — сказал рассказчик снов и закрыл глаза.

Певец незаметным движением придвинул ему стул, и вдруг оказалось, что рассказчик сидит совсем рядом с нами. Робо, хотя давно уже вышел из младенческого возраста, забрался к отцу на колени.

— В высоком замке, — начал рассказчик снов, — рядом со своим мужем лежала в постели женщина. Она проснулась внезапно среди ночи

и никак не могла понять, что же ее разбудило, однако чувствовала себя настолько свежей и бодрой, словно давно уже наступило утро. Ей было отчего-то понятно, хотя она на него даже не посмотрела, что муж ее тоже не спит и тоже проснулся совершенно внезапно…

— Надеюсь, это годится для детских ушей? Ха-ха-ха! — рассмеялся господин Теобальд, но никто на него даже не взглянул. Бабушка, сложив руки на коленях, внимательно смотрела на певца и на рассказчика; она сидела очень прямо, плотно сдвинув колени и спрятав каблуки туфель под стул. Мать держала отца за руку. Я сидел рядом с рассказчиком снов, от пиджака которого несло зверинцем. Он помолчал и продолжил:

— Итак, женщина и ее муж лежали без сна и прислушивались к звукам во дворе и в замке, который арендовали совсем недавно и знали не очень хорошо. Они еще не привыкли на ночь запирать входные двери. Мимо замка часто гуляли деревенские жители, а деревенским детишкам разрешалось висеть и качаться на старинных воротах. Но что же все-таки разбудило супругов?

— Медведи? — спросил Робо, но отец приложил палец к его губам.

— Нет, они услышали топот лошадиных ко-

пыт, — сказал рассказчик снов.

Йоханна, которая сидела на своем жестком стуле, вздрогнула, закрыла глаза и склонила голову на грудь.

— Да, они услышали храпение и топот лошадей, не желавших стоять на месте, — продолжал рассказчик снов. — Муж той женщины коснулся ее руки и удивленно спросил: «Там, кажется, лошади?» Женщина встала с постели и подошла к окну, выходившему во двор замка. Она могла бы поклясться, что увидела во дворе целый отряд конных воинов! *И каких!* Все в рыцарских доспехах; забрала шлемов опущены, так что наверху их тихие голоса были едва слышны, точно голоса далекой слабой радиостанции. Доспехи поскрипывали и позванивали, стоило лошадям шевельнуться.

Во дворе замка был высохший бассейн, посреди которого когда-то бил фонтан, но теперь женщина с удивлением увидела, что фонтан снова бьет и бассейн полон воды; вода переливалась через его потрескавшиеся, обломанные края, и лошади с наслаждением пили. Рыцари выглядели усталыми, однако спешиваться явно не собирались; они посматривали вверх, на темные окна замка, словно знали, что их к этому водному источнику

никто не приглашал, — и все же они нуждались в этой краткой передышке на пути неизвестно куда.

Женщина видела, как поблескивают в лунном свете их большие щиты. Она замерзла, осторожно отошла от окна и прилегла рядом с мужем.

«Что там?» — спросил он ее.

«Лошади», — отвечала она.

«Мне так и показалось, — сказал он. — Они там все цветы съедят».

«А кто построил этот замок?» — неожиданно спросила жена. Замок был очень старый, они оба прекрасно об этом знали.

«Карл Великий», — сонным голосом ответил муж; он уже начинал засыпать.

А женщина все лежала без сна и все слушала журчание воды, которая, казалось, сбегала по всем трубам замка, по всем его желобам, чтобы наполнить тот бассейн во дворе. И еще она все время слышала тихие, искаженные забралами и расстоянием голоса воинов — воинов Карла Великого, говоривших на каком-то мертвом языке. *Мертвый* язык и голоса рыцарей казались женщине столь же ужасными, сколь ужасным казался ей далекий VIII век и люди, называвшиеся франками. А лошади пили, и пили, и никак не

могли напиться.

Женщина все ждала, когда же эти люди уйдут; она совсем их не боялась, понимая, что они просто совершают некое странствие и это остановка в пути, в одном из мест, когда-то хорошо им знакомых. И еще она чувствовала, что, пока слышен звук текущей воды, нельзя тревожить покой замка и царящую в нем тьму. Когда же она наконец уснула, ей казалось, что воины Карла Великого все еще там.

Утром муж спросил ее:

«Ты тоже слышала звук струящейся воды?»

«Да, — сказала она, — конечно слышала».

Но фонтан, разумеется, был сух, и цветы остались не тронуты, это было видно даже из окна спальни. Хотя обычно цветы лошади едят с удовольствием.

«Посмотри, — сказал муж, когда они вместе спустились во двор, — нигде никаких отпечатков подков! И навоза нет! Должно быть, нам все это приснилось».

Она не сказала ему, что там были еще и воины в рыцарских доспехах, а к тому же вряд ли двум разным людям может присниться один и тот же сон. Она не стала напоминать мужу, что он слишком много курит и порой не способен по-

чувствовать даже аромат только что сваренного супа в собственной тарелке, а уж запаха лошадей, находившихся так далеко внизу, под открытым небом, он и вовсе не учует.

Она видела тех воинов (а может, они ей снились?) еще раза два, пока они жили в замке, но муж больше ни разу не проснулся одновременно с нею. И каждый раз они появлялись неожиданно. Однажды она проснулась, чувствуя на языке вкус металла, словно лизнула старую ржавую железяку — меч? нагрудную пластину доспехов? кольчугу? наколенник? — и выглянула в окно. Они снова были там, во дворе, только погода уже начинала портиться, похолодало, и над водой в бассейне поднимался густой туман, почти скрывая из виду коней, побелевших от инея. И на этот раз воинов было гораздо меньше, чем в прошлый, словно суровая зима и тяжкие испытания вырвали из их рядов многих товарищей. В самый последний раз лошади показались ей похожими на привидения, а люди — на пустые доспехи, накрепко приделанные к седлам. Морды лошадей совсем обледенели. И дышали они (а может, люди?) хрипло, затрудненно…

Муж этой женщины, — сказал рассказчик снов, — вскоре умер от какой-то респираторной

инфекции. Но тогда она еще не знала, что он вскоре умрет.

Бабушка подняла голову и с размаху влепила рассказчику снов пощечину — прямо по его сине-серому от густой щетины лицу. Робо у отца на коленях испуганно сжался в комок. Моя мать схватила Йоханну за руку. Певец нервным движением отбросил назад волосы и вскочил — то ли испугавшись, то ли готовый с кулаками защищать своего друга. Однако рассказчик снов драться не собирался; он молча поклонился бабушке и вышел из гостиной. Казалось, они с Йоханной заключили какой-то молчаливый договор, который, впрочем, не принес радости ни тому, ни другой. Мой отец снова записал что-то в своем гроссбухе.

— Ну что, разве плохая история? Ха-ха-ха! — бодренько спросил нас господин Теобальд и взъерошил Робо волосы, чего тот терпеть не мог.

— Господин Теобальд, — сказала моя мать встревожено, — а знаете, ведь и *мой отец умер от респираторной инфекции!*

— О господи, черт подери! — воскликнул Теобальд. — Мне очень жаль, сударыня, — обернулся он к бабушке, но та говорить с ним не пожелала.

Потом мы повели бабушку обедать в ресторан категории А, однако она едва притронулась к еде.

— Этот тип — цыган, — заявила она. — Сатанинское отродье! Да к тому же венгерский цыган!

— Мама, перестань, прошу тебя, — сказала ей наша мать. — Ну откуда ему было знать про папу?

— Он знает куда больше, чем ты! — отрезала бабушка.

— Шницель просто превосходный, — заметил отец, записывая что-то в свою тетрадь. — И красное «Gumpoldskirchner» к нему в самый раз.

— И телячьи почки очень вкусные, — сказал я.

— И яйца тоже, — сказал Робо.

Но бабушка хранила молчание до тех пор, пока мы не вернулись в пансион «Грильпарцер»; только теперь мы заметили, что дверь в туалет подвешена сантиметров на тридцать выше уровня пола, так что напоминает, с одной стороны, дверцы в американских туалетах, а с другой — двери в «салунах», какими их изображают в вестернах.

— Так. Я очень рада, что успела воспользоваться туалетом в ресторане, — заметила бабушка. — Господи, как это отвратительно! Постараюсь не

выходить в туалет и не предоставлять возможности каждому, кто проходит мимо, пялиться на мои голые лодыжки!

Когда мы оказались в своем «семейном» номере, отец сказал:

— А ведь, по-моему, Йоханна тоже когда-то жила в замке. По-моему, они с дедом арендовали что-то в этом роде, только давно.

— Да, — сказала мама, — еще до моего рождения. Они арендовали замок Катцельсдорф. Я видела фотографии.

— Вот почему рассказ этого венгра так ее расстроил! — догадался отец.

И тут в их разговор влез Робо.

— В коридоре кто-то катается на велосипеде! — сообщил он. — Я видел, как прямо у нас под дверью проехало колесо.

— Робо, иди спать, — сказала мама.

— Но колесо действительно проехало! — возмутился Робо. — И оно скрипело «сквик, сквик»!

— Довольно. Спокойной ночи, мальчики, — сказал отец.

— Почему нам нельзя и слова сказать? — заступился я за брата. — Мы тоже хотим поговорить.

— Вот и разговаривайте друг с другом, — сказал отец. — А я в данный момент разговариваю не с

вами, а с мамой.

— Я очень устала и хочу спать, — сказала мама. — И я бы предпочла, чтобы никто и ни с кем больше не разговаривал.

Мы постарались не разговаривать и лежали тихо. Возможно, даже уснули. А потом Робо разбудил меня и шепотом сообщил, что ему нужно в уборную.

— Ты же знаешь, где она находится, — прошептал я в ответ.

Робо вышел, но дверь оставил чуточку приоткрытой; я слышал, как он идет по коридору, касаясь рукой стены. Вернулся он очень быстро.

— Там кто-то есть! — сказал он.

— Ну и что? Подожди, пока этот человек закончит свои дела, и заходи.

— Там даже свет не горел, — не унимался Робо, — а я все равно видел — я заглянул под дверь. Там кто-то есть — в темноте!

— Я и сам предпочитаю делать это в темноте, — сказал я.

Но Робо упорно хотелось поделиться со мной всем, что он там увидел. Оказывается, из-под двери были видны не ноги, а *руки.*

— Руки? — переспросил я.

— Да! Там, где должны были стоять ноги! — Ро-

бо поклялся, что все так и было.

— Слушай, не мешай мне спать! — рассердился я.

— Пожалуйста, пойдем туда и посмотрим, — умоляющим тоном попросил он. Я потащился по коридору за ним следом, и конечно же в уборной никого не оказалось.

— Руки ушли… — растерянно прошептал Робо.

— Ну, естественно! Из уборной всегда лучше всего на руках выходить, — насмешливо сказал я. — Ладно, иди писай, я тебя здесь подожду.

Он вошел в уборную, печально шмыгая носом, и помочился в темноте. Мы двинулись обратно и, когда уже подходили к нашему номеру, встретились с черноволосым человеком небольшого роста, с такой же синеватой щетиной на щеках, как у рассказчика снов, который так рассердил бабушку, и в такой же чистой, хотя и поношенной одежде. Он послал нам улыбку. И мне пришлось признать, что шел он на руках!

— Видишь? — прошептал Робо. Мы вошли в номер и накрепко заперли за собой дверь.

— В чем дело? — спросила мама.

— Там какой-то человек на руках ходит, — сказал я.

— Он и писает, тоже стоя на руках! — добавил

Робо.

— Категория С! — пробормотал сквозь сон отец; отцу часто снилось, что он делает пометки в своей толстой тетради.

— Хорошо, мы поговорим об этом утром, — сказала мать.

— Может, это просто акробат, которому вздумалось подшутить над тобой, потому что ты еще маленький, — сказал я Робо.

— А откуда он знал, маленький я или большой, если он в это время в уборной был? — спросил Робо.

— Немедленно спать! — прошипела мама.

И тут из дальнего конца коридора донесся пронзительный вопль бабушки.

Мама накинула свой хорошенький зеленый пеньюар; отец облачился в купальный халат и поспешно нацепил очки; я натянул брюки прямо на пижамные штаны. Первым в коридор выскочил Робо. Из-под двери уборной исходил свет. Но бабушка, находившаяся там, продолжала издавать ритмичные вопли.

— Мы здесь! — крикнул я ей.

— Мама, что случилось? — спросила наша мать. Мы стояли в широкой полосе света возле двери в уборную. Нам были хорошо видны бабушкины

розовато-лиловые шлепанцы и ее белые, как фарфор, лодыжки. Кричать она перестала.

— Я слышала шепот, когда лежала в кровати, — сказала она из-за двери.

— Это были мы с Робо, — сказал я ей.

— А когда мне показалось, что в коридоре больше никого нет, я все-таки решилась встать и пойти в уборную, — продолжала Йоханна, — но свет не включала и все делала очень тихо. И тут я услышала, а потом и увидела это колесо…

— Колесо? — переспросил отец.

— Да, большое колесо. Оно несколько раз прокатилось мимо двери уборной. Прокатится в одну сторону и тут же возвращается обратно…

Отец покрутил пальцами у виска и выразительно посмотрел на мать.

— У кого-то явно колесики не в порядке, — прошептал он, но мать сердито сверкнула глазами, и он умолк.

— А когда я включила свет, — продолжала рассказывать бабушка, — колесо тут же укатилось прочь.

— Я же говорил, что по коридору кто-то катается на велосипеде! — сказал Робо.

— Заткнись, Робо, — велел ему отец.

— Нет, это не велосипед, — сказала бабушка. —

Там было только одно колесо.

Отец опять покрутил пальцами у виска.

— У нее самой одного-двух колесиков не хватает! — прошипел он, но мать сердито его толкнула, даже очки набок съехали.

— А потом пришел кто-то другой и *заглянул под дверь!* — сказала бабушка. — Вот тогда-то я и закричала.

— Кто пришел? — спросил отец.

— Я видела только его руки. Мужские руки — у него на пальцах были черные волосы, — сказала бабушка. — Руки стояли точно напротив двери в уборную. Он, должно быть, подглядывал за мной *снизу*.

— Он не подглядывал, бабушка, — сказал я, — он просто стоял там на руках.

— Не дерзи! — заметила мать.

— Но мы видели человека, который ходил по коридору на руках! — вмешался Робо.

— Ничего вы не видели! — сказал отец.

— Нет, видели! — возразил я.

— Мы сейчас своим криком всех перебудим, — предупредила нас мать.

В туалете с шумом спустили воду, и бабушка выплыла из-за двери с неизменным, лишь слегка поколебленным достоинством. На ней был

купальный халат, надетый поверх пеньюара, из которого торчала очень длинная худая шея; вымазанное кремом лицо казалось абсолютно белым. Выглядела она как вспугнутая гусыня.

— Это злой человек, и намерения у него дурные, — сказала она вдруг. — И ему известны ужасные магические заклятья!

— Тому, кто смотрел на тебя из-под двери? — спросила мама.

— Тому, кто рассказал мне мой сон, — сказала бабушка. И слеза проделала дорожку в толще крема у нее на щеке. — Это же *мой* сон, а он рассказал его всем! Просто невероятно, что он его знает! Мой сон — о Карле Великом и его конных воинах… Я — единственный человек, которому этот сон мог быть известен. Он мне приснился еще до того, как ты родилась. — Она повернулась к нашей матери. — А этот злой колдун рассказывал мне мой сон так, словно сообщал по телевизору «последние известия»! Я даже твоему отцу никогда не рассказывала этот сон целиком. И никогда не была уверена, что это действительно был сон. А теперь вокруг какие-то колдуны, какие-то люди, которые ходят на руках, буквально поросших шерстью, какие-то магические колеса… Я хочу, чтобы мальчики спали со мной!

В общем, бабушка переехала в наш «семейный» номер, находившийся довольно далеко от уборной, и улеглась на постель моих родителей; лицо ее, вымазанное кремом, сияло, точно лицо мокрого привидения. Я видел, что Робо не спит и наблюдает за нею. Вряд ли и сама Йоханна спала хорошо; по-моему, ей опять снился тот сон о смерти; она вспоминала последнюю зиму и замерзших воинов Карла Великого в их металлических доспехах, покрытых инеем и почти неподвижных…

Наконец мне стало ясно, что придется тащиться в уборную. Я встал, заметив, что круглые карие глаза Робо проводили меня до двери.

В уборной кто-то был. Свет там не горел, но у стены напротив стоял одноколесный велосипед. И в темной уборной кто-то без конца спускал воду — словно там забавлялся ребенок, не дававший бачку даже наполниться до конца.

Я подошел ближе и заглянул под дверь — тот, кто был внутри, явно стоял не на руках, я, безусловно, увидел ноги, только они не касались пола, словно их обладатель стоял на цыпочках; подошвы этих ног, повернутые ко мне, были темно-красного цвета, а ступни — поистине огромны и приделаны к очень коротким, покрытым густой

шерстью голеням. В общем, настоящие медвежьи лапы, только почему-то без когтей. У медведя когти не убираются, не то что у кошки. Если когти есть, ты их сразу видишь. Значит, тут либо человек, переодетый медведем, либо медведь, у которого удалили когти. Домашний медведь, может быть, подумал я. Или — если судить по его поведению в туалете — медведь, вломившийся в дом? Во всяком случае, по запаху я понял, что это никакой не человек в медвежьей шкуре, а самый настоящий медведь.

Я отступил к двери в бывшую бабушкину комнату, за которой, как выяснилось, прятался мой отец, ожидавший очередных неприятностей. Он резко распахнул дверь, и я буквально ввалился в номер, испугав нас обоих. Мама села в кровати и натянула стеганое одеяло на голову. «Я его поймал!» — крикнул отец, падая на меня. Пол дрогнул; велосипед, принадлежавший медведю, пошатнулся и въехал прямо в дверь уборной, откуда выскочил перепуганный зверь и чуть не растянулся в коридоре, споткнувшись о свой велосипед. Он испуганно посмотрел в открытую дверь номера на отца, который все еще сидел верхом на мне, поднял велосипед, сказал: «Гррауф!» Отец тут же захлопнул дверь.

На другом конце коридора послышался женский голос:

— Дуна, ты где?

— Харрф! — сказал медведь.

Мы услышали, как женщина подошла к нему и сказала:

— Ох, Дуна, ты все упражняешься! Никак не поймешь, что заниматься нужно днем, а не ночью!

Медведь не ответил. Отец осторожно приоткрыл дверь.

— Только в комнату никого не впускай! — предупредила мать, по-прежнему сидя под одеялом.

В коридоре возле медведя стояла очень красивая, но уже не очень молодая женщина, а медведь ловко балансировал в седле своего одноколесного велосипеда, одной лапой держась за плечо женщины. На голове у женщины красовался ярко-алый тюрбан, а сама она была с ног до головы обмотана куском материи, напоминавшим занавеску. На ее пышной груди виднелось ожерелье из медвежьих когтей; длинные серьги касались плеч, причем одно плечо было совершенно обнажено. Мы с отцом так и уставились на нее.

— Добрый вечер, — сказала она. — Простите, что побеспокоили вас. Дуне запрещено упраж-

няться по ночам, но он так любит свою работу!

Медведь что-то проворчал и покатил дальше по коридору. Он отлично держался в седле, но ехал небрежно — задевал стены коридора, лапищами касался фотографий конькобежцев в рамках. Женщина поклонилась отцу и двинулась следом за медведем, зовя его: «Дуна, Дуна!» и поправляя покосившееся фотографии на стенах.

— Дуна — это от венгерского названия Дуная, — сказал мне отец. — Этого медведя назвали в честь нашего любимого Дуная. — Иной раз ему казалось странным, что и венгры тоже способны любить эту реку.

— Значит, медведь *настоящий?* — спросила мама из-под одеяла, но я предоставил отцу возможность разъяснить ей происходящее и удалился. Я знал, что утром господину Теобальду придется отвечать на множество самых разных вопросов и тогда уж я смогу получить всю необходимую информацию в развернутом виде.

Я зашел в уборную, стараясь поскорее справиться со своими делами, подгоняемый царившим там острым запахом зверя, кроме того, мне чудилось, что все кругом покрыто медвежьей шерстью, хотя он оставил туалет в полном порядке — во всяком случае для медведя.

— А я видел медведя! — прошептал я, но Робо, оказывается, уже переполз в бабушкину кровать и крепко спал у нее под боком. Сама же Йоханна не спала.

— С каждым разом я видела все меньше и меньше воинов, — сказала она. — В последний раз их оставалось всего девять. И все выглядели такими голодными! Они, похоже, съели и запасных лошадей. Тогда стояли ужасные холода!.. Как мне хотелось им помочь! Но ведь мы жили в такие далекие друг от друга эпохи! Как я могла помочь им, если тогда и на свет-то еще не родилась? Разумеется, я понимала, что они непременно умрут. Но это заняло так много времени… В последний раз, когда они пришли, фонтан был замерзший, и они мечами и пиками разбили лед на куски, развели костер и стали топить лед в котле. А потом достали из седельных сумок кости — разные и совсем без мяса — и покидали их в котел, чтобы сварить бульон. Должно быть, весьма жиденький бульон получился. Не знаю, чьи это были косточки. Кроличьи, должно быть. А может, оленя или дикого кабана. Или запасных лошадей. Я старалась не думать о том, что это могли быть и кости исчезнувших воинов…

— Ты, бабушка, ложись-ка и спи, хорошо? —

ласково сказал я ей.

— И ты ложись. И не беспокойся насчет того медведя, — сказала она мне.

Ну, а что дальше? — думал Гарп. Что с ними может случиться *дальше?* Он и сейчас еще не был до конца уверен, что с его героями *уже* что-то случилось и *почему* это случилось именно с ними. Гарп был прирожденным рассказчиком; он мог выдумывать одну историю за другой, точно нанизывая ожерелье, но каков был их общий смысл и сюжет? Что, например, значил этот сон и какова судьба рассказчика сна и его друга, певца? И что будет с остальными героями? Ведь все это нужно как-то соединить, дать всему этому естественное объяснение... А какое объяснение будет естественным? И какой конец позволит им всем стать частью одного и того же мира? Гарп понимал, что его знаний пока недостаточно, но доверял своему внутреннему чутью. Это чутье привело его к дверям пансиона «Грильпарцер», и теперь остается лишь довериться инстинкту, который твердит, что двигаться дальше нельзя, пока он не узнает о жизни гораздо больше, чем теперь.

То, что делало Гарпа старше и мудрее его девятнадцати лет, не имело никакого отношения

к его жизненному опыту и образованию. У него было внутреннее чутье, была определенная решимость, было терпение, гораздо более крепкое, чем обычно у таких молодых людей, и он просто любил работать как следует. Если приплюсовать знания в области языка и литературы, которые дал ему мистер Тинч, то в этом и состояло его богатство. По-настоящему на Гарпа подействовали только два факта его жизни: страстное желание матери во что бы то ни стало написать книгу и то, что самые душевные и по-человечески близкие отношения сложились у него с проституткой. То и другое, как выяснилось впоследствии, как раз и помогло Гарпу в формировании его знаменитого чувства юмора.

Он снова отложил «Пансион „Грильпарцер“» в сторону. До поры до времени, думал он, понимая, что должен узнать о жизни как можно больше, хотя единственное, что он мог делать, — это смотреть вокруг, бродить по Вене и учиться. Вена ради него как бы затаила дыхание. И жизнь тоже. Чувствуя это, он без конца расспрашивал Шарлотту, старался подмечать, что и как делает его мать, но, видимо, был пока просто слишком молод. Он знал, ему необходимо *обрести умение видеть*. Видеть общий порядок вещей, видеть

совершенно по-своему. Это придет, твердил он себе, словно тренируясь перед очередными состязаниями по борьбе, когда приходится делать массу бессмысленных, но необходимых вещей — прыгать через веревочку, бегать круг за кругом по узенькой дорожке, поднимать тяжести.

Даже у Шарлотты есть свое видение мира, думал Гарп и совершенно точно знал, что оно есть у его матери. Однако ему не хватало пока мудрости вообразить себе мир глазами Дженни Филдз. Впрочем, он был уверен: дайте срок, и он сумеет увидеть мир своими собственными глазами, без помощи и подсказки со стороны реального мира, который его окружает и вскоре станет ему помощником.

6. «Пансион „Грильпарцер“»

Когда в Вену пришла весна, «Пансион „Грильпарцер“» еще не был закончен; Гарп, разумеется, не писал Хелен о знакомстве с Шарлоттой и ее подругами. Дженни — ценой неимоверных усилий! — удалось поднять свое мастерство на более высокий уровень; в частности, она нашла наконец подходящие слова для тех мыслей и чувств, которые кипели в ней с того самого вечера, когда она обсуждала с Гарпом и Шарлоттой тему «плотского вожделения», — старые слова из ее собственной давней жизни, но благодаря им она сумела выстроить начальную фразу той книги, что впоследствии сделала ее знаменитой.

«В этом мире грязных душ и мыслей, — писала Дженни, — ты либо чья-то жена, либо чья-то содержанка (или попросту шлюха), либо на пути к первому или же второму состоянию». Это предложение сразу задало книге определенный тон, которого ей так недоставало. Дженни обнаружила, что стоило ей начать с этого предложения, и ее автобиографию тотчас окутала некая аура, как бы связавшая воедино разрозненные куски

ее жизненной истории, — примерно так туман сглаживает неровный ландшафт, примерно так уличная жара постепенно повышает температуру во всем доме, проникает в каждую комнату. Это предложение пробудило к жизни и другие, ему подобные, и Дженни по мере сил и умений вплетала их в свое повествование, словно яркие связующие нити в большой гобелен без четко выраженного рисунка.

«Я хотела работать и жить одна, — писала она. — Это и сделало меня, так сказать, сексуально подозреваемой». Вот и название книги: «Сексуально подозреваемая. Автобиография Дженни Филдз». Эта книга впоследствии выдержала восемь изданий в твердом переплете и была переведена на шесть языков еще до выхода в свет первого тиража в мягкой обложке. Полученный гонорар позволил и Дженни Филдз, и целому полку медсестер весь век носить новые белые медицинские халаты.

«Потом мне захотелось иметь ребенка, но я не желала ни с кем делить свое тело или свою жизнь, чтобы этого ребенка получить, — писала Дженни. — И это в очередной раз превратило меня в сексуально подозреваемую». Так Дженни нашла нить, с помощью которой сумела сшить

в нечто вполне целостное свои беспорядочные записки.

Но когда в Вену пришла весна, Гарпу захотелось путешествовать, и он предложил поехать в Италию, взяв напрокат автомобиль.

— А ты что же, умеешь водить машину? — удивилась Дженни. Она знала, что Гарп никогда этому не учился, потому что просто нужды не было. — Но ведь и я водить не умею. А кроме того, я сейчас очень занята и не могу прерваться. Если хочешь, поезжай один.

Свою почту Гарп и Дженни получали в конторе «Американ экспресс», и именно там Гарп случайно познакомился с молодыми американцами, которые как раз путешествовали по разным странам, — двумя выпускницами Диббса и парнем по прозвищу Бу, который закончил школу в Бате.

— Слушай, а ты не хочешь присоединиться к нашей компании? — спросила Гарпа одна из девушек — Мы все студенты, только что первый курс окончили.

Ее звали Флосси, и Гарпу показалось, что у нее роман с Бу. Вторую девушку звали Вивиан, и эта Вивиан, стиснув колено Гарпа своими коленками под крошечным кофейным столиком на Шварценбергплац, прошепелявила, потягивая вино:

— Я только што от жубного. Он мне влепил штолько новокаина в челюшть, што я никак не пойму, открыт у меня рот или закрыт.

— Да так, наполовину, — сказал ей Гарп. И подумал: господи, какого черта! Он тосковал по Куши Перси, а взаимоотношения с проститутками начинали вырабатывать в нем собственный комплекс «сексуально подозреваемого». Шарлотта, как ему стало окончательно ясно, предпочитала играть при нем роль приемной матери, хотя он-то представлял ее в совсем ином качестве, с печалью сознавая, что уровень их отношений никогда не выйдет за рамки ее профессии.

Флосси, Вивиан и Бу собирались в Грецию, однако решили посмотреть Вену, и Гарп три дня служил у них гидом. За эти три дня он дважды переспал с Вивиан, у которой наконец-то прошло действие новокаина; один раз он переспал и с Флосси — пока Бу ходил обналичивать дорожные чеки и менял масло в машине. Ученики Стиринга и Бата всегда «любили» друг друга, это Гарп знал отлично, но на этот раз все же именно Бу выпало смеяться последним.

От кого именно Гарп подцепил гонорею — от Вивиан или от Флосси, — неизвестно, но Гарп не сомневался, что *источник* заразы — Бу. По

мнению Гарпа, это был «типичный батский трипперок». Когда у него появились первые симптомы, троица, разумеется, уже укатила в Грецию, а он остался — в одиночку сражаться с мерзкими выделениями и мучительным жжением. Самый паскудный случай заражения триппером во всей Европе, злился он. «Разумеется, я подцепил его от Бу», — писал Гарп значительно позднее, юмористически описывая сей случай. Но тогда ему было не до смеха; он не осмеливался даже спросить совета у матери, зная, что Дженни ни за что не поверит, что он подцепил эту дрянь не от шлюхи. Потом, не выдержав, собрался с духом и попросил Шарлотту порекомендовать ему доктора, хорошо знакомого с подобными заболеваниями. Он был уверен, что Шарлотта сумеет ему помочь. Но потом решил, что Дженни, наверное, рассердилась бы на него куда меньше, чем Шарлотта.

— Неужели американцы не имеют понятия даже об элементарной гигиене? — Шарлотта была в ярости. — А о матери ты подумал? И вообще-то, я ожидала, что у тебя вкус получше. Такие девицы, что задаром занимаются этим с первым встречным, должны, по крайней мере, вызывать подозрение, верно? У тебя что, совсем головы нет? — Она была права: Гарп снова попался пото-

му, что не надевал презервативов.

Словом, он все-таки выплакал у Шарлотты телефон ее личного врача, добродушного доктора Тальхаммера, у которого на левой руке не хватало большого пальца.

— А ведь когда-то я был левшой, — рассказывал Гарпу Тальхаммер. — Но все можно исправить — было бы желание. Можно научиться чему угодно, если приложить достаточно усилий. — И, добродушно улыбаясь, он продемонстрировал Гарпу, как отлично умеет выписывать рецепт правой рукой.

Лечение оказалось простым и безболезненным. Во времена Дженни в старой доброй «Бостон-Мерси» Гарпу непременно вставили бы «ирригатор Валентайна», и уж тогда он точно на всю жизнь запомнил бы, что далеко не все богатые юнцы чистоплотны.

Об этом он Хелен тоже писать не стал.

После случившегося настроение у него упало: весна кончалась, город расцветал всякими новыми вещами и явлениями, точно деревце, на котором один за другим распускаются бутоны, но Гарп уже чувствовал, что в Вене ему становится тесно. Мать он с трудом отрывал от письменного стола, чтобы хоть пообедать с нею вместе. Когда

он отправился навестить Шарлотту, ее подружки сообщили ему, что она больна и уже которую неделю не «выходит на работу». Три субботы кряду Гарп тщетно караулил ее на Нашмаркте. А приятельницы Шарлотты, когда он остановил их как-то майским вечером на Кернтнерштрассе, явно не желали говорить о ней. Шлюха с оспиной на лбу заявила Гарпу, что Шарлотта оказалась больна куда тяжелее, чем сперва думала. А молодая проститутка, ровесница Гарпа, на своем ломаном английском попыталась объяснить ему, что у Шарлотты «болен секс». Странное выражение, подумал Гарп. Решив, что речь идет о какой-то временной сексуальной слабости, он неуверенно улыбнулся в ответ, но молодая проститутка вдруг замолчала, нахмурилась и пошла прочь.

— Ты ничего не понимаешь, — сказала та, что с оспиной на лбу. — Забудь Шарлотту.

Июнь перевалил за половину, но Шарлотта не появлялась. И Гарп позвонил доктору Тальхаммеру, надеясь узнать у него, что с ней случилось и где ее можно отыскать.

— Сомневаюсь, чтобы она хотела кого-нибудь видеть, — сказал Тальхаммер, — а впрочем, человеческое существо может приспособиться к чему угодно.

Совсем рядом с Гринцингом и Венским Лесом, за пределами девятнадцатого района, где проститутки практически никогда не бывают, Вена выглядела как деревенская имитация самой себя. Многие улицы в этих предместьях вымощены булыжником, а вдоль тротуаров растут деревья. Незнакомый с этой частью города, Гарп проехал на трамвае слишком далеко по Гринцингераллее, и ему пришлось вернуться пешком к перекрестку Бильротштрассе и Рудольфинергассе, где находилась лечебница.

«Рудольфинерхаус» — частная лечебница с такими же старинными желтыми каменными стенами, как дворец Шёнбрунн или Верхний и Нижний Бельведеры. Она окружена собственными парками, и лечение там стоит примерно столько же, сколько в любой частной американской лечебнице. Больничную одежду пациентам «Рудольфинерхауса» не выдают, поскольку они предпочитают свою. Обеспеченные венцы чуть ли не наслаждаются, позволив себе роскошь лечиться в этой больнице. А иностранцы, опасающиеся общественной медицины, оказавшись в «Рудольфинерхаусе», испытывают легкий шок от тамошних цен.

В июне, когда туда явился Гарп, лечебница по-

ражала обилием хорошеньких молодых женщин, которые только что произвели на свет своих малышей. Хватало там и обеспеченных людей среднего возраста, желавших поправить свое здоровье. Но были там и такие, кто, подобно Шарлотте, прибыл сюда умирать.

Шарлотта занимала отдельную палату — она сказала, что теперь у нее нет ни малейших причин беречь деньги. Гарп понял, что она умирает, как только ее увидел. Она похудела почти на тридцать фунтов. Гарп заметил, что оставшиеся у нее кольца она носит теперь только на указательном и среднем пальцах: остальные пальчики настолько исхудали, что кольца с них просто соскальзывали. Цвет лица Шарлотты напоминал мутный лед на солоноватой Стиринг-ривер. Она как будто не особенно удивилась появлению Гарпа, однако ее так напичкали обезболивающими и транквилизаторами, что вряд ли она вообще могла чему-либо удивляться. Гарп принес ей корзину фруктов — он хорошо знал, что любит Шарлотта, поскольку они часто вместе делали покупки на рынке, — но теперь ей каждый день на несколько часов вставляли в горло какую-то длинную трубку, после чего горло ужасно болело и она могла глотать только жидкую пищу. Гарп съел несколь-

ко вишен, пока Шарлотта перечисляла ему, какие части тела у нее удалены: половые органы и вся репродуктивная система, большая часть желудка и кишечника и еще какой-то орган, связанный с процессом очищения организма.

— И обе груди, — сказала она; белки глаз у нее казались совершенно серыми, но руки она приподняла над грудной клеткой именно так, словно ее замечательные груди по-прежнему были на месте. И Гарпу действительно почудилось, что груди все-таки не тронули: под простыней явно что-то приподнималось. Но потом он сообразил, что Шарлотта, поистине замечательная *женщина,* могла даже изогнуть свое тело так, чтобы создать иллюзию прежней привлекательности.

— Слава богу, деньги у меня были, — сказала она. — Это ведь заведение категории А, правда?

Гарп кивнул. На следующий день он пришел снова и принес бутылку вина: в лечебнице очень снисходительно относились к спиртным напиткам и приходам посетителей; возможно, считали это одним из удовольствий, за которые здесь платят.

— Даже если я отсюда выйду, — сказала Шарлотта, — что я смогу делать? Они же мне весь «кошелек» вырезали!

Она выпила немного вина и уснула, а Гарп попросил сиделку объяснить, что Шарлотта имела в виду под словом «кошелек», хотя, пожалуй, догадывался и сам. Сиделка была примерно его ровесница, лет девятнадцати, а может и меньше. Она вспыхнула и отвела глаза, но все же объяснила, что «кошелек» на жаргоне проституток означает «вагина».

— Спасибо большое, — поблагодарил Гарп. Раз или два он встречал у Шарлотты двух ее бывших подружек. При дневном свете в залитой солнцем палате они робели и вели себя с Гарпом совсем как молоденькие девчонки. Ту, что отчасти объяснялась по-английски, звали Ванга; губу она себе поранила еще в детстве, когда бежала домой из магазина с большой стеклянной банкой майонеза и поскользнулась.

— Мы собирались на пикник, — рассказывала она, — но вместо этого всей семье пришлось везти меня в больницу.

Та, что постарше, мрачноватая, с оспиной на лбу и грудями, похожими на два полных тяжелых ведра, не пожелала объяснить Гарпу, откуда у нее эта отметина, — эта Тина была самой настоящей занудой, которую ничем не рассмешишь.

Время от времени Гарп встречал в больнице и

доктора Тальхаммера, а однажды даже проводил его до машины — они случайно столкнулись у выхода.

— Подвезти вас? — любезно предложил Гарпу Тальхаммер. В машине сидела хорошенькая школьница, которую Тальхаммер представил Гарпу как свою дочь. В машине они оживленно беседовали о Соединенных Штатах, и доктор заверил Гарпа, что ему не составит никакого труда довезти его до Швиндгассе. Дочка Тальхаммера чем-то напомнила Гарпу Хелен Холм, однако ему даже в голову не пришло попросить ее о свидании; то, что отец этой девушки недавно лечил его от триппера, казалось Гарпу совершенно непреодолимым препятствием. Несмотря на все заверения Тальхаммера, что люди способны приспособиться к чему угодно, Гарп сильно сомневался, что милый доктор найдет в себе силы приспособиться к подобным знакомым своей дочурки.

Теперь все вокруг казалось Гарпу исполненным зрелости и умирания. Пышные парки и сады словно бы несли в себе аромат разложения, а в музеях он все время наталкивался на работы великих художников, где основной темой была смерть. И в 38-м трамвае, который шел на Гринцингер-

аллее, всегда было полно стариков и инвалидов; и цветы с пышными головками, посаженные вдоль ухоженных тропинок «Рудольфинерхауса», напоминали Гарпу только о похоронном убранстве. Он вспоминал пансионы, где они с Дженни останавливались год назад, сразу по приезде в Вену: поблекшие и плохо подобранные обои, пыльные безделушки, потрескавшийся фарфор, скрипучие, несмазанные дверные петли… «Время человеческой жизни — миг… строение всего тела — бренно…» — писал Марк Аврелий.

Та самая юная сиделка, которую Гарп так смутил своим вопросом про «кошелек», вела себя с ним все более неприязненно. Однажды, когда он приехал слишком рано и, по правилам, посетители к больным еще не допускались, она спросила — пожалуй, чересчур агрессивно, — кем он, собственно, доводится Шарлотте. Член семьи? Она видела других посетительниц Шарлотты — ее пестро одетых «соратниц» — и сделала вывод, что Гарп — просто один из клиентов этой старой перечницы «Она моя мать», — сказал Гарп сам не зная зачем, однако заметил, каким испуганным стало личико юной сиделки и как уважительно с тех пор стала она к нему относиться.

— Что ты им такое сказал? — шепотом спросила

у него Шарлотта несколько дней спустя. — Они думают, что ты мой сын.

Он признался во *лжи*, а Шарлотта призналась, что ни единым словом не пыталась эту ложь опровергнуть.

— Спасибо тебе! — прошептала она. — Так приятно — обмануть здешних святош! Они ведь смотрят на нас свысока! — И она, изо всех сил стараясь придать своему голосу былое спокойное достоинство, сказала: — Я бы позволила тебе еще разок получить *это* бесплатно, да оборудование мое не при мне. Или, может, даже два раза — за полцены.

Гарп так растрогался, что чуть не заплакал прямо при ней.

— Не будь младенцем, — сказала Шарлотта. — Да и *кто* я для тебя на самом-то деле?!

Когда она уснула, он прочел в ее больничной карточке, что ей пятьдесят один год.

Через неделю она умерла Когда Гарп в очередной раз пришел навестить ее, палата была уже чисто вымыта, кровать застелена, окна широко распахнуты. Он спросил о Шарлотте у старшей сестры, седовласой старой девы, которая вечно недовольно встряхивала головой.

— Фройляйн Шарлотта, — напомнил Гарп. —

Пациентка доктора Тальхаммера.

— У него очень много пациентов, — сказала сестра, но список все же просмотрела, однако Гарп не знал настоящего имени Шарлотты и не нашел лучшего способа, как назвать ее профессию.

— Она была проституткой, — сказал он. — Проституткой.

Седовласая особа холодно посмотрела на него; если Гарп и не сумел заметить в ее взгляде ни малейшего торжества, то и сожаления он тоже не заметил.

— Проститутка умерла, — сказала она. Возможно, Гарпу просто показалось, будто в ее голосе сквозит торжество.

— Ах, meine Frau, — сказал он, — а ведь когда-нибудь и вы тоже умрете!

А вот это, думал он, покидая «Рудольфинерхаус», было сказано действительно по-венски. Ну и получай, старый серый город, старая ты, мертвая сука, думал он.

В тот вечер он впервые пошел в Оперу; к его удивлению, артисты пели по-итальянски, и поскольку он не понимал ни слова, то спектакль показался ему похожим на церковную службу. А после спектакля, уже поздним вечером, Гарп пешком направился к украшенным специальной

подсветкой шпилям собора Св. Стефана; южная башня собора, как он прочел на табличке, была заложена в середине XIV века, а закончена в 1439 году. Вена, думал Гарп, мертвый город… самый настоящий труп! Да и вся Европа, пожалуй, — просто красиво одетый труп в красивом открытом гробу. «Время человеческой жизни, — писал Марк Аврелий, — миг… судьба — загадочна…»

В таком настроении Гарп брел домой на Кернтнер-штрассе, когда навстречу ему попалась небезызвестная Тина. Глубокая оспина у нее на лбу в свете городских неоновых фонарей казалась зеленовато-синей.

— Добрый вечер, господин Гарп, — сказала она. — Хотите загадку?

И Тина объяснила, что Шарлотта купила Гарпу некий «подарок», который заключался в том, что Гарп мог заниматься любовью с Тиной и Вангой бесплатно и трахать их как вместе, так и по очереди. Вместе, заметила Тина, было бы даже интереснее и… быстрее. Но, может, они Гарпу вовсе не нравятся? — спросила она. Гарп признался, что Ванга действительно не в его вкусе; во-первых, они почти ровесники, а кроме того — хотя он никогда не сказал бы этого вслух в ее присутствии, — ему надоела ее история о том,

как и почему банка с майонезом раскроила ей в детстве губу.

— В таком случае ты можешь два раза переспать со мной! — весело предложила Тина. — Один сейчас, а один потом; учти, тебе ведь потребуется довольно много времени, чтобы перевести дыхание! А о Шарлотте забудь. — И Тина объяснила: ничего не поделаешь — смерть; такое со всеми случается. Но Гарп все же вежливо отклонил ее предложение.

— Ну, как хочешь. Все остается в силе, — сказала Тина. — Когда надумаешь — приходи. — Она ласково сжала его руку своими теплыми ладошками, но Гарп лишь с улыбкой поклонился ей — учтиво, совсем по-венски, — а потом зашагал домой к матери.

Он был даже рад той не очень сильной душевной боли, которую сейчас испытывал. Наслаждался своим глупым самоотречением — и, кстати, испытывал куда большее наслаждение, *воображая* свой секс с Тиной, чем обладая по-настоящему ее обильной пышной плотью. Серебристая вмятинка у нее на лбу была почти такой же величины, что и ее рот; и тогда вечером эта оспинка отчего-то показалась Гарпу похожей на маленькую приоткрытую могилу.

Состояние, которое смаковал сейчас Гарп, было, как оказалось впоследствии, преддверием долгожданного писательского экстаза, когда целый мир способен обрушиться от одной лишь неправильной интонации… все, относящееся к телу, подобно потоку, — вспомнил Гарп, — относящееся к душе — сновидению и дыму. Наступил июль, и Гарп наконец вернулся к работе над «Пансионом „Грильпарцер“». А его мать уже заканчивала рукопись своей книги, которой вскоре суждено было перевернуть обе их жизни.

В августе Дженни свою книгу закончила и объявила, что теперь и она готова путешествовать и наконец-то хоть что-то посмотреть в Европе — может быть съездить в Грецию.

— Давай просто сядем на поезд и поедем куда-нибудь, — предложила она сыну. — Я всегда хотела прокатиться на Восточном экспрессе. Кстати, какой у него маршрут?

— Из Парижа в Стамбул, по-моему, — сказал Гарп. — Но тебе придется ехать одной, мамочка. У меня слишком много работы.

Так на так — что ж, Дженни смирилась. Ей настолько осточертела собственная автобиография, что она даже не смогла заставить себя перечитать ее от начала до конца. И не знала, что ей теперь

с этой книгой делать. Неужели действительно можно просто приехать в Нью-Йорк и вручить историю своей жизни какому-то незнакомому издателю? Дженни очень хотела, чтобы книгу сперва прочитал Гарп, но не настаивала на этом, видя, что Гарп наконец-то с головой ушел в работу; она понимала, что в таком состоянии его лучше не беспокоить. Кроме того, она побаивалась огорчить его некоторыми подробностями своей жизненной истории, ибо значительная ее часть была и *его* жизненной историей.

Весь август Гарп упорно работал над финалом рассказа. Обеспокоенная Хелен писала Дженни: «Гарп что, умер? Будьте добры, сообщите подробности». У Хелен Холм всегда была ясная голова, подумала Дженни. И Хелен получила в ответ такое количество подробностей, на какое и не рассчитывала. А в придачу Дженни прислала ей копию своей рукописи с запиской, в которой говорилось, что это результат целого года упорного труда, а поскольку Гарп очень занят, то Дженни была бы очень благодарна Хелен, если та откровенно выразит свое мнение о «Сексуально подозреваемой». Возможно, спрашивала она также, кто-нибудь из преподавателей Хелен случайно знает, что полагается *делать* с закон-

ченной рукописью дальше?

Изредка отрываясь от работы, Гарп расслаблялся в венском зоопарке, который был частью обширной территории вокруг дворца Шёнбрунн. Гарпу казалось, что многие здания в зоопарке — оставшиеся после войны руины, лишь отчасти подремонтированные только затем, чтобы там можно было держать животных. Это создавало у Гарпа фантастическое ощущение, что, попадая в зоопарк, он попадает в Вену военных лет, и пробудило в нем интерес к этому периоду. Теперь перед сном он все время читал сугубо исторические работы, посвященные Вене при нацистах и во время советской оккупации. В каком-то смысле здесь просматривалась связь с темой смерти, которая преследовала его во время работы над «Пансионом „Грильпарцер“». Гарп обнаружил, что, когда что-нибудь сочиняешь, все вокруг представляется взаимосвязанным. Вена умирала; зоопарк после войны был восстановлен гораздо хуже, чем дома, где жили *люди;* история города походила на историю некоей семьи — в ней есть и близость, и даже любовь, но рано или поздно смерть отделяет всех и каждого друг от друга. Только яркость и стойкость памяти сохраняет мертвых вечно живыми. И задача писателя

— своим воображением, своим художественным вымыслом, своими личными и живыми чувствами оживить и личные воспоминания каждого читателя. Гарп физически ощущал дыры, оставленные автоматными очередями в каменных стенах дома на Швиндгассе.

Теперь он хорошо понимал, что означал сон бабушки Йоханны.

Он написал Хелен, что любому молодому писателю прямо-таки отчаянно необходимо жить с кем-то, и он решил, что ему необходимо жить с нею, Хелен. Можно даже *пожениться,* предложил он, потому что секс — вещь чрезвычайно важная и нужная, но слишком много времени уходит, если все время только и думать, как заполучить подходящего партнера! Стало быть, лучше иметь его всегда под рукой!

Хелен несколько раз переписывала свое ответное письмо, прежде чем наконец послала его Гарпу. А говорилось в ее письме примерно следующее: пошел он со своими идеями… куда подальше! Неужели он думает, что она так успешно учится и скоро закончит колледж только для того, чтобы обеспечивать ему удобный секс? Который он даже никак планировать не собирается?

Гарп ответил Хелен коротко и письмо свое пе-

речитывать вообще не стал. Он ведь уже писал ей, что слишком занят работой и не может тратить время на объяснения, скоро она прочтет то, над чем он сейчас работает, и тогда уж решит для себя, насколько он серьезен в своем намерении стать настоящим писателем и в своем предложении пожениться.

«Я не сомневаюсь, что ты вполне серьезен, — писала ему Хелен, — но в настоящий момент мне и без того приходится читать куда больше, чем хотелось бы».

Она не стала пояснять, что намекает на присланную Дженни рукопись, в которой было 1158 машинописных страниц. Хотя впоследствии Хелен и согласилась с Гарпом, что книга его матери отнюдь не шедевр, она не могла не признать, что история Дженни Филдз весьма ее увлекла.

Пока Гарп отделывал свою, куда более короткую рукопись, Дженни Филдз втайне обдумывала следующий шаг. Мучаясь неотвязным беспокойством, она как-то раз купила в одном из венских киосков американский журнал и прочитала там, что некий смелый нью-йоркский издатель из весьма известного издательского дома недавно отверг рукопись, предложенную бывшим членом правительства, человеком дурной репутации,

изобличенным в краже казенных денег. Книга представляла собой лишь слегка приукрашенное, так сказать художественно завуалированное описание весьма дурно пахнущих политических махинаций автора. «Это произведение во всех отношениях отвратительное — так цитировали высказывания данного издателя в журнале. — Этот человек вообще не умеет писать! С какой стати он еще и деньги будет зарабатывать на своем криминальном прошлом» (Книга, конечно же, была напечатана в другом месте и принесла как автору, так и издателю немалый доход.) «Иногда я чувствую, что просто обязан сказать „нет“, — продолжала цитировать смелого издателя та же статья, — даже если знаю, что кое-кому очень хочется читать подобное дерьмо». («Дерьмо», разумеется, получило несколько неплохих рецензий, написанных уважаемыми критиками, словно книга действительно была серьезная.) Дженни глубоко потряс поступок издателя, который дерзнул сказать «нет» сильным мира сего. Она даже вырезала эту статью из журнала и обвела имя издателя кружком — простое имя, почти как у какого-нибудь актера или героя детской книжки про зверюшек: Джон Вулф. В журнале была и фотография этого Джона Вулфа; похоже,

он весьма заботился о своей внешности, был отлично одет и выглядел как любой преуспевающий житель Нью-Йорка, где хорошая работа и хорошее чутье подсказывают, что безусловно стоит как можно лучше следить за собой и одеваться тоже как можно лучше. Но Дженни Филдз этот издатель показался сущим ангелом. И она решила: именно он будет *ее* издателем! Уж ее-то прошлое Джон Вулф наверняка не сочтет «криминальным» и непременно скажет, что она вполне заслуженно может на нем подзаработать.

Гарп же видел судьбу «Пансиона „Грильпарцер“» совершенно иначе. Рассказ этот, конечно, никогда особых доходов ему не принесет, он выйдет сперва в «серьезном» журнале, где его почти никто не прочтет. А через несколько лет, когда Гарп станет уже более известным писателем, рассказ опубликуют снова и отнесутся к нему с большим вниманием; о нем будет написано несколько весьма лестных отзывов, но при жизни Гарпа на деньги, которые он получит за «Пансион „Грильпарцер“», он не сможет купить даже приличную машину. Впрочем, Гарп ожидал от этого рассказа гораздо большего, чем деньги или машина. Он очень надеялся, что, прочитав его, Хелен Холм согласится с ним жить и, может

быть, даже выйдет за него замуж.

Закончив рассказ, он объявил матери, что хочет поехать домой повидаться с Хелен, а до того непременно пошлет ей копию своего рассказа, чтобы она успела его прочитать к тому времени, как он вернется в США. Бедная Хелен, подумала Дженни; уж она-то знала, сколько Хелен нужно еще прочитать. Дженни не очень приятно было слышать, что Гарп называет Стиринг «домом», однако она имела свои причины желать встречи с Хелен и не сомневалась, что Эрни Холм будет очень рад, если они погостят у него несколько дней. Ну и, естественно, про запас всегда оставалось родительское гнездо в Догз-Хэд-Харбор — туда они с Гарпом могли поехать в любое время, чтобы просто прийти в себя или подумать над дальнейшими планами.

Гарп и Дженни, одержимые своим писательством, даже не задумывались о том, почему уезжают, практически не повидав Европу. Дженни уложила в чемодан свои белоснежные медицинские халаты и приготовилась к отъезду. А у Гарпа из головы не шли «подарки», которые сделала ему перед смертью Шарлотта, сообщив о них через Тину.

Воображение Гарпа, разбуженное этими «по-

дарками», несколько мешало ему, когда он дописывал «Пансион „Грильпарцер“», но впоследствии он поймет, что потребности писателя и потребности реальной жизни отнюдь не всегда совпадают. Мысли о «подарках» Шарлотты мешали ему писать рассказ; теперь же, когда рассказ был закончен, ему захотелось повидаться с Тиной. Он отправился на Кернтнерштрассе, однако Ванга, молоденькая шлюха со шрамами на губе, сказала на своем ломаном английском, что Тина давно перебралась из первого района.

— Так оно обычно и бывает, — грустно сказала Ванга. — Забудь Тину.

И Гарп вдруг обнаружил, что действительно легко может забыть ее; «плотское вожделение», как называла это его мать, оказалось совершенно непредсказуемым. К тому же со временем его неприязнь к Ванге несколько смягчилась; теперь она, несмотря на изуродованную губу, ему, пожалуй, даже нравилась. Так что именно ее он в итоге и получил; и даже дважды, а потом всю жизнь только утверждался во мнении, что почти все на свете приносит разочарование писателю после того, как он закончит писать очередное произведение.

В Вене Гарп и Дженни провели пятнадцать

месяцев. Вновь наступил сентябрь. Гарпу и Хелен было всего по девятнадцать, и очень скоро Хелен предстояло опять вернуться в свой колледж. Пока самолет летел из Вены до Франкфурта, легкие уколы совести, которые Гарп ощущал почти физически (это уходили воспоминания о Ванге), тихо и незаметно прекратились. А когда он думал о Шарлотте, ему казалось, что она была бы счастлива. В конце концов, ей-то не пришлось не по своей воле убираться из первого района.

Из Франкфурта они полетели в Лондон, и по дороге Гарп еще раз перечитал «Пансион „Гриль-парцер“», надеясь, что этот рассказ Хелен не отвергнет. А во время перелета из Лондона в Нью-Йорк его рассказ читала Дженни. Сравнивая рассказ сына с тем, что *сама* делала больше года, Дженни была просто потрясена. Рассказ Гарпа казался ей чем-то нереальным, и особенно она восхищалась воображением сына. Впрочем, литературный вкус Дженни никогда не отличался совершенством.

Через несколько лет Дженни Филдз скажет, что рассказ в точности такой, какого и следовало ожидать от мальчика, не имевшего ни нормальной семьи, ни нормального воспитания.

Возможно, она была права. А Хелен позднее

сделает вот какой вывод: именно благодаря заключительной части рассказа «Пансион „Грильпарцер“» мы можем краешком глаза увидеть мир глазами Гарпа.

ПАНСИОН «ГРИЛЬПАРЦЕР»

(заключительная часть)

За завтраком в пансионе «Грильпарцер» мы дружно напустились на господина Теобальда: дескать, зверинец, принадлежавший каким-то другим его постояльцам, совершенно не дал нам ночью нормально выспаться. Я отчетливо (как никогда прежде) понимал, что на сей раз мой отец все-таки сообщит напрямую, что является инспектором Австрийского туристического бюро.

— Во-первых, тут кто-то ходит на руках! — сказал отец.

— И заглядывает под дверь уборной! — подхватила бабушка.

— Вон тот! — И я указал на маленького мрачного человечка, сидевшего за угловым столиком в окружении свой «свиты» — рассказчика снов и венгерского певца.

— Но этим он себе на жизнь зарабатывает! — воскликнул господин Теобальд, и, словно в

подтверждение, тот человек сразу же встал на руки и несколько раз прошелся перед нами.

— Пожалуйста, пусть он перестанет, — сказал отец. — Мы уже знаем, что это он делать умеет.

— А вы знаете, что он и не умеет ходить иначе? — спросил вдруг рассказчик снов. — Вам известно, что ноги у него абсолютно не действуют? Что у него нет берцовых костей? Это же *замечательно,* что он вообще способен ходить — хотя бы и на руках! Иначе он бы совсем не мог передвигаться.

И тот человек, стоя на руках, утвердительно закивал, хотя это было явно непросто в таком положении.

— Пожалуйста, сядьте, — сказала мама.

— Ну что ж, ничего особенно страшного в том, что он калека, нет, — изрекла бабушка. — Но вы, — она повернулась к рассказчику снов, — безусловно дурной человек! Вам ведомы такие вещи, знать которые вы не имеете ни малейшего права! Он знал *мой сон!!!* — сообщила она господину Теобальду так, словно докладывала о краже.

— Ну да, он, может, чуток и дурной, это точно, — согласился господин Теобальд, — но не всегда! В последнее время он ведет себя значительно лучше. К тому же он ведь не виноват, что знает.

— Я просто хотел немного вас подбодрить, — сказал рассказчик снов бабушке. — Думал, это пойдет вам на пользу. Ведь муж ваш давно умер, и вам, в конце концов, пора перестать придавать этому сну столь большое значение. К тому же вы не единственная, кому такой сон снился.

— Прекратите немедленно! — возмутилась бабушка.

— Но мне кажется, вам все же следует это знать, — сказал рассказчик снов.

— Ах, пожалуйста, помолчи! — попросил господин Теобальд.

— Я представитель Австрийского туристического бюро, — провозгласил вдруг мой отец (возможно, он просто не знал, как еще обратить на себя внимание).

— О господи! — воскликнул господин Теобальд.

— Теобальд ни в чем не виноват, — тут же вмешался певец. — Это все *наша* вина. Он терпит нас по доброте душевной, хотя и рискует своей репутацией.

— Видите ли, это мужья моей сестры, — стал объяснять Теобальд. — Они — *семья.* Что же я могу с этим поделать?

— Что значит «мужья» вашей сестры? — в ужа-

се спросила моя мать.

— Ну, сперва она вышла замуж за меня, — сказал рассказчик снов.

— А потом услышала, как я пою! — сказал певец.

— Но тот, третий, никогда ее мужем не был, — сказал Теобальд, и все сочувственно посмотрели на человека, который мог ходить только на руках. — Все они были когда-то цирковыми артистами, однако же политика довела их до беды!

— Мы были лучшими в Венгрии, — прибавил певец. — Вы когда-нибудь слышали о цирке «Сольнок»?

— Боюсь, никогда, — совершенно серьезно ответил отец.

— Мы выступали в Мишкольце, в Сегеде, в Дебрецене, — сказал рассказчик снов.

— В Сегеде — *дважды.* — поправил его певец.

— Наверняка и в Будапеште бы выступили, если б не русские, — сказал человек, который ходил на руках.

— Кстати, это русские лишили его берцовых костей! — заметил рассказчик снов.

— Нет, если по правде, — вмешался певец, — он без берцовых костей и родился. Но с русскими мы поладить не сумели, что верно, то верно.

— Еще бы, они хотели посадить в тюрьму нашего медведя! — воскликнул рассказчик снов.

— Не выдумывай! — строго сказал ему Теобальд.

— Мы спасли от русских сестру Теобальда, — пояснил человек, который ходил на руках.

— Ну и я, разумеется, не могу не помочь им, — сказал Теобальд. — И они стараются изо всех сил. Но скажите, кому в нашей стране интересны представления циркачей? Да еще венгерских. Здесь, например, даже в цирке медведь никогда на одноколесном велосипеде кататься не будет! А чертовы сны для нас, венцев, и вовсе ничего не значат.

— Если по правде, — сказал рассказчик снов, — я просто не те сны рассказывал. Мы работали в одном ночном клубе на Кернтнерштрассе, а потом нас оттуда прогнали.

— Во всяком случае, *тот* сон тебе рассказывать не следовало, — мрачно заметил певец.

— Ну, за *тот* сон и твоя жена, между прочим, тоже несла ответственность! — возразил рассказчик снов.

— Она тогда была *твоей* женой! — парировал певец.

— Пожалуйста, прекратите! — умоляющим

тоном воскликнул Теобальд.

— Потом мы стали делать воздушные шарики для больных детишек, — продолжил свой рассказ сновидец. — И даже получали заказы от некоторых государственных больниц — особенно в Рождество.

— Вы бы лучше побольше времени уделяли своему медведю! — вставил господин Теобальд.

— Об этом ты со своей сестрой говори, — сказал певец. — Это же *ее* медведь — она его воспитывала, учила и баловала, отсюда и лень, и хулиганство, и дурные привычки.

— Но он единственный, кто никогда надо мной не подшучивает, — сказал человек, который мог ходить только на руках.

— С меня довольно, — резко сказала вдруг наша бабушка. — Я бы предпочла немедленно покинуть это «общество». Слишком тяжелое испытание для меня, старой женщины.

— Ах, милая дама! Пожалуйста, простите нас! — воскликнул господин Теобальд. — Мы ведь только хотели объяснить вам, что у нас и в мыслях не было ничего дурного. Времена сейчас такие трудные! Чтобы как-то привлечь туристов, мне очень нужна категория В! Но я, увы, не могу — сердце не велит! — выгнать за порог этих

циркачей!

— Ах ты задница! Сердце ему не велит! — рассердился рассказчик снов. — Да он просто сестры своей боится. Ему и во сне присниться не может, что он нас на улицу выбрасывает!

— А если б ему это приснилось, ты бы сразу узнал! — выкрикнул человек, который ходил на руках.

— Я боюсь вашего медведя! — нервно выкрикнул господин Теобальд. — Ведь эта скотина по приказу моей сестры все что угодно сделать может!

— Говори о нем уважительно, — посоветовал Теобальду человек, который ходил на руках. — Это отличный медведь! И он в жизни еще никого не тронул. У него ведь даже когтей нет, и ты это прекрасно знаешь! У него и зубов-то всего несколько штук осталось.

— Да, ему, бедняге, есть трудновато, — признал господин Теобальд. — Старый уже, неряшливый, да и соображает не очень.

Я видел через плечо отца, как он пишет в своей тетради: «Неухоженный медведь в угнетенном состоянии; безработная цирковая труппа, центром которой является сестра хозяина пансиона».

И тут все мы увидели, как сестра Теобальда

прогуливается по тротуару со своим медведем. В такую рань улица была практически безлюдна. Разумеется, она вела медведя на поводке, как полагается, но поводок был чисто символический. В своем потрясающем красном тюрбане она быстро ходила по тротуару, стараясь поспеть за ленивыми движениями медвежьих лап, вращавших педали одноколесного велосипеда. Зверюга ездил от одного парковочного счетчика до другого и поворачивал обратно, иногда при повороте опираясь лапищей на столбик со счетчиком. Медведь был явно очень талантлив и виртуозно владел велосипедом, тут ничего не скажешь, но одноколесный велосипед определенно являлся для него пределом, и сразу становилось ясно, что дальше в своих трюках он уже не пойдет.

— Господи, хоть бы она поскорей убрала его с улицы! — заволновался господин Теобальд. — Соседи, хозяева кондитерской, жалуются, говорят, что медведь отпугивает покупателей.

— А по-моему, наш медведь только *привлекает* покупателей! — возразил человек, который ходил на руках.

— Кого-то, может, и привлекает, а кого-то отпугивает. — Рассказчик снов вдруг помрачнел, словно подавленный бездонной глубиной соб-

ственной души.

Мы настолько увлеклись циркачами и их рассказами, что совершенно забыли о старой Йоханне. Наконец мама заметила, что Йоханна тихо плачет, и велела мне подогнать машину.

— Для нее это, пожалуй, чересчур, — шепнул мой отец Теобальду. Сами же циркачи выглядели так, словно им было безумно за себя стыдно.

Когда я вышел на тротуар, ко мне тут же подъехал медведь и вручил ключи от аккуратно припаркованной у тротуара машины.

— Не всякому понравится, когда ему таким вот образом вручают ключи от собственной машины, — ядовито заметил господин Теобальд сестре.

— Да? А мне показалось, ему это должно понравиться, — сказала та, ероша мне волосы.

Она действительно производила вполне приятное впечатление, я бы сказал, на манер барменши — то бишь вечером она выглядела гораздо привлекательнее; при свете дня я сразу увидел, что она значительно старше не только своего брата, но и обоих своих мужей. Со временем, подумалось мне, она перестанет быть этим мужчинам женой и сестрой и станет им всем матерью. Как уже стала матерью своему медведю.

— Поди-ка сюда, — сказала она ему. Медведь послушно подъехал к ней и остановился, придерживаясь за парковочный счетчик. Потом лизнул стеклянный циферблат, и хозяйка дернула его за поводок. Медведь вопросительно посмотрел на нее, она дернула снова. Медведь неохотно принялся крутить педали — сперва в одну сторону, потом в другую. Похоже, он встряхнулся и повеселел, оттого что появились зрители. Теперь он как бы «выступал» на арене.

— Не вздумай что-нибудь выкинуть, — сказала ему сестра Теобальда, но медведь крутил педали все быстрее и быстрее, проезжая то вперед, то назад и резко поворачивая, так что хозяйке пришлось выпустить поводок. — Дуна, немедленно прекрати! — крикнула она, но медведь уже окончательно разгулялся и слушаться не желал. В итоге он проехал слишком близко от тротуара и врезался в бампер припаркованной машины, а потом сел на тротуар, положив рядом велосипед. Он явно не ушибся, но вид у него был такой печальный и растерянный, что никто не засмеялся.

— Ох, Дуна! — укоризненно сказала хозяйка, но все же подошла и присела рядом на корточки. — Ну что же ты, Дуна? — мягко упрекнула она его.

Медведь только покачал своей огромной башкой, не решаясь посмотреть на нее. По морде у него текли слюни, и женщина вытерла их рукой. Он лапой оттолкнул ее руку.

— Приезжайте еще! — жалким голосом крикнул господин Теобальд, когда мы садились в машину.

Мы тронулись с места. Мама сидела закрыв глаза, растирая пальцами виски и словно бы не слыша наших разговоров. Она всегда уверяла нас, что в поездках это ее единственная защита от пререканий такой сварливой семейки, как наша.

Мне вовсе не хотелось докладывать о том, как содержали нашу машину, но я видел, что отец стремится восстановить порядок и спокойствие и уже раскрыл свою гигантскую тетрадь, словно мы только что закончили инспектирование самого обычного пансиона.

— Что там у нас на счетчике? — спросил он.

— Лишних тридцать пять километров, — сказал я.

— Я уверена, в машине был этот ужасный медведь! — заявила бабушка. — На заднем сиденье клочья шерсти, и я отлично чувствую его мерзкий *запах.*

— Странно, я никакого запаха не чувствую, —

сказал отец.

— И еще запах той цыганки в тюрбане! — сердито продолжала бабушка. — Эта вульгарная вонь прямо-таки висит в воздухе!

Мы с отцом принюхались. Мать продолжала массировать виски.

На полу возле педалей газа и тормоза я заметил несколько зеленоватых зубочисток, которые вечно торчали в уголке рта у венгерского певца, отчего казалось, что у него там шрам. Я промолчал. Господи, можно себе представить, как они были счастливы, когда прокатились по городу на нашей машине! Певец за рулем, человек, что ходил на руках, с ним рядом — помахивая прохожим ногой из окна. А на заднем сиденье, между рассказчиком снов и его бывшей женой, касаясь огромной башкой потолка и сложив искалеченные лапы на коленях, покачивался старый медведь, похожий на добродушного пьяницу.

— Ах, несчастные люди! — проговорила мама, не открывая глаз.

— Лжецы и преступники! — возразила бабушка. — Мистики и дезертиры! И еще у них совершенно испорченные животные!

— Они старались изо всех сил, — сказал отец. — Но где им было угнаться за инфляцией!

— Вот и отправлялись бы все вместе в зоопарк, — не сдавалась бабушка.

— А я отлично время провел! — сказал Робо.

— Вообще-то вырваться из категории *C* очень трудно… — робко начал я.

— Какая там категория *C*. Они давно скатились в категорию *Z*! — заявила старая Йоханна. — Исчезли за пределами алфавита.

— По-моему, об этом следует написать, — вставила мама.

Но тут отец поднял руку — таким жестом, словно собирался нас благословить, — и мы умолкли. Он быстро писал в тетради и хотел, чтобы ему не мешали. Лицо у него было суровое. Я видел: бабушка абсолютно уверена в том, какой вердикт он вынесет. Мать по опыту знала, что спорить с отцом бесполезно. Робо уже надулся, готовясь зареветь. Я медленно вел машину по узеньким улочкам — сперва по Шпигельгассе, потом выехал на Лобковицплац. Шпигельгассе такая узкая, что хорошо видно отражение машины в витринах, мимо которых проезжаешь. Меня не оставляло ощущение, что наша замедленная поездка по улицам Вены была кем-то задумана заранее — мы ехали так неторопливо и безмолвно, будто совершали сказочное путешествие по

игрушечному городу, которое снимают на кинопленку.

Когда усталая бабушка уснула в машине, мать осторожно заметила:

— Вряд ли в данном случае изменение категории в ту или иную сторону имеет какое-то особое значение, да?

— Да, — сказал отец, — почти никакого.

И он оказался совершенно прав. Но прошло немало лет, прежде чем я снова увидел пансион «Грильпарцер».

Когда бабушка Йоханна умерла — внезапно, во сне, — мать заявила, что устала от путешествий. Однако истинной причиной была не усталость, а то, что бабушкин сон теперь стал преследовать ее. «Лошади так исхудали, — говорила она мне как-то, — то есть я всегда знала, что они худые, но не *настолько.* И воины тоже… я знала, что они жалкие и несчастные, но… *не такие…*»

Отец уволился из туристического бюро и подыскал себе работу в местном сыскном агентстве, специализирующемся на гостиницах и магазинах. Для него это была вполне приличная работа, хотя в рождественские каникулы он работать отказывался — говорил, что под Рождество некоторым людям необходимо позволить хоть

немножко украсть.

С годами мои родители как будто бы стали спокойнее относиться к жизни и ее неумолимым законам, и я видел, что на склоне дней они вполне счастливы. Я понимал, что силу воздействия бабушкиного сна на маму несколько приглушили реальные события и особенно то, что случилось с Робо. Мой брат поступил в частную школу, очень хорошо там учился и имел много друзей, но на первом курсе университета был убит самодельной бомбой. Он и политикой-то не интересовался. В последнем письме к родителям он писал: «Серьезность намерений студенческих радикальных фракций сильно преувеличена. А кормят здесь просто отвратительно…» Не дописав это предложение, Робо пошел на лекцию по истории, и вся аудитория взлетела на воздух.

После смерти родителей я бросил курить и снова увлекся путешествиями. В пансион «Грильпарцер» я приехал со своей второй женой. С первой я никогда до Вены не добирался.

К сожалению, пансион недолго удерживал присвоенную тогда отцом категорию *B* и к тому времени, как я туда приехал, почти совсем не котировался. Теперь там заправляла сестра господина Теобальда. Ее дешевая привлекательность

сменилась бесполым цинизмом, свойственным порой незамужним тетушкам. Она превратилась в бесформенную тушу, а волосы выкрасила в бронзовый цвет, так что голова ее напоминала медную мочалку, которой драят кастрюли. Меня она, разумеется, совершенно не помнила и с большим подозрением отнеслась к моим расспросам и к тому, что я, как ни странно, так много знаю о ее прошлом и о близких ей людях; должно быть, она решила, что я из полиции.

Венгерский певец давно уехал — с новой женой, пленившейся его голосом. Рассказчика снов *забрали* — в психушку. Его собственные сны обернулись сплошным кошмаром, и каждую ночь он будил весь пансион воплями и леденящим душу воем. Он исчез отсюда практически в то же время, когда пансион навсегда утратил категорию *B*.

Господин Теобальд умер. Упал, схватившись за сердце, прямо в холле, куда вышел однажды ночью, чтобы проверить, не вор ли к ним забрался. Увы, это был всего лишь Дуна, брюзгливый медведь, одетый в полосатый костюм рассказчика снов. Зачем сестра Теобальда одела медведя именно так, она мне объяснять не стала, но при виде мрачного зверя, который катался по коридору на своем одноколесном велосипеде в одежде

сновидца, господин Теобальд испытал такой ужас, что мгновенно испустил дух.

Человек, который умел ходить только на руках, тоже попал в ужасную беду. Зацепившись наручными часами за ступеньку эскалатора, он не сумел сразу с него соскочить; и как назло, он был в галстуке, хотя вообще-то носил его крайне редко, ведь галстук волочился по земле (он же ходил только на руках), — вот этот галстук и затянуло под эскалатор, а его хозяина задушило. На эскалаторе потом выстроилась целая очередь: люди топтались на месте, все время отступая на одну ступеньку, пока у кого-то не хватило смелости просто перешагнуть через мертвого. На свете, оказывается, есть множество ненамеренно жестоких механизмов, которые просто не приспособлены для людей, способных ходить только на руках.

С тех пор, рассказала мне сестра Теобальда, пансион «Грильпарцер», утратив категорию *С,* стал опускаться все ниже. Управлять пансионом в одиночку становилось все труднее, и у нее оставалось все меньше времени для Дуны, а медведь как раз начал впадать в старческий маразм и обзавелся весьма дурными привычками. Однажды он, например, вздумал преследовать почтальона

и понесся вниз по мраморной лестнице с таким свирепым видом и с такой скоростью, что несчастный почтальон, спасаясь бегством, упал и сломал себе бедро. О нападении медведя на человека тут же доложили куда следует, и Дуне запретили разгуливать на свободе.

Некоторое время сестра Теобальда держала его в клетке во дворе, но там его буквально изводили собаки и дети. Кроме того, из квартир, что выходили во двор, ему швыряли в клетку не только испорченную пищу, но и кое-что похуже. Дуна и на медведя-то перестал походить, настолько он стал хитер — например, только притворялся, что спит, а на самом деле вполне успешно подкарауливал и ловил кошек. Дважды его пытались отравить, и он стал вообще бояться еды — уж больно враждебным было его окружение. Выбора у хозяйки не оставалось — только подарить медведя Шёнбруннскому зоопарку, но и тут имелись известные сомнения и трудности. Дуна был уже старый, беззубый и больной, может, даже заразный, а кроме того, долгая жизнь среди людей, которые обращались с ним как с человеком, отнюдь не подготовила его к более спокойной, но совершенно иной жизни в зоопарке.

Вдобавок необходимость спать в клетке во

дворе пансиона вызвала у Дуны обострение ревматизма, так что единственное его развлечение — катание на одноколесном велосипеде — стало невозможным. При первой же попытке прокатиться на велосипеде в зоопарке он сразу упал, и кто-то из зрителей засмеялся. А если кто-то смеялся над тем, что делает Дуна, объяснила мне сестра Теобальда, он никогда уже не возвращался к этому трюку. В конце концов его оставили в зоопарке просто из милости; там он и умер — всего через два месяца после того, как его туда поместили. По мнению сестры Теобальда, он «умер от унижения», ведь из-за какой-то сыпи, покрывшей могучую грудь медведя, его пришлось побрить. А выбритый медведь, как уверял ее один сотрудник зоопарка, всегда испытывает смертельное унижение.

В холодном дворе пансиона я увидел пустую медвежью клетку и заглянул внутрь. Птицы не оставили там даже фруктовых зернышек, но в углу все еще громоздилась целая гора окаменелого медвежьего помета — столь же безжизненного и лишенного запаха, как тела тех, кого застигло врасплох извержение вулкана в Помпее. Я не мог не вспомнить о Робо: от медведя все-таки осталось значительно больше.

Сев в машину, я помрачнел еще больше, заметив, что на этот раз ни одного лишнего километра на счетчике не появилось, никто на машине тайком не катался. Здесь не осталось никого, кто мог бы позволить себе подобные вольности.

— Когда мы отъедем подальше от твоего драгоценного пансиона, — сказала мне моя вторая жена, — ты, надеюсь, все-таки объяснишь мне, зачем мы тащились в эту дыру?

— Это долгая история, — честно сознался я.

А думал я о том, как до странности мало и энтузиазма, и горечи испытывает сестра Теобальда к окружающему миру. В рассказанной ею истории сквозили ровная скука и категоричность, которые свойственны обычно рассказчикам, привыкшим к несчастливым концовкам. Казалось, эта женщина никогда не считала свою жизнь и жизнь своих товарищей-циркачей достаточно яркой; можно подумать, что они только и стремились — прилежно и тупо, точно приговоренные к наказанию и желающие исправиться, — непременно получить для своего пансиона пресловутую категорию *С.*

7. Всплеск «плотского вожделения»

И она вышла-таки за него замуж! Сделала то, о чем он просил! Хелен нашла, что для начала это очень хороший рассказ. И старому Тинчу рассказ тоже понравился. «В нем так много б-б-безумия и п-п-печа-ли», — сказал он Гарпу и посоветовал послать рассказ в свой любимый литературный журнал. И лишь через три месяца Гарп наконец получил оттуда следующий ответ:

> Сюжет представляется малоинтересным; рассказ не блещет новизной ни по форме, ни по языку. Тем не менее большое спасибо, что прислали его нам для ознакомления.

Озадаченный Гарп показал это послание Тинчу. Тинч тоже призадумался.

— Возможно, их интересуют только н-н-новейшие формы прозы? — сказал он неуверенно.

— Какие же? — спросил Гарп.

Тинч признался, что и сам толком не знает.

— Насколько я понимаю, новые художествен-

ные направления прежде всего заинтересованы в необычном языке и ф-ф-форме, — сказал Тинч. — Но я никак не могу понять, в чем тут суть и о чем говорит такая литература. Иногда, по-моему, исключительно о с-с-самой с-с-себе.

— О самой себе? — переспросил Гарп.

— Ну да. Есть такая разновидность литературы… — пояснил Тинч.

Гарп ничего не понял, но для него гораздо важнее было, что рассказ понравился Хелен.

Почти пятнадцать лет спустя, когда Гарп опубликовал свой третий роман, тот же самый редактор из любимого журнала Тинча опубликовал открытое письмо Гарпу. И письмо это, надо сказать, было весьма лестным, содержало массу похвал в адрес автора, а также предложение непременно создать еще «что-нибудь новенькое» для публикации в этом самом журнале, столь любимом Тинчем. Но Т.С. Гарп был злопамятен, как барсук. Он отыскал ту старую записку с отказом, где его рассказ о пансионе «Грильпарцер» назывался «малоинтересным»; она была сплошь в коричневых кофейных пятнах и уже начала рваться на сгибах, столько раз ее свертывали и развертывали, но Гарп все же приложил ее к письму, которое написал редактору столь люби-

мого Тинчем журнала. В письме говорилось:

> Ваш журнал представляется мне малоинтересным, и я по-прежнему стараюсь особенно не экспериментировать ни с языком, ни с формой своих произведений. Тем не менее большое спасибо за предложение.

Глупое «эго» Гарпа упорно запоминало все обиды и оскорбления, а также отказы печатать его работы. К счастью, Хелен и сама обладала весьма сильным, даже каким-то свирепым «эго» и весьма высоко себя ценила; иначе она в итоге просто возненавидела бы Гарпа. А так им, можно сказать, повезло: они были счастливы. Многие супружеские пары, прожив вместе много лет, к своему ужасу, вдруг «открывают», что не любят друг друга; некоторым же так и не дано этого понять. Другие женятся по взаимной любви, и подобная «новость» обрушивается на них в самый неподходящий момент жизни. В сущности, Гарп и Хелен едва знали друг друга, но у каждого было достаточно развито чутье, и они, в своем упрямстве и осмотрительности, по-настоящему влюбились друг в друга лишь через некоторое время после того, как поженились.

Возможно, потому, что каждый из них был поглощен строительством собственной карьеры, они не слишком вникали в свои взаимоотношения. Хелен за два года закончила колледж и уже в двадцать три года получила докторскую степень по английской литературе, а в двадцать четыре — место ассистент-профессора в женском колледже. Гарпу потребовалось пять лет, чтобы закончить первый роман, однако книга получилась хорошая, создавшая ему вполне прочную репутацию, что для молодого писателя особенно ценно, хотя особых доходов роман этот ему не принес. В то время деньги для всей семьи зарабатывала Хелен. А пока Хелен училась и Гарп писал свой роман, финансовые вопросы молодой семьи решала Дженни.

Книга Дженни, впервые прочитанная еще в рукописи, произвела на Хелен куда более сильное впечатление, чем на Гарпа, который, в конце концов, всю жизнь жил рядом с Дженни, свыкся с ее эксцентричностью и воспринимал как нечто обыденное. Однако и Гарп был потрясен — успехом, который книга Дженни имела у читателей. Он никак не рассчитывал, что станет публичной фигурой, главным действующим лицом в чужой книге, не написав еще ни одной собственной.

Издатель Джон Вулф навсегда запомнил то утро, когда впервые встретился у себя в кабинете с Дженни Филдз.

— Там какая-то медсестра к вам пришла, — округлив от удивления глаза, сообщила ему секретарша — словно за этим могло последовать, например, пикантное сообщение о неожиданном отцовстве босса. Джон Вулф и его секретарша не знали и не могли знать, что чемоданчик у Дженни Филдз такой тяжелый от рукописи в 1158 машинописных страниц.

— Это обо мне, — сказала она Джону Вулфу, открывая чемоданчик и выгружая на его письменный стол толстенный манускрипт. — Когда вы смогли бы это прочитать? — И Джону Вулфу показалось, что она твердо намерена остаться в его кабинете до тех пор, *пока он это не прочитает.* Он пробежал глазами первое предложение про «мир с грязной душой» и подумал: Господи, как бы мне от этой особы отделаться?

Позднее, правда, он даже испугался, когда не сразу отыскал номер ее телефона, чтобы сказать ей: да! Конечно же, они *это* непременно опубликуют! Откуда ему было знать, что Дженни Филдз гостила в Стиринге у Эрни Холма и Эрни проговорил со своей дорогой гостьей всю ночь, да и потом

каждую ночь они говорили допоздна (обычное родительское беспокойство, разумеется, когда родители внезапно узнают, что их девятнадцатилетние дети собрались пожениться).

— Куда они могут ходить каждый вечер? — спрашивала Дженни. — Они же возвращаются домой не раньше двух-трех часов ночи! Вчера, например, всю ночь еще и дождь шел. А у них ведь даже машины нет.

Они ходили в борцовский спортзал. У Хелен был свой ключ от зала, а мягкие маты на полу показались обоим настолько же удобными и привычными, как собственная постель. Да и куда более просторными.

— Они говорят, что хотят иметь детей, — жаловался Эрни. — Хелен в таком случае придется бросить занятия.

— А Гарп никогда не закончит ни одной книги, — горестно подхватывала Дженни. Ведь ей-то самой пришлось целых восемнадцать лет ждать, чтобы *начать* писать.

— Ничего, работать они оба умеют, тут ничего не скажешь! — подбадривал Эрни себя и Дженни.

— Но им придется работать еще больше, — говорила Дженни.

— Я не понимаю, почему они не могут просто жить вместе, — говорил Эрни. — А потом, если все пойдет хорошо, можно и пожениться, и ребенка завести.

— А я вообще не понимаю, зачем одному человеку жить с другим! — откровенно заявила Дженни. Эрни с легкой обидой возразил:

— Но тебе же нравится жить вместе с Гарпом? А мне нравится жить с Хелен. И я очень скучаю, когда она уезжает в колледж.

— Это все плотское вожделение! — грозно возвестила Дженни. — Наш мир болен плотским вожделением!

Эрни встревожился; он еще не знал, что благодаря подобным высказываниям Дженни скоро станет богатой и знаменитой.

— Хочешь пива? — спросил он.

— Нет, спасибо, — отвечала Дженни.

— Они хорошие ребята, — напомнил ей Эрни.

— Но в конце концов плотское вожделение поглощает все души, — мрачно заявила Дженни Филдз, и Эрни Холм деликатно вышел на кухню и там выпил в одиночестве еще бутылочку пива.

Более всего ошеломил Гарпа в книге матери именно пассаж о «плотском вожделении». Одно дело быть сыном знаменитой писательницы,

рожденным в брачном союзе, и совсем другое — быть знаменитым «случаем», воплощенной в жизнь потребностью юного организма. Дженни буквально вывернула его жизнь наизнанку; даже его личные отношения с проституткой выставила на всеобщее обозрение. Хелен считала, что это очень забавно, но призналась, что не понимает его тяги к проституткам.

«Плотское вожделение заставляет даже лучших из людей вести себя вопреки собственным убеждениям и собственному характеру», — писала Дженни Филдз. Эти ее слова приводили Гарпа прямо-таки в ярость.

— Да какого черта она-то пишет об этом! Что она-то об этом знает? — орал он. — «Плотское вожделение»! Да ведь она его никогда не испытывала, ни разу в жизни! Ничего себе — авторитет! Все равно что растение, описывающее мотивы поведения млекопитающих!

Впрочем, другие рецензенты были к Дженни куда добрее. Хотя некоторые серьезные журналы порой и упрекали ее за недостаточно высокий уровень мастерства, но в целом критики приняли ее книгу очень тепло. «Первая по-настоящему феминистская автобиография, которая искренне прославляет один способ жизни и столь же ис-

кренне отвергает и порицает другой», — написал один из них. «Смелая книга Дженни Филдз веско заявляет о том, что женщина может прекрасно прожить без какой бы то ни было сексуальной привязанности вообще», — говорилось в другой рецензии.

— В наши дни, — сразу предупредил Дженни Джон Вулф, — тебя либо воспримут как верный голос в нужное время, либо отвергнут как полную чушь.

Дженни Филдз восприняли как «верный голос в нужное время», и все же, сидя в своем белом сестринском халате за столиком ресторана, куда Джон Вулф водил только самых своих любимых писателей, она чувствовала неловкость при слове *феминизм.* Она толком не понимала значения этого термина, но само *слово* отчего-то напоминало ей о женской гигиене и «ирригаторе Валентайна». В конце концов, она получила медицинское образование, была опытной медсестрой. И потому всего лишь робко сказала, что, думается, сделала правильный выбор, прожив свою жизнь именно так, а поскольку ее выбор популярным не назовешь, она почувствовала, что необходимо сказать что-то и в его защиту. По иронии судьбы, среди множества молодых женщин из универси-

тета штата Флорида в Таллахасси идеи Дженни приобрели огромную популярность; возникло даже некое течение «женщин-одиночек», которые беременели, но замуж выходить не желали. Немного спустя этот синдром получил в Нью-Йорке название «дженни-филдзовского». Но Гарп всегда именовал его «грильпарцерским». Что до Дженни, то она знала только одно: женщины — как и мужчины — должны, по крайней мере, иметь возможность самостоятельно решать, как прожить свою жизнь, а если это превращает ее, Дженни, в феминистку, значит, так оно и есть.

Джон Вулф очень симпатизировал Дженни и изо всех сил старался предостеречь ее, ибо она могла просто не понять тайного смысла нападок и похвал, которые обрушивались на ее книгу. Однако Дженни так никогда и не уразумела, сколь «политически заряженной» оказалась ее «Сексуально подозреваемая».

«Меня учили ухаживать за больными, — говорила она впоследствии в одном из своих обезоруживающе искренних интервью. — Я сама выбрала эту профессию и по-настоящему увлеклась своей работой. Она казалась мне чрезвычайно полезной и важной, ведь замечательно, когда здоровый человек — а я всегда была здо-

ровой — помогает людям нездоровым, которые сами себе помочь не могут. Думаю, именно поэтому мне и книгу написать захотелось».

Гарп, например, считал, что его мать до конца жизни оставалась настоящей сестрой милосердия. Она все время опекала его, пока они жили в Стиринг-скул; она сама выпестовала странноватую историю своей жизни; и, наконец, она без устали помогала женщинам, у которых были различные проблемы. Она стала знаменитой личностью, и многие женщины искали ее совета. Неожиданный успех «Сексуально подозреваемой» открыл Дженни Филдз, что огромное множество женщин стоит перед необходимостью выбрать, как им жить дальше; и, вдохновленные примером Дженни, они зачастую принимали весьма нетрадиционные решения.

В этот период Дженни Филдз запросто могла бы начать вести колонку «Советы женщинам» в любой газете, но она решила, что писательства с нее довольно, — как когда-то решила, что с нее довольно образования и довольно Европы. А вот ухаживать за кем-то, быть сиделкой, сестрой милосердия, советчицей она была готова всегда. Ее отца, обувного короля, «Сексуально подозреваемая» так потрясла, что он в одночасье умер

от инфаркта. Правда, мать никогда не винила книгу Дженни в этой трагедии — Дженни тоже никогда себя не винила, — но обе понимали, что миссис Филдз не сможет жить одна. В отличие от своей дочери, мать Дженни привыкла жить в окружении большого семейства, а теперь она к тому же стала стара и нуждалась в присмотре. Дженни часто с грустью думала, как мать, шаркая ногами, бесцельно бродит по огромным комнатам дома в Догз-Хэд-Харбор, утратив со смертью мужа последнюю жизненную зацепку.

И Дженни отправилась ухаживать за ней; именно там, в родовом гнезде Догз-Хэд-Харбор, она впервые взяла на себя роль советчицы для женщин, искавших совета и утешения, ибо она действительно обладала недюжинной силой духа и нешуточной способностью принимать решения.

— Господи, до чего же *странные* решения мама иногда принимает! — сетовал Гарп, но в целом он был совершенно счастлив, и о нем неустанно заботились. Первый ребенок у них с Хелен родился почти сразу. Это был мальчик, которого назвали Дункан. Гарп часто шутил, что в его первом романе главы такие короткие как раз по милости Дункана. Гарп писал в перерывах

между кормлениями, укладываниями спать и сменой пеленок. «Это роман, написанный урывками, — признавался он впоследствии, — причем исключительно из-за Дункана». У Хелен каждый день были занятия в колледже; она и ребенка согласилась завести, только если Гарп согласится сам за ним присматривать. Гарп не только согласился, он пришел в восторг от того, что ему вообще не придется отлучаться из дома. Он продолжал писать и нежно опекал Дункана, а кроме того, все делал по дому и готовил еду. Когда Хелен возвращалась домой, ее ждал вполне счастливый отец семейства и хранитель очага. Пока работа над романом шла у Гарпа успешно, никакие повседневные заботы, даже самые бессмысленные, ничуть его не огорчали и не обременяли. Более того — чем бессмысленнее они были, тем лучше. Ведь голова у него оставалась совершенно свободной. Каждый день Гарп на два часа оставлял Дункана у соседки с первого этажа и уходил в спортзал. Вскоре в женском колледже, где преподавала Хелен, он стал чем-то вроде странной знаменитости — неутомимо бегая вокруг площадки для хоккея на траве или полчаса подряд прыгая через скакалку в дальнем уголке спортзала, отведенном для занятий

гимнастикой. Он скучал по борьбе и твердил, что Хелен не мешало бы подыскать работу в таком месте, где есть борцовская команда. Впрочем, и самой Хелен не очень нравилось ее теперешнее место работы: английская кафедра слишком мала, в аудитории нет ни одного мальчика, но все же место неплохое, и она не собиралась уходить, пока не подвернется что-нибудь получше.

Все расстояния в Новой Англии, в общем-то, невелики. Гарп и Хелен ездили в гости к Дженни на побережье и к Эрни в Стиринг. Гарп, конечно же, потащил Дункана в борцовский спортзал Стиринг-скул и катал его там по матам, как мячик.

— Вот здесь твой папочка занимался борьбой, — сказал он малышу.

— Вот здесь твой папочка занимался *всем на свете,* — поправила его Хелен, разумеется имея в виду и зачатие самого Дункана, и их первую ночь с Гарпом, проведенную под неумолчный шум дождя в запертом и пустом спортзале имени Сибрука на теплых алых матах, устилавших пол от стены до стены.

— Ну что ж, ты все-таки заполучил меня, — шепнула Гарпу Хелен со слезами в голосе, но Гарп, раскинувшись на спине во всю ширину спортивного мата, никак не мог решить, кто же

тогда кого заполучил.

Когда умерла ее мать, Дженни стала приезжать к Хелен и Гарпу гораздо чаще, хотя Гарп и возражал против того, что он называл «мамин антураж». Дженни Филдз теперь всегда путешествовала с небольшой свитой поклонниц или даже совершенно случайных людей, которые полагали себя частью некоего «женского движения»; все они нуждались в моральной поддержке Дженни, а часто и в ее кошельке. Впрочем, нередко от Дженни требовался и белоснежный медицинский халат, чаще всего на трибуне оратора, хотя Дженни обычно говорила мало и недолго.

После прочих многочисленных речей собравшимся представляли автора знаменитой «Сексуально подозреваемой». Дженни в ее белом сестринском халате мгновенно узнавали везде и всюду. Ей пошел уже шестой десяток, однако она по-прежнему была женщиной спортивной и весьма привлекательной, бодрой и очень простой в общении. На собраниях она, например, запросто могла встать и громко сказать: «Вот это верно!» или «А это совершенно неправильно!». Окончательный приговор оставался за ней, ведь ей самой пришлось сделать в жизни весьма

непростой выбор, а потому женщины рассчитывали, что ее решение будет правильным и справедливым.

От подобной логики Гарп порой по нескольку дней кипел и плевался кипятком. А как-то раз одна дама из женского журнала спросила, нельзя ли ей приехать и взять у него интервью о том, каково быть сыном знаменитой феминистки. Когда же эта особа увидела, какую жизнь выбрал для себя Гарп, и радостно назвала ее «участью домашней хозяйки», Гарп не выдержал и взорвался.

— Я делаю то, что *хочу!* — заорал он. — И не вздумайте использовать какие-то другие слова! Я делаю то, что хочу, и именно так всю жизнь поступала моя мать. Просто делала то, что *хотела!*

Но журналистка не унималась. Заявила, что в голосе Гарпа «звучат горькие нотки», и предположила, что, должно быть, очень нелегко быть никому не известным писателем, когда твою родную мать и ее прекрасную книгу знает весь мир. Гарп ответил, что хуже всего, когда тебя понимают неправильно, что он отнюдь не испытывает никакой обиды в связи с успехом своей матери, он только слегка недолюбливает некоторых ее новых знакомых, а точнее, «прихвостней, всех этих марионеток, которые пляшут под ее дудку и

живут за ее счет», так он сказал.

Публикуя это интервью, журналистка не преминула вставить, что Гарп тоже «живет за счет» своей матери, причем весьма комфортно, так что не имеет права столь враждебно относиться к женскому движению. Именно тогда впервые Гарп услышал эти слова «женское движение».

Буквально через несколько дней Дженни приехала навестить его. С ней была одна из представительниц ее «антуража». На сей раз это оказалась очень крупная, очень молчаливая и очень мрачная женщина, которая тихо проскользнула в прихожую и отказалась снять пальто. Она все время настороженно и с явным неудовольствием поглядывала на маленького Дункана, словно опасаясь, как бы ребенок ненароком ее не коснулся.

— Хелен в библиотеке, — сообщил Гарп Дженни. — А я собирался пойти с Дунканом погулять. Хочешь, пойдем с нами? — Дженни вопросительно посмотрела на свою огромную спутницу; та лишь молча пожала плечами, и Гарп подумал: самая большая слабость матери, особенно после успеха автобиографии, — бесконечное потакание всяким калекам и уродкам, которые на самом деле просто страшно завидуют ей и мечтают сами

написать «Сексуально подозреваемую» или хотя бы нечто подобное и пользоваться у публики не меньшим успехом. Именно в таких словах он позднее и выразил эту мысль.

В конце концов Гарпу надоело стоять посреди собственной квартиры рядом с бессловесной особой, которая вполне могла бы служить у Дженни телохранителем.

А может, так оно и есть? — вдруг подумал он. И перед его мысленным взором возник весьма непривлекательный образ матери, окруженной плотным кольцом таких охранниц. О, эти злобные убийцы уж точно держали бы мужчин на расстоянии от белоснежного медицинского халата Дженни!

— А что, мам, у этой женщины что-нибудь с языком? — шепотом осведомился Гарп, склонившись к самому уху матери. Неколебимое безмолвное достоинство великанши понемногу начинало выводить его из себя; все попытки Дункана «поговорить с тетей» остались без ответа, женщина лишь старалась взглядом успокоить малыша. Дженни между тем потихоньку сообщила Гарпу, что женщина не говорит просто потому, что у нее нет языка. Буквально.

— Отрезан, — прошептала Дженни.

— Господи! — Гарп был потрясен. — Как же это случилось?

Дженни округлила глаза — эту привычку она переняла у собственного сына.

— Ты что, правда ничего не читал об этом? — спросила она. — А впрочем, ты никогда не стремился быть в курсе текущих событий.

По мнению Гарпа, «текущие события» не имели никакого значения, важно было лишь то, над чем он работал. И его весьма огорчало, что Дженни (особенно с тех пор, как ее приняли в лоно «женской политики») постоянно рассуждала о «новостях» и «текущих событиях».

— Неужели это какой-то особый знаменитый несчастный случай, о котором я непременно должен знать? — насмешливо спросил Гарп.

— О господи! — раздраженно сказала Дженни. — Никакого «знаменитого несчастного случая». Вполне осознанный акт.

— Мама, ты хочешь сказать, что кто-то взял да и отрезал ей язык?

— Совершенно верно, — ответствовала Дженни.

— Господи…

— Неужели ты не слышал об Эллен Джеймс? — спросила Дженни.

— Нет, — признался Гарп.

— Ну так вот: из-за того, что случилось с Эллен Джеймс, возникло целое женское *общество,* — сообщила ему Дженни.

— А что с ней случилось? — спросил Гарп.

— Ей было всего одиннадцать, когда двое негодяев изнасиловали ее. А потом отрезали ей язык, чтобы она никому не могла рассказать, кто они и как выглядят. У мерзавцев не хватило ума сообразить, что одиннадцатилетняя девочка умеет писать! И Эллен Джеймс очень точно описала этих людей, их поймали, допросили и вынесли соответствующий приговор. А через некоторое время их кто-то убил — в тюрьме.

— Вот это да! — сказал Гарп. — Так она и есть Эллен Джеймс? — прошептал он, с гораздо большим уважением поглядывая на великаншу.

Дженни снова округлила глаза.

— Нет, что ты! — сказала она. — Она из Общества Эллен Джеймс. Сама же Эллен — еще совсем девочка, тоненькая, светловолосая…

— Ты хочешь сказать, что члены этого общества всегда молчат, словно у них тоже языка нет? — спросил Гарп.

— Нет, я хочу сказать, что у них *действительно* нет языка! — сказала Дженни. — Каждая из них

сама отрезала себе язык в знак протеста против того, что случилось с Эллен Джеймс!

— Ничего себе! — протянул Гарп и посмотрел на спутницу матери с возобновившейся неприязнью.

— Они называют себя джеймсианками, — сказала Дженни.

— Все, мам! Слышать больше не желаю об этом дерьме! — отрезал Гарп.

— Но эта женщина как раз и есть одна из джеймсианок. Ты же хотел знать, кто она, правда?

— А сколько лет сейчас самой Эллен Джеймс? — спросил Гарп.

— Двенадцать, — ответила Дженни. — Несчастье случилось всего год назад.

— А эти джеймсианки, они что же, устраивают собрания, избирают президента, казначея и занимаются прочей ерундой?

— Почему бы тебе не спросить у нее самой? — Дженни указала на неподвижную фигуру возле двери. — И вообще, мне показалось, ты больше не желаешь слышать «об этом дерьме».

— Как же я ее спрошу, если у нее языка нет? — сердито прошипел Гарп.

— Между прочим, она умеет писать, — заметила Дженни. — Все джеймсианки носят с собой

маленькие блокнотики и пишут то, что хотели бы сказать. Ты ведь знаешь, что такое «писать», правда?

К счастью, в этот момент домой вернулась Хелен.

Впоследствии Гарп еще не раз встречался с джеймсианками. Несмотря на то что трагическая история Эллен Джеймс действительно его взволновала, к ее мрачным великовозрастным подражательницам он всегда испытывал отвращение, смешанное с презрением. Обычно эти «молчальницы» представлялись людям с помощью карточки, на которой заранее было написано что-нибудь вроде:

«Привет, я — Марта. Я из общества джеймсианок. Вы знаете, кто такие джеймсианки?»

И если вы не знали, вам вручалась другая карточка, с объяснениями.

С точки зрения Гарпа, джеймсианки представляли собой крайне неприятный тип женщин, которые носились с его матерью как со знаменитостью, стремясь использовать ее помощь в своих нелепых начинаниях.

— Знаешь, что я тебе скажу об этих безъязыких женщинах, мам, — как-то раз заметил Гарп. — Возможно, им было просто нечего ска-

зать; возможно, они за всю свою жизнь ни одной сколько-нибудь стоящей фразы вслух не произнесли — так что на самом деле их жертва не так уж велика; возможно даже, отсутствие языка спасает этих женщин от многих осложнений.

— По-моему, тебе просто не хватает сострадания, — ответила ему Дженни.

— Неправда! Я, например, испытываю безмерное сострадание к самой Эллен Джеймс! — возразил Гарп.

— Эти женщины наверняка тоже много страдали в жизни, только иначе, — сказала Дженни. — Оттого они и тянутся друг к другу.

— И причиняют себе еще больше страданий, да, мам?

— Насилие — угроза для каждой женщины! — строго заметила Дженни.

Гарп не выносил, когда мать начинала говорить о «каждой женщине». Тот самый случай, думал он, когда демократию доводят до полного идиотизма.

— Такая угроза существует и для каждого мужчины, мам. Что, если, когда в следующий раз кого-нибудь изнасилуют, я возьму и в знак протеста отрежу себе член, а потом стану носить собственный сушеный пенис на шее. Неужели

ты и такой поступок одобришь?

— Я говорила об *искренних* движениях души, — сердито сказала Дженни.

— Ты говорила о *глупых* движениях души, — отрубил Гарп.

Однако он навсегда запомнил свою первую джеймсианку — великаншу, которая явилась к нему домой вместе с Дженни. Перед уходом она украдкой сунула Гарпу в руку записку, словно чаевые.

— Мама заполучила нового телохранителя, — шепнул Гарп Хелен, когда они на прощанье махали уходящим рукой. Затем они вместе прочитали записку джеймсианки.

«Твоя мать стоит двух таких, как ты» — говорилось в ней.

Но Гарп понимал, что ему грех жаловаться на мать: первые пять лет их брака с Хелен именно Дженни оплачивала все счета их семьи.

Гарп в шутку говорил, что назвал свой первый роман «Бесконечные проволочки», поскольку потратил на него безумно много времени, однако работал он над ним постоянно и очень тщательно. Кстати сказать, Гарп вообще редко что-нибудь откладывал и терпеть не мог, как он выражался, «тянуть кота за хвост».

Роман он назвал «историческим», поскольку действие его разворачивалось в Вене в годы войны (1938–1945), а также в период советской оккупации. Главный герой — молодой анархист — был вынужден после аншлюса «залечь на дно» и выжидать, когда наконец сможет нанести нацистам достойный удар. Ждал он, правда, слишком долго. Суть, собственно, и заключалась в том, что этот удар ему следовало нанести, пока нацисты еще не взяли власть, но, к сожалению, он тогда был слишком юн и ни в чем еще не мог как следует разобраться. Со своей матерью, вдовой, он тоже посоветоваться не мог: ее интересовала только собственная личная жизнь, а не политика — в основном она транжирила деньги покойного мужа.

В годы войны молодой анархист работал в Шёнбруннском зоопарке. Когда население Вены стало по-настоящему голодать и особенно участились полуночные налеты на зоопарк с целью добыть хоть какую-то пищу, юноша решил освободить уцелевших животных — ведь они-то совершенно не виноваты в нерасторопности правительства Австрии и ее молчаливой покорности нацистской Германии. Но к тому времени уже и сами звери буквально умирали от голода, так что,

когда анархист выпустил их из клеток, они его попросту съели. «И это было вполне естественно», — писал Гарп. Животные же, в свою очередь, *стали* легкой добычей голодающих венцев, толпами бродивших по городу в поисках пищи, и все это происходило как раз перед взятием Вены русскими. Что, с точки зрения Гарпа, тоже было «вполне естественно».

Матери юного анархиста удалось пережить войну, и она оказалась как раз в советской оккупационной зоне (Гарп поместил ее в ту самую квартиру на Швиндгассе, где они с матерью когда-то жили). Однако терпению вдовы приходит конец, когда она изо дня в день видит жестокости, которые творят советские солдаты, — в основном это изнасилования. А город между тем возвращается к прежней, умеренно-самодовольной жизни, и несчастная вдова с большим сожалением вспоминает, сколь пассивно вела себя в тот период, когда нацисты рвались к власти. Наконец русские уходят; наступает 1956 год, Вена уже вновь заползла в свою привычную раковину. Однако старая женщина продолжает оплакивать погибшего сына и погубленную родину; она каждое воскресенье бродит по отчасти уже восстановленному зоопарку, который опять полон

животных и посетителей, вспоминая, как тайком посещала здесь сына во время войны. И тут Вену облетает новость: в Венгрии мятеж. И старая дама выходит на свой последний бой, видя, как сотни тысяч новых беженцев наводняют Вену.

В попытке пробудить благодушный, самодовольный город — ведь нельзя во второй раз спокойно сидеть и смотреть, как этот кошмар повторяется вновь, — мать погибшего анархиста решает сделать то же, что некогда сделал ее сын: она выпускает зверей из клеток. Однако теперь в Шёнбруннском зоопарке зверей хорошо кормят, они всем вполне довольны, и лишь некоторых ей удается выгнать из клеток, но и те слоняются поблизости, по тропинкам и лужайкам Шёнбрунна, поймать их ничего не стоит, так что вскоре все они опять сидят в своих клетках. Только старый медведь после пережитого потрясения страдает от яростных приступов «медвежьей болезни». Таким образом, благие намерения старой женщины оказываются совершенно бессмысленными и абсолютно нереализованными. Ее сажают в тюрьму, где тюремный врач обнаруживает у нее рак в последней стадии.

Однако, по иронии судьбы, огромные денежные средства вдовы все-таки приносят ей кое-какую

пользу. Она умирает в роскоши — в единственной частной клинике Вены, в «Рудольфинерхаусе». Перед смертью ей снится, что некоторые животные все же сумели сбежать из зоопарка: это пара молодых азиатских черных медведей, которые не только выжили, но и стали так успешно размножаться, что вскоре прославились как новый вид фауны в долине Дуная.

Но все это лишь плоды ее больного воображения. Вскоре она умирает. А кончается роман еще одной смертью — того самого больного медведя из Шёнбруннского зоопарка. «Вот так и кончаются в наши дни все революции», — написал один рецензент, назвавший роман Гарпа «антимарксистским».

Роман хвалили за историческую точность — хотя этой цели Гарп как раз перед собой и не ставил. Его также превозносили за оригинальность и необычное видение мира, редкие для первой книги столь молодого автора. Издателем был, разумеется, Джон Вулф, и он хотя и пообещал Гарпу ни в коем случае *не упоминать* на обложке, что это первый роман сына «героической феминистки Дженни Филдз», сделать ничего не смог — мало кто из рецензентов отказал себе в удовольствии «озвучить» столь лакомый материал.

«Просто удивительно, что ныне весьма популярный писатель, сын знаменитой Дженни Филдз, — было написано в одной из рецензий, — действительно стал тем, кем он, по его словам, всегда хотел быть, когда вырастет». Этот и прочие неудобоваримые «шедевры» и «шутки» насчет родства Гарпа и Дженни Филдз страшно злили Гарпа, прежде всего потому, что его книгу как бы не могли ни читать, ни вообще воспринимать в соответствии с ее, этой книги, недостатками или достоинствами, однако Джон Вулф объяснил ему естественный, но жестокий для автора факт, что большинство читателей куда больше интересует, *кто* он такой, а не *что* он написал.

«Молодой мистер Гарп все еще пишет о медведях, — изощрялся в своей статье один „умник“, у которого хватило энергии раскопать рассказ „Пансион „Грильпарцер““, давно затерявшийся в анналах. — Возможно, — продолжал этот „умник“, — когда мистер Гарп подрастет, он напишет что-нибудь и о людях».

Тем не менее литературный дебют Гарпа оказался более ярким, чем большая часть подобных дебютов, и был замечен и критиками, и читателями. Роман Гарпа, разумеется, так никогда и не стал «популярным», и имя Т.С. Гарпа не просла-

вил, как не сделался и «продуктом повседневного спроса», каким, по выражению Гарпа, стала книга его матери. Нет, его книга была совсем иного рода, да и сам он был писателем совсем иного рода, чем Дженни Филдз, и никогда не будет таким, как она, заверил его Джон Вулф.

«А чего ты, собственно, ожидал? — писал Гарпу Джон Вулф. — Если хочешь стать богатым и знаменитым, надо выбирать другую дорожку. Если же ты серьезно все продумал и решил стать настоящим писателем, так нечего теперь сучить лапками. Ты написал серьезную книгу, и она вышла в серьезном издательстве. Если же ты хочешь сделать на ней деньги, то это совсем другой разговор. Не о литературном творчестве. И помни: тебе всего двадцать четыре года. По-моему, ты напишешь еще немало книг».

Джон Вулф был, конечно, человеком достойным и умным, но Гарп все же сомневался, что заработал достаточно, хотя кой-какие деньги все же заработал. Да и Хелен сейчас имела неплохое жалованье, так что теперь, когда больше не возникало *необходимости* брать деньги у Дженни, Гарп чувствовал себя вполне нормально, если мать ему их совала. Как ему казалось, он заслужил и еще одно вознаграждение: второго

ребенка. Так что он попросил об этом Хелен. Дункану было уже четыре, и он вполне мог должным образом оценить появление в семье братика или сестрички. Хелен согласилась, помня, как легко Гарп взял на себя все заботы о Дункане. Ну что ж, сказала она, если ему так хочется менять подгузники, а заодно писать следующую книгу, то пусть меняет.

Однако на этот раз Гарпом руководило отнюдь не просто желание иметь второго ребенка. Он понимал, что обязан освободить Дункана от своей чрезмерной бдительности, от избыточного беспокойства, ибо чувствовал, что его отцовские страхи плохо действуют на мальчика. Второй ребенок отчасти переключит на себя родительскую тревогу, что постоянно снедала Гарпа.

— Я просто счастлива это слышать, — сказала Хелен. — Если ты хочешь еще одного ребенка, мы его заведем. Только очень прошу тебя: *расслабься хоть немного.* Ну пожалуйста, дорогой, стань хоть чуточку счастливее! Ты написал хорошую книгу, а теперь напишешь еще одну. Разве не этого ты всегда хотел?

И все-таки Гарп продолжал болезненно реагировать на отрицательные рецензии и сетовать, что книга плохо продается. Он придирался к

матери и иронизировал по поводу ее «друзей-лизоблюдов». Наконец Хелен сказала ему:

— Ты слишком много хочешь. Безоговорочных похвал, беззаветной любви — в общем, абсолютного обожания. Неужели ты действительно хочешь, чтобы все в мире твердили в один голос: «Ах, мы обожаем ваши произведения, мы обожаем вас, великий Гарп!» По-моему, это чересчур. И вообще-то попахивает безумием.

— Но ведь ты именно так и говорила! — напомнил он ей. — «Я обожаю твои произведения, я обожаю тебя!» Именно так!

— Но ведь второй такой, как я, на свете нет! — напомнила ему Хелен.

В самом деле, второй такой, как она, на свете не было, и Гарп любил ее, очень любил. Он всегда так ее и называл: «мудрейшее из всех моих решений». Он, разумеется, принимал и немало весьма глупых решений, как признается позже, но в первые пять лет брака он изменил Хелен лишь однажды — да и эта нелепая связь длилась недолго.

Внимание Гарпа внезапно привлекла их приходящая няня, студентка-первокурсница из группы английского языка, которую вела Хелен. Девушка хорошо относилась к Дункану, но Хелен говори-

ла, что в учебе она особых успехов не делает. Ее звали Синди; она давно прочитала роман Гарпа и пребывала от него в полном восторге. Когда он вечером отвозил ее домой, она постоянно задавала ему вопросы о том, *как* он пишет, и *что* он при этом думает, и что заставило его описать *это* именно так. Она была, в общем-то, пустышкой, безмозглым воробышком — сплошное трепыхание крылышек, подергивание и воркованье, такая же доверчивая, такая же привязчивая и такая же глупая, как голуби в Стиринг-скул. Наш Птенчик — так добродушно прозвала ее Хелен, но Гарпу девочка чем-то нравилась, и он не стал давать ей никакого прозвища. Семейство Перси навсегда внушило ему отвращение к прозвищам. А кроме того, наивные вопросы Синди доставляли ему огромное удовольствие.

Синди сказала, что собирается уходить из колледжа: во-первых, женский колледж не совсем для нее; во-вторых, ей необходимо жить со взрослыми, прежде всего с мужчинами: она так и сказала — «жить с мужчинами». И, хотя ей уже со второго семестра было разрешено жить не в кампусе, а в своей квартире, она все равно чувствовала, что общество в колледже «слишком ограниченное» и правила там слишком строгие,

а ей бы хотелось жить «в более реальном и свободном мире», хотя Гарп очень старался убедить ее, что этот мир не так уж и хорош. Синди, в общем-то, была глупа, как щенок, и так же мягка и податлива; ему ничего не стоило бы повлиять на нее, но он быстро понял, что просто хочет ее, и видел, что она легкодоступна — словно те проститутки с Кернтнерштрассе — и придет к нему в любой момент, пусть он только скажет. И платить не придется: достаточно произнести всего лишь несколько лживых слов.

Хелен прочитала ему рецензию из знаменитого журнала, где «Бесконечные проволочки» именовались «сложным и трогательным романом с резким историческим акцентом… драмой, отражающей страстные желания и метания юности».

— Вот дерьмо! «Страстные желания и метания юности», — воскликнул Гарп. Хотя именно одно из этих страстных юношеских желаний и не давало ему сейчас покоя.

Что же касается «драмы», то за первые пять лет жизни с Хелен Т.С. Гарп пережил лишь одну настоящую драму, и она не имела прямого отношения к нему самому.

Гарп бегал в городском парке, когда наткнулся на эту девочку. Обнаженная десятилетняя девоч-

ка бежала впереди него по тропе и, подумав, что он ее нагоняет, ничком упала на землю и закрыла лицо руками; потом она одной рукой закрыла промежность, а второй попыталась прикрыть свои еще не существующие груди. День выдался холодный, поздняя осень. Гарп увидел кровь на бедрах девочки и заметил, какие у нее перепуганные опухшие глаза. Когда он посмотрел на нее, она пронзительно закричала.

— Что с тобой? Что случилось? — спросил он, хотя отлично понимал, *что* с ней случилось. Он осмотрелся, но вокруг больше никого не было.

Девочка подтянула изодранные в кровь коленки к груди и снова пронзительно закричала.

— Я ничего плохого тебе не сделаю, — попытался успокоить ее Гарп. — Я хочу помочь.

Но девочка закричала и заплакала еще громче. Господи, ну конечно! — подумал Гарп: тот негодяй-насильник, скорее всего, говорил ей именно эти слова, и совсем недавно.

— Куда он пошел? — спросил он девочку. Она не ответила. И Гарп переменил тон, стараясь убедить ее, что он-то на ее стороне. — Да я его просто убью за то, что он с тобой сделал! — сказал он ей.

Она молча уставилась на него; голова у нее тряслась, пальцы непроизвольно щипали и ца-

рапали туго натянутую кожу на плечах.

— Пожалуйста, — сказал Гарп, — объясни хотя бы, где твоя одежда? — Он ничем не мог прикрыть ее наготу, разве что своей пропотевшей футболкой. Кроме футболки, на нем были спортивные шорты и кроссовки. Он стянул футболку через голову и сразу замер — девочка с жутким воплем закрыла лицо руками. — Нет-нет, не бойся, это я для тебя. На, накинь-ка на плечи. — И Гарп прикрыл ей спину своей футболкой, но девочка вывернулась из-под нее и отпихнула ее ногой, а потом вдруг очень широко открыла рот и укусила себя за запястье.

«Маленькая совсем, можно сказать, еще ни Мальчик, ни Девочка, — писал позднее Гарп. — Из „девического“ — лишь легкая припухлость вокруг сосков. И, разумеется, ничего сексуального в безволосом лобке и совсем детских ручонках. Впрочем, что-то чувственное уже таилось в ее губах, сочных и выразительных… Однако она явно не сама довела себя до столь ужасного состояния».

Глядя на девочку, Гарп заплакал. Серое небо, мертвая листва — и, когда он заплакал, девочка вдруг подобрала его футболку и прикрылась ею. Вот такое странное зрелище девочка, скрючив-

шаяся под футболкой у ног Гарпа, и сам Гарп, полуголый, навзрыд плачущий над нею, — предстало глазам двух конных полицейских, тотчас решивших, что это насильник и его малолетняя жертва. Гарп писал впоследствии, что один из полицейских немедля отсек девочку от него, поставив свою лошадь между ними и «едва не раздавив ребенка». А второй полицейский, не долго думая, с размаху опустил свою дубинку Гарпу на плечо; ключица хрустнула, одна сторона тела мгновенно онемела, «но не вторая», писал Гарп. И второй рукой он стащил полицейского с седла, швырнул на землю и гаркнул ему в лицо:

— Это же не я, сукин ты сын! Я нашел ее здесь! Буквально минуту назад!

Полицейский, распростертый на палой листве, решительно навел на него свой револьвер. Другой полицейский, по-прежнему сидя в седле и сдерживая приплясывавшего коня, заорал девочке: «Это он?» Лошадей девочка, похоже, ужасно боялась и молча переводила глаза с животных на Гарпа. Она, возможно, вообще не совсем поняла, что именно с ней сделали, а тем более *кто* это сделал, подумал Гарп. Однако девочка яростно замотала головой.

— Куда он убежал? — спросил полицейский,

сидевший в седле.

Но девочка по-прежнему смотрела на Гарпа. Она теребила себя за подбородок, терла щеки — явно пыталась что-то объяснить ему с помощью жестов. Язык ей не повиновался. То ли дара речи лишилась от испуга, то *ли языка,* подумал Гарп, вспомнив Эллен Джеймс.

— *Борода!* — сказал первый полицейский. Он уже встал, отряхнулся, но револьвер в кобуру не убрал. — Она хочет сказать, что у того типа была борода!

Ну и что? У Гарпа, например, тоже борода есть!

— Это был кто-то с бородой, примерно как у меня? — спросил Гарп у девочки, поглаживая свою округлую темную бородку, мокрую от пота. Но она покачала головой и провела пальцами по окровавленной верхней губе.

— Усы! — догадался Гарп; девочка кивнула и указала в ту сторону, откуда Гарп только что прибежал, но Гарп не помнил, чтобы хоть кого-нибудь видел поблизости от входа в парк.

Второй полицейский тут же пришпорил коня и ускакал по опавшей листве в направлении, указанном девочкой. Первый полицейский оглаживал лошадь, пытаясь ее успокоить, однако в седло пока не садился.

— Прикрой ее чем-нибудь или попробуй отыскать ее собственную одежду, — посоветовал ему Гарп и побежал по тропинке вслед за полицейским; он знал, что некоторые вещи можно разглядеть только с земли, а с коня их не увидишь. Кроме того, Гарп безрассудно верил, что способен догнать, если не перегнать любую лошадь.

— Эй, ты лучше здесь обожди! — крикнул ему вслед полицейский, но Гарп уже набрал скорость и останавливаться явно не собирался.

Он бежал, следуя глубоким свежим вмятинам от копыт на тропе, и не пробежал и полумили, когда увидел мужчину, скорчившегося ярдах в двадцати пяти от тропы и почти незаметного за деревьями. Гарп громко окликнул его, и мужчина, пожилой, с седыми усами, оглянулся через плечо с таким изумленным и пристыженным выражением лица, что Гарп даже на секунду не усомнился, что отыскал насильника. Он вихрем проломился сквозь вьющиеся растения и невысокие тонкие деревца к этому несчастному, который, как оказалось впоследствии, залез туда помочиться и теперь торопливо прятал свое «хозяйство» обратно в штаны. Вид у него был такой, словно его поймали за каким-то весьма предосудительным занятием.

— Я всего лишь… — начал было он, но Гарп уже бросился на него и ткнулся своей жесткой бородой прямо ему в лицо, обнюхивая его, точно гончая.

— Если это твоя работа, ублюдок, я сразу это почую! — грозно проворчал Гарп.

Незнакомец попытался вырваться из рук этого полуголого дикаря, но Гарп, стиснув его запястья, задрал их ему под нос и снова принялся нюхать. Мужчина заорал, явно опасаясь, что Гарп сейчас его укусит.

— Стой спокойно! — сказал Гарп. — Говори: это твоя работа? Где одежда девочки?

— Пожалуйста! — пискнул пленник. — Отпустите меня! Я только хотел… помочиться! — Он даже молнию застегнуть не успел, и Гарп подозрительно уставился на его расстегнутые брюки.

«Запах секса неповторим, — писал Гарп. — Его ни с чем не спутаешь. Он настолько же четкий и густой, как запах пролитого пива».

Итак, Гарп опустился на колени, расстегнул на мужчине ремень, сорвал с него брюки и стянул трусы до колен; а потом внимательно уставился на его пенис.

— Помогите! — закричал перепуганный «преступник». Гарп глубоко втянул носом воздух, и

седоусый мужчина рухнул в обмороке прямо в молодые деревца, дергаясь точно марионетка. Очнулся он довольно быстро, но еще долго возился в густых зарослях, которые так и не дали ему упасть на землю. — Господи, помогите же! — снова закричал он, но Гарп уже бежал назад к тропинке, расшвыривая ногами листву и ритмично молотя воздух согнутыми в локтях руками; ключица, по которой пришелся удар полицейской дубинки, глухо болела.

У входа в парк первый конный полицейский цокал копытами на автостоянке, заглядывая в припаркованные машины и упорно кружа вокруг приземистого кирпичного домика, где были комнаты отдыха. Вокруг уже собралась небольшая толпа; люди понимали, что он кого-то ищет.

— Никаких усов! — крикнул полицейский Гарпу.

— Если он вернулся сюда раньше вас, его давно уже и след простыл, — ответил Гарп.

— Пойди-ка посмотри в мужском туалете, — сказал полицейский, направляясь к какой-то женщине с детской коляской, из которой торчал целый ворох одеял.

Каждый общественный мужской туалет казался Гарпу похожим на все прочие убогие заведения.

В дверях он столкнулся с молодым человеком, как раз выходившим на улицу. Юноша был чисто выбрит, верхняя его губа была особенно гладкой и чуть ли не блестела; с виду — типичный студент колледжа. Гарп влетел в туалет, словно пес, у которого от возбуждения оскалены клыки и вся шерсть на загривке встала дыбом. Проверил, не видны ли ноги из-под дверей в кабинках; он бы не удивился, увидев под ними пару рук или медвежьи лапы. Потом оглянулся, осмотрел длинные ряды писсуаров и коричневых от грязи раковин, вгляделся в облезлые зеркала. Нет, никого в мужском туалете не было. Гарп потянул носом воздух. Он давно уже носил густую, хотя и аккуратно подстриженную бороду, и запах крема для бритья узнал не сразу. Просто смекнул, что в воздухе присутствует некий совершенно чуждый этому вонючему месту запах. Затем глянул в ближайшую раковину, увидел там хлопья мыльной пены и *усы,* рассыпавшиеся отдельными волосками по краям раковины.

Гладковыбритый молодой человек, похожий на студента колледжа, как раз пересекал автостоянку — шел быстро, но спокойно, — когда Гарп выбежал из мужского туалета.

— Это *он* — заорал Гарп. Конный полицейский

посмотрел на молодого человека озадаченно.

— Но у него же нет усов! — сказал он.

— Он только что их сбрил! — закричал Гарп и бросился через стоянку вслед за насильником, который нырнул в лабиринт тропинок, уходивших в самую чащу. Какие-то блестящие предметы так и разлетались во все стороны из карманов его пиджака: Гарп заметил ножницы, бритву, крем для бритья; потом преступник стал выбрасывать и другие вещи — одежду той малышки, разумеется: джинсы с божьей коровкой, вышитой на бедре, свитерок с улыбающейся лягушачьей мордой на груди. И конечно же никакого бюстгальтера — в нем просто не было необходимости. Но доконали Гарпа ее детские трусики. Простые, хлопчатобумажные, голубенькие, а возле резинки вышит синий цветочек, который нюхает темно-голубой кролик.

Конный полицейский погнал прямо на убегавшего парня. Конь грудью толкнул его и опрокинул на тропинку, лицом в землю, а задним копытом выдавил U-образную рану на его голени. От боли парень свернулся в позу эмбриона, беспомощно прижимая к груди раненую ногу. Тут подоспел и Гарп, держа в руках трусики девочки, которые отдал конному полицейскому. Другие люди: жен-

щина с укрытой одеялами детской коляской, двое мальчишек на велосипедах, тощий мужчина с газетой — тоже поспешили к ним поближе. Они принесли и передали полицейскому остальные вещи, которые парень обронил на бегу: бритву, одежду девочки и т. п. Никто не говорил ни слова. Гарп позднее писал, что в этот миг как бы разом прочел всю короткую историю молодого насильника, распростертого на земле у конских копыт: ножницы, крем для бритья… Ну конечно! Он мог специально отрастить усы, совершить нападение, а потом сбрить эти усы (поскольку именно такую вещь, как усы, большая часть детей и запоминает в первую очередь).

— Ты раньше это делал? — спросил парня Гарп.

— Вы не должны ни о чем его спрашивать, — заметил полицейский.

Но парень глупо ухмыльнулся Гарпу и сказал с дурацким вызовом:

— А меня раньше никогда не ловили!

Когда он усмехнулся, Гарп увидел, что у него нет передних верхних зубов: лошадь выбила. Виднелась лишь кровоточащая полоска десны. Он должен был испытывать сильную боль. И Гарп догадался: с этим парнем, наверно, что-то не так,

возможно, с ним что-то случилось прежде, отчего он практически утратил чувствительность к боли, — а раз не так уж больно, то и не так уж страшно, и можно ни о чем не беспокоиться…

Из гущи деревьев по конной тропе вышел другой полицейский, ведя в поводу лошадь, — в седле сидела девочка, закутанная в куртку полицейского. В руках она сжимала футболку Гарпа. И казалось, не узнавала никого и ничего вокруг. Полицейский подвел коня прямо к тому месту, где на земле лежал насильник, но девочка на него даже не взглянула. Первый полицейский спешился, подошел к насильнику и рывком повернул его лицом к девочке и спросил:

— Он?

Она тупо уставилась на парня. Насильник коротко рассмеялся и выплюнул сгусток крови; девочка молчала. Тогда Гарп легонько коснулся пальцем окровавленных губ насильника и тем же пальцем быстро нарисовал над верхней губой парня усы. И тут девочка закричала. Закричала так пронзительно и страшно, что пришлось успокаивать лошадей. Девочка кричала до тех пор, пока второй полицейский не увел насильника прочь. Тогда она наконец умолкла и протянула Гарпу его футболку. И все время гладила густую

черную гриву лошади; видно, она впервые сидела верхом на таком большом коне.

Гарп подумал, что ей, должно быть, больно сидеть в такой позе, но она вдруг попросила:

— А можно я еще прокачусь? — И Гарп несказанно обрадовался, что язык у нее на месте.

В этот миг Гарп снова увидел того аккуратно одетого пожилого джентльмена, чьи усы, как оказалось, не имели к преступлению никакого отношения; он тихонько брел к воротам парка, опасливо поглядывая на психа, который беспардонно стащил с него штаны и обнюхивал его, словно дикий вепрь. Когда пожилой джентльмен увидел Гарпа рядом с полицейским, он, похоже, испытал большое облегчение — видимо, решил, что Гарп арестован, — и уже куда смелее двинулся к парковке. Гарп подумывал, не смыться ли ему во избежание всяких дурацких объяснений, но тут полицейский сказал:

— Я должен записать ваше имя. И род занятий. Помимо занятий бегом на дорожках парка. — Он улыбнулся.

— Я писатель, — сказал Гарп. Полицейский извинился, что никогда не слышал о писателе Гарпе, но Гарп, собственно, еще и не успел опубликовать ничего, кроме «Пансиона „Грильпарцер“»;

маловато, чтобы полицейский действительно мог знать его имя. Похоже, это озадачило полицейского.

— Вас пока не публикуют? — переспросил он. Гарп мрачно промолчал. — В таком случае чем же вы зарабатываете на жизнь?

— Мне помогают жена и мать, — признался Гарп.

— Тогда мне придется спросить, чем занимаются они. — Полицейский помрачнел. — Это нужно для протокола — кто на какие средства существует.

Оскорбленный джентльмен с седыми усами успел услышать только последние слова и воскликнул:

— Так я и думал! Бродяга, презренный бездельник!

Полицейский изумленно уставился на него. В молодости, когда Гарпа еще почти не издавали, он каждый раз очень сердился, когда его вынуждали признаваться, за чей счет он живет, а в данный момент он скорее готов был затеять скандал, чем прояснить ситуацию.

— Я очень даже рад, что вы его поймали! — заявил старый джентльмен. — Это всегда был такой милый парк! Но люди, которые ходят сюда

теперь… Вам бы не мешало патрулировать более внимательно, — сказал он полицейскому, и тот, видно, решил, что старик имеет в виду молодого насильника, но, не желая обсуждать все это при ребенке, он глазами указал на девочку, застывшую в седле, давая старику понять, что продолжать разговор не следует. — Ох, нет! — вскричал старик — Неужели он мог сделать такое? С этой крошкой?! — Джентльмен словно только что заметил девочку, возвышавшуюся в седле совсем рядом с ним, и разглядел, что под полицейской курткой она совсем голая, а собственные крошечные одежки зажала в руке. — Боже, какая низость! — возопил он, гневно сверкая глазами на Гарпа. — Какая мерзость! Вам ведь, конечно же, понадобится мое имя? — обратился он к полицейскому.

— Зачем? — удивился тот. Гарп не выдержал и улыбнулся.

— Вы только посмотрите, как мерзко он ухмыляется! — рассвирепел старикан. — Ну разумеется, в качестве свидетеля! Я все готов рассказать, в любом суде, если этому типу вынесут достойный приговор!

— Но чему вы были свидетелем? — спросил полицейский.

— Как? Он совершил это… и со мной тоже! — заявил старикан.

Полицейский вопросительно посмотрел на Гарпа; Гарп от изумления вытаращил глаза. Полицейский все еще склонялся к разумному объяснению, полагая, что старик имеет в виду насильника, но никак не мог понять, почему он разговаривает с Гарпом таким оскорбительным тоном.

— Да, конечно, давайте ваши координаты, — сказал он, чтобы просто отвязаться от этого старого дурака, и записал его имя и адрес.

Много месяцев спустя Гарп покупал в аптеке презервативы, и туда вдруг вошел тот самый усатый старикан, который конечно же сразу заорал:

— Как?! Это ты! Тебя уже выпустили? Не может быть! Я думал, тебя засадят за решетку на *долгие годы!*

Гарпу понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, кто это. Аптекарь же вообще решил, что старый чудак с аккуратно подстриженными седыми усами просто не в своем уме, а тот не без опаски приблизился к Гарпу и горестно спросил:

— К чему же придет наше правосудие? Я полагаю, тебя выпустили за хорошее поведение, да? В тюрьме, видно, не нашлось ни стариков,

ни юных девиц, чтобы их *обнюхивать!* А может, какой-нибудь адвокатишка вызволил тебя за хорошую взятку? Бедная девочка травмирована на всю жизнь, а ты опять свободно разгуливаешь по паркам!

— Вы тогда ошиблись, — только и смог вымолвить Гарп.

— Да, вы ошибаетесь, это же мистер Гарп! — вмешался и аптекарь. К счастью, он не прибавил «тот самый писатель». Если он и собирался что-то прибавить, то наверняка «тот самый герой», потому что аптекарь помнил броский заголовок в газете о преступлении, совершенном в парке, и о человеке, который поймал преступника:

НЕ СЛИШКОМ УДАЧЛИВЫЙ ПИСАТЕЛЬ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ИСТИННЫМ ГЕРОЕМ!

ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ГОРОДА ПОЙМАЛ В ПАРКЕ ИЗВРАЩЕНЦА;
СЫН ЗНАМЕНИТОЙ ФЕМИНИСТКИ, ЗНАЕТ КАК СПАСАТЬ ДЕВОЧЕК ИЗ БЕДЫ…

Из-за этой истории Гарп несколько месяцев вообще не мог писать, однако статья произвела неизгладимое впечатление на всех местных жителей, которые знали Гарпа только по супермаркету, спортзалу и аптеке. А между тем у него вышел роман «Бесконечные проволочки», но, по-

хоже, практически никто об этом и не знал. Зато в течение нескольких месяцев клерки и продавцы представляли его прочим клиентам только так:

— А это наш мистер Гарп, тот самый! Это он поймал в парке насильника!

— Какого насильника?

— Ну, того, в парке! Парня с усами. Которые он потом сбрил. Он все маленькими девочками интересовался.

— Девочками?

— Ну да! А вот мистер Гарп — тот самый человек, который его поймал.

— Ну, вообще-то, — не выдерживал Гарп, — поймал его конный полицейский.

— И вышиб ему все зубы! В глотку их ему вогнал! — шумно и радостно подхватывали все: аптекарь, кассир и продавцы, что случались рядом.

— Так что это в основном заслуга лошади, — скромно признавал Гарп.

И тут кто-нибудь непременно спрашивал:

— А чем вы *занимаетесь*, мистер Гарп?

Тишина, которая обычно следовала за этим вопросом, была особенно болезненной для Гарпа, который стоял и думал, что, может, лучше сказать, что он *бегает* — и тем зарабатывает на

жизнь. Бегает по паркам и ловит насильников — профессия у него такая. Прячется, например, за телефонными будками — поджидая, когда случится какая-нибудь беда. Любое подобное объяснение будет иметь для них больше смысла, чем то, что он делает в действительности.

— Я пишу, — в конце концов признавался Гарп. Разочарование — даже подозрительность — появлялось на всех лицах, только что выражавших любовь и восхищение.

А тогда, в аптеке — еще ухудшив положение, — Гарп выронил пакет с презервативами.

— Ага! — вскричал тот старикан. — Вы только посмотрите! Чем это он намерен заняться, имея такие вещи в кармане?

Гарпу стало интересно, каковы будут предположения относительно возможностей использования купленного им товара.

— Говорю вам, это извращенец, сорвавшийся с цепи! — заверил старик аптекаря. — Высматривает невинных девочек, чтобы изнасиловать их и сбежать!

Злопыхательство старого идиота было настолько раздражающим, что у Гарпа не возникло ни малейшего желания вмешаться и разрешить возникшее недоразумение; на самом деле он

даже развлекался, вспоминая, как тогда в парке стащил штаны с этого старого петуха, и сейчас ничуть не жалел о своей случайной ошибке.

Лишь некоторое время спустя Гарп осознал, что старый джентльмен не одинок в своем фарисействе. Как-то раз Гарп взял с собой Дункана на юношеские соревнования по баскетболу и был глубоко потрясен и оскорблен, увидев, что контролер, проверявший билеты, не кто иной, как тот самый насильник, который надругался над беззащитной девочкой в городском парке.

— Тебя что, *выпустили?* — спросил потрясенный Гарп. Извращенец открыто улыбнулся Дункану.

— Один взрослый, один детский, — сказал он, отрывая корешки у билетов.

— И как только ты сумел освободиться? — вырвалось у Гарпа; он чувствовал, что его трясет от ярости.

— Никто ничего не доказал, — высокомерно заявил парень. — Эта глупая девчонка даже говорить не пожелала.

Гарп снова подумал об Эллен Джеймс, которой в одиннадцать лет отрезали язык

Он вдруг почувствовал даже некоторую симпатию к тому безумному старикану, которому так

бесцеремонно спустил тогда штаны. Его словно придавило к земле чудовищным ощущением тяжкой несправедливости; и он вполне мог в этот момент представить себе, как некая женщина в крайнем отчаянии сама отрезает себе язык. Он отчетливо сознавал, что ему хочется сделать этому типу больно — очень больно! — прямо на глазах у Дункана. Он мечтал искалечить его — в порядке морального урока.

Но вокруг была толпа, жаждавшая билетов на баскетбольный матч; Гарп всех задерживал.

— Ты проходи, проходи, волосатик, — сказал парень Гарпу. В выражении его глаз Гарп, казалось, увидел всю злобу мира. Над верхней губой парня было неопровержимое доказательство того, что он снова отращивает усы.

Через много лет Гарп случайно в другом городе встретил ту девочку — уже почти взрослую девушку — и узнал ее только потому, что она узнала его первой. Он выходил из кинотеатра после сеанса, а она стояла в очереди за билетами. И не одна, с друзьями.

— Привет, ну как ты? — спросил Гарп. Он порадовался, что у нее есть друзья. Для Гарпа это означало, что она — нормальная девушка, что с ней все в порядке.

— Это хороший фильм? — спросила она.

— Ух, как ты выросла! — воскликнул Гарп; девочка вспыхнула, и Гарп понял, что сморозил глупость. — То есть я хотел сказать, что времени очень много прошло… а те времена очень даже стоит забыть навсегда! — искренне прибавил он.

Ее друзья уже входили в кинотеатр, и девочка быстро взглянула им вслед, чтобы убедиться, что она действительно осталась с Гарпом наедине.

— А я в этом году уже школу кончаю! — сказала она.

— Неужели выпускной класс? — громко удивился Гарп. Неужели это было *так* давно.

— Ой, нет, среднюю ступень! — Девочка нервно хихикнула.

— Все равно замечательно! — сказал Гарп. И, сам не зная почему, вдруг прибавил: — Я постараюсь прийти к вам на праздник.

Но девочка вдруг померкла.

— Нет, пожалуйста! — умоляющим тоном попросила она. — Пожалуйста, не приходите, хорошо?

— Хорошо, не приду, — быстро согласился Гарп. После этой встречи он еще несколько раз видел ее, но она больше к нему не подходила — не узнавала, потому что он сбрил бороду.

— Почему бы тебе снова бороду не отрастить? — иногда спрашивала его Хелен. — Или усы?

Но стоило Гарпу в очередной раз встретить ту девочку и благополучно пройти мимо неузнанным, и он убеждался, что лучше ему оставаться чисто выбритым.

«Мне иногда становится не по себе, — писал позднее Гарп, — что в своей жизни я соприкасался с таким количеством случаев насилия». Очевидно, он имел в виду и ту десятилетнюю девочку в городском парке, и одиннадцатилетнюю Эллен Джеймс, и ужасное общество ее имени — окружавших его мать джеймсианок, искалеченных собственными руками женщин с их символом — немотой. И в итоге он написал роман, который в известной степени стал «продуктом повседневного спроса» и действительно в значительной степени был посвящен насилию. Возможно, особая оскорбительность насилия как преступления заключалась для Гарпа в том, что оно вызывало у него отвращение к самому себе — к собственным мужским инстинктам, в иных случаях вполне естественным. Он никогда не испытывал желания кого-либо изнасиловать; но преступление насильника, как казалось Гарпу, заставляет многих мужчин чувствовать себя

виноватыми по ассоциации.

Впрочем, у Гарпа была и еще одна, личная причина считать себя причастным к насилию: он винил себя в соблазнении Птенчика. Хотя вряд ли это можно назвать насилием. Впрочем, поступок был вполне преднамеренный. Он даже заранее запасся презервативами, точно зная, для чего их использует. Ведь худшие из преступлений как раз преднамеренны? Здесь ведь и речи не было о внезапно возникшей страсти к приходящей няне; нет, Гарп четко планировал свои действия и готовился к той минуте, когда Синди наконец уступила *своей* страсти к нему. Должно быть, это и вызвало у него приступ душевной боли, когда он уронил на пол те презервативы на глазах у старого джентльмена из городского парка: он *знал,* для *чего* их покупал, когда услышал, как старик обвиняет его в том, будто он ищет невинных девочек, чтобы изнасиловать их и сбежать. И ведь правда!

И все же он устраивал себе различные препятствия на пути к телу этой девушки; дважды он прятал презервативы, однако всегда помнил, куда именно их спрятал. И в тот день, когда вечером Синди должна была в последний раз остаться с детьми, Гарп средь бела дня с какой-то даже отча-

янной страстью занимался любовью с Хелен. Им уже пора было одеваться к обеду или, по крайней мере, готовить Дункану ужин, когда Гарп вдруг запер двери спальни и, подхватив Хелен на руки, буквально вытащил ее из платяного шкафа.

— Ты с ума сошел? — спросила она. — Мы же в гости идем.

— Ужасное «плотское вожделение»! — заявил он. — Умоляю, не отвергай меня!

Она поддразнила его:

— Ох, мистер, я никогда не занимаюсь этим, пока не перекушу как следует.

— А я сейчас тобой перекушу! — пригрозил ей Гарп. — Ты такая аппетитная, просто чудо!

— Ой, вот спасибочки! — пискнула Хелен.

— Эй, у вас дверь заперта! — громко сказал Дункан за дверью и постучался.

— Дункан, — крикнул ему Гарп, — пойди посмотри, какая там погода, а потом придешь и нам расскажешь, хорошо?

— Погода? — удивился Дункан, пытаясь штурмом взять дверь спальни.

— По-моему, на заднем дворе идет снег! — крикнул ему Гарп. — Пойди проверь.

Хелен зажала рот, чтобы не расхохотаться, и — чтобы заглушить некоторые другие звуки

— уткнулась в его мощное плечо. Он кончил так быстро, что удивил ее. Дункан прибежал обратно и из-за двери сообщил, что и на заднем дворе, и вообще повсюду весна. И Гарп, поскольку все уже было позади, впустил его в спальню.

Однако ему было мало. Он знал это — возвращаясь домой вместе с Хелен после вечеринки, он совершенно точно знал, где находятся презервативы: под его пишущей машинкой, безмолвствовавшей все те унылые месяцы, что прошли с публикации его первого романа.

— Ты выглядишь усталым, — сказала Хелен. — Хочешь, я отвезу Синди домой?

— Нет, что ты, я совсем не устал, — пробормотал он. — Я отвезу ее.

Хелен улыбнулась ему и потерлась щекой о его губы.

— Мой дикий дневной любовник, — прошептала она. — Ты можешь всегда возить меня в гости после такой разминки — если хочешь, конечно.

Гарп долго сидел с Птенчиком в машине под темными окнами ее квартиры. Он хорошо выбрал время. Колледж заканчивал семестр; Синди собиралась уехать из города. И уже заранее огорчалась, что придется сказать «прощай» любимому писателю; во всяком случае, единственному

писателю, с которым она была по-настоящему знакома.

— Я уверен, следующий год будет для тебя удачным, Синди, — сказал Гарп. — И если ты вернешься, чтобы с кем-нибудь здесь повидаться, пожалуйста, загляни и к нам. Дункан будет скучать по тебе.

Девушка не отрывала взгляда от холодных огоньков на приборной доске, потом вдруг посмотрела на Гарпа — глаза несчастные, мокрые от слез, и самые пылкие чувства написаны на разгоряченном лице.

— А я буду скучать по тебе, — всхлипнула она.

— Нет-нет, — сказал Гарп. — Ни в коем случае. Не надо обо мне скучать.

— Я *люблю* тебя, — прошептала она и неловко уронила свою аккуратную головку ему на плечо.

— Нет, не говори так! — сказал он, не прикасаясь к ней. Пока не прикасаясь.

Тройная упаковка презервативов терпеливо гнездилась у него в кармане, свернувшись точно клубок змей.

В ее пахнущей плесенью квартирке он использовал только один из них. К его изумлению, всю мебель уже вынесли; они сдвинули ее чемоданы и устроили крайне неудобное бугорчатое ложе.

Он был осторожен и не задержался ни на секунду дольше положенного, чтобы Хелен не подумала, что он потратил слишком много времени даже для чисто литературного прощания.

Мощный, вздувшийся от весеннего паводка ручей протекал по территории женского колледжа, и Гарп, распечатав два оставшихся презерватива, лихо швырнул их в воду из окна машины — вдруг какой-нибудь бдительный полицейский в кампусе видел его и уже спускается вниз по берегу, чтобы выудить из ручья вещественные доказательства! А найденные «улики» выведут его прямо к месту «преступления».

Но никто его не видел, никто ничего не нашел, никто ничего не узнал. Даже Хелен, которая уже уснула, не нашла бы ничего странного в запахе «свежего секса»; в конце концов, всего несколько часов назад он вполне законно стал источником этих ароматов. Но Гарп все-таки принял душ и совершенно чистым скользнул в свою удобную и безопасную постель, он свернулся калачиком возле Хелен, которая сонно прошептала ему что-то ласковое и машинально прижала свое стройное бедро к ноге Гарпа. Когда же он не сумел ответить на эту сонную ласку, она повернулась к нему спиной, прижавшись ягодицами к его

животу, и у Гарпа перехватило горло от этого доверчивого прикосновения и от любви к жене. Он с нежностью погладил ее живот и ощутил легкую припухлость — новую долгожданную беременность Хелен.

Дункан рос здоровым и смышленым малышом. Первый роман так или иначе сделал из Гарпа того, кем, по его собственным словам, он и хотел быть. Правда, «плотское вожделение» все еще весьма тревожило молодого писателя, но ему здорово повезло, ибо его жена тоже испытывала к нему не менее сильное «плотское вожделение». И вот теперь второй ребенок станет участником их тщательно спланированного жизненного приключения. Гарп с тревогой ощупывал живот Хелен, надеясь, что дитя вдруг стукнет ножкой, подаст признак жизни. Хотя он и соглашался с женой в том, что было бы хорошо, если б родилась девочка, но все же *надеялся* на второго мальчика.

Почему? — думал он. Он вспоминал ту девочку в парке, и созданный им образ безъязыкой Эллен Джеймс, и трудные решения своей матери. Он чувствовал, что ему очень повезло с Хелен — у нее хватает своих амбиций, и он не может ею манипулировать. Но помнил он и шлюх с ули-

цы Кернтнерштрассе, и Куши Перси (которая впоследствии умрет, пытаясь родить ребенка). И запах Птенчика все еще был на его теле или, по крайней мере, в его памяти, хотя он тщательно вымылся под душем, — запах ограбленного им «беззащитного» Птенчика… Синди плакала от боли под его тяжестью, прижимаясь спиной к горбатому чемодану. Голубая жилка пульсировала у нее на виске — на прозрачном виске светлокожего ребенка. И хотя язык Синди все еще был при ней, сама она была *не в состоянии* говорить с ним, когда он от нее уходил! Гарп не хотел иметь дочь из-за *мужчин.* Из-за *плохих* мужчин, прежде всего. Но, думал он, и из-за таких мужчин, как я сам.

8. Вторые дети, вторые романы, вторая любовь

Родился тоже мальчик, их второй сын. Братишку Дункана назвали Уолт — не Уолтер и уж тем более не Вальтер. Нет, именно Уолт — словно бобер шлепнул хвостом по воде, словно отлично был подан мяч в сквоше! Он точнехонько вписался в их жизни, так что теперь у них было два мальчика.

Гарп начал второй роман. Хелен сменила место работы: стала адъюнкт-профессором на кафедре английского языка в университете штата, расположенном неподалеку, в соседнем городке. Гарп получил возможность ходить в спортзал и играть там со своими мальчиками, а у Хелен порой появлялся какой-нибудь смышленый аспирант, с которым она отводила душу после довольно однообразных занятий со студентами младших курсов; появились у нее и интересные коллеги.

Одним из них был Харрисон Флетчер, специалист по литературе Викторианской эпохи, однако Хелен он нравился совсем по другой причине, чисто личной: он состоял в браке с писательни-

цей. Его жену звали Элис, и она тоже работала над своим вторым романом, хотя еще так и не закончила первый. Познакомившись с ней, Гарп и Хелен дружно решили, что ее запросто можно принять за одну из джеймсианок, так упорно она хранила молчание. Харрисон, которого Гарп стал называть просто Харри, сказал, что так его никто прежде не называл, но Гарп ему нравится, а потому он не возражает против нового имени и оно ему, Харрисону, настолько по душе, словно Гарп сделал ему какой-то особый подарок. Хелен, впрочем, продолжала называть его Харрисоном, но для Гарпа он стал Харри. Харри Флетчер. Так у Гарпа появился первый друг, хотя он и чувствовал, что Харрисон предпочитает общество Хелен.

Ни Хелен, ни Гарп не знали, что им делать с Тихоней Элис, как они ее прозвали.

— Она, должно быть, накатала какой-то здоровенный талмуд, — предполагал Гарп, — и истратила на него все свои слова.

У Флетчеров был пока только один ребенок — девочка, по возрасту, увы, не подходившая ни Дункану, ни Уолту: она попадала как бы между ними. Предполагалось, что Флетчеры непременно заведут еще одного ребенка, как только Элис закончит свой второй роман.

Время от времени Гарпы и Флетчеры обедали вместе, но Флетчеры оказались людьми совершенно «некухонными», готовить ни тот, ни другая не умели, а Гарп как раз настолько увлекся кухней, что даже хлеб пек сам и на плите у него вечно что-то исходило аппетитным паром. Так что чаще всего собирались у Гарпов. Хелен и Харрисон обсуждали книги, учебный процесс и своих коллег; они также ходили вместе на ланч в университетскую столовую и — весьма подолгу! — беседовали вечерами по телефону. А с Гарпом Харри ходил на футбол, на баскетбол и на соревнования по борьбе, и три раза в неделю они играли в сквош, любимую игру Харри и единственный доступный ему вид спорта; но Гарп все равно играл с ним на равных, потому что был куда лучше подготовлен физически и постоянно занимался бегом. Ради этих встреч с Харри за сквошем Гарп подавил даже свое отвращение к мячам.

На второй год этих дружеских отношений Харри сообщил Гарпу, что Элис любит ходить в кино.

— Я-то кино терпеть не могу, — признался Харри, — а ты вроде бы любишь — Хелен сказала, что любишь. Может, пригласишь Элис когда-

никогда?

Во время фильмов Элис Флетчер хихикала, причем особенно если картина была серьезная — почему-то она с недоверием относилась практически ко всему, что видела на экране. Лишь через несколько месяцев Гарп сообразил, что у Элис Флетчер нечто вроде тика; к тому же она не то заикается, не то у нее какой-то еще дефект речи, возможно вызванный психической травмой. Сперва-то Гарп думал, что все дело в попкорне.

— По-моему, у тебя проблемы с речью, да? — спросил он как-то вечером, подвозя Элис домой.

— Та, — сказала она и с готовностью кивнула. Иногда она просто шепелявила, иногда вообще не могла произнести большую часть звуков, а иногда не испытывала никаких трудностей. Возбуждение, похоже, эти трудности значительно усугубляло.

— Как продвигается работа над книгой? — спросил ее Гарп.

— Хорофо, — сказала она. Однажды в кино она вдруг выпалила, что ей понравился его роман «Бесконечные проволочки».

— А хочешь, я прочитаю какую-нибудь из твоих книжек? — спросил ее Гарп.

— Та! — воскликнула она с восторгом, покачи-

вая маленькой головкой и крепкими короткими пальцами терзая юбку на коленях — точь-в-точь как ее дочка, Гарп не раз это видел. Иногда девочка, сама того не замечая, так старательно скатывала в трубочку подол юбки, что становилась видна резинка на трусиках и голый пупок (впрочем, Элис всегда вовремя ее останавливала).

— Извини, но твои неполадки с речью — это что, последствия несчастного случая? — спросил Гарп. — Или врожденное?

— Врожденное, — отчетливо сказала Элис. Машина остановилась возле дома Флетчеров, и Элис вдруг взяла Гарпа за руку, открыла рот и его пальцем указала куда-то в глубину, словно там и крылось объяснение. Гарп увидел маленькие, идеально ровные и крепкие белые зубы и пухлый розовый язык, на вид совершенно здоровый, как у ребенка. Ничего особенного он разглядеть не смог, хотя в машине, конечно, было темновато. Но он бы наверняка и на свету не понял, что там такого *особенного.* Когда Элис закрыла рот, он увидел, что она плачет — и одновременно улыбается, словно этот акт невинного эксгибиционизма потребовал от нее невероятных душевных сил. Во всяком случае, она явно проявила огромное

доверие, и Гарп, кивнув, пробормотал:

— Понятно…

Элис вытерла слезы тыльной стороной одной руки, а другой рукой сжала руку Гарпа.

— У Харрифона ефть любовнифа, — сказала она. Гарп знал, что это не Хелен, но понятия не имел, что думает бедная Элис.

— Это не Хелен, — сказал он.

— Нет, нет, — помотала головой Элис. — Другая женщина.

— Кто же? — спросил Гарп.

— Одна фтудентка! — Элис всхлипнула. — Маленькое тупое нифтофефтво!

Прошло уже года два с тех пор, как Гарп изнасиловал Птенчика, за это время он успел увлечься другой приходящей няней, чье имя, к своему стыду, позабыл. Теперь же он честно считал, что навсегда потерял аппетит к такому «лакомству», как приходящие няни. Но Харри он искренне сочувствовал: Харри был его другом, а к тому же другом Хелен, что еще важнее. Впрочем, Гарп сочувствовал и Элис. В Элис запросто можно было влюбиться, хотя бы потому, что она всегда казалась крайне уязвимой; эту уязвимость она носила на поверхности, точно свитер, весьма соблазнительно обтягивавший ее небольшую

женственную фигурку.

— Мне очень жаль, — сказал Гарп. — Я могу чем-нибудь помочь?

— Пуфть он перефтанет, — сказала Элис.

Сам Гарп всегда «перефтавал» с легкостью, но он никогда не был преподавателем, у которого на уме (и в объятиях) «фтудентки». Возможно, у Харри вовсе и не студентка, а совсем другая женщина. Единственное, что Гарп смог придумать — в надежде, что Эллис станет легче, — это признаться в своих собственных ошибках.

— Так бывает, Элис, — сказал он.

— Но не ф тобой, — возразила она.

— Со мной так было дважды, — сказал Гарп. Элис смотрела на него, потрясенная до глубины души.

— Фкажи правду, — потребовала она.

— Правда в том, — сказал он, — что оба раза это были приходящие няньки.

— Гофподи! — ахнула Элис.

— Но эти девушки ровным счетом ничего для меня не значили, — сказал Гарп. — Я люблю Хелен.

— А эта фтудентка для меня значит! — сказала Элис. — Харрифон делает мне больно. Я фтрадаю. И не могу пифать.

Гарпу было хорошо знакомо состояние писателя, который не может «пифать»; и уже одно это сразу же заставило его чуть ли не влюбиться в Элис.

— Этот поганец Харри завел интрижку, — сообщил Гарп Хелен.

— Знаю, — ответила она. — Я уже сто раз говорила ему, чтобы он прекратил, но он все время возвращается к этой студентке. Даже и девица-то не очень способная.

— Что мы можем сделать? — спросил Гарп.

— Траханое «плотское вожделение», — сказала Хелен. — Твоя мать была права. Это действительно мужская проблема. Вот ты с ним и поговори.

Гарп попытался поговорить с Харрисоном, и услышал в ответ:

— Элис рассказала мне о твоих няньках! Но тут совсем другое. Она — особенная девушка…

— Она твоя студентка, Харри, — сказал Гарп. — Господи, да пойми ты наконец!

— Она — особенная студентка! — возразил Харри. — Да и я не такой, как ты. Между прочим, я сразу же честно предупредил Элис. И она, в общем, сумела как-то к этому приспособиться. Я сказал ей, что она тоже абсолютно свободна и, если хочет, может завести себе любовника.

— Она же не водит знакомств со студентами, — сказал Гарп.

— Зато она хорошо знакома с *тобой,* — заметил Харри. — И она в тебя влюблена!

— Господи, что же нам делать? — спросил Гарп у Хелен. — Представляешь, теперь Харри пытается свести меня с Элис, чтобы она не так болезненно воспринимала его любовные похождения!

— По крайней мере, он был с ней честен, — сказала вдруг Хелен. И повисла та самая тишина, когда слышно, как дышит каждый из присутствующих. В открытые двери верхнего холла доносилось ленивое дыхание Дункана, которому было уже почти восемь лет — целая жизнь впереди; Уолт дышал, как все двухлетние малыши, осторожно, коротко и возбужденно; Хелен — ровно и холодно. Гарп затаил дыхание. Он понимал, что она знает про нянек.

— Харри тебе сказал? — спросил он.

— Ты мог бы рассказать мне об этом раньше, чем Элис, — сказала Хелен. — И кто же была вторая?

— Я забыл, как ее звали, — признался Гарп.

— По-моему, это отвратительно! — возмутилась Хелен. — Недостойно и меня, и тебя самого. Надеюсь, теперь ты уже вырос и избавился от

своих… юношеских недостатков.

— Да, совершенно, — честно признался Гарп. Он имел в виду только то, что действительно перерос свои увлечения приходящими нянями. Но куда деваться от «плотского вожделения»? Ну вот, приехали. Значит, Дженни Филдз была права, указав на одну из проблем, что коренятся в душе любого мужчины и ее собственного сына тоже.

— Нам нужно помочь Флетчерам, — сказала Хелен. — Мы к ним слишком привязаны, чтобы сидеть сложа руки и смотреть, как распадается их семья.

Хелен, с восхищением подумал Гарп, работает над их семейной жизнью так, словно воплощает в жизнь план некоего эссе — вступление, основные идеи, развитие главной темы…

— Харри считает, что эта студентка *особенная,* — заметил Гарп.

— Траханые мужики! — рассердилась Хелен. — Знаешь что, ты пока присмотри за Элис, а я покажу этому Харрисону, что такое «особенная»!

Итак, однажды вечером, когда Гарп приготовил на редкость изысканный ужин — курочку со сладким перцем, — Хелен сказала ему:

— Мы с Харрисоном помоем посуду, а ты отвезешь Элис домой.

— Домой? — удивился Гарп. — Прямо сейчас?

— Заодно покажешь ему свой роман, — обратилась Хелен к Элис. — И вообще — покажешь ему *все что захочешь.* А я намерена показать твоему мужу, какое он дерьмо!

— Эй, перестаньте, — сказал Харри. — Мы же друзья и хотим *остаться друзьями,* верно?

— До чего же ты примитивный сукин сын! — повернулась к нему разъяренная Хелен. — Ты трахаешь студентку и называешь ее «особенной»! Ты оскорбляешь свою жену, ты оскорбляешь меня!.. *Я покажу* тебе, что значит «особенная»!

— Тише, тише, Хелен, — сказал Гарп.

— А ты отправляйся с Элис! — не унималась та. — А свою няньку пусть Элис сама домой отвезет!

— Эй, кончайте! — снова вмешался было Харрисон Флетчер.

— Заткнифь, Харрифон! — наконец-то вымолвила Элис, схватила Гарпа за руку и встала из-за стола.

— Траханые мужики! — кипятилась Хелен.

Гарп, безмолвный, как джеймсианки, повез Элис домой.

— Если хочешь, я могу отвезти вашу няню, — предложил он Элис.

— Только быфтро назад! — сказала Элис.

— Я очень быстро, Элис, — заверил ее Гарп.

Когда он вернулся, Элис заставила его прочесть ей вслух первую главу ее романа.

— Я хочу *все уфлыфать*, — сказала она, — а прочефть как фледует фама не могу.

Так что Гарпу пришлось выполнить ее просьбу, и, к своему огромному облегчению, он обнаружил, что читается ее проза превосходно. Элис писала так легко и изящно, что Гарп мог бы, казалось, даже *спеть* любую фразу, настолько мелодично она звучала.

— У тебя прелестный литературный голос, Элис, — восхитился он, и она заплакала.

А потом они, разумеется, занялись сексом, и, несмотря на то, что оба были уже достаточно опытны в таких делах, получилось действительно нечто особенное.

— Ведь правда? — спросила потом Элис.

— Да, правда, — искренне признался Гарп. Ну вот, думал он, новая беда.

— Что же мы будем теперь делать? — спросила Гарпа Хелен. Примерно тем же способом, каким Гарп утешил Элис, она заставила Харрисона Флетчера забыть свою «особенную» студентку; теперь Харрисон считал, что именно Хелен — «самое

особенное» в его жизни.

— Это же ты все начала, — сказал ей Гарп. — Если считаешь, что нужно прекратить, сама и прекращай.

— Легко сказать! — покачала головой Хелен. — Мне действительно очень нравится Харрисон; он мой лучший друг, и я не хочу терять такого друга. Но я совсем не рвусь спать с ним.

— Зато он рвется! — заметил Гарп.

— Господи, да знаю я! — с досадой сказала Хелен.

— Он считает тебя самой лучшей из всех своих женщин, — сообщил ей Гарп.

— Замечательно! — воскликнула Хелен. — Вот Элис будет рада!

— Элис это даже в голову не приходит, — сказал Гарп. Он-то прекрасно знал, *что* приходит в голову Элис, и очень боялся, что их отношения вдруг прекратятся. И если честно, порой ему тоже казалось, что Элис — самая лучшая из всех его женщин.

— А как у тебя дела с Элис? — спросила его Хелен. («Нет на свете ничего такого, к чему двое относились бы одинаково», — напишет Гарп однажды.)

— У меня все отлично, — сказал Гарп. — Мне

нравится Элис, мне нравишься ты, мне нравится Харри.

— А сама Элис как? — спросила Хелен.

— А Элис нравлюсь я, — сказал Гарп.

— Ничего себе! — воскликнула Хелен. — Значит, мы все очень друг другу нравимся, очень любим друг друга, вот только мне почему-то не очень хочется *спать* с Харрисоном.

— Значит, все кончено, — бодро сказал Гарп, скрывая душевную боль.

Элис была уверена, что это не кончится *никогда.* («Раффе так может быть? А? — плакала она. — Я же не могу профто взять и офтановитьфя!»)

— Ну и что? Так или иначе, теперь все-таки лучше, чем было, правда? — спросила Хелен.

— В общем, ты своего добилась, — согласился Гарп. — Заставила Харри отлипнуть от этой студентки. А теперь можешь дать ему мягкую отставку.

— А как насчет тебя и Элис? — спросила Хелен.

— Если дело кончено для одного из нас, то кончено и для всех, — твердо сказал Гарп. — Иначе будет несправедливо.

— Я понимаю, — сказала Хелен. — Но все нужно сделать *по-человечески.*

Прощания с Элис, как их и воображал себе Гарп,

происходили по одному и тому же страстному сценарию, сопровождались бесконечными заверениями Элис в невозможности разрыва и всегда кончались каким-то яростным сексом на влажных от пота простынях, среди ароматов страстного и сладостного «плотского вожделения». И решение вопроса каждый раз откладывалось.

— По-моему, Элис все-таки немного не в себе, — сказала Хелен.

— Элис — очень хорошая писательница, — возразил Гарп. — Настоящая.

— Траханые писатели! — пробормотала Хелен.

— Харри просто ее не ценит, да он и не способен оценить, насколько талантлива его жена! — Гарп и сам удивился, услышав собственный голос.

— О господи! — прошептала Хелен. — В первый и последний раз я пытаюсь спасти чей-то брак — если не считать моего собственного!

Ей потребовалось шесть месяцев, чтобы дать Харри «мягкую отставку», и в течение этих шести месяцев Гарп виделся с Элис так часто, как только мог, хотя каждый раз предупреждал ее, что их «квадрат» вскоре должен распасться. Говоря это ей, он словно предупреждал и себя самого, ибо его страшила мысль, что Элис придется отдать другому.

— Все теперь иначе — для нас четверых, — неубедительно повторял он, — а потому должно вскоре прекратиться.

— А ф какой фтати? — спрашивала Элис. — Я фто-то не замечаю, чтобы у наф фто-то прекратилофь, верно?

— Пока что нет, — соглашался Гарп. Он читал ей вслух все написанное ею, а потом они так страстно занимались сексом, что даже струйки душа причиняли боль возбужденному телу Гарпа, не говоря уж об одежде.

— Мы ничего не должны прекращать, — твердила Элис. — Мы должны делать это, пока можем.

— Но ты же понимаешь, что это не может длиться вечно? — говорил Гарп Харри, когда они играли в сквош.

— Понимаю, я все понимаю, — соглашался Харри. — Но это так хорошо! И это *пока еще* длится!

Любит ли он Элис? — спрашивал себя Гарп. О та!

— Да, да, — говорил Гарп, энергично кивая. В эти минуты он думал, что любит ее.

Но Хелен, которую меньше всех радовал их «квадрат», начинала страдать по-настоящему; и когда она во всеуслышание заявила, что с нее довольно, пора положить этому конец, то не

скрывала своей радости. Зато остальные трое не скрывали грусти, сознавая, что лишь она одна будет теперь ходить сияющая, а все они погрузятся во мрак добровольной разлуки. Без формального объявления обе стороны установили полугодовой мораторий на встречи друг с другом — кроме абсолютно случайных. Естественно, Хелен и Харри продолжали видеться, поскольку работали на одной кафедре. А Гарп часто встречал Элис в супермаркете. Однажды она нарочно наехала на них с Уолтом своей нагруженной продуктами тележкой; маленький Уолт испугался, поскольку его буквально зажало между бесчисленными пакетами и банками, да и дочка Элис выглядела не менее напуганной.

— Я ифпытываю нафтоятельную потребнофть хотя бы в нефнафительном контакте! — заявила Элис. И как-то вечером, очень поздно, когда Гарп и Хелен уже легли спать, позвонила Гарпу. Трубку сняла Хелен.

— Харрифон у ваф? — спросила Элис.

— Нет, — сказала Хелен. — А что случилось?

— Его нет фо мной! — сказала Элис. — Вот что флучилофь! Я жду Харрифона ффю ночь!

— Хочешь, я приеду и посижу с тобой? — предложила Хелен. — А Гарп поищет твоего Харрисона.

— А Гарп не может пофидеть фо мной? — схитрила Элис. — А ты бы пока поифкала Харрифона.

— Нет, — строго сказала Хелен. — Я приеду и посижу с тобой. По-моему, так будет лучше. Гарп вполне справится с поисками.

— А я хочу Гарпа! — заявила Элис.

— Извини, но его ты получить не сможешь, — отрезала Хелен.

— Профти меня! — зарыдала Элис в трубку, а потом исторгла целый поток бессвязных слов, которые Хелен разобрать не смогла и передала трубку Гарпу.

Гарп проговорил с Элис около часа. Искать «Харрифона» никто и не подумал. Хелен чувствовала, что и без того проделала огромную работу, полгода держа себя и других в ежовых рукавицах, и ожидала, что все остальные хотя бы постараются вести себя адекватно и будут контролировать свои чувства.

— Если Харрисон опять трахает студенток, я действительно ему башку разобью! — сказала Хелен, когда Гарп наконец повесил трубку. — Вот подонок! А кстати: если твоя драгоценная Элис такая уж замечательная и талантливая писательница, то почему же она *не пишет?* Если ей есть что «фказать», то чего же она выбалтывает все

это по телефону?

Гарп понимал, что время все расставит по своим местам. И действительно, время вскоре доказало, как он заблуждался насчет одаренности Элис. У нее, возможно, и был свой собственный, довольно милый «голосок», но она абсолютно ничего не могла довести до конца; она так и не дописала ни свой первый, ни свой второй роман — за все те годы, что они были знакомы с Флетчерами. Да и за все последующие годы тоже. На бумаге она могла очень красиво сказать все что угодно, но — как заметил Гарп в разговоре с Хелен, когда окончательно пресытился Элис, — никогда не была способна добраться до конца. До конца чего угодно. Она не могла «офтановитьфя».

Харри тоже разыграл свою партию не слишком умно. В итоге университет отказался возобновить с ним контракт — горькая утрата для Хелен, которая действительно очень ценила Харрисона как друга. Однако от той студентки, которую Харрисон некогда бросил ради Хелен, оказалось не так легко отделаться; она самым подлым образом донесла на кафедру, что ее соблазнил преподаватель — хотя, разумеется, еще вопрос, кто кого соблазнил. Коллеги Харрисона изумленно подняли брови. И разумеется, поддержку Хелен, когда

решался вопрос о продлении контракта с Харрисоном Флетчером, попросту не приняли всерьез — ибо брошенная девица весьма откровенно описала свои отношения с Харри.

Даже Дженни Филдз — со всеми ее убеждениями и вечной защитой женщин — была согласна с Гарпом в том, что должность преподавателя университета, так легко доставшуюся Хелен (тем более что она была моложе бедняги Харри), следует считать сугубо формальным жестом со стороны английской кафедры. Вероятно, кто-то сказал, что на кафедре нужна женщина на должность адъюнкт-профессора, и тут как раз подвернулась Хелен. Похоже, так считала и сама Хелен; она хотя и не сомневалась в своей компетентности и высокой квалификации, но понимала, что отнюдь не эти качества обеспечили ей контракт в университете.

Однако Хелен ни с какими студентами интрижек не заводила. Пока что. А Харрисон Флетчер совершенно непростительным образом позволил своей сексуальной жизни стать для него главнее работы. Но в итоге он нашел себе другую работу в другом месте, и, возможно, остатки дружбы между Гарпами и Флетчерами уцелели как раз благодаря тому, что Флетчерам пришлось уехать.

И в результате они встречались в лучшем случае раза два в год; расстояние как бы растворило в себе возможные тяжкие обиды и душевные муки. Элис могла «выговаривать» свою безупречную прозу Гарпу только в письмах. Соблазна коснуться друг друга или хотя бы столкнуться тележками в супермаркете более не существовало, и все понемногу успокоились, превратившись в широко распространенную разновидность друзей, — иными словами, были друзьями, когда получали друг от друга весточку или порою встречались. А в иных случаях даже не вспоминали друг о друге.

Гарп выбросил в мусорную корзину свой второй роман и начал *второй* второй роман. В отличие от Элис, Гарп был все-таки настоящим писателем — не потому, что писал лучше и изящнее, чем она, но потому, что хорошо знал обязанности каждого художника, каждого творческого человека; в его собственной формулировке это звучало так: «Ты растешь, только завершая одно произведение и начиная другое». Даже если все эти «начала» и «концы» — просто иллюзия. Гарп писал не быстрее других и не больше; просто он всегда работал, держа в уме мысль о завершении начатого.

Его вторая книга оказалась несколько разбухшей — в плане объема. Он знал, что виной тому

избыток энергии, оставшийся ему от Элис.

Книга была полна мучительных диалогов и секса, который заставлял обоих партнеров страдать, испытывать чувство вины и желание снова и снова возвращаться в объятия друг друга. Этот парадокс отметили несколько рецензентов, которые называли подобное «хождение по кругу» то «блестящим», то «тупым» литературным приемом. Один критик сказал, что роман «горько правдив», однако поспешил подчеркнуть, что именно горечь и обеспечила ему вечный статус «классики низшего порядка». Если бы автор несколько уменьшил количество этой горечи, рассуждал далее критик, то «из-под нее выныр-нула бы еще более чистая правда».

Но куда больше чуши понаписали относительно главной темы романа. Один рецензент упорно развивал мысль, что роман Гарпа, похоже, утверждает, что сексуальные отношения способны открыть человеку самого себя, однако, вступив в половую связь, люди, похоже, теряют ту глубину души, которой обладали. Гарп сказал, что никакой «главной темы» у него вообще не было, а одному интервьюеру весьма ворчливо объяснил, что писал «не серьезную комедию о браке, а сексуальный фарс». Позднее Гарп пояснил, что «уже

сама по себе человеческая сексуальность превращает в фарс любые серьезные намерения».

Но что бы ни говорил Гарп — и что бы ни писали рецензенты, — книга успеха не имела. Уже одно ее название «Второе дыхание рогоносца» смущало практически всех, даже критиков и рецензентов. Книга расходилась гораздо хуже предыдущего романа, и, хотя Джон Вулф уверял Гарпа, что такое часто случается именно со вторыми романами, Гарп впервые в жизни почувствовал, что потерпел поражение.

Джон Вулф, который был хорошим издателем, тщательно оберегал Гарпа от одной особенно ужасной рецензии, пока не сообразил, что Гарп может на нее наткнуться и случайно. Тогда Вулф, переборов себя, послал ему вырезку с этой рецензией из какой-то газеты Западного побережья, приложив к ней собственную записку, где написал, что, согласно упорным слухам, данный критик страдает гормональной недостаточностью. В рецензии прямо и грубо говорилось, что, как ни прискорбно, но Т.С. Гарп, «бесталанный сын знаменитой феминистки Дженни Филдз, написал на редкость отвратительный сексистский роман, причем даже ничуть не поучительный», что он «барахтается в грязном сексе, и это

представляется абсолютно неоправданным ни функционально, ни по конструктивистским соображениям». И так далее.

То, что Гарп вырос в обществе Дженни Филдз, отнюдь не сделало его управляемым и чересчур восприимчивым к чужому мнению, но роман «Второе дыхание рогоносца» не понравился даже Хелен. А Элис Флетчер ни в одном из своих полных любви писем даже не упомянула о новой книге Гарпа.

Этот роман представлял собой историю двух супружеских пар, которые становятся любовниками, создав некий «квадрат».

— О господи! — только и воскликнула Хелен, когда впервые узнала, о чем пишет Гарп.

— Но это же не о нас! — возразил он. — Я совсем не имею в виду конкретную ситуацию. Я просто *творчески ее использую.*

— И ты еще твердишь, что нет ничего хуже автобиографической прозы! — презрительно заметила Хелен.

— Но это же совсем не автобиографический роман! — воскликнул Гарп. — Вот увидишь!

Ничего она не увидела. Хотя героев романа действительно звали не Хелен, Гарп, Харри и Элис, рассказывал он о четверых взрослых людях,

чьи неравноправные и страстные сексуальные отношения в итоге терпят крах.

Вдобавок каждый из четверки страдал каким-либо физическим недостатком. Один слеп, второй так сильно заикается, что его реплики даже читать невозможно без раздражения. Дженни ругала Гарпа за столь дешевый намек на покойного мистера Тинча, но писатели, печально возражал про себя Гарп, — это всего лишь наблюдатели и неплохие, хотя и безжалостные имитаторы поступков других людей. Гарп и не думал обижать бедного мистера Тинча; он просто *использовал* одну из особенностей его поведения.

— А как ты мог так поступить с Элис! — возмущалась Хелен.

Хелен имела в виду физические недостатки, какими Гарп «наградил» женщин. Одна страдает непроизвольными мускульными спазмами, и ее правая рука все время дергается — то взлетает вверх, то делает рывок в сторону; она разбивает винные бокалы, цветочные горшки, вазы, носы детям, а однажды едва не кастрирует собственного мужа (нечаянно, конечно!), неудачно взмахнув кривым садовым ножом. И только ее любовник, муж второй женщины в этом нелепом «квадрате», способен как-то усмирить эти ужасные

неконтролируемые спазмы, только в его объятиях эта женщина впервые в жизни чувствует себя обладательницей безупречного (действительно безупречного!) тела, управляемого ею самой.

Вторая женщина страдает метеоризмом, непредсказуемым и бесконечным скоплением газов в кишечнике. Испускательница газов замужем за заикой, слепой женат на обладательнице опасной правой руки.

Правда, писателей в этой четверке нет. («Мы должны быть благодарны тебе хотя бы за столь мелкие одолжения?» — ехидно спросила Гарпа Хелен.) Одна из пар бездетна и детей иметь не желает. Вторая пара пытается завести ребенка, однако восторги женщины по поводу своей состоявшейся беременности меркнут из-за того, что толком неизвестно, кто же настоящий отец. Пары настороженно наблюдают за поведением новорожденного. Не начнет ли он заикаться? Или без конца пукать? Не будут ли его конечности бесконтрольно дергаться, не окажется ли он слепым? (Гарп воспринимал это как возможность выразить — косвенно — свое отношение к постоянным высказываниям Дженни о *генах.)*

До некоторой степени роман получился вполне оптимистичный, хотя бы потому, что дружба

между парами все же заставляет их порвать любовные связи. Бездетные супруги впоследствии разводятся, окончательно разочаровавшись друг в друге — но совсем не обязательно в результате эксперимента с «квадратом»! Вторая пара продолжает жить вместе, и ребенок их развивается совершенно нормально, без явных физических отклонений. Последняя сцена в романе — случайная встреча двух женщин на эскалаторе в большом универмаге под Рождество. Та, что страдает метеоризмом, едет вверх, а та, у которой неконтролируемые конвульсии, — вниз. Обе нагружены покупками. Когда они оказываются на одном уровне, кишечник той, что страдает метеоризмом, издает немыслимо тонкий дрожащий звук; вторая женщина непроизвольно толкает впередистоящего старика, он выпускает поручень и катится вниз по ступенькам, сбивая с ног великое множество людей. Ведь перед Рождеством эскалаторы всегда забиты покупателями и гудят от людских голосов. К счастью, никто не получает серьезных травм, а в преддверии праздника все можно простить. И две бывшие подруги, уплывая в разные стороны на своих механических конвейерах, мрачно улыбаются друг другу, полные искренней благодарности и сочувствия.

— Это же комедия! — без конца повторял Гарп. — Но ее никто не понимает! Мне казалось, по ней можно бы поставить очень смешной фильм!

Но никто так и не купил у издательства права на массовое издание книги, даже в мягкой обложке.

Учитывая судьбу человека, который мог ходить только на руках, Гарп был слегка помешан на эскалаторах.

Хелен сказала, что у них на кафедре ни разу даже не обсуждали «Второе дыхание рогоносца», тогда как после выхода «Бесконечных проволочек» многие из ее коллег, особенно те, кто хорошо к ней относился, по крайней мере, пытались устроить некую дискуссию. По поводу нового романа Гарпа Хелен заявила, что эта книга — вторжение в ее личную жизнь, а потому Гарп получил по заслугам; впрочем, она надеется, что вскоре он оправится от этого удара и напишет что-нибудь получше.

— Господи, да неужели кому-то могло прийти в голову, что я описал в романе тебя? — спросил у нее потрясенный Гарп. — Какого черта? У тебя что, все коллеги тупицы? Или, может, ты при каждом удобном случае громко выпускаешь

газы? Или на заседаниях кафедры рука у тебя то и дело вылетает из плечевого сустава? Или, может, бедняга Харри когда-нибудь заикался, читая лекции студентам? — уже во весь голос орал Гарп. — Или, может, я слеп?

— Да, ты слеп, — сказала Хелен. — У тебя, конечно, могут быть собственные представления о художественной прозе и реальных фактах жизни, но почему ты решил, что твоя система представлений известна всем прочим людям? Это же *твой* опыт — пусть даже сплошь выдуманный, люди-то все равно будут *считать*, что кто-то из этих женщин списан с меня, а из мужчин — с тебя. Порой я и сама так думаю!

Слепой мужчина в романе был геологом.

— Ну скажи, разве я когда-нибудь интересовался камнями или скакал по горам? — взревел Гарп.

Героиня романа, страдавшая метеоризмом, добровольно выполняла функции больничной сиделки.

— Ты когда-нибудь слышала, чтобы моя мать жаловалась на свой кишечник? — спрашивал Гарп. — Или, может, она писала мне, особо отмечая, что ни разу в жизни не пукнула в больнице — только дома, да и то всегда старалась сдер-

жаться?

Но Дженни Филдз, как выяснилось, тоже была недовольна; она сказала Гарпу, что он выбрал «разочаровывающе узкую тему», практически не имеющую универсального значения.

— Она имеет в виду секс, — сказал Гарп. — Это же классическая мамина лекция на тему о том, что имеет универсальное значение, а что нет. И лекцию эту с упоением читает женщина, которая ни разу в жизни не испытывала полового влечения! Да сам папа римский, обязанный соблюдать обет вечной чистоты, дает разрешение на производство контрацептивов для миллионов людей. Нет, наш мир поистине безумен!

Новой «компаньонкой» Дженни Филдз стал транссексуал ростом шесть футов четыре дюйма, в прошлом знаменитый защитник команды «Филадельфия Иглз»[8] Роберт Малдун. Ныне — Роберта Малдун. После вполне удачной операции по изменению пола вес Роберты снизился с 235 до 180 фунтов. Огромные дозы эстрогена подавили некогда невероятную мощь ее мускулов, отняв, правда, и определенную часть выносливости; Гарп догадывался, что знаменитые «быстрые ру-

---

8 Примечание: 8
Иглз (eagles) — орлы (англ.)

ки» Роберта Малдуна теперь уже не так быстры. Однако Роберта Малдун отлично вписалась в круг близких друзей Дженни Филдз. Она боготворила мать Гарпа. Именно благодаря книге «Сексуально подозреваемая» Роберт Малдун некогда решился на операцию по изменению пола — он прочитал ее как-то зимой, когда после очередной травмы и операции на колене лежал в филадельфийском госпитале.

Дженни Филдз теперь поддерживала Роберту в ее борьбе с телевизионщиками, которые, как утверждала Роберта, втайне сговорились больше не нанимать ее спортивным комментатором на футбольный сезон, а ведь *знания* Роберты о футболе отнюдь не уменьшились даже от лошадиных доз эстрогена, твердила Дженни; волны поддержки, докатываясь из университетских кампусов, сделали двухметровую Роберту Малдун сущей притчей во языцех. Роберта была умна и красноречива и, разумеется, *очень хорошо* разбиралась в футболе; ее яркие комментарии безусловно улучшили бы качество передач, нынешние-то ведущие просто зануды и придурки.

Гарпу Роберта нравилась. Они с удовольствием беседовали о футболе и играли в сквош. Роберта всегда выигрывала у Гарпа первые несколько

сетов — она была сильнее и лучше подготовлена физически, — однако выносливость свою она теперь в значительной степени утратила, а поскольку была гораздо крупнее и тяжелее Гарпа, то и уставала быстрее, а в итоге сдавалась. Роберта быстро уставала и от бесконечных распрей с телевидением, но проявляла огромное терпение в других, более важных вещах.

— Ты, безусловно, украшение этого дурацкого Общества джеймсианок, Роберта, — говорил ей Гарп.

Он всегда гораздо больше радовался визитам матери, если с ней приходила и Роберта. Роберта могла часами гонять в футбол с Дунканом. Она даже обещала взять мальчика на матч с участием «Филадельфия Иглз», что, однако, несколько тревожило Гарпа. Роберта была фигурой скандальной, и кое-кого она безумно злила. И Гарпу все время мерещились всякие нападения на нее и даже теракты, в результате которых Дункан исчезал в бескрайних ревущих просторах футбольного поля в Филадельфии и за ним по пятам гнался насильник-педофил.

Подобные картины возникали в воображении Гарпа прежде всего из-за почты, которую получала Роберта; эти послания прямо-таки сочились

ненавистью, а когда Дженни показала ему кое-какие письма, которые получала она сама и в которых ненависти было не меньше, Гарп встревожился еще сильнее. Этот аспект публичной жизни матери он никогда прежде не принимал во внимание, а ведь иные люди действительно ее ненавидели! Они писали Дженни, что желают ей заболеть раком. Они писали Роберте Малдун, что надеются, что ее (или его?) родителей нет в живых. А одна милая супружеская пара написала Дженни Филдз, что их заветное желание — искусственно оплодотворить ее спермой слона, чтобы она взорвалась изнутри. Это послание так и было подписано: «законные супруги».

Один человек написал Роберте, что всю жизнь болел за «Иглз», ибо даже его дед с бабкой родились в Филадельфии, но теперь он собирается болеть за «Гигантов» или за «Краснокожих» и переехать в Нью-Йорк или в Вашингтон — «или даже в Балтимор, если надо», — потому что Роберта своими дурацкими затеями извратила все его представления о защитниках команды.

Одна женщина писала Роберте Малдун, что очень надеется, что «Окленд рейдерз» изнасилуют Роберту всей командой. Полагая, что «Рейдерз» — самая отвратительная футбольная команда

на свете, эта особа считала, что только они и смогут доказать Роберте, как замечательно быть женщиной.

Школьник-футболист из Вайоминга написал Роберте, что из-за нее ему теперь стыдно оставаться защитником и он переходит в полузащиту — поскольку среди полузащитников вроде бы транссексуалов нет.

А другой студент, нападающий из футбольной команды Мичигана, написал Роберте, что, если она когда-нибудь приедет в Ипсиланти, он хотел бы трахнуть ее, но только пусть она непременно будет в своих футбольных наплечниках.

— Это еще ничего, — говорила Роберта Гарпу. — Твоя мать получает куда более отвратительные письма. И ее ненавидит куда больше людей.

— Мам, — сказал Дженни Гарп, — почему бы тебе со всем этим не «завязать» хоть на время? Возьми отпуск. Напиши еще одну книгу.

Ему никогда и в голову не приходило, что он сам когда-нибудь предложит матери снова взяться за перо. Но сейчас он вдруг увидел в Дженни потенциальную жертву, беззащитную женщину, смело подставляющую себя под удар всей скопившейся в этом мире ненависти и жестокости.

На вопросы журналистов Дженни всегда отве-

чала, что да, конечно, она *пишет* другую книгу; и только Гарп, Хелен и Джон Вулф знали, что это ложь. Дженни Филдз не написала больше ни слова.

— С собой я уже сделала все, что хотела, — говорила Дженни сыну. — Теперь мне интересны только другие люди. А ты беспокойся лучше о себе самом, — мрачновато отшучивалась она, считая, что интровертность Гарпа и его вымышленная, воображаемая жизнь куда опаснее жизни реальной.

На самом деле эта погруженность Гарпа в свой собственный мир пугала и Хелен — особенно когда Гарп не работал над очередной книгой; а после «Второго дыхания рогоносца» он за целый год с лишним не написал ни строчки. Потом он начал было что-то писать, но все это выбросил на помойку. Он писал письма своему издателю — самые сложные, какие Джону Вулфу когда-либо приходилось читать; отвечать же на них было еще труднее. В иных письмах Гарпа было по десять-двенадцать страниц, и на большей части этих страниц Гарп обвинял Джона Вулфа в том, что он не «проталкивает» его роман на книжный рынок

«Но многие восприняли эту книгу буквально

с ненавистью, — пытался урезонить его Джон Вулф. — Как же мы можем „проталкивать“ твой роман?»

«Ты тоже никогда его не поддерживал», — обиженно отвечал ему Гарп.

Хелен в письмах просила Джона Вулфа набраться терпения, но тот и так отлично знал пишущую братию и относился к Гарпу со всем терпением и добротой, на какие был способен.

Временами Гарп писал письма и другим людям. Например, отвечал некоторым особенно ярым ненавистникам Дженни Филдз — в тех редких случаях, когда был указан обратный адрес. Он писал этим людям длинные письма, пытаясь унять их бешеную ненависть.

— Ты, похоже, увлекаешься общественной работой? — заметила как-то Хелен.

Но Гарп даже Роберте Малдун предложил свои услуги — он готов был отвечать и ее ненавистникам, однако у Роберты появился новый любовник, и злоба чужих людей скатывалась с нее как с гуся вода.

— Господи, — говорил Гарп, — сперва ты изменила пол, а теперь еще и любовников одного за другим меняешь! Для футболиста, а ныне обладателя женской груди ты действительно способна

кое-кому действовать на нервы, Роберта!

Они очень подружились и яростно сражались в сквош каждый раз, как Дженни и Роберта приезжали в город, но приезды их были не столь часты, чтобы целиком занимать все свободное время Гарпа, когда он не находил себе покоя. Он часами играл с Дунканом — и страстно мечтал, чтобы и Уолт тоже поскорее подрос и включился в их игры. В нем назревал шторм, закипала буря.

— Третий его роман будет очень большим, — говорил Джон Вулф Хелен, желая ее утешить и чувствуя, что она начинает уставать от Гарпова беспокойства. — Погоди, дай ему время, все уладится.

— Интересно, с чего он взял, что третий роман будет большим? — кипятился Гарп. — Да этого третьего романа еще и в природе не существует! А если учесть, какова судьба моего второго романа, то, можно сказать, что и его тоже не существует. Эти издатели обожают всякие мифы и страшно гордятся собственными пророчествами! Если Джон так много знает насчет чужих третьих романов, почему бы ему не написать свой *собственный* третий роман? И почему он не написал даже *первого!*

Но Хелен только улыбнулась, поцеловала Гар-

па и отправилась с ним в кино, хотя кино она ненавидела. Она была счастлива — интересная работа, всем довольные милые дети, для которых Гарп был прекрасным отцом; он к тому же прекрасно готовил, да и любовью с ней занимался куда более изобретательно, когда не писал, чем когда сидел, по уши погруженный в работу. Что ж, пускай уладится, думала Хелен.

У ее отца, старого доброго Эрни Холма, давно появились признаки серьезной болезни сердца, однако он по-прежнему был счастлив у себя в Стиринге. Вместе с Гарпом он каждую зиму ездил в Айову на большие соревнования по борьбе. Хелен была уверена, что небольшая задержка в творческом процессе вполне естественна и преодолима и надо просто немного потерпеть.

— Ффе придет, — говорила Гарпу по телефону Элис Флетчер. — Нельзя же нафильно зафтавлять фебя пифать!

— Я и не заставляю, — заверил он ее. — Собственно, и оснований нет: в голове-то пусто! — Однако он думал, что желанная Элис, которая никогда ничего не умела довести до конца — даже свою любовь к нему, — вряд ли способна понять, что он имеет в виду.

Затем Гарп тоже получил злобное письмо — от

человека, который весьма живо обосновывал свою обиду на «Второе дыхание рогоносца». И автором письма был отнюдь не слепец и не заика, страдающий метеоризмом и непроизвольными хореическими движениями конечностей! В общем, это было именно то, чего Гарпу недоставало, чтобы вытащить себя из болота уныния.

> Дорогой Какашка![9] Прочла я твой романчик. Ты, похоже, считаешь чужие проблемы очень смешными, да? Я тут твой портретик видела: жирная такая рожа, прячущаяся в густой волосне. С такой рожей ты можешь, конечно, смеяться над лысыми людьми. Но в своей жестокой книге ты смеешься над теми, кто не способен получить оргазм, и над теми, кому не посчастливилось в браке, и над теми, чьи жены или мужья им неверны. А ведь тебе, жалкий писателишка, следовало бы знать, что самим этим людям их проблемы смешными совсем не кажутся. Ты погляди вокруг, Какашка! Это же не мир, а одр страданий! Люди мучаются, но

9 Примечание: 9
Писал оскорбленный автор письма

никто не верит в Бога, никто как следует не воспитывает своих детей. Ну а у тебя, Какашка, видно, вообще никаких проблем! Вот ты и смеешься над теми, у кого их навалом!

Искренне Ваша, (миссис) Ай. Би. Пул, Финдли, Огайо.

Это письмо подействовало на Гарпа точно здоровенная оплеуха; редко доводилось ему чувствовать себя так фундаментально непонятым. Почему люди уверены, что если ты «комик», то не можешь одновременно быть и «серьезным»? Гарп чуял, что большинство людей путает «глубину» с «серьезностью», а «искренность» с «глубиной». Очевидно, если ты *звучишь* серьезно, значит, ты серьезен. Предположим, некоторые животные (не люди!) не умеют смеяться над собой, а Гарп считал, что смех сродни сочувствию, в котором, собственно, мы больше всего и нуждаемся. Он, в общем, и в детстве обладал не слишком развитым чувством юмора и никогда не был религиозен. Так, может быть, он и собственную комедию воспринимает более серьезно, чем другие?

Но для Гарпа очень болезненным было то, что его видение мира другие толкуют как *насмешку.* А от сознания того, что именно искусство выста-

вило его жестоким в глазах людей, он испытывал острое ощущение безнадежного провала. Очень осторожно, словно разговаривая с потенциальным самоубийцей, уже приготовившимся к прыжку с верхнего этажа незнакомого иностранного отеля, Гарп написал своей читательнице из города Финдли, штат Огайо:

> Дорогая миссис Пул!
>
> Вы правы: наш мир — одр страданий; люди страдают безмерно, и очень немногие из нас действительно верят в Бога и воспитывают своих детей должным образом. Верно и то, что люди, у которых есть серьезные проблемы, как правило, никогда не считают свои проблемы «смешными».
>
> Хорас Уолпол[10] однажды сказал, что этот мир комичен для тех, кто думает, и трагичен для тех, кто чувствует. Надеюсь, Вы согласитесь со мной: говоря так, Хорас Уолпол несколько упрощает наш мир. Безусловно, мы с вами и думаем, и чувствуем. Ну а комическое и

10 Примечание: 10

Хорас (Горацио) Уолпол (1717–1797) — английский писатель, романист и эссеист.

трагическое в нашем мире, миссис Пул, давным-давно смешалось. По этой причине я никогда не мог понять, почему «серьезный» и «смешной» — качества обязательно несовместимые? Для меня лично истинно простое противоречие: человеческие проблемы действительно зачастую смешны, а люди тем не менее зачастую печальны.

Я очень сожалею, однако, что Вам представляется, будто я смеюсь над людьми или даже их высмеиваю. Напротив, я воспринимаю людей очень серьезно. Это единственное, что я действительно воспринимаю очень серьезно. А потому и не испытываю ничего, кроме симпатии, к поступкам людей — и с помощью смеха лишь хотел бы иногда их утешить.

Смех — это моя религия, миссис Пул. Как и последователи других религий, я сознаю, что моя вера в спасительные возможности смеха почти безнадежна. Позвольте рассказать Вам одну маленькую историю, чтобы проиллюстрировать это мое утверждение. Дело было в Бомбее, в Индии, где очень многие каждый день

умирают от голода; но голодают отнюдь не все жители Бомбея.

Так вот, бомбейцы из тех, что не голодают, праздновали свадьбу и устроили в честь жениха и невесты настоящий пир. Некоторые из приглашенных гостей приехали на слонах. Они и не думали «выпендриваться», как сказали бы наши дети, а просто использовали слонов как транспортное средство. Хотя нас подобное «средство передвижения» и может поразить своей излишней пышностью. Я не думаю, что эти гости считали себя очень уж важными. Многие из них, возможно, и не несли прямой ответственности за то, что их братья-индийцы по всей стране умирают от голода; они просто как бы взяли на этот вечер «тайм-аут» от собственных и мировых проблем, желая весело отпраздновать свадьбу друзей. Но если Вы из тех индийцев, что умирают с голоду, и видите, что за воротами богатого дома происходит пышное свадебное торжество, а у ворот стоят слоны, увешанные цветочными гирляндами, у Вас, возможно, возникнет в душе некоторое

недовольство и раздражение.

Далее происходит следующее: кое-кто из подгулявших гостей начинает поить слонов пивом. Опустошив несколько ведерок со льдом, они наполняют их пивом и, пошатываясь, выходят на улицу, где и начинают поить слонов. Слонам пиво нравится. И веселые гости приносят им еще.

Кто знает, как пиво подействует на слона? Эти люди не хотят ничего дурного, они просто веселятся — и вполне вероятно, в целом их жизнь далеко не так уж и весела. Возможно, им просто необходима эта вечеринка, чтобы забыть о собственных горестях. Однако ведут они себя все же глупо и безответственно.

Если кто-либо из многочисленных голодных индийцев видел, как пьяные свадебные гости накачивают слонов пивом, он наверняка испытывал гнев и возмущение. Но, надеюсь, Вы понимаете, что я ни над кем не смеюсь.

Ну а потом, естественно, перепивших гостей просят покинуть свадьбу — из-за абсолютно непристойного обращения со

слонами, весьма неприятного остальным гостям. Никто не может осуждать других гостей за подобные чувства; некоторые из них, возможно, думали, что таким образом предотвратят ситуацию, которая «вполне могла выйти из-под контроля», хотя людям никогда особенно не удавалось этому помешать.

Итак, наши весельчаки, обиженные и возбужденные выпивкой, взгромоздились на своих слонов и двинулись прочь с этой выставки чужого счастья, разумеется, налетая на оставшихся слонов, потому что их слоны тоже изрядно опьянели после стольких ведерок пива, поднесенного хозяевами. Хоботы пьяных слонов мотаются туда-сюда, словно плохо пристегнутые искусственные ноги. Одно огромное животное настолько плохо держалось на ногах, что задело электрический столб и свалило его на землю, оборвав провода, находящиеся под током; провода рухнули на массивную слоновью голову, и того мгновенно убило током, как и развеселых свадебных гостей, что сидели на нем.

Миссис Пул, пожалуйста, поверьте: я отнюдь не нахожу это «смешным»! Но вот мимо проходит один из голодающих индийцев. Он видит, что свадебные гости высыпали на улицу и оплакивают смерть своих друзей и смерть принадлежавшего им слона; все рыдают, рвут на себе свои нарядные одежды, рассыпают по земле отличную еду, проливают прекрасные напитки. И вот что делает этот голодный индиец: он ныряет в толпу гостей, пока они отвлечены неожиданным несчастьем, и крадет немножко вкусной еды и питья для своей голодающей семьи. А потом принимается хохотать до упаду над тем, что случилось с пьяными весельчаками и их слоном. В сравнении со смертью от голода такой способ умереть, должно быть, представляется вечно голодному человеку смешным или, по крайней мере, спасительно скорым. Однако свадебные гости воспринимают это совершенно иначе. Для них это трагедия; они говорят только о «трагическом происшествии», и, хотя, вероятно, могли бы простить «отвратительному попро-

шайке» присутствие на их пиру — и даже стерпеть, что он украл их пищу, — они никогда не простят ему, что он смеялся над их мертвыми друзьями и мертвым слоном их друзей.

Свадебные гости, возмущенные поведением нищего (его смехом, а не кражей еды и не его лохмотьями!), топят его в одном из тех пивных ведер, из которых покойные весельчаки поили своих слонов. Так, в соответствии со своими понятиями, они «восстанавливают справедливость». Мы видим, что это — история о классовой борьбе, и, конечно же, она вполне «серьезна». Но мне все же хотелось бы считать ее комедией, хотя в основе сюжета — настоящее несчастье — ведь глупые люди всего-навсего (и довольно нелепым способом) попытались «овладеть ситуацией», сложности которой им никогда не постигнуть, хотя она и состоит из вечных и самых тривиальных компонентов! В конце концов, при участии такой громадины, как слон, могла сложиться и куда более опасная и трагическая ситуация.

Надеюсь, миссис Пул, мне удалось до-

статочно ясно выразить Вам свои мысли. Но, так или иначе, я весьма благодарен Вам за то, что Вы потрудились написать мне: я очень ценю любые отклики своих читателей — даже самые критические.

Искренне ваш, «Какашка».

Гарп всегда был склонен к излишествам. Он даже обычные письма писал как бы в стиле барокко; он верил в силу преувеличений, и его художественная проза страдала теми же излишествами. Гарп никак не мог забыть первое письмо миссис Пул, так сильно его огорчившее, однако ее ответ на его напыщенное письмо явно расстроил его еще больше.

Дорогой мистер Гарп,

(отвечала миссис Пул)

Вот уж не думала, что Вы станете утруждать себя ответным письмом ко мне. Вы, должно быть, больной? Я вижу по Вашему письму, что Вы верите в себя, и это, наверное, хорошо. Но то, о чем Вы толкуете, большей частью, по-моему, полная чушь, и я не желаю, чтобы Вы впредь предпринимали попытки что-то мне разъяснить,

ведь это ужасно скучно и оскорбительно для меня как мыслящего человека.

Ваша Айрин Пул.

Гарп, как и его представления о мире, был исполнен внутренних противоречий. Он, например, был очень щедр и великодушен к другим, но одновременно и чудовищно нетерпелив. Он сам отмеривал, сколько его времени и терпения заслуживает каждый. Он мог довольно долго стараться быть милым, пока не решал вдруг, что пробыл милым уже достаточно, и тогда просто поворачивался спиной к ничего не понимающему человеку и, буквально рыча от злости, уходил.

Дорогая Айрин!

(писал Гарп миссис Пул)

Вам нужно либо вообще перестать читать книги, либо читать их гораздо внимательнее.

Дорогой Какашка! (писала Айрин Пул)

Мой муж говорит, что если ты еще раз мне напишешь, то он собьет из твоих мозгов мусс.

От всего сердца, миссис Фиц Пул

Дорогие Фици и Айрин! (тут же ответил Гарп) Ну и .... с вами!

Так в этой переписке он утратил свое чувство юмора, заодно отняв у окружающего его мира и свое сочувствие.

В «Пансионе „Грильпарцер“» Гарпу все же удалось сыграть на двух струнах — комедии и сострадания. Этот рассказ не унижает своих героев — ни чрезмерной резкостью оценки, ни какими-либо преувеличениями, использованными для достижения более высокой цели. Не кажутся они и более сентиментальными, чем нужно, ведь это могло бы обесценить их искреннюю, затаенную печаль.

Однако подобное равновесие в повествовании Гарп, как ему казалось, теперь утратил. Его первый роман (так считал он сам) страдал от перегруженности историей фашизма, к которой он, Гарп, не имел никакого реального отношения. Во втором своем романе он слишком приблизился к реальной действительности и страдал от того, что ему не удалось *достаточно многое вообразить* — то есть он чувствовал, что не сумел с помощью воображения выйти достаточно далеко за пределы своего весьма заурядного жизненного опыта. Расставание Гарпа с этим романом произошло

довольно-таки холодно; вскоре он уже видел в нем просто еще один «реальный», но довольно обычный эксперимент.

Теперь Гарпу представлялось, что он слишком счастлив, что он слишком погряз в радостной жизни с Хелен и детьми. Он чуял опасность: ему уже казалось, что следует ограничить свои писательские возможности весьма простым и обычным способом: писать исключительно о себе. Однако, выныривая из собственного мира и глядя по сторонам, Гарп отовсюду видел лишь приглашение притворяться и дальше. Воображение начинало подводить его — он утрачивал «ощущение неяркого огонька». Когда кто-нибудь спрашивал, как идет работа над новым романом, он лишь коротко и жестоко шутил в ответ, подражая бедной Элис Флетчер: — Я зафтрял.

9. Вечный муж

На «желтых страницах» телефонного справочника Гарп обнаружил, что «Брак» помещен рядом с «Бревнами» и примерно там же находятся всякие Бюро по продаже бытовой техники, кленового сахара, морского оборудования. Рядом с «Браком» располагались «Брачные конторы». Гарп как раз искал раздел о пиломатериалах, когда наткнулся на «Бревна» и «Брак»; у него были заготовлены совершенно невинные вопросы насчет брусьев «два на четыре», когда раздел «Брак» привлек его внимание и вызвал к жизни еще более интересные и волнующие вопросы. Гарпу, например, никогда не приходило в голову, что существует куда больше брачных контор, чем контор по торговле пиломатериалами. Но это, разумеется, зависит от того, где ты живешь, подумал он. В сельской местности людям, наверное, больше приходится иметь дело с пиломатериалами, верно? Гарп был женат уже почти одиннадцать лет; за это время ему не слишком часто приходилось прибегать к советам контор, торгующих бревнами, и еще меньше — к советам брачных контор. И

не из-за личных проблем Гарп с таким интересом листал «желтые страницы», а из-за того, что в последнее время часто думал о том, каково это — иметь постоянное место работы.

Например, там был «Центр христианской помощи по вопросам брака» и «Совет по брачным делам в религиозных общинах», и Гарп тут же представил себе добродушного вида чиновников от религии с сухими мясистыми руками, которые они то и дело потирают от удовольствия. Говорят они, конечно же, круглыми влажными фразами, похожими на мыльные пузыри, например, так «У нас нет ни малейших сомнений в том, что Церковь способна существенно помочь в разрешении индивидуальных проблем вроде вашей. Для индивидуальной проблемы и решение всегда следует искать индивидуальное; да и собственную индивидуальность следует беречь; однако же, как свидетельствует наш опыт, многие люди нашли свою собственную индивидуальность *только* в Церкви».

И при этом перед ними сидит расстроенная супружеская пара, которая надеялась получить ответ на весьма злободневный вопрос: является ли оргазм мифом или реальностью?

Гарп отметил, что духовные лица охотно вы-

ступают в роли советников: в списке числились и «Лютеранская социальная служба», и некий преподобный Дуэйн Кунц (имевший медицинский «диплом»), и некая Луиза Нагль, которая занимала должность «советника всех душ» в «Бюро брачных и семейных услуг США» (оно, видимо, и выдало ей соответствующий «диплом»). Гарп карандашиком нарисовал маленькие нолики рядом с фамилиями брачных советников, принадлежавших к подобным религиозным союзам. Они все, конечно же, предложат любой супружеской паре исключительно оптимистичный совет, в этом Гарп не сомневался.

Он был несколько менее уверен в точке зрения тех советников, что имели несколько более «научную» подготовку; как был не слишком уверен и в самой «научной» подготовке. Один назвался «дипломированным психологом-клиницистом», другой просто поставил после своей фамилии «магистр медицины, клиницист»; Гарп знал, что подобные вещи могут означать все что угодно, в том числе и абсолютно ничего. Аспирант-социолог, бывший менеджер. Один, например, именовал себя «б. н.», возможно указывая, что он специалист в области ботанических наук. Другой носил титул «Ph D», доктор наук — но

каких? В области брака? В области медицины? Или философии? И кто из всех этих «докторов» даст лучший совет? Один специализировался в «групповой терапии»; кто-то, возможно просто более скромный, обещал лишь «психологическую экспертизу».

Гарп выбрал себе двух фаворитов. Первым был д-р О. Ротрок — «выработка у пациентов ощущения собственной значимости; принимаются банковские карточки».

Второй был М. Нефф — «только по предварительной записи». После имени значился лишь номер телефона. Никаких дипломов, званий и прочих квалификаций. А может, это просто Высшее Невежество? Все возможно. Если бы мне понадобился совет, подумал Гарп, я бы начал с М. Неффа. Д-р О. Ротрок с его банковскими карточками и «выработкой у пациентов ощущения собственной значимости» наверняка шарлатан. Но М.Нефф — это гораздо серьезнее; у М. Неффа безусловно есть свое видение мира, Гарп был уверен.

Гарп еще немного полистал раздел «Брак» и вскоре подошел в плотную к Масонству, Материнству и Матам (только один пункт, за городом, указан телефон в Стиринге и имя Эрни Холм.

Тесть Гарпа перетягивал борцовские маты — в качестве хобби, приносящего небольшой доход. Однако Гарп и не подумал о своем старом тренере; пролистал Маты и Матрасы, не обратив внимания на знакомое имя). Затем наступила очередь Мавзолеев и Мясоперерабатывающего оборудования (см. Пилы). Хватит. Мир оказался слишком сложен. И Гарп вернулся к разделу «Брак».

Потом из школы вернулся Дункан. Старшему сыну Гарпа уже исполнилось десять — высокий мальчик с таким же, как у Хелен, худеньким и нежным лицом и большими светло-карими глазами. Кожа у Хелен была нежная, золотисто-смуглая, цвета светлой дубовой древесины, и Дункан унаследовал эту прелестную кожу. От Гарпа он взял нервозность, упрямство, приступы непонятной тоски и слезливой жалости к самому себе.

— Пап? — спросил Дункан. — Можно мне сегодня переночевать у Ральфа? Это очень важно.

— Что? — переспросил Гарп. — Нет. Когда?

— Ты что, опять телефонную книгу читал? — спросил Дункан.

Он знал: когда Гарп читает телефонную книгу, то обратиться к нему — все равно что разбудить. Гарп часто читал телефонную книгу в поисках

подходящих имен. Он всегда выбирал имена для своих персонажей из телефонной книги, а когда дело с писательством стопорилось, читал телефонную книгу, снова и снова пересматривая имена своих героев. Когда Гарп путешествовал, то первым делом искал в комнате очередного мотеля телефонную книгу и обычно увозил ее с собой, попросту крал.

— Пап! — снова окликнул Гарпа Дункан; он полагал, что отец опять пребывает в телефоннокнижном трансе, среди своих выдуманных героев.

А Гарп и в самом деле уже позабыл, что сегодня листал телефонную книгу отнюдь не по вопросам художественного творчества, а в поисках нужных сведений о пиломатериалах. Теперь его занимал вопрос, какой же смелостью (или наглостью?) обладает М. Нефф и каково быть советником по брачным вопросам.

— Ну пап же! — еще громче крикнул Дункан. — Если я не перезвоню Ральфу до ужина, его мать не разрешит мне к ним прийти.

— Ральф? — спросил Гарп. — Ральфа здесь нет.

Дункан подпер кулачком свой изящный подбородок и округлил глаза; точно так же подпирала подбородок и Хелен.

— Ральф у *себя* дома, — сказал Дункан, — а я у *себя*. И я хотел бы сегодня переночевать у Ральфа — с Ральфом.

— Только не в будни, ведь тебе завтра в школу, — сказал Гарп.

— Сегодня же пятница! — воскликнул Дункан. — Господи, папа!

— Не ругайся, Дункан, — сказал Гарп. — Когда придет мама, можешь спросить у нее. — Он и сам понимал, что весьма неуклюже уклоняется от прямого ответа сыну. Гарп относился к этому Ральфу с подозрением — хуже того, он *боялся* отпускать Дункана на ночь к Ральфу, хотя Дункан уже не раз ночевал у Ральфа. Ральф был постарше, и этому мальчику Гарп почему-то не доверял; вдобавок Гарп недолюбливал мать Ральфа — она часто уходила куда-то по вечерам и оставляла мальчиков одних (Дункан сам рассказывал). А Хелен однажды назвала ее «неряхой» — это слово всегда очень занимало Гарпа (как и женщины, которых так называли). Отец Ральфа дома не жил, так что «неряшливость» матери Ральфа усугублялась ее статусом «брошенной» жены.

— Я *не могу* ждать, пока придет мама, — сказал Дункан. — Мать Ральфа сказала, что ей нужно знать до ужина, приду я или нет; иначе я вообще

могу не приходить.

За ужин отвечал Гарп, и мысль об этом несколько отвлекла его. Интересно, который сейчас час, подумал он. Дункан, похоже, приходит домой в самое разное время.

— А почему бы тебе не предложить Ральфу переночевать у нас? — спросил Гарп. Знакомая уловка. Ральф часто ночевал у Дункана, тем самым избавляя Гарпа от волнений по поводу беспечного поведения миссис Ральф (он никак не мог запомнить фамилию Ральфа).

— Ральф *всегда* у нас ночует, — сказал Дункан. — И я тоже хочу переночевать *там.*

И что же вы там намерены делать? — подумал Гарп. Выпить, покурить травку, помучить кошек, пошпионить за случайной любовной сценой в спальне миссис Ральф? Но Гарп понимал, что Дункану всего десять лет и он на редкость чистый ребенок — и очень осторожный. Возможно, мальчикам просто нравилось оставаться одним в доме, где Гарп не улыбается, слушая, как они разговаривают друг с другом, и без конца не спрашивает, не хотят ли они того или другого.

— А может, ты позвонишь миссис Ральф и спросишь, нельзя ли тебе перезвонить чуть позже, когда придет твоя мама и ты сможешь точно

сказать, придешь к ним или нет? — предложил Гарп сыну.

— О господи! «Миссис Ральф»! — простонал Дункан. — Мама же, как всегда, скажет: «Я не против. Пойди спроси папу».

Умный парнишка, подумал Гарп. Он чувствовал, что попал в ловушку и вот-вот выпалит, что страшно боится, как бы миссис Ральф не подожгла дом и не спалила их всех заживо ночью, когда сигарета, с которой она уснет, упадет на подушку и ее волосы вспыхнут… Больше ему было нечего сказать…

— Ладно, ступай! — сказал он сердито. Он даже не знал, курит ли мать Ральфа. Она ему просто не нравилась — с виду. И Ральфа он подозревал в дурных наклонностях только потому, что мальчик был чуть постарше Дункана.

Впрочем, Гарп подозревал большую часть людей, к которым тянуло его жену и детей; он испытывал неутолимую потребность защищать их, тех немногих, кого любил всем сердцем, от коварных «всех остальных». Бедная миссис Ральф была не единственной жертвой, опороченной его параноидальным воображением. Я должен чаще выходить из дома, бывать на людях, думал Гарп. Будь у меня постоянная работа… Эта мысль

приходила к нему каждый день, и он подолгу ее обдумывал, поскольку сейчас ничего не писал.

В мире практически не было такой работы, которая бы его привлекала, и уж точно не было такой, для которой он имел бы достаточную квалификацию. Он прекрасно знал, что умеет делать очень и очень немногое. Он мог, например, писать книги и, когда действительно писал, когда работа спорилась, верил, что пишет очень неплохо. Но в основном он думал о постоянной работе, так как испытывал необходимость побольше узнать о других людях, преодолеть свое недоверие к ним. Работа, по крайней мере, заставила бы его вступать в контакты с другими людьми, ведь, если его не заставить силой с кем-то общаться, он предпочтет сидеть в одиночестве дома.

Из-за своего стремления стать писателем он никогда, собственно, и не задумывался всерьез о приобретении какой-нибудь профессии или о постоянной работе. Теперь же именно из-за желания стать настоящим писателем он думал, что постоянная работа вне дома ему необходима. Мне не хватает знания людских характеров, я далеко не все могу вообразить себе, думал он, но, возможно, истинная причина заключалась в том, что ему очень мало кто *нравился.* И он уже

слишком давно не писал ничего такого, что бы нравилось ему самому.

— Ну, я пошел! — крикнул Дункан, и Гарп встрепенулся.

У мальчика за спиной громоздился ярко-оранжевый рюкзак, желтый спальный мешок был аккуратно свернут и привязан к рюкзаку снизу. Гарп сам выбирал их — такие мешок и рюкзак сразу заметишь издалека.

— Я тебя подвезу, — сказал Гарп, но Дункан снова округлил глаза.

— Так ведь машина же у мамы! А она еще с работы не вернулась. Ты что, пап?

Ну разумеется; Гарп глуповато усмехнулся. Потом увидел, что Дункан садится на велосипед, и крикнул ему вслед:

— Может, лучше пешком прогуляешься?

— Зачем это? — спросил Дункан с досадой.

Чтобы твой позвоночник не пострадал, когда тебя посреди улицы собьет машина, и за рулем будет психованный подросток, или пьяный мерзавец, или старик, у которого случился сердечный приступ, думал Гарп, чтобы твоя чудесная, теплая детская грудь не превратилась в кашу, ударившись о бордюрный камень, чтобы твоя прелестная головка не треснула, как орех, когда

ты вылетишь на середину тротуара и какой-нибудь кретин завернет тебя в старую тряпицу, словно ты чей-то щенок, которого он отыскал в сточной канаве, а зеваки тут же выбегут на улицу и начнут гадать: «Это чей же? Похоже, он из того зеленого с белым дома, что на углу улицы Вязов». А потом кто-нибудь привезет тебя домой, позвонит у двери и скажет: «Ох, простите, мне очень жаль, но это случайно не ваш?» — и укажет на окровавленный грязный тючок на заднем сиденье машины. Но вслух Гарп сказал лишь:

— Ладно, Дункан, поезжай на велосипеде. Только осторожней!

Он смотрел, как Дункан пересек улицу, миновал дом напротив, перед поворотом внимательно осмотрелся («Хороший мальчик! Не забыл посигналить рукой, что поворачивает, — но, возможно, это он только сейчас так сделал — ради моего спокойствия...»). Вообще-то это был тихий, спокойный пригород маленького университетского городка; удобные зеленые участки, домики на одну семью — в основном здесь жили преподаватели университета со своими семьями; иногда, правда, попадался и дом побольше, разбитый на отдельные квартиры, — в таких обычно селились аспиранты. Мать Ральфа, видимо, считала себя

вечной аспиранткой, хотя теперь в ее распоряжении находился целый дом и она была явно старше, чем Гарп. Ее бывший муж, сотрудник университета, по всей вероятности, платил и за ее обучение, но потом они расстались. Гарп вспомнил: Хелен рассказывала, что, по слухам, муж миссис Ральф изменил ей с какой-то студенткой.

Возможно, миссис Ральф — исключительно хороший человек, думал Гарп; во всяком случае, у нее есть ребенок, и она без сомнения его любит. Она также явно хотела бы как-то изменить свою жизнь. Ах, если бы только она была *осторожнее,* — думал Гарп. Осторожность необходима, а люди этого не сознают. Ведь любая мелкая неосторожность может легко все испортить!

«Привет!» — сказал кто-то. А может, ему только показалось? Гарп огляделся, но если с ним кто и поздоровался, то уже успел уйти — а может, его и вообще не было. Он вдруг заметил, что стоит босиком (ноги замерзли, ведь весна только-только начиналась) на тротуаре перед собственным домом и в руках у него телефонная книга. Он бы предпочел продолжить свои размышления о том, кто такой этот М. Нефф, в чем заключается его бизнес и какие брачные советы он может давать, однако время было уже позднее — нужно

готовить ужин, а он еще и в магазин не ходил. Супермаркет находился в одном квартале от них, и Гарп слышал ворчание его огромных холодильных установок (они, собственно, и выбрали этот район, чтобы Гарп мог быстро дойти до магазина и купить все, что нужно, поскольку машиной пользовалась Хелен для поездок на работу. Кроме того, здесь было гораздо ближе и до парка, где Гарп мог заниматься бегом). Огромные вентиляторы на задней стене супермаркета засасывали неподвижный воздух из проходов между стеллажами и выдували его наружу, разнося легкие запахи съестного по всему кварталу. Гарпу они даже нравились. У него поистине была душа повара.

Он проводил дни, пытаясь писать, занимаясь бегом и стряпней. Вставал рано и готовил завтрак для себя и детей; на ланч никто домой не приходил, так что Гарп в это время тоже никогда не ел, зато каждый вечер готовил настоящий обед для всей семьи. Этот ритуал он очень любил, однако качество стряпни во многом зависело от того, насколько хорошо он поработал за письменным столом и насколько хорошо пробежался. Если работа над книгой шла плохо, он изгонял из себя дурное настроение долгой утомительной

пробежкой, но иногда неудачный день за столом так его изматывал, что у него хватало сил пробежать в лучшем случае милю. Тогда Гарп старался «спасти день», приготовив что-нибудь особенно вкусное.

Впрочем, Хелен никогда не могла определить по приготовленным блюдам, как именно прошел у Гарпа день; если он подавал что-нибудь особенное, это могло означать и маленькую победу за письменным столом, и то *единственное,* что в этот день у него получилось хорошо. В общем, порой лишь возня на кухне и спасала Гарпа от отчаяния. «Если ты тщателен в выборе продуктов, — писал позднее Гарп, — если используешь только качественные ингредиенты, а не всякие завалявшиеся в холодильнике остатки, то практически всегда можешь приготовить нечто вкусное и питательное. И порой приготовленный тобою обед — единственный стоящий результат целого трудового дня. А вот когда сидишь за письменным столом, можешь, кажется, иметь под рукой все необходимое, а в голове — все составляющие будущего романа, можешь сколько угодно времени отводить работе, уделять ей максимум внимания, и все же в результате не получить ни-че-го! Это справедливо и в отношении любви.

А потому именно приготовление пищи способно сохранить разум человеку интеллектуального труда, который очень старается получить хоть какие-то результаты».

Гарп вошел в дом и поискал, во что бы обуться. Он практически постоянно носил кроссовки — их было у него множество, все разные и более или менее изношенные. Гарп и дети вообще всегда ходили в чистой, практичной, но довольно мятой одежде. Дело в том, что Хелен всегда относилась к покупке одежды очень разумно, но стиркой занимался Гарп, который категорически отказывался гладить. Сама же Хелен гладила только свои вещи и изредка — рубашку для Гарпа. Вообще-то глажка белья была, пожалуй, единственной работой по дому, которую Гарп ненавидел. Стряпня, занятия с детьми, стирка, уборка — все это он делал охотно. Готовил мастерски; детей воспитывал хорошо и с удовольствием, хотя и несколько напряженно; уборку дома делал без особой охоты, но тщательно, проклиная разбросанную где попало одежду, грязные тарелки и игрушки, но никогда не отступался и с поистине маниакальной последовательностью всегда убирал разбросанные вещи. Порой по утрам, прежде чем сесть писать, Гарп рысью пробегал по дому

с пылесосом в руках или скоростным способом чистил плиту на кухне. Дом Гарпов всегда был вполне чисто прибран, однако в нем всегда чувствовалась некая поспешность, с какой наводили порядок. В своем стремлении к порядку Гарп просто выбрасывал множество вещей на помойку, из-за этого в доме вечно чего-нибудь не хватало. Он, например, мог месяцами не заменять перегоревшие электрические лампочки, пока Хелен не спохватывалась, заметив, что живут они практически в темноте, сгрудившись по вечерам возле тех двух светильников, что еще работают. Точно так же Гарп подолгу забывал купить мыло или зубную пасту.

Хелен, безусловно, по мере сил участвовала в ведении домашнего хозяйства, однако Гарп никакой ответственности за ее начинания на себя не брал. Например, купив очередное комнатное растение, Хелен либо помнила, что его нужно поливать, либо несчастное растение загибалось без воды. Стоило Гарпу увидеть, что листья у цветка поникли, пожелтели или побледнели, как он немедля вышвыривал его в мусорный бак. И лишь спустя немало времени Хелен вдруг спохватывалась:

— Где наш красный арронсо?

— А, этот дурацкий цветок! — равнодушно откликался Гарп. — По-моему, он чем-то заболел: я видел на нем червяков. И он мне весь пол своей хвоей усыпал.

В общем, так Гарп управлялся с домашним хозяйством.

Наконец Гарп отыскал свои желтые кроссовки и надел их. Потом положил телефонную книгу в тот шкаф, где хранил крупногабаритную кухонную утварь (он рассовывал телефонные книги по всем шкафам, а потом мог разнести дом в клочья, чтобы найти именно ту, которая ему в данный момент требовалась). Немного подумав, он налил оливкового масла в чугунную сковороду с длинной ручкой и, пока масло разогревалось, порезал луковицу. Было уже поздно готовить настоящий ужин, он ведь так и не сходил в магазин. Ну да ничего: сделает томатный соус, отварит макароны и приготовит салат из свежих овощей; найдется и буханка отличного хлеба собственной выпечки. Так что в магазин можно сходить и после того, как он приготовит соус, ведь нужно купить только зелень и овощи. Гарп еще быстрее заработал ножом (теперь он резал свежий базилик), но очень важно ничего не бросать на сковороду, пока масло не нагреется до нужной

температуры — оно должно быть очень горячим, но не подгорать. В процессе приготовления пищи есть свои тонкости! Как и в писательском труде, здесь нельзя спешить, Гарп это отлично знал и никогда не спешил — ни в том, ни в другом.

Когда зазвонил телефон, он так рассердился, что швырнул горсть лука на сковороду и обжегся брызгами шипящего масла. «Черт», — он пнул шкафчик рядом с плитой, сломав ручку на дверце; дверца открылась, и из шкафчика выскользнула телефонная книга. Несколько секунд Гарп смотрел на нее. Потом ссыпал на сковороду сразу весь лук и весь базилик и убавил огонь. Сунув обожженную руку под струю холодной воды и постанывая от боли, он другой рукой наконец снял телефонную трубку.

(Ах, мошенники! — думал Гарп. Разве выдаются какие-то дипломы или квалификационные удостоверения, дающие право на *советы по браку?* Несомненно, деятельность этих ловкачей требует внимательнейшего расследования!)

— Ты застала меня в самый разгар возни с этой траханой сковородой! — рявкнул он в трубку, посматривая, как коричневеет в горячем масле лук. Собственно, в такую минуту он мог нахамить любому, ибо не было на свете человека, которого,

позвони тот в неурочный час, он побоялся бы обидеть; в этом, кстати, заключалось одно из преимуществ отсутствия постоянной работы. Его издатель Джон Вулф в таких случаях обычно лишь замечал, что манера Гарпа отвечать по телефону просто лишний раз подтверждает его, Вулфа, глубокую убежденность, насколько Гарп вульгарен. Что же касается Хелен, то она давно привыкла к его хамским ответам по телефону и не обращала на это внимания; а друзья и коллеги, звонившие самой Хелен, давно уже представляли себе Гарпа как диковатое существо, весьма напоминающее медведя. Но если звонил Эрни Холм, Гарп всегда чувствовал раскаяние, хотя и мимолетное; тренер всегда так долго извинялся, что помешал ему, что это приводило Гарпа в полное замешательство. Ну а Дженни Филдз всегда — и Гарп это прекрасно знал — готова была ответить ему криком: «Снова врешь! Какой там „разгар“! Ты и „разгара“-то никогда не испытывал — живешь, точно тлеешь!» (Услышав звонок, Гарп очень надеялся, что это не Дженни.) В данный момент ни одна другая женщина позвонить ему не могла. Разве что воспитательница из детского сада… вдруг с маленьким Уолтом что-нибудь стряслось? Или, может, Дункан хочет сказать,

что у него на спальном мешке сломалась молния или что он сам сломал ногу… В обоих случаях Гарп, конечно, пожалел бы, что так злобно зарычал в телефонную трубку. Дети есть дети, и они бесспорно имеют право заставать своего отца в разгар чего угодно — и обычно именно так и поступают.

— В самый разгар *чего,* дорогой? — услышал он голос Хелен. — Надеюсь, она хотя бы достаточно мила?

По телефону голос Хелен всегда звучал слегка вызывающе и сексапильно, что всегда удивляло Гарпа, ведь Хелен совсем не любила поддразнивать мужчин и даже к флирту склонности не имела. Хотя он считал ее очень сексапильной, в ней не было ни капли пресловутой «завлекательности» — ни в одежде, ни в манере общения с внешним миром. И все же по телефону голос Хелен звучал для него порой совершенно непристойно, и так было всегда.

— Я обжегся! — сказал он трагическим тоном. — Масло чересчур разогрелось, а я в него с размаху весь лук высыпал. А в чем, собственно, дело-то?

— Бедный ты мой, — сказала она, все еще поддразнивая его. — Ты не оставил никакой записки у Пам. — Пам была секретаршей у них на кафедре;

Гарп тщетно пытался припомнить, какую записку он должен был у нее оставить. — Ты сильно обжегся? — спросила Хелен.

— Нет, — буркнул он. — *Какую* записку ты имеешь в виду?

— Про деревяшку два на четыре, — сказала Хелен.

Пиломатериалы, вспомнил Гарп. Он собирался обзвонить склады, выяснить, сколько будет стоить брусок сечением два на четыре, и заказать нужное количество таких брусков, чтобы Хелен забрала их по дороге домой. Теперь он вспомнил, что из-за «Брачных советов» так и не добрался до «Пиломатериалов».

— Я совсем забыл, — сказал он, уже зная, что Хелен сейчас предложит альтернативный план; она поняла, что он обо всем забыл еще до того, как позвонила ему.

— Обзвони их сейчас, — предложила она, — а я перезвоню тебе из детского сада, когда заеду за Уолтом. И мы с ним вместе заберем эти деревяшки. Уолт любит такие места.

Уолту исполнилось пять лет, и он уже посещал подготовительную группу или детский сад — как это заведение ни назови, тамошняя атмосфера всеобщей безответственности постоянно

служила для Гарпа причиной жутких ночных кошмаров.

— Ладно, — сказал Гарп. — Сейчас обзвоню. — Он беспокоился о томатном соусе и терпеть не мог «зависать» в подобных разговорах с Хелен, когда что-нибудь кипело на плите или же совершенно не клеилась работа над романом. — Я, кстати, нашел себе интересную работенку, — сообщил он ей.

Хелен помолчала, но недолго.

— Ты — писатель, дорогой мой, — сказала она спокойно. — У тебя *уже* есть интересная работенка.

Иногда Гарп просто в панику впадал от таких слов: ему начинало казаться, будто Хелен хочет навеки засадить его дома, поскольку тогда проблемы ведения домашнего хозяйства разрешались для нее самым удобным образом. Однако и для него это было чрезвычайно удобно; как раз этого ему и хотелось. Во всяком случае, он так думал.

— Мне нужно помешать лук, — буркнул он, прерывая ее. — И ожоги чем-нибудь смазать.

— Ладно. Непременно постараюсь еще разок позвонить именно тогда, когда ты будешь «в самом разгаре» чего-нибудь, — весело поддраз-

нила его Хелен, и в ее сочном голосе послышался легкий отзвук вампиризма; это одновременно и нравилось ему, и вызывало раздражение.

Он помешал лук, раздавил полдюжины помидоров и вывалил их в горячее масло; затем добавил перец, соль и орегано. Позвонил он только на склад пиломатериалов, который был ближе всего к детскому саду Уолта. Хелен слишком уж дотошна в некоторых вещах — вдруг начинает сравнивать цены и тому подобное, хотя иногда ему это в ней очень нравилось. Дерево есть дерево, рассудил Гарп, и лучше всего купить несколько брусков нужного размера с сечением 2x4 на складе, ближайшем к дому.

Консультант по вопросам *брака* — снова подумал Гарп, растворяя столовую ложку томатной пасты в чашке теплой воды и добавляя все это в соус. Почему, интересно, самые серьезные дела всегда поручают шарлатанам? Что может быть серьезнее *консультаций по вопросам брака?* И все-таки «брачный консультант» стоит в иерархии доверия ниже хиропрактика. Судя по тому, как многие врачи-психиатры поносят хиропрактиков, может, на советников по вопросам брака они и вовсе чихать хотели? С другой стороны, сам Гарп больше всего на свете хотел бы начихать

именно на психиатров — на этих опасных упростителей жизни, этих похитителей личностной оригинальности и сложности. Для Гарпа презренные психиатры замыкали длинную вереницу всех тех, кто не в состоянии разобраться даже в собственных неурядицах.

Психиатр подходит к вороху чужих проблем, не имея к ним ни малейшего уважения. Главная его цель — прочистить мозги; Гарп считал, что обычно это делается (если вообще делается) простым отбрасыванием всех проблем — как бы за ненужностью. Действительно, самый простой способ навести чистоту, Гарп и сам это знал. Но в том-то и дело, что проблемы нужно не отбрасывать, а *использовать*, заставляя их работать на тебя. «Тебе, *писателю,* легко говорить! — как-то заявила ему Хелен. — Творческие люди многое могут использовать, а большинство людей не может, им попросту не нужны все эти проблемы. Мне, например, точно не нужны. Интересный бы из тебя получился психиатр! Ну, вот что бы ты сделал, если бы какой-нибудь бедолага, который понятия не имеет, что ему делать с накопившимися проблемами, пришел к тебе и сказал, что просто хочет от всех своих проблем избавиться? Полагаю, ты посоветовал бы ему *написать*

о них, верно?» Гарп хорошо помнил этот разговор и даже помрачнел; он понимал, что и сам порой слишком упрощает вещи, которые его раздражают, однако был убежден, что психиатры упрощают все на свете.

Когда Хелен снова позвонила, он сказал ей:

— Контора по продаже пиломатериалов возле Спрингфилд-авеню. Это рядом с тобой.

— Я знаю, где это, — сказала Хелен. — А ты только туда позвонил?

— Дерево есть дерево, — сказал Гарп. — И бруски два на четыре везде одинаковы. Так что отправляйся на Спрингфилд-авеню, у них все уже готово.

— А какую интересную работу ты нашел? — спросила Хелен; Гарп понимал, что она все это время думала о его словах.

— Консультации по вопросам брака, — сказал Гарп; томатный соус булькал на плите, кухня наполнилась аппетитным ароматом. Хелен некоторое время уважительно молчала на том конце телефонной линии. Гарп понимал, что ей трудно спросить, какими документами он сможет подтвердить свою пригодность для подобного занятия.

— Ты же писатель, — снова спокойно сказала

она.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Гарп. — Писатель отдает годы жизни исследованию непроходимой трясины человеческих отношений и часами гадает, что же роднит всех людей на свете. Неудача в любви, сложности в нахождении компромисса, потребность в сострадании? — Голос Гарпа уже гремел.

— Ну так и *напиши* об этом! — предложила Хелен. — Чего тебе еще надо? — Она прекрасно знала, что последует далее.

— Искусство никому помочь не способно, — назидательно сказал Гарп. — Люди не могут воспользоваться им на деле не могут ни съесть его, ни прикрыть им свою наготу, ни устроить с его помощью кров над головой; а если они больны, никакое искусство не сделает их здоровыми.

Хелен прекрасно знала, что такова основная установка Гарпа, который считал искусство изначально бесполезным и отвергал мысль о том, что оно имеет хоть какую-то общественную ценность. Две вещи нельзя смешивать, считал он: искусство и помощь людям. И утверждал, что сам он, например, толком не умеет ни того, ни другого — в конце концов, он ведь сын своей матери. Однако, и это делает ему честь, он воспринимал

искусство и общественную деятельность как занятия совершенно различные и считал, что возникает уйма сложнейших проблем, когда некоторые ничтожества пытаются эти занятия соединить. Гарпу всю жизнь досаждала собственная уверенность, что литература относится к предметам роскоши; он-то мечтал, чтобы она была ближе к земле и доступнее, — но терпеть не мог, когда она такой становилась.

— Ладно, я поехала за деревяшками, — сказала Хелен.

— И если моя профессиональная деятельность не обеспечивает меня необходимой квалификацией, — упрямо бубнил Гарп, — у меня есть и иной опыт: я, как ты знаешь, и сам довольно давно женат. — Он помолчал. — И у меня есть дети. — Он снова помолчал. — И у меня немалый опыт в области быта, так или иначе имеющей отношение к браку…

— Значит, Спрингфилд-авеню? — уточнила Хелен. — Хорошо, я скоро приеду.

— Да у меня опыта для такой работы более чем достаточно! — гнул свое Гарп. — Я знаю, что такое финансовая зависимость, я знаю, что такое супружеская неверность…

— И очень хорошо, — сказала Хелен и повесила

трубку.

А Гарп подумал: советы по поводу брачных отношений, пожалуй, все равно попахивают шарлатанством, даже если их дает по-настоящему квалифицированный специалист. Наконец он тоже повесил телефонную трубку. Понял, что придумал для «желтых страниц» на редкость удачное объявление — даже врать не придется:

ФИЛОСОФИЯ БРАКА, а также
СОВЕТЫ, КАК ПОСТРОИТЬ
И СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ,
Т.С. ГАРП, автор «Бесконечных проволочек» и «Второго дыхания рогоносца»

К чему добавлять, что это романы? Гарпу казалось, названия его книг звучат как названия учебников по сохранению брака.

Интересно, продолжал размышлять он, где лучше встречаться с клиентами — дома или в офисе?

Гарп взял зеленый перец, водрузил его прямо на середину газовой горелки и прибавил огня. Перец быстро почернел, и Гарп, дав ему остыть, легко соскреб обгоревшую кожицу. Обжаренный таким способом перец всегда очень сладкий; теперь его нужно нарезать ломтиками и положить в

маринад из масла и уксуса с щепоткой майорана. Получится отличная заливка для салата. Больше всего Гарп любил делать именно такую заливку, потому что подгорающий перец наполнял кухню прямо-таки дивным ароматом.

Он положил на горелку вторую перчину, потом перевернул ее щипцами, а когда она совсем обуглилась, ловко подхватил ее и бросил в раковину. Перчина сердито зашипела. «Можешь ругаться как угодно, — ласково сказал ей Гарп. — Все равно времени у тебя почти не осталось».

Он был в некоторой растерянности. Обычно он предпочитал не думать ни о чем серьезном, когда готовил еду, — хотя, честно говоря, скорее заставлял себя выбросить из головы все заботы и тревоги. Но сейчас как раз страдал от того, что не с кем посоветоваться насчет работы «консультантом по вопросам брака».

— Тебе просто не с кем поговорить по душам о твоих *писательских* делах, — сказала Хелен, входя в кухню. Она сказала это еще более авторитетным, чем всегда, тоном; свеженарезанные бруски два на четыре торчали у нее из-под мышки точно автоматы.

Уолт сказал:

— А папа что-то сжег!

— Это перец. Я *специально* его обжег, — сказал сынишке Гарп.

— Каждый раз, как тебе не пишется, ты делаешь какую-нибудь глупость, — сказала Хелен. — Хотя, должна признаться, что эта идея насчет работы гораздо лучше предыдущей.

Гарп ожидал, что она будет готова к разговору, но все же его удивило, *насколько* хорошо она подготовилась. То, что Хелен назвала «предыдущей идеей», возникшей при очередном застое в работе, была связь с той приходящей няней.

Гарп глубоко погрузил деревянную ложку в томатный соус и вдруг краем глаза заметил, что какой-то осел на такой скорости завернул за угол их дома, что истошно взвизгнули шины, взревел мотор, и… Гарп инстинктивно поискал глазами Уолта: мальчик был рядом — в полной безопасности, на кухне.

— А где Дункан? — спросила Хелен и шагнула было к двери, но Гарп быстро преградил ей путь.

— Дункан ушел к Ральфу, — сказал он.

На этот раз он не беспокоился, что машина, мчавшаяся на огромной скорости, непременно собьет Дункана, однако у Гарпа была привычка охотиться на таких любителей автомобильных гонок по улицам. Ему действительно удалось по-

настоящему запугать местных лихачей. Улицы вокруг дома Гарпа были разделены на квадраты соответствующими предупреждающими знаками; и обычно Гарп мог бегом догнать любую машину, если она, подчиняясь знакам, останавливалась на перекрестках.

Он бежал по улице, следуя за ревом той машины. Иной раз, когда нарушитель ехал слишком быстро, Гарп нагонял его, лишь миновав три или четыре стоп-знака. Однажды ему пришлось устроить настоящую спринтерскую пробежку на целых пять кварталов, и он настолько выдохся, когда нагнал-таки нарушителя, что водитель был уверен: где-то поблизости произошло убийство, и Гарп либо пытается сообщить ему об этом, либо сам и является убийцей.

Обычно Гарп производил на лихачей сильное впечатление; даже если они потом и поливали его отборной бранью, то с ним неизменно бывали очень вежливы и без конца извинялись, заверяя, что больше никогда не будут ездить тут с такой скоростью и т. д. Им не требовалось объяснять, что Гарп находится в прекрасной физической форме. В большинстве это были молокососы — первокурсники университета или старшеклассники, — которых ничего не стоило смутить,

особенно если в машине сидела подружка или если они только что, оставив на проезжей части чуть дымящийся след горелой резины, лихо притормозили перед домом девушки. Гарп не был так глуп, чтобы думать, будто они тут же и перевоспитаются; он хотел только, чтобы они гоняли на своих автомобилях где-нибудь в другом месте.

В данном случае лихачом оказалась женщина. Догоняя ее машину, Гарп видел, как поблескивают ее серьги и браслеты. Она как раз собиралась рвануть с места после остановки у очередного стоп-знака, когда Гарп постучал своей деревянной ложкой по ветровому стеклу машины, чем страшно перепугал незнакомку. Капающий с ложки томатный соус на первый взгляд выглядел точно капли крови.

Гарп подождал, пока она опустит боковое стекло, и хотел уже сказать: «Простите, я, возможно, несколько напугал вас, но не могли бы вы оказать лично мне небольшую услугу?..» — когда вдруг узнал ее: это была мать Ральфа — пресловутая миссис Ральф. Дункана и Ральфа Гарп не заметил; в машине она сидела одна и явно только что плакала.

— В чем дело? — спросила миссис Ральф. Гарп не понял, узнала она его или нет.

— Простите, я, возможно, несколько напугал вас… — начал он и умолк, не зная, что еще сказать этой женщине с опухшим лицом и размазанным макияжем (видимо, она только что выясняла отношения с бывшим мужем или с очередным любовником). Бедняжка явно очень болезненно воспринимала приближение «среднего возраста», опасаясь его, как эпидемии гриппа. Она вся была какая-то помятая, глаза красные, мутные.

— Простите, — пробормотал Гарп; он искренне сочувствовал ей, ибо вся ее жизнь казалась ему потраченной совершенно бессмысленно. Ну как скажешь такой, что нужно ездить помедленней?

— В чем дело? — снова спросила она.

— Я отец Дункана, — сказал Гарп.

— Я это прекрасно знаю. А я мать Ральфа.

— Знаю. — И он улыбнулся.

— Итак, отец Дункана знакомится с матерью Ральфа, — иронично заметила она. И вдруг расплакалась, уткнувшись лицом в руль и нечаянно нажав на кнопку гудка. От резкого звука она тут же выпрямилась, задела руку Гарпа, пальцы его разжались, и он выронил свою деревянную ложку прямо ей на колени. Томатный соус отвратительным пятном расплылся на ее помятом бежевом платье, и они оба так и уставились на

это пятно.

— Вы, должно быть, думаете, что я плохая мать? — спросила миссис Ральф.

Гарп, всегда помнивший о правилах безопасности, всунулся в окно, протянул руку и выключил двигатель. Ложку он решил пока оставить у нее на коленях. Сущее наказание — он никогда не умел скрывать свои чувства от других людей, даже от незнакомцев, и, если он действительно думал о ком-то с презрением, этот человек каким-то образом сразу это чувствовал.

— Я понятия не имею, какая вы мать, — сказал он вслух. — Но Ральф — очень милый мальчик, по-моему.

— Он может быть сущим дерьмецом, — возразила она.

— Может, вы бы предпочли, чтобы Дункан не ночевал сегодня у Ральфа? — спросил Гарп с *надеждой.* Ему казалось, она и не знает, что Дункан собирался ночевать у Ральфа. Она молча смотрела на ложку, лежавшую у нее на коленях.

— Это томатный соус, — сказал Гарп. И очень удивился, когда миссис Ральф взяла ложку и облизала ее.

— Вы повар? — спросила она.

— Да, я люблю готовить, — сказал Гарп.

— Очень вкусно! — Миссис Ральф отдала ему ложку. — Мне бы такого мужа, как вы, — мускулистого маленького трахальщика, который любит готовить.

Гарп сосчитал в уме до пяти и, взяв себя в руки, сказал:

— Я с удовольствием приду и заберу мальчиков к нам. Ральф может переночевать вместе с Дунканом, если вам хочется побыть одной.

— Одной! — выкрикнула она. — Да я *все время* одна! Мне *приятно,* когда мальчики со мной. И *им* тоже приятно! А вы знаете *почему?* — Миссис Ральф лукаво на него посмотрела.

— Почему? — спросил Гарп.

— Они любят смотреть, как я принимаю ванну, — сказала она. — Там в двери трещина. Правда мило, что Ральф любит показывать приятелям свою старушку мать?

— Да, — сказал Гарп, — очень мило.

— Вы это не одобряете, верно, мистер Гарп? — спросила она. — И меня тоже очень не одобряете.

— Мне жаль, что вы так несчастливы, — сказал Гарп. На сиденье с нею рядом среди прочего хлама он заметил томик Достоевского в мягкой обложке: «Вечный муж». Гарп вспомнил, что

миссис Ральф вроде бы учится в аспирантуре.

— Вы на чем специализируетесь? — спросил он ее как последний дурак и тут же вспомнил, что она так и не закончила университет. Возможно, все дело в том, что она не сумела заставить себя написать диплом и защитить его.

Миссис Ральф покачала головой.

— А вы что же, не суете свой нос в чужие дела? И сплетников не слушаете? — спросила она Гарпа. — Как давно вы женаты?

— Почти одиннадцать лет, — ответил он. Выражение лица миссис Ральф почти не изменилось; она успела прожить с мужем двенадцать лет.

— Ничего с вашим мальчиком у меня в доме не сделается, — сказала она, вдруг раздражаясь; похоже, она очень точно прочитала его мысли. — Можете не волноваться. Я вообще-то вполне безобидна — с детьми, — прибавила она. — И в постели не курю.

— Я не сомневаюсь, что мальчикам даже полезно посмотреть, как вы принимаете ванну, — сказал Гарп и тут же смутился, хотя именно это он сказал совершенно искренне.

— Не знаю, — сказала она задумчиво. — Похоже, моему мужу это было не так уж полезно, а уж он-то подглядывал за мной много лет. — Она

подняла глаза на Гарпа, у которого уже рот болел от вымученных улыбок. Лучше коснись ее щеки или погладь по руке, думал он; по крайней мере, *скажи* что-нибудь! Но доброту Гарп всегда проявлял чрезвычайно неуклюже, а привычки флиртовать с женщинами и вовсе не имел.

— Знаете, мужья порой ведут себя просто смешно, — пробормотал Гарп, консультант по вопросам брака, прямо-таки переполненный полезными советами! — И вряд ли они понимают, чего, собственно, им хочется.

Миссис Ральф горько рассмеялась:

— Мой муж нашел себе девятнадцатилетнюю мокрощелку, и, похоже, именно этого ему и хотелось.

— Мне очень жаль, — сказал Гарп. Консультант по вопросам брака всегда обречен сожалеть, как невезучий врач из тех, кому приходится диагностировать исключительно безнадежные случаи.

— Вы ведь писатель? — сказала миссис Ральф обвиняющим тоном и взмахнула томиком «Вечного мужа». — Что вы думаете об этой книжке?

— Замечательная история, по-моему! — К счастью, эту книгу он неплохо помнил — искусно усложненная, полная извращений и противоречий человеческой природы.

— А по-моему, *отвратительная!* — заявила миссис Ральф. — Хотелось бы мне знать, что в Достоевском такого особенного?

— Ну, — промямлил Гарп, — видимо, психологическая сложность характеров, эмоциональный надрыв… да и ситуации, в которые он помещает своих героев, тоже зачастую весьма сложны и двусмысленны…

— У него женщины — это даже не вещи! — возмущенно сказала миссис Ральф. — Они и *формы-то* никакой не имеют! Просто голые идеи, которые мужчины обсуждают и с которыми забавляются! — Она вышвырнула книжку из окна, явно стараясь попасть в Гарпа, и угодила ему прямо в грудь. Книжку он ловить не стал, она упала на тротуар. Миссис Ральф стиснула кулаки, вновь заметив пятно на платье, большущее, красное. — Господи, да я же вся в этом соусе! — воскликнула она.

— Простите, честное слово, я не хотел! — сказал Гарп. — К сожалению, пятно может остаться навсегда.

— Все пятна остаются навсегда! — выкрикнула миссис Ральф. И засмеялась таким безумным смехом, что Гарп даже испугался, но промолчал. И она вдруг сказала: — Спорим: вы уверены, что ме-

ня нужно как следует оттрахать, только и всего!

Честно говоря, Гарп крайне редко думал *так* о людях, но, когда миссис Ральф произнесла это вслух, он *действительно* так подумал. И в данном случае, как ему показалось, это сверхпростое решение всех проблем вполне могло подойти.

— И спорим: еще вы уверены, что я позволю *именно вам* сделать это! — Глаза ее гневно сверкнули. Гарп, по правде говоря, действительно был в этом уверен, но вслух сказал:

— Ну что вы! Такое мне и в голову не приходило.

— Неправда! Вы думаете, я бы *с удовольствием.* — сказала миссис Ральф.

Гарп набычился и сказал твердо: — Нет.

— Ну что ж, *вам-то* я как раз могла бы и позволить! — Он вскинул на нее глаза, и она ответила ему злой усмешкой. — Возможно, это несколько сбило бы с вас спесь.

— Вы ведь меня почти не знаете, почему же вы говорите со мной таким тоном? — возмутился Гарп.

— А я вижу, насколько вы самодовольны, — уверенно заявила миссис Ральф. — Думаете, вы просто супер.

Верно. В глубине души Гарп всегда считал, что

он просто супер. А теперь он к тому же знал, что консультант по вопросам брака из него получится весьма вшивый.

— Пожалуйста, водите машину осторожнее, — сказал он ей наконец и оттолкнулся от дверцы. — Если я могу вам чем-то помочь, пожалуйста, звоните.

— Например, если мне понадобится хороший *любовник!* — неприязненным тоном спросила миссис Ральф.

— Нет, не в этом случае, — сказал Гарп.

— А почему вы меня остановили? — спросила она.

— Потому что вы ехали слишком быстро!

— Ну вот что: по-моему, ты просто напыщенный вонючка! — разозлилась она.

— А ты просто безответственная неряха! — парировал Гарп, и она вскрикнула так, словно он пырнул ее ножом. — Знаете, вы уж меня извините, — снова смутился он, — но я сейчас приеду и заберу Дункана.

— Нет, не надо! *Пожалуйста.* — вырвалось у нее. — Я умею заботиться о детях. И действительно хочу, чтобы он побыл у Ральфа. Не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Я буду смотреть за Дунканом как за собственным сыном! — Послед-

нее заявление, надо сказать, Гарпа отнюдь не успокоило. — И не такая уж я неряха, особенно если у нас ребята дома, — прибавила она и даже сумела изобразить некое подобие улыбки.

— Еще раз извините, — точно припев, пробубнил Гарп.

— И вы меня тоже, — сказала миссис Ральф таким тоном, словно все проблемы между ними были решены. Тронув с места машину, она преспокойно проехала мимо знака на перекрестке, призывавшего остановиться, и даже не посмотрела по сторонам. Ехала она довольно медленно, зато прямо по середине дороги. Гарп вздохнул и помахал ей вслед деревянной ложкой.

Затем подобрал с тротуара книжку «Вечный муж» и пошел домой.

10. Собака в переулке, ребенок в небесах

Мы должны немедленно забрать Дункана из дома этой сумасшедшей бабы! — с порога выдохнул Гарп.

— Ну так пойди и забери, — ответила ему Хелен. — Раз уж это тебя так волнует.

— Жаль, ты не видела, *как* она водит машину! — сказал Гарп.

— Ну, вряд ли Дункан собирался кататься с нею на машине, — попыталась успокоить его Хелен.

— Но она может, например, взять мальчиков и повезти их куда-нибудь — например, в пиццерию, — предположил в отчаянии Гарп. — Я уверен: готовить она не умеет!

Хелен молча листала «Вечного мужа». Потом сказала:

— Довольно странная книга для подарка — от одной женщины мужу другой.

— Она мне ее не дарила, Хелен! Она этой книжкой в меня *швырнула!*

— Прелестно! — ядовито заметила Хелен.

— И она сказала, что это *мерзкая* книга! — с

отчаянием продолжал Гарп. — Она, видите ли, считает, что Достоевский несправедлив по отношению к женщинам.

Хелен озадаченно на него посмотрела.

— По-моему, это давно уже не предмет для обсуждения, — сухо заметила она.

— Ну конечно! Я же сказал, она просто идиотка! Вот моей матери она бы непременно понравилась.

— Ах, бедная Дженни, — сказала Хелен. — Нечего на нее наговаривать.

— Доедай наконец свои макароны, Уолт! — напал Гарп на младшего сынишку.

— А ты держи выше свою базуку! — ответил Уолт.

— Здорово сказано, Уолт, — скорбно заметил Гарп, — но только никакой базуки у меня нет.

— Нет, есть! — заявил Уолт.

— Он не знает, что это такое, — вмешалась Хелен. — И я тоже не уверена, что знаю.

— Пять лет! — сокрушенно покачал головой Гарп. — А ты знаешь, Уолт, что говорить такие слова нехорошо?

— Он это наверняка у Дункана подцепил, — сказала Хелен.

— А Дункан — у Ральфа! — сказал Гарп. — А

тот, несомненно, у своей мамочки, черт бы ее побрал!

— Ты сам-то попридержи язык, — сказала Хелен. — Уолт с тем же успехом мог подхватить это словечко и у тебя.

— Нет уж! — воскликнул Гарп. — Я и сам не уверен, что понимаю, что оно означает. Я этого слова и не употреблял никогда.

— Да ты часто даже не замечаешь, какие именно слова употребляешь дома, — сказала Хелен.

— Уолт, доедай наконец макароны! — рассердился Гарп.

— Успокойся, — сказала Хелен.

Гарп смотрел на остывшие макароны в тарелке Уолта как на личное оскорбление.

— И впрямь, чего мне беспокоиться? — сказал он горько. — Ведь ребенок все равно ничего не ест!

Ужин они закончили в полном молчании. Хелен знала, что Гарп придумывает какую-то историю, чтобы рассказать ее Уолту перед сном. Гарп, правда, делал это скорее для собственного успокоения, особенно если дети его чем-нибудь тревожили, — словно сам факт выдумывания интересной истории уже был залогом их будущей вечной безопасности.

Инстинкт отцовства проявлялся у Гарпа очень сильно; с детьми он неизменно бывал щедрым и любящим, поистине самым любящим из отцов, хотя Дункана и Уолта воспринимал совершенно по-разному. Но одинаково глубоко и нежно. И все же Хелен не сомневалась, что Гарп понятия не имеет, насколько его вечное беспокойство о Дункане и Уолте нервирует детей — среди сверстников они из-за этого кажутся напряженными и какими-то незрелыми. С одной стороны, он относился к ним очень серьезно, как к взрослым, а с другой — так о них пекся, что попросту не давал им взрослеть. Казалось, что Гарп просто не желает мириться с тем, что Дункану уже десять, а Уолту — пять; похоже, в его восприятии сыновья навсегда остались трехлетними.

Хелен, как всегда, с огромным интересом слушала историю, которую Гарп только что придумал для Уолта. Почти все такие истории, и эта тоже, начинались как типично детские, но кончались так, словно Гарп придумывал их для самого себя. Казалось бы, детям писателя дома должны читать больше всяких историй, чем другим детям, однако Гарп предпочитал, чтобы *его дети* слушали только *его* истории.

— Жил-был пес, — начал Гарп.

— Какой породы? — поинтересовался Уолт.

— Большая немецкая овчарка, — сказал Гарп.

— А как его звали? — спросил Уолт.

— У него не было имени, — сказал Гарп. — После войны он жил в одном большом немецком городе…

— Какой войны? — спросил Уолт.

— Второй мировой, — сказал Гарп.

— А, ну да! — сказал Уолт.

— Этот пес тоже был на войне, — продолжал Гарп, — а теперь стал сторожевым псом, потому что был очень умным и свирепым.

— Очень *вредным.* — заметил Уолт.

— Нет, — поправил Гарп, — он не был ни вредным, ни милым, хотя иногда мог быть и вредным, и милым. Он был таким, каким его хотел видеть хозяин, ведь его научили делать все, что велит хозяин.

— А откуда он знал, кто его хозяин? — спросил Уолт.

— Вот этого я не знаю, — ответил Гарп. — Но после войны у пса появился новый хозяин; он держал в центре города кафе, где можно было выпить кофе, или чаю, или лимонаду, или просто почитать газеты. По ночам хозяин гасил в помещении свет, оставляя включенным только один

светильник, так что, заглянув в окно, можно было увидеть чисто вытертые столики, на них стулья ножками вверх, чисто вымытый пол и огромного пса, который бродил по этому чистому полу взад-вперед, как лев в зоопарке по своей клетке. Этот пес никогда не сидел спокойно. Иногда люди, заметив пса, нарочно стучали в окно, чтобы привлечь его внимание. Но пес только смотрел на них — он никогда не лаял и даже не рычал. Просто останавливался и очень внимательно смотрел на тех, кто постучал в окно, и эти люди сами поспешно уходили прочь. Им казалось, что, если остаться чуть дольше, он просто прыгнет, разбив окно, и вцепится в горло. Но пес никогда ни на кого не прыгал; он вообще держался спокойно и с большим достоинством, потому что никому и в голову не приходило вламываться ночью в кафе. Так что хозяину кафе было вполне достаточно просто оставлять там пса на ночь; псу и делать-то ничего не приходилось.

— Потому что этот пес *выглядел* очень злобным! — сказал Уолт.

— Ну вот, теперь ты себе его представил, — кивнул Гарп. — В общем, все ночи для этого пса были похожи одна на другую. А днем его привязывали в переулке возле кафе. Там он сидел на длинной

цепи, прикрепленной к передней оси старого армейского грузовика, который когда-то загнали в переулок да там и бросили. У этого грузовика и колес никаких не было.

Ну, а что такое шлакоблоки, ты знаешь? Так вот, вместо колес под грузовик подложили шлакоблоки, и там вполне хватало места, чтобы пес мог спрятаться от солнца или от дождя. А длинная цепь позволяла ему дойти до конца переулка и посмотреть на людей, спешивших по тротуару, и на автомобили. Иногда пешеходы видели, как блестящий собачий нос что-то вынюхивает из темноты переулка, но дальше цепь его не пускала.

Псу можно было протянуть руку, и он начинал с интересом ее обнюхивать, но не любил, когда его гладили, и никогда протянутую руку не лизал, не в пример другим собакам. Если же ты все-таки пытался его приласкать, он тут же наклонял голову и пятился назад, в переулок. И оттуда смотрел на тебя так, что сразу становилось ясно: нечего и думать идти за ним к его логову или же пытаться приласкать его еще раз.

— Он бы тебя укусил! — сказал Уолт.

— Ну, как тебе сказать… — задумался Гарп. — Вообще-то он никогда никого не кусал. Я, напри-

мер, никогда не слышал, чтобы он кого-нибудь укусил.

— А ты там был? — спросил Уолт.

— Да, — кивнул Гарп. Он понимал, что всякий рассказчик непременно «там был».

— Уолт! — окликнула сына Хелен. Гарпа всегда раздражало, что Хелен подслушивает, что он рассказывает мальчикам. — Вот что имеют в виду, когда говорят «собачья жизнь», — сказала Хелен.

Но Уолт и Гарп пропустили замечание Хелен мимо ушей. Уолт только поторопил отца:

— Давай дальше! И что же случилось с этим псом? Каждый раз, рассказывая детям историю, Гарп испытывал смутное ощущение огромной ответственности.

Интересно, какой инстинкт заставляет людей ждать, когда непременно что-нибудь *случится!* И неважно, о человеке ты рассказываешь или о собаке…

— Ну давай же! — нетерпеливо крикнул Уолт.

Гарп, задумавшись, угодил в тенета собственного искусства и, как часто бывало, совсем забыл о своем маленьком слушателе.

— Если же люди слишком часто протягивали к нему руки, — продолжал Гарп, — то пес возвращался в дальний конец переулка и забирался под

грузовик. И оттуда часто торчал его черный нос. Обычно пес лежал либо под грузовиком, либо на тротуаре, но никогда не валялся посредине мостовой. У него были свои, вполне определенные привычки, и ничто не могло их изменить.

— Ничто? — спросил Уолт, то ли разочарованный, то ли встревоженный тем, что в истории так ничего и не случится.

— Ну, *почти* ничто, — сказал Гарп, и Уолт приободрился. — *Кое-что* все-таки его беспокоило. А точнее, только одно. Только это могло привести пса в ярость, заставить его даже залаять, буквально обезуметь.

— Ой, ну конечно же кошка! — воскликнул Уолт.

— Кот. О, это был *ужасный* кот! — сказал Гарп таким голосом, что Хелен отложила «Вечного мужа» и затаила дыхание. Бедный Уолт! — подумала она.

— А почему кот был такой ужасный? — спросил Уолт.

— Потому что он дразнил пса, — сказал Гарп. И Хелен испытала огромное облегчение, поняв, что в этом-то, очевидно, и заключается вся «ужасность» кота.

— Дразнить нехорошо! — со знанием дела

сказал Уолт. Он частенько бывал жертвой Дункана, с удовольствием его дразнившего. Жаль, что Дункан не слышит этой истории, подумала Хелен. Урок о том, что дразнить нехорошо, будет преподан одному Уолту.

— Дразнить — *отвратительно.* — воскликнул Гарп. — Но кот и сам по себе был очень противный. Старый уличный кот, грязный и очень вредный.

— А как его звали? — спросил Уолт.

— У него не было имени, — сказал Гарп. — И хозяина не было; и он все время был голодный, потому и воровал еду. Впрочем, вряд ли его можно винить за это. И еще он вечно дрался с другими котами, что, в общем, тоже вполне естественно. В результате у него остался только один глаз; второй он потерял в драке так давно, что теперь даже шрама уже не было видно — совсем зарос шерстью. И ушей у этого кота тоже не было. Их он наверняка тоже потерял в боях с другими котами.

— Бедняжка! — воскликнула Хелен.

— Однако никому и в голову не приходило обвинять кота за его непрезентабельный вид, — продолжал Гарп, не обращая внимания на Хелен. — Но пса он действительно постоянно

дразнил. И зря. Не стоило ему этого делать. Все понятно: ему вечно хотелось есть, приходилось быть вороватым и ловким, никто о нем не заботился, так что ему волей-неволей приходилось драться! Но дразнить пса все-таки *не стоило.*

— Дразнить нехорошо! — снова повторил Уолт. Совершенно определенно история для Дункана! — подумала Хелен.

— Каждый день, — продолжал Гарп, — кот вышагивал по тротуару, останавливался в дальнем конце переулка и принимался умываться. Заметив его, пес выскакивал из-под грузовика с такой скоростью, что цепь летела за ним в воздухе, извиваясь точно змея, — помнишь, как извивалась та змея, которая однажды переползла перед нами через дорогу?

— Ой, ну конечно! — воскликнул Уолт.

— И когда пес добегал до конца переулка, цепь натягивалась до отказа и с такой силой дергала его за шею, что он падал на тротуар и порой сильно ушибал голову, а иногда и вовсе вздохнуть не мог. А кот словно этого и не замечал. Сидел себе спокойненько, отлично зная, какой длины у пса цепь, и продолжал умываться, поглядывая на пса своим единственным глазом. Отдышавшись, пес начинал буквально сходить с ума. Лаял, клацал

зубами, пытался освободиться от цепи, пока его хозяин, владелец кафе, не выходил наружу и не прогонял кота. И только тогда пес успокаивался и залезал под свой грузовик.

Но иногда кот почти сразу же возвращался, и в таких случаях пес терпеливо лежал под грузовиком, хотя терпения у него хватало ненадолго. Он молча лежал там, а кот на тротуаре тщательно вылизывал себе лапки, и вскоре пес начинал поскуливать и тоненько повизгивать, а кот только посматривал на него своим единственным глазом и продолжал умываться как ни в чем не бывало. И немного погодя из-под грузовика уже доносился вой, пес метался там, будто его облепили пчелы, а кот безмятежно мыл свою шерстку. И в конце концов пес снова вылетал из-под грузовика, волоча за собой цепь и прекрасно зная, что вскоре рывок цепи вновь швырнет его на землю и он почувствует обморочное удушье, а когда очнется, кот по-прежнему будет преспокойно сидеть в нескольких дюймах от него. И ему опять придется лаять до хрипоты, пока хозяин или кто-нибудь еще не шуганет проклятого кота… И пес просто *ненавидел* этого кота, — сказал, помолчав, Гарп.

— И я тоже его ненавижу! — сказал Уолт.

— И я тоже его ненавидел, — сказал Гарп.

Хелен эта история уже совершенно разонравилась — из нее следовал слишком очевидный вывод. Но она промолчала.

— Давай дальше! — потребовал Уолт. Важной частью истории, которую рассказываешь ребенку — и Гарп прекрасно это знал, — является наличие конечного вывода (в крайнем случае нужно притвориться, что он там есть).

— И вот однажды, — продолжал Гарп, — все решили, что пес совсем сошел с ума, потому что целый день он только и делал, что выскакивал из-под грузовика и летел в дальний конец переулка, пока рывок цепи не швырял его на землю; потом он поднимался, и все начиналось сызнова. Даже когда там никакого кота не было, пес продолжал совершать свои броски, натягивая цепь до отказа и падая на землю. Это очень удивляло и даже пугало некоторых прохожих, которые думали, что пес собирается напасть на них, и не знали, что он на цепи.

В ту ночь пес так устал, что не бродил, как обычно, по кафе, а просто лежал на полу, словно больной, и спал. И любой, наверное, мог бы забраться в кафе: вряд ли пес проснулся бы, до того он был вымотан. Но и все следующие дни

он продолжал бросаться в конец переулка, хотя шея у него уже была изранена — он взвизгивал каждый раз, когда цепь валила его с ног. И ночью он спал в кафе буквально как убитый — словно его и впрямь убили на полу в кафе.

И тогда хозяин позвал ветеринара. И ветеринар сделал псу какие-то уколы — наверное, чтобы немного его успокоить. И в течение двух дней пес лежал не вставая — ночью в кафе на полу, а днем под грузовиком. Не вставал он, даже когда тот проклятый кот проходил мимо по тротуару или усаживался умываться в конце переулка. Бедный пес!

— Наверное, ему было плохо! — сказал Уолт.

— А как по-твоему, он был *умный?* — спросил Гарп. Уолт был озадачен, но, подумав, ответил:

— *По-моему,* да.

— Верно, — сказал Гарп, — потому что каждый раз, натягивая цепь, он немного сдвигал грузовик, к которому был привязан, — совсем чуть-чуть, но все же сдвигал. И несмотря на то, что грузовик стоял без движения уже много лет и прирос ржавчиной к подложенным под него шлакоблокам и скорее бы все дома вокруг состарились и рухнули, чем этот грузовик сдвинулся с места, — но, *несмотря на это,* пес заставил-

таки его *сдвинуться с места.* Совсем немного, конечно… И, как ты думаешь, — спросил Гарп у Уолта, — он *достаточно* сдвинул грузовик?

— Я думаю, да! — с удовольствием сказал Уолт. Хелен тоже так думала.

— Ему нужно было преодолеть всего несколько дюймов, чтобы добраться до кота, — сказал Гарп, и Уолт кивнул.

Хелен, убежденная, что конец у истории будет кровавый, вновь углубилась в чтение «Вечного мужа».

— И вот однажды, — медленно начал Гарп, — кот снова явился, и сел на тротуар в конце переулка, и принялся вылизывать лапки. Он тер влажными лапами старые шрамы на тех местах, где у него когда-то были уши, и то место, где у него когда-то был второй глаз, и неустанно наблюдал за противоположным концом переулка, где под грузовиком лежал пес. Кот скучал, ведь пес теперь больше не вылезал из-под грузовика. Но пес вылез!

— Я думаю, грузовик сдвинулся вполне достаточно? — спросил Уолт.

— Пес помчался по переулку быстрее прежнего; цепь так и плясала, струясь за ним, а кот и не подумал уйти, не подозревая, что на сей раз пес

уже может достать до него. Вот только… — сказал Гарп и помолчал немного, — цепь оказалась все же *недостаточно* длинной. — (Хелен застонала.) — Пес уже схватил кота за башку, но не смог закрыть пасть, потому что натянувшаяся цепь душила его; он дернулся, и его тут же отшвырнуло назад — как и прежде! Ну и кот, понимая, что ситуация переменилась, бросился прочь.

— Господи! — воскликнула Хелен.

— Ой, нет! — вырвалось у Уолта.

— Конечно, дважды подобным образом провести опытного старого кота невозможно, — продолжал Гарп. — У пса был один-единственный шанс, и он его упустил. Кот никогда больше не подпустит его так близко.

— Какая ужасная история! — снова воскликнула Хелен.

Уолт молчал, но, похоже, был с ней согласен.

— Однако случилось и *еще кое-что*, — сказал Гарп. Уолт тут же с готовностью вскинул на него глаза, а Хелен в сильнейшем волнении опять затаила дыхание. — Кот был так напуган, что сломя голову выбежал на улицу, не посмотрев по сторонам. Ты ведь не выбегаешь на улицу, не глядя по сторонам, верно, Уолт? — обратился Гарп к сыну.

— Нет, — твердо сказал Уолт.

— Даже если тебя вот-вот укусит собака, — сказал Гарп. — Даже в *этом случае.* Ты *никогда* не выбегаешь на улицу, не посмотрев по сторонам, верно?

— Ой, ну конечно! Я же знаю! — сказал Уолт. — А что случилось с котом?

Гарп так громко хлопнул в ладоши, что мальчик вздрогнул.

— Он погиб — вот так! — воскликнул Гарп. — Хлоп! И все кончено. Был раздавлен в лепешку. Пожалуй, если бы псу все-таки удалось сомкнуть челюсти, у кота и то было бы больше шансов выжить.

— Его сбила машина? — спросил Уолт.

— Грузовик, — ответил Гарп. — Прямо по голове ему проехал. И мозги вылетели наружу через те дырки, которые остались на месте ушей.

— Грузовик раздавил его? — спросил Уолт.

— В лепешку, — повторил Гарп и показал мальчику свою плоскую ладонь, даже подержал ее у него перед носом для пущей наглядности.

Господи, подумала Хелен, все-таки история-то была для Уолта! *Никогда не выбегай на улицу, не посмотрев по сторонам!*

— Конец, — сказал Гарп.

— Спокойной ночи, — сказал Уолт.

— Спокойной ночи, — ответил Гарп. И Хелен услышала, как они поцеловали друг друга.

— А почему все-таки у этого пса не было имени? — спросил Уолт.

— Не знаю, — сказал Гарп. — Не выбегай на улицу, не посмотрев по сторонам!

Когда Уолт заснул, Хелен и Гарп занялись сексом. Но Хелен никак не могла забыть рассказанную Гарпом историю — какое-то странное предчувствие овладело ею.

— А ведь пес никогда бы не смог сдвинуть грузовик, — сказала она. — Ни на один дюйм!

— Верно, — сказал Гарп. И Хелен поняла, что он и вправду был там.

— Ну и как же *тебе* удалось его сдвинуть? — спросила она.

— Я тоже не смог, — сказал Гарп. — Он врос в землю. Я просто срезал с собачьей цепи одно звено — ночью, когда он кафе сторожил, — и заказал у жестянщика несколько таких звеньев. И на следующую ночь *добавил* их к цепи пса — около шести дюймов.

— В общем, кот ни на какую улицу не выбегал? — спросила Хелен.

— Нет, это все для Уолта, — признался Гарп.

— Естественно, — сказала Хелен.

— Цепь оказалась достаточной длины, — сказал Гарп. — Кот убежать не смог.

— Пес убил кота? — спросила Хелен.

— Перекусил пополам, — сказал Гарп.

— И это случилось в одном немецком городе? — спросила Хелен.

— Нет, в австрийском, — сказал Гарп. — В Вене. Я в Германии никогда не жил.

— Но как же пес мог участвовать в войне? — удивилась Хелен. — Ведь в таком случае ему было бы не меньше двадцати лет к тому времени.

— А он и не участвовал в войне, — сказал Гарп. — Это был просто пес. В войне участвовал его хозяин — владелец кафе. Потому-то он и умел дрессировать собак. Он научил пса убивать любого, кто войдет в кафе после наступления темноты. Пока на улице было светло, в кафе мог кто хочешь зайти. А когда темнело, даже сам хозяин туда сунуться не решался.

— Ничего себе! — воскликнула Хелен. — А если бы там случился пожар? По-моему, весьма несовершенный метод дрессировки.

— По всей видимости, дрессура была боевая, — сказал Гарп.

— Ну что ж, — сказала Хелен. — Во всяком слу-

чае, это более правдоподобно, чем участие самого пса в войне.

— Ты правда так думаешь? — спросил Гарп. И ей показалось, он в первый раз за весь этот вечер заинтересовался по-настоящему. — Интересно… Тем более что я только что все это придумал.

— Насчет того, что хозяин собаки был на войне? — спросила Хелен.

— Как тебе сказать… не только, — признался Гарп.

— Так какую же часть истории ты выдумал? — спросила она.

— Всю целиком, — ответил он.

Они лежали в постели, и Хелен, прижавшись к нему, почти не дышала, понимая, что это один из самых щекотливых для него моментов.

— Или… *почти* всю, — прибавил он, помолчав. Гарпу никогда не надоедало играть в эту игру, хотя Хелен от нее уже порядком устала. Теперь он, конечно, подождет, когда она снова спросит: «И что же здесь правда, а что вымысел?» И он, конечно же, скажет, что это не имеет значения, пусть она лучше скажет, во что она *не поверила.* Тогда он эту часть переделает. Все, чему она верила, было истинным; все, чему она не верила, требовало доработки. Если же она верила всему

рассказу, то и все целиком могло стать истиной. Как рассказчик он был совершенно безжалостен, и Хелен это знала. Если истина удовлетворяла его замыслу, он твердой рукой обнажал ее, но, если она представлялась ему неподходящей, он не задумываясь ее перекраивал.

— Когда ты вдоволь наиграешься с этим сюжетом, — сказала Хелен, — я бы все-таки хотела узнать, что же произошло *на самом деле.*

— Ну, на самом деле, — сказал Гарп, — это был бигль, а не овчарка.

— Бигль?

— Ну, если честно, то миттельшнауцер. И он действительно целыми днями сидел на привязи в дальнем конце переулка, но привязан был совсем не к армейскому грузовику.

— А к «фольсквагену»? — догадалась Хелен.

— К саням, на которых мусор вывозили, — сказал Гарп. — На этих санях зимой вывозили на улицу мусорные баки, но этот шнауцер, разумеется, был слишком мал и слаб, чтобы тащить такие тяжеленные сани в любое время года.

— А хозяин кафе? — спросила Хелен. — Он ведь на войне не был?

— Это была хозяйка, — сказал Гарп. — Вдова.

— И ее муж погиб на войне? — догадалась Хе-

лен.

— Нет. Она овдовела совсем молодой, — сказал Гарп. — И ее муж погиб, переходя улицу. Она была очень привязана к этому псу, которого муж подарил ей на первую годовщину свадьбы. Но новая квартирная хозяйка не разрешала ей держать собаку дома, так что вдова на ночь оставляла пса в кафе, спустив его с поводка.

Когда в кафе становилось совсем пусто и мрачно, пес начинал очень нервничать, и его всю ночь разбирал понос от страха. А люди смотрели в окно и смеялись над тем, какие кучи наложил несчастный шнауцер. От этих насмешек собака еще больше нервничала, так что куч становилось все больше. А рано утром приходила вдова — чтобы успеть проветрить помещение и убрать собачье дерьмо. Потом она, бывало, отшлепает пса газетой, вытащит его, приседающего от страха, в переулок, и он там сидит весь день, привязанный к саням с мусорными баками.

— Значит, никакого кота тоже не было? — спросила Хелен.

— О, котов там было множество! — сказал Гарп. — Они приходили покопаться в мусорных баках возле кафе. Пес-то никогда бы мусор не тронул, потому что боялся вдовы, а еще он па-

нически боялся котов, и как только в переулке появлялся какой-нибудь котяра, желавший проверить мусорные баки, пес заползал под сани и прятался там, пока кот не убирался восвояси.

— Господи! — сказала Хелен. — Значит, никто никого и не дразнил?

— Ну, дразнят-то всегда, — мрачным тоном возразил Гарп. — Была там одна противная девчонка, которая обычно останавливалась на тротуаре возле переулка и подманивала собаку к себе, вот только цепь собачья до тротуара не доставала, и собака только клацала зубами да тявкала, а девочка стояла на тротуаре и звала: «Ну давай, иди же! На-на-на!» — пока кто-нибудь не высунется из окна и не заорет, чтобы она оставила несчастную тварь в покое.

— Ты был там? — спросила Хелен.

— Да, *мы* там были, — сказал Гарп. — Каждый день моя мать сидела и писала в комнате, единственное окно которой выходило прямо в этот переулок. И собачье тявканье сводило ее с ума.

— Значит, Дженни передвинула сани с мусорными баками, — сказала Хелен, — и собака все-таки укусила ту противную девчонку, а ее родители пожаловались в полицию, и полицейские заставили собаку усыпить. Ну а ты, разумеется,

стал утешением для печальной вдовы, все еще оплакивавшей своего мужа. Ей ведь, наверно, было чуть-чуть за сорок.

— Ей еще не было сорока! — сказал Гарп. — И случилось все совсем не так.

— А как? — спросила Хелен.

— Однажды ночью в кафе, — начал Гарп, — у пса случился удар. И подозреваемых, которые могли так испугать собаку, хватало с избытком. Наши соседи даже вроде как соревновались — кто сильней напугает пса.

Подкрадывались к кафе и ломились в окна и двери, визжа точно бродячие коты, — и приходили от собственных «шуточек» в полный восторг, а собаку, которая металась от страха, доводили до полуобморочного состояния.

— В общем, от испуга у собаки случился удар, и она умерла, — подытожила Хелен.

— Не совсем, — возразил Гарп. — От удара у пса парализовало задние конечности, так что он мог двигать только передними лапами и поворачивать голову. Но вдова цеплялась за жизнь этого песика не меньше, чем за память о своем усопшем муже, а у нее был любовник, плотник, и он смастерил для задней половины собаки маленькую тележку на колесиках. Собака переставляла

передние лапы, а задняя, парализованная часть тела ехала на тележке.

— О господи! — только и сказала Хелен.

— Ты просто представить себе не можешь, какой звук издавали колеса этой тележки! — сказал Гарп.

— Видимо, не могу, — сказала Хелен.

— Мать говорила, что ей этого не вынести, — сказал Гарп. — Звук был поистине душераздирающий! Гораздо хуже тявканья пса, когда эта глупая девчонка его дразнила. Вдобавок пес не умел как следует поворачивать за угол без заноса. Он прыгал, а тележка отлетала в сторону быстрее, чем он успевал прыгнуть снова, и он оказывался на боку. А потом, естественно, самостоятельно встать не мог. Похоже, я был единственным, кто замечал эти его мучения, — во всяком случае, я единственный выходил в переулок и ставил пса на ноги. Как только он снова обретал вертикальное положение, то сразу же пытался меня укусить, — сказал Гарп, — но удрать от него ничего не стоило.

— Итак, однажды, — сказала Хелен, — ты отвязал этого шнауцера, и он выбежал на улицу, но не посмотрел по сторонам. Нет, извини: он *выкатился* на улицу, не посмотрев по сторонам.

И все его неприятности сразу остались позади. А вдова и плотник поженились.

— Не так, — сказал Гарп.

— Я хочу знать правду, — сонно пробормотала Хелен. — Так что же случилось с этим проклятым шнауцером?

— Понятия не имею, — сказал Гарп. — Мы с матерью уехали из Вены и вернулись домой, а остальное ты знаешь.

Хелен, уже сдаваясь сну, понимала, что только ее молчание позволит Гарпу наконец открыться. Она знала, что и последняя история вполне может оказаться такой же выдумкой, как все прочие ее версии, а может быть, те версии как раз и были в значительной степени правдой. С Гарпом была возможна любая комбинация реального и воображаемого.

Хелен уже успела уснуть, когда Гарп вдруг спросил:

— А какая история нравится тебе больше других?

Однако Хелен устала и от секса, и от слишком длинных историй, и ей хотелось спать, а голос Гарпа звучал и звучал, не умолкая, и она все глубже погружалась в дремоту. Засыпать так она любила больше всего: после любовных утех,

когда Гарп все говорит и говорит…

Зато сам Гарп испытывал разочарование. Когда приходило время ложиться спать, моторы его воображения были уже почти заглушены. Занятия любовью словно бы оживляли его и поднимали настроение, так что он принимался вести поистине марафонские разговоры, вставал, ходил есть, читал всю ночь, крадучись бродил по комнатам. В тот период он редко пытался писать, хотя иногда писал послания к самому себе — о том, что непременно напишет впоследствии.

Но в эту ночь Гарп откинул одеяло, посмотрел на спящую Хелен, заботливо укрыл ее и прошел в комнату Уолта. Он долго смотрел на младшего сына. Дункана дома не было, он ночевал в доме миссис Ральф. Гарп закрыл глаза и сразу увидел зарево над пригородами — пожар, причем горел тот самый дом, ужасный дом миссис Ральф!

Гарп снова открыл глаза, посмотрел на Уолта, и это немного его успокоило. Приятно, что он так хорошо знает своего малыша! Он прилег рядом с Уолтом, вдыхая его свежее дыхание и припоминая, в каком возрасте дыхание Дункана во сне стало кислым, как у взрослых. Гарп с неудовольствием обнаружил это, когда Дункану исполнилось шесть, — тогда он впервые

почувствовал, что дыхание спящего Дункана становится несвежим и даже немного гнилостным. Это было как сигнал, что процесс медленного умирания организма уже начался. Так впервые Гарп осознал, что его сын смертен. Вместе с этим запахом у Дункана появились и первые темные пятна на зубах, до того абсолютно безупречных. Возможно, потому, что Дункан был его первенцем, Гарп всегда больше беспокоился о нем, чем об Уолте, — несмотря на то что его младший, пятилетний сынишка имел куда большую склонность (чем сынишка десятилетний) попадать в разные детские неприятности. А что значит «детские неприятности»? — подумал вдруг Гарп. Попасть под машину? Задохнуться, подавившись орехом? Быть похищенным каким-то незнакомым мерзавцем? А впрочем, рак тоже ведь своего рода незнакомец…

В общем, поводов для беспокойства хватало, особенно если беспокоишься о детях. А о детях Гарп беспокоился так сильно, особенно в периоды затяжной бессонницы, что начинал считать себя психологически непригодным для роли отца. Теперь уже *эти* мысли не давали ему покоя, и беспокойство за детей только усиливалось. А что, если их самый опасный враг — *он сам,* Гарп?

Вскоре он задремал рядом с Уолтом, однако сон у Гарпа всегда был недолгим и чутким. Он застонал и проснулся: отчего-то болело под мышкой. Оказалось, туда уперся кулачок Уолта. Уолт тоже постанывал во сне: похоже, ему снился тот же неприятный сон, что и самому Гарпу, — как если бы он передал сыну свой сон. Гарп распутал обвившие его ручонки малыша; но Уолт все равно вздрагивал и время от времени стонал: ему снился собственный и, видимо, не очень приятный сон.

Жаль, мне не пришло в голову, подумал Гарп, что назидательная история о старом боевом псе и о дразнившем его коте, а также о роковом грузовике-убийце могла показаться Уолту очень страшной. Однако во сне Уолт видел всего лишь огромный брошенный военный грузовик, размерами и формой скорее походивший на танк, весь утыканный стволами пушек и прочими боевыми приспособлениями весьма неприятного вида; щель в щитке была не шире щели в почтовом ящике. И страшный грузовик этот (или танк) был, разумеется, черным.

Собака, привязанная к этому грузовику, была размером с пони, хотя и не такая толстая и мохнатая, зато куда более свирепая. Она медленно,

большими прыжками, бежала к выходу из переулка, а хрупкого вида цепь змеилась за ней по земле как живая. Уолту казалось, что эта цепь вряд ли удержит такого здоровенного пса. А в другом конце переулка, то и дело спотыкаясь на разъезжающихся ногах, безнадежно неуклюжий и неспособный убежать, бессмысленно кружил маленький Уолт и, похоже, никак не мог уйти оттуда, спрятаться от страшного пса. Цепь вдруг оборвалась, огромный грузовик дернулся вперед, словно кто-то его завел, и пес набросился на него, Уолта. Уолт вцепился собаке в шерсть, потную и колючую (это была подмышка отца), но пальцы его почему-то разжались, и пес хотел уже схватить его за горло, однако Уолт наконец побежал прочь, на улицу, где другие грузовики, похожие на тот брошенный, громыхали мимо него и их массивные задние колеса, выстроившись в ряд, напоминали огромные кольца с творогом или ватрушки. А поскольку вместо ветровых стекол у этих машин были узенькие щелки, водители, разумеется, не видели ничего вокруг, и маленького Уолта они тоже видеть не могли.

А потом вдруг он почувствовал, что отец целует его, и страшный сон куда-то ускользнул. И Уолт оказался в полной безопасности; он ощущал

запах отца, его теплые руки и слышал, как отец успокаивает его, приговаривая: «Это же только сон, Уолт! Только сон!»

Гарпу снилось, что он и Дункан летят на самолете. Дункану понадобилось в туалет, и Гарп указал ему в конец прохода, где располагались крохотная кухонька, каюта пилота и уборная. Дункан хотел, чтобы его туда проводили и показали точно, какая именно дверь ведет в туалет, но Гарп был с ним суров.

— Тебе десять лет, Дункан, — сказал он. — Читать ты умеешь. Или спроси у стюардессы.

Дункан стиснул коленки и надулся. Тогда Гарп вывел его в проход между креслами и сказал:

— Пора взрослеть, Дункан. Это одна из тех дверей. Ступай.

Мальчик с мрачным видом двинулся по проходу к дверям. Стюардесса улыбнулась и ласково взъерошила Дункану волосы, когда он проходил мимо, но Дункан, разумеется, ничего у нее спрашивать не собирался. Он дошел до конца прохода и оттуда оглянулся на отца. Гарп нетерпеливо махнул ему рукой. Дункан лишь беспомощно пожал плечами: *какая же* из дверей?

Рассерженный Гарп встал.

— Попробуй хотя бы одну! — крикнул он Дунка-

ну, и пассажиры дружно уставились на мальчика. Дункан смутился и сразу же открыл ближайшую дверь. Потом быстро, с удивлением и растерянностью оглянулся на отца, и Гарпу показалось, что мальчика как бы втянуло в эту дверь, а потом она сама собой захлопнулась. Стюардесса пронзительно закричала. Самолет слегка качнулся, немного потеряв высоту, затем выправился. Все прильнули к иллюминаторам, кое-кто потерял сознание, кое-кого вырвало. Гарп бросился по проходу, но пилот и еще кто-то в летной форме преградили ему дорогу и не дали открыть ту дверцу.

— Она же всегда должна быть на замке, тупица, скотина! — орал пилот на рыдавшую стюардессу.

— Я думала, она заперта! — ныла стюардесса.

— Куда она ведет? — закричал Гарп. — Господи, куда ведет эта дверь? — И увидел, что ни на одной из дверей нет табличек

— Мне очень жаль, сэр, — сказал пилот. — Но сделать уже ничего нельзя.

Гарп рванулся мимо него, придавил какого-то типа в штатском к спинке кресла, отшвырнул стюардессу и открыл дверь. И увидел, что она выходит наружу — прямо в огромное небо! — и, не

успев еще окликнуть Дункана, почувствовал, что его выносит в эту открытую дверь, в бескрайний простор, куда он бросился вслед за своим сыном.

11. Миссис Ральф

Если бы Гарпу было дано осуществить самое свое большое, но одно-единственное желание, он непременно пожелал бы, чтобы наш мир стал *безопасным.* Для детей и для взрослых. Ибо этот мир прямо-таки потрясал его огромным количеством совершенно неоправданных опасностей.

Итак, уже после близости с Хелен, после того, как Хелен уснула, и после кошмарного сна о самолете, который приснился ему самому, он встал и оделся. Присев на краешек постели, чтобы завязать шнурки спортивных туфель, Гарп нечаянно коснулся ноги Хелен. Она тут же проснулась и, протянув руку, нащупала его спортивные шорты.

— Ты куда это? — удивленно спросила она.

— Проверить Дункана, — ответил Гарп. Хелен приподнялась на локтях и посмотрела на часы. Было начало второго, и она знала, что Дункан ночует у Ральфа.

— И как же ты собираешься его проверить? — спросила Хелен.

— Еще не знаю, — ответил Гарп.

Точно охотник, преследующий добычу, точно преступник-педофил, наводящий ужас на родителей, Гарп брел по спящим улицам, весенним, зеленым и окутанным ночной тьмой. Люди храпели в своих постелях и видели сны; газонокосилки отдыхали, и было еще слишком холодно, чтобы включать кондиционеры. В некоторых домах окна были открыты, и оттуда доносилось журчание холодильников и невнятное бормотание телевизоров, настроенных на передачу «Для полуночников»; в таких домах окна светились серо-голубым светом. У Гарпа это таинственное свечение вызывало мысли о раковом заболевании, спрятанном глубоко внутри и усыпляющем весь мир своим невнятным бормотанием. А может, телевизор и *есть причина* рака? — подумал вдруг Гарп, понимая, что на самом деле в нем говорит раздраженный писатель, ибо там, где светится экран телевизора, явно сидит некто, не занятый чтением.

Гарп легко двигался по темной улице, надеясь, что никто не попадется навстречу. Спортивные туфли он зашнуровал слишком слабо; шорты хлопали по ногам, и в них гулял ветер, потому что плавки для бега он не надел — он ведь совсем не собирался бежать. Весенний воздух был весьма

прохладен, но рубашку Гарп тоже почему-то не надел. В одном из темных дворов на пробегавшего мимо Гарпа недовольно заворчала собака. Поскольку мы с Хелен не так давно занимались любовью, подумал Гарп, мой запах для этого пса все равно что запах свежесорванной клубники. Он знал, что собаки умеют различать запахи.

В этих зеленых пригородах всегда довольно много полицейских, и на миг Гарп забеспокоился, что его запросто могут задержать и обвинить в нарушении какого-нибудь закона, запрещающего, скажем, ночные прогулки без одежды или, по крайней мере, без документов. Он заторопился, уверенный, что спешит Дункану на помощь, что мальчика необходимо спасти от этой крикливой миссис Ральф.

Какая-то молодая женщина на велосипеде с незажженной фарой чуть не врезалась в Гарпа; волосы развевались у нее за спиной, голые гладкие колени блестели, прерывистое дыхание поразило Гарпа запахом свежескошенной травы и сигаретного дыма. Гарп присел на корточки — она громко вскрикнула и резко вывернула руль, объезжая его, а потом буквально привстала на педалях и помчалась дальше без оглядки. Возможно, решила, что это какой-то эксгиби-

ционист-развратник, которому осталось перед ней только шорты снять. Гарп подумал, что, должно быть, она ехала из такого места, где ей быть совсем не полагалось, и теперь ее ждут дома неприятности. А впрочем, может быть, ему так показалось, потому что сам он только и думал о всяческих неприятностях, которые грозят Дункану в доме миссис Ральф.

Увидев наконец дом Ральфа, Гарп решил, что хозяйке его следовало бы присудить приз «Светоч квартала»: все окна в доме ярко сияли, парадная дверь была распахнута настежь, канцерогенный телевизор что-то яростно орал. Гарп подумал, что у миссис Ральф вечеринка, но, подкравшись ближе, разглядел, что ярко освещенная лужайка давно не стрижена и вся в собачьих какашках и обломках спортивного инвентаря, да и сам дом с виду весьма запущенный, какой-то заброшенный. Смертоносные телевизионные лучи пульсировали в окнах гостиной, повсюду валялась неубранная обувь и одежда, а возле продавленного дивана, тесно прижавшись друг к другу, лежали два тела — Дункан и Ральф, — наполовину засунутые в спальные мешки. Спали, разумеется! Но выглядели так, словно телевизор их убил. В мертвящем свете телевизионного

экрана лица мальчишек казались совершенно обескровленными.

Но где же миссис Ральф? Ушла в гости? Или легла спать, оставив весь свет в доме включенным, а двери распахнутыми настежь? И даже не подумала выключить телевизор, под бормотание которого мальчишки так и уснули? Интересно, подумал Гарп, а она вспомнила, что нужно, например, выключить духовку на кухне? Гостиная вся была заставлена пепельницами, и Гарпу показалось, будто в некоторых еще дымятся сигареты. Он по-прежнему стоял за оградой и принюхивался к кухонному окну — не пахнет ли газом.

На кухне в раковине поблескивали немытые тарелки, на столе красовалась бутылка джина, кисло пахло раздавленными лаймами. Шнурок выключателя от верхнего света, оказавшийся, видимо, слишком коротким, был существенно удлинен за счет половинки женских колготок — куда девалась вторая половина колготок, неизвестно. Нейлоновая ступня в потеках засохшего пота покачивалась прямо над бутылкой с джином. Насколько мог почувствовать Гарп, гарью ниоткуда не тянуло; вряд ли под котом, уютно устроившимся прямо на плите между горелками, горел медленный огонь. Мордочку кот пристроил

на ручку тяжелой сковороды, а пушистое брюхо грел на панели с сигнальными огоньками. Гарп и кот не мигая уставились друг на друга. Кот мигнул первым.

Однако Гарп был уверен, что миссис Ральф все же не обладает такой способностью к концентрации, чтобы обернуться котом. И дом, и вся *ее жизнь* пребывали в полнейшем беспорядке; эта женщина не то покинула свой «корабль», не то «отключилась» где-то наверху. Интересно, она спит? Или утонула в ванне? И где та чудовищная псина, чьи экскременты превратили лужайку перед домом в настоящее минное поле?

И тут грянул гром — точно приближалась лавина; чье-то тяжелое тело скатилось по лестнице и вылетело прямо на середину кухни, перепуганный кот мгновенно обратился в бегство, с грохотом свалив на пол засаленную железную сковороду. Это оказалась миссис Ральф. Сидя голым задом на линолеуме, слабо постанывая и подвывая, она даже не пыталась запахнуть свое одеяние, похожее на кимоно и непристойно задравшееся ей чуть ли не на грудь, обнажив талию и толстый живот. Стакан с каким-то чудом не расплескавшимся пойлом она по-прежнему сжимала в руке. Миссис Ральф посмотрела на

жидкость в стакане, удивленно подняла брови и сделала глоток; огромные отвисшие груди точно растеклись по ее веснушчатому телу, когда она бесстыдно откинулась назад, оперлась на локти и рыгнула. Кот в углу жалобно взвыл.

— Ох, заткнись, Титси! — сказала коту миссис Ральф и, безуспешно попытавшись встать, со стоном завалилась на спину. Волосы у нее на лобке влажно блестели; белый живот, испещренный растяжками, казался распухшим, словно миссис Ральф долгое время пребывала в роли утопленницы. — Ну ладно, я все-таки вышвырну тебя отсюда, даже если это будет последним поступком в моей жизни, — сказала миссис Ральф кухонному потолку, хотя Гарп догадался, что ее слова относились к коту. Возможно, при падении она сломала или вывихнула лодыжку, но была слишком пьяна, чтобы это почувствовать. А может, у нее даже и спина сломана, подумал вдруг Гарп.

Он скользнул вдоль стены дома к распахнутой настежь парадной двери и крикнул, заглядывая внутрь:

— Кто-нибудь дома есть? — Кот тут же метнулся к нему, скользнул между ногами и пропал во тьме. Гарп подождал. Из кухни слышались

стоны, ворчание и еще какие-то странные звуки — шлепки плоти.

— Ну, я тут — раз я живая и дышу, — внятно сказала миссис Ральф, возникая в дверном проеме. Ее блеклый цветастый халат был уже более-менее запахнут, свой стакан она успела где-то оставить.

— Я увидел, что в доме все огни зажжены, и подумал, может, что случилось, — пробормотал Гарп.

— Вы опоздали, — заявила миссис Ральф. — Оба мальчика мертвы. Мне ни в коем случае не следовало разрешать им играть с этой бомбой. — Она пытливо вглядывалась в застывшее лицо Гарпа, видимо надеясь, что он с должным юмором отнесется к ее сообщению, однако поняла, что подобные темы не могут служить для него предметом шуток. — О'кей. Так вы хотите видеть тела или нет? — И она потянула Гарпа к себе за резинку его спортивных шортов. Гарп, помня, что плавок под шорты он так и не надел, быстро шагнул вперед и налетел на миссис Ральф, которая щелчком отпустила резинку, повернулась и побрела в гостиную. Исходивший от нее запах наводил оторопь — словно на дне большой влажной бумажной сумки рассыпали ваниль.

Миссис Ральф, демонстрируя недюжинную силу, подхватила Дункана под мышки и вместе со спальным мешком взгромоздила его на огромную продавленную софу; Гарп помог ей поднять Ральфа, который был потяжелее. Они устроили завернутых в спальные мешки мальчиков валетом, подложили им под головы подушки, и Гарп наконец выключил телевизор. Миссис Ральф, спотыкаясь, уже брела куда-то, гася по дороге огни и собирая пепельницы. Они напоминали сейчас супружескую пару, занимающуюся уборкой после шумной вечеринки.

— Ночь-то какая темнущая! — прошептала миссис Ральф на пороге внезапно погрузившейся во тьму гостиной.

Гарп, споткнувшись о валявшуюся на полу подушку, стал ощупью пробираться к освещенной кухне.

— Погодите уходить! — прошипела ему вслед миссис Ральф. — Вы еще должны помочь мне кое-кого отсюда *вышвырнуть*. — Она схватила Гарпа за руку и тут же уронила на пол пепельницу; кимоно ее снова распахнулось. Гарп, нагнувшись поднять пепельницу, коснулся волосами одной из ее грудей. — Этот увалень у меня там, в спальне, — сообщила она. — И уходить не жела-

ет! А я не могу его выгнать.

— Увалень? — переспросил Гарп.

— Ну да, дурачок деревенский, — сказала миссис Ральф. — Шваль паршивая.

— Шваль? — опять переспросил Гарп.

— Ну да, пожалуйста, помогите мне его выставить! — Она снова потянула Гарпа за резинку спортивных шортов и, на сей раз уже не скрываясь, заглянула внутрь. — Господи, да на вас же *почти ничего нет!* — воскликнула она. — Вы не замерзли? — Она приложила ладонь к его плоскому голому животу. — Нет, пожалуй, — успокоила она себя и пожала плечами.

Гарп отодвинулся от нее подальше.

— Кто он? — спросил он, опасаясь, как бы не пришлось изгонять бывшего супруга миссис Ральф из его же собственного дома.

— Идемте, я вам покажу, — прошептала она. И потащила Гарпа наверх по черной лестнице, а потом по узкому коридорчику меж грудами грязного белья и мешками с сухим кормом для домашних животных. Ничего удивительного, что она здесь упала, подумал Гарп.

В спальне миссис Ральф Гарп сразу же увидел огромного черного Лабрадора, распростертого на колышущейся водяной кровати миссис Ральф.

Пес беспечно повернулся на бок и завилял хвостом.

— А ну-ка, мальчик, — сказал ему Гарп, — убирайся отсюда.

Пес еще сильнее завилял хвостом и слегка помочился на постель.

— Не *этого,* — сказала миссис Ральф и так сильно толкнула Гарпа, что он вновь обрел равновесие, только ухватившись за кровать, которая в ответ громко забулькала.

Огромный пес тут же облизал ему все лицо. Миссис Ральф указала ему на кресло-качалку в изножье кровати, но Гарп уже заметил сидевшего в кресле молодого человека — он отражался в зеркале туалетного столика миссис Ральф. Молодой человек был совершенно голый, светлые волосы собраны сзади в довольно-таки тощий «хвостик», концом которого юноша и играл, перебросив его через плечо и поливая каким-то аэрозолем из принадлежавшей миссис Ральф жестянки. Живот и бедра молодого человека тоже выглядели скользкими и маслянистыми, как и живот миссис Ральф, и волосы у нее на лобке, а пенис юного незнакомца был таким же тонким, подтянутым и чуть изогнутым, как спина гончей.

— Эй, как дела? — спросил мальчишка у Гарпа.

— Отлично, благодарю вас, — ответил тот.

— Избавьтесь от него поскорее, — сказала миссис Ральф.

— Я все пытался заставить ее немного *расслабиться*, понимаете? — сказал юнец. — Мне хотелось просто с ней *пообщаться*, понимаете?

— Не позволяйте ему с вами разговаривать, — сказала миссис Ральф. — Не то он вас доусеру заговорит.

— Все тут такие напряженные, строгие, — пожаловался голый юнец и, повернувшись в кресле на бочок, водрузил ноги на водяной матрас.

Пес тут же принялся облизывать его пальцы. Но миссис Ральф пинком сбросила ноги юнца на пол.

— Ну вот, сами видите, чего уж тут говорить! — Этот «щенок» обращался исключительно к Гарпу.

— Она хочет, чтобы вы ушли, — сказал ему Гарп.

— А вы — ее муж, что ли? — спросил «щенок».

— Вот именно! — заявила миссис Ральф. — И он тебе твой тощий длинный пенис живо открутит, если ты немедленно отсюда не уберешься!

— Вам действительно лучше уйти, — сказал Гарп. — Давайте я помогу вам одеться.

Юнец закрыл глаза, словно погрузился в медитацию.

— А вот насчет этого дерьма он действительно настоящий мастер, — сообщила Гарпу миссис Ральф. — Только и умеет, что свои распроклятые глаза закрывать да медитировать.

— Где ваша одежда? — спросил юношу Гарп. На вид тому было всего лет семнадцать-восемнадцать. Возможно, он уже учится в колледже или даже служит в армии. Мальчик не реагировал, и Гарп легонько тряхнул его за плечо.

— Эй, слушай, ты меня не трожь! — сказал юнец, не открывая глаз. В голосе его звучала довольно нелепая угроза, и Гарп на всякий случай чуть отодвинулся от него и вопросительно посмотрел на миссис Ральф. Та пожала плечами.

— Он и мне то же самое заявил, — сказала она. Гарп отметил, что она держится очень естественно, и эти ее улыбки и пожатия плечами отнюдь не наигранны. Гарп ухватил мальчишку за белокурый «хвостик» и, обмотав «хвостик» вокруг шеи, плотно прижал затылок нахального юнца к своему локтю. Мальчишка открыл глаза.

— Живо забирай свою одежду и катись отсюда, ясно? — сказал ему Гарп.

— Не трожь меня, — повторил мальчишка.

— Я тебя *уже* тронул, — сказал Гарп.

— Ладно, ладно, сейчас уйду, — пробормотал парнишка, и Гарп позволил ему встать. Он оказался на несколько дюймов выше Гарпа, но фунтов на десять легче, и тут же принялся искать свою одежду, но миссис Ральф уже отыскала ее и сама подала ему: нелепый фиолетовый кафтан, длинный, тяжелый, густо расшитый золотой и серебряной нитью. Мальчишка напялил его с гордостью, точно боевые доспехи.

— Было очень приятно поваляться с тобой в постели, — сказал он миссис Ральф, — но ты все-таки научись как следует расслабляться.

Миссис Ральф вдруг захохотала, да так громко и хрипло, что даже пес перестал вилять хвостом.

— Тебе следовало бы вернуться к дню первому, — сказала она мальчишке, — и выучить все снова, с самого начала. — Потом она растянулась на своей водяной кровати рядом с Лабрадором, который тут же пристроил свою башку ей на живот. — Ой, Билл, хоть ты отвали! — раздраженно буркнула она.

— Вот-вот, никак не может расслабиться! — заявил юнец.

— Ни черта ты не понимаешь в том, как помочь человеку расслабиться, — сказала миссис Ральф.

Гарп выпроводил юнца из спальни в коридор, затем по предательски скользкой лестнице в кухню, а оттуда на крыльцо.

— А знаешь, ведь она *сама* попросила меня прийти, — сказал мальчишка. — Это была *ее* идея.

— Она и уйти тоже сама тебя просила, — сказал ему Гарп.

— Ты такой же, как и она, — совсем не умеешь расслабляться! — заметил юнец.

— А дети знали, что здесь происходит? — спросил его Гарп. — Спали они, когда вы вдвоем наверх пошли?

— Насчет малышей не беспокойся, — заявил юнец. — Малыши — замечательный народ, парень! И знают они куда больше, чем думают взрослые. Малыши — отличные люди, пока взрослые на них свою лапу не наложат. И эти ребятишки что надо. Малыши *всегда* что надо.

— У тебя что, у самого дети есть? — невольно пробормотал Гарп. До сих пор он проявлял с этим юнцом величайшее терпение, но рассуждений о детях не терпел. Других авторитетов в этой области он не признавал. — Все, прощай, — сказал он парнишке. — И не вздумай возвращаться. — Гарп слегка подтолкнул его.

— Не толкай меня! — заорал юнец и замахнулся на него, но Гарп присел, уходя от удара, и ловко обхватил его за талию. Ему показалось, этот щенок весит не больше семидесяти пяти или, может, восьмидесяти фунтов, хотя, конечно же, на самом деле он гораздо тяжелее. Гарп выкрутил ему руки, вынес из дома и поставил на тротуар. Когда юнец перестал вырываться и дергаться, Гарп отпустил его и спросил:

— Ты хоть помнишь, куда тебе идти-то надо? Или, может, тебе подсказать?

Сопляк, тяжело дыша, ощупывал свои ребра.

— И не вздумай ничего рассказывать своим дружкам: тут им ничего вынюхать не удастся! Даже и по телефону никому звонить не вздумай!

— Да я даже имени ее не знаю, парень, ты что? — заныл вдруг сопляк.

— И прекрати называть меня «парень», — сказал ему Гарп.

— Ладно, парень, — сказал мальчишка. И Гарп ощутил в горле знакомую приятную сухость, которая свидетельствовала о борцовской готовности кому-нибудь «врезать». Однако он позволил этому ощущению пройти как бы незамеченным.

— Пожалуйста, иди отсюда, — сказал он, взяв себя в руки.

Мальчишка двинулся по тротуару, миновал один дом, обернулся и крикнул:

— Пока, парень!

Гарп не сомневался, что запросто мог бы догнать этого сопляка и свалить его с ног; ему очень хотелось именно так и поступить, но вдруг щенок не испугается, а особого желания бить его да и вообще причинять ему боль Гарп не испытывал. И потому просто махнул ему на прощанье рукой. Юнец поднял вверх средний палец и с воздетой рукой пошел прочь, путаясь в полах своего дурацкого одеяния, — этакий первохристианин, заблудившийся в пригородах.

Берегись, парнишка, там водятся львы, подумал Гарп и пробормотал ему вслед защитное благословение. Он понимал, через несколько лет Дункан достигнет того же возраста, и можно только надеяться, что с Дунканом ему, Гарпу, будет проще найти общий язык.

Вернувшись в дом, он услышал, как миссис Ральф, всхлипывая, разговаривает с собакой.

— Ах, Билл, — рыдала она, — прости, что я так грубо с тобой обращаюсь, дорогой! Ты такой милый!

— До свидания! — крикнул Гарп, подойдя к лестнице. — Ваш приятель ушел, и я тоже ухожу.

— Дерьмо куриное! — завопила вдруг миссис Ральф. — Как ты можешь оставить женщину в таком состоянии? — Ее вопли становились все громче, скоро, подумал Гарп, и пес, пожалуй, лаять начнет.

— А что я могу для вас сделать? — снова крикнул он снизу, не поднимаясь в спальню.

— Ну, ты мог бы, по крайней мере, остаться и поговорить со мной! — крикнула миссис Ральф. — Дерьмо куриное, паршивая шваль!

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Гарп, осторожно поднимаясь по лестнице.

— Ты небось думаешь, что со мной часто такое случается, — сказала миссис Ральф. Совершенно растрепанная, она по-турецки сидела на покачивающейся постели, плотно запахнув свое кимоно. Огромная башка Билла лежала у нее на коленях.

Гарп, собственно, *именно так* и подумал, но отрицательно покачал головой.

— Я же только навредить себе могу, если стану еще и унижаться, неужели вы не понимаете? — сказала миссис Ральф. — Да сядьте вы ради бога! — И она потянула Гарпа на колышущуюся кровать. — В этом чертовом матрасе воды маловато, — пояснила она. — Мой бывший муж вечно туда воды подливал, потому что здесь

где-то течь.

— Мне очень жаль, — пролепетал Гарп. Настоящий консультант по вопросам брака!

— Я надеюсь, вы никогда не бросите свою жену, — сказала миссис Ральф и положила его руку себе на колено. Пес принялся лизать ему пальцы. — Это самое паршивое, на что способен мужчина! — продолжала она. — Он сказал, что «годами» притворялся, будто испытывает ко мне страсть. А тут взял да и заявил, что *любая* женщина, молодая или старая, на его взгляд, лучше меня. Не очень-то любезно, не правда ли?

— Да уж, не очень, — согласился Гарп.

— Прошу вас, поверьте, я никогда ни с кем не путалась, пока он меня не бросил! — Миссис Ральф чуть не плакала.

— Я вам верю, — сказал Гарп.

— Тяжелое испытание для такой доверчивой женщины, как я, — продолжала миссис Ральф. — Так почему бы мне не попробовать хоть немного повеселиться?

— Ваше право, — заверил ее Гарп.

— Но у меня так плохо получается! — призналась она, закрывая руками лицо и раскачиваясь на кровати.

Пес попытался лизнуть ее в лицо, но Гарп его

оттолкнул. Пес тут же решил, что Гарп с ним играет, и потянулся к нему через скрещенные ноги миссис Ральф. Гарп щелкнул его по носу — слишком сильно, пожалуй: пес заскулил и отстал от него.

— Не бейте моего Билла! — тут же вскричала миссис Ральф.

— Я всего лишь пытался вам помочь, — сказал Гарп.

— Вы мне не поможете, если станете бить Билла! — заявила она. — Господи Иисусе! Неужели тут абсолютно все спятили?

Гарп чуть откинулся на водяной кровати и крепко зажмурился; кровать колыхалась, точно маленькое море, и Гарп простонал:

— Но я понятия не имею, *как* вам помочь! Мне вас очень жаль, я вам искренне сочувствую, но я правда ничего не могу сделать. Может, вы хотите мне что-то рассказать? Так рассказывайте! — предложил он, по-прежнему не открывая глаз. — Но, по-моему, со своими чувствами человек может справиться только сам.

— Отрадно слышать, ничего не скажешь! — заметила миссис Ральф.

Билл дышал Гарпу прямо в волосы. Потом осторожно лизнул его в ухо. Интересно, подумал Гарп,

а это действительно Билл? Или миссис Ральф? Потом он почувствовал, как ее рука копается у него в шортах, и холодно подумал: если я действительно *не хочу,* чтобы она так делала, то зачем лег на спину?

— Пожалуйста, не надо, — сказал он.

Она, безусловно, почувствовала, что он совершенно равнодушен, а потому отпустила его и прилегла рядом, затем откатилась подальше и повернулась к нему спиной. Кровать так и пошла волнами, когда Билл попытался втереться между ними, но миссис Ральф так ткнула его локтем в бок, что пес закашлялся и спрыгнул с кровати на пол.

— Бедненький мой Билл, прости меня, пожалуйста, — сказала миссис Ральф, заливаясь слезами.

Мощный хвост Билла тут же снова замолотил по полу. Миссис Ральф, словно для полноты самоунижения, пукнула, продолжая равномерно рыдать. Ее всхлипы напоминали Гарпу звук того нудного дождя, который может продолжаться весь день. Гарп, консультант по вопросам брака, попытался понять, что могло бы обеспечить этой женщине хотя бы чуточку уверенности в себе.

— Миссис Ральф? — окликнул ее Гарп и тут же

прикусил язык.

— Что? — спросила она. — Как вы сказали? — Она с трудом приподнялась на локтях и повернула голову, словно желая как следует его рассмотреть. — Вы, кажется, сказали «миссис Ральф»? Господи, «миссис Ральф»! — вскричала она. — Неужели вы так и не знаете, как меня зовут?

Гарп присел на краешек кровати, хотя больше всего ему хотелось присоединиться к Биллу, лежавшему на полу.

— Я нахожу вас чрезвычайно привлекательной, — пробормотал он, обращаясь к миссис Ральф, но глядя по-прежнему на Билла. — Честное слово!

— Докажите, — сказала миссис Ральф. — Ах, чертов лжец! Докажите мне!

— В данный момент я ничего не могу доказать, — сказал Гарп, — но совсем не потому, что я не нахожу вас привлекательной.

— Но у вас даже эрекции нет! — вскричала миссис Ральф. — Я тут лежу полуголая рядом с вами на этой чертовой постели, а у вас там что-то совершенно неприлично мягкое!

— Я пытался скрыть от вас свои чувства, — сказал Гарп.

— Вам это здорово удалось! Ну что, вспомнили мое имя?

Гарп как никогда остро сознавал одну из своих ужасных слабостей: до чего же ему необходимо нравиться людям, до чего же сильно хочется, чтобы его оценили по достоинству. Он понимал, что каждым своим словом все глубже вязнет в неприятностях и совершенно очевидной лжи. Теперь-то он прекрасно понимал, что означает «шваль».

— Ваш муж, должно быть, просто не в своем уме, — сказал Гарп. — На мой взгляд, вы привлекательнее очень многих женщин.

— О, прошу вас, прекратите! — сказала миссис Ральф. — Вас небось тошнит от всего этого.

Да уж, согласился с ней Гарп, но вслух сказал:

— Вы можете быть абсолютно уверены в собственной сексуальной привлекательности, поверьте. И что еще важнее, вам следует развивать уверенность в себе и в отношении многих других вещей.

— А никаких других вещей мне и не нужно, — призналась миссис Ральф. — Раньше мне никогда ничего так не хотелось, как заниматься сексом, а теперь уж и секса не очень-то хочется.

— Но ведь вы же учитесь, кажется? — нахму-

ривишись, спросил Гарп.

— Я и сама толком не знаю, зачем это делаю, — сказала миссис Ральф. — Или вы именно это имели в виду, когда говорили о большей уверенности в отношении других вещей?

Гарп крепко зажмурился, услышав, что вода в матрасе загрохотала, точно прибой, предвещая опасность. Сейчас ему больше всего хотелось грохнуться в обморок, но он открыл глаза. Миссис Ральф совершенно голая распростерлась перед ним на постели. Мелкие волны все еще плескались под ее пышными телесами, и сейчас она напоминала Гарпу крепкую весельную шлюпку, покачивающуюся на мелкой зыби.

— Покажите мне ваш пенис, и если у вас есть эрекция, то можете идти, — деловито сказала она. — Тогда я поверю, что хоть немного вам нравлюсь.

Гарп попытался настроиться и, чтобы хоть что-то получилось, закрыл глаза и стал думать о ком-то совсем другом.

— Ах вы ублюдок! — воскликнула миссис Ральф, и Гарп обнаружил, что все в порядке, эрекция есть, и это оказалось совсем не так трудно, как он ожидал. Открыв глаза, он вынужден был признать, что миссис Ральф и впрямь не так уж и

дурна. Он стянул шорты и продемонстрировал ей свой пенис во всей красе, чем только усилил эрекцию. Теперь он обнаружил, что ему, пожалуй, даже нравятся влажные курчавые волосы у нее на лобке. Однако сама миссис Ральф, казалось, не испытала ни разочарования, ни восторга от этой демонстрации «мужской силы». Она пожала плечами, перевернулась на живот и предоставила Гарпу возможность созерцать ее обширную задницу.

— Ладно, вы действительно сумели заставить его встать, — сказала она. — Благодарю вас. Теперь можете идти домой.

Гарпу вдруг очень захотелось к ней прикоснуться. Ослабев от изумления, он почувствовал, что может кончить, даже просто глядя на ее обнаженное тело. Он бросился за дверь и кубарем скатился по чертовой лестнице. Неужели эта женщина всю ночь занимается только тем, что сама себя мучает? — думал он. И безопасно ли Дункану ночевать в таком доме?

Он сидел на кухне до наступления серого успокоительного рассвета. Нечаянно наступив на валявшуюся на полу сковородку и со звоном поставив ее на плиту, он не услышал из спальни миссис Ральф ни вздоха, только постанывание

Билла. Если мальчишки проснутся и чего-нибудь потребуют, вряд ли миссис Ральф их услышит.

Примерно в половине четвертого, когда дом наконец полностью затих, Гарп решил прибрать на кухне, чтобы убить время до утра. Хорошо знакомый с такой работой, он наполнил раковину водой и принялся мыть посуду.

Когда зазвонил телефон, Гарп сразу понял, что это Хелен. И ему разом пришли в голову все те ужасные мысли, которые вполне могли одолевать ее.

— Привет, дорогая, — сказал ей Гарп.

— Может, объяснишь мне, что происходит? — спросила Хелен.

Гарп понимал, что она давно уже не спит. Было четыре часа утра.

— Ничего не происходит, Хелен, — сказал он. — Тут случилась одна маленькая неприятность, и мне не хотелось оставлять Дункана одного.

— А где та женщина? — спросила Элен.

— В постели, — признался Гарп. — Она отключилась.

— От *чего!* — спросила Хелен.

— Она слишком много выпила, — сказал Гарп. — А тут у нее был один молодой человек, и она захотела, чтобы я его выгнал.

— Значит, после ты остался с ней наедине? — уточнила Хелен.

— Да, — сказал Гарп, — но она очень быстро уснула.

— Я и не думаю, что для *этого* требуется много времени, — сказала Хелен. — Тем более с ней.

Гарп сознательно промолчал. Он уже подзабыл, каковы приступы ревности Хелен, но с легкостью вспомнил их поразительную остроту.

— Ничего не было, Хелен, — сказал он.

— Скажи мне, что ты делаешь — вот в эту самую минуту, — потребовала Элен.

— Мою тарелки, — сказал Гарп. И услышал, как она сдержанно и глубоко вздохнула.

— Интересно, почему ты до сих пор еще там? — спросила Хелен.

— Мне не хотелось оставлять Дункана, — сказал Гарп.

— Думаю, тебе надо принести Дункана домой, — сказала Хелен. — Прямо сейчас!

— Хелен, — попытался успокоить ее Гарп, — я действительно вел себя хорошо. — Это звучало как оправдание даже для самого Гарпа. Кроме того, он прекрасно понимал, что вел себя все-таки не вполне хорошо. — Ничего не было, — прибавил он, в этом отношении чувствуя себя несколько

более уверенно.

— Я не стану спрашивать тебя, почему ты моешь ее вонючие тарелки, — сказала Хелен.

— От нечего делать, — честно ответил Гарп.

На самом деле он и сам не сознавал, зачем это делает, и внезапно ему показалось совершенно бессмысленным дожидаться рассвета — словно несчастные случаи происходят только в темноте.

— Я жду, пока Дункан проснется, — сказал он, но, еще не договорив, понял, что и в этом нет смысла.

— Почему бы не разбудить его? — спросила Хелен.

— Я хорошо умею мыть посуду, — сказал Гарп, пытаясь дурацкой шуткой несколько разрядить атмосферу.

— Я прекрасно знаю все, что ты хорошо умеешь делать, — заявила Хелен чуть более горько, чтобы это сошло за ответную шутку.

— Ты же просто заболеешь, если будешь так думать, — сказал Гарп. — Перестань, пожалуйста! Я правда ничего дурного не сделал. — Однако, точно пуританина грех, его память сверлило воспоминание о том, как миссис Ральф сумела заставить его испытать такую мощную эрекцию.

— Я уже и так больна, — сказала Хелен, но голос ее смягчился. — Пожалуйста, возвращайся сейчас же домой!

— И оставить здесь Дункана?

— Ради бога, разбуди его! — воскликнула она. — Или принеси на руках!

— Я сейчас буду дома, — твердо пообещал Гарп. — И не волнуйся. Не думай о том, о чем теперь думаешь.

Я потом расскажу тебе все, что здесь происходило. Возможно, эта история тебе даже понравится. — Но он знал, что будет трудновато рассказать ей *все*, придется, видимо, как следует подумать, какие именно места этой истории лучше оставить за скобками.

— Мне уже лучше, — сказала Хелен. — Надеюсь скоро тебя увидеть. И не мой, пожалуйста, больше ни одной ее тарелки! — Она повесила трубку, а Гарп оглядел кухню и подумал, что полчаса его упорного труда вряд ли будут замечены миссис Ральф, ибо вокруг по-прежнему царил совершенно немыслимый беспорядок.

Гарп долго искал вещи Дункана в омерзительных кучах какого-то тряпья, раскиданного по всей гостиной. Он хорошо знал, во что был одет Дункан, но никак не мог найти его одежду, а

потом вдруг вспомнил, что Дункан, точно хомячок, все тащит в свою нору и одежду обычно складывает на дне спального мешка, а потом уже заползает туда сам. Дункан весил фунтов восемьдесят, да плюс его барахло, да плюс спальный мешок, но Гарп полагал, что сумеет дотащить его до дому. А свой велосипед Дункан как-нибудь на днях сам пригонит обратно. По крайней мере, решил Гарп, будить Дункана в этом доме я ни за что не стану. Ведь Дункан, вполне возможно, не пожелает уходить, устроит сцену, еще и миссис Ральф, не дай бог, проснется!

И тут Гарп вспомнил о миссис Ральф. Злясь на себя, он понимал, что очень хочет в последний разок взглянуть на нее; внезапно оживший член также свидетельствовал о том, что его тянет к ее толстому грубоватому телу. Он быстро прошел к черной лестнице. Провонявшую собачьей мочой комнату он мог бы найти с помощью одного лишь обоняния.

Он посмотрел ей прямо в промежность, потом перевел глаза на странно закрученный пупок, на довольно-таки маленькие соски (что было удивительно при таких огромных грудях). Ему следовало бы сперва взглянуть ей в лицо, ибо тогда он сразу понял бы, что она вовсе не спит, а

тоже вполне откровенно его рассматривает.

— Ну что, все тарелки перемыл? — спросила миссис Ральф. — Пришел сказать тете «до свидания»?

— Я хотел удостовериться, что с вами все в порядке, — смущенно пробормотал Гарп.

— Брехня! — заявила она. — Ты просто хотел еще раз на меня посмотреть.

— Да, — признался он и отвернулся. — Простите.

— Можешь не извиняться, — сказала она. — Все равно победа за мной.

Гарп попытался улыбнуться.

— И вообще, ты слишком много извиняешься! — сказала миссис Ральф. — Прямо какой-то *извинительный* мужчина мне попался! Перед всеми извиняется — кроме своей жены. Ей-то ты небось ни разу не сказал «извини».

Рядом с водяной кроватью стоял телефон. Гарп чувствовал, что ни разу в жизни так не ошибался в определении состояния того или иного человека, как ошибся в отношении миссис Ральф. Она вдруг оказалась не более пьяной, чем Билл, или вдруг каким-то чудом совершенно протрезвела, или же просто наслаждалась получасом ясного сознания между тупым опьянением и похме-

льем; Гарп только читал о нем, но всегда считал, что эти полчаса — очередной миф. Заблуждение.

— Я забираю Дункана домой, — сказал он ей. Она кивнула.

— Будь я на твоем месте, — сказала она, — я бы тоже его домой забрала.

Гарп с трудом проглотил едва не сорвавшееся с губ «Извините!», что далось ему не без борьбы.

— Сделай мне одолжение, а? — попросила миссис Ральф. Гарп по-прежнему смотрел на нее; она не возражала. — Не рассказывай своей жене обо мне *всего,* хорошо? Не выставляй меня перед другими полной свиньей. Постарайся отнестись ко мне хотя бы с некоторой симпатией.

— Симпатии у меня вполне достаточно, — пробормотал Гарп.

— Да уж! Во всяком случае, в штанах у тебя ее полно, — заметила миссис Ральф, глядя на шорты Гарпа, вздыбившиеся на самом интересном месте. — А *этого* тебе лучше домой не приносить.

Гарп промолчал. Гарп-пуританин чувствовал, что вполне заслужил несколько хороших пинков.

— Твоя жена действительно хорошо о тебе заботится, верно? — сказала миссис Ральф. — А ты, я думаю, не всегда хорошо себя ведешь. Знаешь,

как назвал бы тебя мой бывший муж? Нашкодившим котом. Которого как следует выдрали.

— У твоего мужа, должно быть, у самого задница не раз горела! — заметил Гарп. Ему было даже приятно получить от нее тумака, и, хотя тумаки эти были довольно слабыми, Гарп все равно чувствовал себя полным идиотом, потому что принял эту женщину за полную размазню и неряху.

Миссис Ральф встала с постели и остановилась прямо перед ним. Ее груди касались его груди, и Гарпу казалось, что его напряженный член вот-вот проткнет ее насквозь.

— Ты еще вернешься, — сказала миссис Ральф. — Спорим?

Гарп молча повернулся и пошел прочь.

Он не прошел и двух кварталов — Дункан в своем спальном мешке покачивался у него на плече, — когда из-за поворота вынырнул полицейский патруль и за спиной Гарпа замигал его синий фонарь: *пойман!* Итак, полуголый ворюга пытается ускользнуть со здоровенным мешком, полным краденого добра, и с похищенным ребенком в придачу!

— Что это у тебя там, парень? — спросил его один из полицейских. На переднем сиденье их

было двое, а кто-то третий, почти невидимый, разместился сзади.

— Мой сын, — сказал Гарп.

Оба полицейских вылезли из машины.

— И куда же ты с ним направляешься, а? — спросил Гарпа полицейский. — С ним все в порядке? — Он посветил фонариком Дункану в лицо, но мальчик все еще пытался спать, отвернулся от света и поглубже спрятался в мешок.

— Он ночевал у своего приятеля, — сказал Гарп, — но из этого ничего не вышло. Вот я и несу его домой.

Полицейский осветил Гарпа фонариком: шорты, спортивные туфли с болтающимися шнурками, голый торс.

— Удостоверение личности у вас есть? — спросил полицейский.

Гарп бережно опустил Дункана вместе со спальным мешком на чью-то лужайку.

— Разумеется нет, — сказал он. — Если вы подбросите меня домой, я вам кое-что покажу.

Полицейские переглянулись. Их вызвали в этот район еще несколько часов назад: молодая женщина сообщила, что к ней приставал эксгибиционист, возможно, даже хотел ее изнасиловать. Но она сумела удрать от негодяя на велосипеде.

— Давно здесь бродите? — спросил Гарпа один из полицейских.

Третий человек, сидевший на заднем сиденье, выглянул наружу посмотреть, что происходит. Увидев Гарпа, он радостно воскликнул:

— Эй, парень, ну как дела? Дункан начал просыпаться.

— Ральф? — сонно окликнул он приятеля.

Один из полицейских присел возле мальчика и посветил фонариком на Гарпа.

— Это твой отец? — спросил он Дункана. Но мальчик оторопело смотрел то на него, то на отца, то на другого полицейского, то на синий проблесковый маячок на крыше машины.

Второй полицейский подошел к типу на заднем сиденье. Это оказался юнец в фиолетовом кафтане. Полицейские подобрали его в соседнем квартале, где крутились в поисках пресловутого эксгибициониста. Парень был не в состоянии объяснить им, где живет, — потому что на самом деле нигде по-настоящему и не жил.

— Ты что, знаешь этого человека с ребенком? — спросил его полицейский.

— Да-а, суровый мужик, — кивнул юнец.

— Все в порядке, Дункан, — сказал Гарп сыну. — Не бойся. Я просто несу тебя домой.

— Это твой сын? — спросил у него полицейский и обратился к Дункану: — Это твой отец?

— Вы его пугаете, — сказал полицейскому Гарп.

— Я не боюсь, — заявил Дункан. — А почему ты меня домой несешь? — спросил он отца. Похоже, всем вокруг хотелось услышать ответ именно на этот вопрос.

— Мать Ральфа была очень расстроена, — сказал Гарп в надежде, что этого будет достаточно, однако же отвергнутый юный любовник, сидевший в полицейской машине, расхохотался. Полицейский с фонариком посветил ему прямо в лицо и спросил у Гарпа, знает ли он этого человека. Так, конца этому явно не предвидится! — подумал Гарп.

— Мое имя Гарп, — раздраженно заявил он. — Т.С. Гарп. Я женат. У меня двое детей. Один из них — вот этот, его зовут Дункан, он старший, он ночевал у своего приятеля. К сожалению, я убедился, что мать этого приятеля не в состоянии как следует позаботиться о моем сыне, и забрал его домой. Точнее, я еще пытаюсь попасть домой. А этот юноша, — продолжал Гарп, указывая на полицейскую машину, — как раз был в гостях у матери приятеля моего сына, когда я туда

пришел. И она очень хотела, чтобы этот юноша немедленно покинул ее дом — вот *этот самый* юноша. — Гарп ткнул пальцем в парня на заднем сиденье. — И в итоге он его покинул!

— Как зовут мать приятеля вашего сына? — спросил полицейский; он пытался записать Гарпову историю в огромный блокнот. Вежливо выждав, он вопросительно посмотрел на Гарпа.

— Дункан, — обратился Гарп к сыну, — как фамилия Ральфа?

— Ну, она ведь меняется, — сказал Дункан. — Сперва он носил фамилию отца, но его мать хочет, чтобы он взял другую фамилию.

— Да, хорошо, но как зовут его отца? — спросил Гарп.

— Ральф, — сказал Дункан. Гарп закрыл глаза.

— Значит, Ральф Ральф? — переспросил полицейский с блокнотом.

— Нет, Дункан! Пожалуйста, подумай как следует, — сказал Гарп. — Ральф — это ведь имя, а как его фамилия?

— Ну, по-моему, она-то как раз и меняется, — сказал Дункан.

— Дункан, как именно она меняется? Какая фамилия была раньше? — спросил Гарп.

— Ты лучше Ральфа спроси, — предложил Дун-

кан. Гарп чуть не взвыл.

— Вы ведь сказали, что вас зовут Гарп? — спросил один из полицейских.

— Да, — кивнул Гарп.

— А инициалы — Т.С.? — снова спросил полицейский. Гарп знал, что будет дальше, и вдруг почувствовал страшную усталость.

— Да, Т.С. — сказал он, — просто Т.С.

— Эй, это значит — Толстая Свинья! — заорал молокосос на заднем сиденье и покатился со смеху.

— Что обозначает первая буква, мистер Гарп? — спросил полицейский.

— Ничего, — ответил Гарп.

— Ничего? — Полицейский очень удивился.

— Это просто инициалы, — сказал Гарп. — Мать дала мне только инициалы.

— То есть ваше имя Т.С.? — спросил полицейский.

— Люди зовут меня Гарп, — сказал Гарп.

— Вот это история, парень! — веселился молокосос в кафтане, но полицейский, стоявший ближе к машине, что было силы треснул кулаком по крыше, и молокосос притих.

— Если ты еще раз посмеешь залезть на сиденье со своими грязными ногами, сынок, — ласково

предупредил его полицейский, — я тебя все это дерьмо языком вылизать заставлю.

— Гарп? — переспросил тот полицейский, что допрашивал Гарпа. — Ой, я же знаю, кто вы! — воскликнул он вдруг. Гарп отчаянно заволновался. — Вы тот человек, который сцапал тогда в парке этого подонка!

— Да! — сказал Гарп. — Он самый. Только это было не здесь и много лет назад.

— А я все помню как вчера! — сказал полицейский.

— О чем это вы? — спросил второй полицейский.

— Ты еще слишком молодой, — презрительно бросил его напарник. — Это ведь тот самый мистер Гарп, что тогда одного гада в парке поймал — забыл, как парк-то называется, — педофила вонючего, который к детишкам приставал! И как только вам это удалось, сэр? — сказал он Гарпу с нескрываемым любопытством и уважением. — Было потом небось чем позвенеть в кармане?

— Позвенеть? — удивился Гарп.

— Ну, премию-то вы получили? — спросил полицейский. — Вы вообще чем себе на жизнь зарабатываете?

— Я писатель, — сказал Гарп.

— Ах да-а, — припомнил полицейский. — Так вы и сейчас писательством занимаетесь?

— Занимаюсь, — кивнул Гарп. По крайней мере, он точно знал, что не является консультантом по брачным вопросам.

— Ну, что ж… — сказал полицейский. Его что-то явно беспокоило, и Гарп это почувствовал.

— У меня тогда борода была, — подсказал он.

— Вот! — воскликнул полицейский. — А теперь вы ее сбрили?

— Точно, — подтвердил Гарп.

Полицейские некоторое время посовещались в красноватом свете задних фонарей автомобиля, а потом решили подвезти Гарпа и Дункана домой, но сказали, что Гарпу все равно придется показать им какой-нибудь документ, удостоверяющий его личность.

— Я просто не узнал вас — без бороды-то! — сказал полицейский постарше.

— Я же говорю, это довольно давно случилось, — грустно кивнул Гарп, — и вообще в другом городе.

Ему очень не хотелось, чтобы юнец в дурацком кафтане узнал, где именно он, Гарп, живет. Он заранее представлял себе, как в один прекрасный день этот тип заявится к ним с какой-нибудь

просьбой.

— Ты меня помнишь? — спросил юнец у Дункана.

— Нет, по-моему, — вежливо ответил Дункан.

— Ну да, ты ведь почти спал, — кивнул юнец и повернулся к Гарпу: — Уж больно ты насчет детишек суров, парень. Дети все отлично понимают! Это твой единственный сын?

— Нет, у меня еще один есть, — сказал Гарп.

— Ну, парень, тебе их следовало бы десяток завести! — воскликнул юнец. — Тогда ты, может, и перестал бы так трястись из-за каждого! — Прозвучало весьма похоже на то, что мать Гарпа называла «теорией Перси относительно деторождения».

— На следующем перекрестке поверните налево, — сказал Гарп полицейскому, который был за рулем, — потом направо, и там на углу наш дом.

Второй полицейский вручил Дункану леденец на палочке.

— Спасибо, — сказал Дункан.

— А мне? — спросил юнец в кафтане. — Я тоже люблю леденцы.

Полицейский свирепо на него глянул и отвернулся. Дункан тут же отдал юнцу свой леденец. Он никогда особенно не любил такие леденцы.

— Спасибо, — прошептал юнец. — Видишь, парень? — обернулся он к Гарпу. — Детишки, они просто прелесть!

И Хелен тоже — просто прелесть, подумал Гарп, увидев ее в распахнутых дверях дома, освещенную сзади светом из холла. В своем голубом до полу платье с высоким воротом под самое горло она выглядела так, словно замерзла. Хелен была в очках, и Гарп понял, что она за ними внимательно наблюдает.

— Эх, парень, — прошептал юнец в кафтане, подталкивая Гарпа локтем, когда тот вылезал из машины. — До чего же, наверно, эта милая дама хороша, когда очки снимает!

— Мам! Нас арестовали! — крикнул Дункан. Полицейские припарковались у тротуара, ожидая, пока Гарп сходит за удостоверением.

— Неправда, никто нас не арестовывал, — возразил сыну Гарп. — Нас просто *подвезли,* Дункан. *И все хорошо!* — сердито сообщил он уже Хелен. И бегом бросился наверх, за бумажником.

— Ты что же, в таком виде и вышел из дому? — спросила Хелен ему вслед. — В одних шортах?

— Полицейские думали, что он меня похитил, — засмеялся Дункан.

— А что, они к Ральфу в дом зашли? — спросила

его Хелен.

— Нет, папа нес меня домой в мешке… — сказал Дункан. — Ой, что это с ним такое?

Гарп с грохотом ссыпался по лестнице и выбежал на улицу.

— Они меня просто с кем-то перепутали, — бросил он Хелен. — Они, должно быть, кого-то совсем другого ищут. Ради бога, не расстраивайся!

— А я и не расстраиваюсь! — довольно резко ответила Хелен.

Гарп предъявил полицейским удостоверение.

— Ах ты, черт меня подери! — воскликнул полицейский, — действительно просто Т.С., и все! Я думаю, так даже проще, верно?

— Иногда не очень, — вздохнул Гарп.

Когда патрульная машина отъезжала, юнец высунулся в окно и крикнул Гарпу:

— Эй, парень, а ты человек неплохой! Если, конечно, расслабляться научишься!

Однако вид гибкого и напряженного тела Хелен, дрожавшей в голубом домашнем платье, так и не позволил Гарпу расслабиться. Дункан совершенно проснулся и нес какую-то чушь, кроме того, он потребовал есть. Гарп тоже проголодался. В предрассветных сумерках на кухне Хелен холодно наблюдала, как они едят. Дункан

пересказывал содержание какого-то длиннющего телефильма; Гарп подозревал, что на самом деле это не один, а целых два фильма, просто Дункан успел уснуть, пока первый еще не кончился, и проснулся на середине второго. Он попытался представить себе, когда и как сочетались действия миссис Ральф с содержанием тех фильмов, о которых рассказывал Дункан.

Хелен не задала ни одного вопроса. Отчасти Гарп понимал, что она просто ничего не могла сказать в присутствии Дункана. Но, с другой стороны, она явно тщательно обдумывала, что *собиралась* сказать. Оба они были очень благодарны Дункану за эту небольшую отсрочку: ожидание возможности открыто поговорить сделает их более терпимыми друг к другу и более осторожными.

На заре они все же не выдержали и стали разговаривать, используя все того же Дункана.

— Расскажи маме, какая там кухня! — сказал Гарп. — И про собаку расскажи.

— Про Билла?

— Вот именно! — сказал Гарп. — Расскажи ей про старого Билла.

— А как была одета мама Ральфа? — спросила Хелен у Дункана. И улыбнулась Гарпу. — Наде-

юсь, потеплее, чем наш папа?

— А что у вас было на ужин? — спросил у Дункана Гарп.

— А спальни у них в доме наверху или внизу? — спросила Хелен. — Или и там, и там?

Гарп попытался сказать ей взглядом: «Пожалуйста, не надо!» Он уже чувствовал, как она оттачивает старое испытанное оружие, готовя его к бою. У нее про запас имелась парочка приходящих нянь, которых она могла ему припомнить, и он чувствовал, что она как раз извлекает их из памяти и помещает на передний край. Если она вытащит наружу одно из давних имен, вызывающих болезненные воспоминания, то у Гарпа не будет наготове ни одного имени, чтобы защититься. Против Хелен невозможно выдвинуть никаких нянь; во всяком случае, пока. Как представлялось Гарпу, Харрисон Флетчер не в счет.

— А сколько там телефонов? — спросила Хелен у Дункана. — Там на кухне телефон есть? И в спальне тоже? Или он только один — в спальне?

Когда Дункан наконец отправился в свою комнату, в распоряжении Хелен и Гарпа уже оставалось меньше получаса: вот-вот встанет Уолт. Однако имена врагов Хелен уже держала наготове. Для болезненного удара времени всегда

достаточно, если знаешь, где находятся старые шрамы.

— Я так тебя люблю, и я так хорошо тебя знаю… — начала Хелен.

12. Теперь это случилось с Хелен

Гарп всю жизнь пугался, когда телефон звонил среди ночи, пронзительным сигналом тревоги врываясь в душу. Кто? — вздрагивало его сердце при первом же звонке. Кого из близких сбил грузовик? Кто утонул в кружке пива? Кто лежит на обочине, растоптанный слоном в непроглядной тьме?

Гарп терпеть не мог такие вот послеполуночные звонки, но однажды и сам позвонил среди ночи — даже не заметив, что звонит в столь позднее время. В тот вечер у них гостила Дженни Филдз, и она как-то мельком обронила, что Куши Перси «вся разорвалась» во время родов и умерла от кровотечения. Гарп ничего об этом не знал и, хотя раньше он порой шутил с Хелен насчет своей былой «страсти» к Куши — и Хелен даже поддразнивала его на сей счет, — весть о том, что Куши *умерла*, произвела на него просто убийственное впечатление. Кушмен Перси всегда была такой активной, такой жизнерадостной, жизненная сила так и кипела в ней, и смерть ее казалась абсолютно невозможной. Сообщение, что Элис

Флетчер попала в аварию, расстроило Гарпа куда меньше; собственно, он всегда был готов услышать, что с ней случилось что-нибудь этакое. Как ни печально, он всегда знал, что с Тихоней Элис вечно будут случаться всякие неприятности.

Гарп потащился на кухню и, даже не взглянув на часы и не заметив, что открывает очередную бутылку пива, обнаружил, что уже набрал номер Перси; в трубке послышались гудки. До Гарпа постепенно доходило, что Жирному Стью понадобится немало времени, чтобы проснуться и снять трубку.

— Господи, кому ты звонишь? — спросила Хелен, входя в кухню. — Ведь четверть третьего!

Повесить трубку Гарп не успел — в трубке послышался встревоженный голос Стюарта Перси:

— Да? — И Гарп легко представил себе хрупкую безмозглую Мидж, которая тоже приподнимается на постели, а потом садится рядом с мужем, напоминая нервную замученную квочку.

— Простите, что разбудил вас, — сказал Гарп. — До меня просто не дошло, что уже так поздно. Мне очень жаль!

Хелен только головой покачала и, резко повернувшись, вышла из кухни. В дверях, правда, тут же появилась Дженни, и на ее лице было написа-

но величайшее неодобрение подобного поступка сына. Причем разочарования в ее взгляде было куда больше, чем просто гнева.

— Кто это, черт побери? — спросил Стюарт Перси.

— Это Гарп, сэр, — сказал Гарп, снова чувствуя себя мальчишкой, которому неловко за свое происхождение.

— Ну и какого черта тебе нужно! — взревел Жирный Стью.

Дженни позабыла сказать, что Куши Перси умерла *несколько месяцев* назад, и Гарп был уверен, что приносит свои соболезнования более или менее вовремя. И попал впросак.

— Мне очень, очень жаль! — снова сказал он.

— Это ты уже говорил! — Стюарт явно терял терпение.

— Я только что услышал… — сказал Гарп. — И хотел сказать вам и миссис Перси, что мне действительно очень жаль. Возможно, я никогда особенно этого не показывал — во всяком случае, *вам,* сэр, — но я действительно по-настоящему любил…

— Ах ты поросенок! — сказал Стюарт Перси. — Сынок маменькин! Японская куча дерьма! — И повесил трубку.

Даже Гарп оказался не подготовлен к такой реакции. Дело в том, что он все понял неправильно и лишь спустя несколько лет узнал все обстоятельства, при которых умудрился разбудить Жирного Стью среди ночи. Бедняжка Пух, она же безумная Бейнбридж Перси, однажды объяснила Дженни Филдз тогдашнюю ситуацию. Когда Гарп позвонил, Куши была мертва уже так давно, что Стюарту и в голову не пришло, что Гарп хочет выразить ему свое сочувствие по поводу гибели дочери. В ту ночь наконец-то испустил дух Бонкерс, это черное чудовище, и Стюарт Перси решил, что звонок Гарпа — жестокая шутка, лицемерные соболезнования по поводу смерти старого пса, которого Гарп всегда ненавидел.

И вот теперь, когда у Гарпа среди ночи зазвонил телефон, Гарп тут же почувствовал у себя на плече руку Хелен, тоже разбуженной этим звонком. Когда он снял трубку, Хелен плотно сжала коленями его ногу, просунутую между ее ногами, — словно, только прильнув к нему всем телом, чувствовала себя в безопасности. Гарп мгновенно перебрал в уме все возможные случайности. Уолт был дома и спал. Дункан тоже, он *не был* у Ральфа.

А Хелен думала: это мой отец! Его больное серд-

це… А иногда ей казалось: они наконец нашли и опознали мою мать. В морге.

А Гарп думал: маму убили. Или похитили и требуют выкуп. И ведь такие похитители не согласятся ни на что другое, кроме публичного изнасилования сорока девственниц, прежде чем отпустят столь известную феминистку невредимой. А может, они потребуют еще и жизни моих детей… В общем, мысль его уже начинала работать.

Звонила Роберта Малдун. Поэтому Гарп сразу решил, что жертвой на сей раз оказалась именно Дженни Филдз. Однако в беде была сама Роберта.

— Он меня бросил! — сказала она своим густым голосом, ставшим еще гуще от слез. — Просто выбросил меня на помойку! *Меня!* Можешь ты в это поверить?

— Господи, Роберта, — сказал Гарп.

— Ох, я даже представить себе раньше не могла, какое дерьмо эти мужчины! — сказала Роберта.

— Это Роберта, — шепнул Гарп Хелен, чтобы та успокоилась. — Ее любовник смотал удочки. — Хелен вздохнула, высвободила ногу Гарпа и перевернулась на спину.

— Тебе небось это совершенно безразлично? — обиженным тоном спросила Гарпа Роберта.

— Роберта, пожалуйста, — сказал Гарп. — Ну что ты говоришь?

— Извини, — сказала Роберта. — Но я подумала, что звонить твоей матери сейчас слишком поздно.

Гарпу такое логическое заключение показалось удивительным: все знали, что Дженни ложится спать очень поздно, гораздо позднее, чем он. Однако он очень любил Роберту, а ей сейчас явно было несладко.

— Он сказал, что во мне *недостаточно* женщины! Что я его только сбиваю с толку — в плане секса, конечно. Что я и сама еще не разобралась, кто я такая! — Роберта заплакала. — О господи, какой ублюдок! Вечно ему что-нибудь новенькое требовалось! И вечно он перед своими приятелями выпендривался!

— Пари готов держать, Роберта, тебе было вполне по силам удержать его, — сказал Гарп. — И почему ты эту дурь из него сразу не вышибла?

— Как ты не понимаешь, — сказала Роберта, — у меня нет ни малейшего желания вышибать из кого-то «эту дурь»! Я ведь все-таки женщина!

— А что, разве у женщин не бывает желания вышибить из кого-нибудь дурь? — удивился Гарп.

— Не знаю, какие там желания бывают у жен-

щин, — заныла Роберта, — и понятия не имею, чего им вообще *полагается* желать. Я знаю только, какие желания возникают у меня самой.

— И какие же? — поинтересовался Гарп, понимая, что она очень хочет ему об этом рассказать.

— Если честно, в данный момент мне действительно очень хочется вышибить из него дурь! — призналась Роберта. — Но когда он тут вокруг меня слонялся и ныл, я просто сидела, как тумба, и со всем соглашалась. Я даже плакала. Плакала целый день! — со слезами выкрикнула она. — А он позвонил мне и сообщил, что если я все еще плачу, то, значит, притворяюсь уже перед самой собой!

— Ну и черт с ним, — сказал Гарп.

— Ему от меня только и было нужно, что как следует потрахаться, — сказала Роберта. — Ну почему все мужчины такие?

— Ну… — начал неуверенно Гарп.

— Ой, я же знаю, ты *совсем* не такой! — поправилась Роберта. — Для тебя я как женщина абсолютно непривлекательна.

— Ну разумеется, ты очень привлекательна, Роберта! — заверил Гарп.

— Но только не для тебя, — возразила Роберта. — И не лги мне. В сексуальном плане я ведь

мало для кого привлекательна, верно?

— Для меня *лично* нет, — признался Гарп, — но для многих *других* мужчин — очень даже да! Очень даже!

— Ну ладно, ты настоящий друг, а это гораздо важнее, — вздохнула Роберта. — Ты ведь меня тоже совсем не привлекаешь в плане секса.

— И это абсолютно естественно, — сказал Гарп.

— Ты слишком маленький, — сказала Роберта. — А мне нравятся *подлиннее.* Не обижайся, ладно?

— Я и не обижаюсь, — сказал Гарп. — И ты тоже не обижайся.

— Ну естественно! — сказала Роберта.

— Может, утром перезвонишь? — предложил ей Гарп. — Утром ты и чувствовать себя будешь лучше…

— Нет, — мрачно буркнула Роберта. — Утром будет еще хуже. К тому же мне будет стыдно, что я вообще тебе позвонила.

— А может, тебе с врачом посоветоваться? — сказал Гарп. — С урологом? Или с кем там еще? В общем, с тем, который тебе операцию делал. Вы ведь с ним друзья, кажется.

— По-моему, он хочет меня трахнуть, — серьезно сказала Роберта. — По-моему, он *всегда* только

об этом и думал. Небось и операцию предложил только потому, что хотел меня трахнуть, но ему хотелось, чтобы я сперва превратилась в женщину. За этими врачами частенько такое водится — мне один друг об этом говорил.

— Псих он — твой друг, Роберта, — заметил Гарп. — За кем такое частенько водится?

— За урологами, — сказала Роберта. — Ой, ну я не знаю!.. А тебе разве урология не кажется немножко неприличной?

Гарпу действительно так казалось, но он не хотел еще больше расстраивать Роберту.

— Знаешь что, ты маме позвони, — услышал он собственный голос. — Уж она-то сумеет тебе настроение поднять, уж она-то что-нибудь придумает.

— Ой, правда! Она такая замечательная! — зарыдала Роберта. — Она *всегда* что-нибудь придумает, но, по-моему, я слишком ее эксплуатирую.

— Она любит помогать людям, Роберта, — сказал Гарп, уверенный, что уж это-то, по крайней мере, сущая правда. Дженни Филдз всегда была исполнена сочувствия и терпения, а он, Гарп, сейчас ужасно хотел спать. — Кроме того, тебе может неплохо помочь добрая партия в сквош, —

слабеющим голосом предложил он. — Может, приедешь к нам погостить на денек-другой? Мы бы отлично время скоротали, а?

Хелен навалилась на него сверху, сердито сдвинула брови и укусила его за сосок. Роберту Хелен, в общем, любила, однако на ранней стадии своей новой сексуальной принадлежности Роберта могла говорить только о себе.

— Я чувствую себя такой *опустошенной.* — сказала Роберта. — Во мне не осталось ни энергии, ничего… Я не знаю даже, смогу ли играть.

— Ну, попробовать-то можно, Роберта, — сказал Гарп. — Тебе нужно заставить себя что-нибудь делать.

Хелен, раздраженная этим бесконечным разговором, снова откатилась на свою половину кровати.

Однако Хелен всегда была благодарна Гарпу, когда он отвечал на поздние ночные звонки; она говорила, что эти звонки так ее пугают, что ей совсем не хочется знать, кто и зачем звонит. А потому, когда через несколько недель Роберта Малдун позвонила второй раз и снова ночью, Гарп очень удивился, что именно Хелен первой схватила трубку, хотя телефон стоял с его стороны кровати и Хелен было неудобно тянуться через

него. Она рывком взяла трубку и быстрым шепотом спросила: «Да, в чем дело?» А когда услышала голос Роберты, быстренько сунула трубку Гарпу; ей и в голову не пришло поберечь его сон.

Когда Роберта позвонила в третий раз, Гарп, сказав привычное «Привет, Роберта!», почувствовал в мозгах полную пустоту. Чего-то явно не хватало. Не хватало обычного жеста Хелен, каким она стискивала его ногу. Ее ног он вообще рядом не чувствовал. Да и *самой Хелен* тоже рядом не оказалось. Он немного поговорил с Робертой, успокоил ее и отметил про себя, что уже два часа ночи — любимое время Роберты. Когда же Роберта наконец повесила трубку, Гарп пошел вниз поискать Хелен и нашел ее в полном одиночестве на диване в гостиной: она сидела с бокалом вина в руке и с какой-то рукописью на коленях.

— Не могла уснуть, — пояснила она, но лицо у нее было какое-то странное — Гарп даже не смог сразу определить, что это за выражение. Хотя оно и показалось ему смутно знакомым, на лице Хелен он никогда прежде его не видел.

— Сочинения почитываешь? — спросил он; она кивнула, хотя перед ней была только одна рукопись. Гарп взял ее в руки.

— Так, студенческая работа, — сказала Хелен,

протягивая руку, чтобы отобрать у него рукопись.

Имя студента было Майкл Мильтон. Гарп наугад прочитал абзац.

— Похоже на рассказ, — заметил он. — Я и не знал, что ты учишь своих студентов писать *художественную* прозу.

— Я и не учу, — сказала Хелен, — но они все равно иногда мне свои работы показывают.

Гарп прочитал еще один абзац. И подумал, что стиль у автора самоуверенный и несколько неестественный, однако ошибок не было; что ж, по крайней мере, вполне грамотный юноша.

— Это, собственно, один из моих аспирантов, — сказала Хелен. — Очень способный, но… — Она пожала плечами, и этот ее жест вдруг показался Гарпу притворно легкомысленным, словно у растерявшегося ребенка.

— Что «но»? — спросил он и рассмеялся, потому что Хелен в этот поздний час выглядела совершенной девчонкой.

Но Хелен сняла очки, и на лице у нее снова появилось то странное выражение, которое Гарп так и не смог для себя определить. Потом она раздраженно сказала:

— Ну, я не знаю! *Слишком молодой,* может

быть. Он просто еще совсем мальчик, понимаешь? Очень способный, но слишком юный.

Гарп перевернул страницу, прочитал еще кусок текста, вернул рукопись Хелен и, пожав плечами, сказал:

— На мой взгляд, полное дерьмо.

— Нет, вовсе не дерьмо, — серьезно возразила Хелен.

Ах ты моя рассудительная училка! — подумал Гарп. И сообщил ей, что возвращается в постель.

— Я тоже скоро приду, — пообещала Хелен.

А потом Гарп, зайдя в ванную комнату наверху, увидел себя в зеркале и наконец сумел определить, что же означало странное выражение лица Хелен. Он узнал его только потому, что не раз видел раньше — на собственном лице, но никогда на лице Хелен. Это было *виноватое* выражение, и оно озадачило его. Он еще долго лежал без сна, однако уснул все же прежде, чем Хелен поднялась наверх и легла в постель. Утром Гарп сам удивился: вчера он лишь мельком заглянул в ту рукопись, но первое, что пришло ему сейчас в голову, было имя аспиранта Хелен: Майкл Мильтон. Он осторожно посмотрел на Хелен, которая тоже проснулась и лежала с ним рядом.

— Майкл Мильтон, — тихонько сказал Гарп, не

обращаясь к ней, но достаточно громко, чтобы она услышала. Краем глаза он видел ее равнодушно-спокойное лицо — Хелен то ли размечталась о чем-то и ничего вокруг не замечала, то ли просто не расслышала, что он сказал. А может, вдруг подумал Гарп, именно это имя как раз и крутится у нее в голове, так что, когда он его произнес, она *уже* повторяла его про себя и не обратила внимания, что вслух-то его произнес Гарп.

Майкл Мильтон, аспирант третьего курса, писавший работу по сравнительному литературоведению, был выпускником кафедры французского языка Йейльского университета, где получил свободный диплом; а до того он учился в Стиринг-скул, хотя там явно не слишком напрягался. А стоило ему понять, что *все* знают, что он поступил в Йейл, он тут же начал снова валять дурака; зато он никогда не валял дурака первый год аспирантуры, когда стажировался во Франции. По рассказам Майкла Мильтона никто бы не догадался, что он провел в Европе всего лишь год; ему удавалось создать впечатление, будто он прожил во Франции все детские и юношеские годы. Теперь ему было двадцать пять.

Но, хоть Майкл и прожил во Франции так недолго, казалось, одеждой он там запасся на всю

оставшуюся жизнь: твидовые пиджаки с широкими лацканами и шлицами сзади сидели на нем безукоризненно; а покрой этих пиджаков, как и брюк, умело подчеркивал стройность его бедер и талии; такой стиль одежды даже соученики Гарпа по Стиринг-скул называли не иначе как «континентальным». Рубашки Майкла Мильтона, две верхние пуговички которых он никогда не застегивал, были из дорогой мягкой материи, удобные и просторные; от них словно веяло эпохой Возрождения — легкой небрежностью и тщательно продуманной изысканностью.

Внешне он настолько же отличался от Гарпа, насколько страус отличается от тюленя. Тело Майкла Мильтона (в одетом состоянии) являло собой образец элегантности; раздетый же он напоминал цаплю. Он был худ, даже худосочен, и довольно высок ростом, а также сутуловат, чего почти не было заметно под отлично сшитыми твидовыми пиджаками. В целом его обнаженное тело напоминало вешалку для пальто — говорят, современные модельеры предпочитают как раз такие: очень удобно вешать на них различные модели одежды. В общем, это было скорее «теловычитание», а не телосложение.

Майкл Мильтон был противоположностью Гар-

па практически во всем, за исключением одного: как и Гарп, он обладал потрясающей верой в себя и полностью разделял с Гарпом добродетель или грех самонадеянности. Как и Гарп, он был даже агрессивен — в том смысле, в каком агрессивен тот, кто абсолютно в себе уверен. Между прочим, именно эти качества когда-то и привлекли Хелен Холм к Гарпу.

Теперь те же качества обнаружились вдруг у совершенно иного человека. Они и проявлялись иначе, и все же Хелен тотчас их распознала. Вообще-то ее всегда крайне мало интересовали юные «денди», которые одевались и разговаривали так, словно давным-давно устали от мира и от жизни, обретя некую печальную мудрость, потому что якобы «выросли в Европе», хотя большую часть своей пока еще недолгой жизни провели на заднем сиденье родительского автомобиля в Коннектикуте. Впрочем, в отрочестве Хелен весьма мало привлекали и борцы, которых тренировал ее отец. Однако ей всегда нравились люди, уверенные в себе, при условии, что их уверенность была действительно обоснована.

То, что привлекло к Хелен Майкла Мильтона, привлекало к ней и многих других мужчин и даже некоторых женщин. В свои тридцать с

небольшим она была женщиной поистине очаровательной, и не только потому, что была хороша собой, а потому, что всегда выглядела безупречно. Кстати, отличие весьма важное, ибо вид у Хелен был такой, как если бы она не просто тщательно заботилась о своей внешности, но имела вполне разумные причины делать это. В ее случае, впрочем, ее пугающе притягательная внешность никого не вводила в заблуждение. Хелен была очень успешной женщиной. И выглядела так, словно полностью распоряжается собственной жизнью. Лишь наиболее самоуверенные из мужчин осмеливались еще раз взглянуть на нее, если она хоть раз ответила на их взгляд. Даже на автобусной остановке мужчины пялились на нее только до той минуты, пока она не поднимала на них глаза.

А в университетских коридорах близ родной кафедры английского языка Хелен и вовсе не привыкла, чтобы на нее глазели; конечно, на нее посматривали и здесь, но взгляды эти были мимолетны и уклончивы. Потому Хелен и оказалась совершенно не подготовлена к долгому и откровенному взгляду, каким однажды одарил ее Майкл Мильтон. Они шли по коридору друг другу навстречу, и он просто остановился и уставился

на нее. И первой глаза отвела именно она, а он повернулся и продолжал смотреть — уже ей вслед; и еще спросил у кого-то — достаточно громко, чтобы она услышала: «Она что, преподает здесь или просто так приходит? Чем она, собственно, здесь занимается?»

Во втором семестре Хелен вела спецкурс «Отражение авторской позиции в нарративе»; собственно, это был семинар для аспирантов, который посещали и наиболее способные студенты-старшекурсники. Хелен интересовало развитие и усложнение нарративной техники в современном романе, когда особое внимание уделяется прежде всего позиции самого автора. И на первом же семинаре она заметила этого студента, выглядевшего постарше остальных, с тонкими бледными усиками, в отличной дорогой рубашке, на которой две верхние пуговицы были небрежно расстегнуты. Она постаралась не смотреть на него и раздала составленный ею вопросник, где, в частности, имелся и такой пункт: «Почему вас заинтересовал именно этот семинар?» И в ответ аспирант по имени Майкл Мильтон написал: «Потому что с первой минуты, как я тебя увидел, мне захотелось стать твоим любовником».

После семинара, оставшись в своем кабинете

одна, Хелен перечитала сей нестандартный ответ на вполне стандартный вопрос. Она была уверена, что знает, кто этот Майкл Мильтон; реши она, что это совсем другой мальчик, один из тех, на кого она даже внимания не обратила, она бы показала листок с наглым ответом Гарпу. И Гарп, наверное, тут же потребовал бы: «А ну-ка, покажи мне этого полового гиганта!» Или сказал бы: «Слушай, а давай познакомим его с Робертой Малдун!» И они бы вместе посмеялись, и Гарп стал бы подшучивать над тем, как она «ведет студентов за собой». И намерения этого юнца, кто бы он ни был, так бы и остались на бумаге, ни единого шанса он бы не получил. Это Хелен прекрасно знала. Не показав Гарпу вопросник с ответом Майкла, она уже почувствовала себя виноватой; и все же ей было интересно, что будет дальше, если Майкл Мильтон — и впрямь тот, кого она себе представляла. У нее действительно и в мыслях не было заходить слишком далеко — просто чуть-чуть дальше, а чуть-чуть не считается, размышляла Хелен у себя в кабинете.

Если б Харрисон Флетчер по-прежнему работал на кафедре, она бы непременно показала вопросник ему. Вне зависимости от того, кто такой этот Майкл Мильтон. Даже если это действительно

тот юноша, который сумел встревожить ей душу, она бы все равно обсудила эту проблему с Харрисоном. У Харрисона и Хелен в прошлом были кое-какие общие тайны вроде этой, и они старательно оберегали их от Гарпа и Элис. Это были постоянно возникавшие, но вполне невинные тайны взаимоотношений преподавателей со студентами. Хелен знала: расскажи она Харрисону о том, что Майкл Мильтон заинтересовался ею, и это помогло бы ей избежать реальных контактов с молодым человеком.

Но Гарпу она ни словом не обмолвилась о Майкле Мильтоне, а Харрисон, разумеется, давно уехал устраиваться на новую работу. Вопросник был заполнен поистине каллиграфическим почерком; так писали в XVIII веке — черными чернилами и пером специальной заточки. Написанное Майклом Мильтоном выглядело более вечным, чем напечатанный рядом вопрос, и Хелен без конца читала и перечитывала его ответ. Она прочитала и его ответы на другие вопросы: год и день рождения, в какой школе учился, какие курсы прослушал на отделении английской филологии и сравнительного литературоведения. Просмотрела ведомости — оценки у него были хорошие. Позвонила двум своим коллегам, чьи

лекции Майкл Мильтон посещал в прошлом семестре, и выяснила, что Майкл Мильтон — студент хороший, хотя довольно агрессивный и гордый до тщеславия. Из отзывов коллег она также уяснила — хотя они впрямую об этом и не говорили, — что Майкл Мильтон человек одаренный, но в общении довольно неприятный. Она подумала о нарочито расстегнутых верхних пуговицах на рубашке (теперь она уже была уверена, что это именно он) и представила себе, как сама застегивает их. А еще она представила себе тонкую линию усиков у него над верхней губой. Позднее Гарп назвал эти усики Майкла Мильтона «оскорблением миру волос и губ». По мнению Гарпа, это было настолько жалкое подражание нормальным усам, что Майкл Мильтон сделал бы одолжение собственной физиономии, если бы их сбрил.

Но Хелен тонкие усики на губе Майкла Мильтона почему-то нравились.

— Да тебе вообще *никакие* усы не нравятся! — сказала она Гарпу.

— Мне не нравятся *эти* усы! — возразил он. — А против *усов вообще* я ничего не имею. — Он продолжал стоять на своем, хотя на самом деле Хелен была права: Гарп ненавидел все усы на

свете после столкновения в парке с тем молодым усатым насильником. Этот парень раз и навсегда отравил Гарпу отношение ко всем усатым мужчинам вообще.

Хелен также нравилось, что у Майкла Мильтона длинные бачки, кудрявые и блондинистые. У Гарпа бачки были очень короткие, они кончались почти на уровне глаз или верхнего края ушей, хотя волосы у него были густые и всегда достаточно длинные, чтобы закрывать ухо, которое наполовину сгрыз проклятый Бонкерс.

Кроме того, Хелен заметила, что ее начинает раздражать эксцентричность Гарпа. А может, она просто стала чаще замечать проявления этой эксцентричности? В последнее время Гарп весьма усердно работал над книгой, а когда он писал, у него просто не хватало времени на всякие эксцентрические выходки. Но Хелен так или иначе находила выходки мужа эксцентричными и весьма надоедливыми. Например, ее бесило поведение Гарпа на подъездной дорожке, в корне противоречившее его же убеждениям. Для человека, который так беспокоится о целости и сохранности своих детей и без конца вопит о лихачах-водителях, об утечках газа и т. п., у Гарпа была поистине ужасная манера въезжать на

подъездную дорожку и в гараж после наступления темноты.

Дело в том, что их подъездная дорожка круто поворачивала в гору, тогда как сама улица шла под уклон. И если Гарп знал, что дети уже легли спать, он, чтобы не разбудить их, выключал мотор и фары и по инерции катил вверх по подъездной дорожке; пока ехал под гору, он набирал скорость, достаточную, чтобы перевалить через вершину дорожки и въехать прямо в темный гараж. Однако потом ему все равно приходилось заводить машину, чтобы отвезти домой очередную приходящую няню. Хелен утверждала, что ему просто не хватает острых ощущений, что эти его ухищрения ребячливы и опасны. В темноте Гарп вечно наезжал на игрушки, разбросанные на подъездной дорожке, и сокрушал детские велосипеды, оставленные возле ворот гаража.

Одна из приходящих нянь как-то пожаловалась Хелен, что терпеть не может, когда Гарп сползает по улице с выключенным двигателем и потушенными фарами (у него был и еще один фокус: он выжимал сцепление и резко включал свет только перед тем, как выехать на проезжую часть улицы).

Интересно, я одна испытываю такое беспокой-

ство? — думала Хелен. Она никогда не считала себя беспокойной, пока не задумалась о вечном беспокойстве Гарпа. Давно ли обычное поведение Гарпа и его привычки стали ее раздражать? Она не знала. Знала только одно: она *заметила,* что они ее раздражают, практически в тот день, когда прочитала ответы Майкла Мильтона на свою анкету.

Хелен ехала на работу, обдумывая, что именно скажет самонадеянному юному наглецу, когда набалдашник на рычаге переключения скоростей в ее «вольво» вдруг отломился и обнажившийся металлический стержень оцарапал ей кисть. Хелен выругалась, поставила машину на обочину и стала изучать ущерб, нанесенный переключателю скоростей и ей самой.

Собственно, набалдашник уже которую неделю держался на честном слове, крепеж совершенно разболтался, и Гарп несколько раз пытался закрепить набалдашник с помощью клейкой ленты. Хелен сердито твердила, что он чинит машину «левой задней ногой», но Гарп никогда и не претендовал на лавры мастера на все руки, к тому же уход за машиной входил в число домашних обязанностей Хелен.

Такое разделение труда, хотя по большей части

и согласованное, оказывалось порой чрезвычайно неудобным. В основном домашним хозяйством занимался Гарп, но белье гладила Хелен («ведь, — говорил Гарп, — это *тебя* волнует, выглажена одежда или нет»), и Хелен же отгоняла машину на станцию техобслуживания («ведь, — говорил Гарп, — это *ты* ездишь на ней каждый день и лучше знаешь, что именно требует починки»). Хелен не возражала против глажки, но чувствовала, что машиной заниматься должен все-таки Гарп. Когда она отгоняла машину в ремонт, ей совершенно не улыбалось ехать из автомастерской в университет на грузовике, в грязной кабине рядом с каким-нибудь молодым автомехаником, который уделял гораздо больше внимания ей, чем рулю и дороге. Мастерская, где ремонтировали их машину, была Хелен хорошо знакома, и там к ней относились по-дружески, однако сама она бывать в мастерской не любила; и шуточки насчет того, кто повезет ее сегодня на работу, раз «вольво» останется в гараже, ей уже вконец осточертели. «У кого есть время отвезти миссис Гарп в университет?» — выкликал старший механик, обращаясь куда-то в сыроватую и маслянистую тьму ремонтных ям. И трое или четверо юнцов, грязные как черти, но с полной боевой готовно-

стью на физиономиях, швыряли свои гаечные ключи и длинноносые масленки, выскакивали из ям и бросались к ней, предлагая ее отвезти, — чтобы хоть на краткий миг разделить тесную, набитую всякими железками кабину с хрупкой «профессоршей».

Гарп говорил Хелен, что, когда машину в ремонт сдает он, добровольцев отвезти его практически не бывает; ему частенько приходилось ждать в гараже по целому часу и в конце концов нанимать какого-нибудь бездельника, чтобы тот отвез его домой за деньги. Поскольку подобные поездки изрядно сокращали драгоценное утреннее время, которое Гарп мог провести за письменным столом, он решил окончательно переложить все заботы о «вольво» на плечи Хелен.

Рычаг переключения скоростей давно уже служил предметом их вялых споров.

— Ты ведь можешь просто позвонить туда и заказать новый, — говорила Гарпу Хелен, — а я подъеду и подожду, пока они его привинтят. Но я *не желаю* оставлять там машину на целый день или ждать, слушая, как они пыхтят и пукают, пытаясь приделать обратно *эту* штуковину. — Она бросила Гарпу отломанный набалдашник, но он тут же отнес его в машину и снова старательно

пристроил на прежнее место.

Отчего-то, с досадой думала Хелен, эта штуковина отваливается только тогда, когда за рулем именно я! С другой стороны, она ведь действительно гораздо чаще ездила на машине, чем Гарп.

— Черт! — буркнула Хелен и поехала на работу, стараясь не обращать внимания на безобразный голый штырь, царапавший руку каждый раз, когда приходилось переключать скорость. В итоге на чистенькой юбке ее делового костюма даже остались кровавые пятна. Она припарковала машину и, прихватив набалдашник с собой, двинулась через автостоянку к зданию, где работала. Сперва она хотела выкинуть проклятый набалдашник в мусорный бак, но потом заметила на нем какие-то меленькие циферки. Ну хорошо, решила она, из кабинета я позвоню в гараж, назову им эти цифры, а потом уж непременно выброшу эту штуковину. Или отошлю ее *по почте* Гарпу!

Именно в таком настроении, досадуя на всю эту ерунду с рычагом переключения скоростей, Хелен и столкнулась в холле возле своего кабинета с щеголеватым молодым человеком, у которого две верхние пуговицы на рубашке были вечно расстегнуты. При ближайшем рассмотрении

оказалось, что плечи его твидового пиджака слегка обвисли, волосы, пожалуй, были чересчур прямыми и чересчур длинными, а усы — неровными, и один ус, острый, как кончик ножа, свисал прямо к уголку рта. Хелен не очень понимала, чего ей в данный момент хочется — любить этого молодого человека или просто *почистить* его, привести в порядок.

— А вы рано встаете, — заметила она и дала ему подержать отломанный набалдашник, чтобы освободить руки и отпереть дверь кабинета.

— Вы что, поранились? — спросил он. — У вас кровь. — Впоследствии Хелен пришла к выводу, что у него, должно быть, особый нюх на кровь, ведь небольшая царапина у нее на запястье уже почти перестала кровоточить.

— А вы что, собираетесь стать врачом? — спросила Хелен, пропуская его в кабинет.

— Собирался, — ответил он.

— И что же вам помешало? — удивилась она, глядя на него, но обходя письменный стол и поправляя и без того вполне аккуратно лежащие на нем книги и бумаги. А потом зачем-то подошла к окну и стала поправлять жалюзи, закрепленные в точности так, как всегда нравилось ей. Очки она сняла, и теперь он представлялся ей каким-то

мягким и расплывчатым.

— Мне помешала органическая химия, — сказал он. — Я этот курс завалил. И потом, мне хотелось пожить во Франции.

— О, так вы жили во Франции? — спросила Хелен, понимая, что должна задать именно этот вопрос, что именно это он считает своей главной отличительной чертой, иначе для чего бы он стал сразу же упоминать об этом. Он ведь умудрился даже в ее вопросник это впихнуть! Пустышка, догадалась она, все еще надеясь, что в нем есть хоть немножко интеллигентности. И, как ни странно, испытала облегчение, обнаружив, что он такая пустышка, словно это делало его менее опасным для нее, словно она, обретя возможность смотреть на него чуть свысока, почувствовала себя гораздо свободнее.

Они поболтали о Франции, что несколько развлекло Хелен, потому что она говорила о Франции не менее свободно, чем Майкл Мильтон, и знала ее не хуже, хотя в Европе никогда не бывала. Заодно она сообщила ему, что, на ее взгляд, у него нет особых причин участвовать в ее семинаре.

— Особых? — переспросил он, настойчиво заглядывая ей в глаза и улыбаясь.

— Во-первых, — сказала Хелен, — вы ждете от

семинара абсолютно нереальных результатов.

— О, так у вас уже есть любовник? — спросил ее Майкл Мильтон, по-прежнему улыбаясь.

Он держался до того нахально, что Хелен даже не оскорбилась и не рявкнула в ответ, что с нее вполне хватает и мужа, что его это совершенно не касается и что она вообще не его поля ягода. Вместо этого она сказала ему, что для достижения цели ему, по крайней мере, следовало бы записаться к ней на факультатив. Он сказал, что с удовольствием это сделает, но она ответила, что никогда не берет факультативщиков посредине второго семестра.

Она понимала, что до конца его не разубедила, однако и не ободряла его. В итоге они с Майклом Мильтоном вполне серьезно целый час проговорили об основной теме ее семинара по специфике нарратива. Майкл Мильтон толково говорил о «Волнах» и «Комнате Джейкоба» Вирджинии Вулф, правда, «К маяку» знал не так хорошо, и Хелен сразу поняла, что он только делает вид, будто читал «Миссис Дэллоуэй». Когда он наконец ушел, она задумалась и волей-неволей согласилась с двумя своими коллегами, у которых ранее спрашивала о Майкле Мильтоне: бойкий на язык, щеголеватый, самоуверенный, но неприятный в

общении — словом, из таких, что никогда ей не нравились. Было в нем еще какое-то хрупкое изящество, каким бы притворным и поверхностным оно ни казалось, — и это тоже отчего-то было ей неприятно. Зато коллеги Хелен не заметили его дерзкой улыбки и такой манеры носить одежду, словно он уже наполовину раздет. Впрочем, коллеги Хелен были мужчинами; вряд ли стоило ожидать, что они оценят дерзкую улыбку Майкла Мильтона так, как ее могла оценить Хелен. Эта улыбка говорила примерно следующее: я хорошо тебя знаю, я хорошо знаю все, что тебе нравится. Такая улыбка могла довести ее до бешенства, но в данном случае она ее искушала, а потому ей хотелось пощечиной стереть эту улыбку с лица Майкла Мильтона. Но пощечина не годилась. Единственным способом убрать улыбку с его лица, как представлялось Хелен, было вот что: она непременно должна доказать этому наглецу, что он *совсем* не знает ни ее, ни того, что ей нравится.

Впрочем, она понимала, что способов доказать ему это у нее не так уж много.

Собираясь домой, она весьма неосторожно схватилась за сломанную ручку переключения скоростей, и голый металлический штырь глу-

боко вонзился ей в мякоть ладони. Она хорошо помнила, куда Майкл Мильтон положил набалдашник — на подоконник, прямо над мусорной корзиной, где уборщица найдет его и, скорее всего, выбросит. Его и следовало выбросить, однако Хелен вспомнила, что так и не позвонила в мастерскую — насчет тех маленьких цифр, — а значит, ей или Гарпу придется звонить туда из дома и заказывать новый набалдашник, *не зная* этих чертовых циферок, а просто ориентируясь на то, какого года выпуска их «вольво», и все неизбежно кончится тем, что набалдашник не подойдет.

В кабинет Хелен решила не возвращаться, а потом за прочими заботами совершенно позабыла позвонить уборщице и попросить не выбрасывать набалдашник. Да, наверное, все равно было уже слишком поздно.

Но в этом клубке новых для нее чувств и переживаний было одно, которое очень ей не нравилось; она совсем не привыкла чувствовать себя виноватой; Хелен Холм всегда чувствовала себя правой во всем, и ей было просто необходимо и тут оправдать себя. Порой ей казалось, что она уже почти достигла того состояния души, когда чувствуешь себя совершенно свободной от

всякой вины, но окончательно утвердиться в нем пока что никак не могла.

Именно Гарп должен был дать ей необходимое ощущение. Возможно, он учуял соперника; Гарп и писателем-то стал из чувства соперничества, да и из своих писательских неудач в итоге выбрался на той же могучей волне.

Он знал, что Хелен *читает* чьи-то чужие литературные произведения. Гарпу и в голову не приходило, что у его жены на уме не только литература, но с типично писательской ревностью он видел, что *написанное кем-то другим* не дает ей спать по ночам! На заре их любовных отношений Гарпу удалось увлечь Хелен рассказом «Пансион „Грильпарцер“», и теперь чутье подсказывало ему, что стоит снова поухаживать за ней подобным образом.

Но если для совсем молодого писателя такой мотив был вполне приемлем, то теперь он представлялся Гарпу весьма сомнительным — особенно если учесть, что он столько времени вообще ничего не писал. Возможно, простой в творчестве был абсолютно необходим для обдумывания сделанного и прожитого, когда колодец памяти вновь наполняется чистой влагой воображения, когда готовишься писать нечто новое

после надлежащего периода молчания. В какой-то степени рассказ, который он написал для Хелен сейчас, и отражал эти вынужденные и не вполне естественные обстоятельства своего зарождения. Рассказ был написан не под воздействием какого-то реального события, а скорее чтобы дать выход владевшему Гарпом беспокойству.

А возможно, это было и необходимое упражнение для литератора, который давно ничего не писал. Но Хелен с полным безразличием отнеслась к тому, что Гарп настойчиво сует ей свой новый рассказ.

— Я наконец кое-что закончил! — заявил он после ужина.

Дети давно спали, и Хелен хотелось одного: лечь с ним в постель и долго-долго заниматься любовью, чтобы обрести наконец душевное равновесие и успокоиться, потому что она как раз дочитала все, что успел написать Майкл Мильтон, и больше им, казалось, обсуждать будет нечего. Она знала, что не должна выказать ни малейшего разочарования по поводу рукописи, которую дал ей Гарп, однако усталость взяла верх, и Хелен лишь тупо смотрела на рукопись, лежавшую на столе среди грязных тарелок

— Я сам помою посуду, — предложил Гарп, рас-

чищая для жены путь к своему рассказу.

У Хелен упало сердце; она уже и так слишком много прочла. *Секс* или, по крайней мере, супружеская нежность — вот тема, которую она хотела бы сейчас обсудить, и лучше бы это дал ей Гарп, а не Майкл Мильтон.

— Я хочу, чтобы меня любили, — сказала Хелен Гарпу. Он споро убирал со стола грязные тарелки, точно официант, рассчитывающий на хорошие чаевые.

— Сперва прочитай рассказ, милая, — рассмеялся он. — А потом пойдем в постельку.

Но ей была отвратительна назначенная Гарпом очередность действий. Разумеется, между тем, что писал Гарп, и жалкими ученическими упражнениями Майкла Мильтона даже и сравнения быть не могло. Хотя Майкл считался в университете одним из самых одаренных студентов, Хелен не сомневалась, что он на всю жизнь останется среди писателей только *учеником.* И вообще, дело не в этом. Дело *во мне*, думала Хелен; я хочу, чтобы кто-нибудь обратил на меня внимание! Манера Гарпа проявлять к ней внимание вдруг показалась ей оскорбительной. Собственно, он проявлял внимание не к ней, а к своим произведениям! А это не *самая* главная тема, упрямо

думала Хелен. Благодаря Майклу Мильтону она успела опередить Гарпа в оценке высказанного и невысказанного между близкими людьми. «Ах, если бы люди говорили друг другу то, что у них на уме!» — писала Дженни Филдз. Наивное, но простительное заблуждение; оба они — и Гарп и Дженни — отлично понимали, как трудно это сделать.

Гарп тщательно мыл тарелки, ожидая, когда Хелен дочитает его рассказ. Машинально — опытный преподаватель! — она взяла красный карандаш и принялась читать. Но она же совсем *не так* должна читать мой рассказ! — думал Гарп; я же не один из ее студентов! Однако он продолжал молча мыть посуду, понимая, что теперь Хелен уже не остановить.

Т.С. Гарп

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Чуть не каждый день, когда я пробегаю свои законные пять миль, какой-нибудь автомобилист с нахальной улыбкой притормаживает, затем едет рядом со мной и (находясь в полной безопасности на своем сиденье в машине) задает мне всякие дурацкие вопросы, например: «Ты к чему это

готовишься?»

Во время занятий бегом главное — глубокое и размеренное дыхание, и я редко сбиваюсь с ритма, так что я хватаю ртом воздух, когда отвечаю любопытствующему: «Я просто поддерживаю спортивную форму — чтобы автомобили обгонять».

Реакция на мои слова бывает разной: у глупости есть свои уровни, как и у всего на свете. Разумеется, водителям никогда не приходит в голову, что я отнюдь не их конкретно имею в виду, что я просто поддерживаю спортивную форму и вовсе не затем, чтобы соревноваться в скорости с их автомобилями, во всяком случае не на шоссе. Там я конечно же пропускаю их вперед, хотя иногда мне кажется, что я действительно *мог бы* их догнать. Но я бегаю по шоссе совсем не для того, чтобы привлечь внимание, как думают некоторые.

Поблизости от моего дома просто больше негде бегать. Даже если бежишь на средние дистанции, приходится покидать пределы своего пригорода. Там, где я живу, на каждом перекрестке стоит стоп-знак, а кварталы у нас маленькие, и бесконечные повороты под прямым углом очень неудобны для бегуна. Бегать же по тротуарам

просто опасно — из-за собак, из-за разбросанных детских игрушек, из-за вечно работающих поливальных установок. А если окажешься на относительно удобном для бега пространстве, перед тобой тут же возникает какая-нибудь дряхлая старуха, которая, занимая весь тротуар, осторожно ползет, опираясь на костыли или на поскрипывающую трость. Естественно, воспитанный человек не станет орать «Дорогу!» столь беспомощному существу, но, даже когда я огибаю таких старушек на вполне безопасном расстоянии, хотя и не снижая скорости, они все равно пугаются, а в мои намерения совершенно не входит вызывать у кого-то инфаркт.

Так что для тренировок остается только шоссе; причем по-настоящему я тренируюсь именно в нашем пригороде, ибо считаю себя вполне подходящим соперником для автомобилей, которые набирают скорость поблизости от моего дома. Если они, пусть неохотно, но все же останавливаются перед знаком на *каждом* перекрестке, то никогда не набирают скорость больше пятидесяти миль в час, так что я всегда их легко нагоняю. Я-то ведь могу пробежать и наискосок по лужайкам, по открытым верандам, по детским площадкам мимо качелей и бассейнов; я могу,

наконец, просто перепрыгнуть через живую изгородь. А поскольку *мой* мотор работает беззвучно, равномерно и всегда в такт, я хорошо слышу, не настигает ли меня какая-нибудь машина. Да и у стоп-знаков мне останавливаться не нужно.

Так что в конце концов я их обгоняю, машу рукой — и они всегда останавливаются. И, хотя я безусловно в прекрасной физической форме и готов к поединку с автомобилем, не это поражает любителей больших скоростей. Нет, почти всегда их поражает, что я гожусь им в отцы, потому что сами они почти всегда очень молоды. Да, именно мой возраст заставляет их задуматься. А начинаю я с очень простого вопроса: «Вы там, когда ехали, моих детишек не видели?» Голос мой звучит громко и встревожено. Если за рулем случайно оказывается лихач постарше, он сразу пугается, думая, что нечаянно сбил кого-то из малышей, и сразу же занимает оборонительную позицию.

— Видите ли, у меня двое маленьких детей… — говорю я почти трагическим тоном; я даже позволяю своему голосу чуть-чуть дрогнуть, как бы с трудом сдерживая слезы или невыразимый гнев. Возможно, иной водитель думает, что я гонюсь за похитителем своих детей или же его, совершенно невинного, подозреваю в педофилии.

— А что случилось? — нервно спрашивает он.

— Так вы, значит, не видели моих детей, да? — снова спрашиваю я. — Маленького мальчика, который катает свою младшую сестренку в красной тележке? — Это, разумеется, чистейшая выдумка. У меня двое мальчиков, и не таких уж маленьких; да и тележки у них нет. В это время они, вполне возможно, смотрят телевизор или гоняют на велосипедах в парке — где, на мой взгляд, совершенно безопасно, потому что машин там нет.

— Нет, — отвечает водитель, совершенно сбитый с толку. — По правде сказать, каких-то детей я видел, но, по-моему, не *этих. Да в чем дело-то?*

— А в том, что вы чуть их не убили! — говорю я.

— Но я их даже не видел! — протестует он.

— Вот именно! Вы слишком быстро ехали, чтобы их заметить! — говорю я.

Такой довод действует безотказно, и я всегда произношу эти слова как неоспоримое доказательство вины лихача. И с этого момента ни один из «гонщиков» уже не бывает абсолютно уверен в собственной невиновности. Эту сцену я давно отрепетировал до блеска. Пот (неизбежный при занятиях бегом) стекает по моему лицу ручьями,

капает с усов и подбородка на дверцу автомобиля. Сбитый с толку лихач видит перед собой отца, который искренне тревожится из-за своих детей, потому и бежал так быстро, и вид у него совершенно безумный, и усы какие-то жуткие…

— Извините! — обычно бормочет несчастный водитель.

— Здесь повсюду полно ребятишек, — говорю я ему. — В других местах вы, разумеется, можете ездить как угодно быстро! Но, *прошу вас,* ради детей: здесь больше не гоняйте! — Я никогда не стараюсь говорить грозно; напротив, в этом месте мой голос звучит просто умоляюще. Однако, несмотря на мои честные, полные слез глаза, они видят, что перед ними с трудом сдерживающий себя фанатик.

Чаще всего, как я уже говорил, за рулем сидит совсем еще мальчишка. Мальчишкам вечно хочется словить кайф, промчаться на бешеной скорости, пугая прохожих и в том же лихорадочном ритме, в каком звучит их любимая музыка по радио или в наушниках плеера. И я отнюдь не собираюсь всех их перевоспитывать. Я только надеюсь, что впредь они будут гонять где-нибудь в другом месте. Я же признаю, что шоссе в полном их распоряжении, и, когда трениру-

юсь там, я прекрасно знаю свое место: бегу по мягкой пыли обочины, по раскаленному песку, по гравию, по осколкам пивных бутылок, распугивая одичавших котов и птиц с подбитыми крыльями, отбрасывая ногой использованные презервативы. Но рядом с моим домом автомобили царствовать не будут! Пока я там живу, по крайней мере.

Обычно они усваивают преподанный мною урок.

Пробежав свои пять миль, я делаю еще пятьдесят пять отжиманий, затем пять стометровых пробежек по двору, затем пятьдесят пять приседаний и пятьдесят пять «мостиков». Я не то чтобы помешан на числе «пять», но все эти энергичные и довольно тупые упражнения легче делать в одинаковых количествах, не запоминая кучу разных цифр. После душа (примерно в пять часов) я за оставшуюся часть дня позволяю себе выпить пять банок пива.

Ночью я на автомобили не охочусь. Ночью дети не должны играть на улице — ни по соседству с моим домом, ни где-либо еще. Ночью, так я полагаю, именно автомобиль правит во всем современном мире. Даже в пригородах.

Вообще-то ночью я из дома выхожу редко и не

позволяю членам моей семьи шастать по улицам. Но однажды мне пришлось-таки стать свидетелем ночной автомобильной аварии. Это явно был несчастный случай. Тьму внезапно взрезали снопы света от фар, странным образом направленные вертикально вверх; ночную тишину разорвал скрежет металла и звон бьющегося стекла. Всего лишь в полуквартале от меня в полнейшей темноте и прямо посредине улицы вверх колесами валялся «лендровер» и, точно кровью, истекал маслом и бензином; уже натекла такая огромная лужа, что в ней отчетливо отражалась луна. И единственным звуком был свист в перегретых трубках мертвого двигателя. «Лендровер» выглядел как танк, подорвавшийся на фугасе. Здоровенные выбоины и трещины на мостовой говорили о том, что автомобиль несколько раз перевернулся, прежде чем замер посреди улицы.

Дверцу со стороны водителя можно было лишь приоткрыть, но, как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы внутри зажегся свет. И там, в освещенном салоне, все еще за рулем, все еще вверх ногами и все еще живой, находился какой-то толстяк. С виду целый и невредимый. Его макушка аккуратно упиралась в потолок машины, который, разумеется, теперь стал полом,

однако он как бы и не замечал перемену перспективы. Куда больше его озадачивало то, что к его лицу, буквально «щека к щеке», будто чья-то голова, прижимался огромный коричневый шар для боулинга. Возможно, толстяк и воспринимал прижатый к щеке шар, как мог бы воспринимать, скажем, оторванную голову своей любовницы, до аварии покоившуюся у него на плече.

— Это ты, Роджер? — спросил он вдруг. Я не понял, ко мне он обращается или к этому шару.

— Это не Роджер, — сказал я, отвечая и за себя, и за коричневый шар.

— Мудак он, этот Роджер, — сообщил толстяк. — Чуть яйца мне не отбил своими шарами.

Вряд ли он имел в виду некий в высшей степени странный сексуальный эксперимент, и я пришел к выводу, что он имеет в виду все-таки занятия боулингом.

— Это ведь его шар, Роджера! — пояснил толстяк, указывая на коричневый шар, прижатый к его щеке. — Мне бы надо было сразу догадаться, что он не мой, он ведь ко мне в сумку не влезал. Мой-то шар в любую сумку влезал, а вот у Роджера шары какие-то странные. Я все пытался его шар в свою сумку запихнуть, когда «лендровер» с моста слетел.

Хотя я точно знал, что поблизости нет ни одного моста, но все же попытался представить себе эту ситуацию. Однако внимание мое отвлекло бульканье льющегося бензина — словно пиво в глотке измученного жаждой человека.

— Вам надо выбраться отсюда, — сказал я перевернутому игроку в боулинг.

— Я Роджера подожду, — отвечал он. — Роджер вот-вот меня догонит.

И правда, вскоре на улицу вылетел второй «лендровер»; они были как близнецы из армейской колонны на марше. «Лендровер» Роджера пролетел мимо с погашенными огнями и, разумеется, вовремя остановиться не сумел — врезался в автомобиль толстяка, и обе машины, точно боксеры в клинче, прогромыхали по улице еще метров десять как минимум.

Роджер, судя по всему, и впрямь был мудак, но я уточнять не стал, а просто задал ему вполне логичный вопрос:

— Это ты, Роджер?

— Угу, — буркнул он. Его дрожащий автомобиль был погружен во тьму и странно поскрипывал; мелкие осколки лобового стекла и фар с легким звоном ссыпались на асфальт, точно конфетти.

— Да уж конечно! Кто же еще, кроме Роджера! —

простонал толстяк, по-прежнему торчавший вверх ногами — и по-прежнему вполне живой! — в освещенном салоне своей изуродованной машины. Мне было видно, что из носа у него медленно стекает струйка крови: видимо, шар для боулинга все-таки сделал свое дело.

— Ты — полный мудак, Роджер! — завопил он вдруг. — Ты зачем мой шар к себе в сумку засунул!

— Ну, значит, кто-то унес мой, — спокойно отвечал Роджер.

— Да у меня он, твой чертов шар, придурок! — рявкнул толстяк.

— Ну, это все пустяки, — сказал Роджер, — а вот с какой стати ты мой «лендровер» взял? — И в темной машине Роджера вспыхнул огонек сигареты; похоже, он и не думал выбираться наружу.

— Вам нужно поскорее включить аварийный фонарь, — посоветовал я ему, — а вашему толстому приятелю следует немедленно выбраться из машины. Там целое море бензина натекло. И вряд ли вам стоит курить.

Но Роджер продолжал курить, не обращая на меня ни малейшего внимания. Он безмолвно сидел в темной машине, как медведь в берлоге, и толстяк снова заорал — будто все это происходит

не в действительности, просто ему снова снится тот же сон:

— Это ты, Роджер?

Я пошел домой и позвонил в полицию. В дневное время да еще рядом с домом я бы, во-первых, никогда не потерпел такого безобразия, а во-вторых, не стал бы жаловаться в полицию. Но люди, которые ездят играть в боулинг, путая свои «ленд-роверы» с чужими, это не обычные пригородные лихачи, и я решил: пусть получат свое по закону.

— Алло, полиция? — сказал я.

Я давно усвоил, чего можно ожидать от полиции, а чего нет. И отлично знаю, что они отнюдь не горят желанием брать граждан под арест, когда я сообщал им о лихачах, они слушали меня равнодушно, не выказывая ни малейшего интереса к подробностям. Говорят, есть люди, которых полиция очень даже хочет арестовать, но у меня сложилось твердое мнение, что лихачам полицейские изначально симпатизируют и не слишком ценят рвение тех, кто норовит их задержать по собственной инициативе.

Я сообщил в полицию о местонахождении потерпевших аварию любителей боулинга, а когда полицейский спросил (они всегда этим интересу-

ются), кто звонит, я ответил: «Роджер»[11].

Зная полицейских, я понимал, что в итоге может получиться очень даже интересно. Полицейские почему-то всегда больше заинтересованы в том, чтобы причинить беспокойство человеку, сообщившему о преступлении, чем самим преступникам. В общем, прибыв на место аварии, полицейские взяли в оборот именно Роджера. Я видел, как они там спорят и ругаются, но мог уловить лишь обрывки разговора.

— Он и есть Роджер, — твердил толстяк. — Он — Роджер, так его и этак.

— Но я не тот Роджер, который вам звонил, ублюдки! — возражал Роджер.

— Это правда, — задумчиво подтвердил толстяк. — Этот Роджер ни за какие коврижки не стал бы звонить в полицию!

Через несколько минут полицейские дошли до того, что стали *выкликать Роджера* — ночью, в нашем мирно спящем пригороде!

— Есть здесь кто-нибудь по имени Роджер? — орал один полицейский.

— Роджер! — громогласно вторил ему толстяк, но мой темный дом и темные дома моих соседей

---

11 Примечание: 11
На сленге радистов означает «все в порядке, сигнал принят».

безмолвствовали. Утром, я прекрасно знал, полицейских здесь уже не будет и битых машин тоже. Останутся только масляные пятна да осколки битого стекла.

С облегчением и даже, пожалуй, с радостью по поводу разбитых автомобилей я почти до рассвета смотрел, как полицейские растаскивали сцепленные «лендроверы» и наконец уволокли их прочь. Они были похожи на двух до изнеможения уставших носорогов, застигнутых врасплох в момент совокупления. Однако Роджер и толстяк, извлеченные из своих машин, стояли и спорили, размахивая своими шарами для боулинга, пока не погасли уличные фонари; словно по сигналу, они тотчас умолкли, пожали друг другу руки и двинулись в разные стороны — причем с таким видом, будто знали, куда им надо.

Утром с вопросами явились полицейские, все еще весьма озабоченные проблемой второго Роджера. Но от меня они ничего не узнали — ведь они же ничего не пытаются узнать о тех лихачах, о которых я им сообщаю, правда? «Ну что ж, если это случится снова, — говорят они мне в таких случаях, — непременно дайте нам знать».

К счастью, у меня редко возникает необходимость обращаться в полицию; я и сам вполне

способен справиться с обидчиком. Лишь однажды мне довелось остановить водителя, которого я раньше уже останавливал, — но и его только дважды. Это был нахальный молодой водопроводчик в кроваво-красном грузовичке. Ядовито-желтая надпись на борту грузовичка гласила, что данный слесарь осуществляет любой ремонт по требованию заказчика, и далее следовали крупные буквы:

О. ФЕКТО. ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ И СТАРШИЙ СЛЕСАРЬ

С повторными нарушителями у меня разговор короткий. — Я вызываю полицию, — заявил я молодому человеку. — И сейчас же звоню вашему боссу, старику О. Фекто! Вообще-то надо было позвонить ему еще в прошлый раз!

— Я сам себе босс, — важно сказал он, — и это мой водопроводный бизнес, понял? А теперь отвали!

И я понял: передо мной как раз и есть «старик О. Фекто» — удачливый наглый коротышка, для которого официальные власти ровным счетом ничего не значат.

— Здесь вокруг полно детей, — сказал я, взывая к его совести. — И двое из них мои собственные.

— Ага, ты мне уже говорил, — заметил водопроводчик и так нажал на педаль газа, что мотор взревел, словно прочищая глотку. В выражении лица этого типа таилась явная угроза, она словно прорастала сквозь кожу — так у подростков начинает прорастать борода на еще нежном детском подбородке. Одной рукой я взялся за ручку дверцы грузовика, а вторую положил на опущенное боковое стекло.

— Прошу вас, постарайтесь не ездить здесь так быстро! — сказал я.

— Да ладно, попробую, — сказал О. Фекто. Мне бы тут же и отпустить его с миром, но он закурил сигарету и улыбнулся, и мне показалось, что в этой гнусной улыбке отразилось *все зло мира.*

— Если я тебя еще раз здесь поймаю, — теперь я говорил уже с угрозой, почти с бешенством, — я твой паршивый грузовичок в задницу тебе вобью, ясно?

Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, О. Фекто и я, потом он что было сил газанул, и грузовик так рванул с места, что мне пришлось поспешно отскочить на тротуар. И в водостоке у бортового камня я увидел маленький искореженный грузовичок без передних колес, детскую металлическую игрушку. Я схватил этот грузови-

чок и бросился вдогонку за О. Фекто. Через пять кварталов я его почти нагнал и сумел швырнуть в него искалеченной игрушкой; металлический грузовичок ударился о дверцу кабины и отскочил, не причинив водопроводчику ни малейшего вреда, хотя грохот был будь здоров. Но разъяренный О. Фекто ударил по тормозам; при этом из кузова вылетели штук пять довольно длинных водопроводных труб и железный ящик с инструментами, который раскрылся, изрыгнув из себя отвертку и несколько мотков толстой проволоки. Водопроводчик выпрыгнул из кабины, что было сил хлопнув дверцей; в руках он сжимал здоровенный гаечный ключ. Похоже, любая вмятина на его красном грузовике приводила парня в ярость. Я подхватил выпавшую из кузова трубу длиной этак футов пять и мигом расколошматил ему левый задний фонарь. Я уже говорил, в этот период у меня все на свете самым естественным образом как-то связывалось с цифрой «пять»: между прочим, даже окружность моей груди (при вдохе) — пятьдесят пять дюймов.

— У тебя задний фонарь разбит, — сообщил я водопроводчику. — В таком виде нельзя ездить по улицам.

— А вот я сейчас вызову полицию и заявлю на

тебя, ублюдок чертов! — прошипел О. Фекто.

— Это я на тебя в полицию заявлю, — спокойно ответил я. — Ты нарушаешь скоростной режим, ты угрожаешь жизни моих детей! Нам с тобой есть о чем с полицейскими поговорить! — И, подсунув трубу под задний номер грузовика, я одним движением согнул его, точно письмо пополам сложил.

— Ну все! — сказал водопроводчик. — Еще раз тронешь мой грузовик, и тебе конец! — Однако в тот момент труба казалась мне легче ракетки для бадминтона; я легонько взмахнул ею и кокнул ему второй задний фонарь.

— Эй, а тебе, между прочим, уже обеспечены серьезные неприятности, — заметил я. — Учти: если вздумаешь еще кататься по нашим улицам, то пользуйся только первой скоростью и непременно включай мигалку. — Но сперва придется тебе ее заменить, думал я (взмахивая водопроводной трубой).

Вот тут-то и появилась пожилая дама, которая решила выяснить, что это за шум возле ее дома. Дама, разумеется, тотчас меня узнала — я уже немало «гонщиков» остановил на ее углу.

— О, какой же вы молодец! — воскликнула она.

Я улыбнулся, и пожилая дама засеменила к нам, то и дело останавливаясь и осматривая траву на своей ухоженной лужайке. Вдруг она заметила искалеченный игрушечный грузовик, с явным ужасом и отвращением подняла игрушку и понесла ко мне. Я положил грузовичок в кузов этому О. Фекто и туда же отправил осколки от разбитых задних фонарей и мигалки. У нас очень чистый пригород; я вообще мусор терпеть не могу. А на шоссе, занимаясь бегом, я ничего, кроме мусора, не вижу. Валявшиеся на земле трубы я тоже поднял и сложил в кузов, а концом той трубы, которую по-прежнему держал в руках, точно боевое копье, сгреб в кучку отвертку и мотки проволоки. О. Фекто собрал все это в свой металлический ящик. Возможно, он куда лучший водопроводчик, чем водитель, подумал я; во всяком случае, огромный гаечный ключ явно чувствовал себя в его руке очень уютно.

— А вам, молодой человек, должно быть стыдно! — сказала О. Фекто пожилая дама. Водопроводчик лишь сверкнул в ее сторону глазами.

— Этот — один из самых худших, — сообщил я старушке.

— Подумать только! — воскликнула она. — Послушайте, вы ведь уже вполне взрослый

мальчик! Вам бы следовало лучше соображать, когда вы за рулем.

О. Фекто попятился к кабине, хотя, судя по его виду, он бы с удовольствием запустил в меня гаечным ключом, а затем прыгнул за руль и дал задний ход.

— Езжайте осторожнее, — снова напомнил я ему.

Когда он благополучно погрузился в кабину, я пихнул в кузов трубу, которую по-прежнему держал в руках, взял старую даму под руку и повел по тротуару к ее дому.

Когда красный грузовик рванул с места, сопровождаемый вонью горелой резины и таким ужасным звуком, точно у кого-то кости выворачивают из суставов, я почувствовал, что старая дама дрожит от страха; через ее хрупкий острый локоток эта дрожь передалась и мне, и тут только я понял, как рискованно доводить людей до такой степени бешенства, до какой я довел О. Фекто. Рев его грузовичка слышался уже кварталах в пяти от нас, и я молился за здравие всех собак, кошек и детей, которые могут оказаться на пути его бешеной машины. И конечно же я подумал, что жить теперь стало раз в *пять* сложнее, чем раньше.

Еще я подумал, что мне, наверное, пора прекра-

тить свой «крестовый поход» против любителей больших скоростей. Я, пожалуй, с ними слишком далеко захожу, но они так меня злят — своей неосторожностью и опасной безалаберностью, в которых я усматриваю прямую угрозу моей собственной жизни и жизни моих детей! Я всегда ненавидел автомобили и водителей, которые любят лихачить. Я не в силах подавить яростный гнев на этих лихачей, так рискующих чужими жизнями! Да пусть себе гоняют как сумасшедшие на своих машинах — только где-нибудь в пустыне! Нельзя же допустить, чтобы в мирных пригородах ради забавы стреляли из ружей! И с парашютами пусть прыгают, если им так хочется, — где-нибудь над океаном! *Но не там, где живут мои дети!*

— Господи, что бы мы без вас делали? — громко воскликнула старая дама. — Во что превратился бы наш тихий уголок!

Я так и не смог вспомнить, как ее зовут. Без меня, думал я, «наш тихий уголок», возможно, стал бы *мирным.* Возможно, несколько более мертвым, но мирным.

— Они все ездят так ужасно быстро! — продолжала старая дама. — Ах, если бы не вы!.. Мне иногда кажется, что они вот-вот влетят на своих

чудовищных авто прямо ко мне в гостиную!

А я в это время смущенно думал, что испытываю тот же нервозный страх, что и эта восьмидесятилетняя женщина, и мои страхи и опасения скорее похожи на маразматические страхи выживших из ума стариков, чем на нормальное беспокойство людей моего поколения, то есть людей *еще довольно молодых!*

Господи, и до чего тупую жизнь я веду! — подумал я, направляясь со старой дамой к крыльцу ее дома и помогая ей благополучно миновать все трещины и ямки на дорожке.

И тут водопроводчик вдруг вернулся! Я думал, старушка просто умрет от страха у меня на руках. Красный грузовик вылетел на тротуар, пронесся мимо нас прямо по лужайке старой дамы, вдавив в землю молодое деревце, и чуть не опрокинулся, когда, резко затормозив, вывернул с корнями часть довольно высокой и мощной живой изгороди, а затем, буксуя, расшвырял по всей лужайке куски дерна размером с пятифунтовый бифштекс. Потом он опять выскочил на тротуар и, оглушительно лязгнув железяками в кузове, съехал на мостовую и рванул вверх по улице; я видел, как грузовичок разъяренного водопроводчика на углу улиц Доджа и Ферлонга, снова

вылетев на тротуар, ободрал весь зад припаркованной там машины и, не обращая внимания на открывшийся и хлопающий задний борт кузова, с невероятной быстротой умчался вдаль.

Проводив потрясенную старушку до дому, я сразу позвонил в полицию и жене — чтобы она не выпускала детей на улицу. Этот водопроводчик явно спятил! Господи, думал я, так вот как я помогаю соседям! Довожу психов до невменяемого состояния!

Старушка все это время сидела в кресле-качалке, тихая, как растение. Когда О. Фекто опять вернулся — на этот раз он проехал буквально в нескольких дюймах от стеклянной двери ее гостиной, гудя что было силы и сминая юные деревца, — старая дама даже не пошевелилась. Я стоял у двери, ожидая последнего решающего удара, однако счел за благо не показываться безумцу О. Фекто на глаза, иначе он попытается въехать прямо в дом.

К тому времени, как прибыли полицейские, водопроводчик успел попасть в аварию, пытаясь разминуться с фургоном на перекрестке Колдхилл и Норт-лейн. О. Фекто сломал себе ключицу и, как ни странно, сидел в кабине совершенно прямо, хотя сам грузовик лежал на боку. Этот

безумец оказался явно не в состоянии выбраться наружу через дверцу, которая теперь была у него над головой, а может и не пытался. Выглядел он совершенно спокойным и слушал свой радиоприемник.

С тех пор я старался не слишком задевать чувства водителей-лихачей, если замечал, что они обижены уже одним тем, что я посмел их остановить и вроде бы собираюсь упрекать за нарушение правил движения. Просто говорил им, что немедленно звоню в полицию, и быстро ретировался.

Как выяснилось, за О. Фекто тянулся длинный хвост безрассудных поступков, вызванных его неадекватной реакцией на различные ситуации, и это не давало мне оснований простить себя. «Послушай, но ведь все сложилось как нельзя лучше, — уговаривала меня жена. — Во всяком случае, тебе удалось убрать этого психа с наших улиц!» Надо сказать, обычно она весьма критически относится к моей привычке «всюду совать свой нос». Но тут я сам никак не мог отделаться от мысли, что довел рабочего человека буквально до того, что он слетел с катушек, и *если бы* О. Фекто задавил какого-нибудь ребенка, еще неизвестно, чьей вины тут было бы больше. Думаю, и моей

хватало бы.

На мой взгляд, в наши дни либо всякий вопрос имеет моральную окраску, либо вопросов, имеющих моральную окраску, вообще нет. Точно так же, как в наши дни либо нет никаких компромиссов, либо вокруг одни только компромиссы. Но мне все равно: я всегда бдителен, всегда на страже. Я не могу оставить все, как есть.

Только не говори ничего, убеждала себя Хелен. Пойди поцелуй его и прижмись покрепче, а потом тащи побыстрее наверх, об этом проклятом рассказе вы поговорите позже. *Значительно* позже! Но она понимала, что этого он ей не позволит.

Посуда была перемыта и убрана, и он уже сидел за столом напротив нее.

Хелен постаралась улыбнуться как можно сладострастнее и сказала:

— Я хочу с тобой в постельку!

— Тебе не понравилось? — спросил Гарп.

— Давай поговорим в постели, — предложила она.

— Черт побери, Хелен! Это ведь первый рассказ за столько месяцев, который мне удалось закончить. И я хочу знать, что ты о нем думаешь.

Хелен прикусила губу и сняла очки. Своим красным карандашом она не сделала ни единой

пометки.

— Я люблю тебя, — сказала она.

— Да, да, — нетерпеливо произнес он, — я тоже тебя люблю! Но потрахаться можно и в другой раз. А сейчас ты мне скажи: *как тебе мой рассказ?*

И Хелен вдруг совершенно расслабилась — почувствовала, что он каким-то образом отпустил ее на волю. А ведь я так старалась! — думала она, испытывая громадное облегчение.

— К черту твой рассказ! — сказала она. — Он мне совершенно не понравился, и обсуждать его сейчас я не желаю. Тебе-то ведь абсолютно безразлично, чего именно хочу сейчас я, верно? Ты ведешь себя как маленький ребенок за обеденным столом: думаешь только о своей персоне.

— Тебе не понравился мой рассказ? — переспросил Гарп.

— Ну, не могу сказать, что он совсем плох, — сказала Хелен, — но, по-моему, он просто никакой. Так, пустячок. Зарисовка. Если он предваряет некое более серьезное произведение, то я бы хотела знать, какое именно и когда ты его наконец напишешь. А пока это ничто, ты и сам понимать должен. Причем сделано все наспех, верно? Такие штучки ты одной левой писать можешь!

— Но ведь рассказ *забавный,* разве нет? — спро-

сил Гарп.

— Да, пожалуй, — вяло согласилась Хелен. — Но не более забавный, чем любой анекдот. Вот ты скажи, в чем его *суть?* Может, это пародия на самого себя? Но ты еще не так стар и не так много написал, чтобы начинать над собой посмеиваться. Это нечто вроде… самооправдания и речь-то, в сущности, идет только о тебе самом. Правда-правда. Но рассказ вполне остроумный.

— Ах, я сукин сын! — сказал Гарп. — *Остроумный?*

— Вот ты часто говоришь, что некоторые люди пишут хорошо, но сказать им нечего, — продолжала Хелен. — А как бы ты назвал *такой* вот рассказ? Разумеется, его даже сравнивать нельзя с «Грильпарцером»! Он и пятой части «Грильпарцера» не стоит! Или даже десятой!

— Но «Пансион „Грильпарцер“» — моя первая большая вещь, — сказал Гарп. — Этот рассказ совершенно другой, в том числе по жанру…

— Да, один — *о чем-то* важном, а второй — *ни о чем,* — сказала Хелен. — Один — о людях, а второй — только о тебе. В одном есть и тайна, и точность восприятия, а в другом — лишь голое остроумие. — Когда в Хелен пробуждался критик, остановить ее было трудно.

— Эти два рассказа вообще несравнимы, — сказал Гарп. — Ведь новый, во-первых, *гораздо* меньше, а…

— Вот и давай не будем больше о нем говорить, — сказала Хелен.

Гарп некоторое время обиженно молчал, потом сказал:

— Тебе и «Второе дыхание рогоносца» не понравилось, и следующий роман тоже вряд ли понравится.

— Какой следующий роман? — спросила Хелен. — Ты что же, новый роман пишешь?

Гарп еще сильнее надулся и замолк. Она просто *ненавидела* его за то, что он заставляет ее так с ним поступать. Ведь она любит его и очень хочет лечь с ним в постель

— Слушай, — сказала она, — пойдем в постель, а? Но теперь уже он углядел возможность слегка уязвить ее — или, может, продемонстрировать ей некую недопонятую истину — и ясными глазами посмотрел на нее.

— Давай вообще не будем говорить ни слова, — попросила она. — Давай просто ляжем в постель, хорошо?

— Так ты считаешь, — словно не слыша ее, заговорил он, — что «Пансион „Грильпарцер“» — моя

лучшая вещь? — Он знал мнение Хелен о «Втором дыхании», а еще знал, что, хотя «Бесконечные проволочки» ей очень нравились, первый роман есть первый роман, и в нем не может не быть недостатков. Да, она действительно считает, что «Пансион „Грильпарцер“» — его лучшая вещь!

— Ну, в общем, да, — мягко призналась она. — Ты же *прелестно* пишешь и отлично знаешь, что я вправду так думаю.

— Наверное, я просто еще не вполне раскрыл свой творческий потенциал, — неприязненно сказал Гарп.

— Ничего, раскроешь, — утешила она, чувствуя, что всякое сочувствие и любовь неудержимо исчезают из ее голоса.

С минуту они молча смотрели друг на друга, и Хелен отвела глаза первой. Гарп двинулся по лестнице наверх.

— Ты спать идешь? — спросил он. Но даже не обернулся, и она не могла прочитать по его лицу, что он намерен делать и каковы сейчас его чувства к ней. То ли он скрывает их от нее, то ли они похоронены под его проклятой *работой.*

— Чуть позже, — сказала она.

Он помедлил на лестнице и спросил:

— *Читать* что-нибудь будешь?

— Нет уж, досыта начиталась, хватит с меня пока что, — сказала она.

Гарп ушел. А когда Хелен поднялась в спальню, он уже спал, чем страшно ее расстроил. Как он вообще мог взять и уснуть, если хоть немного считается с ее чувствами? Но на самом деле он думал и о ней, и о многом другом и пришел в полное замешательство; он и уснул потому, что был слишком озадачен и расстроен ее оценкой. Будь он способен сосредоточиться на чем-то одном, то конечно же еще не спал бы, когда она поднялась в спальню. И тогда им удалось бы многого избежать и многое спасти…

Но он уснул, и Хелен присела рядом на краешек кровати и стала смотреть на него с какой-то просто невыносимой для нее самой любовью. Она видела, что член у него в полной боевой готовности, словно он все-таки *ждал* ее, и она тихонько взяла его член в рот и ласково массировала языком, пока Гарп не кончил.

Он проснулся, страшно удивленный и отчего-то страшно виноватый — казалось, даже не сразу понял, где он и с кем. Хелен же, напротив, виноватой отнюдь не выглядела, только печальной. И, вспоминая впоследствии об этой ночи, Гарп решит, что она, наверное, догадалась, что ему

снилась миссис Ральф.

Когда он вернулся из ванной, Хелен уже спала. Она уснула почти мгновенно, наконец-то почувствовав себя совершенно невиновной. Теперь она имела полное право видеть собственные сны! А Гарп еще долго лежал без сна с нею рядом, удивляясь, сколь невинно выражение ее лица, — пока ее не подняли дети.

13. Уолт простудился

Когда Уолт простужался, Гарп всегда плохо спал, стараясь дышать как бы одновременно и за себя, и за сына, у которого заложен нос. Ночью он часто вставал, подходил к Уолту, целовал его, баюкал — казалось, он хочет изгнать из Уолта простуду, подцепив ее сам.

— Господи, — вздыхала Хелен, — это же всего-навсего насморк! Дункан в пять лет простужался зимой без конца!

Теперь Дункану было уже почти одиннадцать, и он, казалось, перерос всякие дурацкие простуды и насморки. Но пятилетний Уолт простужался снова и снова — а может, это был просто затяжной насморк, который то уходил, то возвращался. А когда наступил промозглый март, Уолт и Гарп вообще утратили всякую сопротивляемость: мальчик до изнеможения кашлял сухим кашлем, и Гарп тоже каждую ночь просыпался — его душила мокрота. Гарп иногда так и сидел у постели сына, слушая хрипы в его груди, задремывая ненадолго и вновь просыпаясь в страхе, что больше не слышит стука маленького сердечка, но

оказывалось, что Уолт просто столкнул тяжелую голову уснувшего отца со своей груди, повернулся на бок и устроился поуютнее.

И врач, и Хелен твердили Гарпу:

— Ничего страшного, это всего лишь катаральные явления!

Однако затрудненное, неровное дыхание Уолта по ночам так пугало Гарпа, что совершенно лишало его сна. Поэтому он обычно не спал, когда среди ночи звонила Роберта; полночная тоска огромной и мощной мисс Малдун больше не страшила Гарпа — он уже привык ожидать ее звонков, — зато тревожная бессонница самого Гарпа выводила Хелен из себя.

— Если бы ты снова начал работать, вернулся бы к письменному столу, то слишком уставал бы за день, чтобы полночи не спать, — убеждала его Хелен. Она твердила, что спать ему не дает собственное воображение, а это, по ее мнению, признак того, что он уделяет слишком мало внимания писательской работе; Гарп и сам знал, что, когда пишет мало, у него как бы остается избыток воображения, и это отражается на всем. Например, ужасные сны преследовали его теперь постоянно, и всякие ужасы происходили *только* с его детьми.

В одном сне кошмары начинались, когда Гарп просматривал порножурнал. Он долго разглядывал одну и ту же в высшей степени непристойную фотографию. Борцы из университетской команды, с которыми Гарп иногда вместе тренировался, составили для подобных изображений весьма занятный словарик. Впрочем, примерно тем же набором «терминов» пользовались и борцы из команды Стиринг-скул. Единственное изменение — то, что подобные картинки стали куда более доступными.

Фотография, на которую Гарп смотрел во сне, относилась к числу «вершин» порнографии. Термины упомянутого «словарика» определяли, так сказать, степень обнаженности запечатленной на фотографии женщины. Если видны были только волосы на лобке, но не сами гениталии, это называлось «кустики» или «заросли». Если же были видны и гениталии, это называлось «бобер». И «бобер», разумеется, ценился выше простых «кустиков», ибо являл собой нечто целостное. Если же была приоткрыта вагина, это называлось «вспоротый бобер». А если все это еще и влажно блестело, — что считалось высшим шиком! — то название было сложнее: «мокрый бобер со вспоротым брюхом». Для созерцающих

снимок влажность свидетельствовала о том, что женщина не просто обнажена и не просто выставлена на всеобщее обозрение с раздвинутыми ногами, но что она вдобавок *готова.*

И во сне, глядя на так называемого «мокрого бобра со вспоротым брюхом», Гарп вдруг услышал, как плачут дети. Он не знал, чьи это дети, но тут Хелен и его мать Дженни Филдз вместе с этими детьми спустились по лестнице и гуськом проследовали мимо него, пока он пытался спрятать от них злополучный порножурнал. Видимо, дети спали наверху, и что-то ужасное их разбудило. Теперь они спускались по лестнице — видимо, в подвал, словно там было бомбоубежище. И, подумав об этом, Гарп услышал глухой взрыв, заметил сыплющуюся штукатурку, увидел мелькавшие за окнами огни и задохнулся от ужаса перед тем, что неумолимо приближалось. Дети, всхлипывая, парами послушно следовали за Хелен и Дженни, которые вели их в бомбоубежище и были сосредоточенны и серьезны, как настоящие медсестры. Если они обе хоть раз и глянули на Гарпа, то с какой-то смутной печалью и обидой, словно это он довел всех до такой беды, а теперь бессилен помочь.

Наверно, он слишком увлекся «мокрым бобром

со вспоротым брюхом» и забыл, что нужно следить за вражескими самолетами? Впрочем, как всегда во сне, это так и осталось неясно, как осталось неясно и *почему* он чувствовал себя таким виноватым и *почему* Хелен и Дженни смотрели на него с таким оскорбленным видом.

Замыкали вереницу детей Уолт и Дункан, крепко держась за руки; то, что дети шли парами, как в летнем лагере, и держались за руки, во сне показалось Гарпу естественной реакцией малышей на несчастье. Маленький Уолт плакал — точно так же он плакал, когда ему снился кошмар и он никак не мог проснуться. «Мне снится плохой сон!» — жаловался он в слезах и сердито смотрел на отца.

Но в своем сне Гарп никак не мог разбудить мальчика и прогнать этот *сон.* Дункан же вел себя стоически, глядя из-за плеча Уолта на отца, и на его прелестном, еще совсем детском личике было написано молчаливое и храброе выражение покорности судьбе. Дункан в последнее время вообще очень быстро взрослел. Вот и сейчас они с Гарпом украдкой переглянулись: ведь оба знали, что это не сон и помочь Уолту никак нельзя.

«Разбудите меня!» — крикнул Уолт, но длинная вереница детей уже исчезала в бомбоубежище.

Извиваясь в руках Дункана, который крепко его держал (Уолт макушкой доставал брату примерно до локтя), Уолт все оглядывался на отца и все кричал ему: «Мне снится плохой сон!», словно желая убедить себя в этом. Но Гарп не мог ничего поделать; он ничего не ответил Уолту, не сделал ни малейшей попытки последовать за детьми — по лестнице, ведущей в бомбоубежище. А все вокруг уже стало белым от обваливавшейся штукатурки. А бомбы все падали…

«Тебе просто снится сон! — крикнул Гарп вслед Уолту. — Это только сон!» — кричал он, понимая, что лжет.

Тут Хелен толкала его ногой, и он просыпался.

Наверно, Хелен опасалась, что разбушевавшееся воображение Гарпа может переключиться с Уолта на нее. Ведь удели Гарп жене хотя бы половину того внимания, какое уделял Уолту, он, возможно, понял бы наконец, что в семье у них кое-что происходит.

Хелен думала, что вполне контролирует ситуацию; по крайней мере, она определенно контролировала ее в самом начале, когда открыла дверь своего кабинета Майклу Мильтону, как обычно чуть ссутулившемуся от смущения, и предложила ему войти. А едва он вошел, она

закрыла за ним дверь и быстро поцеловала его в губы, крепко обняв за гибкую сильную шею, так что он толком вздохнуть не мог; она еще и колено ему между ног вставила, так что он опрокинул мусорную корзину и уронил блокнот.

— Обсуждать больше нечего, — сказала Хелен, переводя дыхание. Потом быстро пробежала языком по его верхней губе, пытаясь решить, нравятся ей его усики или нет, и решила, что нравятся, по крайней мере пока нравятся. — Мы поедем к тебе. И никуда больше, — сказала она ему.

— Это за рекой, — сказал он.

— Я знаю, где это, — сказала она. — Там хоть чисто?

— Конечно, — сказал он. — И отличный вид на реку.

— На вид мне плевать, — сказала Хелен. — Я хочу, чтобы там было чисто.

— Там вполне чисто, — заверил он ее. — И я могу делать уборку еще тщательнее.

— Поехать мы можем только на твоей машине, — заявила Хелен.

— Но у меня нет машины, — сказал он.

— Я знаю, что нет, — сказала Хелен. — Значит, тебе придется ее купить.

Теперь он улыбался; он был несколько смущен, удивлен, но теперь вновь обрел прежнюю самоуверенность.

— Но мне ведь не обязательно покупать ее *прямо сейчас,* а? — спросил он, щекоча усами шею Хелен, потом коснулся ее грудей. Хелен высвободилась из его объятий.

— Купишь, когда сочтешь возможным, — сказала она. — Но на моей машине мы никуда и никогда не поедем, и я не желаю, чтобы кто-то увидел, как я тащусь с тобой пешком через весь город или еду на автобусе. Если *хоть кто-нибудь* узнает об этом, все кончено. Понятно? — Она уселась на свое обычное место за письменный стол, и он почувствовал, что ему не стоит обходить стол и приближаться к ней, а потому уселся в то кресло, где обычно сидели приходившие в ее кабинет студенты.

— Конечно, я понимаю, — сказал Майкл Мильтон.

— Я люблю мужа и не стану причинять ему боль, — сказала Хелен.

Майкл Мильтон счел за благо сдержать улыбку.

— Я добуду машину прямо сейчас, — сказал он.

— И как следует убери квартиру или *попроси*

кого-нибудь, чтоб убрали, — сказала она.

— Да, конечно, — сказал он и рискнул чуть-чуть улыбнуться. — А какую машину ты хочешь?

— Мне все равно, — сказала она. — Лишь бы ездила и не ломалась на каждом шагу. И не бери слишком современную, у которой передние сиденья похожи на глубокие кресла с высокими подлокотниками. Возьми такую, у которой как бы одно широкое переднее сиденье, понимаешь? — Вид у Майкла Мильтона стал еще более озадаченным, чем прежде, и Хелен милостиво пояснила: — Я хочу иметь возможность удобно лежать на переднем сиденье, положив голову тебе на колени, чтобы никто не увидел, что я *сижу рядом с тобой*. Теперь понял?

— Понял, не беспокойся, — опять улыбнулся он.

— Это слишком маленький городок, — сказала Хелен. — И никто ничего знать не должен.

— Не такой уж и маленький, — возразил Майкл Мильтон.

— Любой провинциальный город — в сущности, маленький, — сказала Хелен. — А этот даже меньше, чем тебе представляется. Хочешь, я кое-что скажу тебе?

— Что скажешь? — спросил он.

— Ты спишь с Марджи Толуорт, — сказала Хелен. — Она учится то ли на первом, то ли на втором курсе и занимается у меня сравнительным литературоведением; группа двести пять. И ты встречаешься еще с одной *очень юной* студенткой — она учится у Дерксона; английская группа сто пятьдесят. По-моему, она первокурсница. Вот только я не знаю, спишь ли ты с нею. И если не спишь, то не потому, что прилагал для этого мало усилий, — прибавила Хелен. — Насколько мне известно, ты пока не тронул ни одной из своих приятельниц-аспиранток. Впрочем, я, возможно, кого-то и пропустила, или кто-то у тебя был *до того.*

Майкл Мильтон почувствовал себя полным дураком и одновременно загордился, так что начисто потерял контроль над своим лицом, и его выражение Хелен настолько не понравилось, что она отвернулась.

— Вот *до чего* мал этот город, да и любой город вообще, — сказала она. — И учти: если у тебя буду я, с остальными ты должен расстаться. Я прекрасно знаю, что именно способны заметить молодые девушки и как много им хочется сказать.

— Согласен. — Майкл Мильтон, казалось, готов был конспектировать и эту ее лекцию.

А Хелен, вдруг о чем-то вспомнив, испуганно встрепенулась и спросила:

— А водительские права у тебя есть?

— Конечно! — воскликнул Майкл Мильтон. И оба с облегчением рассмеялись. Но, когда Майкл Мильтон все-таки обошел вокруг письменного стола и наклонился, чтобы поцеловать ее, она покачала головой и отмахнулась.

— И вот еще что: ты никогда больше не прикоснешься ко мне здесь, в этих стенах, — сказала она. — Никаких интимностей в кабинете не будет. Я не запираю дверь. И даже не очень люблю, когда она плотно закрыта. Пожалуйста, приоткрой ее, — попросила она, и он повиновался.

Майкл Мильтон достал машину: огромный «бьюик» 1951 года, допотопный универсал с настоящими деревянными панелями на бортах, тяжелый, сверкающий, отделанный хромом и настоящим дубом. Весил он пять тысяч пятьсот пятьдесят фунтов, то есть почти три тонны, и вмещал около восьми литров масла и около восьмидесяти литров бензина. Майклу Мильтону сперва попытались продать его за две тысячи восемьсот пятьдесят долларов, но в итоге он заплатил меньше шести сотен.

— Восемь цилиндров в ряд, три литра двести,

гидроусилитель руля, однокамерный карбюратор! — расхваливал машину продавец. — И не такой уж он ржавый.

Автомобиль оказался действительно не так уж плох — неброского цвета свернувшейся крови, более шести футов шириной и более семнадцати длиной. Переднее сиденье было такое длинное и глубокое, что Хелен могла улечься на нем, практически не поджимая ног. Да и особой необходимости класть голову Майклу Мильтону на колени у нее не возникало, хотя она все равно клала.

И делала это не по необходимости; ей нравилось близко видеть приборную доску и чувствовать застарелый запах коричневой кожи просторного сиденья. Она клала голову ему на колени, потому что ей нравилось ощущать, как то напрягаются, то расслабляются его бедра, как они коротко движутся, когда он нажимает на педаль газа или тормоза. Она чувствовала себя очень спокойно, положив голову ему на колени, потому что в этой машине не было сцепления и водитель лишь изредка передвигал ногу на педали. Майкл Мильтон предусмотрительно переложил кошелек с деньгами в левый передний карман, так что Хелен ощущала щекой только рубчик его мягких

вельветовых джинсов. А когда его охватывало возбуждение, то нечто твердое слегка касалось ее уха или даже ямки под затылком…

Иногда Хелен хотелось заняться с ним оральным сексом прямо в машине, пока они едут через весь город, — да, прямо в этой огромной машине с хромированной решеткой радиатора, похожей на разинутую пасть диковинной рыбы; металлические буквы «бьюик эйт» бежали прямо по «зубам» этой пасти. Но Хелен понимала, что заниматься *этим* в машине было бы небезопасно.

Первым признаком того, что подобная история может оказаться небезопасной, стало вот что: Марджи Толуорт бросила занятия по сравнительному литературоведению, которые Хелен вела в группе двести пять, причем даже не объяснила, что именно ее не устраивает. Хелен, опасаясь, что юную Марджи Толуорт не устраивает отнюдь не курс сравнительного литературоведения, пригласила девушку к себе в кабинет и попросила объяснений.

Первокурсница Марджи Толуорт достаточно хорошо усвоила университетские правила и знала, что никаких объяснений не требуется и до определенного срока в любом семестре студент волен без разрешения преподавателя отказаться

от любого из курсов.

— А что, я обязана назвать конкретную причину? — хмуро спросила Марджи.

— Нет, не обязаны, — сказала Хелен. — Но если такая причина у вас *есть*, я бы хотела ее узнать.

— А я и причину иметь не обязана! — заявила Марджи Толуорт. И спокойно выдержала пристальный взгляд Хелен, хотя студенты по большей части отводили глаза первыми. А потом Марджи встала и собралась уходить. Она была очень хорошенькая, изящная, миниатюрная и весьма неплохо одета для студентки. Если в выборе девиц у Майкла Мильтона и была некая закономерность — как в выборе его предыдущей подружки, так и в данном случае, — то он, похоже, предпочитал таких, кто умеет хорошо одеваться.

— Что ж, мне очень жаль, что у нас с вами ничего не получилось, — честно призналась Хелен, глядя Марджи в глаза и пытаясь понять, много ли она все-таки знает.

Да, она конечно же *знает*, решила Хелен и тотчас обвинила во всем Майкла.

— Уже раззвонил? — холодно сказала она ему по телефону, потому что только по телефону могла так холодно разговаривать с ним. — Ну и *как же* ты дал отставку Марджи Толуорт?

— Очень мягко, — самодовольно заявил Майкл Мильтон. — Хотя отставка — в любом случае штука обидная.

Хелен не позволяла ему говорить с ней назидательным тоном; единственные наставления, какие она допускала, касались секса: нужно же доставить мальчику удовольствие, тем более что он явно испытывал потребность доминировать в этой области, и она, пожалуй, не возражала. До некоторой степени это было для нее внове. Порой он, правда, бывал грубоват, но она никогда не чувствовала, чтобы от него исходила опасность; и если она чему-то решительно противилась, он тут же останавливался. Однажды ей даже пришлось сказать ему: «Нет! Это мне решительно не нравится! Я этого делать ни за что не буду!» Но потом все же прибавила: «Ну, пожалуйста!» — потому что не была абсолютно в нем уверена. Он тогда сразу остановился. Он вообще в постели держался напористо, но иначе, чем Гарп. И эта грубоватая сила ей нравилась. Ее возбуждало ощущение, что полностью на него положиться нельзя. Другое дело, если он не умеет держать язык за зубами; как только она узнает, что он кому-то рассказал об их отношениях, между ними все сразу будет кончено.

— Я ничего ей не рассказывал! — твердил Майкл. — Я сказал: «Все, Марджи!» или что-то в этом роде. Я даже не говорил, что у меня появилась другая женщина. И уж о тебе-то *совершенно определенно* словом не обмолвился!

— Но она, возможно, слышала, как ты говорил обо мне с кем-то? — спросила Хелен. — До того, как у нас все началось, я хочу сказать.

— Ей просто никогда не нравился твой курс, — сказал Майкл. — И об этом мы действительно не раз говорили.

— Ей никогда не нравился мой курс? — искренне удивилась Хелен.

— Ну, ты же знаешь, умишко-то у нее так себе! — нетерпеливо воскликнул Майкл.

— Лучше бы ей все-таки ничего о нас не знать… — задумчиво проговорила Хелен. — Ты понял? Будь добр, выясни, знает она что-нибудь или нет.

Но выяснить он ничего не сумел. Марджи Толуорт не желала с ним разговаривать. Он попытался поговорить с ней по телефону — сказать, что к нему вернулась одна из старых подружек, приехала специально из другого города, и ей негде остановиться; в общем, одна ложь тянула за собой другую. Но Марджи Толуорт повесила

трубку еще до того, как Майкл сумел отшлифовать и довести до логического конца только что выдуманную историю.

Хелен стала заметно больше курить. Несколько дней она внимательно наблюдала за Гарпом. А однажды почувствовала себя страшно виноватой — занимаясь с ним любовью. Она понимала, что занимается с ним сексом не потому, что хочет этого, а потому, что ей нужно убедить мужа, что все нормально. *Если,* конечно, он вообще заметил, что у них что-то не так.

А он и не заметил. Даже не думал о том, что в поведении жены возникли какие-то перемены. Точнее, *подумал* было, но только один раз, увидев синяки на задней стороне крепких ляжек Хелен; при всей своей силе, Гарп всегда очень нежно обращался с женой и с детьми. И отлично представлял себе, какие синяки способны оставить пальцы, потому что занимался борьбой. Примерно через день или два он обнаружил точно такие же отметины у Дункана на предплечье — как раз в тех местах, где он, Гарп, перехватывал руки сына, занимаясь с ним борьбой, — и пришел к выводу, что, видимо, сжимает тех, кого любит, с большей силой, чем хотел бы. И решил, что синяки на бедрах Хелен — тоже его рук дело.

Гарп был слишком тщеславен, чтобы легко впадать в ревность. А имя, которое однажды утром чуть не слетело с его губ, когда он проснулся, успело от него ускользнуть. И в доме больше не появлялись бездарные творения этого Майкла Мильтона, которые отчего-то заставляли Хелен не спать по ночам. Наоборот, в последнее время она ложилась спать все раньше; говорила, что устает и нуждается в отдыхе.

Что же до Хелен, то она даже полюбила по-прежнему обнаженный острый конец рычага переключения скоростей в своем «вольво»; укусы этого металлического стержня под конец каждого дня, когда она ехала домой с работы, были приятны ее ладони, и она частенько нарочно нажимала на него, не давая ему, однако, впиться в кожу. Таким манером она доводила себя буквально до слез и словно очищалась, чтобы потом не чувствовать себя виноватой, когда мальчишки начинали радостно махать ей руками из окна, где работал телевизор, и что-то кричать, а Гарп, стоило ей войти в кухню, торжественно провозглашал, какой именно обед он приготовил сегодня.

То, что Марджи Толуорт, возможно, все-таки о чем-то пронюхала, пугало Хелен; хоть она и

сказала Майклу Мильтону (и себе тоже!), что между ними все будет кончено, если кто-то прознает об их отношениях, теперь она понимала, что покончить с этим будет невероятно трудно, гораздо труднее, чем ей представлялось вначале. И, обнимая Гарпа в его любимой кухне, Хелен надеялась, что Марджи Толуорт ничего не знает о ней и Майкле Мильтоне.

А Марджи Толуорт, знать не знавшая о многих вещах на свете, как раз об отношениях Майкла Мильтона и Хелен знала прекрасно. Она не очень-то понимала, что ее «помешательство», как она выражалась, на Майкле Мильтоне просто перешло те границы, за которыми кончается «голый секс» и начинаются более глубокие чувства, однако же была уверена, что Хелен просто развлекается с Майклом. На самом деле Марджи Толуорт буквально тонула в том, что именовала «голым сексом»; хотя трудно представить себе, какие *еще* интересы могли бы связать ее с Майклом Мильтоном. Впрочем, она не так уж и заблуждалась насчет того, что и отношения Майкла Мильтона с Хелен тоже сводились к этому. Марджи Толуорт частенько ошибалась, но в данном случае она попала в яблочко.

Марджи решила, что Майкл Мильтон и Хелен

занимаются сексом, когда они еще только вели в высшей степени невинные разговоры о литературных «трудах» Майкла. Марджи не верила, что с Майклом Мильтоном можно иметь какие-либо отношения, кроме любовных, по этой части она невежественной не *была.* Так что о характере отношений между Хелен и Майклом она, вероятно, догадалась раньше Хелен.

И сквозь затемненные снаружи, но прозрачные изнутри окна дамского туалета на четвертом этаже в здании факультета английского языка и литературы Марджи Толуорт видела трехтонный «бьюик», выплывавший, точно королевский гроб, с университетской стоянки, а за тонированным ветровым стеклом — стройные ноги миссис Гарп, вытянутые на просторном переднем сиденье. Не правда ли, весьма странный способ ездить на машине с кем-то, кроме самого близкого друга?

Марджи знала их привычки лучше, чем свои собственные; она совершала длительные прогулки, пытаясь забыть Майкла Мильтона и получше познакомиться с окрестностями дома, где живет Хелен, и вскоре хорошо познакомилась также и с привычками ее мужа, потому что привычки Гарпа отличались невероятным постоянством. Марджи видела, как по утрам он слоняется из

комнаты в комнату, и думала, что, возможно, он потерял работу, а это полностью соответствовало представлениям Марджи о муже-рогоносце. В середине дня он сломя голову вылетал из дому в идиотском спортивном наряде и мчался прочь, а потом, видимо пробежав немало миль, возвращался и садился читать почту, которую обычно приносили в его отсутствие. Потом он некоторое время опять слонялся по дому, шел в душ, раздеваясь на ходу и оставляя одежду где попало, а выйдя из душа, не торопился одеваться. Только одно никак не отвечало представлениям Марджи о муже-рогоносце: у Гарпа было отличное тело. И еще она не могла понять, как это мужчина столько времени проводит на кухне. Может, думала Марджи Толуорт, он просто безработный повар?

Затем домой возвращались его дети, заставляя страдать доброе сердечко Марджи Толуорт. Гарп выглядел очень милым, когда играл с детьми, что, впрочем, опять-таки соответствовало представлениям Марджи о рогоносцах: эти люди бездумно развлекаются со своими детишками, а их жен тем временем развлекает кто-то другой. «Раскладывает», как впоследствии писал Гарп. «Разложить» — тоже термин из лексикона юных борцов Стиринг-скул, приятелей Гарпа. После

тренировки кто-нибудь вечно хвастался в раздевалке, что ему удалось «разложить мокрого бобра со вспоротым брюхом».

И вот однажды, когда Гарп в беговой экипировке вылетел на крыльцо, Марджи Толуорт выждала ровно столько, сколько потребовалось, чтобы он скрылся из виду, потом сама поднялась на крыльцо, с надушенным конвертом в руке, намереваясь опустить его прямо в почтовый ящик Она старательно все продумала: ей хотелось, чтобы у него, когда он прочитает ее записку, хватило времени прийти в себя (она очень на это надеялась!) прежде, чем домой вернутся дети. Именно так, по ее представлениям, следовало получать подобные известия: внезапно! Затем требовалось некоторое время, чтобы успокоиться и быть готовым предстать перед детьми. Увы, лишний пример того, о чем Марджи Толуорт не имела ни малейшего представления.

Само по себе послание заставило Марджи порядком помучиться, потому что мысли у нее никогда не были в ладу со словами. И надушенным оно оказалось просто потому, что другой писчей бумаги Марджи Толуорт в запасе не имела; если бы у нее хватило ума, она бы сообразила, что надушенная бумага для подобных посланий

не годится, но и об этом Марджи, к сожалению, понятия не имела. Даже выпускное сочинение в школе она написала на надушенной бумаге! Когда Хелен прочитала первую работу Марджи Толуорт по сравнительному литературоведению, она вся съежилась от отвращения, учуяв этот дешевый запах.

Вот что написала Гарпу в своей записке Марджи Толуорт:

«У Вашей жены интрижка с Майклом Мильтоном».

Марджи Толуорт до старости будет говорить, что кто-то «скончался», а не «умер». И в данном случае она тоже постаралась выбрать «более деликатное» слово «интрижка».

Итак, она стояла на крыльце, держа в руке приторно пахнущий конвертик, который она как раз намеревалась опустить в почтовый ящик, когда пошел дождь.

Ничто не могло заставить Гарпа вернуться домой с пробежки скорее, чем дождь. Он терпеть не мог, когда промокали кроссовки. Он готов был бегать в холод, в метель, но когда шел дождь, Гарп, чертыхаясь, мчался домой, а потом обычно как минимум час занимался на кухне готовкой,

стараясь поднять настроение, испорченное ненастьем. Затем он накидывал пончо и на автобусе ехал в гимнастический зал, чтобы потренироваться в борьбе. По дороге он забирал Уолта из детского сада и захватывал его с собой, а уже из спортзала звонил домой проверить, вернулся ли из школы Дункан. Иногда он давал Дункану кое-какие мелкие поручения по хозяйству — особенно если обед еще стоял на плите, — но чаще в очередной раз просил его не кататься под дождем на велосипеде и упорно напоминал номера телефонов, по которым следует звонить при аварии, в случае пожара, взрыва, вооруженного ограбления или же полученного на улице увечья.

Потом он разминался, тренировался вместе с другими борцами, возился с Уолтом, брал его с собой в душ и после душа снова звонил домой. К тому времени Хелен обычно была уже дома и могла подъехать за ними к спортзалу.

Словом, дождь Гарп не любил (хотя очень любил занятия борьбой), потому что дождь нарушал все его четкие и привычные планы. И Марджи Толуорт оказалась совершенно не готова вдруг снова увидеть его, задыхающегося и сердитого, рядом с собой на крыльце.

— А-а-а! — вскрикнула она и так стиснула в

кулаке надушенный конвертик, словно это была жизненно важная артерия животного, истекающего кровью.

— Привет! — сказал Гарп, приняв ее за приходящую няню. Он давно уже отучил себя интересоваться нянями, а потому только улыбнулся Марджи с искренним любопытством, и все.

— А-а-а… — снова промычала девушка; говорить она не могла. Гарп посмотрел на смятый конверт у нее в кулаке; она зажмурилась и протянула ему письмо — с таким видом, будто сунула руку в огонь.

Если сперва Гарп и подумал, что это одна из студенток Хелен пришла по делу, то теперь мысли его потекли иначе. Он видел, что девица, во-первых, явно не может говорить, но абсолютно уверена в себе — вон как решительно протянула ему конверт. Опыт Гарпа с безгласными женщинами, которые столь же самоуверенно раздавали записки, ограничивался пресловутыми джеймсианками, так что он с трудом подавил мгновенную вспышку гнева и раздражения: еще одна заявилась. Не иначе как решила поймать на крючок сына-отшельника этой замечательной Дженни Филдз! Сейчас он, скорее всего, прочтет:

«Привет! Я — Марджи, джеймсианка. Знаете

ли Вы, кто это такие?»

Ну и дальше в таком же роде — насчет того, что они составят весьма обширную организацию (вроде тех религиозных идиотов, которые разносят по домам благочестивые брошюрки об Иисусе Христе). Гарпа едва не затошнило при мысли, что джеймсианки добрались теперь даже до таких вот молоденьких девчонок; ведь эта девчушка еще слишком молода, чтобы как следует понимать, пригодятся ли ей в жизни язык и способность говорить или нет. Он покачал головой и отмахнулся от протянутого конверта.

— Да, да, я все это давно знаю, — сказал Гарп. — Ну и что?

Бедная Марджи Толуорт была совершенно не готова к подобной реакции. Она-то явилась точно ангел возмездия — желая выполнить ужасный долг, сбросить с плеч невыносимую ношу и передать невинному человеку дурную весть, которую ему так или иначе необходимо узнать. А он, оказывается, *все знает!* И ничуть не тревожится!

Марджи обеими руками стиснула конверт и крепко прижала его к своей красивой трепетной груди, так что надушенная бумага запахла еще сильнее, будто Марджи *выдавила* запах дешевых духов из письма, — или из собственной груди? —

и волна этого «сладостного аромата» донеслась до Гарпа, который пристально смотрел на нее.

— Ну и что? — повторил Гарп. — Неужели вы думаете, что я стану уважать человека, который сам себе отрезал язык?

Марджи с трудом прохрипела:

— Что?.. — Теперь она испугалась. Так вот почему, думала она, этот бедолага весь день слоняется по дому, без работы: он же просто сумасшедший!

Гарп отчетливо расслышал произнесенное ею слово; это было не сдавленное «А-а-а!» и даже не еле слышное «А-а-а...» — это безусловно было слово, произнесенное отнюдь не отрезанным языком. Это было *целое* слово.

— Как вы сказали? — спросил он.

— Что? — повторила она более внятно.

Гарп уставился на конверт, который Марджи прижимала к груди.

— Так вы можете *говорить!* — спросил он.

— Конечно, — с трудом выговорила она.

— И что же *это* такое? — спросил он, указывая на письмо.

Но теперь она боялась его — сумасшедшего рогоносца. Бог его знает, что он может сделать? Убить детей или убить ее, Марджи... С виду он достаточно силен, чтобы и Майкла Мильтона

укокошить, причем одной левой. И потом, любой мужчина выглядит достаточно злобно, когда он тебя допрашивает. Марджи попятилась и стала задом спускаться с крыльца.

— Подождите! — крикнул Гарп. — Так это письмо для *меня?* Или для Хелен? Что это вообще такое? И кто вы?

Марджи Толуорт покачала головой.

— Это ошибка, — прошептала она и повернулась с намерением спастись бегством, но столкнулась с насквозь промокшим почтальоном, который уронил свою сумку, а девушку отпихнул назад, к Гарпу. В мозгу Гарпа мелькнуло видение Дуны, старого, выжившего из ума медведя, вечного изгоя, который скатывает, точно шар для боулинга, почтальона по лестнице в Вене. Однако с Марджи Толуорт ничего страшного не случилось: она просто растянулась на мокром крыльце, порвала чулки и ободрала коленку

Почтальон, решив, что пришел некстати, стал поспешно собирать рассыпанную почту, но Гарпа интересовало сейчас только одно послание — то, которое принесла ему эта плачущая девушка.

— Ну-ну, — мягко сказал он и хотел было помочь ей встать, но она упорно сидела на крыльце и продолжала рыдать. — Да скажите же, в чем

дело? — испугался Гарп.

— Извините меня, — внятно произнесла Марджи Толуорт. Она вконец расстроилась; зря она провела так много времени рядом с Гарпом: теперь он ей уже *нравился,* и стало гораздо труднее не только передать письмо, но даже подумать об этом.

— Ничего страшного с вашей коленкой не случилось, — сказал Гарп. — Погодите-ка, я сейчас принесу полотенце, бинт и какой-нибудь антисептик.

Он прошел в дом, а Марджи улучила минуту и, прихрамывая, бросилась прочь. Она была не в силах, глядя ему в глаза, отдать это проклятое письмо, но и скрыть от него любовные похождения Хелен тоже не могла. Так что она просто оставила тот конверт на крыльце и заковыляла по боковому проезду к перекрестку и автобусной остановке. Почтальон проводил ее взглядом; интересно, думал он, что это у Гарпов происходит? Уж больно много почты они получают, куда больше прочих семей.

Это были ответы несчастного Джона Вулфа на бесконечные письма самого Гарпа. Кроме того, Гарпу вечно присылали книги на рецензию; Гарп тут же передавал их Хелен, которая, по крайней

мере, их читала. Еще приходили журналы, которые выписывала Хелен (Гарпу всегда казалось, что слишком много), и те два журнала, какие выписывал он сам: «Гурман» и «Новости для любителей борьбы». Ну и, естественно, всякие счета. И довольно часто — письма от Дженни; кроме писем, Дженни в этот период ничего не писала. А иногда — короткие и милые послания от Эрни Холма.

Изредка присылал письмишко им обоим Харрисон Флетчер, а Элис по-прежнему писала Гарпу — с изысканным изяществом и абсолютно ни о чем.

И теперь в куче всех этих конвертов лежал один, благоухающий дешевыми духами и мокрый от слез. Гарп поставил на крыльцо бутылочку с антисептиком, положил бинт, но исчезнувшую девушку искать и не подумал. Он держал в руках измятое письмецо и понимал, что ему примерно известно, что в нем.

Интересно, думал он, почему это не пришло мне в голову раньше, ведь свидетельств тому было сколько угодно? Впрочем, пожалуй, он все-таки и раньше думал об этом, только как бы не отдавая себе отчета. Он медленно распечатывал конверт — чтобы не порвался, — и шорох бумаги напо-

минал ему шорох осенних листьев, хотя стоял холодный март, и земля уже почти совсем оттаяла и превратилась в грязь. Крошечная записка щелкнула, точно сустав, когда он ее развернул. Вместе с остатками все тех же отвратительных духов до Гарпа словно донесся короткий пронзительный вопль той девушки: «Что?»

Он знал *что*, но не знал, *с кем* — не знал имени, которое вспомнилось ему однажды утром, но потом стерлось из памяти. И записка, разумеется, назвала ему это имя: Майкл Мильтон. Оно казалось Гарпу похожим на название нового сорта мороженого в той кондитерской, куда он обычно ходил с сыновьями. Там, например, был «Клубничный водоворот», «Шоколадное изобилие», «Безумие мокко»; и вполне мог быть «Майкл Мильтон». *Отвратительное* имя — Гарп даже вкус его почувствовал и тут же бросился к канализационному люку; злобно разорвал записку на мелкие кусочки, старательно пропихнул их сквозь решетку, а потом вернулся в дом и отыскал это имя в телефонной книге, снова и снова перечитывая его.

Теперь ему казалось, что эта «интрижка» у Хелен уже давно, и ему, похоже, об этом тоже давно известно. Но *имя!* Майкл Мильтон! Когда-то на

вечеринке, где Гарпу, собственно, и представили Майкла Мильтона, он назвал его «типичным размазней» — они с Хелен вообще-то обсуждали его дурацкие усики. Майкл Мильтон! Гарп прочитал это имя раз двести! И все еще пялился в телефонную книгу, когда из школы вернулся Дункан и увидел, что папа в очередной раз «ищет нужное направление» для своих невсамделишных героев.

— А ты разве Уолта еще не забрал? — спросил Дункан.

Об этом Гарп начисто позабыл! Господи, подумал он, а ведь Уолт еще и простужен! Нельзя заставлять малыша ждать, когда у него такой кашель и насморк!

— Сходим за ним вместе, а? — предложил он Дункану. И тот очень удивился, когда отец вдруг швырнул телефонный справочник в мусорное ведро. А потом они вместе пошли на остановку автобуса.

Гарп так и не снял спортивный костюм, хотя на улице по-прежнему лил дождь. Дункану это показалось странным, но он ничего не сказал. Зато с гордостью сообщил:

— А я сегодня два гола забил!

По неизвестной причине в школе, где учился

Дункан, играли исключительно в футбол — осенью, зимой и весной только в футбол. Школа была маленькая, но для такой всеобщей любви к футболу там имелась какая-то веская причина, просто в данный момент Гарп забыл, какая именно. Впрочем, причина эта всегда была ему неприятна.

— Два гола! — повторил Дункан.

— Здорово! — откликнулся Гарп.

— Один — головой! — сообщил Дункан.

— Ого, головой? — удивился Гарп. — Замечательно!

— Ральф дал мне отличный пас, — пояснил Дункан.

— Прекрасно! — сказал Гарп. — Просто прекрасно со стороны Ральфа! — Он обнял Дункана за плечи, но знал, что Дункан смутится, если он попытается его поцеловать. Зато Уолт пока что с удовольствием позволяет себя целовать и тискать, думал Гарп. Потом он подумал о том, как целует Хелен, и чуть не попал под автобус.

— Пап! — крикнул Дункан. И уже в автобусе спросил отца: — С тобой все в порядке?

— Конечно, — сказал Гарп.

— А я думал, ты сегодня в спортзале тренируешься, — сказал Дункан. — Дождь ведь.

Из того детсада, который посещал Уолт, хорошо был виден противоположный берег реки, и Гарп попытался определить точное местонахождение дома Майкла Мильтона, чей адрес почерпнул в телефонном справочнике.

— Ну что же ты так долго? — заныл Уолт. Он кашлял, из носа у него текло, и лоб был горячий. Кроме того, он рассчитывал сегодня, как всегда в дождь, отправиться на тренировку в спортзал.

— А может, нам всем вместе пойти в спортзал, раз уж мы оказались в центре? — спросил Дункан. Предложение было в высшей степени логичное, но Гарп сказал, что сегодня ему заниматься борьбой не хочется. — А почему? — не отставал Дункан.

— Потому что он в костюме для бега, тупица, — сказал Уолт.

— Ой, заткнись, Уолт! — поморщился Дункан. Мальчики даже немножко помутузили друг дружку в автобусе, пока Гарп не велел им прекратить. Уолт болен, увещевал старшего сына Гарп, и драться в его состоянии вредно.

— Я совсем и не болен, — заявил Уолт.

— Да нет, болен, — сказал Гарп.

— Болен, болен! — поддразнил братишку Дункан.

— Заткнись, Дункан, — велел ему Гарп.

— Ну, старик, настроеньице у тебя, видно, что надо! — заметил Дункан, и Гарпу захотелось его поцеловать; ему очень хотелось дать Дункану почувствовать, что на самом деле настроение у него вовсе не такое плохое, но поцелуй смутил бы Дункана, и Гарп вместо него поцеловал Уолта.

— Пап! — возмутился Уолт. — Ты же весь мокрый и потный!

— Это потому, что он в костюме для бега, тупица, — заметил Дункан.

— Он меня тупицей обозвал, — пожаловался Уолт Гарпу.

— Я слышал, — сказал Гарп.

— А я не тупица! — заявил Уолт.

— Да нет, тупица, — сказал Дункан.

— Заткнитесь оба, — велел им Гарп.

— Настроение у нашего папы блеск, да, Уолт? — обратился Дункан к братишке.

— Точно, — согласился Уолт, и они решили лучше немного подразнить отца, а не драться друг с другом, но вскоре автобус затормозил на остановке, и им пришлось выходить — за несколько кварталов от дома — и бежать домой под проливным дождем. Через минуту вся троица уже вымокла до нитки, а до дому оставался

еще целый квартал, как вдруг машина, которая, кстати сказать, ехала слишком быстро, резко затормозила с ними рядом; опустилось боковое стекло, и в окутанном паром салоне автомобиля Гарп увидел потрепанное, блестящее от пота лицо миссис Ральф. Она улыбалась.

— Ты Ральфа не видел? — спросила она Дункана.

— Не-а, — ответил тот.

— Этому болвану небось в голову не придет убраться с дождя под крышу, — сказала она спокойно. — Впрочем, вам это вроде бы тоже в голову не пришло. — И она ласково улыбнулась Гарпу; Гарп попытался ответить на улыбку, но не мог придумать, что бы такое ей сказать. Видимо, в эти минуты он недостаточно хорошо владел своим лицом, иначе миссис Ральф ни за что не упустила бы возможность еще немного пошутить и еще немного подержать его под дождем. Но сейчас, видимо потрясенная жутковатой улыбкой Гарпа, она быстренько подняла стекло, бросив на прощанье: — Ну, пока, — медленно поехала прочь.

— Пока, — пробормотал Гарп ей вслед; он восхищался этой женщиной и думал о том, что, возможно, и *этот* ужас скоро кончится, и тогда он непременно повидает миссис Ральф.

Дома он сразу напустил в ванну горячей воды и сунул туда Уолта, а заодно и сам туда плюхнулся — извинительный мотив, который он часто использовал, чтобы немного повозиться с малышом. Дункан стал слишком велик, и с ним вдвоем в одной ванне уже не поместишься.

— А что на ужин? — крикнул сверху Дункан. Гарп понял, что про ужин совершенно забыл.

— Я забыл его приготовить, — крикнул он Дункану.

— *Забыл?* — переспросил Уолт, но Гарп тут же утопил его в ванне и начал щекотать; Уолт стал со смехом вырываться и забыл, о чем они только что говорили.

— Ты забыл *про ужин!* — раздался уже снизу голос Дункана.

Гарп решил не вылезать из ванны. Он все подливал и подливал горячей воды, полагая, что простуженному Уолту полезно подышать паром, так что нужно подержать мальчика в теплой воде подольше — пока он согласен продолжать игру.

Когда домой вернулась Хелен, они еще плескались в ванне.

— А папа забыл про ужин! — сразу же сообщил ей Дункан.

— Забыл про ужин? — переспросила Хелен.

— Ну да. *Совершенно* позабыл, — сказал Дункан.

— А где он? — спросила Хелен.

— В ванной вместе с Уолтом, — сказал Дункан. — Они уже несколько *часов* там плавают.

— Господи! — воскликнула Хелен. — Вдруг они утонули?

— А вот это тебя, наверное, очень бы порадовало! — крикнул Гарп из ванной.

Дункан засмеялся.

— Настроение у него — блеск! — сообщил он матери.

— Да, я уже заметила, — сказала Хелен. Она мягко оперлась на плечо сына, стараясь не показать, что на самом деле она боится упасть. Она вдруг почувствовала, что теряет равновесие. Остановившись у самой лестницы, она крикнула Гарпу:

— У тебя что, день неудачный был?

Но Гарп скользнул под воду — хотел взять себя в руки, потому что вдруг почувствовал страшную ненависть к жене, но не желал, чтобы Уолт заметил.

Ответа не последовало, и Хелен сильнее сжала плечо Дункана. Пожалуйста, *только не при детях,* подумала она. Ситуация для нее была совершенно новая, непривычная — защищаться

в ссоре с Гарпом, и ей стало страшно.

— Мне подняться? — громко спросила она.

Ответа по-прежнему не было. Гарп мог долго не дышать под водой.

Уолт крикнул ей сверху:

— А папа под водой!

— Папа сегодня *такой странный.* — заметил Дункан.

— Гарп вынырнул, как раз когда Уолт снова заорал:

— Он просто дыхание задерживает!

Надеюсь, что так, думала Хелен. Она не знала, что делать. И с места сдвинуться не могла.

Примерно через минуту Гарп шепнул Уолту:

— Скажи маме, что я *еще* под водой, Уолт. Хорошо? Уолт, похоже, счел это на редкость удачной шуткой и проявлением дружеского расположения со стороны отца и с удовольствием крикнул:

— Папа *до сих пор* под водой!

— Ого! — воскликнул Дункан. — Надо бы время засечь. Наверно, рекорд!

Но теперь Хелен охватила паника. И Дункана под рукой не было — он выбрался и смотрел вверх, потрясенный захватывающим дух подвигом отца; Хелен чувствовала, как у нее подгибаются ноги.

— Он *еще* под водой! — пронзительно завопил Уолт, хотя Гарп уже растирал его полотенцем, а вода из ванны почти ушла. Они стояли голышом на резиновом коврике перед большим зеркалом, когда в ванную вбежал Дункан, и Гарп велел ему молчать, приложив палец к губам.

— А теперь скажите *вместе.* — прошептал Гарп. — На счет «три»: «Он еще под водой!» Раз, два, три!

— Он *еще* под водой! — дружно гаркнули Дункан и Уолт, и Хелен показалось, что у нее разрываются легкие. Она чувствовала, что пронзительно кричит, но не издала ни звука и бросилась вверх по лестнице, думая, что только ее муж способен придумать такой способ мести: *утопит*ь себя в присутствии детей и предоставить ей объяснять им, почему он это сделал.

Вся в слезах, она вбежала в ванную настолько неожиданно для Дункана и Уолта, что ей пришлось немедленно взять себя в руки — чтобы не испугать их. В зеркале она увидела отражение голого Гарпа, который старательно вытирал полотенцем ноги между пальцами и одновременно следил за ней тем самым взглядом, которым когда-то (она хорошо это помнила) Эрни Холм учил своих юных борцов следить за противником,

начиная схождение.

— Ты опоздала, — сказал ей Гарп. — Я уже умер. Но, право же, весьма трогательно и немного удивительно, что тебе есть до меня *хоть какое-то дело.*

— Мы поговорим обо всем позже, хорошо? — спросила она с надеждой и улыбнулась, словно это действительно была отличная шутка.

— Мы тебя обманули! — крикнул Уолт, тыкая ее в выступающую косточку повыше бедра.

— Знаешь, старик, а если бы мы с Уолтом такую штуку с тобой проделали? — сказал отцу Дункан. — Ты бы нам небось просто головы оторвал.

— Дети не ужинали, — заметила Хелен.

— Никто не ужинал, — сказал Гарп. — Разве что, может быть, ты.

— Я могу подождать, — сказала она ему.

— Я тоже, — сказал Гарп.

— Я сейчас что-нибудь дам мальчикам, — предложила Хелен, выталкивая Уолта из ванной. — Там должны быть яйца и каша.

— Каша? На *ужин?* — изумился Дункан. — Ничего не скажешь, настоящий пир.

— Я просто забыл, Дункан, — сказал Гарп.

— А я хочу тосты! — заявил Уолт.

— Тосты ты тоже получишь, — пообещала

Хелен.

— Ты уверена, что справишься? — спросил ее Гарп. Она только улыбнулась.

— Господи, да тосты даже я могу поджарить, — сказал Дункан. — По-моему, и Уолт способен размешать овсяные хлопья в молоке.

— Вот только с яйцами может не получиться, — сказала Хелен и попыталась засмеяться.

Гарп продолжал вытирать ноги между пальцами. Когда дети вышли из ванной, Хелен снова просунула голову в дверь и сказала:

— Прости. Я очень люблю тебя. — Но Гарп глаз на нее не поднял, делая вид, что страшно занят своими манипуляциями с полотенцем. — И я никогда не хотела причинить тебе боль, — продолжала Хелен. — Как ты узнал? Я *никогда* не переставала думать о тебе. Это ведь та девушка приходила, да? — Но Гарп не отвечал.

Когда Хелен, накормив детей (как собачонок каких-то! — думала она впоследствии), снова поднялась наверх, в ванную, Гарп по-прежнему сидел на краешке ванны перед зеркалом, совершенно голый.

— Он ничего для меня не значит и ничего у тебя не отнимал! — сказала Хелен. — И вообще, там все кончено. Правда.

— И давно? — спросил он.

— Только что, — ответила она. — Мне просто надо ему сказать.

— А ты *не говори,* — сказал Гарп. — Пусть сам догадается.

— Я не могу так, — сказала Хелен.

— У меня в яйцо скорлупа попала! — крикнул снизу Уолт.

— А у меня тост горелый! — заявил Дункан. Они явно действовали единым фронтом, стараясь отвлечь родителей от болезненного выяснения отношений. Дети, думал Гарп, обладают редким чутьем и, когда надо, способны развести своих родителей в разные стороны.

— Ничего, съедите! — крикнула им Хелен. — Подумаешь, скорлупа!

Она попыталась хотя бы коснуться Гарпа, но он увернулся, вышел из ванной и стал одеваться.

— Ешьте быстрее, а потом я схожу с вами в кино! — крикнул он детям.

— Зачем тебе в кино? — спросила Хелен.

— Я не хочу оставаться здесь, с тобой, — сказал он. — Мы пойдем в кино, а ты тем временем позвонишь этой заднице и скажешь ему «прощай».

— Но он захочет меня увидеть, — тупо проговорила Хелен. Реальность того, что все кончено,

потому что Гарп обо всем узнал, действовала на нее как новокаин. Если сперва она остро чувствовала, как больно ранила Гарпа, то сейчас это ощущение притупилось, и ей снова стало жаль себя.

— Скажи ему, пусть страдает в одиночку, — сказал Гарп. — Ты его больше не увидишь. И никаких прощальных траханий, Хелен! Просто скажи ему «прощай». По телефону.

— Никто ничего и не говорит насчет «прощальных траханий», — обиделась Хелен.

— Короче, воспользуйся телефоном, — сказал Гарп. — А я уведу детей. Мы посмотрим какой-нибудь фильм. И будь добра, разберись со всем этим *до* нашего возвращения! А его ты *больше* не увидишь.

— Не увижу. Даю слово, — сказала Хелен. — Но я *должна* увидеть его! Всего один раз — чтобы сказать ему…

— Ты, видимо, считаешь, что практически сумела выйти сухой из воды? — спросил Гарп.

В известном смысле Хелен действительно так и считала, и сказать ей было нечего. Ей казалось, что она никогда не упускала из виду Гарпа и детей — даже потакая своим слабостям; и сейчас она считала себя вправе действовать по-своему.

— Лучше поговорим об этом позже, — сказала Хелен. — И что-нибудь, наверное, придумаем.

Он бы точно ее ударил, если бы в комнату не ворвались дети.

— Раз, два, три, — нараспев скомандовал Уолту Дункан.

— Ешьте сами вашу кашу! — дружно выпалили оба. — Это же просто отрава!

— Пожалуйста, мальчики, — сказала Хелен. — Мы с папой немножко поссорились, и нам нужно поговорить. Идите вниз.

Они уставились на нее.

— Пожалуйста, подождите внизу, — сказал им Гарп и отвернулся, чтобы они не заметили слез у него на глазах, но Дункан, судя по всему, что-то почувствовал. И Хелен, разумеется, тоже. Один Уолт, возможно, так ничего и не понял.

— Ссоритесь? — спросил Уолт.

— Пошли, — сказал Дункан, взял Уолта за руку и прямо-таки поволок братишку из спальни. — Да идем же, Уолт! Иначе никакого кино не будет.

— Да-а, а кино? — заревел Уолт.

И Гарп, к своему ужасу, узнал видение из своего сна: как дети вереницей спускались по лестнице и Дункан вел Уолта — всё вниз, вниз, а младший мальчик всё оглядывался, и вырывался, и махал

отцу рукой, но Дункан упорно тянул его вниз, пока они не исчезли в бомбоубежище. Гарп спрятал лицо в рубашку, которую держал в руках, и заплакал.

Хелен осторожно коснулась его плеча, но он резко сказал:

— Не трогай меня! — и продолжал плакать. Хелен закрыла дверь спальни.

— Пожалуйста, не надо, — молила она его. — Он не стоит твоих слез; он вообще ничего не стоит и никем особенным для меня не стал. Я просто развлеклась немного.

Однако Гарп в ответ на ее объяснения только яростно тряс головой, а потом швырнул в нее свои брюки. Он по-прежнему был полуодет, а это состояние, которое, как полагала Хелен, большинство мужчин воспринимает как наиболее унизительное и компрометирующее. Полуодетая женщина, наоборот, обретает, пожалуй, некую дополнительную силу, а полураздетый мужчина, во-первых, становится не таким привлекательным — обычно он гораздо лучше, когда полностью раздет, — а, во-вторых, без своей амуниции не чувствует себя в безопасности.

— Пожалуйста, оденься, — шепнула Хелен Гарпу и подала ему те брюки, которые он в нее

швырнул. Он взял их, натянул на себя и продолжал плакать.

— Я сделаю все, что ты хочешь, — сказала она.

— Ты никогда больше его не увидишь? — спросил он.

— Никогда! — сказала она. — Никогда в жизни!

— Уолт простужен, — сказал Гарп. — Ему бы вообще не следовало выходить из дома, но вряд ли кино очень ему повредит. И мы постараемся не задерживаться. — Он посмотрел на нее. — Пойди проверь, достаточно ли тепло он одет.

Хелен ушла, а он открыл верхний ящик шкафа, где лежало ее белье, полностью его выдвинул и ткнулся лицом в чудесную шелковистость и дивный аромат ее вещей — точно медведь, который сперва держит мед на вытянутых лапах, а потом зарывается в него всей мордой. Когда Хелен вернулась в спальню и застала его за этим, ей стало не по себе, как если бы она застала его за мастурбированием. От смущения Гарп яростно ударил ящиком по колену и сломал его; белье разлетелось по всей спальне. Он поднял треснувший ящик над головой и со всей силы шваркнул его об угол шкафа. Хелен выбежала из комнаты, а он, тут же взяв себя в руки, закончил одеваться.

Спустившись вниз, Гарп увидел, что тарелка

Дункана практически пуста, а вот Уолт свой ужин оставил почти нетронутым; куски тостов валялись на столе и на полу.

— Если ты не будешь есть, Уолт, — строго сказал ему Гарп, — то вырастешь *размазней.*

— А я и не собираюсь вырастать! — заявил Уолт.

От этих слов у Гарпа мороз прошел по коже, и он рассерженно накинулся на удивленного сынишку:

— Никогда больше не говори так!

— Но я *не хочу* вырастать, — сказал Уолт.

— Ах вот как! Понятно, — смягчился Гарп. — Ты хочешь сказать, что тебе нравится быть малышом?

— Угу, — буркнул Уолт.

— Уолт у нас такой странный, — заметил Дункан.

— Ничего я не странный! — заревел Уолт.

— А вот и странный! — уперся Дункан.

— Марш в машину, — сказал обоим Гарп. — И прекратите ссориться.

— Это вы ссоритесь, а вовсе не мы! — осторожно заметил Дункан; никто на его замечание не отреагировал, и Дункан потащил Уолта из кухни. — Пошли!

— В кино! — повеселел Уолт. И оба выбежали из кухни.

— Ни при каких обстоятельствах он не должен приходить сюда, — сказал Гарп Хелен. — Если ты впустишь его в мой дом, живым он отсюда не выйдет. И ты к нему тоже выходить не смей! — прибавил он. — Ни при каких обстоятельствах. Пожалуйста! — И он отвернулся.

— Ох, милый, — сказала Хелен.

— Господи, какая же он задница! — простонал Гарп.

— А где бы я взяла второго такого, как ты? — сказала Хелен. — Разве ты не понимаешь, это мог быть *только* человек, который совершенно на тебя не похож!

Гарп вспомнил о приходящих нянях, об Элис Флетчер и о своем необъяснимом влечении к миссис Ральф и конечно же понял, что Хелен имела в виду. Молча он вышел из кухни и закрыл за собой дверь. Шел дождь, уже совсем стемнело. Возможно, после дождя все покроется ледяной коркой. Раскисшая подъездная дорожка была мокрой, но достаточно твердой. Он развернул машину, потом привычно вывел ее на дорожку и выключил двигатель и фары. «Вольво» сам собой катился вниз, но Гарп знал темную дорожку на-

изусть и смог бы выехать на улицу с закрытыми глазами. Ребята ликовали, слушая в полной темноте скрип гравия и плеск жидкой грязи. Выехав на улицу, Гарп посигналил, помигал фарами, чем снова вызвал неописуемую радость обоих мальчишек

— Какой фильм будем смотреть? — спросил Дункан.

— Какой хотите, — сказал Гарп. И они поехали в центр взглянуть на афиши.

В машине было холодно и сыро, Уолт все время кашлял, ветровое стекло то и дело запотевало, и было довольно трудно разобрать, что изображено на киноафишах; Уолт и Дункан все время спорили из-за того, кому стоять между передними сиденьями; по неизвестной причине это место всегда служило предметом жесточайших споров. Сидя на заднем сиденье, они вечно ссорились из-за того, кто будет стоять там — во весь рост или на коленках, пихались и все время подталкивали Гарпа под локоть, что было особенно неприятно, когда он брался за острый конец сломанного рычага переключения скоростей.

— А ну брысь отсюда, оба! — прикрикнул он.

— Но это единственное место, откуда хоть что-нибудь видно! — заявил Дункан.

— Единственный человек, которому должно быть хоть что-нибудь видно, это я, — заявил Гарп. — К тому же обогрев стекол в этой машине работает так отвратительно, что все равно *никому ничего* сквозь запотевшее лобовое стекло не видно.

— А почему ты не напишешь на завод-изготовитель? — деловито поинтересовался Дункан.

Гарп попытался представить себе письмо в Швецию насчет недостатков системы обогрева стекол, но долго размышлять на эту тему не мог. Между тем сзади шла молчаливая потасовка: Дункан встал коленом на ногу Уолта и вытолкнул его из промежутка между передними сиденьями. Теперь Уолт заревел уже в голос и закашлялся.

— Нечего! Я первый это место занял! — сказал ему Дункан.

Гарп резко затормозил, и острый штырь вонзился ему в руку.

— Видишь, Дункан? — сердито спросил Гарп. — Видишь этот обломок? Острый, как наконечник *копья.* А вдруг ты упадешь на него, если мне придется резко остановиться?

— А почему ты не починишь эту штуку? — спросил Дункан.

— Ну, хватит. *Немедленно* вылезай из этой

чертовой щели, Дункан! — окончательно рассердился Гарп.

— Обломок торчит тут уже несколько месяцев, — заметил Дункан.

— Может быть, все-таки *недель?* — спросил Гарп.

— Раз это так опасно, давно нужно было отдать починить, — проворчал Дункан.

— Это забота твоей матери, — сказал Гарп.

— А она говорит, *твоя,* папа, — вмешался Уолт.

— Как твой кашель, Уолт? — спросил Гарп.

Уолт покашлял. Влажный грохот в его груди мало походил на кашель ребенка.

— Господи! — сказал Дункан.

— Здорово у тебя получается, Уолт, — сказал Гарп.

— Я же не виноват, — заныл Уолт.

— Ну конечно же нет, — успокоил его Гарп.

— Нет, виноват! — вставил Дункан. — Ты полжизни в лужах проводишь!

— Ничего подобного! — рассердился Уолт.

— Высматривай фильм поинтереснее, Дункан, — предложил старшему сыну Гарп.

— Не могу я ничего высмотреть, раз мне нельзя стоять между сиденьями, — заупрямился Дункан.

Они еще покатались по улицам. Все кинотеатры находились, в общем, поблизости друг от друга, но пришлось несколько раз проехать мимо них, пока они решили, какой именно фильм будут смотреть; потом они еще несколько раз проехали мимо выбранного кинотеатра, прежде чем сумели найти место для парковки.

Дети выбрали именно такой фильм, на который хотело попасть больше всего народу; у входа в кассу собралась длинная очередь, вытянувшаяся под навесом вдоль тротуара. Ледяной ветер нес дождь со снегом. Гарп укрыл Уолта своей курткой, накинув ее мальчику на голову, и Уолт стал похож на одного из уличных попрошаек — мокрый карлик, который в такую ужасную погоду искал людского сочувствия. Вдобавок Уолт тут же влез в лужу и насквозь промочил ноги. Тогда Гарп подхватил сына на руки и прижал к себе, прислушиваясь к хрипам в его груди. Ему казалось, что ледяная вода из промокших ботинок Уолта мгновенно просочилась прямо в его маленькие бронхи.

— Какой ты все-таки странный, пап! — сказал Дункан.

А Уолт вдруг заметил какую-то *странную* машину и даже показал на нее пальцем. Ма-

шина быстро ехала по насквозь промокшей улице, разбрызгивая грязные лужи и отражая широченными боками свет неоновых фонарей, — огромная машина цвета свернувшейся крови, со светлыми деревянными панелями на бортах, которые выглядели как ребра огромной рыбины, скользившей по темной улице в неоновом свете.

— Глядите, какая машина! — закричал Уолт.

— У-у, да это же *катафалк!* — восхитился Дункан.

— Нет, Дункан. Это старый «бьюик», — сказал Гарп. — Такие еще до твоего рождения делали.

«Бьюик», который Дункан принял за катафалк, направлялся к дому Гарпа, хотя Хелен сделала все, что в ее силах, чтобы убедить Майкла Мильтона ни в коем случае не приезжать к ней.

— Я *не могу* больше видеться с тобой, — сказала она ему, когда позвонила. — Просто не могу, и все. Конец. Я же говорила тебе, что все кончится, как только он узнает. И я ни за что больше не стану его мучить, и так уже причинила ему столько боли.

— А как же я? — спросил Майкл Мильтон.

— Прости, — сказала Хелен. — Но ты ведь *знал.* Мы оба знали.

— Я хочу тебя видеть, — сказал он. — Может,

завтра? Но она сказала, что Гарп повел детей в кино с единственной целью: она должна покончить со всем сегодня.

— Я сейчас приеду, — сказал Майкл Мильтон.

— Нет, только не сюда! — воскликнула Хелен.

— Мы просто покатаемся, — сказал он.

— И выйти из дому я тоже не могу, — сказала она.

— Я еду, — сказал Майкл Мильтон и повесил трубку. Хелен посмотрела на часы. Ничего, она быстренько его выпроводит, и все обойдется. Ведь фильмы идут по крайней мере полтора часа. Она решила, что в дом его не впустит — ни при каких обстоятельствах. Хелен внимательно следила, когда из-за поворота появятся фары «бьюика», и, едва машина остановилась — прямо напротив гаража, точно огромный корабль, причаливший к темному пирсу, — выбежала из дома и толкнулась в переднюю дверцу, прежде чем Майкл Мильтон успел ее открыть.

Дождь переходил в снег, превращаясь под ногами в слякоть; казалось, капли становились ледышками уже на лету и больно жалили голую шею Хелен, когда она наклонилась к опущенному боковому стеклу.

Он сразу же ее поцеловал. Она хотела в ответ

легонько погладить его по щеке, но он отвернулся и с силой разжал ей губы своим языком. И снова она увидела перед собой вульгарную спальню в его квартирке и огромный постер на стене — Пауль Клее «Синдбад-мореход». Видимо, думала Хелен, именно таким он себя представляет: яркая натура, искатель приключений, весьма чувствительный, впрочем, к красотам цивилизованной Европы.

Хелен отшатнулась от него и почувствовала, что ледяной дождь уже насквозь промочил ее блузку.

— Мы не можем так просто со всем этим покончить, — с несчастным видом сказал Майкл Мильтон.

Хелен было неясно, то ли у него на щеках капли дождя, то ли слезы. Она с изумлением обнаружила, что он сбрил усы, и теперь его верхняя губа напоминала припухлую и несколько недоразвитую губу ребенка — как губки Уолта, которые, впрочем, на лице Уолта смотрелись очень мило. Однако такие губы у любовника? Нет, это совсем не в ее вкусе!

— Что ты сделал со своими усами? — спросила она.

— Я думал, они тебе не нравятся, — сказал он. —

И сбрил — для тебя.

— Но они мне как раз нравились! — Она пожала плечами и поежилась под ледяным дождем.

— Пожалуйста, сядь в машину, — попросил он ее.

Она только головой покачала; блузка прилипла к заледеневшей спине, а длинная джинсовая юбка, промокшая насквозь, казалась тяжелой, как средневековая кольчуга; высокие легкие сапожки скользили в подмерзающей снежной каше.

— Честное слово, я никуда тебя не повезу! — пообещал он. — Мы просто посидим в машине. Нельзя же вот так взять и все кончить! — повторил он.

— Мы знали, что рано или поздно придется это сделать, — возразила Хелен. — И знали, что долго так продолжаться не может.

Майкл Мильтон безвольно уронил голову прямо на блестящий кружок клаксона, но сигнала не последовало: огромный «бьюик» отчего-то безмолвствовал. Окна затягивало ледяной коркой — машина постепенно покрывалась ледяным панцирем.

— Пожалуйста, залезай внутрь, — простонал Майкл Мильтон. — Я отсюда никуда не уеду. — И вдруг резко прибавил: — А его я не боюсь! И не

обязан делать то, что он приказывает!

— Это не он, это я тебе приказываю, — сказала Хелен устало. — Тебе придется уехать.

— Никуда я не поеду, — заупрямился Майкл Мильтон. — Я все знаю про твоего мужа! Все про него знаю!

О Гарпе они никогда раньше не говорили — Хелен запретила. И теперь не понимала, что на уме у ее любовника.

— Он просто жалкий писателишка! — нахально заявил Майкл Мильтон.

Хелен удивленно на него посмотрела; насколько она знала, произведений Гарпа он никогда не читал. Он как-то объяснил ей, что никогда не читает ныне живущих писателей, потому что более всего ценит перспективу, ощущение которой, по его словам, появляется, только когда писатель давно уже умер. Какое счастье, что Гарп *хоть об этом* не знает! Иначе бы он только еще больше презирал Майкла. Собственно, Хелен подобные рассуждения Майкла Мильтона тоже весьма раздражали.

— Мой муж — очень хороший писатель, — мягко возразила она и так задрожала от холода, что изо всех сил обхватила себя руками.

— Но далеко не из лучших! — заявил Майкл. —

Так Хиггинс говорит. И ты, конечно же, должна знать, как на кафедре относятся к твоему «гениальному» супругу.

Хиггинса Хелен прекрасно знала; он был человек исключительно эксцентричный и задиристый, но при этом умудрялся производить впечатление существа довольно вялого, даже сонного. Но коллегой Хелен никогда его по-настоящему не считала — она не признавала таких представителей университетской среды, которые, дабы завоевать авторитет у студентов и аспирантов, позволяют себе сплетничать о собратьях-преподавателях.

— Я понятия не имею, как воспринимают Гарпа у нас на кафедре, — холодно сказала Хелен. — Большая часть преподавателей вообще современной литературы не читает.

— Это как раз те, кто считает его жалким писателишкой! — заносчивым тоном изрек Майкл, что отнюдь не прибавило Хелен симпатии к нему, и она уже повернулась, чтобы уйти в дом.

— Я никуда не уеду! — заорал ей вслед Майкл Мильтон. — Я буду *защищать нас* — перед ним! Прямо здесь. Он не имеет права диктовать нам, что мы должны делать!

— Повторяю: это не он, а я, я говорю тебе, что мы

должны сделать, Майкл, — твердо сказала Хелен.

Тогда он снова уронил голову на руль и заплакал. Хелен вернулась к машине и, просунув руку в окно, тронула его за плечо.

— Хорошо, я посижу с тобой минутку. Но ты должен обещать, что потом сразу уедешь. Я не желаю, чтобы Гарп или дети тебя видели.

Он обещал.

— Дай мне ключи, — сказала Хелен, и ее до глубины души тронул его раненый взгляд: она ему не поверила! Хелен сунула ключи в карман своей длинной мокрой юбки и обошла машину, чтобы сесть на пассажирское сиденье. Майкл Мильтон тут же поднял стекло, и они сидели не касаясь друг друга, и окна мгновенно запотели так, что сквозь них ничего не было видно, а корка льда снаружи становилась все толще.

Потом он совершенно сломался и стал говорить, что она значит для него больше, чем вся Франция, вместе взятая, — а она, конечно же, знает, что значит для него Франция. И тогда она его обняла и с ужасом подумала, что прошло уже *очень много времени*, что в этой обледеневшей машине время проходит очень быстро, что, если фильм не очень длинный, у них есть от силы полчаса, самое большее — минут сорок пять. Однако

Майкл Мильтон, похоже, не собирался никуда уезжать. Она крепко поцеловала его, надеясь, что это поможет, но в ответ он только принялся ласкать ее холодные груди под промокшей блузкой. И в его объятиях она чувствовала себя такой же заледеневшей, какой была под этим странным дождем, замерзавшим на лету. И все же не противилась его ласкам.

— Милый Майкл, — сказала она, думая совсем о другом.

— Ну как же мы можем прекратить? — снова повторил он.

Но Хелен, собственно, все уже прекратила и думала сейчас только о том, как бы остановить *его.* Она велела ему сесть прямо, подобрала ноги, накрыла их своей длинной юбкой и прилегла, положив голову к нему на колени.

— Пожалуйста, *запомни,* — сказала она. — Пожалуйста, постарайся запомнить: для меня не было ничего лучше, чем просто позволять тебе везти меня в этой машине и знать, куда и зачем мы едем. Неужели ты не можешь просто быть счастливым и просто помнить об этом, оставив все в прошлом?

Он так и застыл на своем сиденье, обеими руками изо всех сил держась за руль; она щекой

чувствовала, как напряжены его бедра; его твердый член касался ее уха.

— Пожалуйста, постарайся поставить на этом точку, Майкл, — мягко сказала Хелен.

И они еще немного посидели так, и Хелен воображала, что старый «бьюик» снова везет ее к нему на квартиру, но Майкл Мильтон удовольствоваться одним воображением был не в силах. Одной рукой он погладил Хелен по шее, а второй расстегнул молнию у себя на джинсах.

— Майкл! — резко запротестовала она.

— Ты сказала, что для тебя не было ничего лучше этого, — напомнил он.

— Все кончено, Майкл.

— Пока еще нет, не правда ли? — Его пенис касался ее лба, ресниц, и она узнала прежнего Майкла — того Майкла, каким он бывал у себя дома, когда порой любил применить к ней даже легкое насилие. Однако сейчас она не желала такой игры. С другой стороны, судорожно думала она, если я буду сопротивляться, то непременно последует ужасная сцена. Ей достаточно было представить себе Гарпа участником подобной сцены, чтобы убедиться, что этого необходимо избежать любой ценой.

— Не изображай сексуально озабоченного

ублюдка, Майкл, — сказала она. — Не порти все.

— Ты всегда говорила, что хочешь этого, — сказал он. — Но считала, что это опасно. Ну что ж, сейчас опасности нет. Машина даже не движется. И никакой аварии уж точно не произойдет.

Странно, но Майкл вдруг словно освободил ее. Она больше не мучилась из-за него угрызениями совести и даже была ему благодарна: он помог ей определить — причем весьма прямолинейно, — какие жизненные ценности для нее важнее. Самое ценное, думала она с невероятным облегчением, это Гарп и дети. Бедный Уолт! Не следовало ему выходить из дому в такую погоду, думала она, вся дрожа. А Гарп для нее — самый лучший! Куда лучше всех ее коллег и аспирантов, вместе взятых!

А Майкл Мильтон сейчас просто потряс ее ничем не прикрытой вульгарностью. Да откуси ты ему член! — подумала она, беря его член в рот. Уж тогда-то он точно уедет! Господи, до чего примитивны мужчины: стоит им кончить, и от былых обещаний не остается и следа. Из недолгого опыта общения с Майклом Мильтоном в его квартире Хелен хорошо знала, что «это» много времени не займет.

Время — вот что сыграло главную роль: у них

оставалось еще по крайней мере минут двадцать, даже если Гарп и дети пошли смотреть самый короткий фильм. И Хелен решила сделать Майклу прощальный подарок, как бы поставить точку в этой последней трудной задаче. Конечно, все могло бы кончиться лучше, но могло — и куда хуже. Она даже слегка гордилась, что доказала-таки себе семья для нее превыше всего. Гарп и тот оценил бы это по достоинству, подумала она, но расскажет она ему все когда-нибудь потом, попозже.

В своем решительном настроении она толком не заметила, что Майкл Мильтон больше не прижимает ее к себе, что он опять положил обе руки на руль, словно они действительно куда-то едут. Ну и пусть себе воображает что хочет, подумала Хелен. Она думала о своей семье и совершенно не замечала, что ледяной дождь теперь скорее напоминает крупный град и громко стучит по крыше «бьюика» — точно бесчисленные молотки забивают бесчисленные гвозди. И старая машина стонала и задыхалась в своем все утолщавшемся ледяном саркофаге, но Хелен ничего не слышала и не чувствовала.

Не слышала она и как звонит телефон в ее теплом доме — совсем рядом. Слишком уж холодно и

мерзко было снаружи, и вообще слишком многое происходило между ее домом и тем местом, где она сейчас лежала.

Фильм оказался на редкость глупый. Рассчитанный на типично детские вкусы, думал Гарп; на типичные вкусы университетского городка. На типичные вкусы жителей этой страны. На типичные вкусы *всего мира!* Внутренне взбешенный, Гарп гораздо чаще смотрел не на экран, а на Уолта, слушая его затрудненное дыхание, посапывание и шмыганье крошечного носика.

— Ты осторожней, не то поперхнешься попкорном, — шепнул он Уолту, — тебе ведь дышать нечем.

— Не поперхнусь, — сказал Уолт, не отводя глаз от гигантского экрана.

— Видишь ли, раз ты не можешь как следует дышать, — продолжал Гарп, — не набирай так много в рот, а то нечаянно вдохнешь попкорн и поперхнешься. — И он в очередной раз вытер Уолту нос. — Сморкайся, — шепотом велел он. Уолт высморкался.

— Правда, здорово? — прошептал Дункан. Сквозь носовой платок Гарп чувствовал, какие горячие у Уолта сопли. У малыша, похоже, здорово поднялась температура! — подумал он. И скосил

глаза на Дункана.

— Да, очень! — сказал он Дункану, который, разумеется, имел в виду фильм.

— Да расслабься ты, пап! — посоветовал ему Дункан, качая головой. Ох, действительно надо расслабиться. Гарп отлично понимал, но расслабиться не мог. Он думал об Уолте и о том, какая у малыша прелестная маленькая попка и стройные, сильные ноги, и как он хорошо пахнет, когда набегается и волосы за ушами становятся влажными. Такое красивое, совершенное тело не должно хворать, думал Гарп. Мне следовало отпустить Хелен даже в эту ужасную погоду; нужно было *заставить* ее позвонить этому типу из университетского кабинета и сказать ему, чтобы он оставил ее в покое раз и навсегда!

А лучше бы я сам позвонил этому сладенькому ублюдку, думал Гарп. Или явился к нему домой среди ночи… Направляясь в вестибюль, чтобы позвонить из кинотеатра домой, Гарп слышал кашель Уолта.

Если она *еще* с ним не созвонилась, думал он, я скажу ей, чтобы она *и не созванивалась.* Скажу, что теперь *моя* очередь. Его чувства к Хелен достигли такой точки, когда он, уязвленный предательством, тем не менее отлично понимал, что

она искренне его любит, что он для нее важнее всего на свете. У него не было времени как следует обдумать, *насколько* он уязвлен, или в какой мере она *действительно* старалась помнить о нем и о детях. Он словно очутился на тонкой грани меж ненавистью и страстной любовью, к тому же он всегда не без сочувствия относился к ее желаниям и выходкам и, в конце концов, никогда не забывал, что и сам грешен. И ему даже казалось несправедливым, что Хелен, всегда такая доброжелательная, была столь вульгарно застигнута с поличным; Хелен — хорошая женщина и безусловно заслуживала лучшей доли. Но когда Хелен не ответила на звонок, вся нежность Гарпа к ней мгновенно испарилась. Теперь он ощущал только бешенство и горечь предательства.

Сука! — думал он, а в трубке все звучали длинные гудки.

Ну конечно, она вышла из дома, чтобы встретиться с ним. Или они занимаются *этим* прямо у нас в доме? Гарп прямо-таки слышал, как они говорят: «Ничего, в последний раз…» Этот хилый ублюдок со своими претенциозными рассказиками о хрупкости человеческих взаимоотношений, которые возникают почти исключительно в полумраке европейских ресторанов… (Кто-то там

надел перчатку не на ту руку — и счастливый миг был упущен безвозвратно; еще в одном его «опусе» женщина решает *не делать этого,* потому что рубашка у мужчины застегнута на горле слишком туго!)

Как только Хелен могла читать такую чушь! И как только ей не противно было касаться этого хилого тела?

— Но ведь мы даже и до середины фильм не досмотрели! — возмутился Дункан. — Сейчас как раз дуэль будет!

— Я хочу дуэль, — сказал Уолт. — Что такое дуэль?

— Мы едем домой, — сказал Гарп.

— Нет! — зашипел Дункан.

— Уолт болен, — тихо сказал Гарп. — Ему не стоит оставаться здесь.

— Не так уж он и болен! — возразил Дункан.

— А ну быстро вставайте! — скомандовал Гарп. Дункана ему пришлось тащить за шиворот, и Уолт, увидев это, сам встал и, спотыкаясь, побрел к выходу. Дункан, ворча, плелся следом за Гарпом.

— Что такое «дуэль»? — спросил Уолту Дункана.

— Дуэль — это класс, — уныло сказал Дункан. —

Только теперь ты ее уже не увидишь.

— Сейчас же прекрати, Дункан, — сказал Гарп. — Не будь врединой.

— Сам ты вредина! — огрызнулся Дункан.

— Да-а, пап! — поддержал брата Уолт.

«Вольво» был закован в ледяной панцирь; на ветровом стекле нарос толстенный слой пупырчатого льда. В багажнике есть всякие скребки, старые «дворники» и прочая ерунда, подумал было Гарп, но вспомнил, что к марту весь этот инструмент либо приходил в негодность, либо дети, играя со скребками, благополучно их теряли. В общем, Гарп и не собирался тратить время на очистку ветрового стекла.

— Как же ты поедешь? — спросил Дункан. — Ведь дороги совсем не видно!

— Я здесь так давно живу, — сказал Гарп, — что мне и видеть-то ничего особенно не нужно.

На самом деле ему пришлось высунуться в боковое окно, подставляя лицо ледяной крупе, которая секла, как свинцовая дробь; только так он еще мог как-то вести машину.

— Холодно, пап! — Уолт весь дрожал. — Закрой окно!

— Не могу, иначе ничего не видно, — сказал Гарп.

— А я думал, тебе и не нужно ничего видеть, — ехидно заметил Дункан. — Ты же сам сказал.

— А я замерз! — заплакал Уолт. И трагически закашлялся.

И во всем этом, как представлялось сейчас Гарпу, виновата Хелен — и в том, что Уолт сильно замерз, и в том, что ему стало хуже. Да, все это *ее* вина! Она виновата, что Дункан — пусть на время — разочаровался в собственном отце и что он, Гарп, непростительно грубо схватил мальчика за шиворот и заставил выйти из кинотеатра… Во всем, во всем виновата только *она!* Эта сука и ее любовник-размазня!

Но в тот миг, когда от холодного ветра и ледяной крупы глаза его заволокло пеленой слез, он вдруг вспомнил, как любил Хелен, и решил, что никогда больше не причинит ей боль своей изменой — даст ей слово, что никогда больше не изменит ей даже в мыслях!

В тот же самый миг совесть Хелен окончательно просветлела. Ее любовь к Гарпу была абсолютно чиста. И она чувствовала, что Майкл Мильтон вот-вот кончит, судя по всем признакам: он согнулся в талии, и смешно сложил губы, и сильно напряг мышцы на внутренней стороне бедер, которые больше ни для чего не используются.

Ну вот и все, подумала Хелен. Ее нос касался холодной бронзовой пряжки его ремня, а затылок — нижней части руля, который Майкл Мильтон сжимал так, словно трехтонный «бьюик» запросто мог оторваться от земли и улететь.

К подножию своей подъездной дорожки Гарп вырулил на скорости сорок миль в час. Он спустился под гору на третьей скорости и нажал на газ, только когда свернул с улицы; мельком он увидел, как блестит покрытая ледяной коркой подъездная дорожка, и на мгновение его охватило беспокойство, что на крутом и коротком подъеме «вольво» может занести. Он держал машину на скорости, пока не почувствовал, насколько хорошо она держит дорогу, и только тогда перевел сломанный рычаг переключателя на нейтраль — за секунду до того, как выключил двигатель и погасил фары.

Они катили прямо в сплошную черноту — будто в самолете, который наконец отрывается от взлетной полосы; мальчики даже завопили от восторга. Гарп чувствовал локтем, что дети, толкая друг друга, норовят втиснуться в свой любимый проем между передними сиденьями.

— А теперь ты что-нибудь видишь? — спросил Дункан.

— А ему и не нужно видеть! — запальчиво сказал Уолт, в голосе его послышались слезы, и Гарп решил, что Уолту просто хочется себя подбодрить.

— Я эту дорожку наизусть знаю, — заверил их Гарп.

— А здорово! Словно под водой плывешь! — воскликнул Дункан и затаил дыхание.

— Да, как во сне! — сказал Уолт и взял брата за руку.

14. Мир глазами Марка Аврелия

Вот так Дженни Филдз вновь стала кем-то вроде сестры милосердия; много лет Дженни в белом медицинском халате обихаживала женское движение и теперь была вполне готова к исполнению своей вечной роли. Это она предложила сыну переехать со всем семейством к ней в Догз-Хэд-Харбор. В родительском доме было столько комнат, что Дженни всех разместила с удобством и принялась о них заботиться. За окнами постоянно слышался целительный шум морских волн, которые, набегая на берег, смывали с него всякую грязь.

Всю свою дальнейшую жизнь Дункан Гарп будет связывать шум моря с ощущением выздоровления. Когда бабушка снимала бинты, морской ветер точно орошал пустую глазницу, где когда-то был правый глаз Дункана. Гарп и Хелен оказались не в силах смотреть на изуродованное лицо сына, но Дженни имела огромный опыт в разглядывании чужих ран и их исцелении. Именно бабушка, Дженни Филдз, впервые показала Дункану его стеклянный глаз.

— Видишь? — сказала Дженни внуку. — Он большой и коричневый, хотя, конечно, не такой красивый, какой у тебя был, но ты старайся, чтобы девочки первым видели твой левый глаз, вот и все. — Не самое феминистское высказывание, если честно, но Дженни всегда утверждала, что она, во-первых и в-последних, всегда была и оставалась именно сестрой милосердия.

Дункан выколол себе глаз, когда его выбросило между передними сиденьями «вольво» и острый рычаг переключателя скоростей остановил его полет. Правая рука Гарпа, которой тот пытался перегородить промежуток между сиденьями, опоздала. Дункан пролетел под рукой отца, выбил себе правый глаз и сломал три пальца на правой руке — их зажало замком ремня безопасности.

По всем оценкам «вольво» двигался со скоростью никак не больше двадцати пяти миль в час — от силы тридцать пять! — однако он буквально вмазался в трехтонный «бьюик», который ни на дюйм не сдвинулся с места. Дети в салоне «вольво» так и посыпались вперед, точно яйца из коробки. Впрочем, сидевшие в салоне «бьюика» тоже в достаточной степени почувствовали этот страшный удар.

Голова Хелен дернулась вперед с такой силой,

что просто удивительно, как она не сломала шею о стойку руля. У детей борцов обычно крепкая шея, вот и у Хелен шея не сломалась — хотя она полтора месяца носила гипсовый «воротник», а спина ее с тех пор всю жизнь давала о себе знать. К тому же у нее была сломана правая ключица — возможно, подброшенным вверх коленом Майкла Мильтона — и порезана переносица, на которую потом наложили девять швов; порезы нанес, скорее всего, замок от ремня безопасности Майкла Мильтона. Рот Хелен от толчка захлопнулся с такой силой, что она сломала себе два зуба и сильно поранила язык, который тоже пришлось зашивать.

Сперва она решила, что язык у нее вообще откушен, потому что чувствовала, как он сам по себе плавает у нее во рту, полном крови. Но голова у нее так ужасно болела, что она не решалась открыть рот, пока не пришлось вздохнуть; кроме того, она не могла двинуть правой рукой. Хелен выплюнула свой «откушенный язык» на левую ладонь и увидела, что это никакой не язык, а кусок пениса Майкла Мильтона — точнее, три четверти этого органа.

Теплый поток крови на своем лице Хелен сперва приняла за бензин и закричала — испугавшись

не за себя, а за Гарпа и за детей. Она понимала, что в проклятый «бьюик» врезалась машина Гарпа. Хелен собрала все силы, чтобы подняться с колен Майкла Мильтона. Ей совершенно необходимо было узнать, что с ее семьей. Она выплюнула что-то на пол «бьюика» — откушенный язык, мелькнула мысль, и здоровой рукой отпихнула Майкла Мильтона, чье колено буквально пришпилило ее к рулю. И тут только до нее дошло, что кричит не она одна. Кричал, конечно, и Майкл Мильтон, но Хелен его почти не слышала — она слышала только крики, доносившиеся из «вольво». Вне всякого сомнения, кричал Дункан. И Хелен потянулась к ручке двери. Когда дверь наконец открылась, Хелен вытолкнула Майкла наружу — откуда силы взялись! Майкл упал на землю, так и не изменив позы: лежал на боку в подмерзающей снеговой каше, поджав ноги, словно все еще сидел за рулем, и выл, как кастрированный бычок, истекая кровью.

Когда в огромном «бьюике» открылась дверь и зажегся свет, Гарпу удалось смутно разглядеть, какой ужас творится в «вольво», — он увидел окровавленное лицо Дункана с разинутым в страшном крике ртом. Гарп тоже взревел, но изо рта вылетел лишь едва слышный писк; и этот

странный писк так его испугал, что он попытался тихонько заговорить с Дунканом. И только тут понял, что говорить не может.

Когда Гарп выбросил в сторону правую руку, чтобы не дать Дункану упасть, он повернулся на водительском сиденье почти боком и врезался лицом прямо в руль, сломав челюсть и изуродовав язык (ему потом наложили двенадцать швов). В течение долгих недель в Догз-Хэд-Харбор, пока Гарп выздоравливал, Дженни не раз с благодарностью думала, что, к счастью, имела достаточный опыт общения с джеймсианками; ведь рот у Гарпа был зафиксирован намертво, и общался он с матерью исключительно с помощью записочек. Иногда он печатал свои послания на машинке — целые страницы, — и Дженни потом читала их вслух Дункану, потому что Дункану велели не утруждать без нужды уцелевший глаз. Со временем этот глаз непременно приспособится, но Гарпу нужно было очень многое сказать сыну, и сказать немедленно, а иной возможности сказать он не имел. Когда же он чувствовал, что мать редактирует его записки Дункану и Хелен (которой он тоже строчил страницу за страницей), Гарп глухо ворчал, протестуя сквозь проволоку, но стараясь не шевелить израненным языком. И

Дженни Филдз, как настоящая сиделка, каковой она, собственно, и была, мудро перевозила сына в отдельную комнату.

— У нас тут прямо больница «Догз-Хэд-Харбор», — сказала как-то раз Хелен.

Хотя Хелен и могла говорить, говорила она очень мало, и ей не требовалось исписывать страницу за страницей, чтобы выразить свои мысли. Потихоньку выздоравливая, она большую часть времени проводила в комнате Дункана. Она читала мальчику, потому что делала это куда лучше, чем Дженни, да и, в конце концов, на языке у Хелен было всего два шва. В этот период общение с Гарпом куда лучше получалось у Дженни Филдз, чем у Хелен.

Хелен и Дункан часто сидели рядышком в комнате Дункана, из которой открывался чудесный вид на море, и Дункан своим единственным глазом целыми днями смотрел на берег и волны, словно фотографируя их. Отчасти это напоминало привычку фотографов тоже вечно видеть мир одним глазом через объектив своего фотоаппарата; те же проблемы с глубиной резкости и фокусом. Когда Дункан был уже почти готов сам сделать это открытие, Хелен купила ему фотоаппарат— «зеркалку», как раз такой подходил

Дункану больше всего.

Именно в этот период, как впоследствии вспоминал Дункан Гарп, ему впервые пришла в голову мысль стать художником, живописцем или фотографом; ему ведь почти исполнилось одиннадцать. Хотя он был очень хорошо развит физически, наличие только одного глаза заставило его (как и отца) сторониться спортивных игр с мячом (хотя у отца отвращение к этим играм было врожденным). Даже когда он просто бегает по пляжу, говорил Дункан, ему всегда мешает недостаток периферийного зрения, это и делает его неуклюжим. А вскоре к огорчениям Гарпа прибавилось и то, что Дункан с полным безразличием относился к борьбе. Дункан вообще в последнее время изъяснялся исключительно фотографическими терминами и сказал отцу, что у него трудности с определением местоположения предмета в пространстве, а потому он не может понять, насколько далеко от него спортивный мат.

— Когда я занимаюсь борьбой, — говорил он Гарпу, — мне кажется, я спускаюсь по лестнице в абсолютной темноте и не знаю, достиг я уже последней ступеньки или нет, — пока не почувствую ее ногой.

Гарп, разумеется, пришел к выводу, что авария лишила Дункана интереса к спорту, но Хелен заметила, что Дункан всегда был несколько застенчив и замкнут — несмотря на то, что хорошо играл в разные игры и безусловно обладал прекрасной координацией движений; у него всегда было некое подспудное желание «не участвовать». То ли дело Уолт, у которого энергия била ключом, он бесстрашно бросал свое маленькое тело в любые новые обстоятельства, с невероятной верой в себя и отвагой, граничившей с безрассудством. Уолт, говорила Хелен, был среди них единственным настоящим атлетом. И Гарп полагал, что она права.

— Хелен вообще часто бывает права, знаешь ли, — заметила как-то вечером Дженни Филдз в разговоре с Гарпом. Повод для такого высказывания могло дать что угодно, но произнесла Дженни эти слова вскоре после несчастного случая, потому что Дункан тогда лежал в отдельной «палате», и Хелен лежала в отдельной «палате», да и Гарп тоже.

Хелен часто бывает права, сказала Дженни, но Гарп сердито посмотрел на нее и написал: *«Только не сейчас, мам!»*

«Только не сейчас» означало, по всей видимо-

сти, Майкла Мильтона. Точнее, все случившееся вместе.

С работы Хелен ушла, пожалуй, и не из-за Майкла Мильтона. Просто огромный и гостеприимный дом на берегу океана, эта «больница Дженни», как они с Гарпом стали его называть, дал им возможность оставить в прошлом и нежелательную привычность их собственного дома, и ту подъездную дорожку.

К тому же, согласно университетскому «кодексу чести», моральное падение стояло на одном из первых мест как вполне основательная причина для расторжения контракта — хотя это никогда не обсуждалось. Однако интимные связи, вечно возникавшие между преподавателями и студентами, никогда особенно сурово не наказывались, хотя и не поощрялись. Это могло, правда, стать тайной причиной того, почему кому-то из преподавателей факультета не продлили контракт, но крайне редко служило причиной расторжения контракта. Хелен, видимо, сделала собственные выводы на сей счет и решила, что откусить студенту три четверти пениса — преступление достаточно серьезное. Способности любого студента можно оценить и множеством других способов, как и приклеить ему на всю жизнь такой ярлык, от

которого очень трудно избавиться. Но ампутация гениталий (даже у очень плохого студента) — это, безусловно, уже чересчур! И Хелен, должно быть, чувствовала необходимость как-то наказать себя за этот невольный проступок. Она отказала себе в удовольствии продолжать дело, к которому была так хорошо подготовлена, и вышла из круга, где книги и их обсуждение, так много для нее значившие, всегда занимали большое место. Потом, правда, Хелен позволяла себе порой чувствовать себя несчастной, не желая признавать себя виноватой. А в последующие годы история с Майклом Мильтоном стала чаще вызывать у нее гнев, а не печаль, потому что она была достаточно сильной и считала себя хорошей женой и матерью (что соответствовало действительности), которую обстоятельства заставили страдать несоразмерно совершённому проступку, вполне тривиальному, хотя и не слишком чистоплотному.

Зато, по крайней мере на некоторое время, Хелен удалось исцелить и себя, и свою семью. Выросшая без матери и почти не имея возможностей испытать на себе материнские чувства Дженни Филдз, Хелен просто подчинилась идее Дженни насчет их «госпитализации» в Догз-Хэд-Харбор. Хелен утешалась, ухаживая за Дунканом, и очень

надеялась, что Дженни сумеет выходить Гарпа.

А для Гарпа больничная атмосфера оказалась совсем привычной; все его первые жизненные шаги и ощущения, связанные со страхом, с различными снами, с сексом, были так или иначе связаны с медицинскими учреждениями. К жизни по соседству с изолятором в Стиринг-скул он приспособился легко. И сейчас с легкостью привыкал к новым обстоятельствам. Ему даже помогало то, что любую мысль приходилось выражать письменно: это приучало к осторожности и сдержанности и заставляло переосмыслить многое из того, что он хотел сказать, ибо, увидев эти мысли на бумаге — сырые мысли, порой совершенно бессмысленные слова, — он понял, что не может и не должен произносить вслух ничего подобного. Все лишние слова он в своих теперешних записках просто выбрасывал. Такова, например, одна из записок, адресованных Хелен:

«Три четверти — это еще недостаточно!»

Эту записку он выбросил и написал другую, которую и передал ей:

«Я тебя не виню».

А чуть позже написал еще одну:

«Я и себя тоже не виню».

«Только так мы сможем вновь стать единым

целым», — писал Гарп матери.

И Дженни Филдз, вся в белом, скользила по наполненному соленым морским воздухом дому из одной комнаты в другую с бесконечными записками от Гарпа. Заниматься иным писательством он пока был не в состоянии.

Разумеется, дом в Догз-Хэд-Харбор привык к атмосфере выздоровления. Раненые женщины, которых подбирала Дженни, обретали здесь душевное и физическое здоровье и равновесие; эти пропахшие морем комнаты хранили в своих стенах немало давних печальных историй. В том числе и историю Роберты Малдун, которая жила у Дженни в самые трудные годы своей сексуальной переориентации. Впрочем, Роберта так и не сумела потом жить одна — как не сумела и жить с мужчинами — и снова обосновалась у Дженни в Догз-Хэд-Харбор, когда туда переехал Гарп с семьей.

К концу весны, когда совсем потеплело и рана на месте правого глаза Дункана уже потихоньку затягивалась и стала не столь уязвима для крошечных песчинок, Роберта начала гулять с Дунканом по пляжу. Именно там Дункан обнаружил, что у него проблемы с пространственным видением, поскольку оказался не в состоянии

определить, куда именно летит брошенный мяч, и когда Роберта попыталась поиграть с ним в футбол, то почти сразу залепила ему мячом прямо в лицо. От игры в мяч пришлось отказаться, и Роберта развлекала Дункана, рисуя на песке диаграммы наиболее трудных и интересных игр, в которых она участвовала вместе с командой «Филадельфия Иглз», и конечно же сосредоточивая внимание на действиях защитников, к которым принадлежала и сама, когда была еще знаменитым Робертом Малдуном, № 90. Она честно рассказывала Дункану о своих удачных голевых пасах, об упущенных мячах, о пенальти из офсайда и прочих острых моментах игры.

— Мы против «Ковбоев» играли, — с жаром вспоминала она, — в Далласе, когда эта змея ползучая, Восьмой Мяч, как все его называли, подобрался ко мне со «слепой» стороны… — И Роберта внезапно умолкала и быстро переводила разговор на другое, жалея притихшего Дункана, у которого теперь на всю жизнь одна сторона осталась «слепой».

А Гарп слушал рассказы Роберты о наиболее сложных моментах ее сексуальной переориентации, потому что действительно искренне интересовался ее непростой судьбой, и Роберта

это знала; кроме того, она понимала, что Гарпу просто хочется разобраться в проблемах, столь отличных от его собственных.

— Я всегда знала, что мне следовало родиться девочкой, — говорила Роберта. — Во сне я занималась любовью с мужчинами, и в этих снах я *всегда* была только женщиной и никогда — мужчиной!

Роберта относилась к гомосексуалистам с нескрываемым отвращением, и Гарп думал, как странно, что Роберта, принадлежа к одному из самых малочисленных сексуальных меньшинств, столь нетерпима к представителям других сексуальных меньшинств. Порой в Роберте даже проявлялась типично женская стервозность, когда она жаловалась Гарпу на других «пациенток» Дженни Филдз, которые прибывали в Догз-Хэд-Харбор, чтобы отрешиться от мучивших их проблем.

— Ох уж эти проклятые лесбиянки! — сердилась Роберта. — Стараются сделать твою мать тем, чем она никогда не была!

— Мне иногда кажется, мама для этого и предназначена, — поддразнивал Роберту Гарп. — Она делает людей счастливыми, позволяя им думать о ней все что заблагорассудится.

— Ну, эти особы и меня пытались сбить с пу-

ти! — говорила Роберта. — Когда я готовилась к операции, они все время меня отговаривали. «А ты стань геем, — советовали они. — Ты ведь хочешь иметь мужчин? Вот и имей их — без всякой операции! А если станешь женщиной, они просто будут пользоваться тобой, и все». Трусихи! — презрительно заключала Роберта, и Гарп с грустью думал, что Робертой все-таки действительно пользовались, и не раз.

Страстная нетерпимость Роберты не была уникальной; Гарп часто думал, почему едва ли не все прочие женщины в доме его матери, которые находились под ее заботливой опекой и прежде так или иначе были жертвами чужой нетерпимости, становились особенно нетерпимы именно друг к другу. Это была какая-то форма внутренней борьбы (по мнению Гарпа, совершенно бессмысленной), и Гарпу оставалось только восхищаться мудростью собственной матери и ее редкостным умением всех их угомонить и не допускать ссор. Роберту Малдуну, как выяснил Гарп, несколько месяцев перед операцией кололи транквилизаторы и слабые наркотики. С утра, одетый как Роберт Малдун, он уходил из дома и бродил по магазинам, скупая разнообразную женскую одежду; и почти никто не знал, что за операцию

по изменению пола он заплатил гонорарами, которые получил за выступления на банкетах в различных спортивных мужских клубах, как детских, так и взрослых. А по вечерам, вернувшись в Догз-Хэд-Харбор, Роберт Малдун демонстрировал свои новые наряды Дженни и весьма критически настроенным женщинам, обитавшим в ее доме. Когда, благодаря инъекциям эстрогена, у него стали наливаться груди и округляться бедра, Роберт прекратил выступать на банкетах и стал выходить на прогулки в несколько мужеподобных, но все же вполне женских костюмах, а на голову напяливал парики со старомодной укладкой — словом, пытался *быть Робертой* задолго до хирургического вмешательства. Теперь же, став наконец Робертой, он обрел анатомически точно такие же гениталии и урологический аппарат, как и у большинства женщин.

— Но зачать я конечно же не могу, — с некоторым огорчением рассказывала Роберта Гарпу. — У меня ведь не бывает ни овуляций, ни менструаций. (Хотя Дженни Филдз и заверяла ее, что их не бывает и у миллионов других женщин.) А знаешь, — продолжала Роберта, — что сказала мне твоя мать, когда я вернулась домой из больницы?

Гарп покачал головой; «домой» для Роберты означало в Догз-Хэд-Харбор.

— Она сказала, что чувствует во мне куда меньше сексуальной раздвоенности или, если хочешь, бисексуальности, чем у большинства людей, которых она когда-либо знала! А мне действительно было очень важно это услышать, — сказала Роберта. — Ведь мне тогда постоянно приходилось пользоваться этим ужасным расширителем, чтобы влагалище не заросло. Я порой вообще себя чувствовала каким-то роботом…

«Добрая старая мама!» — нацарапал Гарп и сунул записку Роберте.

— Знаешь, — вдруг сказала Роберта, — в том, что ты пишешь, столько сострадания к людям, но в тебе самом я особого сострадания не чувствую — прежде всего к тем, кто тебе ближе всего в твоей *настоящей* жизни. — Именно в этом его всегда обвиняла и Дженни.

Но теперь, он чувствовал, сострадания к ближним в нем стало куда больше. Возможно, этому способствовали и его зашитая челюсть, и вид Хелен в гипсе, и хорошенькая мордашка Дункана, от которой, по сути дела, осталась только половина, — но Гарп теперь куда более терпимо относился и ко всем прочим бедолагам, что

слонялись по просторному дому Дженни в Догз-Хэд-Харбор.

Это был типично курортный, «летний» городок, сознающий смену сезонов только по присутствию или отсутствию приезжих. Огромный дом Дженни Филдз, с его добела отполированными песком и ветром стенами, с его крытыми галереями и мансардами, стоял на отшибе, в самом конце Оушнлейн, и был единственным жилым зданием среди серо-зеленых дюн и белых песчаных пляжей. Порой по берегу пробегала собака, принюхиваясь к выброшенному на песок плавнику цвета старой кости; иногда по опустевшему в межсезонье пляжу гуляли, изучая и собирая ракушки, пенсионеры, жившие в нескольких милях от дома Дженни (и дальше от моря) в своих летних домиках. Зато летом там всегда было полно детей, и собак, и нянек; и всегда на водах залива качались одна-две яркие красивые яхты. Но ранней весной, когда Гарпы переехали сюда, берег казался совершенно пустынным. После высоких зимних приливов пляж был завален плавником и водорослями. А Атлантический океан в апреле и в мае был сине-зеленого цвета — такого же, как синяк, украшавший переносицу Хелен.

В межсезонье любого приезжего в городке

«вычисляли» мгновенно. Обычно это были женщины, искавшие «знаменитую Дженни Филдз». Летом они порой тратили целый день в толпе курортников, и никто не мог им сказать, где живет Дженни. Зато постоянные обитатели Догз-Хэд-Харбор это знали отлично. «Последний дом в самом конце Оушнлейн, — говорили они несчастным женщинам и девицам, которые спрашивали, где живет Дженни Филдз. — Большой дом, как гостиница, золотко. Ты его никак не пропустишь».

Порой бедняжки все же сперва забредали на пляж и долго смотрели на дом Дженни издали, прежде чем решались постучаться и спросить, дома ли Дженни; иногда их замечал Гарп — по двое или по трое женщины сидели на корточках на продуваемых ветром дюнах и наблюдали за домом, словно пытаясь определить уровень сочувствия, заключенный внутри. Если их было несколько, они сперва что-то обсуждали, а потом выбирали одну и отправляли ее к дому, а сами оставались на дюнах смиренно ожидать ее возвращения, словно собаки, которым дали команду «сидеть!».

Хелен купила Дункану подзорную трубу, и теперь он из своей комнаты не только любовался

морским пейзажем, но и шпионил за боязливыми гостьями Дженни, часто сообщая об их присутствии на берегу задолго до того, как кто-то из них решался постучать в дверь.

— Это опять к бабушке! — возвещал он, все время подстраивая фокус. — Вон той года двадцать четыре. А может, четырнадцать. У нее голубой рюкзак А в руке апельсин, но вряд ли она собирается его есть… С ней там еще кто-то, но ее лица я не вижу. Она ложится на землю. Нет, ее тошнит. Нет, на ней что-то вроде маски. А может, это мать той, первой? Нет, скорее сестра… Или просто подружка… А вот теперь эта первая ест свой апельсин. Мда-а, зрелище не очень приятное… — После этих сообщений Дункана Роберта тоже решала посмотреть, а иногда к ней присоединялась и Хелен. Но дверь несчастным гостьям чаще всего открывал именно Гарп.

— Да, Дженни Филдз — моя мать, — говорил он им, — просто сейчас ее нет дома, она поехала за покупками. Но вы проходите, пожалуйста. Если хотите, можете подождать ее, она скоро вернется. — И он старался обязательно улыбнуться, хотя бы одними глазами, и одновременно рассматривал незнакомку так же внимательно, как пенсионеры на пляже — свои ракушки.

Пока не зажила сломанная челюсть и не сросся прокушенный язык, Гарп открывал таким посетительницам дверь, вооружившись готовым запасом записочек. Многие из них этому не удивлялись, потому что и сами могли объясняться с посторонними только таким способом.

«Привет, меня зовут Бет. Я из джеймсианок».

И Гарп в ответ протягивал свою записку. *«Привет, меня зовут Гарп. У меня сломана челюсть».* И он улыбался гостье и вручал ей следующую записку — в зависимости от ситуации, — например, такую: *«На кухне топится печка, это по коридору налево».* Или такую: *«Не расстраивайтесь. Моя мать скоро вернется. Кроме того, в доме есть и другие женщины. Хотите с ними познакомиться?»*

Именно в этот период Гарп опять начал носить спортивную куртку, не из ностальгии по Стиринг-скул или по Вене и, разумеется, отнюдь не из необходимости быть более или менее прилично одетым — в Догз-Хэд-Харбор Роберта казалась единственным человеком, кому было не все равно, что на ней надето, — а просто из необходимости иметь побольше карманов: куда иначе девать записки, блокнот и карандаш.

Он пробовал заняться бегом, но эти попытки

пришлось оставить: любая встряска вызывала сильную боль в сломанной челюсти и в прокушенном языке, который на бегу задевал зубы. Тогда Гарп стал совершать многомильные прогулки по песчаному пляжу. Однажды, возвращаясь после такой прогулки, он увидел, что у дома остановилась полицейская машина и полицейский помогает вылезти из нее молодому человеку, прикованному к нему наручниками. Вдвоем они поднялись на высокое крыльцо, и полицейский спросил:

— Мистер Гарп?

Гарп, надевавший для своих пеших прогулок костюм для бега, то есть шорты и майку, не имел при себе ни одной готовой записки, а потому просто кивнул утвердительно: да, я мистер Гарп.

— Вы знаете этого молодого человека? — спросил полицейский.

— Ну конечно же он меня знает! — воскликнул юнец в наручниках. — Только вы, копы, ни в жисть человеку просто так не поверите! А все потому, что просто не умеете *расслабляться!*

Это оказался тот самый парнишка в пурпурном кафтане, которого Гарп когда-то выпроваживал из будуара миссис Ральф. Та ночь казалась Гарпу страшно далекой, словно прошло уже несколько

лет, и он решил не признаваться, что узнал нахального юнца, однако кивнул.

— У парня нет денег, — пояснил полицейский, — он не живет ни в одном из здешних домов и к тому же безработный. Он также нигде не учится. А когда мы позвонили его родственникам, те заявили, что понятия не имеют, где он «ошивается» в последнее время, — похоже, их это не очень-то и интересовало. Но он твердит, что сейчас проживает у вас и что вы сможете за него поручиться.

Говорить Гарп, разумеется, не мог. Он указал на свои повязки и швы и изобразил, будто пишет у себя на ладони.

— Господи, когда это вам скобки на зубы надели? — поинтересовался юнец. — Обычно их в более юном возрасте надевают. К тому же у вас самые идиотские скобки, какие я только видел в жизни!

Гарп написал на обороте квитанции о нарушении правил дорожного движения, которую ему протянул полицейский:

«Хорошо, я поручусь за него. Но объяснять ничего не буду, потому что у меня сломана челюсть».

Юнец прочел записку через плечо полицейского.

— Ого! — ухмыльнулся он. — А что произошло с *другим* парнем?

Он потерял три четверти своего пениса, мысленно ответил ему Гарп, но писать это на обороте квитанции не стал. Он вообще больше ни слова не написал.

Как выяснилось, сидя в тюрьме, парнишка прочел романы Гарпа.

— Если б я тогда знал, что вы такие книги пишете, — сказал он, — никогда не повел бы себя так хамски.

Звали парнишку Рэнди, и впоследствии он стал поистине фанатом творчества Гарпа. Гарп вообще был убежден, что основную массу его поклонников составляют люди никому не нужные, беспризорники, брошенные или просто одинокие дети, пенсионеры, просто чудаки не от мира сего, и лишь очень небольшая часть его читателей — люди нормальные, не страдающие никакими болезнями или пороками. Однако Рэнди явился к Гарпу так, словно отныне тот стал его истинным и единственным гуру, которому Рэнди будет беспрекословно повиноваться. И дух сострадания и гостеприимства, витающий под крышей дома Дженни Филдз, не позволил Гарпу попросту дать этому парнишке от ворот поворот.

Роберта Малдун взяла на себя обязанность кратко ввести Рэнди в курс дела и рассказать об аварии, в которую попали Гарп и его семейство.

— А кто она, этот большой славный цыпленочек? — восхищенным шепотом спросил Рэнди у Гарпа.

«Разве ты не узнаешь ее? — написал Гарп. — *Это же знаменитый „крепкий орешек“ из „Филадельфия Иглз!“».*

Особого восторга от присутствия Рэнди в доме Гарп явно не испытывал, однако даже это не могло охладить влюбленного пыла Рэнди; во всяком случае, восторга в нем поубавилось далеко не сразу. Он старался как мог — например часами развлекал Дункана.

«Бог его знает, о чем он рассказывает Дункану, — жаловался Гарп Хелен. — *А что, если о своих экспериментах с наркотиками?»*

— Во всяком случае, сейчас Рэнди наркотики абсолютно не употребляет, — успокаивала Гарпа Хелен. — Твоя мать с ним долго беседовала.

«Значит, он рассказывает Дункану захватывающие истории о своем криминальном прошлом», — тревожился Гарп.

— Разве ты не знаешь? Рэнди хочет быть писателем, — ответила ему Хелен.

«Все хотят быть писателями!» — возражал Гарп.

Но это была неправда: сам он писателем больше быть не хотел. Когда пробовал писать, в голове у него крутилась одна-единственная ужасная тема, то самое, о чем ему необходимо было поскорее забыть, а не лелеять страшные воспоминания и уж тем более не оживлять и не нагнетать их с помощью своего искусства. Это смахивало на безумие, но стоило ему подумать о письменном столе, как тотчас явились видения прошлого и все та же неизбывная тема приветствовала его косым злобным взглядом, грудами развороченной плоти, запахом смерти… И Гарп даже избегал садиться за письменный стол.

Наконец Рэнди уехал — к великому огорчению Дункана. Зато — к огромному облегчению Гарпа, который никому не показал ту записку, которую оставил ему Рэнди на прощанье:

«Я *никогда не буду так же хорош, как вы, — ни в чем. Хотя, если честно, вы могли бы проявить хоть капельку великодушия и не тыкать меня носом в то, что и без того уже ясно».*

Итак, я — недобрый, думал Гарп. Ну, что у нас еще новенького? Записку Рэнди он выбросил.

Когда Гарпу наконец сняли швы и он перестал

ощущать свой язык как сплошную кровавую рану, он опять занялся бегом. Стало уже совсем тепло, и Хелен много плавала — ей сказали, что это хорошо для восстановления мышечного тонуса и укрепления ключицы. Хотя плавать было еще больновато — особенно давал себя знать удар в грудь. Гарпу казалось, что она плавает слишком много, проплывая одну милю за другой, сперва отплывая в море довольно далеко, а потом двигаясь вдоль берега. Но Хелен говорила, что, чем дальше от берега, тем легче плавать, потому что там вода гораздо спокойнее. Но Гарп все равно волновался. Они с Дунканом порой даже в подзорную трубу за ней наблюдали. Что мне делать, если с ней что-нибудь случится? — думал Гарп. Сам он был весьма неважным пловцом.

— Не волнуйся, мама плавает очень хорошо! — успокаивал его Дункан. Дункан и сам плавал отлично.

— Она отплывает слишком далеко от берега, — не унимался Гарп.

Когда в Догз-Хэд-Харбор начали прибывать курортники, семейство Гарпов стало появляться на пляже со своими физическими упражнениями в другое время: они бегали или купались ранним утром, а в наиболее насыщенные курортника-

ми часы лишь наблюдали за пляжной жизнью с затененных галерей дома Дженни Филдз, в полдневную жару и вовсе скрываясь в его просторных прохладных комнатах.

Гарп чувствовал себя значительно лучше. Он начал писать — очень осторожно, даже робко набрасывая сюжет, записывая свои размышления по поводу того или иного персонажа, но конкретных описаний характеров главных героев пока избегал, хотя думал, что главные герои у него уже есть: муж, жена и ребенок. Вместо этого он сосредоточил внимание на характере следователя-детектива, который не имел никакого отношения к данной семье. Гарп знал, какой ужас таится в глубине его очередного литературного замысла, и, возможно, именно по этой причине приближался к воплощению своего замысла через героя, столь же далекого от его, Гарпа, личных тревог, насколько любой полицейский инспектор далек от преступления, которое ему предстоит раскрыть. Господи, а я-то с какой стати пишу о каком-то полицейском инспекторе? — думал Гарп. И превратил этого инспектора в человека, понятного и близкого даже ему, Гарпу. А после оказался совсем рядом с той самой зловонной кучей собственных воспоминаний. Как раз в это

время с выколотого глаза Дункана сняли бинты, и мальчик стал носить черную повязку, которая выглядела почти привлекательно на его загорелом лице. И Гарп, глянув на сына и набрав в грудь побольше воздуха, сел писать новый роман.

Произошло это в конце лета, когда он уже почти совсем поправился. Свой новый роман Гарп назвал «Мир глазами Бензенхавера». К этому времени выписался из больницы и чрезвычайно мрачный Майкл Мильтон; после бесконечных операций он ходил согнувшись, как старик. Из-за неправильно поставленного дренажа в рану попала инфекция; кроме того, возникли, естественно, и серьезные урологические проблемы, так что Майклу Мильтону удалили и оставшуюся четверть пениса. Гарп об этом не знал; но на данном этапе это не вызвало бы у него даже слабой улыбки.

Хелен сразу поняла, что Гарп снова пишет.

— Я не буду читать, — сказала она ему. — Ни единого слова не прочту. Я знаю, ты должен написать про *это,* но сама читать твою книгу не желаю! Я совсем не хочу тебя обидеть, но постарайся и ты меня понять. Я *должна забыть.* А если тебе непременно нужно об этом *написать,* чтобы облегчить душу, то Бог тебе в помощь. Люди хо-

ронят свое прошлое разными способами.

— Но книга совсем не об *этом*, — уверял он ее. — Я пишу отнюдь не автобиографический роман.

— Я понимаю, — кивнула Хелен, — но читать его все равно не буду.

— Да, я тебя понимаю, — сказал Гарп. — Конечно.

Он всегда понимал, что писательство — занятие одиночек. Но даже ему, одиночке, было тяжко ощущать столь безысходное одиночество. Впрочем, Дженни — он точно знал — непременно прочтет роман; она-то тверда как гвоздь. Дженни спокойно наблюдала, как они все понемногу выздоравливают. Забот у нее хватало: в дом прибывали все новые и новые «пациентки», а старые его покидали.

Одной из новеньких оказалась молодая девица по имени Лорел, которая совершила ужасную ошибку, как-то за завтраком сказав гадость о Дункане.

— Можно я буду спать в другой части дома? — невинным тоном начала она, обращаясь к Дженни. — Этот противный мальчишка со своей подзорной трубой, фотокамерой и черной повязкой на лице, в которой он напоминает какого-то

вонючего пирата, все время за мной шпионит. Я хорошо знаю, такие мальчишки очень любят подглядывать за женщинами, особенно за голыми, даже если у них всего *один* глаз!

Несколькими днями раньше Гарп упал, бегая в предутренних сумерках по пляжу, и снова повредил челюсть, и ему снова — снова! — наложили скобки. Когда эта Лорел наконец заткнулась, у Гарпа не оказалось под рукой блокнота, однако потребность немедленно выразить свои чувства была столь велика, что он торопливо нацарапал на своей салфетке: *«… твою мать!»*

И швырнул салфеткой в изумленную гостью.

— Послушайте, — повернулась Лорел к Дженни, — это ведь самая обычная вещь, все мальчишки любят подглядывать, а мне бы хотелось, чтобы меня оставили в покое. Меня и так вечно преследуют всякие мужчины! Преследуют, угрожают насилием, демонстрируют свои отвратительные пенисы… Кому это надо — особенно здесь? Неужели я притащилась сюда, чтобы получить все то же самое?

«… тебя и твою мать до смерти», — гласила следующая записка разъяренного Гарпа, но Дженни, к счастью, поспешила увести девицу и рассказала ей историю повязки на глазу Дункана,

его подзорной трубы и фотокамеры, и девица те несколько дней, что еще прожила в доме Дженни, очень старалась не попадаться Гарпу на глаза.

Собственно, она пробыла в Догз-Хэд-Харбор совсем недолго. За ней на спортивной машине с нью-йоркским номером приехал какой-то мужчина, *очень похожий* на тех, что преследуют бедную Лорел и угрожают ей насилием; и пенис у него, видимо, действительно имел немалые размеры.

— Эй, обормоты! — крикнул этот тип Гарпу и Роберте, которые болтали на большой веранде, сидя на качелях, словно старомодные любовники. — Это и есть гнездо беглых шлюх, где вы держите Лорел?

— Ну, не то чтобы ее здесь кто-то «держал»… — заметила Роберта.

— Заткнись, старая сточная канава! — заявил молодчик из Нью-Йорка и стал подниматься на веранду. Двигатель в машине он оставил включенным, и тот, словно нервничая, без конца судорожно кашлял, потом успокаивался, умолкал и снова начинал кашлять. Представитель Нью-Йорка был в ковбойских сапогах и зеленых замшевых джинсах-клеш, высокий, широкоплечий, хотя Роберте Малдун он в этом отношении

явно уступал.

— Я не сточная канава, — сказала Роберта.

— Ну, небось и не девственница-весталка? — усмехнулся ковбой. — И где, трам-тарарам, моя Лорел? — На нем была оранжевая майка с ярко-зеленой надписью на груди: «ЗАНИМАЙТЕСЬ ШЕЙПИНГОМ!»

Гарп пошарил по карманам в поисках карандаша и блокнота, но попадались ему только дурацкие старые записки со старыми обычными словами, которые для этого грубияна совершенно не годились.

— А разве Лорел ждет вас? — вежливо спросила у приезжего Роберта Малдун, и Гарп догадался, что у Роберты вновь начался разлад с сексуальным самоощущением: она нарочно дразнила этого ублюдка, надеясь, что своими могучими кулаками сможет без зазрения совести превратить его в кучу дерьма. Однако на взгляд Гарпа он был вполне способен дать Роберте достойный отпор. Ведь лошадиные дозы эстрогена, думал Гарп, изменили не только внешний облик Роберты, но и лишили ее той мышечной массы и той невероятной физической силы, какой обладал Роберт Малдун, причем сама Роберта то ли не подозревала об этом, то ли совершенно забыла.

— Слушайте, голубки, — наглец в ковбойских сапогах обращался к ним обоим, — я вам вот что скажу: если Лорел сию минуту не вынесет из этого паршивого домишки свою драгоценную задницу, я сам, лично наведу порядок в этом вонючем притоне. Все знают, что тут всякие извращенцы окопались. И я запросто выяснил, куда эта дрянь отправилась! Да любая захудалая шлюха в Нью-Йорке знает об этом гребаном «приюте»!

Роберта улыбнулась. Она так раскачала качели, что Гарпа начало подташнивать, и он снова принялся яростно шарить по карманам, выуживая одну бессмысленную записку за другой.

— Значит, так, клоуны, — сказал этот тип. — Мне прекрасно известно, что за помойные твари тут слоняются. Ведь здешнее заведение специально для лесбиянок устроено, верно? — Он пнул носком ковбойского сапога стойку качелей, и качели сбились с ритма. — А сами-то вы кто? — Он посмотрел на Гарпа. — Ты, что ли, хозяин? А может, придворный евнух?

Гарп вручил ему первую попавшуюся записку: «На кухне топится печка, это по коридору налево». На дворе стоял август. И записка была совсем неподходящая.

— Это еще что за дерьмо? — спросил ковбой. И

Гарп вручил ему другую записку, снова первую попавшуюся, из тех, что шуршали у него в кармане.

«Не огорчайтесь. Моя мать скоро вернется. Здесь есть и другие женщины. Не хотите ли с ними познакомиться?»

— Так твою мать и разэтак! — сказал ковбой. И двинулся к широкой входной двери, затянутой сеткой. — Лорел! — крикнул он. — Ты здесь? Ах ты сука!

Но тут на пороге возникла Дженни Филдз.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Знаю я, *кто* ты такая! — заявил ковбой. — Я эту форму проклятую хорошо знаю! Только моя Лорел тебе совершенно не подходит, золотко! Уж больно она трахаться любит.

— Возможно, но не с тобой, — сказала Дженни Филдз. Какое бы оскорбление ни хотел нанести Дженни Филдз этот тип в майке с надписью «Занимайтесь шейпингом!», произнести его вслух он так и не успел. Роберта Малдун бросилась на него сзади и ударила под коленки. Блестящий бросок, вполне достойный того знаменитого пенальти, когда Роберта играла за «Филадельфия Иглз». Ковбой с такой силой грохнулся на серые доски веранды, что подвесные горшки с цветами чуть

не оборвались и еще некоторое время продолжали качаться. Он попытался встать и не смог. Похоже, повредил при падении колено — весьма распространенная травма среди футболистов и самая что ни на есть естественная причина для наказания четырнадцатиметровым штрафным ударом. У ковбоя, впрочем, недостало храбрости выкрикнуть еще хоть какое-нибудь оскорбление; он лежал на полу со спокойно-отрешенным выражением на побледневшем от боли лице.

— Ну это уж ты чересчур, Роберта, — спокойно заметила Дженни.

— Я позову Лорел, — сказала Роберта, покорно потупившись, и пошла в дом. В потаенных глубинах своей души Роберта, как отлично знали и Гарп, и Дженни, была куда больше женщиной, чем любая другая; но тело ее во всех своих проявлениях по-прежнему оставалось отлично тренированной горой мускулов.

Гарп извлек другую записку и бросил ее на грудь незваному гостю из Нью-Йорка, прямо на то место, где говорилось, что надо заниматься шейпингом. Записка была та самая, которую Гарп предусмотрительно написал во многих экземплярах.

«Привет, мое имя Гарп. У меня сломана че-

люсть».

— А мое имя Гарольд, — сказал ковбой. — Сломанная челюсть — это просто ужасно.

Гарп отыскал карандаш и написал другую записку: *«Сломанное колено — тоже просто ужасно, Гарольд».* Наконец появилась Лорел.

— Ой, детка, — сказала она, — ты все-таки меня нашел!

— Вряд ли я смогу вести эту гребаную машину, — сообщил ей Гарольд. Спортивная машина Гарольда у обочины Оушнлейн до сих пор подпрыгивала и икала, словно животное, которому очень хочется отведать песка под ногами.

— Так ведь я сама могу сесть за руль, детка! — воскликнула Лорел. — Ты просто никогда мне не позволял!

— Теперь позволю. — Гарольд застонал. — Можешь мне поверить.

— Ой, детка! — заверещала Лорел. Роберта и Гарп отнесли ковбоя в машину.

— Думаю, Лорел мне по-настоящему нужна, — доверительно признался он им. — Гребаные сиденья! Глубоченные, черт бы их побрал!

Они осторожно усадили Гарольда. Для своего спортивного автомобиля он был слишком велик. А Гарпу казалось, что он впервые за очень-очень

много лет очутился в непосредственной близости от машины. Роберта положила руку ему на плечо, но Гарп отвернулся.

— По-моему, я нужна Гарольду! — гордо сказала Лорел, обращаясь к Дженни Филдз, и слегка пожала плечами.

— Но ей-то он зачем? — сказала Дженни, ни к кому конкретно не обращаясь, когда машина уже тронулась с места. Гарп побрел прочь. Роберта, наказывая себя за столь легко отброшенную женственность, пошла искать Дункана, чтобы тренировать на нем свои материнские чувства.

Хелен разговаривала по телефону с Флетчерами; Харрисон и Элис непременно хотели их навестить. Возможно, это всем нам пойдет на пользу, думала Хелен. Она была права, и новое сознание собственной правоты явно придало ей уверенности в себе.

Флетчеры гостили у них целую неделю. В доме наконец-то появился ребенок, с которым Дункан мог поиграть, хотя дочка Флетчеров и была немного помоложе, да к тому же девчонка. Зато они были давно знакомы, и она все знала про его глаз, и Дункан на время почти забыл о своем увечье и повязке на лице. После отъезда Флетчеров он стал гораздо охотнее ходить на пляж, даже

один и даже в такое время дня, когда там бывали и другие дети — которые вполне могли начать его дразнить или задавать дурацкие вопросы.

Харрисон дал Хелен возможность наконец откровенно излить душу — он ведь и прежде был ее конфидентом. Ему она смогла рассказать такие вещи о Майкле Мильтоне, которые для Гарпа оказались бы чересчур болезненными, а ей совершенно необходимо было хоть кому-то их рассказать. Кроме того, ее очень тревожило теперешнее состояние их брака; да и к самой аварии она относилась совсем иначе, чем Гарп. Харрисон предложил ей завести еще ребенка. Забеременей, посоветовал он. И Хелен призналась, что давно уже перестала принимать противозачаточные пилюли, но тем не менее не сказала Харрисону, что Гарп с того дня больше с нею не спит. Впрочем, не было нужды сообщать об этом, Харрисону: он наверняка заметил, что они с Гарпом спят в разных комнатах.

Элис уговаривала Гарпа набраться смелости и покончить с этими дурацкими записками. Он может вполне нормально говорить, если постарается и если, конечно, не будет так переживать из-за того, что пока плохо выговаривает слова. Если уж *она* может говорить, доказывала ему

Элис, то и он безусловно сумеет выплюнуть слова изо рта — челюсть у него скреплена проволокой, язык поджил, значит, все уже почти в порядке, надо просто заставить себя начать.

— Элиш, — сказал Гарп.

— Хорофо! — сказала Элис. — Так меня фовут. А как фовут тебя?

— Арп, — выдохнул Гарп.

Дженни Филдз, белым привидением проходившая в это время мимо его комнаты, вздрогнула, услышав это слово, и проследовала дальше.

— Я беж него так шкучаю! — признался Гарп.

— Ну конефно! — воскликнула Элис. — Конефно, ты фкуфаешь! — И обняла Гарпа, потому что он плакал.

После отъезда Флетчеров прошло уже довольно много времени, когда Хелен ночью вдруг вошла в комнату Гарпа. Она совсем не удивилась, увидев, что он не спит, потому что он лежал и слушал то же самое, что слушала она. И именно поэтому сама не могла уснуть.

Кто-то из числа недавно приехавших постояльцев Дженни принимал ванну. Сперва Гарп услышал, как ванна наполняется водой, потом — плеск воды и мыльное оскальзывание рук и ног. Потом послышалось даже что-то вроде

негромкого пения: кто-то мурлыкал себе под нос невнятную мелодию.

Они оба, и Гарп, и Хелен, конечно же, вспоминали, как купался Уолт, он любил купаться один и делал это очень тихо, поэтому они прислушивались к любому тревожному звуку, точнее, к отсутствию каких-либо звуков из ванной. И, когда слышали только тишину, дружно кричали: «Уолт!» И Уолт отвечал: «Что?» А они кричали в ответ: «Ничего, все хорошо, просто проверка!» Им хотелось убедиться, что малыш не поскользнулся и не утонул в ванне.

Уолт любил лежать в ванне, держа уши под водой, чтобы было слышно, как его пальцы взбираются по стенкам ванны вверх или спускаются вниз, а потому часто не слышал, как его окликают родители. И всегда с удивлением смотрел на них, когда встревоженные лица Гарпа и Хелен вдруг склонялись над ним, перегнувшись через бортик ванны. «Вы чего? Со мной все в порядке», — бормотал он, садясь в воде.

«Ради бога, Уолт, отвечай, когда тебя окликают! — говорил ему в таких случаях Гарп. — Как услышишь, что мы тебя зовем, сразу ответь. И все».

«Я вас не слышал», — говорил Уолт.

«Тогда держи голову над водой», — говорила Хелен.

«А голову как же мыть?» — спрашивал Уолт.

«Это очень плохой способ мыть голову, — говорил Гарп. — Ты лучше меня позови, и я тебе голову помою».

«Ладно», — говорил Уолт. И когда они оставляли его одного, он снова погружал уши под воду и слушал свой мир.

Хелен и Гарп лежали рядом на узкой кровати Гарпа в гостевой комнате дальнего крыла огромного дома. В доме Дженни Филдз было столько ванных, что невозможно было даже определить, из которой в данный момент доносится плеск воды и приглушенное пение, но они все равно прислушивались.

— По-моему, это женщина, — сказала Хелен.

— Здесь? — удивился Гарп. — Ну разумеется, здесь это может быть только женщина!

— Сперва я подумала, что это ребенок, — сказала Хелен.

— Я знаю.

— Это, наверное, из-за пения, — сказала Хелен. — Помнишь, как он разговаривал сам с собой?

— Помню.

Они крепко прижались друг к другу: постель Гарпа всегда была чуточку влажной из-за близости океана и постоянно открытых окон и дверей, затянутых противомоскитной сеткой и хлопавших на ветру.

— Я хочу еще одного ребенка, — сказала Хелен.

— Согласен, — сказал Гарп.

— И как можно скорее, — сказала Хелен.

— Прямо сейчас, — сказал он. — Ну конечно, прямо сейчас!

— Если будет девочка, — сказала Хелен, — мы назовем ее Дженни — в честь твоей мамы.

— Хорошо, — согласился Гарп.

— Но вот если мальчик, то я не знаю… — протянула Хелен.

— Но не Уолт, — сказал Гарп.

— Да, — сказала Элен.

— *Никогда* больше у нас других Уолтов не будет, — сказал Гарп. — Хотя я знаю, что некоторые так делают.

— Мне тоже совсем не хочется другого Уолта, — сказала Хелен.

— Мы придумаем какое-нибудь другое имя, если будет мальчик, — сказал Гарп.

— Но я надеюсь, что будет девочка, — сказала Хелен

— Мне все равно, кто у нас будет, — сказал Гарп.

— Ну конечно! Мне, в общем, тоже все равно, — сказала Хелен.

— Прости меня! — сказал Гарп и обнял ее.

— Нет, это ты меня прости! — сказала она.

— Нет, ты меня! — сказал он.

— Мне ужасно жаль! — сказала она.

— И мне! — сказал он.

Они были так нежны друг с другом! Хелен воображала себя Робертой Малдун, которая после операции пробует «на деле» свою абсолютно новенькую вагину. Гарп старался ничего себе не воображать.

Как только он давал волю воображению, перед ним возникало всегда одно и то же: залитый кровью «вольво», крики Дункана, крики Хелен снаружи и еще чьи-то крики. И как он с трудом выворачивается из-под врезавшегося в него руля и пытается приподнять залитое кровью лицо Дункана, а кровь все не останавливается, и никак не разглядеть, что же случилось с сыном…

«Все в порядке, — шептал он тогда Дункану. — Тише, тише, все будет хорошо». Но израненный язык не слушался, с губ не слетало ни единого звука, только мелкие капельки слюны и крови.

А Дункан все кричал, и Хелен тоже, и еще кто-то рядом стонал — странно так, словно собака во сне, когда она тявкает сквозь зубы. Но что же еще слышал Гарп, что до *такой степени* испугало его? *Что* он слышал еще?

«Все хорошо, Дункан, поверь, — шептал он, сам ничего не понимая. — Ты поправишься».

Он вытер рукой кровь с шеи Дункана; на шее, как ему показалось, не было ни единого пореза. Он вытер кровь со лба сына и не заметил ни одной вмятинки. Потом ногой пнул дверь, в машине тут же включился свет, и тогда он наконец увидел, что Дункан с отчаянием смотрит на него одним своим глазом. Этот глаз молил о помощи, но Гарп понял, что видеть этот глаз может. Он осторожно вытер рукой кровь на лице сына, но второго глаза так и не обнаружил.

«Все хорошо», — снова шепнул он Дункану, но мальчик закричал еще громче, через плечо отца увидев мать, возникшую возле открывшейся дверцы «вольво». Кровь из разбитого носа Хелен и изо рта с раздвоенным от удара языком лилась рекой, а свою правую руку Хелен держала так странно, словно у нее было сломано плечо. Но больше всего Дункана испугал отражавшийся в глазах матери *страх.* Гарп оглянулся и увидел

ее. И тут совсем другой страх шевельнулся в его душе.

Его пугали не крики Хелен и не крики Дункана. И он отлично понимал, что громко стонущий Майкл Мильтон может стонать так хоть до смерти — ему, Гарпу все равно. Нет, страх порождало нечто совсем другое. Не стоны и не иные звуки. Звуков как раз *не было.* Было полное отсутствие звука.

«А где Уолт?» — спросила вдруг Хелен и перестала кричать, пытаясь что-то разглядеть в салоне «вольво».

«Уолт!» — крикнул Гарп. И затаил дыхание. Дункан перестал плакать.

Они *ничего* не услышали. А ведь Гарп знал, что Уолт простужен и так кашляет, что даже за две комнаты слышно, как клокочет у него в груди.

«Уолт!» — вскрикнули они все вместе. Оба, и Хелен, и Гарп, впоследствии шепотом признавались друг другу, что в тот миг им обоим показалось, что Уолт просто погрузился под воду и не слышит их криков, вода закрывает ему уши, а он внимательно слушает, как его пальчики бегают по стенкам ванны.

— Я все время вижу его перед собой, — прошептала Хелен на ухо Гарпу.

— Да, я тоже, — откликнулся он.

— Стоит только глаза закрыть, — сказала Хелен.

— Да, — прошептал Гарп. — Я знаю.

Но лучше всех сказал об этом Дункан. Дункан сказал, что порой ему кажется, будто выколотый глаз по-прежнему на месте и он может им видеть.

— Только это как бы воспоминания, не по-настоящему, — сказал Дункан. — То, что я вижу этим глазом.

— Может, ты теперь именно этим глазом и видишь свои сны? — спросил у него Гарп.

— Да, вроде того, — кивнул головой Дункан. — Но он видит совсем как наяву!

— Это глаз твоего воображения, — сказал Гарп. — А воображаемое может порой казаться совершенно реальным.

— Этим глазом я все еще вижу Уолта, — сказал Дункан. — Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Гарп.

У многих детей борцов крепкие шеи, но не у всех детей борцов шеи достаточно крепкие.

Дункану и Хелен казалось теперь, что Гарп превратился в бездонный сосуд нежности и доброты; целый год он говорил с ними тихо и нежно, целый

год ни разу не выказывал нетерпения. Наверно, им самим надоела эта нежность и деликатность. Дженни Филдз заметила, что им троим понадобился целый год, чтобы вынянчить друг друга.

Что в течение этого долгого года они делали с *прочими* своими чувствами? — думала Дженни. Хелен их прятала; Хелен всегда была очень сильной. Дункан видел эти чувства только своим отсутствующим глазом. А Гарп? Он тоже был сильным, но не настолько. И он писал роман «Мир глазами Бензенхавера», в который и изливал все свои *прочие* чувства.

Когда издатель Гарпа, Джон Вулф, прочитал первую главу этого романа, он написал Дженни Филдз: «Что, черт побери, там у них происходит?» И еще в этом письме Вулфа были такие слова о Гарпе: «Такое ощущение, что горе сделало его сердце еще более несговорчивым».

Однако Т.С. Гарп чувствовал, что его ведет некий инстинкт, столь же древний, как Марк Аврелий, которому хватило мудрости и силы воли, чтобы написать: «Время человеческой жизни — миг… ощущение — смутно…».

15. «Мир глазами Бензенхавера»

Хоуп Стэндиш была дома вместе с сыном Ники, когда Орен Рэт вошел в кухню. Она вытирала тарелки и сразу увидела длинный, тонкий и острый рыбацкий нож со специальной зазубриной, которая называлась «потрошитель». Ники еще и трех не исполнилось, и во время еды она усаживала его на высокий детский стульчик. Малыш как раз завтракал, когда Орен Рэт появился у него из-за спины и одним движением приставил свой ужасный рыбацкий нож к горлу ребенка.

— Ты тарелки-то отложи пока, — велел он Хоуп. Миссис Стэндиш покорно поставила тарелку на стол.

Ники радостно загукал при виде незнакомца; нож слегка щекотал ему кожу под подбородком.

— Что тебе нужно? — спросила Хоуп. — Я отдам все, что захочешь.

— Ну еще бы, конечно отдашь, — сказал Орен Рэт. — Тебя как зовут-то?

— Хоуп.

— А меня Орен.

— Красивое имя, — сказала Хоуп.

Ники никак не мог повернуться на стульчике, чтобы посмотреть на незнакомого дядю, который щекотал и слегка покалывал его чем-то под подбородком. Пальчики у него были перемазаны кашей, и, когда он схватил Орена за руку, Рэт вышел у него из-за спины и на миг коснулся блестящим острым лезвием пухлой мордашки малыша, словно желая срезать кусочек скулы. Потом он снова отступил за спинку стула, внимательно наблюдая, как на лице Ники сперва отразилось огромное удивление, а потом он горько расплакался; тоненькая нитка крови проступила у него на щечке, словно наметка для кармана. Или вдруг вновь появившиеся жабры.

— Я к тебе по делу, — сказал Орен Рэт. Хоуп устремилась было к сыну, но Рэт махнул рукой, приказывая ей остаться на прежнем месте. — Ты ему не нужна. И каша ему совершенно ни к чему. Он печенья хочет.

Ники заорал во все горло.

— Он подавится, если ему сейчас, когда он так плачет, печенье дать, — робко сказала Хоуп.

— Ты что, спорить со мной будешь? — удивился Орен Рэт. — А хочешь знать, чем он подавиться может? Так я тебе объясню: вот я отрежу ему пипиську и в глотку засуну.

Хоуп дала ребенку печенье, и он перестал плакать.

— Вот видишь! — сказал Орен Рэт. Он приподнял детский стульчик вместе с Ники и прижал к груди. — А теперь мы пойдем в спальню. — Он мотнул Хоуп головой: — Ты иди первая.

Они вместе прошли в холл. Семья Стэндишей жила тогда в обыкновенном фермерском доме; они решили, что с маленьким ребенком в таком доме в случае пожара будет безопаснее. Хоуп прошла в спальню, а Орен Рэт поставил стульчик с Ники на пол за дверью. Кровь у Ники идти почти перестала, на щеке заметно было лишь небольшое пятно, и Орен Рэт стер это пятно ладонью, а ладонь вытер о штаны. Затем он вошел в спальню следом за Хоуп. И закрыл дверь. Ники, оставшийся за дверью, тут же заревел.

— Пожалуйста! — сказала Хоуп. — Он ведь в самом деле может подавиться! И он умеет выбираться из этого стульчика, или, скорее, сам стульчик перевернется, и мальчик упадет на пол. Пожалуйста! Он не любит быть один. Орен Рэт, точно не слыша ее, подошел к ночному столику и перерезал телефонный провод своим блестящим ножом так же легко, как разрезают спелую грушу.

— Ты ведь не очень хочешь спорить со мной, верно? Хоуп присела на кровать. Ники все еще плакал, но уже не так истерически и, похоже, вскоре действительно успокоится. Теперь заплакала Хоуп.

— А ну-ка, раздевайся! — велел Орен. И сам помог ей раздеться. Он был высокий рыжеватый блондин; волосы, прямые, гладкие, так плотно прилегали к черепу, как трава к земле после сильного паводка. Пахло от него силосом, и Хоуп припомнила бирюзовый грузовичок, который случайно заметила на подъездной дорожке как раз перед тем, как Орен появился у нее на кухне. — У тебя в спальне даже ковер есть! — удивленно заметил Орен. Он был худощавый, но мускулистый, с большими, неуклюжими руками, словно лапы щенка, который, когда вырастет, станет крупной собакой. Растительность у него на теле практически отсутствовала; кожа очень бледная, почти белая, как у всех блондинов, и отдельные светлые волоски терялись на ее фоне.

— Ты моего мужа знаешь? — спросила Хоуп.

— Я знаю, когда он дома, а когда нет… Послушай, — сказал Рэт, и Хоуп затаила дыхание, — а твой парнишка совсем и не возражает!

Ники что-то мурлыкал за дверью, посасывая

твердое печеньице. Хоуп заплакала еще сильнее. И когда Орен Рэт быстро и неуклюже сунул руку ей между бедрами, она подумала, что настолько суха, что там даже и палец его не пролезет.

— Пожалуйста, подожди, — сказала она.

— Со мной не спорить!

— Нет, я просто думала тебе помочь… — Ей хотелось, чтобы он проделал все это как можно быстрее; она думала о Ники в высоком стульчике за дверью. — Я могу сделать так, что тебе будет гораздо приятнее, — сказала она неуверенно; она не знала, какими словами втолковать ему это. Орен Рэт сграбастал одну из ее грудей с такой силой, что Хоуп поняла: он никогда прежде ни одной женской груди не касался. Рука у него была просто ледяная, и Хоуп, вздрогнув, вся покрылась мурашками. А он ткнулся ей в грудь настолько неуклюже, что собственной макушкой чуть не разбил ей губы.

— Не спорить! — проворчал он.

— Хоуп! — крикнул кто-то.

Они оба услышали этот крик и застыли. Орен Рэт зыркнул глазами на перерезанный телефонный провод.

— Хоуп, ты дома?

Это была Марго, соседка и приятельница Хоуп.

Орен Рэт коснулся холодным плоским лезвием ножа груди Хоуп, приставив острие к соску.

— Она сейчас войдет прямо сюда, — прошептала Хоуп. — Она моя близкая подруга.

— Господи, Ники, — услышали они голос Марго, — ты, как я вижу, кушаешь уже не за столом, а где придется, да? Скажи, мама одевается, да?

— Мне придется теперь трахнуть вас обеих, а потом всех убить, — прошептал Орен Рэт.

Хоуп обхватила Рэта за талию своими стройными ногами и что было сил прижала его, вместе с ножом, прямо к своей груди.

— Марго! — громко крикнула она. — Хватай Ники и беги! Пожалуйста, беги отсюда! — Голос ее звучал пронзительно. — Здесь какой-то безумец, и он хочет всех нас убить! Ники, Ники возьми!..

Орен Рэт лежал у нее на груди совершенно неподвижно, словно его обнимали впервые в жизни. Он не сопротивлялся и не пытался использовать нож. Они лежали и слушали, как Марго тащит Ники вместе со стульчиком через холл и через кухню на улицу. Хоуп слышала, как ножка стульчика зацепилась за холодильник, но Марго даже не остановилась и с грохотом потащила мальчика дальше, так и не попытавшись вытащить его из стульчика, пока не оказалась в полуквар-

тале от дома Хоуп, не поднялась на собственное крыльцо, не открыла пинком собственную дверь и не заперла ее за собой на ключ.

— Не убивай меня, — прошептала Хоуп. — Просто уходи. И побыстрее. Тогда ты спасен. Ведь Марго сейчас звонит в полицию!

— А ну-ка, одевайся! — велел ей Орен Рэт. — Я тебя еще не поимел, а поиметь я тебя намерен непременно. — Боднув ее своей прилизанной макушкой, он в кровь разбил ей губу о зубы, и рот у Хоуп был весь перепачкан кровью. — Я к тебе по делу пришел, — все повторял он, но как-то неуверенно. Он был такой же мосластый и неуклюжий, как молодой кастрированный бычок. Он заставил ее надеть платье прямо на голое тело и поволок через холл, неся в руках свои башмаки. Лишь очутившись с ним рядом на сиденье грузовичка, Хоуп осознала, что на нем одна из фланелевых рубашек ее мужа.

— Марго наверняка записала твой номер! — сказала она ему. И повернула зеркало заднего вида к себе, чтобы посмотреть, на кого она похожа, и промокнула разбитую вспухшую губу широким мягким воротником платья. Орен Рэт молча врезал ей локтем в ухо, да так, что у нее в голове загудело, и отшвырнул к самой дверце,

прижав ее голову к сиденью.

— Зеркало мне самому нужно, чтоб дорогу видеть, — сказал он. — И не вздумай в окошко высовываться, не то сделаю тебе больно. — Он, оказывается, прихватил с собой ее бюстгальтер и теперь ловко стянул им запястья Хоуп и привязал к ржавой ручке «бардачка», который, разинув пасть, точно от удивления, смотрел прямо на Хоуп.

Машину он вел так, словно особенно и не спешил выбраться из города. И не проявил ни малейшего нетерпения, когда застрял в довольно большой пробке на перекрестке возле университета. Спокойно смотрел, как пешеходы переходят улицу, и даже несколько раз покачал головой и восхищенно поцокал языком, заметив, как одеты некоторые студентки. Хоуп видела окно кабинета мужа, но не знала, там ли он сейчас, или читает лекцию в аудитории.

На самом деле Дорси Стэндиш был в кабинете, на четвертом этаже, и выглянул в окно, как раз когда светофор сменил цвет и поток машин получил возможность двигаться, а толпы студентов на время задержались на тротуаре. Дорси Стэндиш любил наблюдать за уличным движением. В университетском городке было много ярких

иностранных машин, и здесь эти машины резко контрастировали с автомобилями местных жителей — с высокобортными фермерскими грузовиками для перевозки свиней и рогатого скота, со странной уборочной техникой, покрытой грязью фермерских полей и проселочных дорог. О фермах Стэндиш не знал ничего, но ему ужасно нравились и эти животные, и эта техника, и особенно эти опасные, задыхающиеся грузовики. Вот и сейчас там стоял один такой, с покатым настилом в кузове — интересно, для чего? — и с решеткой из толстой проволоки, которая удерживала (или поддерживала?) что-то тяжелое. Стэндиш любил представлять себе, как работают всякие механизмы.

Внизу, под окном, бирюзовый грузовичок двинулся вперед вместе с остальным транспортом; крылья грузовичка были в пятнах ржавчины, решетка радиатора вдавлена и почернела от слоя засохших мух и — как показалось Стэндишу — от перьев разбившихся о нее птичек. В кабине рядом с водителем виднелась хорошенькая женщина — что-то в ее профиле и прическе напоминало Хоуп, да и платье, заметил Стэндиш, именно того цвета, какой больше всего любит его жена. Но он стоял на четвертом этаже, грузовичок быстро

проехал мимо, а заднее стекло кабины было так густо залеплено засохшей грязью, что разглядеть сидевшую в кабине женщину оказалось невозможно. Тем более Дорси спешил на лекцию, начинавшуюся в девять тридцать, и решил, что женщина, которая ездит на таком безобразном грузовике, вряд ли может быть такой уж хорошенькой.

— Спорим, твой муженек все время трахает своих студенток, — сказал Орен Рэт. Его огромная лапища, сжимавшая нож, лежала у Хоуп на животе.

— Нет, я так не думаю, — сказала она.

— Вот дерьмо! А что ты вообще в этом понимаешь! — рявкнул он. — Вот я, например, собираюсь так хорошо тебя оттрахать, что тебе небось и останавливать меня не захочется.

— Мне все равно, что ты со мной сделаешь, — сказала ему Хоуп, — раз ты теперь не можешь ничем повредить моему мальчику.

— Зато *тебе* могу, — сказал Орен Рэт. — Еще как!

— Да. Ты ведь ко мне «по делу» пришел, — язвительно заметила Хоуп.

Они уже выехали за город. Некоторое время Рэт молчал. Потом снова заговорил:

— Я не такой сумасшедший, как ты думаешь.

— А я вообще не думаю, что ты сумасшедший, — солгала Хоуп. — Я просто считаю, что ты туповатый, грубый парень, который еще ни разу по-настоящему не был с женщиной.

Орен Рэт, должно быть, именно в этот миг почувствовал, как быстро испаряется ее страх, который до сих пор давал ему существенное преимущество. Хоуп искала *любую* возможность для спасения, но не была уверена, действительно ли Орен Рэт нормален и можно ли его унижать. Они свернули с широкого проселка на длинную, ухабистую дорожку, ведшую к сельскому дому, окна которого были снаружи затянуты пластиком-отражателем; заросшая сорняками лужайка перед домом была завалена деталями тракторов и прочим металлическим хламом. На почтовом ящике было написано: Р., Р., У., И. и О. РЭТ.

Эти Рэты явно не имели никакого отношения к знаменитым Рэтам-колбасникам, однако, похоже, и здесь тоже разводили свиней. Хоуп увидела невдалеке ряды низеньких свинарников, серых и грязных, с ржавыми крышами. На пригорке у выкрашенного коричневой краской амбара лежала на боку огромная свиноматка, дышавшая с трудом; рядом со свиньей стояли двое мужчин,

которые показались Хоуп не людьми, а какими-то мутантами, вроде самого Орена Рэта.

— Мне теперь черный грузовик нужен, — заявил им Орен. — Этот наверняка ищут. — И как бы между прочим взмахнул ножом, перерезая бюстгальтер, которым кисти Хоуп были привязаны к «бардачку».

— Вот еще дерьмо! — пробурчал один из «мутантов». Второй только плечами пожал; на физиономии у него было большое красное родимое пятно, цветом и бугристостью напоминавшее ягоды малины. В семье его так и звали: Малиновый, то бишь Разберри Рэт. К счастью, Хоуп этого не знала.

Ни на Орена, ни на Хоуп «мутанты» даже не посмотрели. Тяжело дышавшая свиноматка содрогнулась и нарушила тишину во дворе, с грохотом выпустив зловонные газы.

— Вот дерьмо, опять ее несет, — сказал «мутант» без родимого пятна. Если не обращать внимания на его глаза, лицо у него было даже более-менее нормальное. Его звали Уэлдон.

Разберри Рэт прочитал этикетку на коричневой бутылке, которую протянул свинье, точно предлагая ей выпивку:

— Тут написано: «Может вызывать избыточное

выделение газов и жидкий стул».

— Но ничего не говорится о том, как такую свинью вырастить, — заметил Уэлдон.

— Мне нужен черный грузовик, — повторил Орен Рэт.

— Так ключ в замке зажигания торчит, Орен, — сказал ему Уэлдон Рэт. — Если ты, конечно, один справишься.

Орен Рэт потащил Хоуп к черному грузовику. Разберри по-прежнему держал в руках бутылку с лекарством для свиньи и тупо посмотрел на Хоуп, когда она сказала ему:

— Он меня похитил. И собирается изнасиловать. Его уже ищет полиция.

Разберри промолчал, по-прежнему тупо на нее глядя, зато Уэлдон повернулся к Орену и сказал:

— Надеюсь, ты не собираешься опять дурить?

— Не собираюсь, — сказал Орен. И старшие его братья вновь переключили все свое внимание на свинью.

— Я, пожалуй, подожду часок, а потом сделаю ей еще укол, — сказал Разберри. — Мало к нам за эту неделю ветеринар таскался! — Он почесал грязную шею свиньи мыском ботинка, и свинья от удовольствия снова выпустила газы.

Орен отвел Хоуп за амбар, где из силосной ямы

торчали кукурузные початки. Несколько крошечных поросят, лишь немногим крупнее котенка, играли в яме и бросились врассыпную, стоило Орену завести грузовик. Хоуп заплакала.

— Может, ты меня все-таки отпустишь? — спросила она.

— Я тебя еще не поимел, — сказал он.

Босые ноги Хоуп замерзли в черной весенней грязи.

— У меня ноги закоченели, — сказала она. — Куда мы едем?

Она заметила в кузове грузовика старое одеяло, все в пятнах и стеблях соломы. Так *вот куда,* представила она себе, меня отведут: на кукурузное поле, простиравшееся до самого горизонта по едва оттаявшей весенней долине. А когда все будет кончено, этот Орен своим ужасным ножом перережет ей горло и выпустит кишки, потом завернет ее в это одеяло, которое сейчас валяется в кузове грузовика, точно прикрывая спрятанный там труп животного.

— Мне надо найти подходящее местечко, чтобы тебя поиметь, — сказал Орен Рэт. — Я бы, пожалуй, дома с тобой занялся, да тогда, скорее всего, придется тебя делить.

Хоуп Стэндиш тщетно пыталась понять логику

действий Орена Рэта. Он действовал не так, как человеческие существа, с которыми она привыкла иметь дело.

— Ты поступаешь совершенно неправильно, — сказала она.

— Нет, правильно, — сказал он. — Правильно. И не спорь со мной!

— Ты собираешься меня изнасиловать, — сказала Хоуп. — А это неправильно!

— Я просто собираюсь тебя поиметь, — возразил он.

На сей раз он не потрудился даже привязать ее к «бардачку». Все равно бежать ей отсюда некуда. Они ехали все время между полями по коротким, примерно в милю длиной, проселочным дорогам, медленно продвигаясь на запад как бы по сторонам квадратов и чуть наискосок; примерно так ходит в шахматах «конь»: один квадрат вперед — два в сторону, один в сторону — два вперед. Хоуп это казалось совершенно бессмысленным, но потом она подумала: а что, если он, не так уж и хорошо разбираясь в шоссейных дорогах, отлично знает, как уехать на довольно-таки приличное расстояние, ни разу не заехав ни в один населенный пункт? Они видели только указатели со стрелками, указывающие на местонахождение

городов и деревень, и, хотя они отъехали не больше чем на тридцать миль от университета, она не узнавала ни одного названия: Коулдуотер, Хиллз, Филдз, Плейнвью. Может, это вовсе и не города, подумала она, а просто фермы? Просто указатели направления для местных, которые словно бы не знают даже простейших слов для обозначения тех вещей, которые видят каждый день?

— Ты не имеешь никакого права так со мной поступать! — сказала Хоуп.

— Вот ведь дерьмо! — сказал он и так резко нажал на тормоз, что ее швырнуло прямо на жесткую приборную доску. Лбом она ударилась о стекло, носом с размаху ткнулась в тыльную сторону собственной ладони. Она чувствовала, что в груди у нее что-то лопнуло — какой-то крошечный мускул или очень маленькая косточка. Потом Орен Рэт нажал на педаль газа, и Хоуп отшвырнуло назад. — Ненавижу всякие споры, — пояснил он ей.

Из носа у нее шла кровь; она сидела склонив голову на руки, и кровь капала ей на подол платья. Она чуть-чуть шмыгала носом, а кровь все текла и текла по губам, пленкой покрывала зубы. Хоуп склонила голову немного набок, чтобы почувствовать вкус крови. Почему-то этот вкус ее

успокоил — помог думать. Она знала, что на лбу у нее под нежной кожей пухнет огромный синяк. Проведя одной рукой по лицу, нащупала на лбу шишку, а Орен Рэт посмотрел на нее и засмеялся. И тогда она плюнула ему в лицо — небольшой сгусток розоватой от крови слюны попал ему на щеку и стек за воротник рубашки, рубашки ее мужа. Ручища Орена, такая же плоская и широкая, как подметка его грубого сапога, схватила ее за волосы. Хоуп вцепилась в нее обеими руками, подтащила ко рту и вонзила зубы в мягкую часть запястья — туда, где даже у мужчин волосы растут не всегда, где проходят голубые трубочки вен, несущие кровь.

Она готова была убить его таким немыслимым способом, но ей едва хватило времени прокусить кожу. Правая рука его оказалась настолько сильной, что он рывком бросил ее тело к себе на колени, прижал шеей и затылком к рулю — гудок загудел словно внутри ее черепа, — а левый кулак тем временем окончательно сокрушил ее нос. Потом он опять положил левую руку на руль, а правой будто клещами крепко держал голову Хоуп, прижимая ее к своему животу. Почувствовав, что она больше не сопротивляется, он слегка ослабил хватку и прижал ее голову к своей ляжке,

прикрывая рукой ее ухо, словно для того, чтобы звук гудка не вышел наружу. Хоуп зажмурилась, потому что нос болел нестерпимо.

Орен Рэт несколько раз свернул налево, потом направо, и каждый поворот, как она уже поняла, означал, что они проехали примерно милю. Теперь правой рукой он держал ее сзади за шею, и она снова могла слышать, а потом почувствовала, как его пальцы забираются к ней в волосы. Ее лицо вообще утратило чувствительность.

— Я не хочу убивать тебя, — сказал он.

— Ну так и не убивай, — сказала Хоуп.

— Да нет, придется, — сообщил ей Орен Рэт. — После того как мы потрахаемся, придется и это сделать.

Это подействовало на нее, точно вкус собственной крови. Она знала: спорить бесполезно. И понимала, что проиграла целый ход: свое изнасилование. Он намерен все равно изнасиловать ее. Придется считать, что это уже произошло. Самое главное сейчас, думала она, *остаться в живых;* и это означало — *пережить его.* То есть сделать так, чтобы его арестовали или убили; или убить его самой.

Щекой Хоуп чувствовала монеты у него в кармане; его джинсы были мягкими и липкими

от грязи после работы на ферме и возни с промасленными деталями машин. Пряжка ремня упиралась ей прямо в лоб; губы касались маслянистой кожи ремня. Рыбацкий нож спрятан в ножны, — она знала. Но где они, эти ножны? Увидеть их она не могла, а шарить руками не смела. И вдруг прямо в глаз ей ткнулся его эрегированный член. Вот тут-то, по правде говоря, ее впервые охватила настоящая паника — она была прямо-таки парализована ужасом; ей уже казалось, что она никогда и ничем не сможет себе помочь, что она не в состоянии решить, что же ей делать в первую очередь.

И снова ей помог сам Орен Рэт.

— А ты посмотри на это дело иначе, — сказал он ей. — Твоему парнишке удалось сбежать? Удалось. А ведь я и парнишку твоего собирался прикончить, ты же знаешь.

Странная логика Орена Рэта словно вновь обострила ее восприятие, и она вдруг услышала звуки других машин. Их было не так уж много, но, по крайней мере, каждые несколько минут мимо них кто-нибудь проезжал. Жаль, она не могла увидеть эти машины, зато знала, что теперь они едут не по такой пустынной дороге, как раньше. *Сейчас,* думала она. *До того,* как он доберется до

своей цели — если, конечно, он вообще знает, куда ему нужно. Но, наверное, уж это-то он знает! По крайней мере, *прежде чем* он свернет с этой дороги и мы опять окажемся в таких местах, где вообще нет людей.

Орен Рэт поерзал на сиденье. Вставший член мешал ему спокойно вести машину. Теплое лицо Хоуп у него на коленях и ее пышные волосы, в которые он зарылся другой рукой, лишали его привычного равновесия. *Сейчас,* думала Хоуп. Она слегка прижалась щекой к его ляжке, он ее не остановил. Она чуть подвинула голову, точно устраиваясь поудобнее на подушке — и ближе к его пенису. И больше не шевелилась, пока вздувшийся под джинсами ком не оказался у самого ее лица. Она уже могла коснуться его своим дыханием; он торчал прямо против ее рта, и она принялась дышать на него. Дышать через нос оказалось ужасно больно. Хоуп сложила губы буквой «О», словно перед поцелуем, и осторожно и очень нежно выдохнула, направив струю теплого воздуха прямо в цель.

О Ники! — думала она. — О Дорси, дорогой мой! Она еще надеялась, что снова их увидит. Потому и отдавала сейчас этому Орену Рэту свое теплое нежное дыхание. А в голове у нее яростно

и холодно билась только одна мысль: я до тебя *доберусь*, сукин ты сын!

Сексуальный опыт Орена Рэта до сих пор явно не включал в себя таких изысков, как направленное дыхание. Он попытался снова ткнуть Хоуп лицом себе в низ живота, чтобы прикоснуться членом к ее горячему лицу, но, с другой стороны, ему совсем не хотелось прерывать нежный теплый поток ее ласкающего дыхания. То, что она делала, заставляло его желать *большей* близости с ней, но ему было мучительно даже представить, что, как только он пошевелится, контакт, который установился у них сейчас, прервется. Он начал корчиться на сиденье. Хоуп не спешила. Благодаря его ерзаньям тугой комок под засаленными джинсами достиг наконец ее губ. И Орен Рэт, чувствуя горячий ласковый ветер, проникающий сквозь грубую ткань, застонал от наслаждения. Какая-то машина догнала их, притормозила и объехала почти по обочине. Орен выправил руль, понимая, что начинает вилять на дороге.

— Что это ты делаешь? — спросил он Хоуп. А она совсем легонько прикусила зубами вспухший узел под его штанами. Он приподнял колено, нажал на тормоз и ударил ее по голове, снова

повредив ей нос. А потом с силой втиснул руку между ее лицом и своими гениталиями, и она уже решила, что сейчас он по-настоящему изобьет ее, но, как оказалось, он просто пытался расстегнуть молнию на джинсах. — Я видел такое на фотографиях, — сообщил он ей.

— Дай-ка я, — сказала она и, чуть приподнявшись, стала ему помогать. (На самом деле ей хотелось посмотреть, где они сейчас находятся. Находились они, разумеется, по-прежнему в сельской местности, однако шоссе было асфальтированным, со знаками и с разметкой.) Хоуп вытащила пенис Орена из штанов и взяла его в рот; на самого Орена она даже не глядела.

— Вот дерьмо! — простонал он, и Хоуп чуть не подавилась. Она очень боялась, что ее сейчас стошнит. Потом она передвинула его пенис вбок, к щеке, где, как она надеялась, сможет продержать его довольно долго. Орен Рэт сидел теперь абсолютно неподвижно, но так дрожал, что Хоуп поняла: происходящее полностью выходит за пределы его воображения. Это несколько успокоило ее, придало уверенности в себе и вернуло чувство времени. Она продолжала делать свое дело, прислушиваясь к другим автомобилям. Похоже, он несколько притормозил. Как только он

соберется свернуть с большой дороги, ей придется все переиграть. А интересно, смогу я откусить этот чертов член? — подумала она, но решила все же, что вряд ли. Во всяком случае, не сразу и не так быстро.

Мимо проехали сразу два грузовика, один за другим. Потом вдалеке, как ей показалось, послышался гудок еще одной машины. Хоуп стала действовать быстрее — он приподнял свои ляжки, и ей показалось, что грузовик прибавил скорость. Кто-то проехал *ужасно близко* от них, яростно сигналя. «Чтоб вас!..» — донеслось до Хоуп. Орен Рэт что-то завопил вдогонку, он уже начинал подпрыгивать на сиденье, то и дело задевая больной нос Хоуп. Хоуп теперь приходилось быть очень осторожной, чтобы, не дай бог, не причинить ему боль. А ей очень хотелось сделать ему больно! Нет, сперва ты заставь его совсем потерять голову, уговаривала она себя.

Вдруг под днищем грузовика раздался грохот разлетающегося во все стороны гравия. Хоуп быстро сомкнула губы. Однако в аварию они не попали и на другую дорогу тоже не свернули; просто Орен Рэт резко съехал на обочину и остановился, кое-как поставив свой грузовик. Теперь он обеими руками держал ее за щеки; ляжки его

напряглись и шлепали ее по подбородку. Я сейчас задохнусь, подумала она, но он вдруг поднял ее лицо и переложил к себе на колени.

— Нет! Нет! — крикнул он. Какой-то грузовик, разбрасывая мелкие камешки, пролетел мимо, заглушая его слова. — Я еще эту *штуку* не надел, вдруг у тебя какая-нибудь зараза? Так она сразу ко мне пристанет.

Хоуп стояла на коленях, губы ее горели и потрескались до крови, нос болел нестерпимо. Орен Рэт собрался было надеть презерватив, но, вытянув его из фольги, уставился на него так, словно ожидал увидеть совсем не то — как если бы он думал, что *все* презервативы ярко-зеленого цвета; как если бы *не знал,* как его надевать.

— Снимай платье, — велел он ей; он был смущен, потому что она пристально на него смотрела. Теперь ей были видны кукурузные поля по обе стороны дороги и оборотная сторона какого-то дорожного указателя в нескольких метрах от них. Однако никаких домов нигде не видно, и никакого перекрестка, и ни одной легковой машины или грузовика. И Хоуп показалось, что вот прямо сейчас ее сердце просто возьмет и остановится.

Орен Рэт рывком сорвал с себя рубашку, рубашку ее мужа, и вышвырнул в окно; Хоуп видела,

как она упала на середину дороги. Потом он содрал с себя сапоги, приподняв свои бледные колени на руль.

— Давай-ка поворачивайся! — велел он. Она была притиснута к дверце грузовика. И понимала: даже если удастся выпрыгнуть из кабины, ей никогда от него не убежать, она ведь босая, а у него, похоже, не ступни, а конские копыта.

С джинсами у Орена возникли некоторые затруднения; он зажал свернутый презерватив в зубах, стащил джинсы и куда-то их зашвырнул. А потом предстал перед ней голым и принялся натягивать презерватив с такой силой, словно пенис его отличался не большей чувствительностью, чем ороговевший хвост черепахи. Хоуп все пыталась расстегнуть платье, и на глаза ей опять навернулись невольные слезы, и тут он вдруг схватил ее за подол и стал стаскивать с нее платье через голову, однако локти ее застряли в рукавах, и он очень больно вывернул ей руки за спину.

Он был слишком высок, чтобы уместиться на сиденье в кабине. Одну дверь все равно придется открыть. Хоуп потянулась было к ручке у себя над головой, но он ударил ее по шее и заорал: «Нет!» Потом он как-то пристроил свои длинные ноги вокруг нее, и она увидела, что одна коленка у него

кровоточит — наверное, поранился о руль. Упершись твердыми пятками прямо в ручку дверцы со своей стороны, он обеими ногами пнул дверь, так что она распахнулась настежь. Через его плечо Хоуп видела серый асфальт дороги; длинные ноги Орена свисали прямо над проезжей частью, только сейчас дорога была абсолютно пуста. Голова у нее болела; она сильно ударилась о дверцу. Ей пришлось немного подвинуться под ним, и снова он сердито буркнул что-то невразумительное. Она почувствовала, как его запакованный в презерватив член блуждает по ее животу. Потом он изогнулся всем телом и, яростно вцепившись зубами в ее плечо, кончил!

— Вот дерьмо! — завопил он. — Как — *уже!*

— Нет, — сказала Хоуп, обнимая его. — Нет, ты можешь еще. — Она понимала: если он решит, что от нее больше никакого проку не будет, то непременно убьет ее. — И еще много-много раз, — шепнула она ему в ухо, пахнувшее пылью. Ей пришлось смочить вагину слюной, настолько там было сухо. Господи, да я никогда не смогу засунуть его туда, испугалась она, но потом, нащупав его член, сообразила, что презерватив смазан специальным лубрикатором.

— О! — простонал Орен Рэт. Он спокойно ле-

жал на ней и, похоже, был очень удивлен тем, куда именно попал сейчас с ее помощью, словно никогда и не подозревал, *что* там находится. — О! — снова удивленно простонал он.

Ну, а теперь-то что? — думала Хоуп. Она затаила дыхание. Какая-то машина — вспышка красного цвета — промелькнула мимо их открытой двери: прогудел сигнал, и послышалось издевательское улюлюканье. Еще бы, подумала она, мы выглядим как двое крестьян, которые трахаются на обочине; возможно, такое случается здесь сплошь и рядом. Никому в голову не придет остановиться; разве что случайно проедет полицейская машина. Она представила себе широколицего патрульного, который вдруг появляется над изогнутым плечом Рэта и выписывает штраф. «Только не на дороге, парень», — говорит он. А если она крикнет прямо в лицо патрульному: «Это насилие! Он же меня насилует!» — то патрульный только подмигнет Орену Рэту и уедет.

Ошеломленный Рэт, похоже, чувствовал себя внутри нее очень неуверенно. Если он только что кончил, думала Хоуп, сколько же времени мне понадобится, чтобы он кончил во второй раз? Он казался ей скорее козлом, чем человеком, и то ли детское, то ли звериное бульканье в его горячей

пасти, прижатой прямо к ее уху, будет, видимо, последним звуком, который она услышит в этой жизни…

Хоуп внимательно осматривала каждый предмет поблизости от себя. Ключи, свисавшие из замка зажигания, были слишком далеко, не достать, да и что можно сделать с помощью набора ключей? Спина у нее болела, и она уперлась рукой в панель управления, чтобы хоть немного сместить его тело, навалившееся на нее. Странным образом, он вдруг возбудился и проворчал недовольно:

— Не двигайся! — Она постаралась больше не двигаться. — Ох, — вздохнул он одобрительно, — вот это действительно хорошо! Ладно, я тебя очень быстро убью, ты даже ничего не почувствуешь. Только делай вот так, и я тебя убью по-хорошему.

Ее рука нащупала металлическую кнопку, гладкую и округлую; ей не пришлось даже поворачивать в ту сторону лицо, чтобы понять, что это такое. Кнопка открывала «бардачок», и Хоуп нажала на нее. Дверца оказалась неожиданно тяжелой. Она громко и протяжно вскрикнула, изображая сладострастный восторг и надеясь заглушить грохот рассыпавшихся по кабине вещей

из «бардачка». На полу она нащупала какую-то тряпку, песок, моток проволоки и что-то острое, но слишком маленькое вроде гвоздя — там было много всяких болтов и гвоздей, дверные петли и прочая ерунда. Но ничего такого, чем она могла бы воспользоваться! Плечо болело, и она бессильно уронила руку на пол кабины. Мимо проехал второй грузовик, из кабины донеслось насмешливое мяуканье и резкие гудки, но ни у кого даже намерения не возникло притормозить и посмотреть, что же происходит. Хоуп заплакала.

— Я счас тебя убью! — прорычал Рэт.

— Ты когда-нибудь раньше этим занимался? — спросила она.

— Конечно! — заявил он и что было силы ткнулся в нее — словно его дикарские рывки могли произвести впечатление на Хоуп.

— И ты всех их тоже убивал? — спросила Хоуп. Ее рука, теперь свисавшая совершенно бессильно, теребила на полу какую-то материю.

— Это были животные, — признался Рэт. — Но их мне тоже приходилось убивать. — Хоуп затошнило, ее пальцы стиснули ткань — старую куртку или что-то в этом роде.

— Свиньи? — спросила она

— Я — со свиньями?! Вот дерьмо! Кто же свиней

трахает? — Он явно возмутился, а Хоуп подумала: кто-нибудь, возможно, и трахает. — Это овцы были. И еще телка, — сказал Рэт. Нет, совершенно безнадежно. Она чувствовала, что его пенис начинает съеживаться: она отвлекла его своими вопросами. Хоуп с трудом подавила рыдание, и ей показалось, что голова у нее сейчас взорвется.

— Пожалуйста, постарайся быть со мной ласковей, — сказала Хоуп Орену Рэту.

— А ты поменьше разговаривай, — сказал он. — Двигайся как раньше.

Она стала двигаться, но явно как-то не так.

— Нет! — заорал он и прямо-таки вонзил пальцы ей в позвоночник. Она попробовала по-другому. — Вот так! — одобрил он и стал двигаться в том же ритме, механически и совершенно тупо.

О господи! — думала Хоуп. О Ники, Дорси!.. И вдруг поняла, *что* держит в руках: его джинсы! И ее пальцы, ставшие неожиданно мудрыми и ловкими, точно пальцы слепого, способного читать шрифт Брайля, мгновенно обнаружили молнию и двинулись дальше, перебрали мелочь в кармане, скользнули вдоль ремня…

— Да, да, да! — приговаривал Орен Рэт.

Овцы, думала Хоуп, и еще одна телочка… Да соберись же ты! — прикрикнула она на себя.

— Не разговаривай! — предупредил ее Орен Рэт. Но ее пальцы уже нашли его — длинный, тяжелый нож в кожаных ножнах. Вот это маленький крючок, сообщили ей пальцы, а это металлическая застежка. А это — наконец-то! — рукоятка, костяная рукоятка рыбацкого ножа, которым он порезал ее сынишку…

Порез у Ники на щеке был неглубоким, но всем хотелось понять, откуда он взялся. Сам Ники говорил еще плоховато и ничего объяснить не мог. Ему очень нравилось рассматривать в зеркало свою мордашку с тонким красным полумесяцем на скуле, который уже успел подсохнуть.

— Это было что-то очень острое, — сказал полицейским врач.

Марго, соседка, решила заодно вызвать и врача, когда обнаружила у ребенка кровь на лице. Полицейские обнаружили еще кровь: в спальне, на бело-кремовом покрывале. Это привело их в замешательство; в спальне не осталось никаких следов насилия, к тому же Марго видела, как миссис Стэндиш уезжала и выглядела при этом вполне нормально. На самом деле кровь капнула из прикушенной губы Хоуп, когда Орен Рэт боднул ее головой, — но как им было узнать об этом? Марго подумала, что Хоуп, возможно, занима-

лась с кем-то сексом, но высказывать подобные предположения не стала. Дорси Стэндиш от потрясения вообще не мог рассуждать нормально. Полицейские же считали, что времени на секс у похитителя и жертвы просто не было. Доктор уверенно заявил, что порез на щеке Ники никак не связан ни с ударом, ни с падением со стульчика.

— Это или бритва, — сказал он, — или очень острый нож.

Полицейский инспектор, плотный, кругленький, цветущий мужчина, которому до пенсии оставалось не больше года, обнаружил в спальне перерезанный телефонный провод.

— Это нож, — сказал он. — Очень острый и довольно тяжелый нож.

Звали полицейского инспектора Арден Бензенхавер; когда-то он служил начальником полиции в Толидо, но там его методы сочли слишком неортодоксальными.

Он указал на щеку Ники.

— Это очень легкое касательное ранение, нанесенное тем же ножом. — И он показал, как можно нанести такое ранение. — Вряд ли, правда, тут кругом валяются специальные шпионские ножи, так что, скорее всего, нож был охотничий или рыбацкий.

Марго, как могла, описала Орена Рэта, сказала, что он самый обычный молодой фермер на обычном фермерском грузовике, только вот цвет у грузовика странный, бирюзовый — явный результат неестественного влияния города и университета. К сожалению, растрепанные чувства не позволили Дорси Стэндишу как-то соотнести это сообщение с тем бирюзовым грузовиком, который он видел на перекрестке, или вспомнить женщину в кабине бирюзового грузовика, которая показалась ему немного похожей на Хоуп.

— А они никакой записки не оставили? — спросил Дорси с тайной надеждой. Арден Бензенхавер так и уставился на него. Доктор смотрел в пол. — Ну, знаете, насчет *выкупа?* — продолжал Дорси Стэндиш. Он был человеком начитанным и, разумеется, цеплялся прежде всего за книжный вариант. Ведь кто-то, думал он, уже произносил слово «похищение»; а разве в случае похищения не требуют выкуп?

— Нет, мистер Стэндиш, никакой записки они не оставили, — сказал Бензенхавер. — И на обычное похищение с целью выкупа это совсем не похоже.

— Они были в спальне, когда я обнаружила Ники под дверью, — сказала Марго. — Но когда Хоуп

уезжала, она, по-моему, была в порядке, честное слово, Дорси. Я сама ее видела.

Они не стали рассказывать Стэндишу о трусиках Хоуп, валявшихся на полу, и о том, что не сумели отыскать ее бюстгальтер (хотя Марго заверила Ардена Бензенхавера, что миссис Стэндиш из тех женщин, которые *всегда* носят бюстгальтер). А еще Хоуп уехала из дому босиком; это они тоже знали. И Марго видела на том молодом фермере одну из рубашек Дорси. К сожалению, она запомнила только часть номера грузовика: номер был местный, коммерческий, и первые две цифры говорили, что он откуда-то из сельской глубинки, но все цифры она разобрать не сумела: задний номер был сплошь заляпан грязью, а передний вообще отсутствовал.

— Мы их найдем, — сказал Арден Бензенхавер. — Тут бирюзовые грузовики не слишком часто попадаются. Сельские шерифы, возможно, отлично его знают.

— Ники, скажи папе, что здесь случилось? — вдруг спросил у сынишки Дорси Стэндиш и усадил малыша к себе на колени. — Что случилось с мамочкой? — Мальчик показал за окно. — Значит, он собирался ее *изнасиловать?* — спросил Дорси Стэндиш, оборачиваясь к остальным.

— Дорси, погоди, не волнуйся так, скоро мы все узнаем, — уговаривала его Марго.

— Ждать? — удивился Стэндиш.

— Вы уж извините мне подобный вопрос, — обратился к нему Арден Бензенхавер, — но не встречалась ли ваша жена в последнее время с другим мужчиной? Ну, вы знаете…

Стэндиш на этот вопрос не ответил, но, похоже, всерьез призадумался.

— Нет, не встречалась, — сказала Бензенхаверу Марго. — Абсолютно ни с кем.

— Я задал вопрос мистеру Стэндишу! — мягко остановил ее Бензенхавер.

— Господи! — вырвалось у Марго.

— Нет, думаю, она этого не делала, — сказал инспектору Стэндиш.

— Ну конечно же не делала, Дорси! — воскликнула Марго. — Давай-ка сходим с Ники на прогулку, — сказала она ему.

Марго была женщиной очень деловой, вечно занятой, и Хоуп очень ее любила. Она сновала в дом и из дома раз по пять на дню и все время что-то доделывала; дважды в год она отключала и снова подключала телефон — это здорово смахивало на тщетные попытки иных людей бросить курить. У Марго были и свои дети, но значитель-

но старше Ники; они целый день находились в школе, так что она часто и с удовольствием присматривала за малышом, чтобы немного разгрузить Хоуп. Дорси Стэндиш воспринимал присутствие Марго в своем доме как нечто само собой разумеющееся, и, хотя прекрасно сознавал ее доброту и великодушие, эти качества отнюдь не привлекали его внимания. А Марго, как он понял сейчас, внешней привлекательностью не отличалась. Сексуально она непривлекательна, думал он, и горькое чувство поднялось в душе Дорси Стэндиша: он думал о том, что никто никогда даже не попытается изнасиловать Марго, тогда как Хоуп, такая красивая и милая, всегда привлекала мужчин. И любой мог пожелать ее.

На сей счет Дорси Стэндиш глубоко заблуждался; он не знал о насилии самого главного — того, что жертва фактически не имеет значения. В разные времена люди пытались силой заставить заниматься с ними сексом буквально любое вообразимое существо. Даже очень маленьких детей, даже очень дряхлых стариков, даже покойников. Даже животных.

И тут инспектор Арден Бензенхавер, который о насилии и насильниках знал довольно много, сообщил собравшимся, что ему пора заниматься

своим непосредственным делом.

Бензенхавер всегда чувствовал себя лучше, когда вокруг было много свободного пространства. Когда он только-только поступил в полицию, ему для начала пришлось с ночным патрулем курсировать по старой дороге номер два между Сандаски и Толидо. Летом эта дорога была вся усеяна крышками от пивных бутылок и самодельными объявлениями, обещавшими первоклассный боулинг, первоклассный бассейн, первоклассную копченую рыбу и первоклассную наживку. И Арден Бензенхавер очень медленно ездил по берегу залива Сандаски, а потом вдоль озера Эри до Толидо, поджидая, когда машины, битком набитые подвыпившими подростками и рыболовами, станут играть с ним в догонялки на неосвещенной двухполосной дороге. Позднее, уже начальником полицейского управления в Толидо, Бензенхавер не раз проезжал с шофером по этой совершенно безобидной в дневное время полоске дороги. Магазинчики, торгующие наживкой, и пивные залы, и закусочные, где продавались хот-доги и мороженое, выглядели при свете дня так беззащитно. Глядеть на них днем — все равно что видеть, как громилу, которого ты до смерти боялся, раздевают в полицейском

участке за драку: сперва видишь только мощную шею, могучую грудь, здоровенные ручищи, а потом — когда сброшена последняя рубашка — перед тобой вдруг предстает отвисшее дряблое брюшко.

Арден Бензенхавер ненавидел темноту. И постоянно призывал муниципалитет Толидо лучше освещать город субботними вечерами. Толидо был город рабочий, и Бензенхавер верил, что если город позволит себе нормальное освещение улиц по субботам, то, по крайней мере, половины поножовщины и разбойных нападений, связанных с ранениями и гибелью людей, можно будет избежать. Однако власти оказались отнюдь не в восторге от этих идей Ардена Бензенхавера, как, впрочем и от методов его работы.

И теперь Бензенхавер отдыхал на широких просторах сельской местности. И смотрел на этот опасный мир так, как всегда желал, — с перспективы: он кружил на вертолете над этой плоской открытой равниной, осматривая свое четко ограниченное, хорошо освещенное царство. Помощник здешнего шерифа уверенно сказал ему:

— Здесь у нас только один *бирюзовый* грузовик: у этих треклятых Рэтов.

— Рэтов?[12] — переспросил Бензенхавер.

— Их там целое семейство, — сказал помощник шерифа. — Мне даже к их дому подъезжать и то противно.

— Почему? — спросил Бензенхавер; он видел внизу тень вертолета, которая пересекла ручей, потом дорогу и двинулась сперва по краю кукурузного поля, потом по краю соевого…

— Да они же все с приветом! — сказал помощник шерифа.

Бензенхавер посмотрел на него — молодой человек, лицо пухлое, но довольно приятное, глазки маленькие, волосы длинные, густые, почти до плеч, на голове плотно сидит шляпа. Бензенхавер вспомнил бесчисленных футболистов, у которых длинные волосы рассыпаются из-под шлемов по плечам. А ведь могли бы и поаккуратнее волосы-то прибрать, подумал он. Теперь вон даже и представитель закона такие же волосищи отрастил. Бензенхавер был рад, что ему скоро на пенсию; он не мог понять, почему столь многие приличные люди стремятся выглядеть как какие-то хулиганы.

— С приветом, значит, — повторил Бензенха-

---

12 Примечание: 12
Rat — крыса *(англ.)*.

вер. И язык у них у всех одинаковый, подумал он. На все про все им хватает четырех-пяти слов!

— Ну да! Только на прошлой неделе мне подали жалобу на младшего, — сказал помощник шерифа.

Бензенхавер отметил это «мне подали», ведь на самом деле жалоба поступила в офис шерифа, и тот, видимо, счел вопрос достаточно простым, чтобы поручить его своему молодому помощнику. Но почему они мне-то этого мальчишку подсунули? — думал Бензенхавер.

— Его Орен Рэт зовут, — сообщил ему помощник шерифа. — У них и имена у всех тоже очень странные.

— И что же это была за жалоба? — спросил Бензенхавер; его глаза следили за длинной немощеной дорожкой, в конце ее виднелось скопление каких-то сараев, один из которых наверняка и есть дом здешних фермеров, *дом, где живут люди.* Однако Арден Бензенхавер, глядя сверху, не смог бы определить, которая из этих построек — дом. Сверху все сараи казались едва ли пригодными даже для животных.

— Ну, в общем, — сказал помощник шерифа, — этот парень, Орен, приставал тут к одной собаке.

— Приставал к собаке? — терпеливо переспро-

сил Бензенхавер. Это может означать что угодно, думал он.

— Ну… — смутился помощник шерифа, — хозяева собаки думали, что Орен пытался ее *трахнуть*.

— Вот как? — удивился Бензенхавер.

— А что, очень даже может быть, — пожал плечами помощник шерифа, — но точно я сказать не могу. Когда я туда приехал, Орена нигде не было, собака выглядела совершенно нормально. Откуда мне знать, трахали эту суку или нет.

— Взяли бы да спросили у нее! — вмешался пилот вертолета — парнишка еще моложе помощника шерифа. Помощник шерифа посмотрел на пилота с презрением.

— Вот вам один из недоумков, которых нам присылает Национальная гвардия, — шепнул он на ухо Бензенхаверу, но тот уже не слушал его: он высмотрел внизу бирюзовый грузовик, припаркованный на совершенно открытом месте у невысокой изгороди. Никто даже не пытался его спрятать.

В большом продолговатом загоне металось целое стадо свиней, до смерти перепуганных садящимся вертолетом. Двое худощавых мужчин в комбинезонах сидели на корточках возле

здоровенной свиноматки, распростертой у отлогого настила, ведущего к входу в один из сараев. Фермеры подняли головы и посмотрели на вертолет, прикрывая лица от разлетавшихся комьев вонючей грязи.

— Не надо так близко. Посади его вон там, на лужайке, — сказал пилоту Бензенхавер. — Ты пугаешь животных.

— Я не вижу ни Орена, ни старика, — сказал помощник шерифа. — Их ведь не двое, а гораздо больше, Рэтов этих.

— Вы спросите у этих, где Орен, — распорядился Бензенхавер. — А я пока взгляну на грузовик.

Фермерам помощник шерифа был явно знаком, так что они едва на него взглянули, зато внимательно смотрели на Бензенхавера в его выгоревшей серо-коричневой форме и при галстуке, когда он прямо через двор направился к бирюзовому грузовику. Арден Бензенхавер в их сторону даже головы не повернул, он и так отлично их видел. Вот уж действительно *придурки,* думал он. В Толидо Бензенхавер повидал самых разнообразных представителей преступного мира — людей плохих, злобных, свирепых, опасных, трусливых, видел отъявленных негодяев и воров, которые убивали ради горстки монет, и насильников,

которые убивали ради секса. Однако Бензенхаверу не доводилось еще видеть столь глубоких и разрушительных последствий воздействия зла, какие читались на лицах Уэлдона и Разберри Рэтов. У него даже холодок по спине пробежал. И он подумал: хоть бы нам поскорее отыскать эту миссис Стэндиш!

Он и сам не знал, что именно ищет, пока не открыл дверь бирюзового грузовичка. Впрочем, Арден Бензенхавер хорошо умел искать неизвестное. Он увидел его мгновенно, с первого взгляда: разрезанный ножом бюстгальтер, один обрывок которого все еще был привязан к петле «бардачка», а еще два валялись на полу. Крови нигде не видно. Бюстгальтер мягкий, из натурального хлопка, светло-бежевый; стильная вещица, подумал Арден Бензенхавер. Сам он никогда стильностью не отличался, но повидал немало разных покойников и кое-какое представление о стиле имел. Зажав в кулаке куски шелковистого бюстгальтера, он сунул руки в обвисшие карманы куртки и двинулся через двор к помощнику шерифа, который разговаривал с братьями Рэт.

— Они парнишку весь день не видели, — сообщил помощник шерифа Бензенхаверу. — Говорят, Орен порой по нескольку дней домой не явля-

ется.

— Спросите их, кто последним ездил на этом грузовике, — попросил его Бензенхавер; смотреть на Рэтов у него не было ни малейшего желания; он держался так, словно эти люди вообще не способны понять даже самые простые его вопросы.

— Я уже спрашивал, — сказал помощник шерифа. — Говорят, что не помнят.

— Спросите их, когда на этом грузовике в последний раз ездила хорошенькая молодая женщина, — сказал Бензенхавер.

Однако помощник шерифа не успел задать этот вопрос: Уэлдон Рэт рассмеялся. И Бензенхавер даже порадовался, что второй недоумок с родимым пятном на лице, похожим на винную кляксу, хранил молчание.

— Вот дерьмо! — сказал Уэлдон Рэт. — Никаких «хорошеньких женщин» тут нет и быть не может! И никакая «хорошенькая женщина» даже задницей своей этого грузовика не касалась!

— Скажите ему, — велел Бензенхавер помощнику шерифа, — что он лжет.

— Ты лжешь, Уэлдон, — сказал помощник шерифа. Тут Разберри Рэт тоже решился заговорить:

— Черт возьми! А ты кто такой? Явился сюда и

командует, что нам делать, чего не делать!

Арден Бензенхавер молча вытащил из кармана три куска бюстгальтера и посмотрел на свиноматку, лежавшую рядом с хозяевами. Одним перепуганным глазом свинья, казалось, смотрела на всех разом, и было почти невозможно сказать, куда смотрит ее второй глаз.

— Это хряк или свинка? — спросил Бензенхавер. Братья Рэт дружно заржали.

— Да любому ясно, что свиноматка! — сказал Разберри.

— А вы когда-нибудь отрезали яйца своим хрякам? — спросил Бензенхавер. — То есть вы сами их кастрируете или кого-то нанимаете?

— Мы их сами кастрируем, а что? — сказал Уэлдон. Он тоже чем-то смахивал на кабана; дремучие жесткие космы пучками торчали из ушей, точно щетина. — Мы все насчет кастрации знаем. Ничего тут трудного нет.

— Ясно, — сказал Бензенхавер и поднял руку с бюстгальтером, чтобы и Рэты, и помощник шерифа хорошенько его рассмотрели. — Так вот: именно такое наказание новый закон предусматривает за сексуальные преступления. — Ни помощник шерифа, ни братья Рэт не проронили ни слова. — За *любые* сексуальные преступ-

ления! — подчеркнул Бензенхавер. — Учтите: любое из них теперь карается *кастрацией.* Если, скажем, вы трахнули кого-то, кого трахать не имеете права. Или если вы помогаете кому-то насильно трахать кого-то, а вовсе не пытаетесь остановить подобное безобразие. Вот во всех этих случаях вас могут кастрировать.

Уэлдон Рэт посмотрел на Разберри; тот выглядел явно озадаченным. Потом хитрые злобные глазки Уэлдона уперлись в лицо Бензенхавера, и он спросил:

— А вы-то сами это делаете или кого другого просите? — и подмигнул брату. Разберри попытался ухмыльнуться; малиновое родимое пятно при этом отвратительно скособочилось.

Но Бензенхавер хранил полную невозмутимость, по-прежнему вертя в руках истерзанный бюстгальтер.

— Разумеется, сами мы этого не делаем, — спокойно ответил он. — Теперь для этого есть новое специальное оборудование. Этим занимается Национальная гвардия. Именно потому мы и прилетели на вертолете Национальной гвардии. Мы просто отвезем вас на нем в госпиталь Национальной гвардии, а потом снова домой доставим. Тут ничего трудного нет, — прибавил он. — Вы и

сами знаете.

— У нас семья большая, — сказал Разберри Рэт. — Нас, братьев, тут много. Мы и не знаем, кто в какой день на каком грузовике катается.

— Так значит, есть и *другой* грузовик? — спросил Бензенхавер у помощника шерифа. — Вы мне не говорили, что у них есть и другой грузовик.

— Да, есть… черный. Я и позабыл совсем, — сказал помощник шерифа. — Точно, у них еще черный грузовик есть.

Братья Рэт дружно кивнули.

— А где он? — спросил Бензенхавер. Он пока сдерживался, но уже с трудом.

Братья переглянулись. Уэлдон сказал:

— Я что-то давно его не видел.

— Может, его Орен взял? — предположил Разберри.

— А может, отец на нем куда поехал… — сказал Уэлдон.

— Все! Довольно! Нет у нас больше времени разбираться с этим дерьмом! — отрубил Бензенхавер, по-прежнему обращаясь к помощнику шерифа. — Сейчас посмотрим, сколько они весят, а потом спросим пилота, сможет ли вертолет поднять обоих сразу. — Этот помощник шерифа, сердито думал Бензенхавер, почти такой же

недоумок, как и братья Рэт! — Ну, давайте же! — сказал он, и помощник бросился к вертолету. А Бензенхавер нетерпеливо повернулся к Уэлдону Рэту. — Имя? — спросил он.

— Уэлдон, — сказал Уэлдон.

— Вес? — спросил Бензенхавер.

— Вес? — удивился Уэлдон.

— Сколько ты весишь? — спросил Бензенхавер. — Если нам предстоит грузить тебя в вертолет, то необходимо сперва узнать, сколько ты весишь.

— Сто восемьдесят с чем-то, — сказал Уэлдон.

— А ты? — спросил Бензенхавер младшего из братьев.

— Сто девяносто с чем-то, — сказал тот. — Мое имя Разберри.

Бензенхавер даже глаза закрыл.

— Значит, триста семьдесят с чем-то! — крикнул Бензенхавер вслед помощнику шерифа. — Спросите у пилота, может ли вертолет столько поднять?

— Но ведь вы не имеете права просто так взять нас и увезти? — возмутился Уэлдон.

— Пока что мы только отвезем вас в госпиталь Национальной гвардии, — сказал Бензенхавер. — А потом, если найдем ту женщину и с

ней все будет в порядке, мы тут же доставим вас обратно.

— А если с ней что-нибудь будет не в порядке, нам ведь дадут адвоката, верно? — спросил Разберри у Бензенхавера. — Одного из тех, что в суде работают, так?

— Если *с кем* не все будет в порядке? — спросил его Бензенхавер.

— Ну, с той женщиной, которую вы ищете, — сказал Разберри.

— Ну, если с ней что-то будет не в порядке, — сказал Бензенхавер, — тогда, поскольку вы уже будете в госпитале, вас быстренько кастрируют и отправят домой. Может быть, даже в тот же день. Вы, ребята, лучше меня знаете, как это делается. Я-то никогда этого не видел, — признался он. — Но это ведь времени много не занимает, верно? Да и крови вроде бы много не бывает, так?

— Но ведь есть суд и адвокат! — напомнил ему Разберри.

— Да есть, есть! — разозлился Уэлдон. — Заткнись!

— Нет, согласно новому закону подобные преступления больше в суде не рассматриваются, — сказал Бензенхавер. — Преступления на сексуальной почве вынесены в особую статью.

А с помощью новых машинок производить кастрацию оказалось так просто, что именно этот способ и был признан наиболее разумным.

— Эй! — прокричал помощник шерифа от вертолета. — Он такой вес вполне поднимет. Мы можем взять их обоих!

— Вот хреновина! — сказал Разберри.

— Заткнись! — сказал Уэлдон.

— Да не дамся я! Вот еще, яйца мне отрезать захотели! — завопил Разберри. — Я ведь ее даже не *поимел!*

Тут Уэлдон врезал ему под дых, да так, что Разберри не устоял на ногах и рухнул прямо на распростертую на земле свиноматку. Та завизжала, ее коротенькие ножки спазматически задергались, и с перепугу она внезапно и самым чудовищным образом полностью опорожнила свой кишечник, но с места так и не двинулась. Разберри лежал, хватая ртом воздух, рядом с огромной кучей вонючего свиного дерьма. Арден Бензенхавер попытался нейтрализовать Уэлдона, дав ему коленом по яйцам, но тот оказался ловчее и успел перехватить его ногу, а потом кинул назад, и Бензенхавер грохнулся на спину за распростертыми на земле Разберри и несчастной свиньей.

Бензенхавер чертыхнулся.

Помощник шерифа выхватил револьвер и пальнул в воздух. Уэлдон тут же упал на колени, зажав уши руками.

— Вы не ушиблись, инспектор? — спросил помощник шерифа.

— Разумеется, ушибся, — ворчливо ответил Бензенхавер, сидя на земле рядом со свиньей и Разберри и испытывая к обоим одинаковое отвращение. Стыдно ему за это не было. — Слушай, Разберри, — сказал он и прикрыл глаза (уже само по себе это имя заставляло Бензенхавера закрывать глаза), — если хочешь сохранить свои яйца при себе, живо выкладывай, где находится та женщина!

Родимое пятно на физиономии Разберри мигало Бензенхаверу, точно неоновая реклама.

— Молчи, Разберри, — велел брату Уэлдон. Бензенхавер, не глядя на Уэлдона, заметил помощнику шерифа:

— А если вон тот еще раз откроет пасть, отстрели ему яйца. Прямо здесь. Чтобы напрасно его в госпиталь не таскать. — Теперь оставалось только уповать на Бога, чтобы помощник шерифа не оказался настолько глуп и не понял его приказ буквально.

— Ее Орен увез, — сказал вдруг Разберри. — Он черный грузовик взял.

— Куда он ее увез? — спросил Бензенхавер.

— Не знаю. Покататься, наверно, — сказал Разберри.

— С ней все было в порядке, когда они отсюда уезжали? — спросил Бензенхавер.

— Ну, вроде бы да, — сказал Разберри. — Я что хочу сказать, вряд ли Орен ей уже что-нибудь плохое успел сделать. Думаю, он даже и *поиметь-то* ее пока что не успел.

— Почему же нет? — спросил Бензенхавер.

— Ну, если он ее уже поимел, — сказал Разберри, — так на фиг ему ее при себе-то держать?

Бензенхавер опять закрыл глаза. И быстро поднялся на ноги.

— Выясните, как давно это произошло, — велел он помощнику шерифа. — Потом *трахните* этот чертов бирюзовый грузовик так, чтобы они не могли на нем уехать! И быстрее несите свою задницу в вертолет.

— А их что же, тут оставить? — удивленно спросил помощник шерифа.

— Естественно! — сказал Бензенхавер. — Времени, чтобы им яйца отрезать, у нас будет еще предостаточно.

Арден Бензенхавер велел пилоту известить полицию, что имя похитителя Орен Рэт и что едет он на черном грузовике, а не на бирюзовом. Это сообщение странным образом по времени почти совпало с другим: патрульная машина штата получила сообщение, что водитель черного грузовика, находящийся в кабине один, ведет себя на дороге самым опасным образом, виляя то вправо, то влево, «да и выглядит так, словно здорово пьян или под кайфом». Патрульные пока не выяснили, что это за машина, потому что искали *бирюзовый* грузовик. Ну а Бензенхавер, конечно, не мог знать, что водитель черного грузовика на самом деле в кабине вовсе не один, что Хоуп Стэндиш лежит на сиденье, уткнувшись головой ему в колени. Однако эта новость еще больше встревожила Бензенхавера; у него прямо мороз по коже прошел: ведь если Орен Рэт в кабине *один,* значит, он уже что-то сделал с бедной женщиной! Бензенхавер гаркнул помощнику шерифа, чтобы тот поторопился. Теперь нужно во что бы то ни стало отыскать черный грузовик, который в последний раз видели на шоссе, пересекающем путаный лабиринт местных проселков возле городка под названием Суит-Уэллс.

— Знаете, где это? — спросил Бензенхавер.

— Конечно!

Они снова поднялись в воздух и снова проплыли над огромным загоном, где в панике метались свиньи. Несчастная, напичканная лекарствами свиноматка лежала на том же месте, где они ее увидели в первый раз. А братья Рэт катались по земле и дрались, похоже, не на жизнь, а на смерть. И чем выше и дальше от них отлетал вертолет, тем больше мир Ардена Бензенхавера входил в свои разумные пределы. Только когда крошечные фигурки Рэтов стали всего лишь движущимися точками и только когда он оказался достаточно далеко от их крови и страха и услышал, как помощник шерифа говорит, что Разберри мог бы запросто врезать этому Уэлдону, если бы не разнюнился и не испугался, — только тогда Бензенхавер наконец рассмеялся. Так, как смеялся в Толидо: с абсолютно невозмутимым выражением лица.

— Они *животные,* — сказал он помощнику шерифа, который, несмотря на жестокость, обычно свойственную столь молодым людям, и цинизм начинающего полицейского, был, похоже, несколько ошеломлен увиденным. — Если они даже убьют друг друга, — сказал Бензенхавер, — ничего страшного не случится; подумай,

например, о еде, которую они сожрали бы за свою бессмысленную жизнь и которая теперь достанется относительно нормальным человеческим существам. Подумал?

Тут только помощник шерифа наконец сообразил, что разговоры Бензенхавера о новом законе насчет незамедлительной кастрации за любое сексуальное преступление были выдумкой, но все же не просто выдумкой, ибо Бензенхавер, прекрасно зная, что *такого* закона нет, очень хотел бы, чтобы закон был *именно таким.* Подобными методами Арден Бензенхавер пользовался когда-то в Толидо.

— Господи, что же этот негодяй сделал с несчастной женщиной? — воскликнул вдруг Бензенхавер, уже не скрывая тревоги; он все еще сжимал в руках растерзанный бежевый бюстгальтер. — Сколько этому Орену лет? — спросил он у помощника шерифа.

— Шестнадцать, а может, семнадцать, — ответил тот. — Мальчишка совсем. — Самому помощнику шерифа было от силы года двадцать четыре.

— Ну что ж, если он достаточно взрослый, чтобы *так* использовать свой член, — сказал Арден Бензенхавер, — значит, достаточно взрослый и

для того, чтобы этот член ему и отчикать!

Но куда же мне ударить его ножом? — думала Хоуп. Теперь она удобно обхватила рукой длинный и острый рыбацкий нож, чувствуя, как сильно пульсирует в ладони кровь; ей даже казалось, что это бьется сердце самого ножа. Очень медленно и осторожно она подняла руку и положила ее на краешек сиденья рядом со своим бедром, где хотя бы краешком глаза могла взглянуть на лезвие. И какой стороной лучше резать — зазубренной или той, ужасно острой на вид? Господи, как же таким ножом убивают человека?! По соседству с потной извивающейся задницей Орена Рэта этот нож казался ей холодным и далеким чудом. Интересно, я должна нанести режущий удар или просто пырнуть его острием? Хорошо бы это знать, думала она. Обе свои горячие ладони Рэт подсунул ей под ягодицы, приподнимая ее, дергая на себя. Подбородок он воткнул в ямку возле ее ключицы и давил, точно острый тяжелый камень. Потом вдруг Хоуп почувствовала, что одна его рука выскользнула из-под нее и, пошарив по полу, пальцами царапнула руку, в которой она держала нож…

— Двигайся же! — проворчал он. — Сказано — двигайся! — Она попыталась выгнуть спину,

но не смогла; потом попыталась сдвинуть бедра поплотнее, но и это не удалось. Он скакал на ней в своем собственном, весьма странном ритме, надеясь на какое-то последнее движение, которое поможет ему кончить. Одна его рука теперь полностью охватывала всю нижнюю часть ее спины, другая скребла пол кабины.

И тут она поняла: он ищет нож. И как только его пальцы нашарят пустые ножны, она пропала.

— А-а-а! — закричал он.

Быстрей! — сказала она себе. Между ребрами? Или вбок? А потом с силой потянуть вверх… Или лучше вниз?

И так сильно нажать, как только хватит сил. Нет, лучше между лопатками, чтобы лезвие достало до легкого, чтобы она собственной грудью почувствовала острие ножа, проткнувшего его насквозь… Хоуп взмахнула рукой над изогнувшейся в последних конвульсиях спиной Рэта и увидела, как маслянисто блеснул нож и как его рука вдруг дернула пустые джинсы к рулю.

Он попытался сползти с нее, но нижняя часть тела ему не повиновалась, точно заколдованная тем ритмом, который он так долго искал; его ляжки содрогались, грудь то приподнималась, отрываясь от ее груди, то снова опускалась, ладони

тяжело давили ей на плечи. Потом его большие пальцы вдруг поползли к ее горлу.

— Где мой нож? — хрипло спросил он. Голова его моталась вверх-вниз как бы сама по себе, но пальцы уже смыкались у Хоуп под подбородком, задирая его вверх.

И тогда она воткнула нож прямо в его бледную задницу. Он никак не мог перестать скакать на ней, хотя его тупой мозг уже подавал ему сигналы, что есть дела и поважнее.

— Где мой нож? — снова спросил он. И Хоуп, толком не успев понять, как это произошло, извернулась и рубанула гладкой и острой стороной лезвия ему по горлу. В первое мгновение никакой раны она не увидела, только чувствовала, что он по-прежнему ее душит. Затем он потянулся одной рукой к собственному горлу, скрыв от нее ужасную рану, которую она так рассчитывала увидеть, и она заметила, что сквозь его пальцы течет кровь. Потом он вдруг отнял руку от горла — в поисках ее руки, в которой был *нож*, — и тут из страшной раны на нее потоком хлынула кровь, и она услышала звук, какой возникает, когда соломинкой высасываешь остатки напитка с самого дна стакана. И почувствовала, что снова может дышать. Где же его вторая рука? — по-

думала она почему-то. И увидела, что обе руки Орена Рэта, отвалившись от нее, бессильно упали на сиденье и странно дергаются, точно крылья испуганной птицы.

Она снова воткнула в него длинное лезвие — чуть выше талии, думая, что, может быть, именно там находится почка, потому что лезвие вошло в плоть очень легко и так же легко вышло оттуда. Орен Рэт вытянулся с нею рядом, прижавшись щекой к ее щеке, точно ребенок. Он бы, наверное, закричал, если бы первый удар начисто не перерезал ему гортань и голосовые связки.

Теперь Хоуп попробовала воткнуть нож повыше, но наткнулась на что-то твердое, наверное на ребро; она еще несколько раз потыкала в этом месте, но, не удовлетворившись результатом, извлекла нож, который почему-то вошел в его плоть всего на несколько дюймов. Теперь Орен Рэт отчаянно бился, снова взобравшись на нее, словно хотел с нее слезть и не мог, хотя тело и посылало ему отчаянные сигналы, но сигналы эти как бы не достигали цели. Ему удалось почти что сесть, привалившись к спинке сиденья, однако голова у него не держалась, а пенис, который все еще двигался, все еще жил своей собственной жизнью, тянул его назад, к Хоуп.

Она воспользовалась преимуществом такой его позы и ткнула ножом прямо ему в живот. На этот раз лезвие вошло очень легко, чуть сбоку, и вспороло плоть своего хозяина почти до самого пупка, превратив его внутренности в кровавую кашу. Тело Орена бессильно рухнуло на Хоуп, и его рука крепко сжала ее кисть, поймав ее словно в ловушку. Но высвободить руку с ножом оказалось совсем нетрудно: и ее рука, и нож были в чем-то скользком и легко вышли из ловушки. Это явно было связано с последним ударом в живот и *содержимым* его кишечника. Хоуп чуть сознание не потеряла от кошмарного запаха. И безвольно выронила нож на пол.

Орен Рэт опрастывался квартами, галлонами. Хоуп даже показалось — а он по-прежнему лежал на ней, — что он становится гораздо легче. Теперь тела у них стали до того скользкими, что она легко вывернулась из-под него, перевалила его на спину и скорчилась на полу кабины, залитом кровью и всякой дрянью. С ее волос капала кровь — его кровь из страшной раны на горле. Стоило ей моргнуть, и ресницы тут же прилипли к щекам. Одна рука Орена Рэта непроизвольно дернулась, и Хоуп, шлепнув по ней, сказала:

— Прекрати, прекрати немедленно! — Потом у

него дернулось колено, и она повторила: — Прекрати!

В лицо ему она смотреть не могла. На фоне темной слизи, которой был залит его живот, белый полупрозрачный презерватив на обвисшем пенисе походил на пленку застывшей жидкости, совершенно чуждой человеческому организму. Хоуп вдруг вспомнила зоопарк и комок верблюжьей слюны на своем алом свитере.

Его яйца вдруг снова ожили, напряглись, и это ее разозлило. «Прекрати же!» — прошипела она. Яички были маленькие, круглые и твердые; потом они как-то раскисли.

— Ну, *пожалуйста,* прекрати! — шептала она. — Пожалуйста, умирай!

Послышался легкий выдох, как будто он чуть-чуть, совершенно случайно выпустил немножко воздуха из легких и не счел даже нужным снова вдохнуть. Но Хоуп все еще не верила в его смерть и некоторое время сидела рядом, скрючившись и слушая, как колотится ее собственное сердце, а потому все время путая его биение с биением сердца Рэта. Только потом она поняла, что на самом деле он умер весьма быстро.

Из открытой дверцы грузовика торчали чистые белые ступни Орена Рэта, тощие длинные пальцы

смотрели прямо в небо. Кровь внутри раскаленной, как духовка, кабины начала свертываться. Все слипалось. Хоуп Стэндиш чувствовала, как волоски у нее на руках превращаются в настоящие колючки. Все, что было мокрым и скользким, быстро становилось липким и вязким.

Мне бы надо одеться, думала Хоуп. Но с погодой что-то явно было не так.

Из окна кабины она видела, что солнце отчего-то подмигивает — так подмигивает лампа, просвечивая сквозь вращающиеся лопасти большого вентилятора под потолком. И гравий на обочине дороги шуршал и поднимался вверх странными маленькими смерчиками, и сухие прошлогодние початки и стебли кукурузы тучей взметались над плоским голым полем, словно от очень сильного ветра. Но ветер почему-то дул совершенно вертикально, сверху вниз! А шум! Гудело так, словно по шоссе только что промчался огромный грузовик, но ни одной машины она по-прежнему не видела.

Так это торнадо! — догадалась Хоуп. Она ненавидела Средний Запад с его странной погодой. Она родилась на Восточном побережье и хорошо знала, что такое ураган. Но торнадо! Она пока не видела ни одного, но почти во всех сводках

погоды здешних жителей вечно предупреждали, что «следует ожидать торнадо». А чего его ожидать-то? — всегда думала она. Неужели ради этих завываний и завихрений? И летающих в воздухе комьев земли? И ставшего коричневым солнца?

Хоуп так рассердилась, что стукнула Орена Рэта по холодному липкому бедру. После того, что она пережила, после того, как ей удалось *выжить*, на нее обрушится еще и какой-то паршивый торнадо! Грохот стоял такой, словно товарный поезд подмял под себя застрявший на переезде грузовик. Хоуп представила себе, как с неба опускается гигантская воронка, в которую уже попали и другие грузовики, и легковушки, и ей почему-то слышно, как работают их моторы. В открытую дверь залетали песчаные вихри; песок лип к ее телу, покрытому точно глазурью, подсохшей кровью; она потянулась за платьем и обнаружила, что у платья нет рукавов — оторваны; ладно, и так сойдет.

Но, чтобы надеть платье, нужно сперва вылезти из грузовика. В кабине, рядом с телом Рэта и лужами его крови и дерьма, просто негде повернуться, а теперь все это еще и покрывалось коркой песка, налетевшего с обочины. Впрочем, снаружи ветер, без сомнения, вырвет платье у нее

из рук, и тогда она голой вознесется к небесам.

— Мне ничуть не жаль, — сперва прошептала она, а потом пронзительно выкрикнула: — *Ничуть не жаль!* — и еще раз ударила мертвого Рэта.

И тут раздался голос, ужасный, невероятно громкий, точно доносившийся из громкоговорителя и заставивший ее задрожать с головы до ног:

— ЕСЛИ ТЫ ЗДЕСЬ, ВЫХОДИ! РУКИ НА ГОЛОВУ И ВЫХОДИ! ПОТОМ ЗАЛЕЗАЙ В КУЗОВ ГРУЗОВИКА И ЛОЖИСЬ ЛИЦОМ ВНИЗ, ЧЕРТ БЫ ТЕБЯ ПОБРАЛ!

Значит, я уже мертва, подумала Хоуп. Я *уже на небесах,* и это голос Бога. Она не была религиозна, однако происходящее показалось ей вполне естественным: если там есть Бог, то у Бога и должен быть такой ревущий, точно из громкоговорителя, голос.

— НЕМЕДЛЕННО ВЫХОДИ ОТТУДА, — сказал Бог. — НЕМЕДЛЕННО!

А что, почему бы и нет? — подумала Хоуп. Эх, великий трахатель, что *еще* можно со мной сделать? Насилие — такое ужасное преступление, которое даже и Богу-то до конца не понять.

Трясясь в вертолете, зависшем над черным грузовиком, Арден Бензенхавер в бешенстве рявкал

в мегафон. Он был уверен, что миссис Стэндиш мертва, но никак не мог определить пол человека, чьи ступни торчали из открытой кабины грузовика. Ступни эти ни разу не шевельнулись, пока вертолет снижался, и казались такими голыми и *обесцвеченными* в ярких солнечных лучах, что Бензенхавер не сомневался: это ноги *мертвеца.* Однако мысль, что мертвецом может оказаться сам Орен Рэт, даже в голову не пришла ни юному помощнику шерифа, ни самому Бензенхаверу.

И все же они никак не могли понять, почему Рэт бросил грузовик, совершив свое злодейское преступление, так что Бензенхавер велел пилоту некоторое время «повисеть» прямо над грузовиком.

— Если он все еще там, вместе с нею, — сказал Бензенхавер помощнику шерифа, — то, может быть, мы хотя бы напугаем этого ублюдка до смерти.

Когда Хоуп Стэндиш выбралась из-под мертвого Орена Рэта и присела возле кабины, пытаясь защитить глаза от летящего песка, Арден Бензенхавер почувствовал, что его палец немеет на кнопке мегафона. Хоуп старалась прикрыть лицо подолом платья, но оно хлопало и билось на ветру, словно порванный парус. Тогда она встала

и ощупью добрела до заднего борта кузова, вздрагивая от ударов гравия, который тут же прилипал к телу в тех местах, где кровь еще не успела как следует высохнуть.

— Это же *та самая женщина!* — сказал потрясенный помощник шерифа.

— Назад! — скомандовал пилоту Бензенхавер.

— Господи, что с ней случилось? — в ужасе вопрошал помощник шерифа.

Бензенхавер, не отвечая, грубо сунул ему в руки мегафон.

— Давай отсюда подальше, тебе говорят! — сердито крикнул он пилоту. — Сажай машину на той стороне дороги.

Хоуп почувствовала, что ветер изменил направление и чудовищная воронка торнадо, видимо, прошла стороной. Она опустилась на колени на обочине дороги. Ожившее было платье, которое ей пришлось прижимать к себе руками, мало-помалу успокаивалось. Но рот она все еще закрывала подолом, потому что буквально задыхалась от пыли и песка.

Рядом остановилась какая-то машина, но Хоуп даже внимания не обратила. Водитель ехал по своей полосе и увидел, что справа от него на обочине стоит черный грузовик, а слева за дорогой

садится вертолет. У борта грузовика окровавленная женщина явно молилась Богу, голая и вся покрытая какой-то странной грязной коркой; она даже головы в его сторону не повернула. Водителю почудилось, что это ангел, возвращающийся после полета в ад, и реакция у него сразу настолько замедлилась, что он успел проехать еще метров сто, прежде чем, к собственному удивлению, круто развернулся, не снижая скорости, в результате чего передние колеса попали на размякшую обочину, машина скользнула через кювет и очутилась прямо на мягком, распаханном под бобы весеннем поле, где и увязла по самые бамперы, так что бедолага даже дверь открыть не смог. Он опустил боковое стекло и стал смотреть на дорогу, которая была отделена от него широкой полосой довольно-таки жидкой грязи; он походил на человека, который сидел себе мирно на пирсе, и вдруг этот пирс взял да и оторвался от берега, и теперь его уносит в море.

— Помогите! — закричал он. Вид той женщины сильно напугал его, и он опасался, что поблизости могут оказаться еще такие же, как она, или, что еще страшнее, те, кто сделал с нею такое; вполне возможно, они уже ищут себе новую жертву.

— Господи! — сказал Арден Бензенхавер пило-

ту вертолета. — Видно, придется тебе сходить и посмотреть, все ли у этого идиота в порядке. И почему у нас водительские права выдают кому попало? — Бензенхавер и помощник шерифа выпрыгнули из вертолета прямо на мокрое распаханное поле и угодили в ту же трясину, что и несчастный любопытный водитель. — О, черт бы все это побрал! — выругался Бензенхавер. Помощник шерифа тоже чертыхнулся.

Стоя на дороге, Хоуп Стэндиш впервые по-настоящему увидела в поле двоих сыплющих проклятьями мужчин, которые ковыляли к ней, то и дело увязая в грязи. Вертолет она тоже разглядела: его лопасти замедляли вращение. Еще она увидела какого-то человека, торчавшего, как последний дурак, из окошка собственного автомобиля, но этот тип был довольно далеко. Хоуп через ноги попыталась натянуть на себя платье. Одна пройма была не только лишена рукава, но и располосована по шву, и Хоуп пришлось прижать оторванную полочку локтем, иначе голая грудь вываливалась наружу. Только теперь она почувствовала, до чего изодраны и избиты ее плечи и шея.

Арден Бензенхавер, запыхавшийся и по колено в грязи, вдруг очутился прямо перед нею.

Налипшая грязь сделала его брюки похожими на бриджи.

— Миссис Стэндиш? — спросил он. Она отвернулась и, закрыв лицо руками, кивнула. — Ох, сколько крови… — беспомощно пробормотал он. — Простите, что мы так задержались. Вы ранены?

Она снова повернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Он увидел опухшие глаза, и сломанный нос, и синюю шишку на лбу.

— Это в основном *его* кровь, — сказала Хоуп Бензенхаверу. — Но он меня изнасиловал. Вон там.

Бензенхавер вытащил носовой платок; похоже, он хотел помочь ей вытереть лицо — как взрослый вытирает перепачканный ротик ребенку, — но потом с отчаянием понял, что *вытереть* ее лицо и тело просто невозможно, и сунул платок обратно в карман.

— Простите, — снова сказал он. — Мне очень, очень жаль! Мы спешили как могли… Мы видели вашего малыша: с ним все в порядке.

— Мне пришлось взять его член в рот, — сказала ему Хоуп. Бензенхавер закрыл глаза. — А потом он трахал и трахал меня без конца… А после этого собирался меня убить — он сразу сказал мне, что после непременно меня убьет. И потому

мне самой пришлось убить его. И я ничуточки не жалею!

— Еще бы! — сказал Бензенхавер. — Вы и *не должны* жалеть, миссис Стэндиш! По-моему, вы поступили совершенно правильно.

Она устало кивнула и уставилась на свои ноги. Потом протянула Бензенхаверу руку, оперлась на его плечо, хотя была немного выше ростом, и прислонилась к нему, положив голову ему на плечо, для чего ей пришлось немного согнуться.

Только тут Бензенхавер вспомнил о помощнике шерифа; тот уже успел слазить в кабину грузовика, взглянул на Орена Рэта и после этого заблевал весь капот грузовика, ничуть не стесняясь пилота, который как раз переводил через дорогу потрясенного водителя злосчастной машины, увязшей на бобовом поле. Помощник шерифа, лицо которого стало таким же бесцветным, как залитые солнцем мертвые ступни Орена Рэта, твердил, что Бензенхаверу надо пойти и посмотреть, но Бензенхаверу прежде всего хотелось хоть немного успокоить миссис Стэндиш.

— Значит, вы убили его после того, как он вас изнасиловал? — спросил он ее осторожно. — Наверное, когда он расслабился и перестал обращать на вас внимание, да?

— Нет, *во время,* — прошептала она ему в шею. От нее исходила такая ужасная вонь, что Бензенхавер едва стоял на ногах, но не отстранялся, не отворачивал лицо, чтобы расслышать ее слабый голос.

— Вы хотите сказать — *в то время,* как он вас насиловал, миссис Стэндиш?!

— Да, — еле слышно выдохнула она. — Он был еще во мне, когда я добралась до ножа. Он у него в штанах был, на полу, и он собирался им воспользоваться, как только кончит. Так что *пришлось*…

— Ну конечно, конечно, — сказал Бензенхавер. — Конечно же вам пришлось это сделать, и подробности не имеют значения… — Ему хотелось сказать, что этого мерзавца следовало убить в любом случае — даже если бы он и не собирался убить ее. Для Ардена Бензенхавера не было преступления страшнее, чем изнасилование; даже убийство казалось ему преступлением не столь тяжким, за исключением, пожалуй, убийства ребенка. Но об этом он знал меньше, у него не было своих детей.

Он был женат семь месяцев, когда трое юнцов изнасиловали его беременную жену в прачечной-автомате, пока он ждал ее в машине. Эти мерзавцы сунули ее головой в одну из больших

автоматических сушилок, так что она могла только кричать, путаясь в горячих простынях и наволочках, и слушать собственные крики, эхом отдающиеся от стенок металлического барабана. Руки ее они тоже засунули в сушилку, так что она была абсолютно беспомощна. Откидная дверца сушилки, снабженная мощной пружиной, подпрыгивала с нею вместе под каждым из этих троих, хотя она, возможно, старалась не шевелиться. Мальчишки, разумеется, понятия не имели о том, что насилуют жену начальника полиции. И даже самое яркое освещение на улицах в центре Толидо субботней ночью не могло ее спасти.

Молодые супруги Бензенхавер были ранними пташками. Они вместе отвозили белье в прачечную-автомат по утрам в понедельник, еще до завтрака, а пока белье стиралось, читали газеты. Потом они закладывали выстиранное белье в сушилку и отправлялись домой завтракать. Миссис Бензенхавер забирала белье, когда вместе с мужем ехала в центр города, где размещался полицейский участок. Обычно Бензенхавер дожидался ее в машине, а она заходила внутрь и вынимала сухое белье. Иногда, правда, кто-то другой вытаскивал белье из сушилки, пока они

завтракали, и тогда миссис Бензенхавер приходилось снова запускать сушилку на несколько минут. Но Бензенхавер непременно ждал ее. Они предпочитали делать все это с утра пораньше, потому что в такое время в прачечной редко бывали другие посетители.

Только заметив, как из прачечной выходят те трое юнцов, Бензенхавер забеспокоился, почему его жена так долго возится с бельем. Но насильникам много времени не требуется. Вбежав в прачечную, Бензенхавер увидел ноги жены, торчавшие из сушилки; туфли свалились у нее с ног. Это были далеко не первые *мертвые* ноги, которые он видел в жизни, но именно эти ноги были для него важнее всего на свете.

Она задохнулась в собственном чистом белье, а может быть, собственной рвотой, когда ее стошнило, но те трое явно не собирались ее убивать. Ее смерть была случайностью, и во время следствия и суда особо подчеркивалась *непреднамеренность* убийства. Адвокат так и сказал: мальчики хотели «всего лишь изнасиловать миссис Бензенхавер, а не изнасиловать и убить». И Ардена Бензенхавера взбесило именно это выражение: «всего лишь изнасиловать», словно взятое из фразы: «Она была всего лишь изнасилована,

счастливица! Какое чудо, что ее не убили!»

— Хорошо, что вы его убили, — шепнул он Хоуп Стэндиш. — Мы бы все равно не смогли наказать его должным образом. Во всяком случае, так, как он заслуживал. Вы молодец! Вы все сделали правильно.

Хоуп ожидала от полиции совсем иного отношения к себе и гораздо более строгого расследования. Во всяком случае, более недоверчивого полицейского и, безусловно, совершенно не похожего на Ардена Бензенхавера. И она была благодарна Ардену Бензенхаверу уже за то, что он оказался человеком пожилым, явно за шестьдесят, явно уже далеким от всяких мыслей о сексе — он годился ей в дядюшки, а то и в дедушки. Она сказала, что ей лучше, что все в порядке, а когда наконец выпрямилась и отстранилась от него, то увидела, что испачкала ему кровью воротник рубашки и щеку, но Бензенхавер или не заметил, или ему было не до того.

— Ладно, давай показывай, — сказал Бензенхавер помощнику шерифа, но сперва опять ласково улыбнулся Хоуп. И молодой человек повел его к кабине грузовика.

— О господи! — причитал водитель увязнувшего автомобиля. — Господь всемогущий, взгляни,

что же такое творится? Нет, вы только посмотрите! По-моему, это его печень? Разве печень выглядит не так?

Пилот вертолета только крякнул в немом изумлении, и Бензенхавер, схватив обоих за плечи, довольно грубо отвел прочь от грузовика. Они двинулись было к заднему борту кузова, где приходила в себя Хоуп, но Бензенхавер прошипел:

— Держитесь подальше от миссис Стэндиш! И от грузовика тоже. Ступайте и сообщите в участок, где мы находимся, — сказал он пилоту. — Здесь понадобится карета «скорой помощи» или, скорее, труповозка. А миссис Стэндиш мы с собой заберем.

— Да его же в пластиковый мешок собирать придется! — сказал помощник шерифа, указывая на Орена Рэта. — Она же его буквально на куски раскромсала!

— Я и сам прекрасно вижу, — сказал Арден Бензенхавер и, заглянув в кабину, восхищенно присвистнул.

Помощник шерифа с любопытством посмотрел на него и спросил:

— Он что, как раз *этим* занимался, когда она…

— Вот именно! — оборвал его Бензенхавер и преспокойно сунул руку в ужасное месиво возле

педали газа. Он искал на полу возле пассажирского сиденья тот самый нож. Нашел, внимательно его осмотрел, а потом, завернув в платок, сунул в карман.

— Послушайте, — прошептал пилот тоном заговорщика, — вы когда-нибудь видели, чтобы насильник надевал презерватив?

— Встречается это действительно нечасто, — спокойно сказал Бензенхавер, — однако такие случаи отмечены.

— Мне это тоже показалось странным, — сказал помощник шерифа. Он изумленно смотрел, как Бензенхавер перевязывает кондом, снимает его, не пролив ни капли, и смотрит на свет. Презерватив был надут, точно теннисный мяч. Но не протекал. Он был полон крови.

Бензенхавер с чрезвычайно довольным видом завязал конец презерватива узлом, словно воздушный шарик, и зашвырнул далеко в бобовое поле, так что он исчез из виду.

— Я не желаю, чтобы кому-нибудь пришло в голову, что это могло *не быть* изнасилованием, — ласково сказал Бензенхавер помощнику шерифа. — Понятно?

Ответа он ждать не стал, повернулся и пошел за грузовик к миссис Стэндиш.

— Сколько ему было лет… этому парню? — спросила Хоуп.

— Вполне взрослый, — ответил Бензенхавер. — Лет двадцать пять или двадцать шесть. — Он не хотел, чтобы хоть какая-то мелочь смутила эту женщину, умалила ее героизм — особенно в его глазах. Он махнул рукой пилоту, подзывая его к себе, и они вместе помогли миссис Стэндиш сесть в вертолет. Потом Бензенхавер подошел к помощнику шерифа: предстояло кое-что с ним выяснить. — Вы останетесь здесь с убитым и этим горе-водителем, — сказал он.

— Я хороший водитель! — возмутился этот бедолага. — Господи, если бы вы только видели эту даму там, на дороге…

— И никого к грузовику не подпускайте, — словно не слыша его, продолжал Бензенхавер.

На дороге валялась рубашка, принадлежавшая мужу миссис Стэндиш; Бензенхавер подобрал ее и рысцой поспешил к вертолету, маленький, толстенький, смешно переваливаясь на ходу. Оставшиеся двое смотрели, как он забирается в вертолет и вертолет поднимается в небо. Нежаркое весеннее солнце, казалось, улетело вместе с ним, и мужчинам у грузовика вдруг стало холодно и неуютно, но деться им было некуда.

Прятаться от ветра в грузовике им и в голову не приходило, а чтобы забраться во вторую машину, пришлось бы сперва долго месить грязь на поле. Они все-таки пошли к грузовику, открыли задний борт и сели в кузов.

— А он позвонит, чтобы приехал тягач за моей машиной? — спросил водитель-бедолага.

— Вполне возможно, что и забудет, — сказал помощник шерифа. Думая о Бензенхавере, он восхищался им и почему-то его побаивался; а еще он думал, что Бензенхаверу нельзя полностью доверять. Некоторые вопросы, касавшиеся законности, помощник шерифа никогда прежде не подвергал сомнению, видимо, потому, что никогда еще с ними не сталкивался. А может, просто не вникал, потому что был вынужден думать сразу о множестве вещей…

Злосчастный автомобилист слонялся по кузову грузовика (чем страшно раздражал помощника шерифа, потому что кузов все время качался и дрожал), старательно обходя грязное одеяло, комком валявшееся в углу ближе к кабине, и мимоходом постепенно расчищая «окошечко» в залепленном грязью заднем стекле кабины; время от времени он украдкой поглядывал туда на окоченевшее выпотрошенное тело Орена Рэта.

Кровь уже высохла, и сквозь загаженное заднее стекло мертвое тело казалось похожим на баклажан — и цветом, и странно блестящей кожей. Наконец он перестал ходить туда-сюда, подошел к помощнику шерифа и сел с ним рядом на край кузова. Теперь встал помощник шерифа, прошел к заднему стеклу кабины и в расчищенный «глазок» посмотрел на изуродованный труп.

— А знаешь, — заметил водитель, — она хоть и перепачкалась в крови и в грязи, все равно сразу было видно, что она действительно очень хорошенькая.

— Да, правда, — согласился помощник шерифа. Заметив, что они уже вместе ходят по кузову, помощник шерифа вернулся на старое место и сел.

— Ты не расстраивайся, — сказал водитель.

— А я и не расстраиваюсь, — сказал помощник шерифа.

— Я ведь не хочу сказать, что способен посочувствовать тому, кто ее изнасиловал, ты же понимаешь? — сказал водитель.

— Я понимаю, — сказал помощник шерифа.

А понимал он, что дел у него со всем этим будет выше крыши, но простодушное признание водителя заставило его понять презрительное, как он считал, отношение к нему Бензенхавера.

— Ты такого небось много видишь, да? — спросил водитель. — У вас, наверное, каждый день всякие там насилия да убийства.

— Достаточно, — веско обронил помощник шерифа. Вообще-то до сегодняшнего дня он ни разу в жизни не видел ни изнасилования, ни убийства так, как увидел их сегодня глазами Ардена Бензенхавера. Да, он увидел насилие и убийство глазами Бензенхавера! Юный помощник шерифа испытывал невероятное смущение, сознавая это, и ему очень хотелось обрести собственную, личную точку зрения.

— Что ж, — сказал водитель, снова заглядывая в заднее стекло кабины, — в армии-то я тоже кое-что повидал, конечно, но такого — никогда!

Помощник шерифа не нашелся, что ответить.

— Это ведь хуже, чем война, — сказал водитель. — Это — как самый страшный военный госпиталь!

Интересно, думал помощник шерифа, может, позволить этому кретину как следует рассмотреть тело Рэта? Если, конечно, это вообще имеет для него значение. А для кого это имеет значение? Может быть, для него самого, помощника шерифа? Но уж конечно же не для Рэта! А что скажут его мерзкие родственнички? И как это воспримет

Бензенхавер?

— Эй, не возражаешь, если я тебе личный вопрос задам? — обратился к нему водитель. — Ты только не расстраивайся, хорошо?

— Задавай, — сказал помощник шерифа.

— Ну вот, — начал водитель, — ты мне скажи, куда резинка-то подевалась, а?

— *Какая* резинка? — спросил помощник шерифа; у него самого, возможно, и были кое-какие вопросы насчет здравомыслия Бензенхавера, однако он не сомневался в том, что в данном случае Бензенхавер абсолютно прав. В мире, который он видел глазами Бензенхавера, ни одна тривиальная деталь не должна умалять злостность такого преступления, как изнасилование.

А Хоуп Стэндиш между тем наконец-то почувствовала себя в безопасности — в мире Бензенхавера. Покачиваясь, она плыла над полями, рядом с этим полным пожилым полицейским и изо всех сил старалась подавить тошноту. Она опять начала ощущать собственное тело — чуяла собственный отвратительный запах, порой напоминали о себе ушибы и ссадины. Она испытывала к себе омерзение, но рядом сидел этот милый веселый полицейский, сидел совершенно спокойно и искренне ею восхищался — глубоко тронутый

ее яростным успехом, ее победой в насилии.

— Вы женаты, мистер Бензенхавер? — спросила Хоуп.

— Да, миссис Стэндиш, женат, — сказал он.

— Вы так добры ко мне, так заботливы… — начала было она, — но… извините, кажется, меня сейчас стошнит!

— О, сейчас, сейчас! — воскликнул Бензенхавер и быстренько подхватил с пола пакет из вощеной бумаги. Это был пакет от завтрака пилота, на донышке осталась недоеденная жареная картошка, и от жира пакет стал наполовину прозрачным. Сквозь остатки картошки и донышко пакета Бензенхавер видел собственные пальцы. — Вот, — он протянул ей пакет, — можете прямо сюда.

Ее уже рвало; она взяла у него пакет и отвернулась. Хоуп была уверена, что этот пакет недостаточно велик, чтобы вместить всю мерзость, которая скопилась у нее внутри. Она почувствовала тяжелую твердую руку Бензенхавера — он гладил ее по плечу, по спине, а другой рукой заботливо отвел прядь ее спутанных грязных волос, чтобы не мешали.

— Вот и правильно, — приговаривал он, — нужно все это из себя вытряхнуть, и тогда вам сразу станет гораздо легче.

Хоуп вспомнила, что, когда Ники тошнило, она говорила ему примерно то же самое. Просто потрясающе, думала она, как этот Бензенхавер умудрился даже столь отвратительный процесс превратить в некую победу! Но ей и вправду стало значительно лучше — ритмичное покачивание вертолета так же успокаивало, как и спокойные сухие руки пожилого полицейского, поддерживавшие ее голову и поглаживавшие по спине. Когда пакет наполнился и все-таки лопнул, Бензенхавер сказал:

— Ну вот и отлично, миссис Стэндиш! Ни к чему вам этот пакет. Вертолет принадлежит Национальной гвардии, вот пусть Национальная гвардия его и убирает! В конце концов, для чего существует Национальная гвардия, а?

Пилот вел машину с мрачным выражением лица, делая вид, что абсолютно ничего не слышит.

— Ох и денек у вас был, миссис Стэндиш! — продолжал Бензенхавер. — Ваш муж будет очень вами гордиться! — Но думал Бензенхавер немного иначе: сперва лучше убедиться в этом самому; сперва лучше поговорить с ее мужем. По опыту Ардена Бензенхавера, мужья и другие люди не всегда правильно понимают, что такое изнасилование.

16. Первый убийца

«Что ж такое ты пишешь? — ужасался в письме Гарпу его издатель Джон Вулф. — И еще называешь это первой главой! Да разве к этому можно что-то прибавить? Тут и так чересчур много! И ты в состоянии это продолжить?»

«Я уже продолжаю, — написал ему Гарп. — И ты скоро увидишь продолжение».

— Я не желаю видеть никакого продолжения! — заявил Джон Вулф по телефону. — Пожалуйста, немедленно прекрати! Ну, по крайней мере отложи, а? И вообще, почему бы тебе не отправиться сейчас в какое-нибудь путешествие? Для тебя это было бы очень полезно. Да и для Хелен, я уверен. И Дункан тоже, по-моему, вполне в состоянии поехать с вами.

Но Гарп стоял на своем. Он не только твердил, что «Мир глазами Бензенхавера» непременно превратится в настоящий роман, но и настаивал, чтобы Джон Вулф продал первую главу в какой-нибудь журнал. У Гарпа никогда не было литературного агента; Джон Вулф первый имел дело с трудами Гарпа и старался сделать для него

все возможное. Как и для Дженни Филдз.

— *Продать* в журнал? — спросил Вулф.

— Да, продать, — сказал Гарп. — Как анонс самого романа.

Так они, собственно, поступали с первыми двумя книгами Гарпа, отрывки из которых были проданы разным журналам. Но сейчас Джон Вулф тщетно пытался объяснить Гарпу, что *эту* главу публиковать *нельзя,* ничего хорошего от подобного анонса ждать не приходится, даже если кто-то будет настолько глуп, что напечатает ее. Гарп, сказал Вулф, приобрел «небольшую, но серьезную» репутацию настоящего писателя и благодаря вполне пристойным рецензиям на первые его два романа сумел завоевать поддержку среди уважаемых людей и «небольшую, но серьезную» аудиторию. К черту эту «небольшую, но серьезную» аудиторию, сказал Гарп, хотя и чувствовал, что Джону Вулфу слышать такое обидно.

— Я бы, пожалуй, предпочел разбогатеть и совершенно не думать о том, что всякие идиоты называют «серьезной литературой», — заявил он Джону Вулфу, отлично понимая, что, конечно, не способен совершенно не думать об этом.

На самом деле Гарп думал, что сможет *купить*

некое уединение, на время совершенно отделив себя от реального и ужасного мира. Ему мерещилось нечто вроде форта, где он, Дункан и Хелен (и новорожденный малыш) смогут жить вдали от всяких приставал и не соприкасаться с так называемым «остальным миром».

— Господи, что у тебя на уме? — спрашивал его Джон Вулф.

Хелен тоже спрашивала об этом. И Дженни. Но Дженни Филдз первая глава «Мира глазами Бензенхавера» действительно *понравилась.* Она считала, что все самые главные вещи расставлены здесь по местам — то есть понятно, кто в данной ситуации настоящий герой, в чем проявляется чувство истинного гнева и истинное преступление. Она находила, что это отличное гротесковое изображение греховности пресловутого «плотского вожделения». Но, если честно, горячий восторг Дженни по поводу первой главы романа вызывал у Гарпа куда больше беспокойства, чем критическое отношение Джона Вулфа. Гарпу более других была известна несостоятельность литературных концепций Дженни Филдз.

— Господи, да ты прочитай повнимательнее *ее* книгу! — часто говорил он Хелен, однако Хелен, как и обещала, не позволяла втягивать себя в

такие споры. И она наотрез отказалась читать новый роман Гарпа.

— С чего это Гарп вдруг так захотел *разбогатеть?* — спрашивал у Хелен Джон Вулф. — В чем дело?

— Не знаю, — отвечала она. — По-моему, он думает, что богатство может его защитить. И всех нас тоже.

— От чего? — изумлялся Джон Вулф. — От *кого?*

— Тебе придется подождать, пока ты не прочтешь всю книгу, — сказал ему Гарп. — Даже дерьмовый бизнес — все-таки бизнес. И в данный момент я пытаюсь воспринимать эту книгу как бизнес, и я хочу, чтобы ты относился к ней так же. И мне все равно, *нравится* она тебе или нет. Я хочу, чтобы ты ее *продал.*

— Но я тебе не какой-то вульгарный книготорговец! — возмущался Джон Вулф. — Да и ты не какой-то вульгарный писателишка. Извини, что приходится напоминать тебе об этом! — Джон Вулф был уязвлен до глубины души и сердился на Гарпа, что тот смеет говорить о бизнесе, в котором он, Джон Вулф, разбирается в тысячу раз лучше, чем Гарп. Но он понимал, что в последнее время Гарпу пришлось несладко, понимал, что

Гарп — хороший писатель, который вполне может написать и другие, куда лучшие (по мнению Вулфа) книги, и, наконец, хотел продолжать издавать его книги.

— Я же сказал, что дерьмовый бизнес — все-таки бизнес. Если, по-твоему, эта книга вульгарна, ты тем более легко ее продашь!

— Но дело ведь не только в этом, — грустно заметил Вулф. — Никто не знает, почему книги распродаются быстрее или медленнее.

— Об этом я уже слышал, — сказал Гарп.

— Ты не имеешь права так разговаривать со мной, — рассердился Джон Вулф. — Я же твой друг! — И Гарп знал, что это чистая правда. Так что он просто повесил трубку и, не отвечая более ни на письма, ни на телеграммы, закончил «Мир глазами Бензенхавера» за две недели до того, как Хелен родила — и помогала ей только Дженни — их третьего ребенка: девочку, избавившую Гарпа и Хелен от споров по поводу мужского имени, которое никоим образом не должно было напоминать имя *Уолт.* Девочку назвали Дженни Гарп, тем самым именем, какое носила бы и Дженни Филдз, если бы некогда потрудилась выйти замуж.

Дженни была страшно рада появлению внучки,

названной в ее честь.

— Но ведь нас будут путать, — предупреждала она. — Два совершенно одинаковых имени в одном доме…

— Я, например, всегда звал тебя «мам», — напомнил ей Гарп. Но не стал напоминать ей, что некий модный модельер уже назвал именем Дженни одно из своих произведений. Целый год это платье пользовалось в Нью-Йорке большой популярностью: простое белое платье, напоминающее халат медсестры, с большим ярко-красным сердцем над левой грудью. ПОДЛИННАЯ ДЖЕННИ ФИЛДЗ — так было написано на ярко-красном сердце.

Когда родилась Дженни Гарп, Хелен ничего не сказала. Хелен испытывала благодарность: впервые со дня той страшной аварии она чувствовала себя свободной от безумного горя, которое сокрушило ее после гибели Уолта.

Роман «Мир глазами Бензенхавера», послуживший Гарпу спасительной отдушиной в период того же безумного отчаяния, уже был переправлен в Нью-Йорк, где Джон Вулф без конца читал его и перечитывал. Он устроил публикацию первой главы в таком «крутом» порножурнале, что был уверен: теперь даже Гарп поймет, что

его книга «обречена». Журнальчик назывался «Фотовыстрелы в промежность» и пестрел изображениями тех самых «мокрых бобров со вспоротым брюхом»; между ними и поместился страстный рассказ Гарпа о зверском изнасиловании и зверском, но безусловном отмщении. Сперва, правда, Гарп обвинил Джона Вулфа, что тот нарочно сунул первую главу в этот «паршивый» журнал, даже не попытавшись отдать ее в журналы получше. Но Вулф заверил Гарпа, что перепробовал *все* журналы, что этот был в его списке последним и что все редакторы интерпретировали написанную Гарпом историю как исключительно, патологически страшную и трагическую историю насилия и убийства, не имеющую никакой искупительной ценности.

— Но ведь моя история совсем о другом! — сказал Вулфу Гарп. — Вот увидишь.

Хотя мысленно он часто возвращался к первой главе своего романа, опубликованной в порножурнале. Интересно, думал он, а те, кто покупает подобные журналы, вообще читают напечатанные там слова?

«Возможно, они все же кое-что и читают — после того как закончат мастурбировать, глядя на замечательные картинки», — писал по этому

поводу Гарп Джону Вулфу. Интересно, думал он, а это подходящее настроение для чтения? Во всяком случае, после мастурбации такой читатель достаточно расслаблен и, по крайней мере, находится в одиночестве («А что, вполне подходящее состояние для чтения», — писал далее Гарп). Но вдруг даже в таком состоянии читатель журнала испытает и чувство вины, и чувство оскорбленного достоинства, и сокрушительную для него *ответственность* за происходящее вокруг? (А это уже *не столь* подходящее состояние для чтения, думал Гарп.) Во всяком случае, он хорошо знал, что это не очень подходящее состояние для того, чтобы *писать*.

«Мир глазами Бензенхавера» посвящен несбыточному желанию Дорси Стэндиша защитить свою жену и ребенка от жестокого мира. Арден Бензенхавер (который вынужден уйти на пенсию из-за регулярного нарушения общепринятых полицейских правил) нанят Стэндишем в качестве вооруженного охранника или, точнее, вооруженного дядюшки, и живет в доме Хоуп, постепенно превращаясь во всеми любимого члена семьи. Но в итоге именно его, своего верного телохранителя, Хоуп вынуждена отвергнуть. Хотя самое плохое, что есть в мире, с нею уже

случилось, не она, а ее муж *боится* этого мира больше всего. Когда Хоуп все же удается настоять на своем и Бензенхавер покидает их дом, Дорси Стэндиш продолжает поддерживать старого полицейского, видя в нем как бы ангела-хранителя их семьи. Дорси платит Бензенхаверу за то, чтобы он хвостом таскался за мальчиком, за Ники, однако Бензенхавер — довольно равнодушный и своеобразный тип «сторожевого пса», нередко находящийся под гнетом собственных тяжких воспоминаний, — постепенно начинает представлять собой скорее угрозу для семейства Стэндишей, чем защиту. Он описан Гарпом как человек, «способный оставаться незамеченным на самой кромке светового круга», как отошедший от дел, но весьма своевольный человек, «одной ногой уже в могиле».

Хоуп старается противостоять вечному беспокойству мужа, настаивая на том, что им нужен второй ребенок. Ребенок рождается, однако Стэндиш, похоже, обречен создавать одного параноидального монстра за другим: теперь, несколько успокоившись насчет возможных нападений на жену и детей, он начинает подозревать Хоуп в измене, постепенно осознавая, что измена ранила бы его куда сильнее, чем если бы

Хоуп изнасиловали еще раз. Он сомневается и в своей любви к ней, и в себе самом и с чувством глубокой вины упрашивает Бензенхавера последить за Хоуп и узнать, не изменяет ли она ему. Но Арден Бензенхавер отказывается выполнять безумные задания Дорси и говорит, что был нанят защищать семейство Стэндишей от возможной угрозы извне и не намерен ограничивать свободу членов семьи жить так, как им хочется. Лишившись поддержки Бензенхавера, Стэндиш впадает в панику. Однажды вечером, оставив дом (и детей) без присмотра, он отправляется шпионить за женой. В его отсутствие младший ребенок, подавившись кусочком жевательной резинки, которую он стащил у Ники, задыхается и умирает.

Вина Дорси растет. В романах Гарпа вина героя всегда только возрастает. Виновата и Хоуп — она действительно с кем-то встречалась в тот вечер (хотя кто посмеет бросить в нее камень?). Бензенхавер с его патологической ответственностью глубоко страдает, и у него случается инсульт. Частично парализованный, он снова переезжает к Стэндишам, ибо Дорси чувствует себя в ответе за него. Хоуп настаивает на третьем ребенке, однако последние события сделали Стэндиша абсолютно

стерильным, и он соглашается, чтобы Хоуп попросила своего любовника «сделать ее беременной» (именно так выражается Дорси Стэндиш). (По иронии судьбы, именно эту часть романа Дженни Филдз назвала «несколько неестественной».)

И снова Дорси Стэндиш «ищет контролируемую ситуацию — скорее ставя лабораторный эксперимент над жизнью, чем пытаясь жить нормально», как пишет Гарп. Хоуп не в состоянии приспособиться к подобной клинической ситуации: у нее либо есть любовник, либо его нет. Но Дорси настаивает, чтобы она встречалась с любовником ради единственной цели: «стать беременной», и пытается контролировать все — место встреч, их количество и продолжительность. Подозревая, что Хоуп встречается с любовником еще и тайно, Стэндиш убеждает впавшего в старческий маразм Бензенхавера, что рядом с их домом появился некий бродяга, потенциальный похититель детей и насильник.

Мало того, Дорси начинает предпринимать внезапные «набеги» на свой собственный дом (появляясь там в такое время, когда его никто не ждет); ему ни разу не удается застать Хоуп за чем-либо предосудительным, зато Бензенхавер, беспощадный в своем старческом маразме, ловит

самого Дорси. Став инвалидом, Арден Бензенхавер на редкость подвижен в своем кресле-каталке и передвигается совершенно бесшумно; и он по-прежнему очень хитер и «весьма неортодоксален» в способах борьбы с преступниками. В итоге Бензенхавер стреляет в Дорси Стэндиша из дробовика с расстояния менее шести футов, когда Дорси, спрятавшись в шкафу жены, ждет, что она позвонит из спальни любовнику. Разумеется, этот безумец вполне заслуживает, чтобы его застрелили.

Итак, раны его смертельны. Ардена Бензенхавера, полностью лишившегося рассудка, увозят в сумасшедший дом. Хоуп беременна, она ждет ребенка от своего любовника. Когда этот ребенок рождается, Ники — ему уже двенадцать — наконец-то чувствует себя полностью освобожденным от напряжения, которое царило в его семье все его детство. Паранойя Дорси Стэндиша, уродовавшая жизнь всех членов семьи, наконец-то покинула дом вместе с покойным. Хоуп и дети продолжают жить и даже с веселым добродушием относятся к нелепым проповедям старого Бензенхавера, которого смерть никак не берет. Он тоже продолжает жить, и вместе с ним живет его кошмарная версия окружающего мира, который он видит

теперь только из своего инвалидного кресла в доме престарелых для безумцев-преступников. Таким образом, он оказывается там, где ему быть и подобает. Хоуп с детьми часто навещают его, и не просто по доброте — ибо они действительно добры, — но также затем, чтобы напомнить себе о том, сколь бесценны жизнелюбие и здравомыслие. Стойкость Хоуп и то, что двое ее детей живы и счастливы, делают даже бредовые измышления старого Бензенхавера, с точки зрения Хоуп, вполне терпимыми и порой даже комическими.

Странный дом престарелых, где живут исключительно выжившие из ума преступники, между прочим, весьма похож на больницу для «раненых» женщин, устроенную Дженни Филдз в Догз-Хэд-Харбор.

И дело не столько в том, что «мир, увиденный глазами Бензенхавера», устроен неправильно или неправильно понят, сколько в том, что он непропорционален потребностям обычного мира в чувственных удовольствиях, в душевном тепле и способностям этого мира тоже давать тепло. Дорси Стэндиш также «не вполне от мира сего»; он слишком уязвим в той *деликатности,* с какой любит свою жену и детей; он воспринимается — вкупе с Бензенхавером — как человек, «не очень

хорошо приспособленный для жизни на этой планете», где более всего ценится неуязвимость.

Хоуп и, как надеется читатель, ее дети имеют, пожалуй, несколько больше шансов выжить в этом мире. Роман как бы косвенно подтверждает тезис, что женщины вообще лучше мужчин способны переносить страдания, страх и жестокость, отдавая себе отчет, насколько мы уязвимы для людей, которых любим. Хоуп воспринимается как сильная личность, способная выжить в условиях мира, созданного слабыми мужчинами.

Джон Вулф сидел в Нью-Йорке и думал, что «нутряная» реалистичность языка Гарпа и яркость созданных им образов все же избавят книгу от ярлыка примитивной мыльной оперы. Однако, думал Вулф, с тем же успехом можно было бы назвать эту книгу «Озабоченность жизнью»; получился бы отличный телесериал — из тех, что показывают в дневное время; а если над сценарием как следует поработать, сериал отлично подошел бы для инвалидов, людей пожилых и дошкольников. И Джон Вулф сделал вывод, что «Мир глазами Бензенхавера», несмотря на «нутряную» реалистичность языка и прочие достоинства, — первоклассная мыльная опера.

Позднее и Гарп волей-неволей согласится с ним

и скажет, что это самая плохая его работа. «Впрочем, наш ублюдочный мир и первые две мои работы не удостоил похвалы, — писал он Джону Вулфу. — Так что я был просто обязан написать то, что этому миру по вкусу».

Беспокойство Джона Вулфа, безусловно, имело серьезные причины: у него не было уверенности, сумеет ли он оправдать публикацию такой книги. Впрочем, с книгами, к которым он не испытывал особой приязни, Джон Вулф использовал особую систему проверки, которая редко его подводила. В своем издательском доме он славился среди коллег списком книг, которым заранее предсказал чрезвычайную популярность у читателей. Когда Вулф говорил, что та или иная книга станет популярной — независимо оттого, хорошая она, достойная или нет, — он почти всегда бывал прав. Конечно, многие книги становились популярными и без его предсказаний, но ни одна из тех, которым он предрекал популярность, никогда непопулярной не оказывалась.

И никто не знал, как ему это удается.

Впервые он предрек такую судьбу книге Дженни Филдз, а потом каждые год-два делал это для самых разных, но каждый раз весьма неординарных книг.

В издательском доме работала одна женщина, как-то сказавшая Джону Вулфу, что никогда не читала книги, которая не вызвала бы у нее желания немедленно прекратить чтение и отправиться спать. Таким образом, она как бы бросила перчатку Джону Вулфу, истинному любителю книг; и в течение многих лет он давал этой женщине разные книги — как хорошие, так и плохие. Но все они оказались похожи друг на друга тем, что неизменно ее усыпляли. Она просто не любила читать, как сама честно и призналась, однако Джон Вулф не сдавался. Больше никто в издательстве никогда не предлагал этой женщине что-нибудь прочитать, никогда не поинтересовался ее мнением *о чем бы то ни было.* И она бродила по издательству, где грудами лежали книги, и воспринимала их так, словно это не книги, а полные окурков пепельницы и ей, некурящей, приходится эти пепельницы вытряхивать. Она действительно была простой уборщицей. И каждый день вытряхивала пепельницы и мусорные корзины, убирала в кабинетах, когда их обитатели по вечерам уходили домой, и каждый понедельник пылесосила ковры в коридорах, а каждый вторник тщательно протирала выставочные стенды; среду она посвящала

уборке рабочих столов секретарей; по четвергам скребла душевые и уборные, а по пятницам распрыскивала во всех помещениях освежитель воздуха — чтобы за выходные, как она говорила Джону Вулфу, издательский дом пропитался приятным запахом на всю следующую неделю. Джон Вулф наблюдал за ней много лет и ни разу не видел, чтобы она брала в руки книгу, — порой она лишь мельком смотрела на них.

Когда он спрашивал ее о книгах и она говорила ему до чего ей не нравится их читать, он продолжал приучать ее к чтению, испытывая на ней книги, в которых не был уверен, а также те, в которых был уверен целиком и полностью. Но она упрямо твердила, что книги ей не нравятся, и Джон Вулф уже почти решил сдаться и оставить ее в покое, когда ему пришло в голову дать ей рукопись «Сексуально подозреваемой», автобиографии Дженни Филдз.

Уборщица буквально за одну ночь проглотила толстенную рукопись и спросила у Джона Вулфа, нельзя ли ей, когда книга выйдет, иметь собственный экземпляр, чтобы читать и перечитывать снова.

После этого случая Джон Вулф всегда интересовался ее мнением. И она его не разочаровывала.

Большая часть книг ей, правда, по-прежнему не нравилась, но уж если что-то нравилось, то Джон Вулф был уверен, что практически любой человек обязательно хоть раз прочтет эту книгу!

«Мир глазами Бензенхавера» он дал уборщице почти не задумываясь. Но дома все выходные думал об этом, даже хотел позвонить ей и сказать, чтобы она и не пробовала читать ту книгу. Он хорошо помнил первую главу и совсем не хотел оскорблять достойную женщину, которая была чьей-то бабушкой и (разумеется) матерью. И в конце концов, она понятия не имела, что *платят* ей именно за чтение всего того барахла, которое подсовывает ей Джон Вулф. Что жалованье у нее было прямо-таки огромное (во всяком случае, для простой уборщицы), знал только Джон Вулф. Сама она полагала, что *все* хорошие уборщицы получают хорошее жалованье, и точка.

Звали ее Джилси Слопер, и Джон Вулф с изумлением отметил, что во всей телефонной книге Нью-Йорка нет ни одного Дж. Слопера. Очевидно, Джилси любила разговаривать по телефону не больше, чем читать книги. Джон Вулф даже записал себе: в первую очередь, прямо в понедельник, извиниться перед Джилси. Остаток совершенно испорченных выходных он провел в раздумьях

над тем, какие подобрать слова, чтобы сказать Т.С. Гарпу, что публиковать «Мир глазами Бензенхавера» не стоит — как в его личных интересах, так, безусловно, и в интересах издательства.

Для него это были тяжелые два дня, потому что Джон Вулф любил Гарпа, верил в Гарпа и знал, что у Гарпа нет таких друзей, которые способны убедить его не ставить себя в затруднительное положение — для чего, собственно, друзья и существуют. А Элис Флетчер так любила Гарпа, что с восторгом приняла бы каждое его слово — или же просто промолчала бы. Роберта Малдун тоже дружила с Гарпом, но ее литературные суждения, как подозревал Джон Вулф, возникли совсем недавно и отличались младенческой неуклюжестью (если они у нее вообще имелись), как и ее новая, женская ипостась. А Хелен читать это ни за что не станет. И Дженни Филдз, как было известно Джону Вулфу, относилась к Гарпу совсем не так, как мать обычно относится к сыну; прежде она не раз откровенно демонстрировала неприятие некоторых лучших вещей Гарпа. Проблема с Дженни касалась, главным образом, содержания и темы книги. Любая книга, написанная на важную, с ее точки зрения, тему, была для Дженни Филдз достойна внимания. А что

касается новой книги Гарпа, то Дженни считала, что она целиком посвящена «нелепым мужским тревогам, из-за которых страдают почему-то женщины». *Как* написана та или иная книга, для Дженни никакого значения не имело.

Так вот, мнение Дженни и было той единственной зацепкой, которая могла изменить отношение Джона Вулфа к публикации книги Гарпа. Если Дженни Филдз понравится «Мир глазами Бензенхавера», значит, эта книга, по крайней мере, потенциально спорная. Хотя оба они — и Вулф, и Гарп — знали, что статус Дженни как политической фигуры сложился в значительной степени благодаря общему и практически полному непониманию ее сущности и ее убеждений.

Итак, Джон Вулф думал об этом все выходные и в понедельник с утра совершенно забыл извиниться перед Джилси Слопер. Неожиданно Джилси сама возникла перед ним: глаза у нее опухли и покраснели, огрубевшие от работы коричневые пальцы сжимали мятые листы рукописи Гарпа.

— Госспди! — только и сказала Джилси, вращая глазами. И решительно тряхнула зажатой в руке рукописью.

— Ах, Джилси, — промямлил Джон Вулф, — прости, пожалуйста!

— Госспди! — воскликнула Джилси еще громче. — Никогда у меня не было более утомительных выходных! Я *совершенно не спала и не ела!* Я даже *не ходила* на кладбище навестить могилы близких!

Подобный распорядок дня в выходные показался Джону Вулфу несколько странным, но он промолчал. Он молчал и слушал, как привык слушать Джилси Слопер в течение более чем десяти лет.

— Этот человек просто *сумасшедший!* — сказала Джилси. — Никто в здравом уме никогда не написал бы такой книги.

— Зря я дал ее тебе, Джилси, — сказал Джон Вулф. — Я совсем забыл, что там *такая* первая глава. Извини.

— Да *первая-то* как раз еще ничего! — заявила Джилси. — В первой-то главе ничего особенного и нет. А вот *девятнадцатая* глава меня совершенно достала! Госспди! Жуть! Просто жуть! — прокаркала она.

— Ты прочитала все девятнадцать глав? — спросил Джон Вулф.

— Ну так вы же мне только девятнадцать и

дали! — сказала Джилси. — Госспди, а что, есть еще? У вас есть продолжение, да?

— Нет-нет, — заверил ее Джон Вулф. — На этом все и кончается. Я дал тебе всю рукопись.

— Надеюсь, — сказала Джилси. — С чем же там жить-то? Ведь *ничего* уж не осталось! Засадили этого старого психованного копа куда следует, — наконец-то! — а психу муженьку голову начисто отстрелили. *Единственное* достойное применение для такой головы, если вам, конечно, интересно мое мнение.

— Так ты *всю книгу прочитала?* — изумился Джон Вулф.

— Госспди! — взвизгнула Джилси. — Можно подумать, это *его* изнасиловали, ведь он все говорит, говорит об этом и никак говорить не перестанет! На мой-то взгляд, — продолжала она, — это точно на мужиков похоже: сперва до полусмерти изнасилуют, а через минуту начинают с ума сходить и поднимать шум из-за того, кому ты *все это даешь* по доброй воле! Хотя не *их* это собачье дело — что так, что этак, правда?

— Ну, я не уверен… — сказал Джон Вулф, совершенно ошалев и продолжая сидеть как истукан. — Значит, тебе книга не понравилась?

— *Понравилась?* — Джилси даже поперхну-

лась. — Госпди! Что же в ней может понравиться-то?

— Но ведь ты ее *прочитала!* — сказал Джон Вулф. — Почему же ты ее прочитала до самого конца?

— Госпди! — сказала Джилси так нетерпеливо, словно ей было жаль его, недоумка. — Вот мне иногда даже интересно знать, а вы хоть что-нибудь понимаете в тех книгах, которые тут делаете? — Она покачала головой. — Мне иногда очень даже интересно: почему это *вы* делаете книги, а *я* уборные чищу? Только я лучше буду уборные чистить, чем ваши книжки читать! — заявила Джилси. — Разве что некоторые… Нет уж, госпди!

— Но если эта книга показалась тебе такой отвратительной, зачем же ты ее читала, Джилси? — снова спросил Джон Вулф.

— Ну, я только по одной причине книжку могу до конца дочитать, — сказала Джилси. — Когда узнать хочется, что же там дальше было.

Джон Вулф так и уставился на нее.

— Но в большей части ваших книг так ничего и не случается, — продолжала Джилси. — Госпди! Уж *вам* ли не знать! А в некоторых и вовсе сразу догадываешься, что должно случиться, так что

их и читать не к чему. Но *эта* книга, — сказала Джилси, — эта книга такая мерзкая, что сразу *понимаешь*, что-то непременно должно случиться, но даже и представить себе не можешь, *что именно!* Наверное, нужно самому быть таким же мерзким, тогда сразу догадаешься, что случится в *этой* книге.

— Значит, ты прочитала ее, чтобы это узнать? — спросил Джон Вулф.

— А разве есть какая-нибудь другая причина, чтобы читать книги? — спросила Джилси Слопер. И тяжело грохнула увесистую рукопись ему на стол, а потом начала распутывать удлинитель для пылесоса, который (по понедельникам) удобства ради обматывала вокруг своей довольно-таки объемистой талии. — Когда это превратится в книгу, — сказала она, тыкая пальцем в толстенную рукопись, — я бы с удовольствием одну такую книжку для себя заимела. Если можно, конечно, — прибавила она.

— Ты хочешь такую книжку? — переспросил Джон Вулф.

— Да, если это вас не затруднит, — вежливо попросила Джилси.

— Даже теперь, когда ты знаешь, что там случилось в конце? — удивился Джон Вулф. — Зачем

же тебе ее снова-то перечитывать?

— Ну… — пожала плечами Джилси. Вопрос смутил ее; Джон Вулф никогда прежде не видел Джилси Слопер смущенной — только сонной. — Ну, я могу и *дать* ее кому-нибудь, — сказала она. — Вдруг среди моих знакомых случится такой, кому надо напомнить, каковы мужчины в этом мире.

— А ты сама станешь ее перечитывать? — спросил Джон Вулф.

— Ну, — сказала Джилси, — не *всю*, наверное… По крайней мере, не всю сразу и не прямо сейчас. — Она опять смутилась. — Я что хочу сказать… там есть куски, которые я бы с удовольствием перечитала.

— Зачем? — спросил Джон Вулф.

— Госспди!.. — устало воскликнула Джилси, словно он все-таки вывел ее из терпения. — Ведь там все как взаправду! — Эти слова она чуть ли не выкрикнула.

— Все как взаправду, — повторил Джон Вулф.

— Госспди! Да вы что же, *не поняли* этого? — удивилась Джилси. — Если вы не понимаете, в какой книге все как взаправду, а в какой нет, так нам и впрямь пора рабочими местами поменяться! — И она рассмеялась, держа в руках

свернутый втрое толстый шланг от пылесоса — точно ружье. — А вот мне интересно, мистер Вулф, — вдруг спросила она вкрадчиво, — если бы вы, например, не понимали, когда туалет бывает *чистым.* — Она сделала несколько шагов и заглянула в свою корзину для мусора. — Или когда ваша мусорная корзина бывает пустой? Книга написана взаправду, когда чувствуешь: да, так оно взаправду и бывает. — Она явно потеряла уже всякое терпение. — Когда можешь сказать: «Да! Вот именно так эти чертовы людишки и ведут себя!». *Вот тогда* понимаешь, что в этой книге все правда.

Наклонясь над мусорной корзиной, Джилси выудила оттуда клочок бумаги, одиноко лежавший на самом дне, и сунула его в карман своего рабочего фартука. Это была смятая первая страница письма, которое Джон Вулф пытался написать Гарпу.

Через несколько месяцев, когда «Мир глазами Бензенхавера» должен был вот-вот уйти в типографию, Гарп вдруг посетовал Джону Вулфу, что ему совершенно некому посвятить эту книгу. Уолту Гарп не хотел ее посвящать; он терпеть не мог подобное, как он говорил, «дешевое обогащение за счет собственного горя» и называл

это «попыткой поймать читателя на крючок сострадания и заставить его думать, что ты куда более серьезный писатель, чем на самом деле». И матери он тоже не хотел посвящать этот роман, потому что не желал уподобляться другим и «выезжать за счет имени Дженни Филдз». О Хелен, разумеется, даже и разговора не было. И Гарп, хоть ему и было немного совестно, понимал, что не может посвятить свою книгу Дункану, потому что мальчику пока рано читать такие книги, он для этого еще слишком мал. И как отец Гарп испытывал к себе даже некоторое отвращение, ибо написал нечто такое, что запретит читать собственному сыну.

Что касается Флетчеров, то неудобно посвящать книгу супружеской паре, а если посвятить ее одной Элис, то может обидеться Харри.

— Только *не мне!* — заявил Гарпу Джон Вулф. — Только не *эту* книгу.

— Да я о тебе и не думал, — солгал Гарп.

— Как насчет Роберты Малдун? — спросил Джон Вулф.

— К Роберте эта книга не имеет абсолютно никакого отношения, — сказал Гарп, хоть и понимал, что уж Роберта, по крайней мере, не станет возражать против посвящения. Забавно: напи-

сать книгу, которую никому нельзя посвятить!

— Возможно, я посвящу ее джеймсианкам, — сказал Гарп с горечью.

— Да не бери ты в голову, — сказал Джон Вулф. — Это же просто глупо.

Гарп надулся. Потом подумал: а что, если написать *«Посвящается миссис Ральфа»*. Но он до сих пор так и не выяснил, как ее зовут по-настоящему. Был еще отец Хелен, добрый старый Эрни Холм, его бывший тренер по борьбе, но Эрни никогда не поймет такой жест, и вряд ли эта книга ему понравится. На самом деле Гарп втайне надеялся, что Эрни никогда эту книгу и не прочтет. Забавно: написать книгу и надеяться, что кто-то не станет ее читать!

«Посвящается Жирному Стью», «Посвящается Майклу Мильтону», «Памяти Бонкерса». — Нет, все это глупости.

Гарп совсем скис. Он ничего не мог придумать.

— Я знаю кое-кого, — сказал вдруг Джон Вулф. — И могу спросить ее, не станет ли она возражать.

— Очень смешно! — уныло откликнулся Гарп.

А Джон Вулф думал о Джилси Слопер, о женщине, которую так хорошо знал и благодаря которой в конце концов книга Гарпа вообще выйдет в свет.

— Это *особенная* женщина, и ей действительно *нравится* твоя книга, — сказал Гарпу Джон Вулф. — Она сказала, что там «все как взаправду».

Гарп оживился.

— Я дал ей рукопись на выходные, — сказал Джон Вулф, — и она прочла ее не отрываясь.

— А почему ты дал ей мою рукопись? — спросил Гарп.

— Она показалась мне *подходящей* читательницей для такой вещи, — сказал Джон Вулф. Хороший издатель никогда не станет делиться всеми своими профессиональными секретами.

— Ну что ж, хорошо, — сказал Гарп. — Раз никого другого нет, твое предложение проходит. Скажи этой даме, что я буду ей весьма признателен. Она что, твой *близкий* друг?

Джон Вулф только подмигнул ему, и Гарп понимающе кивнул, хотя на самом деле ничего не понял.

— А что все это значит-то? — с подозрением спросила Джилси Слопер, когда Джон Вулф сообщил ей о посвящении. — Что значит, он хочет «посвятить» эту ужасную книгу мне?

— Это значит, что твой отклик на нее был ему очень важен, — сказал Джон Вулф. — Он думает,

что писал эту книгу, почти что имея в виду тебя.

— Госпди! — воскликнула Джилси. — Имея в виду меня? Это еще что значит?

— Я рассказал ему о твоей реакции на книгу, — пояснил Джон Вулф, — и он, по-моему, считает, что лучшей читательницы и быть не может.

— Госпди, так он и впрямь сбрендил, так? «Лучшей читательницы», надо же!

— Ему больше некому посвятить эту книгу, — признался Джон Вулф.

— Вроде как свидетеля для бракосочетания в мэрии не хватает? — усмехнулась Джилси Слопер.

— Вроде как, — кивнул Джон Вулф.

— Но ведь это не значит, что я *одобряю* его книгу? — спросила Джилси.

— Господи, конечно нет! — сказал Джон Вулф.

— Госпди, нет или да? — рассердилась Джилси.

— Нет. И никто не собирается винить тебя ни в чем из того, что написано в этой книге, если ты это имеешь в виду, — сказал Джон Вулф.

— Ну ладно, — сказала Джилси.

Джон Вулф показал ей, где именно будет помещено посвящение, показал и другие посвящения в других книгах. Все это Джилси Слопер очень понравилось, и она кивнула, уже весьма доволь-

ная этой идеей.

— Вот только, — спросила она, — мне ведь не нужно будет с ним *встречаться* и все такое, нет?

— Господи, нет конечно! — заверил ее Джон Вулф, и Джилси окончательно согласилась.

Оставалось нанести последний гениальный штрих, чтобы «Мир глазами Бензенхавера» проник в тот странный «полусвет», где лишь отдельные «серьезные» книги порой всеми воспринимаются еще и как «весьма популярные». Джон Вулф был человеком умным и циничным.

И прекрасно знал все не слишком порядочные автобиографические намеки, заставляющие читательскую аудиторию гудеть, точно рой обезумевших пчел.

Много лет спустя Хелен сказала, что успех «Мира глазами Бензенхавера» целиком связан с текстом на клапанах его суперобложки. Аннотация, написанная самим Гарпом, оказалась настолько скучной, что Джон Вулф взял инициативу в свои руки; он сразу перешел к сути дела, какой бы сомнительной она ни казалась.

«Эта книга, — говорилось на клапане суперобложки, — о человеке, который так боится за жизнь своих близких, что создает вокруг себя атмосферу поистине невыносимого напряжения,

при которой что-то плохое прямо-таки обязано случиться. И случается.

Т. С Гарп, — говорилось далее, — единственный сын известной феминистки Дженни Филдз». Джона Вулфа слегка передернуло, когда он увидел эти слова напечатанными на супере, ибо, хотя он *очень* хорошо знал, почему написал их, он не менее хорошо знал и почему Гарп никогда не хотел, чтобы об этом упоминали в связи с его собственными литературными трудами. «Т.С. Гарп — отец, — и тут Джон Вулф даже головой покачал от стыда за им же написанную муть, — у которого недавно трагически погиб пятилетний сын и который еще не успел оправиться от этого удара. Из отчаянного горя и тоски, охватывающих человека после такого несчастья, и родилась на свет эта мучительная книга…» И так далее.

Гарп считал дешевкой подобные способы привлекать внимание к книгам. Он всегда говорил, что на дух не выносит вопросов о том, какая часть его произведения «действительно правда» или какая часть «написана на личном опыте». Причем слово «правда» в данном случае использовалось совсем не так, как, скажем, в оценке Джилси Слопер, а в том дурацком его значении, какое используют дети, говоря с вос-

торгом «совсем как настоящий!». Обычно Гарп с превеликим терпением начинал объяснять, что автобиографическая основа — даже если она и имеется — это наименее интересный уровень прочтения любого романа, что искусство художественного вымысла — всегда акт правдивый, однако, как и всякое искусство, селективный. А воспоминания и личные драмы — «все совокупные травмы и трагедии наших не поддающихся общему запоминанию жизней» — весьма сомнительная основа для художественного творчества. Да, примерно так сказал бы Гарп. «Художественное произведение должно быть построено лучше жизни», — писал он и последовательно не желал, по его же словам, «выезжать за чужой счет» или «извлекать выгоду из личных трудностей», отвергая это и в книгах писателей, которые считались «знаменитыми» уже потому, что в их личных жизнях случилось нечто важное. «На самом деле *все на свете* уже случалось! — писал он. — И чтобы в романе действительно что-то *случилось*, нужно найти нечто в высшей степени подходящее для сути этого романа».

«Расскажите мне любую историю из вашей собственной жизни, — сказал как-то Гарп одному интервьюеру, — и я смогу приукрасить

ее до неузнаваемости, сделать ее подробности куда более привлекательными, чем они были на самом деле». Лицо интервьюера, разведенной женщины с четырьмя маленькими детьми, один из которых умирал от рака, тотчас превратилось в непроницаемую маску. Гарп, заметив ее решительное недоверие и невероятную важность и боль какой-то личной трагедии, мягко сказал ей: «Если история печальная, даже *очень* печальная, я могу придумать историю еще печальнее». Но по ее лицу он понял, что она никогда ему не поверит; она даже перестала за ним записывать, так что эти слова и в интервью не вошли.

Джон Вулф знал, большинству читателей в первую очередь *хочется* узнать подробности личной жизни писателя. И он писал Гарпу: «Для большей части людей с ограниченным воображением сама мысль о том, что реальную действительность можно улучшить, есть пустая болтовня». Так что на суперобложке «Мира глазами Бензенхавера» Джон Вулф воссоздал миф о мнимой важности самого Гарпа («единственный сын знаменитой феминистки Дженни Филдз») и привел некоторые сентиментальные факты, создающие нужную основу для восприятия личного жизненного опыта писателя («трагически

погиб пятилетний сын»). Обе информации не имели ни малейшего отношения к художественным достоинствам романа, но Джона Вулфа это ничуть не смущало. Вдобавок Гарп сильно уязвил его своими разговорами о том, что предпочитает богатство серьезному искусству.

«Это не самая лучшая твоя книга, — писал Гарпу Джон Вулф, посылая ему гранки для прочтения. — Когда-нибудь ты и сам поймешь. Но это будет самая популярная твоя книга — подожди и увидишь! Однако ты представить себе не можешь, до какой степени возненавидишь многие причины своего успеха, так что советую тебе на несколько месяцев уехать за границу и читать только те рецензии, которые пришлю я. А когда шумиха пройдет — ибо все на свете проходит, — ты вернешься домой и получишь в банке весьма существенную и весьма неожиданную (сюрприз!) сумму. Можешь также надеяться, что популярность „Бензенхавера“ будет достаточно велика, чтобы людям захотелось вернуться к двум твоим первым романам и прочитать их, ведь именно благодаря тем романам твое творчество *заслуживает* внимания.

Скажи Хелен, что мне действительно очень жаль, но, думаю, ты должен понимать: я всегда

самым искренним образом соблюдал твои интересы. Тем более ты сам говорил, что всякий бизнес всегда попахивает дерьмом».

Гарпа это письмо весьма озадачило. А Джон Вулф, разумеется, и не подумал показать ему текст на клапанах суперобложки.

«Чего ты расстраиваешься? — писал Гарп Джону Вулфу. — Не плачь. Просто возьми и продай роман».

«Учти, „даже дерьмовый бизнес — все-таки бизнес“, это я тебя цитирую», — ответил ему Джон Вулф.

«Уж это-то я знаю!» — написал Гарп.

«Послушайся моего совета», — уговаривал Вулф.

«Но я люблю читать рецензии!» — возражал Гарп.

«Только не такие. Такие тебе будет читать *неприятно,* — настаивал Джон Вулф. — Поезжай путешествовать, прошу тебя».

Затем Джон послал текст с суперобложки Дженни Филдз: он рассчитывал на ее помощь, чтобы заставить Гарпа на время уехать из страны.

— Поезжай за границу, — сказала Дженни сыну. — Это сейчас самое лучшее и для тебя, и для твоей семьи.

Мысль о путешествии пришлась очень по душе Хелен, которая еще никогда не бывала за границей. Да и Дункану, который прочел «Пансион „Грильпарцер“», ужасно хотелось поехать в Вену.

— На самом деле Вена совсем не такая, — сказал Гарп сыну, очень тронутый тем, что мальчику понравился его старый рассказ. Самому Гарпу он тоже нравился. Ему бы хотелось, чтобы все им написанное нравилось Дункану хотя бы наполовину так, как этот рассказ.

— У нас ведь грудной ребенок, — ныл Гарп, обсуждая с женщинами проблему путешествия, — куда ж нам сейчас ехать в Европу? Все это так сложно! Я просто не знаю… И еще паспорта… И ребенку понадобится целая куча фотографий и всего прочего…

— Фотографии понадобятся и тебе самому, — сказала Дженни Филдз. — А что до ребенка, ему это абсолютно не повредит.

— Неужели ты не хочешь снова увидеть Вену? — спросила Хелен.

— Вот именно! Ты только представь себе увидеть места былых преступлений! — с воодушевлением подхватил Джон Вулф.

— Былых преступлений? — пробормотал

Гарп. — Ну, я не знаю…

— Пожалуйста, пап! — Дункан умоляюще посмотрел на него. И, поскольку теперь Гарп ни в чем не мог отказать сыну, решено было ехать.

Хелен настолько повеселела, что даже взглянула на гранки «Бензенхавера», хотя и просмотрела их очень бегло и нервно, явно не имея ни малейшего намерения вчитываться. Первое, что бросилось ей в глаза, было посвящение: *Посвящается Джилси Слопер.*

— Господи, кто такая эта Джилси Слопер? — спросила Хелен Гарпа.

— В общем-то, я и сам понятия не имею, — признался Гарп; Хелен нахмурилась. — Нет, правда! Это какая-то приятельница Джона; он сказал, что ей очень понравилась моя книга, что она прочитала ее буквально залпом… По-моему, Джон решил, что это доброе знамение. Так или иначе, это он ее предложил. А я согласился.

Хелен, хмыкнув, отложила гранки в сторону. Оба умолкли, пытаясь представить себе эту приятельницу Джона Вулфа. Джон развелся еще до того, как они с ним познакомились, и, хотя им пришлось познакомиться с некоторыми уже взрослыми его детьми, с его первой и единственной женой они никогда не встречались.

У Джона, разумеется, существовало определенное количество разнообразных приятельниц — все умненькие, привлекательные и какие-то прилизанные, и все значительно моложе самого Джона. Некоторые из них занимались издательским бизнесом, но в основном это были просто молодые женщины, которые попробовали в жизни все: и замужество, и развод, и собственный капитал (или, по крайней мере, его видимость). Большую часть этих женщин Гарп помнил по тому, как приятно от них пахло, какого вкуса у них губная помада и сколь дорогой (на ощупь) была их одежда.

Но ни Гарп, ни Хелен даже представить себе не могли эту Джилси Слопер, дочь белого и квартеронки (иначе говоря, октороночку, ибо в ее жилах текла одна восьмая негритянской крови). Кожа у Джилси была желтовато-смуглой, как чуть подкрашенная морилкой сосновая доска. Волосы, прямые и черные как вакса, но уже начинавшие седеть на висках, она коротко стригла, и они нелепо торчали над ее блестящим, изборожденным морщинами лбом. Она была маленькая, но длиннорукая, и на левой руке у нее не хватало безымянного пальца, а правую щеку украшал глубокий шрам. Нетрудно догадаться, что оба

увечья нанесены ей в одном и том же сражении — возможно, во время неудачного замужества. Ибо замужество ее, разумеется, сложилось неудачно, но она никогда о нем не говорила.

В свои сорок пять она выглядела на шестьдесят. Живот отвисший, точно у суки лабрадора на последней неделе беременности, походка тяжелая, шаркающая, потому что Джилси донимали больные ноги. Через несколько лет она умерла от рака груди — умерла совершенно бессмысленно, просто оттого, что наплевательски относилась к опухоли, которую чувствовала уже давно, но которую никто из врачей почему-то прощупать не мог.

Телефон у нее все-таки имелся (как обнаружил Джон Вулф), только номер его не значился в телефонной книге, потому что бывший муж каждые несколько месяцев звонил ей, угрожая убить, и она просто устала от него; телефон она держала по одной-единственной причине, порой ей звонили дети (за ее счет) с просьбой прислать деньжат.

Однако Хелен и Гарп, воображая себе Джилси Слопер, даже подумать не могли, что это — вечно печальная, измученная тяжелой работой и тяжелой жизнью окторонка.

— Джон Вулф, похоже, делает для твоей книги абсолютно все, разве что сам ее не пишет, — сказала Хелен.

— А знаешь, мне жаль, что не он ее написал, — сказал вдруг Гарп. Он уже перечитал «Бензенхавера» и преисполнился глубочайших сомнений. В «Пансионе „Грильпарцер“», думал Гарп, безусловно присутствовала определенность насчет того, как миру полагается себя вести. А вот насчет «Бензенхавера» он этого сказать не мог — явный признак, что он стареет. С другой стороны, он знал, что всякий художник, старея, должен становиться лучше.

Итак, холодным августовским днем Гарп, Хелен, малышка Дженни и одноглазый Дункан выехали из Новой Англии в Европу; большинство же людей в это время как раз направлялось через Атлантику им навстречу.

— Почему бы вам не подождать до Дня благодарения? — спрашивал их Эрни Холм. Однако «Бензенхавер» должен был выйти в октябре, и Джон Вулф уже успел получить массу откликов — еще в начале лета он разослал рецензентам гранки романа, причем неправленые; все отклики были исполнены самого искреннего энтузиазма: книгу как хвалили, так и ругали с

одинаковым энтузиазмом.

У Вулфа, правда, возникли некоторые затруднения с Гарпом по поводу сигнальных экземпляров — он ни за что не хотел показывать ему суперобложку книги. Однако теперь Гарп относился к «Бензенхаверу» без особого энтузиазма, так что Джону Вулфу ничего не стоило водить его за нос.

В итоге и сам Гарп увлекся предстоящей поездкой и говорил только о тех книгах, которые собирается написать. («Добрый знак!» — сказал Джон Вулф Хелен.)

Дженни и Роберта отвезли Гарпов на машине в Бостон, откуда они вылетели в Нью-Йорк

— Вы насчет самолета не тревожьтесь, — сказала им на прощанье Дженни. — Он не упадет!

— Господи, мама! — воскликнул Гарп. — Ты-то откуда знаешь? Самолеты вечно падают.

— А ты в самолете маши руками, как крыльями, — посоветовала Дункану Роберта.

— Какие глупости! Не пугай его, Роберта, — сказала Хелен.

— А я и не боюсь! — воскликнул Дункан.

— Если твой папа все время будет говорить, — сказала Дженни, — вы нипочем не упадете.

— Если он все время будет говорить, мы и приземлиться никогда не сможем, — возразила

Хелен.

Гарп вдруг обиделся и заявил:

— Если вы немедленно не прекратите ваши шуточки, я весь полет буду нарочно портить воздух, и в итоге произойдет большой взрыв.

— Ты лучше почаще пиши нам, — попросила Дженни. Вспомнив милого Тинча и его последнее путешествие в Европу, Гарп сказал, матери:

— На этот раз, мам, я буду просто вп-п-питывать и вп-п-питывать вп-п-печатления! И не собираюсь п-п-писать ни с-с-слова!

Они оба посмеялись немного этой шутке, а Дженни даже чуточку всплакнула, хотя это заметил только Гарп и поцеловал мать. Зато Роберта, которую перемена пола сделала прямо-таки взрывоопасной в плане поцелуев, перецеловала всех по нескольку раз.

— Господи, Роберта, да уймись ты! — упрекнул ее Гарп.

— Ты не волнуйся, я присмотрю за нашей старушкой, пока тебя не будет, — пообещала Роберта, обнимая Дженни своей огромной ручищей; рядом с ней Дженни казалась прямо-таки лилипуткой, и Гарп вдруг заметил, что его мать совсем поседела.

— Мне никакого присмотра не требуется, —

строго сказала Дженни Филдз.

— Еще бы! Мама у нас сама за всеми присматривает! — поддержал ее Гарп, а Хелен обняла Дженни, потому что знала, насколько это правда.

Из иллюминатора самолета Гарп и Дункан хорошо видели, как Дженни и Роберта машут им с балкона аэровокзала. В салоне им, правда, пришлось некоторое время объясняться со стюардессой, потому что Дункан непременно хотел сидеть у окна и слева от прохода.

— Но справа от прохода у окна тоже очень хорошо сидеть, — уговаривала его стюардесса.

— Не очень, если у вас правого глаза нет, — возразил ей Дункан, и Гарп про себя восхитился тем, с какой отвагой его мальчик воспринимает свое увечье и как спокойно говорит о нем.

Хелен и малышка устроились справа от них через проход.

— Ты бабушку видишь? — спросила Хелен Дункана.

— Да, — ответил он.

Несмотря на то что на балконе собралась целая толпа провожающих, непременно желавших видеть, как взлетит самолет, Дженни Филдз все равно выделялась своим белоснежным медицин-

ским нарядом.

— Интересно, почему это бабуля выглядит такой высокой? — спросил у Гарпа Дункан, и действительно: плечи и голова Дженни Филдз возвышались над толпой. И Гарп догадался: это Роберта подняла его мать под мышки, точно ребенка. — Ой, да это же Роберта ее подняла! — воскликнул, тоже догадавшись, Дункан. Гарп смотрел на мать, взлетевшую в воздух, чтобы помахать им на прощанье, поднятую сильными руками бывшего «крепкого орешка» из «Филадельфия Иглз». Улыбка у Дженни в эти мгновения была смущенная, доверчивая и так тронула его, что и он замахал ей в ответ, прекрасно понимая, что сквозь стекло Дженни ничего не увидит. Впервые в жизни мать показалась ему старой и усталой, он отвернулся и стал смотреть через проход на Хелен и их крошечную дочку.

— Ну вот, кажется, взлетаем, — сказала Хелен, и Гарп взял ее за руку через проход, потому что знал: Хелен ужасно боится летать.

В Нью-Йорке Джон Вулф поселил их в своей квартире; спальню он предоставил Гарпу, Хелен и малышке Дженни, а гостевую комнату любезно согласился разделить с Дунканом.

Взрослые изрядно засиделись за ужином и вы-

пили слишком много коньяка. Гарп рассказывал Джону сразу о трех романах, которые собирался написать в ближайшем будущем.

— Первый будет называться «Иллюзии моего отца», — говорил Гарп, — и речь в нем пойдет об отце-идеалисте, который постоянно придумывает для своих детей этакие «маленькие утопии». А когда дети подрастают, он организует маленькие колледжи, где тоже старается создать утопическую атмосферу. Однако все терпит крах — и колледжи, и дети. Сам же он все пытается выступить в ООН с давно подготовленной речью, которую постоянно пересматривает и улучшает, однако его даже на порог не пускают. Затем он делает попытку построить бесплатную лечебницу, но и это предприятие терпит крах. Затем начинает борьбу за введение общегосударственной бесплатной транспортной системы. Между тем жена от него уходит, дети взрослеют, и чем взрослее они становятся, тем сильнее бьет их жизнь — обычная история. Да и общего у них — только ужасные воспоминания об утопических условиях, в которых отец пытался их выращивать. В конце концов этот великий «утопист» становится губернатором Вермонта.

— Вермонта? — переспросил Джон Вулф.

— Да, Вермонта, — сказал Гарп. — Но на самом деле он воспринимает себя как великого правителя некоего государства и принимается строить очередную утопию. Ну, в общем, ты понимаешь!..

— «Король Вермонта»! — воскликнул Джон Вулф. — Неплохое название. Гораздо лучше, чем то, первое.

— Нет-нет, — возразил Гарп. — Это же совсем о другом. Кстати, вторая книга будет называться «Гибель Вермонта».

— И в ней будут те же действующие лица? — спросила Хелен.

— Нет-нет, — сказал Гарп. — Это совсем другая история.

— Ну что ж, пока что твой замысел мне нравится, — сказал Джон Вулф.

— Во второй книге однажды после зимы весна так и не наступает… — начал рассказывать Гарп.

— Да в Вермонте настоящей весны и не бывает никогда! — заметила Хелен.

— Нет-нет, — нахмурился Гарп, — не так. В тот год там и лето не наступает, зима никак не кончается, и вдруг однажды солнце пригревает так сильно, что все почки на деревьях разом распускаются. Возможно, в мае. Словом, за один

день набухают почки, все деревья покрываются листвой и цветами, а уже через день все цветы опадают, листочки сворачиваются от холода, и наступает осень.

— Чересчур короткий период выгонки и опадания листьев? — спросила Хелен.

— Очень смешно! — кисло улыбнулся Гарп. — Но происходит именно это. И снова наступает зима; и теперь зима будет вечной.

— А люди умирают? — спросил Джон Вулф.

— Насчет людей я не уверен, — сказал Гарп. — Кое-кто, разумеется, уезжает из Вермонта…

— Неплохая мысль! — заметила Хелен.

— Но некоторые остаются. А некоторые умирают… Впрочем, возможно, умирают все, — сказал Гарп.

— И что все это означает? — спросил Джон Вулф.

— Буду знать, когда до конца доберусь, — отвечал Гарп.

Хелен рассмеялась.

— И после всего — еще и *третий* роман? — удивился Джон Вулф.

— Он называется «Заговор против великана», — сказал Гарп.

— Это же стихотворение Уоллеса Стивенса[13], — заметила Хелен.

— Да, разумеется. — И Гарп прочитал его наизусть.

ЗАГОВОР ПРОТИВ ВЕЛИКАНА

Первая девушка
Когда тот деревенщина придет
И станет, бормоча невнятно, острить топор,
Я резво побегу вперед,
Распространяя аромат гераней
И тех цветов, которые никто и никогда еще не нюхал.
Его надолго это остановит!
Вторая девушка
Я тоже убегу вперед
И всюду разбросаю по ветвям
Гирлянды брызг цветных,
Подобных крошечным икринкам.
Запутается он в этих бусах насмерть!

---

[13] Примечание: 13
Стивенс Уоллес (1879–1955) — американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1955).

Третья девушка

О, la… le pauvre! Бедняга!

Я ж побегу почти с ним рядом,

Пыхтя забавно.

А он наклонится конечно же — послушать.

И прямо в ухо великанье я флейтой пропою

Мелодию, что миру хриплых звуков неизвестна.

И от мелодии волшебной он на куски развалится!

— Какое милое стихотворение, — сказала Хелен.

— Роман будет из трех частей, — сообщил Гарп.

— И части будут называться «Первая девушка», «Вторая девушка» и «Третья девушка»? — спросил Джон Вулф.

— А что, великан действительно развалился? — спросила Хелен.

— Разве это когда-нибудь случается? — сказал Гарп.

— У тебя в романе *настоящий* великан? — спро-

сил Джон Вулф.

— Пока не знаю, — ответил Гарп.

— *Он* — это *ты?* — спросила Хелен.

— Надеюсь, что нет, — сказал Гарп.

— Я тоже надеюсь, что нет, — сказала Хелен.

— Ладно, ты сперва первый роман напиши, — посоветовал Гарпу Джон Вулф.

— Нет, его в последнюю очередь! — закричала Хелен.

— А по-моему, с точки зрения логики последним следует писать «Гибель Вермонта», — сказал Джон Вулф.

— Нет, в качестве последней части я все-таки вижу «Заговор против великана», — возразил Гарп совершенно серьезно.

— Слушай, подожди чуть-чуть и напиши его после моей смерти, — сказала Хелен.

Все засмеялись.

— Но ведь романов только три, — сказал Джон Вулф. — А что потом? Что будет после этих трех?

— А после я умру, — сказал Гарп. — Тогда всего получится шесть. Шесть романов — это вполне достаточно.

Все снова засмеялись.

— Скажи еще, что знаешь, *как* ты умрешь, — ввернул Джон Вулф.

— Все. Давайте прекратим этот разговор, — сказала Хелен и, повернувшись к Гарпу, добавила: — Если ты скажешь: «Я погибну в авиакатастрофе», я тебе никогда этого не прощу!

За пьяноватым шутливым тоном Хелен Джон Вулф уловил глубочайшую серьезность; он даже сел как следует, выпрямив ноги.

— Вам обоим лучше лечь спать, — сказал он. — И как следует отдохнуть перед перелетом.

— А разве вы не хотите знать, как я умру? — спросил у них Гарп.

Они молчали.

— Я покончу самоубийством, — любезно сообщил Гарп. — По-моему, это совершенно необходимо, чтобы стать окончательно признанным писателем. Нет, правда! Я не шучу. Согласитесь, в соответствии с нынешней модой это единственный способ доказать обществу серьезность намерений писателя. Поскольку само его искусство не всегда способно это сделать, порой необходимо обнажить и вытащить на всеобщее обозрение личные трагические переживания, личное горе. Во всяком случае, самоубийство явно покажет, что в конце концов ты действительно был вполне серьезен. — Гарп говорил с каким-то неприятным сарказмом, и Хелен вздохнула, а

Джон Вулф снова вытянул ноги. — И уж потом в твоих произведениях обнаруживается куда больше серьезности, чем прежде, — притом в таких местах, где раньше этой серьезности никто и не говорил.

Гарп частенько с раздражением замечал, что самоубийством он бы исполнил последний долг перед семьей — как отец и кормилец, — и обожал цитировать примеры из произведений писателей средней руки, которые нынче были в особом фаворе *именно потому,* что совершили самоубийство. Впрочем, кое-кого из этих писателей-самоубийц Гарп и сам любил и очень надеялся, что в момент самоубийства некоторые из них сознавали этот счастливый аспект своего злосчастного решения. Он прекрасно знал, что люди, которые действительно решились покончить с собой, отнюдь не романтизировали самоубийство и вовсе не думали о «серьезности», какую этот поступок, быть может, «придаст» их жизни и творчеству, — тошнотворная манера, столь распространенная в книжном мире. Как среди читателей, так и среди рецензентов.

Гарп также отлично знал, что никакой он не самоубийца; быть может, после гибели Уолта его уверенность и была немного поколеблена, но

он все равно это знал. Он был столь же далек от самоубийства, как и от изнасилования. Он даже вообразить не мог, как сделал бы то или другое. Однако ему нравилось воображать себе писателя-самоубийцу, который с улыбкой думает, как он удачно всех обманул, а сам тем временем читает и переписывает свое предсмертное послание — записку, которую больно читать, ибо в каждом ее слове сквозит отчаяние. Гарп любил, хотя и не без горечи, представлять себе тот миг, когда предсмертное послание доведено до совершенства, писатель берет в руки револьвер или яд или с бритвой в руках погружается в полную горячей воды ванну и смеется ужасным смехом, понимая, что уж теперь-то обеспечил себе полный успех у читателей и рецензентов. Одна из таких воображаемых Гарпом предсмертных записок гласила: «В последний раз вы, идиоты, меня не поняли!»

— Какая отвратительная идея! — сказала Хелен.

— А по-моему, идеальная смерть для настоящего писателя, — не согласился Гарп.

— Поздно уже, — сказал им Джон Вулф. — Вы не забыли, что вам завтра лететь?

В гостевой комнате, мечтая завалиться спать, Джон Вулф обнаружил совершенно бодрого Дун-

кана.

— Что, предвкушаешь радости путешествия? — спросил Вулф мальчика.

— Да, я еще не бывал в Европе. А вот отцу приходилось, — сказал Дункан.

— Я знаю.

— А что, мой отец скоро кучу денег заработает? — спросил Дункан.

— Надеюсь, — кивнул Джон.

— Только они нам, в общем, не очень-то и нужны, — сказал Дункан. — У бабушки их много.

— Так ведь приятно иметь собственные деньги, верно?

— Почему? — Дункан, казалось, был удивлен.

— Ну, приятно быть знаменитым, — сказал Джон Вулф.

— А вы думаете, мой отец станет знаменитым? — спросил Дункан.

— Думаю, да.

— У нас уже бабушка очень знаменитая, — сказал Дункан.

— Я знаю.

— И, по-моему, ей это совсем не нравится.

— Почему ты так думаешь? — спросил Джон Вулф.

— Слишком много чужих людей в доме, — ска-

зал Дункан. — Я сам слышал, как она говорит: «В доме слишком много чужих».

— Видишь ли, твой отец, возможно, будет знаменит совсем иначе, чем бабушка, — вздохнул Джон Вулф.

— Сколько же существует разных способов стать знаменитым? — спросил Дункан.

Джон Вулф с тяжелым вздохом стряхнул сон и принялся рассказывать Дункану о различиях между книгами *популярными* и просто достаточно успешными. Он говорил о книгах политических, о книгах спорных, о художественной прозе. Излагал мальчику тонкости издательского дела и выдал ему куда больше профессиональных секретов, чем его отцу. Да, собственно, Гарп этим никогда по-настоящему не интересовался. Дункан, впрочем, тоже вряд ли запомнит хотя бы один из секретов Джона Вулфа, потому что сразу уснул, едва Джон начал свои объяснения.

Дело в том, что Дункану нравилась манера Джона говорить неторопливо, подробно все объясняя. И голос у него был такой же спокойный, как у Роберты Малдун, или у Дженни, или у матери, или у Гарпа, когда они рассказывали ему перед сном всякие разные истории в Догз-Хэд-Харбор; от этих историй он всегда засыпал спокойно и крепко, без

кошмаров. Дункан так привык к размеренному тону таких рассказов, что и в Нью-Йорке не мог без них заснуть.

Утром Гарп и Хелен были прямо-таки поражены содержимым платяного шкафа Джона Вулфа. Там обнаружилась прелестная ночная рубашка, несомненно принадлежавшая одной из прилизанных подружек Джона — одной из тех, кому прошлой ночью не довелось побывать у него дома. Еще там было штук тридцать темных костюмов, все в тонюсенькую полоску, все чрезвычайно элегантные, и брюки у всех дюйма на три длиннее, чем нужно Гарпу. Гарп надел один из них к завтраку, подвернув штанины.

— Господи, сколько же у тебя костюмов! — сказал он Джону Вулфу.

— Можешь взять себе любой, — великодушно предложил тот. — Или даже два-три. Если хочешь, возьми тот, который сейчас на тебе.

— Брюки длинны, — сказал Гарп, приподняв ногу.

— Отдай укоротить, — посоветовал Джон Вулф.

— Вот именно. У тебя-то вообще ни одного костюма нет, — сказала Хелен.

Гарп решил, что, раз этот костюм так ему нравится, он в нем и поедет в аэропорт, подколов

штанины булавками.

— О господи! — вздохнула Хелен.

— Хелен права, — сказал Джон. — Я немного стесняюсь показываться с тобой на людях. — Но в аэропорт он их все-таки повез. Ему хотелось быть абсолютно уверенным, что Гарпы наконец убрались за пределы страны.

— Ой, твоя книга! — воскликнул Джон Вулф в машине, оборачиваясь к Гарпу. — Опять я забыл отдать тебе сигнал!

— Я заметил, — сказал Гарп.

— Ладно, пришлю, — пообещал Джон.

— Я так и не видел, что там на супере, — сказал Гарп.

— На задней стороне — твоя фотография. Одна из старых.

— А на передней?

— Ну… там название романа, — сказал Джон Вулф.

— Правда? — обрадовался Гарп. — А я уж думал, ты решил обойтись без названия.

— Просто это название, — спокойно продолжал Джон Вулф, — написано как бы поверх фотографии.

— «Фотографии»? — повторил Гарп. — И что же это за фотография такая?

— Возможно, у меня в портфеле все-таки найдется экземпляр. Я в аэропорту поищу, — пообещал Вулф.

Он был предельно осторожен и уже как бы невзначай обронил, что считает «Бензенхавера» первосортной мыльной оперой. Гарпа это, похоже, ничуть не задело. «Имей в виду, роман написан просто потрясающе, — сказал ему тогда Вулф, — но все-таки чем-то смахивает на мыльную оперу: понимаешь, все это как-то *слишком!*» Гарп только вздохнул и сказал: «Так ведь и жизнь, в конце концов, всего лишь первосортная мыльная опера, Джон».

В портфеле у Джона Вулфа нашелся оттиск передней стороны супера «Бензенхавера», однако ни фотографии Гарпа, ни клапанов там не было. Этот оттиск Вулф запечатал в конверт, а этот конверт вложил в другой, тоже запечатанный; он собирался вручить оттиск Гарпу в самый последний момент, надеясь, что у того не будет возможности распечатать конверты, пока он спокойно не усядется в самолетное кресло.

Остальные части суперобложки Вулф вышлет Гарпу в Европу. Вряд ли Гарп настолько разозлится, что немедленно вылетит домой.

— А наш самолет больше, чем тот, — сообщил

отцу Дункан, сидевший у окна по левому борту, почти напротив крыла.

— Он и должен быть больше, ведь ему над всем океаном лететь, — сказал Гарп.

— Пожалуйста, не напоминай мне об этом так часто, — попросила Хелен. Стюардесса приладила забавный гамачок для малышки к спинке кресла перед Хелен, и Дженни висела в этом гамачке, точно индейский ребенок, точно она вообще не имела отношения к их семейству.

— Джон Вулф сказал, что ты скоро будешь богатым и знаменитым, — сказал Дункан.

— Да? — неопределенно буркнул Гарп. Он был занят: распечатывал конверты, полученные от Джона, и уже совершенно с ними замучился.

— Это правда? — спросил Дункан.

— Надеюсь, — ответил Гарп. Он наконец увидел переднюю сторону суперобложки «Мира глазами Бензенхавера», и его вдруг охватил озноб — то ли от мимолетного ощущения невесомости, ибо самолет как раз в этот момент оторвался от земли, то ли от самой фотографии.

Черно-белый снимок, такой крупнозернистый, что зерна напоминали хлопья снега; изображал он карету «скорой помощи», стоявшую возле больницы; из ее открытых дверец выгружали

носилки с пострадавшим. Мрачные серые лица людей в белых халатах говорили о том, что спешить уже некуда. Маленькое тело на носилках было с головой накрыто простыней. Как бы краем глаза фотограф запечатлел и вывеску над входом: «Скорая помощь». Такие вывески есть в любой больнице, и маленькое тело, накрытое простыней, могло быть чьим угодно — «скорая помощь» опоздала.

Поверхность фотографии влажно поблескивала синевой, и это вместе с зернистостью изображения делало ее похожей на фотографию из *любой* дешевой газетенки, где помещена заметка о какой-то дорожной аварии, случившейся поздним дождливым вечером. Маленькая смерть, каких тысячи, случившаяся когда и где угодно, но Гарп вспомнил только их собственные серые лица, когда они стояли потрясенные и смотрели на изуродованное, переломанное тело Уолта.

Суперобложка к «первосортной мыльной опере» «Мир глазами Бензенхавера» кричала, мрачно предупреждая каждого: это история о страшном несчастье! Эта обложка требовала: немедленно обратите на меня ваше (ничего не стоящее!) внимание! И добивалась своего. Эта обложка обещала и боль, и печаль, и Гарп знал,

что читатель почувствует эту боль и печаль.

Если бы сейчас он имел возможность прочитать и текст на клапанах суперобложки, то наверняка вернулся бы в Нью-Йорк следующим же рейсом, едва приземлившись в европейском аэропорту. Однако, по расчетам Джона Вулфа, у него будет достаточно времени примириться с этой «фотографической презентацией» романа. Когда Гарп получит и прочтет текст на клапанах, он успеет «переварить» ужасную фотографию на передней стороне супера.

А вот Хелен не сумеет ее «переварить» и никогда не простит этого Джону Вулфу. Как не простит ему и фотографии на задней стороне обложки. Эта фотография, сделанная за несколько лет до трагической аварии, изображала Гарпа с Дунканом и Уолтом. На редкость удачный снимок, который сделала Хелен, а Гарп потом послал его Джону Вулфу вместо поздравительной открытки на Рождество. Гарп, загорелый, в одних плавках сидел на пирсе где-то в Мэне и был в отличной, просто потрясающей физической форме. Дункан стоял рядом, положив гладкую, еще совсем детскую ручонку ему на плечо. Он тоже был в плавках, очень загорелый, в белой матросской шапке, кокетливо сидевшей на макушке. Маль-

чик широко улыбался прямо в камеру и смотрел на мать огромными красивыми глазами.

Уолт сидел у Гарпа на коленях. Он явно только что вылез из воды, скользкий и мокрый, точно маленький тюлень. Гарп все старался поплотнее завернуть его в большое купальное полотенце и согреть, а Уолт извивался, как сумасшедший, и смеялся от счастья — круглое клоунское личико так и сияло, и смотрел он тоже прямо на мать, которая их фотографировала.

Глядя на эту фотографию, Гарп прямо-таки чувствовал, как холодное мокрое тело Уолта постепенно согревается у него в руках.

Подпись под фотографией явно била на жалость — не самое благородное из человеческих чувств: Т.С. ГАРП СО СВОИМИ ДЕТЬМИ (ДО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ).

Она как бы намекала, что если вы прочитаете книгу, то узнаете, что это был за несчастный случай. «Мир глазами Бензенхавера» ничего не мог рассказать о *том* несчастном случае, хотя несчастные случаи действительно играли в этом романе прямо-таки огромную роль. Кое-что о случившемся можно было узнать только из кучи словесного мусора, которую Джон Вулф вынес на клапаны суперобложки. Однако фотография отца

с его уже обреченными детьми так или иначе *зацепляла* покупателей.

За книгой, написанной печальным сыном знаменитой Дженни Филдз, выстраивались длинные очереди.

В самолете, на пути в Европу, Гарп мог стимулировать свое воображение только фотографией «скорой помощи» и все равно понимал, что от покупателей не будет отбоя. И испытывал глубочайшее отвращение к людям, которые купят книгу, и к себе, написавшему книгу, которую люди стадами попрутся покупать.

«Стадо» — кого бы то ни было, а особенно людей — всегда вызывало у Гарпа тревогу. И, сидя в самолете, он мечтал поскорее очутиться в уединенном месте, где будут только он и его семья.

— А что мы сделаем со всеми этими деньгами? — вдруг спросил его Дункан.

— Со всеми этими деньгами? — непонимающе переспросил Гарп.

— Ну, когда ты будешь богат и знаменит, — пояснил Дункан. — Что мы тогда сделаем?

— О, повеселимся всласть! — пообещал Гарп, однако красивый здоровый глаз сына смотрел на него очень внимательно и с большим сомнением.

— Наш полет будет проходить на высоте тридцать пять тысяч футов, — сообщил пилот.

— Вот это да! — восхитился Дункан, а Гарп потянулся через проход и взял руку жены в свою. Но тут какой-то толстяк стал, пошатываясь, пробираться к туалету, и Гарп с Хелен смогли только смотреть друг на друга, поддерживая глазами необходимый контакт.

А перед мысленным взором Гарпа была Дженни Филдз, вся в белом, вознесенная к небу могучей, как башня, Робертой Малдун. И это видение отчего-то вызвало у него такой же озноб, как и фотография «скорой помощи» на обложке его романа. И тогда Гарп принялся болтать с Дунканом о всякой ерунде.

Но Дункан вдруг вспомнил знаменитую семейную историю и заговорил об Уолте и об отливах. Сколько Дункан себя помнил, Гарпы каждое лето ездили в Догз-Хэд-Харбор, в Нью-Гэмпшир, где сильнейшие отливы постоянно опустошали многие мили пляжей, в том числе и перед домом Дженни Филдз. Когда Уолт достаточно подрос и уже осмеливался подходить к воде, Дункан сказал ему то же самое, что тысячу раз твердили Хелен и Гарп: «Осторожней! Отлив!» И Уолт отступил; на лице его был написан страх и глубокое уваже-

ние к этому неизвестному «отливу». Целых три лета Уолта постоянно предупреждали о том, как опасны отливы. Дункан отлично помнил многие из этих предупреждений:

«Сегодня опасный отлив!»

«Сегодня подводное течение особенно сильное, осторожней в отлив!»

«Отлив сегодня особенно коварный!» *Коварный* — этим словом в Нью-Гэмпшире обозначали многое, не только отлив.

А Уолта прямо-таки тянуло к волне отлива. С самого первого раза, когда он спросил, что *она* может сделать, и ему сказали, что отливная волна может утянуть тебя в море и утопить, а потом утащить глубоко на дно морское.

Это было четвертое лето Уолта в Догз-Хэд-Харбор, вспоминал Дункан, когда Гарп, Хелен и он сам наблюдали за Уолтом, а Уолт, не замечая их, следил за морем. Он долго-долго стоял по колено в пене прибоя и вглядывался в волны, но не сделал ни шага. И тогда они все подошли к нему, чтобы выяснить, за кем он следит.

— Что это ты делаешь, Уолт? — спросила Хелен.

— Кого высматриваешь, малявка? — спросил Дункан.

— Я пытаюсь увидеть Подводную Жабу[14], — совершенно серьезно ответил Уолт.

— Кого-кого? — удивился Гарп.

— Подводную Жабу, — повторил Уолт. — Я хочу ее увидеть. Она большая?

Хелен, Гарп и Дункан затаили дыхание; они поняли, что все эти годы Уолт до смерти боялся какой-то гигантской подводной жабы, которая караулит в воде у берега, выжидая, когда можно будет засосать человека и утащить в море. Ужасная Подводная Жаба!

Гарп попытался вместе с Уолтом представить ее себе. Поднимается ли она когда-нибудь на поверхность? Плавает ли? Или же всегда только сидит на дне, покрытая слизью, раздувшаяся, и внимательно следит за маленькими детскими лодыжками, которые может легко обвить своим липким языком? А потом она утаскивает ребенка на дно и убивает его. Злобная Подводная Жаба!

Для Хелен и Гарпа Подводная Жаба стала символом тревоги. И долгое время после того, как для Уолта «чудовище» окончательно «вывели на чистую воду» («Подводное течение, сосунок, а не Подводная Жаба!» — кричал ему Дункан), Гарп и

---

[14] Примечание: 14

Подводная жаба — under toad — для Уолта очень созвучно с undertow — отлив, подводное течение.

Хелен поминали эту тварь в качестве эвфемизма для различных собственных опасений. Когда, например, на улицах было особенно много машин, когда шоссе покрывалось льдом и становилось опасно скользким, когда несколько дней бушевала непогода, они говорили друг другу: «Что-то сегодня Подводная Жаба разбушевалась!»

— А помнишь, — говорил Дункан отцу в самолете, — как Уолт спрашивал: она зеленая или коричневая?

Оба рассмеялись. Но Гарп с горечью подумал: не была она ни зеленой, ни коричневой; она была цвета плохой погоды, дождя со снегом, и размером с большой автомобиль… она — это я, это Хелен.

В Вене Гарпу все время чудилось, что Подводная Жаба совсем близко и очень сильна. А вот Хелен, похоже, совсем не ощущала ее присутствия. И Дункан тоже. Как у всякого одиннадцатилетнего мальчишки, чувства у него легко сменяли друг друга. Возвращение в этот старинный город было для Гарпа точно возвращение в Стиринг-скул. Улицы, дома, даже картины в музеях казались ему старыми учителями, которые еще больше постарели. Он едва узнавал их, а уж они и вовсе его не помнили. Хелен и Дункан ходили повсюду,

а Гарп вполне довольствовался прогулками с маленькой Дженни: теплыми осенними днями катал ее в колясочке, напоминавшей карету в стиле барокко — собственно, в таком стиле выстроен и весь город. Гарп улыбался и кланялся всем пожилым людям, которые заглядывали в коляску и восхищенно щелкали языком, выражая свой восторг при виде такой хорошенькой малышки. Теперешние венцы выглядели благополучными, любили хорошо поесть и вполне освоились с самыми разными предметами роскоши, что было для Гарпа несколько непривычно; этот город давно позабыл о временах оккупации, о военных руинах и военных горестях. Когда он жил здесь с матерью, ему казалось, что Вена умирает или уже мертва, теперь же она предстала как совершенно иной город (хотя и немного еще знакомый), выросший на прежнем месте.

С другой стороны, Гарпу нравилось показывать Дункану и Хелен тот город, какой он знал когда-то; он с удовольствием бродил по тем местам, которые были связаны с его личной жизненной историей, и странным образом события его жизни переплетались с событиями историческими, описанными в венском путеводителе. «А вот здесь стоял Гитлер, когда впервые обращался к

жителям этого города. А вот здесь я обычно делал покупки утром в субботу…»

«Это четвертый район, русская зона; знаменитая Карлскирхе, а также — Верхний и Нижний Бельведер. А между Принц-Ойгенштрассе слева и Аргентиниерштрассе есть маленькая улочка, где мы с бабушкой…»

Они сняли несколько комнаток в очень милом пансионе четвертого района и даже обсудили вопрос, не отдать ли Дункана в английскую школу, но тогда каждое утро пришлось бы ездить на машине или на трамвае на другой конец города, а они не планировали задерживаться в Вене дольше чем на полгода. Во всяком случае, они уже прикидывали, как будут праздновать Рождество в Догз-Хэд-Харбор вместе с Дженни, Робертой и Эрни Холмом.

Джон Вулф в конце концов прислал Гарпу его книгу — с суперобложкой и всем прочим, и в течение нескольких дней Гарп просто не знал, куда ему деться от проклятой Подводной Жабы; потом она нырнула поглубже, сделав вид, что исчезла совсем, и Гарп умудрился написать Джону довольно сдержанное письмо. Он не скрывал, что ему все это крайне неприятно, но, с другой стороны, сказал, что понимает, что бизнес есть

бизнес… Ну и так далее. В самом деле, разве может он сердиться на Вулфа? Он, Гарп, обеспечил упаковку содержимым, а Вулф выпустил все это на рынок.

Из писем матери Гарп знал, что первые рецензии были «не очень», но — по совету того же Вулфа — Дженни не стала вкладывать вырезки в конверт. Зато сам Джон приложил к своему посланию первый восторженный отклик одного из весьма приличных нью-йоркских периодических изданий. «Женское движение наконец-то оказало существенное влияние на известного писателя-мужчину!» — писала рецензентка, адъюнкт-профессор каких-то высших женских курсов. Далее в рецензии говорилось, что «Мир глазами Бензенхавера» — «первое проведенное автором-мужчиной углубленное исследование чисто мужского невротического прессинга, от которого страдают столь многие женщины». И далее в том же духе.

— Господи, — сказал Гарп, прочитав это творение, — звучит так, словно я написал *диссертацию,* а ведь это, черт подери, роман! Обыкновенный художественный вымысел! Я все это *придумал!*

— Ну и что? — сказала Хелен. — Судя по рецензии, даме роман очень понравился.

— Да не роман ей понравился, — возразил Гарп, — а кое-что совсем другое!

Именно эта рецензия весьма способствовала установлению твердого мнения, что «Мир глазами Бензенхавера» — роман феминистский.

«Как и я, — писала Дженни Филдз своему сыну, — ты, похоже, будешь извлекать выгоду из очередного популярного заблуждения наших дней».

Были и другие рецензии; в них роман называли «параноидальным, безумным, напичканным дешевым сексом и насилием». Большую часть Гарпу не показывали, хотя они, пожалуй, совсем не влияли на то, как лихо распродавалась книга.

Один рецензент, признавая, что Гарп — писатель серьезный, заявил, что у этого автора «склонность к барочному преувеличению достигла состояния амока». Джон Вулф не удержался и послал Гарпу эту рецензию — возможно, потому, что был с нею согласен.

Дженни писала, что ее «начинают вовлекать в местные политические игры Нью-Гэмпшира».

«Предвыборная борьба за пост губернатора отнимает у нас все время», — писала Роберта Малдун.

«Как можно отдавать все свое время какому-то

нью-гемпширскому губернатору?» — писал в ответ Гарп.

Разумеется, там оказалось замешано какое-то феминистское издание, обвинявшее власти в «нетерпимости» и неадекватной оценке преступлений, совершенных в Нью-Гэмпшире. Администрация штата, например, гордилась тем, что отказала в разрешении на аборт изнасилованной четырнадцатилетней девочке, тем самым как бы дав первые ростки быстро распространявшегося общенационального вырождения. Нынешний губернатор действительно был реакционером-маразматиком да еще и крикуном в придачу. Например, он твердо верил, что ни федеральное правительство, ни правительство штата не должны помогать беднякам, ведь бедность представлялась губернатору вполне заслуженной и справедливой карой, назначенной высокоморальным Высшим Судией. Однако губернатор был далеко не глуп: он весьма искусно поддерживал в массах страх — например, пугал жителей Нью-Гемпшира тем, что они скоро станут жертвами *целых орд* разведенных женщин из Нью-Йорка.

Разведенные женщины из Нью-Йорка действительно приезжали в Нью-Гэмпшир стадами. По

словам губернатора, они намеревались превратить всех здешних женщин в лесбиянок или как минимум вдохновить их на измены мужьям; они также собирались соблазнить всех здешних мужей и студентов колледжей. «Разведенки» из Нью-Йорка определенно распространяли идеи промискуитета, социализма, разрушения семьи и совсем уж отвратительной мерзости, которая в прессе Нью-Гемпшира именовалась «групповым сожительством лесбиянок».

Одним из центров такого «группового сожительства» назывался, естественно, Догз-Хэд-Харбор — «логово радикальной феминистки Дженни Филдз».

Губернатор утверждал также, что следствие этого — повсеместный рост числа венерических заболеваний — «проблема, хорошо известная в кругах любителей подобных свобод». Короче говоря, губернатор врал и не стеснялся. И его оппонентом на выборах, конечно, была женщина, и целые «отряды нью-йоркских разведенок», как писала Дженни, уже развернули кампанию в ее поддержку.

Каким-то образом в единственной газете штата Нью-Гэмпшир появилась статья о романе Гарпа, который был назван, во-первых, «из-

вращенческим», а во-вторых, «новой библией феминизма».

«Это страстный гимн нравственной порочности, воспевающий сексуальные извращения наших дней!» — писал один из рецензентов с Западного побережья.

«Это исполненный боли протест против насилия и сексуального подавления меньшинств в наш век, ощупью продвигающийся к справедливости!» — говорилось в какой-то другой газете.

Нравился роман или не нравился, но он постоянно и широко обсуждался в прессе. Собственно, для романа, для беллетристики, одна из возможностей обрести успех — сходство с документальным рассказом о том или ином документальном событии. Когда он превращается в газетную «новость». Именно это и произошло с романом Гарпа благодаря усилиям губернатора Нью-Гемпшира.

«Нью-Гемпшир — весьма отсталый штат с замшелой политикой, — писал матери Гарп. — Ради всего святого, не лезь ты в эту политику!»

«Ты всегда так говоришь, — писала ему в ответ Дженни. — Когда ты вернешься домой и станешь знаменитостью, я посмотрю, как *тебе* удастся избежать участия в политике!»

«Вот увидишь. Это легче легкого», — отвечал

Гарп. Постоянная переписка через Атлантику на время отвлекала Гарпа от вечного присутствия ужасной и смертоносной Подводной Жабы, хотя теперь уже и Хелен призналась, что ей кажется, будто Жаба где-то поблизости.

— Давай вернемся домой, — предложила она мужу. — Мы отлично провели время.

Но тут пришла телеграмма от Джона Вулфа: «Оставайтесь пока там. Люди стадами охотятся за твоей книгой».

А Роберта прислала Гарпу майку с надписью: НЬЮ-ЙОРКСКИЕ «РАЗВЕДЕНКИ» ВПОЛНЕ ПРИГОДЯТСЯ И В НЬЮ-ГЭМПШИРЕ!

— Господи! — сказал Гарп и предложил Хелен: — Давай подождем хотя бы до конца этих дурацких выборов, а потом уж поедем.

Таким образом, им удалось пропустить «особый феминистский отзыв» о романе, напечатанный в популярной желтенькой газетенке. Этот роман, говорилось в рецензии, «решительно поддерживает мнение, что женщины — всего лишь вещи и вполне подходящая добыча для хищников-мужчин… Т.С. Гарп продолжает развивать отвратительную мужскую мифологию: мужчина хорош всегда, ибо он защитник семьи; а женщина хороша, только когда по собственному желанию

не позволит никому, кроме мужа, войти в свою „дверь“»...

В рецензирование романа оказалась вовлечена и Дженни Фиддз, но, к счастью, Гарп никогда не видел рецензий своей матери. Дженни, например, писала, что, хотя это и лучший роман ее сына — ибо сюжет его отличается наибольшей серьезностью, — все же он «испорчен бесконечными типично маскулинистскими высказываниями собственнического характера, которые читательницам могут показаться неприятно тенденциозными». Однако она отмечала, что ее сын — безусловно хороший писатель, он еще молод и, конечно, будет писать еще лучше. «И его сердце, — добавляла она, — находится там, где ему и полагается быть!»

Если бы Гарп прочитал это, он, пожалуй, постарался бы задержаться в Вене значительно дольше. Но они уже строили планы отъезда. И как всегда, беспокойство ускоряло сборы. Когда однажды вечером Дункан вовремя, то есть до наступления темноты, не вернулся из парка домой, Гарп бросился искать сына, а потом позвонил Хелен и сказал, что это последняя капля и уезжать отсюда нужно как можно скорее. Вообще жизнь в столичном городе заставляла Гарпа особенно

опасаться за жизнь Дункана.

Гарп бежал по Принц-Ойгенштрассе к памятнику советским солдатам на Шварценбергплац. Поблизости там была кондитерская, где продавались пирожные, которые Дункан очень любил, хотя Гарп постоянно твердил сыну, что тот испортит себе перед ужином аппетит.

«Дункан!» — звал он на бегу, и его голос эхом отдавался от прочных солидных зданий, окутывая его липкой пеленой страха, точно зловонное сырое дыхание Подводной Жабы, отвратительного чудовища, чье присутствие Гарп постоянно ощущал совсем рядом.

А Дункан, совершенно счастливый, уплетал себе пирожные в кондитерской.

— Темнеет все раньше и раньше, — пожаловался он отцу. — И я, между прочим, не так уж и опоздал!

Гарпу ничего не оставалось, как признать это, и они вместе пошли домой. Подводная Жаба исчезла, удрав по одной из маленьких, ведущих вверх темных улочек. Возможно, ее интересует вовсе и не Дункан, подумал Гарп. Ему чудилось, что колени его обнимает приливная волна, хочет утащить на глубину, но это ощущение быстро прошло.

Телефонный звонок, извечный вопль тревоги — крик воина, заколотого кинжалом на посту и в предсмертном крике излившего свою боль и неожиданность нападения, — поднял на ноги весь пансион; дрожащая хозяйка в белом, точно привидение, влетела к ним в комнату.

— Bitte, bitte! — умоляла она. И сообщила, дрожа от возбуждения, что звонят из Соединенных Штатов.

Было два часа ночи, отопление отключено, и Гарп, дрожа от холода, устремился по коридору за хозяйкой пансиона. «Ковер в коридоре был тонкий, цвета тени», — вспомнил он вдруг. Он написал это много лет назад и теперь пытался вспомнить остальных жильцов пансиона «Грильпарцер» — венгерского певца, и человека, который ходил только на руках, и мрачного медведя, и всех остальных членов печального «цирка смерти», какой он тогда вообразил себе…

Но никого из тех персонажей здесь не было; впереди шла только эта изящная пожилая женщина с удивительно прямой, даже какой-то светской спиной, словно она до сих пор исправляла давным-давно исправленную юношескую сутулость. И на стенах коридора не было фотографий конькобежцев, и возле туалета не стоял

велосипед с огромным единственным колесом. Спускаясь по лестнице в комнату хозяйки, ярко освещенную, словно потайной командный пункт в осажденном городе, Гарп чувствовал, что следует по пятам за ангелом смерти — повивальной бабкой Подводной Жабы, болотистый запах которой он почуял сразу, как только взял телефонную трубку.

— Да? — прошептал он.

И на миг испытал облегчение, услышав в трубке голос Роберты Малдун — вероятно, будет жаловаться на очередное оскорбление на сексуальной почве или сообщит последние новости о предвыборной гонке в штате Нью-Гэмпшир, и всё. Гарп встретился с вопросительным взглядом старой хозяйки пансиона и понял, что она даже не успела вставить зубы: щеки ее будто всосало в рот, отвисшая кожа складками спадала на подбородок, а остальное лицо оказалось, наоборот, обтянуто кожей, словно череп. В комнате прямотаки разило Подводной Жабой.

— Я не хотела, чтобы ты увидел это в «Новостях» по телевизору, — говорила между тем Роберта. — Я, правда, не уверена, что в Вене это покажут по телевизору… Там, может, и в газетах ни слова не будет… В общем, я просто не хотела, чтобы ты все

узнал *таким образом.*

— Кто же победил? — весело спросил ее Гарп, хотя в душе уже понимал, что этот телефонный звонок вряд ли имеет отношение к победе старого или нового губернатора Нью-Гемпшира.

— Ее *застрелили…* твою мать убили, Гарп! — сказала Роберта. — Какой-то ублюдок выстрелил в нее из винтовки.

— Кто? — прошептал Гарп.

— Какой-то *мужчина,* — Роберта заплакала. Это было самое страшное ругательство в ее устах: *какой-то мужчина.* — Какой-то мерзавец, женоненавистник, — сказала Роберта. — Охотник — Она зарыдала. — А сейчас как раз охотничий сезон, и никому даже в голову не пришло обратить внимание на человека с винтовкой. И он ее застрелил.

— Насмерть? — спросил Гарп.

— Я успела ее подхватить, — снова заплакала Роберта. — На землю она не упала, Гарп, но так и не сказала больше ни слова. И, по-моему, так и не поняла, что с ней случилось. Да, я уверена, она так и не поняла, Гарп.

— А этого типа поймали? — спросил Гарп.

— Его кто-то застрелил. А может, он сам себя… — сказала Роберта.

— Значит, он мертв? — снова спросил Гарп.

— Да, мертв, ублюдок проклятый! Он тоже мертв.

— Ты одна, Роберта?

— Нет. — Роберта заплакала еще сильней. — Нас тут много. Мы все у *тебя* дома, Гарп. — Он легко мог представить себе всех этих плачущих женщин, собравшихся в доме Дженни Филдз, которой они теперь лишились.

— Она хотела, чтобы ее тело отдали в анатомичку, студентам, — сказал Гарп. — Ты меня слышишь, Роберта?

— Слышу, — сказала она. — Все это так ужасно!

— Но именно так она хотела, — повторил Гарп.

— Я знаю, — сказала Роберта. — Тебе нужно приехать домой.

— Да-да, мы немедленно выезжаем, — сказал Гарп.

— Мы совершенно не знаем, что делать! — жалобно всхлипнула Роберта.

— А что тут поделаешь? — сказал Гарп. — Теперь уж тут ничего не поделаешь, Роберта.

— Но должно же быть хоть что-нибудь! — воскликнула она. — Правда, она никогда не хотела, чтобы устраивали похороны и все такое…

— Естественно, нет, — сказал Гарп. — Она хо-

тела, чтобы ее тело передали в медицинский институт. И ты, пожалуйста, всем этим распоряжись, Роберта. Потому что мама хотела именно этого.

— Но должно же быть хоть что-нибудь! — рыдала Роберта. — Может, не церковное отпевание, но хоть что-то!

— Ничего не затевай и ни во что не лезь, пока я сам не приеду, — строго велел ей Гарп.

— Тут столько всяких разговоров! — сказала Роберта. — Люди хотят собраться, устроить поминки…

— Я — ее единственный сын, Роберта. Скажи им.

— Она, знаешь ли, для *многих* из нас значила очень много! — резко возразила Роберта.

Да, именно это ее и убило! — подумал Гарп, но вслух ничего не сказал.

— Я пыталась за ней присматривать, я глаз с нее не спускала! — плакала Роберта. — Я так просила ее не ходить на эту парковку!..

— Тут некого винить, Роберта, — мягко сказал Гарп.

— Но *ты-то* думаешь, что винить есть кого, Гарп, — возразила она, — ты всегда так думаешь!

— Пожалуйста, Роберта, прекрати! — сказал

Гарп. — Ты же мой лучший друг!

— Потому я и скажу тебе, кого надо винить! — решительно заявила Роберта. — Мужчин, Гарп! Представителей твоего пола! Этих потенциальных убийц! Потому что если вы не можете *трахать* нас так, как вам это нравится, то стараетесь убить нас сотней самых различных способов!

— Только не я, Роберта! И, пожалуйста, прекрати! — сказал Гарп.

— Нет, и ты тоже, — прошептала Роберта. — Ни один мужчина не может быть женщине просто другом.

— Но я же твой друг, Роберта, верно? — сказал Гарп, и Роберта снова заплакала, тихо, без ярости, и этот звук был Гарпу столь же приятен, как стук дождевых капель по поверхности глубокого озера.

— Ох, как мне жаль! — прошептала Роберта. — Заметь я этого типа с винтовкой хоть на секундочку раньше, я бы успела заслонить ее. Наверняка бы успела, ты же знаешь.

— Знаю, Роберта. — И Гарп подумал: а что бы сделал я? Он, разумеется, любил свою мать и теперь испытывал боль утраты. Но был ли он так же *предан* Дженни Филдз, как ее последовательницы, представительницы одного с нею пола?

Он извинился перед хозяйкой пансиона за поздний звонок и сообщил ей, что его мать умерла; старушка молча перекрестилась; ввалившиеся щеки и беззубые десны красноречиво свидетельствовали, что этой женщине довелось пережить немало смертей.

Хелен плакала очень долго и совершенно не желала выпускать из рук маленькую тезку Дженни Филдз. Дункан и Гарп попытались купить американские газеты, но газеты из Америки попадали в Австрию в лучшем случае через день. А самые горячие новости можно было узнать только благодаря телевизору.

Гарп смотрел, как убили его мать, по телевизору своей квартирной хозяйки.

Сперва показали рыночную площадь в Нью-Гэмпшире; там происходила какая-то предвыборная чушь. Пейзаж отчасти напоминал приморский, и Гарп узнал это место — оно находилось всего в нескольких милях от Догз-Хэд-Харбор.

Старый губернатор по-прежнему был в фаворе у тех же тупых свиней. Его соперник — женщина, как показалось Гарпу, вполне образованная, немного идеалистка, но добрая и приятная, — похоже, с трудом сдерживает гнев по поводу всего того свинства, какое воплощал губернатор со

своими приспешниками.

Парковка на площади, со всех сторон окруженной магазинами, была забита грузовыми фургонами. В грузовиках сидели мужчины в охотничьих куртках и кепках; они явно представляли сторонников нынешнего губернатора и противников «нью-йоркских разведенок».

Симпатичная женщина, оппонентка губернатора на выборах, тоже считалась «нью-йоркской разведенкой».

То, что она уже пятнадцать лет прожила в Нью-Гэмпшире и ее дети ходили в местную школу, явно не имело значения ни для нынешнего губернатора, ни для его сторонников, мужланов, что нахохлившись сидели в своих грузовиках на парковочной площадке.

Над толпой покачивались лозунги; отовсюду доносились насмешливые выкрики.

Явилась туда и местная футбольная команда — молодые ребята в форме стучали касками по цементной площадке. Один из сыновей женщины-кандидата входил в эту команду и привел своих парней, надеясь продемонстрировать всему Нью-Гемпширу, что голосовать на выборах за его мать в высшей степени мужественно.

Охотники, сидевшие в грузовиках, придержи-

вались мнения, что голосовать за «разведенку» — значит голосовать за лесбиянок, социализм, разврат, Нью-Йорк и тому подобное. У Гарпа сложилось впечатление, что в Нью-Гэмпшире такого не терпят.

В общем, Гарп, Хелен, Дункан и малышка Дженни сидели в гостиной венского пансиона и собирались смотреть, как будет убита Дженни Филдз. Растерянная старушка хозяйка подала им кофе с маленькими печеньицами; только Дункан оказался способен хоть что-то проглотить.

Наконец подошел черед выступления Дженни Филдз. Она выступала, стоя в кузове одного из грузовиков. Роберта Малдун подняла ее в кузов и установила микрофон так, чтобы Дженни было удобно говорить. Гарпу мать показалась очень маленькой в кузове этого грузовика, особенно рядом с Робертой, но белый халат Дженни выделялся в этой толпе, и вся она была светлая, чистая.

«Я — Дженни Филдз», — сказала она, словно одновременно отвечая и на приветственные крики одних, и на презрительное улюлюканье других. Из грузовиков, где сидели охотники, послышались звуки охотничьих рогов. Полиция велела им отъехать подальше, они отъехали, потом снова

вернулись и остановились неподалеку от того места, где стояли раньше. «Большинство присутствующих знает, кто я такая», — продолжала Дженни, и снова послышались приветственные крики и улюлюканье; снова охотники затрубили и стали нажимать на клаксоны своих грузовиков, и вдруг в этом невообразимом шуме грянул выстрел. Один-единственный. Точно подводя всему итог; точно последняя волна, разбившаяся о берег.

Никто не видел, откуда прозвучал этот выстрел. Роберта Малдун подхватила Дженни под руки. На белоснежный медицинский халат Дженни словно вдруг плеснули чем-то темным. Затем Роберта, подхватив Дженни на руки, спрыгнула с грузовика и, точно нож в масло, врезалась в толпу — так «крепкий орешек» некогда вел мяч к воротам противника для последнего, решающего удара. Толпа расступилась; Дженни было почти не видно в огромных ручищах Роберты. Появилась полицейская машина, двигавшаяся наперерез Роберте. Потом Роберта бережно протянула полицейским тело Дженни Филдз — неподвижный белый халат проплыл над толпой, полицейский принял его, а потом помог Роберте сесть в машину.

Машина, по словам комментатора, тут же умчалась в больницу, а оператора отвлекла начавшаяся перестрелка между теми, что сидели в грузовиках, и полицией. Позже, когда толпа разбежалась, на площади обнаружилось неподвижное тело мужчины в охотничьем костюме. Он лежал в темной луже, похожей на нефть. Еще чуть позже крупным планом показали то, что репортеры назвали «охотничьим ружьем».

С такими ружьями охотятся на оленей, однако было подчеркнуто, что официально сезон охоты на оленей еще не открыт.

В общем, за исключением того, что в данной телепередаче отсутствовали сцены с раздеванием и сексом, все с начала и до конца здорово смахивало на первосортную мыльную оперу.

Гарп поблагодарил хозяйку пансиона за то, что она позволила им посмотреть новости. Через два часа они были уже во Франкфурте, где пересели на самолет до Нью-Йорка. Подводной Жабы в самолете не было — даже Хелен, которая так боялась летать, не чувствовала ее присутствия. На некоторое время Жаба явно убралась от них подальше.

Единственное, что крутилось у Гарпа в голове, когда они летели над Атлантикой, это последние

слова матери: «Большинство присутствующих знает, кто я такая». И в самолете Гарп словно пробовал на вкус, как бы эта строчка звучала в романе.

— «Большинство присутствующих знает, кто я такая», — прошептал он. Дункан спал, но Хелен услышала его, потянулась через проход и взяла Гарпа за руку.

И на высоте в несколько тысяч футов над уровнем моря Т.С. Гарп заплакал, сидя в самолете, который нес его домой, в ту исполненную ярости и насилия страну, где ему предстояло стать знаменитым.

17. Похороны Главной Феминистки и другие похороны

«После смерти Уолта, — писал Т.С. Гарп, — вся оставшаяся жизнь казалась мне лишь эпилогом». Когда умерла Дженни Филдз, Гарп, должно быть, почувствовал растерянность, ибо жизнь явно шла по какому-то плану. Но *какому?*

Сидя в офисе Джона Вулфа в Нью-Йорке, Гарп пытался вникнуть в смысл великого множества планов, которые строились вокруг похорон его матери.

— Я же не давал разрешения на похороны, — сказал Гарп. — Да и о каких похоронах вообще идет речь? Где ее тело, Роберта?

Роберта Малдун терпеливо объяснила, что тело отправлено туда, куда хотела Дженни. Но тело — это не главное, сказала Роберта. Просто будет устроено мемориальное действо, которое незачем считать «похоронами».

В газетах, однако, писали, что это будут первые феминистские похороны в Нью-Йорке.

А из полиции сообщили, что ожидаются беспорядки.

— Значит, все-таки «первые феминистские похороны»? — спросил Гарп.

— Она так много значила для нас, женщин! — сказала Роберта. — Не сердись. Ты ведь ей все-таки не *хозяин,* знаешь ли!

У Джона Вулфа от удивления округлились глаза.

Дункан Гарп не отрываясь смотрел в окно офиса Джона Вулфа на сороковом этаже здания, высившегося над Манхэттеном. Возможно, Дункану казалось, что он снова летит на самолете.

В соседней комнате Хелен звонила по телефону в добрый старый Стиринг, пытаясь связаться с отцом; она хотела, чтобы Эрни встретил их в Бостоне.

— Ну ладно, — медленно проговорил Гарп; на коленях у него сидела маленькая Дженни Гарп. — Ладно, Роберта. Я приду. Хотя ты прекрасно знаешь, что я этого не одобряю!

— Ты туда *пойдешь?* — изумился Джон Вулф.

— Нет! — вырвалось у Роберты, но она тут же поправилась: — Я хотела сказать, что это *вовсе не обязательно.*

— Знаю, — сказал Гарп. — Но ты права. Ей бы, возможно, это вполне понравилось, так что я пойду. А что, собственно, там будет?

— Там будет много всяких выступлений… — сказала Роберта. — Но ты же не хочешь идти, Гарп!

— Еще они собираются читать отрывки из ее книги, — сказал Джон Вулф. — Мы пожертвовали несколько экземпляров.

— Ты же не хочешь туда идти, Гарп! — нервно повторила Роберта. — Пожалуйста, не ходи.

— Я хочу пойти, — сказал Гарп. — И обещаю не шипеть и не улюлюкать — что бы там эти задницы о моей матери ни говорили. Я и сам могу прочитать кое-что из написанного ею, если, конечно, кому-то интересно. Вот вы, например, знаете, что она писала по поводу того, что ее называют феминисткой? — Роберта и Джон Вулф потрясенно переглянулись; лица у обоих посерели. — Примерно так «Я ненавижу, когда меня так называют, ведь это ярлык, который на меня навесили другие и который совершенно не соответствует ни моему отношению к мужчинам, ни тому, как и о чем я пишу!»

— Я не хочу спорить с тобой, Гарп, — сказала Роберта. — По крайней мере, сейчас. Ты прекрасно знаешь, что Дженни говорила и совсем иное. Она *действительно* была феминисткой, нравился ей этот ярлык или нет. Просто именно она оказалась

способна указать женщинам на многие творимые против них беззакония и всегда боролась за то, чтобы женщины имели право жить так, как им хочется, имели право делать свой собственный выбор.

— Вот как? — сказал Гарп. — А может, она, по-твоему, еще и верила, что *все* происходящее с женщинами происходит с ними, *потому что они женщины?*

— Только полный идиот может верить в это, Гарп, — сказала Роберта с упреком. — Ты что же, всех нас сплошными джеймсианками считаешь?

— Пожалуйста, прекратите наконец этот дурацкий спор! — вмешался Джон Вулф.

Дженни Гарп тихонько пискнула и шлепнула Гарпа по коленке; он удивленно посмотрел на девочку — словно совсем позабыл, что на коленях у него сидит живое существо.

— Ну, в чем дело? — спросил он малышку. Но Дженни опять притихла, рассматривая что-то в широком просторе, открывавшемся из окон офиса Джона Вулфа, и видимое только ей одной.

— В котором часу состоится ваше действо? — спросил Гарп у Роберты.

— В пять.

— Мне кажется, время выбрано специально,

чтобы половина нью-йоркских секретарш смогли на час раньше уйти с работы, — заметил Джон Вулф.

— Не все работающие женщины в Нью-Йорке — секретарши, — парировала Роберта.

— Но секретарши — единственные, кого будет особенно не хватать на работе как раз между четырьмя и пятью часами дня, — возразил Джон.

— О господи! — вздохнул Гарп.

Вошла Хелен и сообщила, что так и не дозвонилась до отца.

— Он, наверное, на тренировке, — предположил Гарп.

— Но борцовский сезон еще не начался, — возразила Хелен.

Гарп глянул на календарик в своих наручных часах, которые до сих пор показывали европейское время. В последний раз он переводил часы в Вене. Впрочем, Гарп знал, что тренировки по борьбе в Стиринг-скул начинаются не раньше Дня благодарения. Хелен была права.

— Когда я позвонила в офис спортзала, мне сказали, что он дома, — сказала Хелен, — а дома никто трубку не брал.

— Ничего, мы просто возьмем в Бостоне машину, и все, — сказал Гарп. — К тому же вылететь

мы сможем только сегодня вечером: я должен пойти на эти чертовы похороны.

— Ничего ты *не должен!* — упрямо возразила Роберта.

— А если честно, тебе *нельзя* идти, — прибавила Хелен. Роберта и Джон Вулф снова мрачно переглянулись; Гарп же по-прежнему ничего не понимал.

— Что ты хочешь этим сказать? — обратился он к Хелен. — Что значит «нельзя»?

— Это же феминистские похороны, — пояснила Хелен. — Ты статью-то в газете *прочитал* или удовлетворился одним заголовком?

Гарп укоризненно взглянул на Роберту Малдун, но та смотрела на Дункана, который вытащил подзорную трубу и сверху наблюдал за Манхэттеном.

— Правда, Гарп, тебе нельзя туда идти, — призналась Роберта. — Я не стала говорить, потому что думала, тебя от самой этой идеи уже тошнит. Мне в голову не приходило, что ты захочешь туда пойти.

— Значит, мне это *не разрешается?* — спросил Гарп.

— Это похороны *для женщин,* — сказала Роберта. — *Женщины* любили ее, они ее и оплачут. Так

нам хотелось.

— Между прочим, я тоже ее любил! — гневно сверкнул глазами Гарп. — И я — ее единственный сын! Ты имеешь в виду, что я не вправе пойти на это дурацкое представление только потому, что *я мужчина?*

— Зря ты называешь это «дурацким представлением», — сказала Роберта.

— А где будет «дурацкое представление»? — спросил Дункан. — И что это такое?

Дженни Гарп снова пискнула, но Гарп даже внимания не обратил, и Хелен забрала у него девочку.

— Ты хочешь сказать, что на похороны моей матери мужчины не допускаются? — спросил Гарп у Роберты.

— Это совсем не похороны, я же говорила, — сказала Роберта. — Скорее митинг — демонстрация нашего глубочайшего почтения…

— Я пойду туда, Роберта, — твердо сказал Гарп. — И мне совершенно безразлично, как это действо называется.

— О господи! — Хелен с малюткой Дженни на руках направилась к дверям. — Пойду попробую еще раз до отца дозвониться.

— Я вижу человека с одной рукой, — сообщил

Дункан, глядя в подзорную трубу.

— Пожалуйста, Гарп, не ходи! — мягко попросила Роберта.

— Она права, — сказал Джон Вулф. — Я тоже хотел пойти. В конце концов, именно я напечатал главную книгу Дженни. Но мне не разрешили. Пусть поступают как хотят, Гарп. Мне кажется, Дженни одобрила бы эту идею.

— Мне это совершенно безразлично, — упрямо повторил Гарп.

— Видимо, так оно и есть, — сказала Роберта. — И это вторая причина, по какой не следует там появляться.

— Ты еще не знаешь, как некоторые представительницы женского движения восприняли твою книгу! — попытался предостеречь Гарпа Джон Вулф.

Роберта Малдун сделала страшные глаза. Гарпа и раньше обвиняли в том, что он выезжает за счет репутации своей матери и женского движения. Роберта видела рекламу «Мира глазами Бензенхавера», которую Джон Вулф выпустил сразу после гибели Дженни. Роман Гарпа черпал популярность и из этой трагедии, ведь реклама била на жалость к автору, потерявшему не только сына, «но теперь еще и мать».

К счастью, Гарп этой рекламы не видел, а Джон Вулф о ней сожалел.

«Мир глазами Бензенхавера» продавался, продавался, продавался. Долгие годы он служил предметом различных литературоведческих дискуссий, изучался в колледжах. Временами там изучали и другие книги Гарпа. Один из курсов, например, включал автобиографию Дженни Филдз, три романа Гарпа и написанную Стюартом Перси «Историю школы имени Эверетта Стиринга». Цель этого курса, видимо, состояла в том, чтобы отыскать в книгах все те факты жизни и творчества Гарпа, что могли *сойти за правду*.

К счастью, Гарп не узнал и об этом университетском курсе.

— А теперь я вижу человека с одной ногой! — сообщил Дункан Гарп; он, похоже, высматривал на улицах и за окнами домов Манхэттена всех калек и уродов — задача, которой хватило бы на долгие годы.

— Пожалуйста, Дункан, немедленно прекрати! — сказал ему Гарп.

— Если ты вправду хочешь пойти, Гарп, — вдруг прошептала Роберта Малдун, — тебе придется надеть женское платье!

— Если мужчине надо преодолеть столько

трудностей, чтобы попасть на ваше дурацкое собрание, — рявкнул Гарп, — вы бы еще хромосомную проверку у входа устроили! — Он тут же пожалел о своих словах, увидев, как Роберта вздрогнула, словно от удара. Гарп взял ее большие руки в свои и не выпускал, пока не почувствовал ответное пожатие. — Извини, — прошептал он. — Но раз мне придется тащиться в женском платье, тут тебе и карты в руки. Я хочу сказать, у тебя-то в этом смысле опыт богатый, верно?

— Да уж! — сказала Роберта.

— Нет, это просто смешно! — воскликнул Джон Вулф. — Вы оба, наверно, с ума сошли?

— Но если кто-нибудь из женщин тебя узнает, — предупредила Гарпа Роберта, — они тебя на куски разорвут. В лучшем случае просто не пропустят внутрь.

В кабинет снова вошла Хелен, на руках у нее попискивала маленькая Дженни Гарп.

— Я дозвонилась до Боджера, — сообщила она Гарпу — и попросила его разыскать папу. Странно, что его нигде нет: на него это совсем не похоже.

Гарп только головой покачал.

— Надо немедленно отправляться в аэропорт! — сказала Хелен. — А в Бостоне взять напрокат

машину и ехать в Стиринг! Пусть только дети немного передохнут. А ты, если тебе так уж хочется приключений, можешь потом вернуться в Нью-Йорк.

— Ладно, вы поезжайте, — сказал Гарп. — А я вылечу попозже, сам возьму машину и доберусь до Стиринга.

— Но это же глупо! — сказала Хелен.

— И бессмысленно дорого, — прибавила Роберта.

— У меня теперь куча денег, — сказал Гарп и криво улыбнулся Джону Вулфу, но тот на улыбку не ответил и вызвался сам отвезти Хелен и детей в аэропорт.

— А вон там один человек с одной рукой, один — с одной ногой, двое хромых и еще один совсем без носа! — радостно сообщил Дункан.

— Ты подожди немного и полюбуйся на собственного отца, — сказала Дункану Роберта Малдун.

А Гарп подумал: ничего себе — убитый горем сын, бывший борец, переодевается в женское платье, чтобы присутствовать на торжественной церемонии по случаю похорон родной матери! Он поцеловал Хелен, детей и даже Джона Вулфа.

— Не беспокойся об Эрни, — сказал он Хелен.

— И о Гарпе не беспокойтесь, — вставила Роберта. — Я так его переодену и приукрашу, что никто и не подумает к нему придираться.

— Лучше бы ты все-таки оставил их всех в покое, — сказала Гарпу Хелен.

И тут вдруг в кабинете Джона Вулфа, где и так уже было не протолкнуться, появилась какая-то незнакомая женщина. Собственно, сперва никто даже и не заметил ее, однако она упорно старалась привлечь внимание Джона Вулфа и наконец громко обратилась к нему, улучив мгновение внезапной тишины. Разумеется, все тут же удивленно уставились на нее.

— Мистер Вулф! — сказала женщина, весьма немолодая, со сморщенным коричневым лицом и сильной проседью в черных волосах; каждый шаг, казалось, давался ей с трудом, причиняя сильную боль. Вокруг ее обширной талии был дважды обернут электрический удлинитель.

— Да, Джилси? Ты что-то хочешь мне сказать? — спросил у нее Джон Вулф.

Гарп так и уставился на женщину: значит, это и есть та самая Джилси Слопер! Джону Вулфу не мешало бы знать, что писатели хорошо запоминают имена.

— Я хотела спросить, — сказала Джилси, —

нельзя ли мне сегодня уйти пораньше, если вы позволите, конечно. Чтоб на похороны пойти. — Говорила она очень невнятно, опустив подбородок книзу и стараясь произносить как можно меньше слов. Ей явно не хотелось открывать рот при посторонних. Гарпа она, разумеется, узнала сразу, но очень боялась, что ее начнут ему представлять в присутствии всех этих людей.

— Да, конечно, ты можешь уйти, — быстро сказал Джон Вулф. В данный момент ему тоже ничуть не хотелось знакомить Джилси Слопер с Гарпом.

— Минуточку, — сказал Гарп. Джилси Слопер и Джон Вулф так и застыли. — Вы и есть Джилси Слопер?

— Нет! — выпалил Джон Вулф. Но Гарп сверкнул в его сторону глазами, и он осекся.

— Как вы поживаете? — вежливо спросила Джилси у Гарпа, не поднимая глаз.

— А вы как поживаете? — спросил Гарп. Он с первого взгляда мог сказать, что этой старой и грустной женщине *совсем не понравилась* его книга; Джон Вулф сказал ему неправду.

— Мне очень жаль — насчет вашей мамы! — сказала Джилси.

— Спасибо большое за сочувствие. — Но, как и

все остальные, Гарп не мог не видеть, что Джилси Слопер прямо-таки кипит от невысказанных чувств.

— Она стоила двух или даже трех таких, как вы! — вдруг выкрикнула Джилси Гарпу в лицо, и из ее мутных желтоватых глаз покатились слезы. — Она стоила четырех или даже пяти ваших ужасных книг! Госспди! — всхлипнула она и, прихрамывая, побрела прочь, бормоча себе под нос — Госспди! Госспди!

А вот и еще один хромой человек, подумал Дункан Гарп, понимая, однако, что отец в данный момент ни за что не пожелает слушать его отчет об увиденных калеках.

Собравшиеся на первых феминистских похоронах в городе Нью-Йорке, казалось, толком не знали, как им себя вести. Возможно, потому, что церемония происходила не в церкви, а в одном из загадочных зданий университетского кампуса — в старой аудитории, полной отзвуков давних речей, к которым никто не прислушивался. Огромное помещение выглядело немного обшарпанным — из-за веселых студенческих капустников, выступлений рок-групп и различных, иногда и хорошо известных, поэтов. Однако царил в нем и дух академической серьезности,

ведь здесь явно читали свои длинные лекции всеми уважаемые профессора, а сотни студентов старательно эти лекции конспектировали.

Называлось это место «Скул оф Нерсинг-Холл», а потому вполне подходило для поминовения Дженни Филдз. В толпе собравшихся на церемонию, облаченных в фирменные платья «подлинная Дженни Филдз» с вышитым красным сердечком над грудью, было трудно отличить в толпе от одетых в белые и совершенно не модные халаты настоящих сестер милосердия, которые находились поблизости от «Нерсинг-скул» по совсем иным причинам, но из любопытства или из искреннего сочувствия, а может, из-за того и другого, все же сунули нос в аудиторию да там и остались.

В огромной, тихо бормочущей аудитории было так много женщин в белых медицинских халатах, что Гарп тут же рассердился на Роберту.

— Я же говорил, что мне нужно одеться сестрой милосердия, — шипел он. — Я бы куда меньше бросался в глаза.

— А я боялась, что в халате медсестры ты, наоборот, будешь привлекать внимание, — призналась Роберта. — Я же не знала, что их тут будет так много!

— Похоже, это приобретает характер национальной традиции, черт бы ее побрал, — пробормотал Гарп. — Ладно, там увидим, — прибавил он и умолк; он нарочно ссутулился и рядом с Робертой выглядел маленьким и невзрачным, но чувствовал, что все посматривают на него с подозрением, будто чуют его принадлежность к противоположному полу или, как и предупреждала Роберта, его враждебность.

Они уселись в самом центре огромной аудитории, всего в трех рядах от ораторской кафедры, а за спиной у них плескалось целое море женщин, плавно разливаясь по рядам, по проходам между рядами и свободному пространству у дальней стены аудитории, где никаких сидений не было; те же, кто не искал сидячих мест, поскольку не собирался задерживаться надолго, и пришел, только чтобы выразить покойной свое почтение, медленной вереницей втекали в одну дверь и столь же медленно вытекали в другую. Казалось, большая часть аудитории, заполненная сидящими, — это открытый гроб Дженни Филдз, мимо которого в торжественном молчании проходят эти скорбящие о ней женщины.

Гарпу, разумеется, казалось, что «открытый гроб» именно он, и все эти женщины рассмат-

ривают его бледное лицо, желтоватый оттенок его кожи и абсурдный, почти карнавальный костюм.

Вполне возможно, Роберта вырядила его так в отместку за то, что он чуть ли не силой увязался с нею, а может, за то, что он жестоко, хотя и невольно, намекнул на состав ее хромосом. Она одела Гарпа в дешевый комбинезон бирюзового цвета (того же, что и грузовик Орена Рэта), с золотой молнией, тянувшейся от горла до промежности. В бедрах костюмчик был Гарпу явно широковат, зато фальшивый бюст, выбранный Робертой, вызывающе торчал, оттопыривая клапаны карманов, а вредная молния отъезжала куда-то в сторону и грозила в любой момент разойтись.

— Ну и видок у тебя! — сказала Гарпу Роберта.

— Скотина ты, Роберта! — прошипел в ответ Гарп.

Бретельки огромного фальшивого бюстгальтера непривычно врезались в плечи, но стоило Гарпу заметить, что кто-то из женщин на него смотрит, по всей видимости пытаясь определить его половую принадлежность, как он демонстративно поворачивался к ней боком, старательно выпячивая свою «грудь» и, как ему казалось, снимая тем все возможные сомнения.

Парик, выбранный все той же Робертой, внушал Гарпу гораздо меньше уверенности: это были пышно взбитые медового цвета волосы типичной шлюхи. Вдобавок под этим париком собственная его голова страшно чесалась.

На шее у него красовался кокетливый шарфик зеленого цвета.

От пудры смуглое лицо Гарпа приобрело несколько болезненный, серовато-желтый оттенок, однако Роберта сказала, что иначе невозможно скрыть густую щетину у него на щеках. Его тонковатые губы были щедро накрашены вишневой помадой, но он все время облизывал их и в итоге совершенно размазал помаду в углу рта.

— У тебя такой вид, словно ты только что целовался, — «успокоила» Роберта.

Хотя Гарпу было холодновато, Роберта не позволила ему надеть спортивную куртку — плечи в ней казались слишком широкими. На ноги он натянул высокие, до колена, сапоги из мерзкой синтетики вишневого цвета; по словам Роберты, под цвет помады. Увидев свое отражение в одной из витрин, Гарп сообщил Роберте, что выглядит как несовершеннолетняя проститутка.

— Как *стареющая* несовершеннолетняя проститутка, — поправила его Роберта. Но потом

поправилась сама: — Ты выглядишь как самая настоящая женщина, Гарп. Может быть, не обладающая достаточно хорошим вкусом, но все-таки как женщина!

Итак, Гарп ерзал на сиденье в битком набитой женщинами аудитории и нервно крутил дурацкие веревочки, украшавшие нелепую плетеную сумочку с восточным орнаментом, в которую едва поместился его бумажник. А настоящую одежду Гарпа, его истинное обличье, Роберта Малдун спрятала в большую спортивную сумку, которую носила через плечо.

— Это Хортон-Джонс, — прошептала Роберта, указывая на худую женщину с ястребиным носом, которая что-то гнусаво вещала с кафедры, по-птичьи склоняя набок голову. Речь у нее была на редкость сухая, явно заготовленная заранее.

Гарп понятия не имел, кто такая Хортон-Джонс; он пожал плечами, продолжая терпеть это скучнейшее действо. Речи выступавших весьма разнились — от страстных политических призывов к объединению до печальных, даже лирических, исполненных искренней боли личных воспоминаний о Дженни Филдз. Аудитория не знала, то ли аплодировать, то ли молиться, то ли громко выражать одобрение, то ли мол-

чать и мрачно кивать головой в знак согласия. Обстановка одновременно была похожа и на оплакивание покойника, и на страстный митинг наконец-то собравшихся вместе единомышленников, вполне готовых затем в марше двинуться дальше, и Гарпу такое желание представлялось вполне естественным, ибо соответствовало как личности его матери, так и смутному понятию «женское движение».

— А это Салли Девлин, — прошептала Роберта. Женщина, поднимавшаяся на трибуну, показалась Гарпу не только очень приятной и неглупой, но и смутно знакомой. И он сразу ощутил потребность как-то от нее защититься. Не имея в виду ничего дурного и исключительно из желания поддразнить Роберту, он прошептал:

— А ножки у нее неплохие!

— Да уж получше, чем у тебя, — сказала Роберта и больно ущипнула его за бедро своими сильными пальцами, один из которых, насколько знал Гарп, был неоднократно сломан, еще когда Роберта играла за футбольную команду «Филадельфия Иглз».

Салли Девлин обвела зал своими ласковыми печальными очами, словно делая безмолвное замечание школьникам, которые не только не

слушают учительницу, но и сидеть спокойно не могут.

— На самом деле этому бессмысленному убийству нет прощения! — тихо сказала Салли Девлин. — Но Дженни Филдз помогала стольким несчастным вновь стать *личностями,* она была так терпелива и великодушна с женщинами, попавшими в беду, что любая из нас, которой кто-то помогал в трудную минуту, должна всей душой страдать из-за того, что случилось с Дженни Филдз.

И в эти мгновения Гарп действительно страдал всей душой; и по залу тоже пронесся единодушный вздох, и единодушное рыдание вырвалось из груди сотен женщин. Рядом сотрясались от плача широченные плечи Роберты. Он вдруг почувствовал, как рука женщины, сидевшей прямо за ним, стиснула его плечо, прямо-таки вцепилась в его ужасный бирюзовый комбинезон. Интересно, подумал он, а вдруг она даст мне пощечину за то, что я явился сюда в таком неподобающе оскорбительном наряде? Однако женщина вскоре убрала руку и ничего ему не сказала. Возможно, ей просто требовалась поддержка. И Гарп понял, что в эти мгновения все они чувствуют себя родными сестрами.

Он поднял глаза, чтобы вновь посмотреть на Салли Девлин, но сквозь пелену слез не мог ясно ее рассмотреть, хотя слышал вполне отчетливо: она рыдала! Громко, искренне, пронзительно вскрикивая порой! Она пыталась вернуться к своему выступлению, однако никак не могла справиться с собой и отыскать на странице нужное место; страницы речи в ее дрожащей руке так шуршали, что было слышно в микрофон. Какая-то могучая женщина, которую Гарп, кажется, видел раньше в качестве одной из телохранительниц матери, хотела помочь Салли Девлин сойти с трибуны, но та вовсе не собиралась уходить.

— Я не хотела плакать, — смущенно сказала она, все еще утирая слезы и судорожно всхлипывая. — Мне нужно кое-что сказать вам. — Однако голос совершенно ее не слушался. — Черт побери! Никак не могу с собой справиться, — сказала она и удалилась с таким достоинством, что Гарп был глубоко тронут.

Могучая, грозного вида женщина вдруг оказалась одна перед микрофоном. Аудитория, затаив дыхание, ждала. Гарп почувствовал, что соседка сзади вновь положила руку ему на плечо; потом эта рука дрогнула, а может, женщина даже нарочно толкнула его. Глядя на крупные руки

Роберты, спокойно сложенные у нее на коленях, Гарп сообразил, что рука, лежащая у него на плече, наверняка очень маленькая.

Могучая женщина явно хотела что-то сказать, и аудитория терпеливо ждала. Хотя ждать, видимо, пришлось бы до бесконечности. Хорошо зная эту особу, Роберта встала рядом с Гарпом и принялась хлопать в ладоши, аплодируя этой большой, как скала, женщине и ее странному, точно зачарованному молчанию перед микрофоном. К аплодисментам Роберты присоединились и другие, в том числе и Гарп, хотя он понятия не имел, зачем это делает.

— Она из джеймсианок, — шепнула Гарпу Роберта. — Она *не может* ничего сказать.

Тем не менее этой женщине удалось пронять аудиторию одним лишь своим полным боли, страдальческим лицом. Она открыла рот и шевелила губами, словно пела, но из ее уст не вылетало ни звука. Гарпу почудилось даже, что он видит ее язык, варварски отрезанный под корень. Он помнил, как его мать поддерживала их — этих безумиц. Дженни, когда кто-нибудь из них являлся к ней в дом, прямо-таки окутывала бедняжку лаской и вниманием. Однако в конце концов и Дженни призналась, что не одобряет

того, что они с собой сделали, — призналась, возможно, только Гарпу. «Они превращают себя в жертв обстоятельств, — сказала тогда Дженни, — ведь когда то же самое делают с ними мужчины, они негодуют. Почему бы им в знак протеста не принять, скажем, обет молчания? Или никогда не открывать рта в присутствии мужчин? Это же просто нелогично: уродовать себя, чтобы насолить кому-то другому».

Но теперь и Гарп, растроганный трагедией этой безумной женщины, что стояла перед огромной аудиторией, впервые осознал, что в этом массовом уродовании самих себя есть какой-то смысл, — насильственное и нелогичное, это уродование, как ничто другое, отражало тяжкие душевные, а не физические страдания. «Мне действительно *очень больно»*, — говорило огромное лицо женщины на трибуне, и его, Гарпа, слезы, бегущие ручьем, застилали это лицо.

Но тут маленькая рука, лежавшая у него на плече, так сильно стиснула его, что Гарпу стало больно; он опомнился — мужчина на ритуальном собрании женщин! — и обернулся. За ним сидела молодая женщина с усталым лицом, которое тоже показалось ему смутно знакомым.

— А я тебя знаю! — шепнула она ему, но тон у

нее при этом был отнюдь не радостный.

Роберта предупреждала его, чтобы он здесь даже рта не открывал и ни в коем случае не пытался ни с кем говорить. И он знал, как справиться с этой проблемой. Молча покачал головой и вытащил из нагрудного кармашка блокнот, довольно-таки помятый от напора фальшивой груди; потом выудил из своей дурацкой сумочки карандаш. Острые, точно птичьи когти, пальцы женщины впились в его плечо, словно она боялась, что он от нее убежит.

«Привет! Я — джеймсианка!» — нацарапал Гарп в блокноте, оторвал листок и передал молодой женщине. Она его даже не взяла.

— Черта с два! — сказала она ему. — Ты — Т.С. Гарп!

Слово «Гарп» прозвучало точно рык неведомого зверя в тиши застывшего в страдании зала, все еще находившегося под влиянием безмолвно замершей перед микрофоном огромной джеймсианки. Роберта Маддун тотчас обернулась, встревожено глядя на молодую женщину: она ее в жизни не видала.

— Я не знаю, кто эта твоя большая подружка, — сообщила Гарпу молодая женщина, — но ты — Т.С. Гарп. Понятия не имею, где ты раздобыл

свой ублюдочный парик и здоровенные сиськи, но я бы тебя где угодно узнала. Ты ни капельки не изменился с тех пор, как трахал мою сестру — *и до смерти дотрахал!* — заявила она, и Гарп наконец сообразил, кто эта его врагиня: самая младшая из выводка Перси. Бейнбридж! Маленькая Пух, Бедняжка Пух, которая носила подгузники, когда у нее кажется, уже и менструации начались; да и сейчас, Гарп мог поклясться, она частенько к ним прибегала!

Гарп внимательно посмотрел на Бейнбридж Перси; сейчас у него сиськи и вправду были раз в пять больше, чем у нее. Бедняжка Пух никогда не отличалась привлекательностью: одежда и прическа в стиле «унисекс», черты лица ни изящные, ни грубые — никакие. Пух Перси была в армейской рубашке с сержантскими нашивками и предвыборным значком той женщины, которая надеялась стать новым губернатором штата Нью-Гэмпшир. И только тут Гарп осознал, что на пост губернатора претендовала именно Салли Девлин! Интересно, подумал он, неужели она выиграла?

— Привет, Пух, — сказал Гарп и увидел, как она поморщилась: еще бы, давнее *ненавистное* прозвище, и совершенно ясно, больше ее так

никто не зовет! — Извини, Бейнбридж, просто вырвалось по старой памяти, — пробормотал Гарп, но становиться друзьями было слишком поздно. С дружбой они опоздали на долгие годы — с того самого вечера, когда Гарп откусил ухо Бонкерсу и изнасиловал Куши в изоляторе Стиринг-скул, хотя по-настоящему она никогда ему не нравилась и он не пришел ни на ее свадьбу, ни на ее похороны.

Каким бы тяжким ни было обвинение против Гарпа в данную минуту, когда он, казалось, воплощал в себе всю отвратительную половину населения планеты, Пух Перси думала о другом: она наконец-то поймала *своего личного* врага — о, наконец-то!

Теплая большая рука Роберты слегка коснулась спины Гарпа, и ее густой голос прогудел ему в самое ухо:

— Убирайся отсюда, да поскорее, только ни слова не говори!

— В наши ряды прокрался *мужчина!* — завопила, нарушив печальную тишину аудитории, Бейнбридж Перси. Ее вопль заставил даже вконец расстроенную джеймсианку, все еще стоявшую на трибуне, издать какой-то тихий невнятный звук — может быть, она просто кашлянула. —

Здесь мужчина! — снова завопила проклятая Пух. — Это Т.С. Гарп! Здесь *Гарп!* — тявкала она.

Роберта пыталась вытащить Гарпа в проход. Когда-то «крепкий орешек» отличался редкостным умением блокировать противника, а затем передавать мяч или принимать пас от другого игрока, но сейчас даже такая знаменитость, как Роберта Малдун, была не в состоянии удержать напор этих женщин.

— Прошу вас, пожалуйста, простите нас! — твердила Роберта. — Это же его *мать*, поймите, наконец! Он ее единственный сын.

А она — моя единственная *мать!* — думал Гарп, пробираясь к выходу под прикрытием Роберты и чувствуя, как острые, словно бритва, ногти Пух Перси царапают ему лицо. Пух стащила с него парик, но он рванул его к себе и прижал к животу, словно эта штуковина имела для него первостепенное значение.

— Он затрахал мою сестру до *смерти!* — завывала Пух Перси. Каким образом она пришла к такому выводу, Гарп никогда не узнает, но Пух явно была уверена, что все обстояло именно так. Она перелезла через спинку сиденья, на котором он только что сидел, и преследовала его и Роберту по пятам, пока они наконец не выбрались в

проход.

— Дженни была моей матерью, — мимоходом сказал Гарп какой-то женщине, которая определенно была беременна. Сквозь ее презрительно-насмешливую улыбку Гарп разглядел разум и доброту, но также — отстраненность и отвращение.

— Дайте ему пройти, — тихо и довольно равнодушно сказала беременная.

Некоторые другие как будто бы отнеслись к нему с большим сочувствием и кричали, что он, сын Дженни Филдз, имеет право быть здесь. Однако Гарп слышал и совсем иные выкрики, без малейшего намека на сочувствие

Шагая дальше по проходу, Гарп почувствовал, что с него срывают накладной бюст, и, прикрываясь одной рукой, другую протянул к Роберте в надежде на ее помощь, но Роберта была, что называется, «вне игры»: несколько молодых женщин в матросских куртках повалили ее на пол и уселись на нее верхом. Гарпу вдруг пришло в голову, что они, вероятно, и Роберту считают переодетым мужчиной, а когда обнаружат свою ошибку, результаты могут быть самые плачевные.

— Беги, Гарп! — крикнула Роберта.

— Да-да, *беги скорей,* маленький придурок! —

прошипела одна из матросских курток.

И Гарп побежал.

Он уже почти добрался до двигавшихся чередой — из одной двери в другую — женщин у дальней стены, когда чей-то пинок попал точно в цель. По яйцам его не били со времен занятий борьбой в Стиринг-скул — за столько лет он напрочь забыл, что после такого удара невозможно пошевелиться. Он упал на бок, свернулся клубком и прикрылся руками. Разъяренные женщины все пытались вырвать у него из рук парик и крошечный ридикюль, но он крепко прижимал их к себе, словно драгоценный, выигранный в тяжком поединке приз. Его еще несколько раз пнули ногами, обутыми в туфли на каблуках, несколько раз стукнули кулаком, а потом он вдруг почувствовал приятный мятный запах и услышал голос пожилой женщины, дышавшей прямо ему в лицо.

— Попробуйте встать, — ласково сказала она, и он увидел, что это медсестра. Настоящая медсестра. Никакого модного красного сердечка у нее на груди не было, только маленькая бронзово-голубая табличка с именем — она была R N, то есть «дипломированная медсестра» такая-то.

— Меня зовут Дотти, — сказала она ему; ей было

лет шестьдесят, не меньше.

— Очень приятно, — сказал Гарп. — Спасибо вам, Дотти.

Она взяла его за руку и быстро провела сквозь толпу. Пока она была рядом, ни у кого, похоже, не возникало желания причинить ему боль или не дать пройти. Они просто расступались, и все.

— У вас на такси денег хватит? — спросила медсестра Дотти, когда они уже вышли на улицу.

— Да, по-моему, вполне, — ответил Гарп и пошарил в своем ужасном ридикюльчике: бумажник был на месте. А парик — еще более всклокоченный — торчал у него под мышкой. Нормальная его одежда была в сумке у Роберты, однако он тщетно высматривал ее, надеясь, что она вот-вот выйдет из дверей.

— Наденьте парик, — посоветовала Дотти, — иначе вас примут за трансвестита. — Он с трудом нацепил парик; она ему помогала. — Знаете, люди ужасно не любят трансвеститов, — прибавила она, вынула из своих седых волос несколько шпилек и постаралась соорудить Гарпу более пристойную прическу. — А царапина у вас на щеке скоро кровоточить перестанет, — сказала она.

На крыльце появилась высокая чернокожая женщина, выглядевшая вполне достойной сопер-

ницей для Роберты, и погрозила Гарпу кулаком, но не сказала ни слова. Возможно, она тоже была из джеймсианок. Возле нее уже собирались другие женщины, и Гарп начал опасаться, что они снова нападут на него, но тут заметил чуть поодаль от этой группы девушку или, точнее, девочку-подростка, которая стояла, словно не имея к этим бандиткам никакого отношения; у нее были грязноватые светлые волосы и круглые пронзительные глаза, похожие на блюдца, в которые нечаянно пролили кофе, — такие безумные круглые глаза бывают у наркоманов или у тех, кто долго и безутешно плакал. От ее взгляда Гарп похолодел, ему вправду стало страшно: девушка казалась ему юной мужененавистницей, которая проникла на собрание женского движения, спрятав револьвер в большой дамский ридикюль. Гарп стиснул в руках свою жалкую плетеную сумочку, вспомнив, что в бумажнике у него полно кредитных карточек да и наличных достаточно, чтобы взять такси до аэропорта, а с помощью кредитных карточек он сможет купить билет на самолет до Бостона и наконец укрыться, так сказать, в лоне семьи. Ему ужасно хотелось освободиться от этих мерзких фальшивых грудей, но сейчас это было абсолютно невозможно,

словно он так и родился — и с грудями, и в этом неудобном, где-то слишком тесном, а где-то висящем мешком Дамском комбинезоне. Впрочем, иной одеждой он не располагал, так что придется, видимо, обойтись тем, что есть. По шуму, доносившемуся из-за дверей, Гарп понимал, что Роберта ведет жестокий бой не на жизнь, а на смерть. Тех, кто грохнулся в обморок или же получил сильный удар, уже выносили на крыльцо; в зал бросились полицейские.

— Ваша мать была первоклассной сестрой милосердия и такой женщиной, которая любую другую могла заставить гордиться собой, — сказала Гарпу медсестра по имени Дотти. — Готова пари держать, что она и матерью была отличной.

— Да, это правда! — сказал Гарп.

Дотти поймала ему такси; отъезжая, он увидел, что она спокойно направляется к крыльцу «Скул оф Нерсинг-Холл» и грозные женщины, что там стоят, вовсе не собираются ее трогать. К зданию подъезжало все больше полицейских машин; Гарп все высматривал странную девушку с глазами-блюдцами, но она куда-то исчезла.

Он спросил у водителя, кого выбрали новым губернатором Нью-Гемпшира. Гарп очень старался

говорить высоким, «женским» голосом, однако же таксист, привыкший, видно, ко всякому, не выразил ни малейшего удивления ни по поводу внешности Гарпа, ни по поводу его голоса.

— Меня очень долго в стране не было, — пояснил Гарп.

— Ну, ты ничего и не потеряла, милашка, — сказал таксист. — Эта бабенка не выстояла.

— Салли Девлин? — спросил Гарп.

— Ну да. Она сломалась во время прямой трансляции по телевидению, — сказал таксист. — Ее так развезло после того убийства, что она не могла с собой совладать. Ей дали слово, а она, вишь, ничегошеньки вымолвить не может! Полная дура и истеричка! Куда ей в губернаторы, если она с собой совладать не может, а?

И Гарп вдруг увидел, как развивался этот проигрыш. Возможно, сторонники действующего губернатора и прежде не забывали вслух отметить «чисто женскую сверхэмоциональность миссис Девлин». «Опозоренная» проявлением своих искренних чувств по поводу гибели Дженни Филдз, Салли Девлин была мгновенно сочтена избирателями никуда не годной — тем более для столь ответственного поста, как губернатор штата. Гарпу стало стыдно. Стыдно за других.

— А по-моему, — сказал таксист, — как раз такого выстрела и не хватало, чтобы показать народу, что бабе с этой работой нипочем не справиться, ясно?

— Заткнись ты! Знай себе баранку крути! — разозлился Гарп.

— Послушай, золотце, — сказал таксист. — Я совершенно не обязан тут терпеть всякие оскорбления!

— Ты задница и ублюдок, ясно? — сообщил ему Гарп. — И если ты до самого аэропорта не будешь молчать, то я первому же полицейскому сообщу, что ты меня всю излапал и хотел изнасиловать, ясно?

Разъяренный таксист молча вдавил в пол педаль газа и некоторое время гнал машину так, будто надеялся, что проклятая пассажирка потребует остановиться и высадить ее.

— Если ты немедленно не сбросишь скорость, — сказал ему Гарп, — я *действительно* скажу первому же копу, что ты пытался меня изнасиловать.

— У, ведьма гребаная! — проворчал таксист, но скорость сбросил и до аэропорта больше ни слова не проронил. Гарп положил деньги вместе с чаевыми на капот машины, и одна монета про-

валилась внутрь. — У, бабы гребаные, — буркнул таксист.

— У, гребаные мужики! — рявкнул в ответ Гарп, чувствуя — впрочем, чувства у него были смешанные, — что выполнил свой долг и теперь война полов может с успехом продолжаться без него.

В аэропорту у Гарпа потребовали карточку «Американ экспресс» и попросили еще документ, удостоверяющий личность. Ну и, разумеется, задали неизбежный вопрос, что означают инициалы Т.С. Женщина-кассир явно не соприкасалась с литературным миром, а потому не знала, кто такой Т.С. Гарп.

Гарп сказал ей, что «Т» — это «Тилли», а «С» — «Сара».

— Тилли Сара Гарп? — спросила кассирша. Этой молодой женщине явно не нравился странно идущий Гарпу, но уж больно непристойный комбинезон. — Так, багажа нет, сдавать нечего, да? И никакой ручной клади?

— Нет, ничего, — сказал он.

— Даже и пальто нет? — Стюардесса в самолете окинула его презрительным взглядом с головы до ног.

— Пальто у меня нет, — сказал Гарп. Стюардесса вздрогнула, так грубо, по-мужски прозвучал

его голос. — И никаких сумок, ни дорожных, ни ручных, — прибавил он улыбаясь. Ему казалось, что теперь все его имущество — это фальшивые груди, сногсшибательные буфера, которые приспособила ему Роберта; и он ссутулился, стараясь их спрятать, хотя, если честно, это было совершенно невозможно.

Как только Гарп выбрал кресло и сел, какой-то мужчина тут же пристроился рядом. Гарп выглянул в окно. К самолету все еще спешили пассажиры. Среди них он заметил ту похожую на привидение, грязноватую блондинистую девицу. У нее тоже не было ни пальто, ни ручной клади. Только тот чересчур большой ридикюль — достаточно большой, чтобы в нем могла поместиться даже бомба. Гарп сразу почувствовал присутствие Подводной Жабы — на бедре у него мелко задрожал какой-то мускул. Он посмотрел в сторону прохода, чтобы сразу заметить, где сядет эта девица, и встретил плотоядный взгляд своего соседа.

— Может быть, — со знанием дела сказал тот, — когда мы взлетим, вы разрешите угостить вас выпивкой? — Его маленькие, близко поставленные глазки прямо-таки впились в выгнутую дугой молнию на груди у Гарпа, затянутого в

дурацкий бирюзовый комбинезон.

Гарпа захлестнуло странное чувство несправедливости и обиды. Он ведь не просил Роберту обеспечивать ему такое «анатомическое строение». Жаль, не удалось тихо и спокойно поговорить с этой мудрой и приятной женщиной Салли Девлин, неудавшейся кандидаткой на пост губернатора штата Нью-Гэмпшир. Он бы непременно убедил ее, что она слишком хороша для такой поганой работенки.

— Но до чего же хорош этот ваш комбинезончик! — с мерзкой ухмылкой сказал сосед Гарпа.

— Да пошел ты в задницу! — В конце концов, Гарп был сыном женщины, которая запросто пырнула ножом какого-то типа, который приставал к ней в бостонском кинотеатре — много лет назад, давным-давно.

И приставучий тип явно это почувствовал, попытался встать, но никак не мог отстегнуть ремень безопасности и беспомощно посмотрел на Гарпа. Тот перегнулся через сиденье, обдав соседа запахом отвратительных духов, которыми Роберта так щедро его оросила, выправил пряжку ремня и с громким щелчком освободил этого кретина, угрожающе проворчав прямо в его покрасневшее от ужаса ухо:

— Как только взлетим, иди сперва про… рись в туалете, милый!

Когда этот тип сбежал и соседнее кресло опустело, Гарп с вызовом взглянул на следующего пассажира, пожелавшего здесь «приземлиться», — словно на поединок приглашал. Но увидев, кто это, сразу насторожился. Она была очень худая, руки, совсем еще девчоночьи, костлявые, крепко сжимали непомерно большой ридикюль. Она не спросила разрешения — просто взяла и села рядом. Видно, сегодня, подумал Гарп, Подводная Жаба является в обличье совсем молоденькой девчонки. Когда девушка полезла к себе в сумку, Гарп перехватил ее запястье и почти ласково положил ее руку снова к ней на колени. Рука оказалась слабенькой, и никакого револьвера в этой руке не было. Не было в ней и ножа — только блокнотик, карандаш и ластик, стертый до того, что превратился в крошечный шарик.

— Ох, простите! — прошептал он.

Если эта девочка — не убийца, то он, пожалуй, знает, кто она такая. «И почему мне в жизни так часто встречаются люди с дефектами речи? — писал Гарп в одном из своих писем. — Может, просто потому, что я, писатель, замечаю вокруг только то, что звучит неправильно? Или не зву-

чит вовсе?»

Юная ведьма с глазами-блюдцами что-то быстро написала на листке и сунула его Гарпу.

— Да-да, — устало сказал он, — я уже догадался: вы одна из джеймсианок.

В ответ девушка, закусив губу, яростно мотнула головой и прямо-таки впихнула записку Гарпу в ладонь.

«Меня зовут Эллен Джеймс, — сообщалось в записке. — *И я вовсе не одна из джеймсианок!»*

— Так вы та самая Эллен Джеймс? — спросил он, хотя понимал всю бессмысленность своего вопроса: достаточно было взглянуть ей в лицо, чтобы это понять. И возраст как раз подходящий — не так уж давно ее, одиннадцатилетнюю тогда девочку изнасиловали и лишили языка. Ее глаза, издали напоминавшие испачканные кофе блюдца, при ближайшем рассмотрении оказались даже довольно красивыми; просто были в красных прожилках — возможно, от хронической бессонницы. Искусанная нижняя губа напоминала крошечный ластик, который она держала в руке. Девочка нацарапала еще несколько слов.

«Я из Иллинойса. Мои родители недавно погибли в автокатастрофе, и тогда я решила поехать сюда, на Восток, чтобы познакомиться с Вашей

матерью. Я написала ей, и она очень быстро мне ответила! Прислала замечательное письмо! И пригласила приехать и пожить у нее сколько захочу, а еще сказала, чтобы я непременно прочитала все Ваши книги».

Гарп переворачивал крошечные листки блокнота, все время кивая головой и улыбаясь.

«Но Вашу мать убили!» — написала Эллен Джеймс, вытащила из огромного ридикюля коричневую бандану и высморкалась в нее.

«Я все равно приехала и некоторое время жила среди участниц женского движения в Нью-Йорке. Теперь я уже знаю слишком много джеймсианок, как Вы их называете. Собственно, только их-то я и знаю; я получаю сотни рождественских открыток...»

Она перестала писать и убрала руку, чтобы Гарп прочитал последнюю строчку.

— Да-да, в этом я не сомневаюсь, — подбодрил он ее. *«Я, конечно, не могла не пойти на похороны Вашей матери. Потому что знала: там будете Вы. Я знала, что Вы непременно приедете!»* Она снова убрала руку и улыбнулась ему. А потом вдруг засмущалась и прикрыла лицо своей грязной коричневой банданой.

— Так вы хотели видеть именно меня? — спро-

сил Гарп.

Она энергично тряхнула головой и вытащила из ридикюля растрепанный экземпляр «Мира глазами Бензенхавера».

«Это лучшая история об изнасиловании, какую я когда-либо читала, — написала Эллен Джеймс. Гарп поморщился. *— А знаете, сколько раз я прочитала Вашу книгу?»*

Он посмотрел в ее слезящиеся восхищенные глаза. И молча покачал головой, словно был так же нем, как и она. Она коснулась его лица, совершенно по-детски. Растопырила пальцы, чтобы он сосчитал: все пальчики на одной руке и почти все на второй. Господи, она прочла его ужасную книгу восемь раз!

— Восемь раз! — прошептал Гарп.

Она кивнула и улыбнулась. И вдруг, совершенно успокоившись, откинулась на спинку кресла с таким видом, словно все в ее жизни наконец-то благополучно завершилось: она сидит рядом со своим любимым писателем и скоро будет в Бостоне; раз уж не получилось знакомства с той замечательной женщиной, которой она так восхищалась и которая успела погибнуть, пока она, Эллен, добиралась сюда из Иллинойса, то пусть хотя бы единственный сын той женщины

пока остается с нею рядом, и этого будет для нее вполне достаточно.

— Ты в колледже училась? — спросил ее Гарп. Эллен Джеймс подняла один грязный пальчик; лицо у нее стало совершенно несчастным.

— Только один год? — перевел Гарп. — Тебе там не понравилось. Или ничего не получалось?

Она решительно кивнула.

— А кем ты хотела стать? — спросил он, едва не прибавив: «Когда вырастешь».

Эллен указала на него и покраснела. Она почти коснулась его могучего фальшивого бюста.

— Писателем? — догадался Гарп.

Она облегченно вздохнула и улыбнулась, как бы говоря: до чего легко ты меня понимаешь! У Гарпа перехватило горло. Эта девочка потрясла его; она была так похожа на тех обреченных детей, чей организм не вырабатывает антител, у них вообще нет естественного иммунитета, и они абсолютно беззащитны перед любой болезнью. И если не живут всю жизнь в стерильных пластиковых палатках, то просто умирают от первого же вульгарного насморка. И сейчас перед ним была одна такая, Эллен Джеймс из Иллинойса, дитя без социального иммунитета, оставившее свое пластиковое убежище.

— У тебя погибли и папа и мама? — спросил Гарп. Она кивнула и снова закусила и без того изжеванную губу. — И никаких других родственников у тебя нет? — спросил он. Она покачала головой.

Он знал, что сделала бы его мать. И знал, что Хелен возражать не станет; да и Роберта, разумеется, не откажется помочь. Как и все те женщины, которым некогда нанесли тяжкие раны и которые теперь с помощью его матери как-то сумели эти раны залечить — каждая по-своему.

— Ну что ж, можешь считать, что *отныне* у тебя есть семья, — сказал Гарп и взял Эллен Джеймс за руку. Он поморщился, услышав собственный голос: интонации были в точности те же, что и у его покойной матери, когда она исполняла свою давнишнюю и любимую роль в ненаписанной мыльной опере под названием «Приключения доброй медсестры».

Эллен Джеймс закрыла глаза, словно от счастья лишилась чувств, и, когда стюардесса попросила пристегнуть ремни безопасности, девочка ее не услышала. Гарп сам пристегнул ей ремень. И весь недолгий перелет до Бостона Эллен «не умолкая» изливала свое изболевшееся сердечко в бесконечных записках.

«Я этих джеймсианок просто ненавижу! — писала она. — *Я бы никогда с собой такого не сделала!»* Открыв рот, она продемонстрировала Гарпу зияющую там пустоту. Он весь похолодел. *«Я хочу говорить обо всем на свете; я хочу высказать все, что у меня на душе».*

Гарп заметил, что большой палец ее правой руки несколько искривлен, а указательный чуть ли не вдвое длиннее, чем на левой руке. «Пишущий» мускул у Эллен Джеймс был необычайно развит. Да уж, писательские судороги тренированным пальцам этой девочки вряд ли знакомы, думал он.

«Слова приходят, приходят...» — писала она и после каждой строчки ждала, когда он кивнет головой в знак того, что успел все прочитать, и только тогда продолжала. Она описала ему всю свою жизнь. Учительницу английского языка в средней школе — единственного человека, который имел там для нее какое-то значение. Экзему, которой страдала ее мать. Автомобиль «форд-мустанг», который ее отец водил слишком быстро и неосторожно.

«Я прочитала все книги, какие мне попадались», — писала Эллен Джеймс. Гарп рассказал ей, что его жена Хелен тоже очень любит читать

и они, наверное, друг другу понравятся. Взгляд девочки отражал радужные надежды, переполнявшие ее душу.

«Кто был Вашим самым любимым писателем в детстве?» — спросила она его.

— Джозеф Конрад, — ответил Гарп.

Она вздохнула, одобряя его выбор, и написала: *«А у меня — Джейн Остин».*

— Это хорошо, — искренне похвалил Гарп

Когда самолет приземлился, она так устала, что практически спала на ходу, и Гарп провел ее по коридору аэропорта и просто прислонил к конторке, заполняя необходимые квитанции, чтобы взять напрокат машину.

— Т.С.? — спросил человек, который их обслуживал. Одна из фальшивых грудей Гарпа съехала набок, и чиновнику, видно, стало не по себе: возможно, ему показалось, что это странное тело, с ног до головы затянутое в бирюзовый комбинезон, вот-вот развалится.

В машине, мчавшейся по темному шоссе на север, в Стиринг-скул, Эллен Джеймс спала, свернувшись, как котенок, на заднем сиденье. В зеркальце заднего вида Гарп заметил, что на коленке у нее до крови содрана кожа. Во сне она сосала большой палец.

В конце концов похороны оказались вполне под стать Дженни Филдз, и нечто очень важное перешло от матери к сыну. Теперь уже он как бы стал для кого-то братом милосердия. Но что было куда важнее, Гарп наконец понял, в чем заключался талант его матери: инстинкт у нее всегда работал безошибочно, а потому *Дженни Филдз всегда поступала правильно.* Когда-нибудь, надеялся Гарп, я увижу и пойму связь между полученным сегодня уроком и своим стремлением к писательскому труду, впрочем, это личная цель, и на ее достижение потребуется некоторое время. Самое же главное заключалось вот в чем: именно в машине, мчавшейся в Стиринг с настоящей Эллен Джеймс, мирно спавшей на заднем сиденье, Т.С. Гарп решил непременно стать больше похожим на свою мать. На Дженни Филдз.

Наверное, это решение весьма порадовало бы его мать, если бы пришло Гарпу в голову, когда мать была еще жива.

«Смерть, — писал впоследствии Гарп, — похоже, не любит дожидаться, когда мы будем готовы встретиться с ней. Хотя смерть достаточно снисходительна и, когда это возможно, развлекается, устраивая всякую театральщину вместо обычной кончины».

Итак, Гарп, лишенный всякой способности к самозащите, но утративший и ощущение близости Подводной Жабы — во всяком случае, с тех пор как прибыл в Бостон, — вошел в дом Эрни Холма, своего тестя, неся на руках спящую Эллен Джеймс. Ей было сейчас лет девятнадцать, но весила она гораздо меньше, чем Дункан.

Гарп никак не рассчитывал увидеть в мрачноватой гостиной Эрни сильно поседевшего и постаревшего декана Боджера, в полном одиночестве смотревшего телевизор. А старый декан, собиравшийся на пенсию, хоть и не удивился при виде Гарпа, одетого как последняя шлюха, но с ужасом смотрел на спящую Эллен Джеймс у него на руках.

— Она что же… — пролепетал Боджер.

— Она спит, — успокоил его Гарп. — А где все? — И не успел еще отзвучать его вопрос, как он услышал шлепок холодного брюха Подводной Жабы по холодному полу притихшего дома.

— Я пытался с тобой связаться, — сказал декан Боджер. — Эрни…

— Сердце? — догадался Гарп.

— Да, — сказал Боджер. — Врачи чем-то напоили Хелен, чтобы она уснула. Она наверху. А я решил подождать тебя здесь — ну, понимаешь,

вдруг бы дети проснулись и им что-нибудь понадобилось. В общем, чтобы ее никто не будил. Мне очень жаль, Гарп. Иногда все разом валится на голову, просто с ума сойти можно!

Гарп знал, как Боджер любил его мать. Он положил спящую Эллен Джеймс на диван в гостиной и выключил наконец этот проклятый телевизор, который делал лицо спящей девушки совершенно синим.

— Эрни умер во сне? — спросил Гарп Боджера, стаскивая свой парик — Вы его здесь нашли?

Бедный декан отчего-то вдруг занервничал и ответил не сразу.

— Он был на кровати… наверху, — помолчав, сказал Боджер. — Я его снизу окликнул, но он не отвечал, и я решил подняться наверх… Ну и там нашел его… Я привел его в порядок — прежде чем звать кого бы то ни было.

— Вы привели его в порядок? — удивился Гарп. Он расстегнул молнию на бирюзовом комбинезоне и избавился от своего чудовищного бюста. Возможно, старый декан решит, что это просто маскарадный костюм, в котором путешествовал Гарп, ставший знаменитым писателем.

— Пожалуйста, не говори Хелен! — строго велел ему Боджер.

— Не говорить ей *чего?* — удивился Гарп.

Боджер вытащил из-под обширного жилета журнал. Тот самый порнографический журнал, где была опубликована первая глава «Мира глазами Бензенхавера». Журнал выглядел очень старым и потрепанным.

— Эрни смотрел на эти фотографии, — сказал Боджер, — когда у него сердце остановилось.

Гарп взял у него журнал и без труда представил себе сцену этой смерти. Эрни Холм мастурбировал, глядя на фотографии «бобров со вспоротым брюхом», и его старое сердце не выдержало. Во времена Гарпа в Стиринг-скул бытовала шутка насчет того, что это, мол, наилучший способ «покинуть сей мир». Ну что ж, Эрни именно так его и покинул, а добрый декан Боджер натянул знаменитому тренеру штаны и спрятал журнальчик подальше от его дочери.

— Врачу-то мне, конечно, пришлось рассказать, ты же понимаешь, — сказал Боджер.

И Гарпу вдруг пришла на ум тошнотворная метафора из прошлого его матери, но он не стал произносить ее вслух при старом декане. При мысли об одинокой жизни Эрни Гарп совсем пал духом.

— Вот и твоя мама тоже! — вздохнул Боджер,

качая головой; холодный свет фонаря за окном освещал ночной кампус Стиринг-скул. — Твоя мама была необыкновенной женщиной! — задумчиво пробормотал Боджер. — И настоящим бойцом! — прибавил он с гордостью. — У меня, между прочим, до сих пор хранятся копии тех записок, которые она писала Стюарту Перси.

— Вы всегда были очень добры к ней, — сказал Гарп.

— Знаешь, она стоила сотни таких, как Стюарт Перси! — вздохнул Боджер.

— Это точно! — поддержал его Гарп.

— А ты знаешь, *он-то* ведь тоже умер, — сказал Боджер.

— Жирный Стью? — удивился Гарп.

— Ну да. Вчера. После «тяжелой продолжительной болезни» — ты ведь знаешь, конечно, что под этим подразумевается?

— Нет, — сказал Гарп. Он никогда об этом даже не задумывался.

— Чаще всего рак, — мрачно пояснил Боджер. — И он, кстати, действительно болел очень долго.

— Да? Что ж, мне очень жаль, — сказал Гарп, думая о Бедняжке Пух и, разумеется, о Куши. И о своем старинном противнике Бонкерсе, которому когда-то откусил ухо; этот противный вкус он

порой еще чувствовал во сне.

— Наверняка будет неразбериха с часовней Стиринг-скул, — сказал Боджер. — Думаю, Хелен лучше тебе объяснит, но, насколько я понял, отпевать Стюарта будут утром, а Эрни — днем, несколько позже. И ты, конечно же, знаешь, что решено насчет Дженни?

— А что решено? — внутренне ужасаясь, спросил Гарп.

— Устроить мемориал.

— Господи, только не это! — вырвалось у Гарпа. — Мемориал? Здесь?

— Знаешь, тут есть и девушки, — сказал Боджер. — Я бы, правда, назвал их женщинами… — Он покачал головой. — Нет, я, право, не знаю, они еще такие юные… Для меня просто девчонки.

— Студентки? — спросил Гарп.

— Да, студентки, — сказал Боджер. — И эти девушки проголосовали за то, чтобы назвать изолятор Стиринг-скул ее именем.

— Изолятор?

— Ну да. Он ведь никак не назывался, ты же знаешь, — сказал Боджер. — А у большей части наших зданий названия есть.

— Значит, изолятор имени Дженни Филдз? — тупо проговорил Гарп.

— А ведь звучит совсем неплохо, верно? — спросил Боджер, не уверенный, что Гарп с ним согласен, но Гарпу было все равно.

Только один раз за всю длинную холодную ночь малышка Дженни проснулась, но к тому времени, как Гарп наконец отодвинулся от теплого, погруженного в глубокий сон тела Хелен и встал, он увидел, что Эллен Джеймс уже взяла плачущую девочку и греет ей бутылочку. Забавное гуканье и бульканье, свойственное младенцам, доносилось сейчас не изо рта Дженни, а из лишенного языка рта Эллен Джеймс. Когда-то она работала в дневных яслях, еще в Иллинойсе — об этом она рассказала Гарпу в самолете, — так что хорошо умела обращаться с такими малышами и даже «разговаривала» с ними на их языке.

Гарп улыбнулся ей и вернулся в постель.

Утром он рассказал Хелен об Эллен Джеймс, а потом они поговорили об Эрни.

— Хорошо, что папа умер во сне, — сказала Хелен. — Когда я думаю о твоей матери…

— Да, конечно, — сказал Гарп.

Дункана познакомили с Эллен Джеймс. Одноглазый мальчик и безъязыкая девочка, думал Гарп. Они отлично дополняют друг друга, и теперь моя семья еще больше сплотится.

Когда наконец позвонила Роберта и стала описывать свой арест, именно Дункан — он меньше всех в доме устал от разговоров — рассказал ей, что Эрни Холм умер от сердечного приступа.

Когда Хелен обнаружила на кухне в помойном ведре бирюзовый комбинезон и огромную накладную грудь вместе с бюстгальтером, она, похоже, даже немножко развеселилась. А вишневого цвета виниловые сапоги сидели на ней просто отлично, но она все равно их выбросила. Эллен Джеймс попросила только отдать ей зеленый шарф, после чего Хелен повела девочку по магазинам, чтобы купить ей кое-что из одежды. Дункан выпросил парик и — необычайно действуя Гарпу на нервы — почти все утро ходил в этом чертовом парике.

Позвонил декан Боджер, спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен.

Теперешний завхоз Стиринг-скул специально заглянул к ним, чтобы поговорить с Гарпом с глазу на глаз. Он объяснил, что Эрни Холм проживал в школьном помещении, поскольку работал в школе, а потому, как только Хелен найдет возможность, вещи Эрни следует вывезти. Как понял Гарп, фамильный дом Стирингов, принадлежавший Мидж Стиринг-Перси, был передан

школе еще несколько лет назад — в дар от Мидж и Жирного Стью, по случаю чего была устроена торжественная церемония. Гарп сказал завхозу, что, как он надеется, Хелен предоставят столько же времени, чтобы вывезти вещи, сколько предоставили бы Мидж Перси.

— О, конечно, — сказал завхоз. — А их дом мы, конечно, продадим, — доверительно сообщил он Гарпу. — Это же полное барахло!

Насколько помнил Гарп, фамильный дом Стирингов никогда барахлом не был.

— Все-таки это история, — сказал Гарп. — Я-то думал, вы захотите его оставить — к тому же как-никак подарок.

— Водопроводные трубы и канализация в ужасном состоянии, — сказал завхоз. И пожаловался, что в своем прогрессирующем маразме Мидж и Жирный Стью довели дом до полного запустения. — Может, это и очаровательный старый дом, — сказал молодой завхоз, — но школе нужно смотреть вперед. Тут и так кругом сплошная *история.* Нельзя же топить все строительные фонды в канализации подобных исторических памятников. Нам нужны здания, которыми можно реально пользоваться. И нам все равно, что произойдет с этим старым домом.

Когда Гарп рассказал Хелен, что дом Стирингов-Перси будет продан, она окончательно расстроилась. Плакала-то она, конечно, об отце и обо всем, что с ним связано в ее жизни, однако известие, что Стиринг-скул отказывается от самого великолепного дома на территории школы, памятного им с детства, угнетающе подействовало на них обоих — и на Гарпа, и на Хелен.

Затем Гарп пошел договариваться с местным органистом, чтобы на похоронах Эрни не играли ту музыку, какую будут играть утром на похоронах Жирного Стью. Хелен почему-то придавала этому очень большое значение, она была расстроена, и Гарп не стал задавать вопросов, хотя ее поручение представлялось ему довольно бессмысленным.

Приземистая часовня Стиринг-скул, выстроенная в подражание стилю тюдор, была так густо увита плющом, что казалось, проросла из-под земли и теперь тщетно пытается пробиться также сквозь плотно переплетенные побеги.

Темные, в полоску, штаны (от костюма Джона Вулфа) упорно сползали и мели землю, когда Гарп вошел в полутемную часовню, — он так и не отдал костюм портному, а попытался кое-как подогнать его сам. Первая волна сумрачной ор-

ганной музыки сразу дымом окутала Гарпа. Он думал, что пришел достаточно рано, однако, к своему ужасу, увидел, что похороны Жирного Стью уже начались. Почти все присутствующие были глубокими стариками, и Гарп никого не узнавал — это были те самые старцы из высшего общества Стиринг-скул, которые посещали *любые* похороны: выражая на чужих похоронах двойное сочувствие, они как бы предвосхищали свои собственные. А *эта* смерть, думал Гарп, привлекла столько народу в основном потому, что Мидж принадлежала к семейству Стиринг, ведь сам-то Стюарт Перси мало с кем дружил. Церковные скамьи были заполнены вдовами; их маленькие черные шляпки с вуалями вызывали ощущение паутины, упавшей сверху на головы этих старых дам.

— Я рад, что и ты здесь, Джек, — сказал Гарпу какой-то человек в черном, сидевший в последнем ряду. Гарп, почти никем не замеченный, присел на заднюю скамью, надеясь переждать здесь прощальную церемонию, а потом переговорить с органистом. — У нас тут мускулов не хватает, гроб нести некому, — снова обратился к Гарпу сосед, и Гарп узнал его: это был водитель катафалка из похоронной конторы.

— Я не носильщик гробов, — прошептал Гарп в ответ.

— Тебе придется на время им стать, — возразил водитель катафалка, — иначе мы никогда его отсюда не вытащим. Уж больно здоровенный.

От водителя катафалка пахло сигарным дымом. И, взглянув на скамьи, освещенные узкими полосками солнечного света из окон часовни, Гарп убедился, что водитель прав. Отовсюду ему подмигивали седые кудряшки старых вдов, даже лысых голов стариков среди присутствующих почти не видно; и штук тринадцать или четырнадцать прочных тростей были аккуратно прислонены к подлокотникам скамей. Заметил Гарп и два инвалидных кресла.

В итоге он не возражал, когда водитель катафалка взял его под руку и повел за собой.

— Они сказали, мужчин будет больше, — шепотом жаловался водитель, — но никого мало-мальски здорового я тут не заметил.

Гарпа проводили к передней скамье; напротив сидело все семейство Перси. К своему ужасу, он увидел, что на той скамье, где ему предложили сесть, распростерто чье-то тело. Лежавший там старик был совершенно неподвижен, и сесть Гарп так и не решился; впрочем, ему тут же помахали

со скамьи семейства Перси, приглашая к себе, и вскоре он обнаружил, что сидит рядом с Мидж. У Гарпа мелькнула мысль, что старик на скамье — просто очередной покойник, ждущий отпевания.

— Это дядя Харрис Стэнфулл, он просто спит, — шепнула Гарту Мидж, кивнув в сторону лежащего на скамье старика, который выглядел как самый настоящий покойник.

— Это дядя Хорас Солтер, мама! — поправил сидевший рядом с ней мужчина, и Гарп узнал Стьюи Второго, краснорожего и весьма корпулентного; Стьюи был старшим из детей Перси и ныне единственным из сыновей. Насколько Гарп помнил, Стьюи имел какое-то отношение к алюминиевому производству в Питтсбурге. Стьюи Второй не видел Гарпа с тех пор, как Гарпу было пять, и, судя по всему, совершенно не помнил его. Впрочем, и Мидж, казалось, никого больше не узнает. Высохшая, сморщенная, с абсолютно белыми волосами и уродливыми коричневыми пятнами на лице, размером и толщиной с нечищеный арахис, Мидж страдала нервным тиком, отчего ее голова без конца дергалась вперед, как у курицы, которая высматривает, что бы ей клюнуть.

С первого взгляда Гарп сообразил, что гроб, ви-

димо, придется нести Стьюи Второму, водителю катафалка и ему, Гарпу, и очень сомневался, что они втроем справятся. Как ужасно, думал он, быть настолько нелюбимым! И все смотрел на серый гроб Стюарта Перси, напоминавший корабль и, к счастью, сейчас закрытый.

— Простите, молодой человек, — прошептала Гарпу Мидж; ее затянутая в перчатку рука так же легко коснулась его плеча, как один из длиннохвостых попугаев, которых всегда держали в доме Перси. — Я что-то не припомню вашего имени, — сказала она, мило и совершенно маразматически улыбаясь.

Гарп хмыкнул и где-то между «Смитом» и «Джонсом» споткнулся вдруг о выдуманное имя, которое, когда он его произнес, удивило и Мидж, и его самого:

— Я же Смонс, миссис Перси!

Стьюи Второй, казалось, вообще не прислушивался к их разговору.

— Мистер Смонс? — переспросила Мидж.

— Ну да, Смонс, — сказал Гарп. — Смонс, выпуск шестьдесят первого года. У меня мистер Перси историю преподавал.

— О да, мистер Смонс! Как мило, что вы вспомнили и пришли, — сказала Мидж.

— Я был очень огорчен, когда узнал, — сказал «мистер Смонс».

— Да, мы *все* были очень огорчены! — громко сказала Мидж, осторожно оглядывая полупустую часовню. Нервный тик сотрясал теперь все ее лицо, и складки дряблой кожи на щеках мелко дрожали.

— Мама, — предостерегающим шепотом обратился к ней Стьюи Второй.

— Да-да, Стюарт, я больше не буду, — сказала она. А «мистеру Смонсу» пояснила: — Так жаль, что не все наши дети смогли присутствовать.

Гарп, разумеется, знал, что сердце Допи давно уже разорвалось от напряжения, что Уильям погиб на войне, что Куши умерла в родах… Гарпу казалось, он знает, где примерно может быть Бедняжка Пух. Во всяком случае, он испытал огромное облегчение, не обнаружив Бейнбридж Перси на фамильной скамье.

Именно там, среди жалких остатков некогда многочисленного семейства Перси, Гарп вспомнил совсем другой день.

«Куда мы уходим, когда умираем?» — спросила однажды у матери Куши Перси. Жирный Стью, рыгнув, тут же вышел из кухни. Остальные Перси продолжали сидеть за столом: Уильям, которого

ждала война, Допи, сердце которого обрастало жиром, Куши, которая не сможет родить ребенка, потому что все жизненно важные органы в ее шальном организме совершенно перепутаны; Стьюи Второй, который впоследствии зациклится на производстве алюминия. Но только Господу Богу было известно, что случилось с Бедняжкой Пух. Маленький Гарп сидел с ними вместе — в огромной роскошной кухне великолепного особняка Стирингов.

«После смерти, — сказала детям Мидж Стиринг-Перси (и маленький Гарп тоже слушал ее), — все мы уходим в один большой *дом,* очень похожий на этот».

«Но только еще *больше»,* — сказал Стьюи Второй очень серьезно.

«Надеюсь, что так», — с тревогой заметил Уильям.

Допи не понял, о чем речь. Пух была еще слишком мала и вообще говорить не умела. Куши сказала, что она в это не верит и одному только Богу известно, куда попадет она, Куши…

И теперь, подумав об огромном, некогда великолепном фамильном особняке Стирингов, теперь предназначенном на продажу, Гарп вдруг понял, что хочет его купить.

— Мистер Смонс? — подтолкнула его локтем Мидж.

— А? — Гарп словно очнулся.

— Гроб, Джек, — прошептал водитель катафалка.

Стьюи Второй громоздился с ним рядом и очень серьезно смотрел на гигантский гроб, ставший последним приютом его отца.

— Но нам необходим четвертый, — тихо сказал водитель катафалка. — Обязательно нужно по крайней мере четверо!

— Ничего, я могу сзади и один поднять, — сказал Гарп.

— Мистер Смонс выглядит очень сильным, — сказала Мидж. — Он не очень крупный, но очень сильный!

— Мама! — снова прошипел Стьюи Второй.

— Да-да, Стюарт, — откликнулась она.

— Нам нужно четыре мужика. Только и всего-то, — сказал водитель катафалка.

Но Гарп уже решил, что поднимет сзади гроб в одиночку.

— Значит, так: вы оба беретесь за те два угла, — сказал он, — и вперед!

Едва слышный шелест пронесся по рядам оплакивавших Жирного Стью стариков — гроб

казался им совершенно неподъемным. Но Гарп верил в себя. Там, внутри, всего лишь смерть, думал он. Конечно, гроб будет тяжелый — вес его матери, Дженни Филдз, вес Эрни Холма и маленького Уолта (который тяжелее их всех). Бог знает, сколько весят все эти смерти разом! Но Гарп уже приготовился и встал позади гроба, похожего на серый корабль.

И тут рядом с ним возник декан Боджер — он вызвался быть необходимым четвертым.

— Вот уж не думал, что ты здесь окажешься, — шепнул Боджер Гарпу.

— А, так вы знакомы с мистером Смонсом? — спросила декана Боджера Мидж.

— Смонс, выпуск шестьдесят первого года, — подсказал Гарп.

— Ну как же, Смонс, конечно помню! — сказал Боджер.

И этот замечательный «ловец голубей», этот кривоногий шериф Стиринг-скул поднял свой угол гроба одновременно с Гарпом и остальными. Так они переправили Жирного Стью в иной мир. Или в иной дом, гораздо больший, можно надеяться, чем этот.

Боджер и Гарп тащились в самом конце похоронной процессии; старички и старушки брели,

хромая и спотыкаясь, к машинам, которые доставят их на кладбище. Когда наконец старцев вокруг не осталось, Боджер вдруг нырнул в сторону и затащил Гарпа в закусочную Бастера, где они выпили кофе и немного посидели спокойно. Теперь Боджер явно уверился, что у Гарпа появились новые причуды — по вечерам переодеваться в женское платье, а в течение дня несколько раз менять имя.

— Ах, Смонс, — сказал Боджер. — Возможно, теперь твоя жизнь наконец наладится, ты станешь счастливым человеком и преуспевающим писателем….

— Уж преуспевающим-то по крайней мере! — подхватил грустную шутку Гарп.

Он совершенно позабыл попросить органиста не играть на похоронах Эрни Холма ту же мелодию, что и во время похорон Жирного Стью. Если честно, он вообще не заметил, звучала ли на похоронах Перси какая-то музыка; он бы не узнал ее, даже если бы ее повторили. А Хелен там не было, так что ничего, думал Гарп, она не узнает, другая это музыка или та же самая. Как и Эрни, в этом Гарп был уверен.

— Может, поживете здесь немного? — спросил Гарпа декан Боджер, протирая сильной, пухлой

рукой запотевшее окно закусочной и указывая на кампус Стиринг-скул. — У нас тут, право, не так уж и плохо.

— Это единственное место, которое я знаю с детства, — довольно спокойным тоном откликнулся Гарп. Он знал, почему его мать когда-то выбрала Стиринг-скул: здесь, по крайней мере, можно было спокойно воспитывать детей. А уж Дженни Филдз, Гарп и это знал совершенно точно, обладала в этом смысле замечательным чутьем. Гарп допил кофе и, собираясь уходить, с благодарностью пожал руку декану Боджеру. Сегодня ему предстояли еще одни похороны. А уж потом они с Хелен обсудят свое будущее.

18. Привычки Подводной Жабы

Даже получив самые сердечные приглашения от кафедры английского языка, Хелен была совсем не уверена, что хочет преподавать в Стиринг-скул.

— А мне казалось, тебе хочется вернуться к прежней работе, — сказал Гарп, но Хелен не спешила давать согласие: в ней еще жила обида на эту школу, куда ее, девочку, в свое время не приняли.

— Возможно, когда Дженни пойдет, я и соглашусь, — сказала она Гарпу. — А пока что, знаешь, я совершенно счастлива уже тем, что у меня хватает времени читать, просто читать.

Как писатель, Гарп одновременно и завидовал людям, которые много читали, и не доверял им.

У них обоих развивалась странная боязнь перемен, которая их даже беспокоила; вот и сейчас они так тщательно обдумывали каждый свой дальнейший шаг, словно были глубокими стариками. Разумеется, Гарп всегда был одержим идеей безопасности своих детей; и только теперь он наконец понял, что стремление Дженни Филдз

продолжать жить вместе с сыном отнюдь не было таким уж ненормальным.

В общем, семейство Гарпов решило остаться в Стиринге. У них сейчас вполне хватало денег на любые возможные расходы; Хелен *не обязана* была ни работать, ни вообще что-либо делать, если сама не захочет. А вот Гарп никак не мог сидеть без дела.

— Ты будешь писать, — сказала Хелен усталым тоном.

— Нет, пока что не буду, — возразил Гарп. — И возможно, не буду никогда. Но некоторое время точно не буду.

Это заявление даже немного испугало Хелен — она сочла его признаком преждевременного старения; однако ей пришлось смириться и разделить беспокойство мужа, его желание непременно сохранить все, что он пока имел, включая рассудок. И она понимала, насколько уязвима сейчас их супружеская жизнь и их любовь, которую во что бы то ни стало надо сберечь.

Так что Хелен не сказала Гарпу ни слова, когда он пошел на кафедру физкультуры и предложил себя в качестве замены Эрни Холму.

— Вам необязательно мне платить, — сказал он

на кафедре. — Деньги для меня в данном случае значат мало; я просто хочу быть здесь тренером по борьбе.

Разумеется, на кафедре понимали, что с этой работой Гарп вполне справится. Более того, в Стиринг-скул всегда была хорошая команда борцов, а без должной замены для Эрни Холма секция, конечно же, начнет распадаться.

— Вы не хотите получать у нас жалованье? — удивленно спросил его заведующий кафедрой.

— Точнее, я *не нуждаюсь* в оплате, — пояснил Гарп. — Я нуждаюсь в работе, хочу что-то *делать*, заниматься чем-то иным, чем писательство.

Кроме Хелен, никто на свете не знал, что Т.С. Гарп умел делать только две вещи: писать и заниматься борьбой.

Пожалуй, Хелен была и единственной, кто знал, почему в данный момент он не мог писать. Впоследствии ее теория найдет отражение в работах известного критика А.Дж. Хармса, утверждавшего, что творчество Гарпа постепенно утрачивало яркость из-за того, что он все чаще обращался к своей личной жизни. «По мере усиления автобиографичности творчество Т.С. Гарпа как бы мельчало, стиль становился менее уверенным. Он словно понимал, что бесконечное

копание в собственной памяти — процесс не только болезненный для него *в личном плане,* но и самым прискорбным образом сказывающийся на его произведениях, которые становятся как бы все более „жидкими“, все больше теряют *художественность»,* — писал Хармс. По мнению критика, Гарп давно утратил свободу правдиво *воображать* и изображать жизнь, хотя еще в юности обещал это себе — и всем нам, — доказав свое умение своим блестящим рассказом «Пансион „Грильпарцер“». Хармс полагал, что теперь Гарп мог быть действительно правдив, *только вспоминая,* а такая форма творчества — столь отличная от художественного воображения — оказалась для него не только психологически болезненна и физиологически вредна, но и куда менее плодотворна.

Однако задним числом Хармс сделал правильный вывод; Хелен тоже понимала, что это и есть главная проблема Гарпа, — с того самого дня, когда он решил работать тренером в команде борцов Стиринг-скул. Они оба знали, что ему никогда не стать таким тренером, как Эрни, но он сумеет поддержать должный уровень, так что его борцы будут гораздо чаще выигрывать, чем проигрывать.

— Попробуй сочинять волшебные сказки, — предложила Гарпу Хелен; она чаще задумывалась о его писательской деятельности, чем он сам. — Попробуй сам что-нибудь придумать — от начала и до конца. Что-нибудь абсолютно вымышленное, волшебное. — Она никогда не говорила: что-нибудь вроде «Пансиона „Грильпарцер“»; даже не упоминала никогда это произведение, хотя знала, что Гарп теперь согласен с нею: это лучшее из всего, что он написал. Как ни печально, но «Пансион» был самой первой его вещью.

А теперь, стоило Гарпу сесть за письменный стол, он видел перед собой только голые факты своей личной жизни: серую парковочную площадку в Нью-Гемпшире, неподвижное маленькое тело Уолта, лоснящиеся куртки и красные шапки охотников, бесполый ханжеский фанатизм Пух Перси. Но и эти образы уплывали как бы в никуда, и большую часть времени Гарп старался проводить в суете, связанной с обустройством нового дома.

Мидж Стиринг-Перси, подарившая свой фамильный особняк Стиринг-скул, так и не узнала, кто его купил. А если Стьюи Второй и вызнал всю правду, у него, по крайней мере, хватило ума не рассказывать об этом матери, в голове которой

неприятные воспоминания о Гарпе были почти стерты более свежими воспоминаниями о любезнейшем мистере Смонсе. Мидж Стиринг-Перси умерла в частной лечебнице в Питтсбурге; Стьюи Второй давно перевез туда мать — поближе к себе и своему любимому производству алюминия.

Но только Господу Богу известно было, что случилось с Бедняжкой Пух.

Хелен и Гарп привели в порядок старый особняк Стирингов, как его здесь называли почти все. Фамилия Перси как-то очень быстро поблекла и исчезла из обихода; Мидж и ту по большей части называли теперь не иначе как Мидж Стиринг. Новый дом Гарпа, отремонтированный и покрашенный, стал подлинным украшением как самой Стиринг-скул, так и ее окрестностей. И когда ученики школы показывали кампус своим родителям или будущим однокашникам, они весьма редко говорили: «В этом доме живет Т.С. Гарп, знаменитый писатель. А спервa это был фамильный особняк Стирингов, его построили примерно в 1781 году». Гораздо чаще ученики давали по поводу этого дома куда более веселые пояснения, например: «А здесь живет Т.С. Гарп, наш тренер по борьбе». И родители вежливо переглядывались, а будущие ученики школы

непременно спрашивали: «А правда, что борьбой в Стиринг-скул занимаются *по-настоящему?*»

Очень скоро, думал Гарп, Дункан тоже станет учеником Стиринг-скул — перспектива безусловно приятная. Гарпу не хватало сына в спортивном зале и на занятиях борьбой, но он был счастлив, что Дункан нашел свое место в спорте: плавательный бассейн; сюда его привела то ли сама его природа, то ли неполноценное зрение, а может, то и другое, но в бассейне он чувствовал себя как нельзя лучше, буквально как рыба в воде. Дункан иногда заходил в зал к Гарпу, кутаясь в огромное полотенце и еще дрожа после долгих заплывов, и, чтобы согреться, садился на мат под одним из калориферов.

— Как успехи? — всегда спрашивал Гарп. — Ты ведь не насквозь промок, а? Смотри мат не промочи!

— Не промочу, — отвечал Дункан. — У меня все отлично.

Гораздо чаще в борцовский зал заглядывала Хелен. Она опять с головой погрузилась в чтение и читала все подряд; и в зал она приходила, чтобы читать. «Это все равно что читать в сауне», — твердила она. Сидя на матах, она лишь изредка поднимала глаза от книги — когда слышала че-

ресчур громкий удар тела об пол или крик боли. Единственное, что всегда очень мешало Хелен читать, — это постоянно запотевавшие очки.

— Мы уже люди средних лет? — спросила Хелен Гарпа как-то ночью. Ясными ночами из передней гостиной их прекрасного обновленного дома хорошо были видны освещенные прямоугольники окон в изоляторе имени Дженни Филдз и исчерна-зеленая лужайка, за которой всю ночь горел фонарь над дверью, ведущей в пристройку, где в детстве жил Гарп.

— Господи! — сказал Гарп. — Средних лет? Да мы с тобой уже *пенсионеры!* Мы перепрыгнули средний возраст и сразу очутились в мире людей *пожилых.*

— Тебя это огорчает? — осторожно спросила Хелен.

— Пока нет, — сказал Гарп. — А если начнет, я придумаю что-нибудь еще. А в общем, я в любом случае *что-нибудь* придумаю! Знаешь, Хелен, мне иногда кажется, мы во всех отношениях слишком сильно вырвались вперед. И теперь можем себе позволить довольно длительный тайм-аут.

Хелен уже изрядно поднадоела теперешняя спортивная терминология Гарпа, однако она привыкла к ней с детства, да и в борцовском зале

Хелен Холм чувствовала себя как дома. А Гарп, хотя по-прежнему ничего не писал, казался Хелен вполне счастливым. Вечерами Хелен обычно читала, а Гарп смотрел телевизор.

Последняя книга Гарпа в итоге создала ему довольно странную репутацию, не то чтобы совсем уж нежелательную для него самого, но, например, Джон Вулф даже и вообразить такого не мог. Хотя их обоих весьма озадачивало, сколь сильным оказалось воздействие романа на читателей с политической точки зрения. «Мир глазами Бензенхавера» вызывал у людей как полнейшее восхищение, так и сильнейшее негодование, однако в обоих случаях он заставил очень многих читателей вернуться к более ранним произведениям Гарпа. Гарп вежливо отклонял приглашения выступить в том или ином колледже, где от него ждали комментариев по поводу так называемых женских проблем, или рассказа о его отношении к матери и ее работе, или разъяснения функциональности тех «сексуальных ролей», какие «играют» различные герои его произведений. Гарп называл это «разрушением искусства посредством социологии и психоанализа». Впрочем, он получал не меньше предложений просто прийти и прочитать любой

отрывок из своих произведений; и такие приглашения — особенно если это было место, куда хотела пойти и Хелен, — он порой принимал. Гарп был счастлив с Хелен. Он больше не пытался изменять ей; даже мысли об этом крайне редко приходили ему в голову. Возможно, именно знакомство с Эллен Джеймс окончательно излечило его от желания воспринимать молоденьких девушек как некий объект «плотского вожделения». Что же касается женщин возраста Хелен и старше, то тут Гарпу просто потребовалось укрепить свою силу воли, что оказалось совсем нетрудно. Он считал, что и без того достаточно большая часть его жизни прошла под знаком пресловутого «плотского вожделения».

Эллен Джеймс, которую в одиннадцать лет изнасиловали и лишили языка, исполнилось девятнадцать вскоре после того, как она переехала к Гарпам. Она мгновенно стала кем-то вроде старшей сестры для Дункана и своим человеком в обществе калек, к коему Дункан застенчиво себя причислял. Они очень подружились. Эллен помогала Дункану делать уроки, потому что у нее оказались большие способности во всем, что касалось языка и литературы. А Дункан увлек Эллен плаванием и фотографией. В огромном

особняке Стирингов Гарп оборудовал для них специальную темную комнату, и они долгие часы проводили в темноте, проявляя бесчисленные пленки и печатая фотографии; оттуда без конца доносилось бормотание Дункана насчет объективов, форматов и освещения, а также вопросительные «а-а-а?» или восторженные «о-о-о!» Эллен Джеймс.

Хелен купила им кинокамеру, и Эллен с Дунканом вместе написали сценарий и сняли фильм, где сами же и сыграли; это была история о слепом принце, чье зрение отчасти восстанавливается, когда он целует юную уборщицу. Но принц прозревает только на один глаз, потому что уборщица позволяет поцеловать ее только в одну щеку. От стеснения она никому не позволяет целовать ее в губы, потому что лишена языка. Несмотря на все помехи и компромиссы, юная пара все же вступает в брак. Эта история была изложена на экране с помощью пантомимы и титров, написанных Эллен. Самое лучшее в их фильме, как говорил впоследствии сам Дункан, его продолжительность: только семь минут.

Эллен Джеймс также очень помогала Хелен с маленькой Дженни. Вообще Эллен и Дункан были опытными няньками; а Гарп по воскресеньям

брал девочку в спортзал, где, как он утверждал, она быстрее научится ходить, бегать и падать не ушибаясь, хотя Хелен и возражала против этого, говоря, что спортивные маты пропылены насквозь и там ничего не стоит подхватить любую инфекцию, а кроме того, у девочки могут искривиться ножки, если она все время будет ходить по мягкому.

— Это же все равно что ходить по болоту, — говорила Хелен.

— Ничего, — успокаивал ее Гарп, — у нас весь мир — одно сплошное болото.

С тех пор как Гарп перестал писать, постоянные разногласия возникали у него, как ни странно, лишь с Робертой Малдун, его лучшим другом. Впрочем, источником разногласий служила не сама Роберта. Когда Дженни Филдз умерла, Гарп обнаружил, что ее земельные владения поистине огромны и что Дженни, словно желая досадить сыну, назначила его единственным наследником и распорядителем всего этого сказочного богатства, а также (и это было хуже всего!) особняка для «раненых жизнью» женщин в Догз-Хэд-Харбор.

— Но *почему меня?* — взвыл Гарп. — Почему не *тебя?* — И тут же окрысился на Роберту и без того обиженную тем, что распорядителем в

Догз-Хэд-Харбор назначили не ее.

— Понятия не имею. А действительно, почему тебя? — выдала себя Роберта.

— Наверное, таким образом мама надеялась приучить меня заботиться о «раненых женщинах», — предположил Гарп.

— Или просто заставить тебя *думать!* — раздраженно сказала Роберта. — Все-таки Дженни была отличной матерью!

— О господи! — вздохнул Гарп.

Несколько месяцев он пытался разгадать, что именно Дженни хотела сказать тем единственным предложением, в котором изложила свои намерения относительно использования ее состояния и огромного особняка на побережье:

«Я хочу оставить после себя место, куда достойные женщины смогут прийти, где они смогут собраться и *просто побыть самими собой и сами по себе».*

— О господи, — снова вздохнул Гарп, в очередной раз перечитав это предложение.

— Может быть, она имела в виду что-то вроде фонда? — догадалась Роберта.

— Филдз-фонд? — предположил Гарп.

— Потрясно! — пришла в восторг Роберта. — Вот именно! Специальные гранты и место, куда

женщины всегда могут прийти.

— Прийти, чтобы делать *что?* — спросил Гарп. — И гранты — *на что?*

— Прийти, чтобы окончательно оправиться от невзгод или болезней, если им это необходимо, или просто чтобы побыть наедине с собой, — сказала Роберта. — А может, чтобы писать книги, если они писательницы, или картины, если они художницы.

— А может, она имела в виду убежище для матерей-одиночек? — высказал очередное предположение Гарп. — И гранты, чтобы такие женщины «могли стать на ноги», а? О господи!

— Прекрати! Веди себя серьезно, — рассердилась Роберта. — Это же действительно важно. Разве ты не понимаешь? Она хотела, чтобы именно ты понял, как необходимо заботиться о таких женщинах, чтобы именно ты принял на себя ответственность за них!

— А кто будет решать, «достойная» это женщина или нет? — спросил Гарп. — Господи, мама! — в отчаянии вскричал он. — Будь ты жива, я бы шею тебе свернул за все это дерьмо!

— Ну что ж, тебе решать, — подчеркнуто сухо заявила Роберта. — Может, *это* заставит тебя наконец *думать.*

— А как насчет тебя? — быстро спросил Гарп. — Это ведь тебя куда больше касается! Ты же всегда этим занималась, Роберта.

Роберта явно разрывалась на части. С одной стороны, она полностью разделяла желание Дженни Филдз заставить мужчин (в том числе и Гарпа) осознать, как жестоки современные законы к женщинам и как много у несчастных женщин разнообразных нужд и потребностей. С другой стороны, она понимала, что Гарп нипочем не сумеет справиться с порученным делом, тогда как уж сама-то она безусловно была бы на высоте.

— Ладно, будем все делать вместе, — сказала Роберта. — То есть основная ответственность возлагается на тебя, а я выполняю роль твоего главного советника. И всегда буду честно говорить тебе, если, на мой взгляд, ты ошибаешься.

— Роберта, — торжественно сказал Гарп, — но ты и так *всегда* меня предупреждала!

Роберта весьма игриво чмокнула его в губы и потрепала по плечу — сил у нее по-прежнему было хоть отбавляй, и от этой ласки Гарп даже поморщился.

— Господи, ну, кажется, все! — с облегчением вздохнул он.

— Значит, Филдз-фонд? — с энтузиазмом спро-

сила Роберта — Вот замечательно!

Таким образом, в жизни Т.С. Гарпа сохранялись трудности, без которых он, вполне возможно, вообще утратил бы и здравомыслие, и чувство реальности. Ведь именно трудности, по сути дела, поддерживали в Гарпе жизнь, когда новая книга никак ему не давалась. Роберта Малдун и Филдз-фонд в крайнем случае обеспечат в жизни необходимые трудности.

Итак, Роберта стала администратором фонда и теперь постоянно проживала в Догз-Хэд-Харбор. Дом Дженни Филдз разом превратился в писательскую колонию, оздоровительно-восстановительный центр и — одновременно — женскую консультацию; а несколько прекрасно освещенных мансард давали достаточно света и тишины для художников. Как только женщины узнали о существовании Филдз-фонда, сразу же выстроилась очередь желающих узнать, кому в первую очередь будет оказываться поддержка. Гарпа этот вопрос тоже очень интересовал. Все претендентки писали Роберте, а она создала небольшую группу, которая называлась правлением, и его представительницы попеременно то любили Гарпа, то не любили — но всегда с ним спорили. Дважды в месяц Роберта, члены

правления и вечно брюзжащий Гарп встречались и выбирали из массы претенденток очередных обитательниц дома.

В хорошую погоду они устраивались в продуваемой приятным ветерком комнате, выходившей на тенистую веранду с видом на Догз-Хэд-Харбор. Но в последнее время Гарп все чаще отказывался туда ездить.

— Живущие в этом доме привидения, — говорил он Роберте, — напоминают мне об иных временах. — И он предложил встречаться в Стиринге, в фамильном особняке Стирингов, а ныне доме тренера по борьбе; здесь Гарп чувствовал себя несколько более уютно даже в окружении этих свирепых женщин.

Он несомненно чувствовал бы себя еще более уютно, если бы встречался с ними в спортзале. Хотя даже там, и это Гарп знал отлично, Роберта Малдун заставила бы его бороться за каждый отдельный пунктик.

Претендентку за номером 1048 звали Чарли Пуласки.

— Я думал, они все должны *быть женщинами,* — удивился Гарп. — Мне казалось, уж этот-то критерий соблюдается достаточно жестко.

— Но Чарли Пуласки и есть женщина, — поясни-

ла Роберта. — У нее просто имя такое — Чарли.

— И я бы сказала, этого вполне достаточно, чтобы ее дисквалифицировать, — заметила Марсиа Фокс, весьма тощая и весьма свободолюбивая особа, поэтесса, с которой Гарп не раз скрещивал шпаги, хотя ее стихотворения ему очень нравились. Ему самому никогда не удавалось быть таким экономным в выразительных средствах.

— И чего же эта Чарли Пуласки *хочет?* — спросил Гарп совершенно механическим голосом. Одни претендентки просили только немного денег; другим хотелось немного пожить в Догз-Хэд-Харбор. А кое-кому хотелось и побольше денег, и отдельную комнату в Догз-Хэд-Харбор — причем навечно.

— Ей нужно немного денег, — сказала Роберта.

— Чтобы переменить имя? — спросила Марсиа Фокс.

— Нет, она хочет оставить работу и написать книгу, — сказала Роберта.

— О господи! — простонал Гарп.

— Посоветуй ей не бросать работу, — сказала Марсиа Фокс, она была из тех писательниц, которые презирают как своих собратьев по перу, так и тех, кто хочет стать писателем.

— Наша Марсиа презирает даже *мертвых* пи-

сателей, — заметил Гарп, обращаясь к Роберте.

Однако же и Марсиа, и Гарп, прочитав рукопись мисс Чарли Пуласки, согласились, что ей непременно надо держаться за любую работу, какую она сможет получить.

Претендентка за номером 1073, преподаватель микробиологии, тоже хотела на время расстаться с работой и написать книгу.

— Роман? — спросил Гарп.

— Нет, исследования в области молекулярной вирусологии, — ответила доктор Джоан Экс; она получила академический отпуск в университете, чтобы закончить собственные исследования. На вопрос Гарпа, каковы эти исследования, она весьма таинственно ответила, что ее интересуют «некоторые скрытые заболевания кровеносных сосудов».

У претендентки номер 1081 муж, погибший в авиакатастрофе, оказался не застрахован. Старшему из ее троих детей еще не исполнилось и пяти; кроме того, ей не хватало пятнадцати академических часов, чтобы получить диплом магистра по французскому языку. Она хотела вернуться в колледж, получить степень магистра и подыскать приличную работу; для этого ей требовалась определенная сумма денег и отдельная

комната для детей и их няни в Догз-Хэд-Харбор.

Члены правления единодушно решили предоставить молодой женщине искомую сумму, чтобы она могла получить диплом и оплатить услуги постоянной няни для детей, однако и дети, и няня, и прежде всего сама эта женщина должны жить там, где она будет завершать свое образование. Догз-Хэд-Харбор — не место для детей с нянями. Иные из тамошних обитательниц просто с ума бы сошли от одного лишь звука детского голоса. А у иных жизнь превратилась в сплошной кошмар именно из-за нянь, которые приходили к их детям.

В общем, этот случай разрешили очень легко.

Зато номер 1088 вызвал некоторые проблемы. Эта женщина оказалась разведенной женой человека, который убил Дженни Филдз. У нее было трое детей, один из которых учился в исправительной школе, а выплачивать детское пособие прекратили, когда ее бывшего мужа, убийцу Дженни Филдз, застрелил полицейский из Нью-Гемпшира; пальбу открыли тогда и полицейские, и охотники, и шальная пуля прикончила убийцу.

Номер 1088 развелась с покойным Кении Тракенмиллером менее года назад. Он не раз

признавался приятелям, что алименты на детей в итоге сломают ему хребет, и твердил, что всему виной эти феминистки, они до такой степени затрахали его жене мозги, что она все-таки развелась с ним. Адвокат, которая выиграла дело в пользу миссис Тракенмиллер, была «разведенкой из Нью-Йорка». Кении Тракенмиллер нещадно бил жену по крайней мере дважды в неделю в течение почти тринадцати лет! Он также неоднократно физически и морально оскорблял и всячески унижал всех своих детей. Однако миссис Тракенмиллер очень мало знала о собственных правах и возможностях, пока не прочитала «Сексуально подозреваемую» Дженни Филдз. Эта книга подтолкнула ее к размышлениям, и в итоге она пришла к выводу, что, возможно, и ее страдания, связанные с еженедельными побоями, и оскорбления детей на самом деле — вина Кении Тракенмиллера; в течение тринадцати лет (!) она считала, что это *только ее* проблема, ее «несчастная доля».

Кении Тракенмиллер сразу обвинил женское движение в том, что его жена занялась самообразованием. Между прочим, миссис Тракенмиллер всегда и сама работала, имея профессию «парикмахер-стилист»; трудилась она в городе

Норт-Маунтен, штат Нью-Гэмпшир. И она как раз занималась с очередной клиенткой, когда Кении по суду вынудили убраться из ее дома. Но теперь, когда Кении уже не водил свой грузовик и не платил алиментов, миссис Тракенмиллер приходилось содержать все семейство в одиночку, только за счет своего парикмахерского искусства. В своей практически неудобочитаемой заявке она написала, что была вынуждена скомпрометировать себя, «чтобы как-то свести концы с концами», но ни за что не собирается повторять это в будущем.

Миссис Тракенмиллер, которая ни разу не назвала себя по имени (казалось, его у нее вообще нет), сознавала, что ненависть к ее бывшему мужу среди членов правления, вероятно, столь велика, что ей вполне могут отказать. И была заранее готова принять их отказ.

Джон Вулф, который (против собственной воли) состоял почетным членом правления — причем его особенно ценили за четкость решений и цепкую финансовую хватку, — тут же заявил, что ничто не создаст Филдз-фонду лучшей и более широкой рекламы, чем выделение «этой несчастной, бывшей жене человека, убившего Дженни», той суммы, какую она просит. О таком реше-

нии мгновенно заговорят, оно явится отличной демонстрацией абсолютно неполитической природы фонда. В общем, это себя окупит сторицей, заявил Джон Вулф, прежде всего тем, что в фонд безусловно начнут поступать несчетные суммы в качестве добровольных пожертвований.

— Мы уже и так получаем немало пожертвований, — попытался обороняться Гарп.

— А что, если она просто шлюха? — поддержала его Роберта. Все так и уставились на нее. Подобное предположение относительно несчастной миссис Тракенмиллер со счетов не сбросишь. Тем более Роберта имела определенные преимущества: она была способна мыслить одновременно и как женщина, и как мужчина, бывший игрок «Филадельфия Иглз». — Вы только на минутку задумайтесь, — продолжала Роберта. — Предположим, она обыкновенная проститутка, кто-то ее все время шантажирует и все время что-то от нее получает — вот уж этот кто-то вдоволь посмеется над нами!

— Значит, нужны дополнительные рекомендации, — жестко сказала Марсиа Фокс.

— Да нет, кому-то попросту надо повидать эту женщину, поговорить с ней, — миролюбиво предложил Гарп. — Выяснить, достойная ли это особа,

и вправду ли она пытается жить независимо.

Теперь все уставились уже на него. — Ладно, — сказала Роберта. — Но я, по крайней мере, не собираюсь выяснять, шлюха она или нет!

— Ну и я тоже никуда не поеду, — быстро сказал Гарп. — Нет, только не я!

— А где это в Нью-Гэмпшире город Норт-Маунтен? — спросила Марсиа Фокс.

— И на меня тоже не рассчитывайте, — сказал Джон Вулф. — Я и так слишком редко бываю дома, в Нью-Йорке.

— О господи! — сказал Гарп. — А что, если она меня узнает? В таких случаях, знаете ли, всего можно ожидать…

— Сомневаюсь, что она на это способна, — сказала Хильма Блох, психиатр и социальный работник, которую Гарп терпеть не мог. — Людей, которые читают главным образом автобиографии, например автобиографию твоей матери, редко привлекает художественная литература, а если и привлекает, то лишь косвенно. Стало быть, если эта особа и прочитала «Мир глазами Бензенхавера», то исключительно потому, что знала, кто ты такой. Да и тогда вряд ли дочитала до конца, а, учитывая, что она всего лишь парикмахер, наверняка увязла, не добравшись и до

середины. Так что едва ли запомнила твое лицо по фотографии на обложке. Правда, твое лицо мелькало в новостных передачах, но только в самые первые дни после убийства Дженни. И ей, конечно, запомнилось именно лицо Дженни. Такие женщины, как она, много времени проводят у телевизора; это вам не какой-нибудь книжный червь. И я сильно сомневаюсь, чтобы она вообще могла сохранить в памяти твое лицо, хоть ты и сын Дженни Филдз.

Джон Вулф отвел завороженный взгляд от Хильмы Блох. Даже у Роберты вид был обалделый.

— Спасибо, Хильма, — спокойно сказал Гарп.

В итоге было решено, что Гарп отправится к миссис Тракенмиллер, «чтобы поконкретнее определить, что это за личность».

— По крайней мере, выясни, как ее имя, — сказала Марсиа Фокс.

— Спорим, что Чарли! — поддразнила Гарпа Роберта.

Затем они перешли к другим делам: нужно было уточнить, кто в настоящее время проживает в Догз-Хэд-Харбор; чей срок истекает; кто должен приехать на смену и каковы связанные со всем этим проблемы, если таковые имеются.

В доме жили две художницы — одна в южной

мансарде, другая в северной. И обитательница южной считала, что в северной больше света; в течение двух недель художницы никак не могли поладить: ни слова друг с другом за завтраком, постоянные взаимные обвинения по поводу пропавшей почты и т. п. Затем вдруг выяснилось, что они стали любовниками. Теперь картины писала вообще только та, что жила в северной мансарде; она целыми днями рисовала в южной мансарде живущую там художницу, которая позировала ей в голом виде и при отличном освещении. Эта «обнаженная натура» на верхнем этаже изрядно действовала на нервы одной из писательниц, драматургине из Кливленда, автору пьес, где сурово порицалась лесбийская любовь; у этой дамы уже начались трудности со сном — как она говорила, «из-за плеска волн». Скорее всего, ей не давали покоя любовные утехи художниц, но обе тотчас заявили, что она «слишком много хочет». Впрочем, выход нашелся, и очень быстро: другая писательница, тоже жившая в доме, предложила, чтобы все гости Догз-Хэд-Харбор читали вслух по ролям новую пьесу драматургини, что и было сделано, к полному счастью верхних этажей.

Так вот, «другая писательница», писавшая очень неплохие рассказы — Гарп сам с большим

энтузиазмом рекомендовал ее год назад, — теперь вот-вот собиралась съезжать; срок ее пребывания в доме истекал. Кто же поселится в ее комнате?

Неужели та женщина, у которой свекровь только что отсудила детей, после того как муж несчастной совершил самоубийство?

— Я же говорил, чтобы ты ее не принимала! — сказал Гарп Роберте.

Или те две джеймсианки, которые вдруг однажды «взяли да и явились»?

— Так, погоди-ка минутку, — сказал Гарп. — Что это такое? Опять джеймсианки? Просто «взяли и явились»? Нет, это не разрешено нашим уставом.

— Дженни всегда их принимала! — сказала Роберта.

— Теперь другие времена, Роберта, — сурово возразил Гарп.

Остальные члены правления были с ним более или менее согласны; джеймсианок здесь не очень-то любили и никогда особенно не привечали, а их радикализм ныне казался всем устаревшим и чересчур патетическим.

— Но ведь это почти что традиция! — не сдавалась Роберта. И описала двух «старых» джеймсианок, которым пришлось вернуться в

Догз-Хэд-Харбор после тяжких испытаний, выпавших на их долю в Калифорнии. Много лет назад они провели какое-то время в доме Дженни, и новый приезд сюда станет для них своего рода душевным возрождением.

— Господи, Роберта! — воскликнул Гарп. — Немедленно от них избавься!

— Твоя мать всегда заботилась о таких женщинах! — с упреком сказала ему Роберта.

— Да ладно, по крайней мере, они не болтают, — вмешалась Марсиа Фокс, чье экономное отношение к употреблению собственного языка Гарп всегда очень ценил. Но засмеялся в ответ на это замечание только он сам.

— Мне кажется, вы должны сделать так, чтобы они уехали, Роберта, — заметила д-р Джоан Экс.

— Я тоже так считаю. Они же презирают всех нас, — сказала Хильма Блох. — Это может оказаться заразным. С другой стороны, именно они являются сутью, материальным воплощением *духа* этого места.

У Джона Вулфа от изумления и возмущения снова округлились глаза.

— Еще есть врач, которая занимается абортами, связанными с онкологическими заболеваниями, — сказала д-р Джоан Экс. — Как насчет нее?

— Да поместите ее на третий этаж, — сказал Гарп. — Я с ней знаком. Тогда любой воришка, если он только попытается забраться в дом сверху, просто от страха обделается, когда ее опыты увидит.

Роберта нахмурилась, но промолчала. Нижний этаж дома был наиболее просторным: две кухни, четыре большие ванные и по крайней мере двенадцать вполне изолированных спален, а еще различные «конференц-залы», как их называла Роберта, — во времена Дженни Филдз все это были гостиные и довольно просторные рабочие кабинеты. Там же находилась большая столовая, где все собирались за столом, куда приносили почту и где каждый, скучая в одиночестве, мог в любое время суток, днем или ночью, найти себе компанию.

На этом этаже, самом общественном, обычно не селили ни писательниц, ни художниц. Лучше всего он подходит для потенциальных самоубийц, заметил Гарп, «потому что они будут вынуждены топиться в океане, а не прыгать из окна».

Однако Роберта руководила домом сильной и суровой материнской рукой; практически кого угодно она могла отговорить от неверного поступка, а если не могла, то пускала в ход свою

недюжинную силу. Ей куда лучше, чем Дженни, удавалось привлекать местную полицию на свою сторону. Порой полицейские подбирали какую-нибудь бедняжку на дальнем конце пляжа или плачущую на обочине деревенской дороги и всегда ласково препровождали к Роберте. Полицейские в Догз-Хэд-Харбор все как один были страстными футбольными болельщиками, исполненными уважения к настоящей игре в защите и хитроумным блокировкам на поле, которыми некогда славился бывший Роберт Малдун.

— Я бы хотел внести предложение, — сказал Гарп. — Ни одна джеймсианка не должна более иметь права на получение помощи от Филдз-фонда.

— Я — за! — сказала Марсиа Фокс.

— Давайте обсудим, — возразила Роберта, — по-моему, нет необходимости в столь строгом ограничении. Мы действительно совершенно не обязаны поддерживать одну из самых дурацких форм выражения политических пристрастий, однако, согласитесь, это совсем не значит, что ни одна из женщин, лишенных языка, не нуждается в помощи. Я бы сказала, фактически они уже продемонстрировали определенную потребность

собраться всем вместе, и, возможно, они будут все чаще давать о себе знать. У них уже возникла такая потребность.

— Но они же сумасшедшие! — заметил Гарп.

— Ну, это слишком широкое обобщение, — сказала Хильма Блох.

— Они действительно женщины активные, — сказала Марсиа Фокс, — которые пока что никому *не передали* своих голосов; фактически они борются за *использование* своих голосов, но я не согласна хоть как-то поощрять столь глупое навязывание самим себе вечного молчания.

— В молчании немало добродетели, — возразила Роберта.

— Господи, Роберта! — прервал ее Гарп. И тут для него кое-что прояснилось. По какой-то причине джеймсианки злили его даже сильнее, чем созданный им самим образ Кении Тракенмиллера и ему подобных; и хотя он видел, что джеймсианки постепенно выходят из моды, они не могли исчезнуть так быстро, чтобы это устроило Гарпа. А ему очень хотелось, чтобы они исчезли, более того, чтобы они исчезли с позором… Хелен не раз говорила ему, что его ненависть к джеймсианкам непомерно велика и не соответствует масштабам объекта.

— Ведь они пошли на это в результате временного помрачения рассудка и чрезмерного простодушия, — сказала Хелен. — Почему бы тебе просто не обращать на них внимания? Неужели ты не можешь оставить их в покое?

Но Гарп отвечал сердито:

— Хорошо, давайте спросим Эллен Джеймс. Это ведь будет справедливо, правда? Давайте спросим Эллен Джеймс, каково ее мнение насчет джеймсианок. Господи, я бы даже с удовольствием *опубликовал* ее мнение о них! Вы знаете, что она по их милости пережила и перечувствовала?

— Это слишком личная тема, — сказала Хильма Блох. Они все были знакомы с Эллен, и все знали, что Эллен Джеймс *ненавидит* и свою безъязыкость, и джеймсианок.

— Давайте сменим тему, — сказал Джон Вулф. — По-моему, можно проголосовать за предложение Гарпа.

— Черт бы тебя побрал! — рявкнул Гарп.

— Ладно тебе, Гарп, — сказала Роберта. — Давайте прямо сейчас и проголосуем. — Всем было ясно, что предложение Гарпа не пройдет и они избавятся от дальнейших споров на эту тему.

— Нет! Я снимаю свое предложение! — упрямо заявил Гарп. — И да здравствуют джеймсиан-

ки! — Но сам остался при своем мнении.

Именно безумие убило Дженни Филдз, его мать. Именно экстремизм. Самоуверенная, фанатичная и чудовищная жалость к самим себе. Кении Тракенмиллер был всего лишь особой разновидностью придурков: истинно верующий убийца-головорез! Он жалел себя настолько слепо, что способен был превратить в своих абсолютных врагов тех, кто всего лишь высказывал не совсем приятные ему лично идеи.

Ну и чем отличалась от него любая из джеймсианок? Разве ее поступок не был столь же отчаянным и столь же нелепым проявлением полного непонимания сложности человеческого бытия?

— Да ладно тебе, — сказал Джон Вулф. — Успокойся. Они же все-таки никого *не убили.*

— Пока нет, — живо возразил ему Гарп. — Но задатки у них имеются. Они способны принимать бессмысленные решения и верить при этом, что абсолютно правы!

— Для убийства этого недостаточно, — сказала Роберта.

Они не стали продолжать спор, пусть Гарп кипит себе и кипит. А что еще оставалось делать? Терпением нетерпимый Гарп никогда

похвастаться не мог. Безумцы, подобные джеймсианкам, приводили его в ярость. Казалось, его лично бесит, что они уступают безумию, — возможно, потому, что сам он зачастую с трудом вел себя как человек здравомыслящий, и, когда иные люди отказывались приложить хотя бы минимальные усилия по поддержанию в себе здравомыслия, Гарп резонно подозревал, что они просто сдались.

— Терпимость к нетерпимому — одна из труднейших задач, какие ставит перед нами эпоха, — говорила Хелен.

Гарп прекрасно знал, что она умница и порой гораздо дальновиднее, чем он, но по отношению к джеймсианкам он сознательно проявлял настоящую слепоту. Ну а они, разумеется, проявляли настоящую слепоту по отношению к нему.

Наиболее ядовитые рецензии и замечания, касавшиеся взаимоотношений Гарпа с матерью и его творчества, исходили именно от джеймсианок. Пойманный на их наживку, он тоже пытался ловить их, но на свою наживку. Трудно сказать, с чего все это началось и стоило ли вообще этому начинаться, однако Гарп стал предметом жестоких споров среди феминисток, в значительной степени из-за того нескрываемого раздражения,

какое он вызывал у джеймсианок и с каким он сам к ним относился. По этим-то причинам многим феминисткам Гарп нравился, а многие его терпеть не могли.

Что до самих джеймсианок, то в своем отношении к Гарпу они были не более сложны, чем в своей символике: ведь их языки были отсечены из-за отсеченного языка Эллен Джеймс.

По иронии судьбы, именно Эллен Джеймс суждено было раздуть пламя этой давней холодной войны.

Эллен привыкла показывать Гарпу свои литературные опыты — многочисленные рассказы, воспоминания о родителях, об Иллинойсе, стихотворения, болезненные аналогии бессловесности, а также свои оценки визуальных искусств и плавания. Она писала очень умно и умело для такой юной девушки, и ее опусы всегда были заряжены мощной энергией.

— Она настоящий человек! — неустанно повторял Гарп в разговорах с Хелен. — Причем не просто талантливый, но и страстный. И как мне кажется, у нее есть и необходимый запас жизненных сил, и выдержка.

Выражение «запас жизненных сил» сама Хелен в разговорах с мужем практически не употребля-

ла; она боялась, что свой «запас жизненных сил» Гарп полностью растерял. Он и сам безусловно был и талантливым, и страстным, однако Хелен чувствовала, что некогда он выбрал слишком узкую тропку, сбился с нужного направления и теперь только возрожденный «запас жизненных сил» позволил бы ему снова выйти на широкую дорогу.

Это очень печалило Хелен. До поры до времени она была готова довольствоваться чем угодно, любым занятием, которому Гарп мог отдаваться с должной страстью, — пусть это будет борьба, пусть даже война с джеймсианками, ибо Хелен верила: энергия порождает энергию и Гарп рано или поздно непременно снова начнет писать.

И Хелен без особого восторга отнеслась к тому эссе, которое так нахваливал ей Гарп, — эссе, написанному Эллен Джеймс. Оно называлось «Почему я не джеймсианка», было написано очень сильно и растрогало Гарпа буквально до слез. В нем рассказывалась история изнасилования Эллен, последовавшие трудности для нее самой и для ее родителей; на этом фоне действия джеймсианок казались мелкой, сугубо политизированной имитацией очень личной травмы и подлинной трагедии. Эллен Джеймс писала,

что джеймсианки лишь усилили и продлили ее страдания, превратили ее беду в этакую публичную банальность. Разумеется, Гарп всегда очень болезненно реагировал на подобные вещи.

Однако справедливости ради, писала Эллен Джеймс, нужно отметить, что лучшие из джеймсианок действительно хотели вынести на общественный суд ужасы, которые постоянно грозили и грозят женщинам и девушкам. Для многих из них отсечение собственного языка было «отнюдь не политическим» жестом, но острым, личностным проявлением собственного достоинства.

Некоторых из джеймсианок тоже когда-то изнасиловали, и они как бы хотели сказать миру мужчин, что теперь чувствуют себя так, словно их лишили не только невинности, но и языка. Словно им раз и навсегда заткнули рот.

Что среди джеймсианок действительно хватало сбрендивших, никто и отрицать бы не стал. Даже они сами. В общем, вывод о том, что джеймсианки представляют собой весьма опасную в политическом отношении группу феминисток-экстремисток, которые зачастую сознательно умаляют заслуги других вполне серьезно настроенных женщин, борющихся за свои права, был вполне справедлив. Однако нападки на них со

стороны Эллен Джеймс, совершенно не учитывавшей судеб отдельных представительниц этого движения, представлялись столь же опрометчивыми, как и нападки на саму Эллен Джеймс со стороны всей этой группировки в целом, члены которой даже не пытались понять, что одиннадцатилетней девочке, пережившей такой ужас, возможно, хотелось бы залечивать свои тяжкие раны в уединении, а не на виду у всей страны.

Буквально все в Америке знали, как Эллен Джеймс лишилась языка, за исключением разве что представителей самого юного поколения, которые нередко путали Эллен Джеймс с джеймсианками. Но именно от этого Эллен и страдала больше всего: ее словно подозревали в том, что она сама себе отрезала язык!

— Да, такую ярость и страсть просто необходимо было выплеснуть, — сказала Хелен Гарпу, прочитав эссе Эллен Джеймс. — Уверена, что, когда она наконец все это высказала, ей невероятно полегчало. Я ей так и сказала.

— А я ей сказал, что это эссе стоит опубликовать! — сказал Гарп.

— Нет, — возразила Хелен. — Я в этом не уверена! Что хорошего выйдет из такой публикации?

— Что *хорошего?* — переспросил Гарп. — Но

ведь это же *чистая правда,* Хелен! И для девочки это будет очень хорошо.

— И для *тебя!* — спросила Хелен, намекая, что Гарпу всегда хотелось унизить джеймсианок публично.

— О'кей, — сказал он, — о'кей, о'кей… Но она *права,* черт побери! И эти тупицы должны наконец услышать всю правду из первоисточника!

— Но зачем? — спросила Хелен. — И кому от этого будет хорошо?

— Хорошо, хорошо… — пробормотал Гарп, хотя в глубине души уже давно понял, что Хелен права. И на следующий день велел Эллен Джеймс пока что поставить эссе на полку. И целую неделю Эллен не разговаривала ни с Гарпом, ни с Хелен.

Только когда позвонил Джон Вулф, Гарп и Хелен поняли, что Эллен их не послушалась и отослала эссе Джону.

— Как вы думаете, что я должен с ним делать? — спросил он.

— Господи, да отошли его ей обратно! — сказала Хелен.

— Нет, черт побери! — возмутился Гарп. — Сперва спроси *у самой* Эллен, чего хочет она!

— А старый Понтий Пилат умывает руки? — ехидно заметила Хелен.

— Сам-то ты что хочешь с ним сделать? — спросил Гарп.

— Я? — изумился Джон Вулф. — Для меня оно ровным счетом ничего не значит. Но могу с полной уверенностью сказать, что печатать его можно. Ведь написано очень хорошо!

— Но печатать его можно отнюдь не по этой причине! — сказал Гарп. — И ты это прекрасно знаешь, Джон.

— Ну, в общем, да, — согласился Джон Вулф. — Но написано все равно очень хорошо. И она молодец, что так честно обо всем рассказала!

Джону Вулфу Эллен сказала, что хотела бы опубликовать свое эссе, хотя Хелен всячески пыталась отговорить ее. Гарп заявил, что вмешиваться не намерен.

— Но ты уже вмешался! — заметила Хелен. — И теперь, даже если ты не произнесешь больше ни слова, результат все равно достигнут: эссе будет опубликовано. А ведь ты именно этого и добивался, верно?

В общем, Гарп все-таки поговорил с Эллен Джеймс. Попытался привести веские доводы насчет того, почему ей не следует публично высказывать свое мнение о несчастных джеймсианках. Эти женщины больны, говорил он,

несчастны, сбиты с толку, измучены жизнью и вечными оскорблениями со стороны других людей, да к тому же в отчаянии и сами себе нанесли увечье, так стоит ли их критиковать? Еще лет пять, и все о них позабудут. Они будут совать людям свои записочки, а те будут удивляться: «А кто такие джеймсианки? Вы, видимо, просто не можете говорить? У вас что, языка нет?»

Но Эллен хмуро посмотрела на Гарпа и решительно написала:

«Я их никогда не забуду! Ни через пять лет, ни через пятьдесят! Я никогда не забуду их; я всегда буду их помнить так же, как помню свой язык!»

Гарп в очередной раз восхитился про себя тем, как эта девочка любит и умеет использовать старые добрые знаки препинания, и мягко посоветовал:

— Я бы все-таки не стал это публиковать, Эллен.

«И вы рассердитесь на меня, если я это сделаю?» — написала она.

Он признался, что не рассердится. «А Хелен?»

— Хелен рассердится, но только на *меня,* — сказал Гарп.

— Зачем ты вечно заставляешь людей сердиться? — выговаривала ему Хелен вечером в посте-

ли. — Вечно всех взвинчиваешь. Распаляешь! *Угомонись.* Занимайся своим собственным делом, Гарп. Только своим собственным. Ты же всегда говорил, что политика — глупость и ничего для тебя не значит, верно? И был абсолютно прав. Это действительно полная глупость. И для тебя она действительно ничего не значит, ты занимаешься этим потому, что так *проще,* чем упорно сидеть за письменным столом и создавать что-нибудь стоящее, целостное из отдельных набросков. Ты и сам прекрасно понимаешь. Строишь по всему дому книжные стеллажи, перестилаешь полы, развиваешь бурную деятельность в саду, черт тебя побери! Ты мне скажи: я что, выходила замуж за великого умельца? Или, может, надеялась, что ты станешь этаким активистом-общественником? Ты должен писать книги, Гарп, а книжные полки пусть делают другие! И не возражай, пожалуйста. Ты прекрасно знаешь, что я права.

— Ты права, Хелен. — Гарп тщетно пытался вспомнить, благодаря чему смог придумать то, самое первое, предложение в «Пансионе „Гриль-парцер“», с которого все и началось:

«Мой отец работал в Австрийском туристическом бюро».

Откуда оно взялось? Он попробовал придумать

что-нибудь в таком же роде. В итоге получилось примерно вот что: «Мальчику было лет пять, и он так кашлял, что казалось, его хрупкая грудная клетка не выдержит». Опять чистейшей воды воспоминания, а это никуда не годится. Наверное, у него совсем не осталось чистого воображения…

В спортивном зале он целых три дня работал с тяжеловесом. Чтобы наказать себя?

— Ну-ну, — сказала Хелен. — Решил костьми лечь? Затем Гарп объявил, что должен поехать по делам фонда в город Норт-Маунтен, штат Нью-Гэмпшир. Нужно определить, стоит ли тратить деньги фонда на женщину по фамилии Тракенмиллер.

— Снова решил костьми лечь? — съязвила Хелен. — Снова бесконечные книжные стеллажи? Снова политика? Снова общественная деятельность? Все это вещи, Гарп, которыми занимаются те, кто *не может* писать!

Но он все равно поехал. Его уже не было дома, когда позвонил Джон Вулф и сказал, что один очень приличный и весьма популярный журнал собирается напечатать эссе Эллен Джеймс «Почему я не джеймсианка».

В голосе Джона Вулфа по телефону был какой-то холодный легкий прищелкивающий отзвук. Так

шлепает языком *сами знаете кто* — Подводная Жаба! — думала Хелен. Но она еще не знала, в чем тут дело, пока не знала.

Она сообщила эту новость Эллен Джеймс: она, конечно же, простила ее и даже позволила себе порадоваться с нею вместе. Они даже прокатились на машине по берегу океана вместе с Дунканом и маленькой Дженни и купили несколько омаров — любимое лакомство Эллен — и целую кучу морских гребешков для Гарпа, который омаров не очень любил.

«И еще купим шампанского! — написала Эллен в машине. — *А шампанское пьют с омарами и гребешками?»*

— Конечно! — воскликнула Хелен. — Еще как! — И они купили шампанского. А потом заехали в Догз-Хэд-Харбор и пригласили на обед Роберту.

— А когда папа вернется? — спросил Дункан.

— Я не знаю, где находится этот Норт-Маунтен, — сказала Хелен, — но папа обещал вернуться вовремя и пообедать с нами вместе.

«Он и мне то же самое сказал», — написала Эллен Джеймс.

Салон красоты «Нанетта» в Норт-Маунтене, штат Нью-Гэмпшир, на самом деле оказался

кухней миссис Кении Тракенмиллер, которую по-настоящему звали Харриэт.

— Вы и есть Нанетта? — смущенно спросил Гарп, стоя на крыльце и не решаясь войти; крыльцо было покрыто инеем, точно морской солью, подтаявшая ледяная крупа хрустела под ногами.

— Никакой Нанетты тут нету, — в рифму сказала она ему. — Меня зовут Харриэт Тракенмиллер.

У нее за спиной в темной кухне рычал, натягивая поводок, огромный пес, и миссис Тракенмиллер отгораживала от него Гарпа, выставив перед рычащим оскаленным чудовищем собственное бедро, а бледную покрытую шрамами лодыжку она вставила в приоткрытую дверь, придерживая ее. Шлепанцы на ней были синие; фигуру ее в длинном купальном халате Гарпу было не разглядеть, но он не мог не заметить, что роста она высокого и только что принимала ванну.

— Э-э-э… А мужчин вы стрижете? — спросил он ее.

— Нет, — сказала она.

— А может, все-таки пострижете меня? — попросил Гарп. — Я мужским мастерам не доверяю.

Харриэт Тракенмиллер подозрительно посмотрела на его черную вязаную шапочку, которая бы-

ла натянута по самые уши и полностью скрывала всю имевшуюся у него на голове растительность, только длинные густые пряди торчали сзади до самых плеч.

— Я не вижу ваших волос, — сказала она.

Он рывком стащил с головы шапку, и волосы его тотчас же самым немыслимым образом встали дыбом от мгновенно возникшего статического электричества.

— Мне нужна не просто стрижка, — заметил Гарп, разглядывая ее печальное измученное лицо, мягкие морщинки возле серых глаз, на волосах, выкрашенных под блондинку, — бигуди.

— Но разве я вам назначала? — сказала Харриэт Тракенмиллер, явно пытаясь что-то припомнить.

Гарпу было совершенно ясно, что никакая она не шлюха, а очень усталая и напуганная его появлением женщина.

— И что конкретно вы хотели бы? — спросила она.

— Просто немного подстричься, — пробормотал Гарп. — И еще мне бы хотелось, чтобы мои проклятые волосы хоть чуточку завивались.

— Завивались? — переспросила Харриэт Тракенмиллер, пытаясь представить себе, насколько

это возможно при такой копне абсолютно прямых волос, которая украшала голову Гарпа. — То есть вроде как перманент хотите?

— Ну, — сказал он, приглаживая свои патлы, — в общем, все что угодно, все, что вы *сможете* с ними сделать, знаете ли.

Харриэт Тракенмиллер пожала плечами.

— Сперва мне надо одеться, — сказала она.

Пес, хитрющий, как дьявол, и очень сильный, уже протиснул большую часть своего мускулистого тела между ее ногами, и Гарп напрягся, ожидая нападения, но Харриэт Тракенмиллер вдруг резко подняла свое крупное колено, что было сил двинула пса прямо в раззявленную морду и схватила его за отвисшую шкуру на холке; пес взвыл и попятился назад.

Обледеневший двор был, точно мозаикой, покрыт кучками замерзшего собачьего дерьма. Во дворе стояли также три машины. Вряд ли хоть одна из них на ходу, подумал Гарп. Там же громоздилась целая куча дров, которые никто даже не сложил в поленницу. К обитой бежевым алюминием стене дома была прислонена телевизионная антенна, которая когда-то, возможно, находилась на крыше, а оборвавшиеся провода антенны торчали в разные стороны, напоминая

паутину трещин на пробитом камнем оконном стекле.

Миссис Тракенмиллер, отступив от порога, пропустила Гарпа внутрь, на кухню; у него тут же пересохли губы и глаза, настолько жарко тут было натоплено. Пахло сидевшим в духовке печеньем и ополаскивателем для волос. Кухня была довольно большая, разделенная на «собственно кухню» и «парикмахерскую». Розовая раковина со шлангом для мытья головы соседствовала с тушеными помидорами в банках; зеркало-трельяж дополнительно освещалось лампами дневного света; деревянная полочка со специями и умягчителями мяса, а рядом — масла для волос, лосьоны и гели. Там же было металлическое сиденье, над которым на железном штыре торчал колпак сушилки для волос — все вместе здорово смахивало на весьма оригинальный вариант электрического стула.

Собака куда-то исчезла, исчезла и Харриэт Тракенмиллер. Собственно, она говорила, что ей нужно переодеться, вспомнил Гарп; а ее верный друг, видно, последовал за нею. Гарп причесался и внимательно посмотрел на себя в зеркало, словно в последний раз пытаясь запомнить собственное лицо. Он был совершенно готов до неузнаваемо-

сти переменить свою внешность.

Тут входная дверь открылась, и высоченный мужчина в охотничьей куртке и красной охотничьей шапке вошел в кухню с огромной охапкой дров, которые он свалил в ящик возле плиты. Пес, который все это время, оказывается, сидел рядом с Гарпом, свернувшись в клубок под раковиной, буквально в нескольких дюймах от его колен, двинулся мужчине наперерез, однако даже не зарычал: человек этот был ему явно знаком.

— А ну-ка лежать, дурья башка! — велел ему мужчина, и пес послушно лег.

— Это ты, Дики? — окликнула Харриэт Тракенмиллер откуда-то из дальней части дома.

— А ты что, кого другого ждала? — крикнул он в ответ, затем повернулся и увидел Гарпа, сидевшего перед зеркалом.

— Хэлло, — сказал Гарп.

Верзила по имени Дики молча уставился на него. Ему было лет пятьдесят; физиономия красная, словно выскобленная кирпичом; и Гарп сразу догадался, хорошо зная выражение глаз Дункана, что у этого человека один глаз стеклянный.

— Хэлло, — вымолвил наконец Дики в знак приветствия.

— У меня там клиент! — крикнула Харриэт.

— Да я уж вижу, — сказал Дики.

Гарп нервно коснулся своих волос, словно хотел объяснить этому типу, как важно ему постричься именно в Норт-Маунтене и именно в салоне красоты «Нанетта».

— Он хочет *завивку!* — крикнула Харриэт. Дики своей красной шапки так и не снял, но было видно, что он абсолютно лыс.

— Не знаю, парень, чего тебе тут на самом деле понадобилось, — прошептал Дики Гарпу, — но учти: кроме стрижки да завивки, ты ничего больше не получишь, ясно? Да?

— Я просто не доверяю мужским парикмахерам, — пояснил Гарп.

— А я вот не доверяю тебе! — заявил Дики.

— Дики, он ничего такого не сделал, — сказала, входя, Харриэт Тракенмиллер. Она надела весьма плотно облегавшие ее телеса бирюзовые брючки, которые тут же напомнили Гарпу проклятый бирюзовый комбинезон, и блузу с ярким набивным рисунком в виде разнообразных экзотических цветов. Волосы она кое-как стянула на затылке шарфом совершенно неподходящего цвета, зато лицо привела в порядок, причем косметикой явно пользовалась вполне умеренно. В общем, она выглядела «довольно мило», точно соседская

мамаша, которая ради гостя решила выглядеть «соответствующим образом». Судя по всему, она была на несколько лет моложе Дики, но не намного.

— Никакая завивка ему не нужна, Харриэт, — заявил Дики. — Ему просто охота, чтобы с его волосами немного *поиграли,* поласкали их. Верно, а?

— Он не доверяет мужским парикмахерам, — сказала Харриэт Тракенмиллер.

На мгновение Гарп даже подумал, что Дики — как раз мужской парикмахер. Впрочем, вряд ли.

— У меня правда и в мыслях ничего плохого не было, — сказал Гарп. Собственно, он уже увидел все, что требовалось. И теперь хотел только одного: пойти и сказать этим бабам в фонде, что нужно непременно дать Харриэт Тракенмиллер ту сумму, которая ей нужна. — Но если я кому-то мешаю, — сказал Гарп, — то нет ничего проще: вы забудете о моей просьбе, и я уйду. — И он потянулся за своей курткой, которую бросил на пустой стул, но пес стащил ее на пол.

— Пожалуйста, останьтесь! — сказала миссис Тракенмиллер. — Дики просто за мной присматривает.

Дики выглядел так, словно ему стыдно за само-

го себя; он даже наступил одним своим огромным башмаком на другой и не замечал этого.

— Я тут тебе дровец сухих принес, — буркнул он. — Хотя, наверно, мне бы не мешало постучаться… — Он потоптался у плиты.

— Не надо, Дики, не сердись! — сказала Харриэт и любовно чмокнула Дики в большую красную щеку.

Дики в последний раз грозно глянул на Гарпа и вышел из кухни.

— Желаю вам удачно постричься, — сказал он на прощанье.

— Спасибо, — откликнулся Гарп, а собака тут же принялась теребить его куртку.

— Эй, немедленно прекрати! — велела псу Харриэт. И повесила куртку на спинку стула. — Вы, конечно, можете уйти, если хотите, — сказала она, — да только Дики ничего плохого вам не сделает. Он просто за мной присматривает.

— Он ваш муж? — спросил Гарп, хотя сильно в этом сомневался.

— Моего мужа звали Кении Тракенмиллер, — сказала Харриэт. — Это все знают. И вы тоже, кто бы вы ни были, отлично знаете, *кто* он такой!

— Да, знаю, — сказал Гарп.

— А Дики — мой брат. Он просто обо мне бес-

покоится. Когда Кении не стало, тут какие-то неприятные парни начали крутиться… — Харриэт села напротив ярко освещенного парикмахерского стола с зеркалами и положила крупные, покрытые синими венами руки на обтянутые бирюзовыми штанами ляжки. Вздохнула, не глядя на Гарпа, а потом сказала: — Мне все равно, что вы *знаете.* Я стригу и укладываю волосы — только этим и занимаюсь. Только этим и зарабатываю. Если вы действительно хотите, чтобы я вам волосы в порядок привела, то я постараюсь, все сделаю, что вы просите. Но занимаюсь я только этим. Кто бы там что ни говорил. Я слухами не интересуюсь. Я только прически делаю.

— Вот и хорошо, — сказал Гарп. — Я и хочу просто постричься и уложить волосы.

— Ладно, — сказала она, по-прежнему на него не глядя.

За рамку зеркала по обе стороны были воткнуты маленькие фотографии. Одна из них изображала свадьбу: юная Харриэт Тракенмиллер и ее ухмыляющийся супруг Кении весьма неуклюже калечили свадебный торт.

На другой фотографии беременная Харриэт стояла с малышом на руках, а третий малыш, примерно возраста Уолта, прижимался щекой

к ее бедру. Харриэт выглядела усталой, но не изможденной. И еще там была фотография Дики, снятого рядом с Кении Тракенмиллером на фоне выпотрошенного оленя, висевшего головой вниз на ветке дерева. Это дерево росло как раз во дворе салона красоты «Нанетта». Гарп сразу узнал эту фотографию: он видел ее в одном из журналов вскоре после убийства Дженни. Фотограф явно желал доказать простакам-читателям, что Кении Тракенмиллер был прирожденным и хорошо обученным убийцей, ведь он убивал и оленей.

— Почему «Нанетта»? — спросил Гарп чуть позже, когда осмелился смотреть только на длинные, терпеливые пальцы Харриэт, а не на ее несчастное лицо или — упаси бог! — на собственные волосы.

— Мне казалось, звучит вроде как по-французски, — сказала Харриэт, понимая, что ее клиент откуда-то из «широкого мира», а не из Норт-Маунтена, штат Нью-Гэмпшир, и рассмеялась.

— Да нет, звучит и правда по-французски. — И Гарп тоже засмеялся. — Почти, — прибавил он, и они еще немного посмеялись, уже вполне дружески.

Когда он собрался уходить, она мокрой губкой стерла собачью слюну с его куртки и спросила:

— Вы что же, и посмотреть не хотите?

Она имела в виду прическу; Гарп вздохнул и повернулся лицом к трельяжу. Да так и застыл: волосы показались ему просто прекрасными! Все те же давние волосы, того же цвета и почти той же длины, однако они, казалось, впервые в жизни соответствовали форме его головы. С одной стороны, они вроде бы аккуратно прилегали к черепу, но в то же время были удивительно легкими и пушистыми; легкая волнистость, созданная умелыми руками Харриэт, сделала сломанный нос Гарпа и его короткую мощную шею менее свирепыми на вид. И впервые в жизни Гарпу показалось, что он максимально соответствует собственному лицу — в том числе и внутренне. Хотя никогда не думал, что это возможно. Честно говоря, он вообще первый раз побывал в салоне красоты; волосы ему всегда стригла Дженни, а после женитьбы — Хелен. У мужского мастера он даже не брился никогда!

— Замечательно! — искренне сказал он; даже его изуродованное ухо было искусно замаскировано.

— Ой, ну так приходите еще! — сказала Харриэт, игриво и ласково подталкивая его в плечо. Ничего, уж он-то «толкнет» Филдз-фонд отнюдь

не ласково! Ему хотелось сказать Харриэт, что он сын Дженни Филдз, но он понимал, что это абсолютно эгоистическое желание следует подавить.

«Несправедливо пользоваться чьей-либо эмоциональной уязвимостью», — писала полемичная Дженни Филдз. Так же думал сейчас и Гарп: нечего наживать себе капитал на чужих чувствах!

— Спасибо вам большое, и до свидания, — сказал он миссис Тракенмиллер.

Во дворе Дики ловко рубил дрова. Получалось у него просто здорово. Он остановился, завидев Гарпа.

— До свидания! — крикнул ему Гарп, но Дики молча направился прямо к нему с топором в руке.

— Дайте-ка посмотреть на вашу прическу, — сказал Дики.

Гарп стоял совершенно неподвижно, пока Дики изучал его голову.

— Вы были другом Кении Тракенмиллера? — спросил у него Гарп.

— Угу, — кивнул Дики. — *Единственным* другом. Я и познакомил его с Харриэт.

Гарп понимающе кивнул. Дики продолжал рассматривать его новую прическу.

— Все это очень трагично… — сказал Гарп, имея в виду случившееся.

— Да нет, совсем даже неплохо, — сказал Дики, имея в виду прическу Гарпа.

— Дженни Филдз была моей матерью, — сказал Гарп, потому что ему хотелось, чтобы кто-нибудь из них знал об этом, и он был уверен, что не наживет себе капитал на чувствах Дики.

— Но ей-то ты этого не сказал, верно? — спросил Дики, указывая в сторону дома своим длинным топором.

— Нет, конечно, — сказал Гарп.

— Это хорошо, — сказал Дики. — Она ничего такого и слышать не желает.

— Я так и понял, — заметил Гарп, и Дики одобрительно кивнул. — Ваша сестра — очень милая женщина, — прибавил Гарп.

— Что правда, то правда! — закивал Дики.

— Ну ладно, пока, — сказал Гарп, собираясь уходить, но Дики легонько коснулся его рукоятью топора и сказал:

— А ведь это мы его пристрелили. Вы знаете?

— Вы застрелили Кении? — изумился Гарп.

— Я был одним из тех, кто стрелял, — сказал Дики. — Так что, может, и я. Кении совсем спятил. Кто-то должен был его пристрелить.

— Мне очень жаль… — растерянно сказал Гарп. Дики пожал плечами.

— Мне-то он нравился, — сказал Дики. — Но насчет Харриэт он совсем спятил. И насчет вашей матери тоже. И нормальным он бы уже никогда не стал, это точно. Просто больной сделался насчет женщин. Говорю же, спятил. И явно навсегда.

— Ужасно! — сказал Гарп.

— Ну, пока, — сказал Дики и направился к дровам, а Гарп побрел к своей машине, спотыкаясь о замерзшие кучки собачьего дерьма, которыми был покрыт весь двор.

— Эй, а подстригла она тебя здорово! — крикнул ему вслед Дики. Причем совершенно искренне.

Проезжая мимо, Гарп на прощанье махнул Дики рукой; Дики снова с ожесточением колол дрова. А из кухонного окошка Гарпу помахала рукой Харриэт Тракенмиллер, и это был отнюдь не кокетливый жест — она искренне желала ему доброго пути, он не сомневался. Гарп поехал обратно через Норт-Маунтен и в единственной тамошней закусочной выпил чашку кофе, затем заправился на единственной заправочной станции. И все подолгу с удивлением смотрели на его красивые волосы. А потом он поехал домой

и прибыл как раз вовремя — к празднованию первой публикации Эллен Джеймс.

Если Гарп и почувствовал себя не в своей тарелке, узнав эту новость, то он в этом не признался. Он сидел за столом, ел омара, морские гребешки и пил шампанское — и все ждал, когда Хелен или Дункан прокомментируют его новую прическу. Только когда он уже мыл посуду, Эллен Джеймс вручила ему промокшую записочку:

«Вам постригли и уложили волосы?»

Он раздраженно кивнул.

— Мне не нравится, как тебя постригли, — сказала ему Хелен в постели.

— А по-моему, просто потрясающе! — возразил Гарп.

— Ты сам на себя не похож, — сказала Хелен, изо всех сил стараясь растрепать ему волосы. — Прическа, как у трупа! Уложено намертво! — сказала она в темноте.

— У трупа?! — возмутился Гарп.

— Ну хорошо, у тела, готового к кремации, — поправилась Хелен, упорно продолжая ерошить ему волосы. — Кошмар какой-то — каждый волосок на своем месте! Нет, слишком идеально. Ты выглядишь совершенно неживым! — сказала она и вдруг заплакала и плакала все сильнее, и Гарп

обнимал ее и ласково пытался выяснить, в чем причина ее горьких слез.

На этот раз Гарп совершенно не ощущал присутствия Подводной Жабы (в отличие от Хелен), а потому все пытался ее успокоить, все что-то рассказывал ей, потом они занимались любовью, и Хелен наконец уснула.

Эссе Эллен Джеймс «Почему я не джеймсианка», как оказалось, никакого особенного шума не произвело. Прошло несколько дней, прежде чем были напечатаны первые отклики в колонке «Письма в редакцию».

Это были вполне ожидаемые послания «лично» Эллен Джеймс: соболезнования от идиотов, разнообразные предложения от психически больных мужчин, от тиранов-антифеминистов, от женолюбов и женоненавистников — словом, от всех «уродов», которые, как Гарп и предупреждал Эллен, непременно воспримут ее как свою сторонницу.

— Люди всегда готовы встать на чью-то сторону, — сказал Гарп, — и абсолютно во всем.

Однако ни от одной из джеймсианок письма так и не пришло.

Первая борцовская команда Стиринг-скул, которую тренировал Гарп, вышла в финал со счетом

8:2; теперь приближалась решающая встреча с главным противником — парнями из Бата. Разумеется, сила любой команды основывается на нескольких отлично натренированных борцах, и таких в команде Эрни Холма было несколько; он занимался с этими ребятами последние года два-три, но Гарп сумел поддержать боевой дух не только у них, но и у всей команды. Он пытался прикинуть победы и поражения на предстоящих соревнованиях с Батом в каждой весовой категории, сидя за кухонным столом в своем просторном доме, теперь сохранившем лишь смутные воспоминания о семействе Стирингов; и именно в этот момент Эллен Джеймс влетела на кухню, вся в слезах, с очередным номером журнала, который месяц назад опубликовал ее эссе.

Гарп понимал, что ему следовало бы заранее предупредить Эллен о мерзкой политике литературных журналов. Разумеется, на сей раз журнал напечатал длинное эссе, написанное целой группой джеймсианок, которые не замедлили откликнуться на смелое заявление Эллен, что они ее попросту использовали и теперь она их ненавидит. Обычная полемика, обожаемая журналами. Но особенно сильно Эллен была уязвлена тем, что издатель журнала предал ее,

сообщив джеймсианкам, что она, Эллен Джеймс, теперь *живет* с пресловутым Т.С. Гарпом!

Таким образом, джеймсианки получили сочный кусок и тут же впились в него когтями и зубами — ах, Эллен Джеймс, бедная девочка! Ей совершенно запудрил мозги этот антифеминист и мерзавец Гарп! Предатель собственной матери! Самодовольно ухмыляющийся и наживающий себе капитал на том, что поносит женское движение! В некоторых местах для описания взаимоотношений Гарпа с Эллен Джеймс использовались такие слова, как «обольщение», «скользкий тип» и «тайная интрижка».

«Простите! Мне так жаль!» — написала Эллен.

— Ничего, все нормально, ты ни в чем не виновата, — поспешил утешить ее Гарп.

«Но я же не антифеминистка!»

— Ну конечно же нет! — воскликнул Гарп.

«Они все мажут только белой краской или только черной!»

— Точно, так и есть! — подтвердил Гарп.

«Потому-то я так их и ненавижу! Они требуют, чтобы ты была как они — или сразу зачисляют тебя в разряд врагов».

— Да, да, ты совершенно права, — сказал Гарп.

«Как жаль, что я не могу говорить!»

Тут она окончательно раскисла и горько расплакалась у Гарпа на плече; ее гневное бессловесное клокотание даже Хелен заставило оторваться от книжки и вылезти из дальней комнаты огромного дома; даже Дункан выбрался из своей любимой темной комнаты, даже крошка Дженни проснулась в своей колыбельке.

И тогда Гарп, что было в высшей степени глупо, решил открыть огонь по этим взрослым психопаткам, по этим фанатичкам, которые — даже когда избранный ими «символ веры» отверг их — продолжали настаивать, что знают об Эллен Джеймс больше, чем она сама.

«Эллен Джеймс — *не* символ, — писал Гарп. — Она — жертва насилия! *Человек,* которого изнасиловали и изуродовали, лишив языка, еще до того, как он достаточно повзрослел, чтобы самостоятельно принимать какие-то решения, — тем более относительно секса и мужчин». Так он начал свою статью, и эту статью они, разумеется, опубликовали сразу — им всегда нравилось подливать масло в огонь. Кроме того, это была первая публикация Т.С. Гарпа с тех пор, как вышел его знаменитый роман «Мир глазами Бензенхавера».

Строго говоря, публикация была не первая, а вторая: вскоре после гибели Дженни Гарп опубликовал свое первое и единственное стихотворение. Очень странное, посвященное презервативам.

Гарп чувствовал, что его жизнь здорово подпорчена этим изобретением мужчин, желавших избавить себя (и других) от последствий «плотского вожделения». Мир в наши дни, как представлялось Гарпу, просто задыхается от презервативов — презервативы валяются ранним утром на парковочных площадках, презервативы находят дети в песочнице или на пляже, презервативы используются даже для передачи посланий (один такой был как-то раз прикреплен к ручке входной двери в их крошечной квартирке в Стиринг-скул). Презервативы, не смытые струей воды, валялись в писсуарах и унитазах спален Стиринг-скул. Презервативы, нагло блестя, лежали у всех на виду в общественных туалетах. Однажды презерватив был брошен к ним в почтовый ящик вместе с воскресной газетой. А однажды — прилеплен к выхлопной трубе их старенького «вольво»; кто-то, видно, ночью воспользовался их машиной, но отнюдь не затем, чтобы на ней покататься.

Презервативы находили Гарпа повсюду — так муравьи находят сахар. Он совершал долгие

путешествия, он переезжал с континента на континент и находил их в биде безукоризненно чистого во всех прочих отношениях и абсолютно незнакомого гостиничного номера… или на заднем сиденье такси, словно выдранный с корнем глаз крупной рыбины… или в собственном ботинке, когда утром поднимал его с пола в коридоре отеля. Отовсюду презервативы сходились к нему и злобно стремились его удивить.

Презервативы и Гарп были знакомы очень давно. Каким-то образом они соединились с самого начала. Как часто он вспоминал, какой ужас вызвали у него презервативы, обнаруженные в жерле пушки!

Стихотворение было честное, но слишком большое и непристойное, поэтому почти никто не читал его. Гораздо больше людей прочитали его эссе об Эллен Джеймс и ее споре с джеймсианками. Вот это новость; вот это скандал! Как ни печально, но Гарп понимал, что такие вещи читателям гораздо интереснее, чем искусство.

Хелен умоляла его не попадаться на этот крючок, не впутываться в историю с джеймсианками. Даже Эллен Джеймс сказала Гарпу, что это только *ее* сражение и его она о помощи не просила.

— Опять костьми ложишься, вроде как сад пере-

капываешь! — сердилась Хелен. — Или книжные полки строишь!

Но Гарп писал — сердито и хорошо; и он гораздо четче и жестче обозначил то, что хотела выразить своим эссе Эллен Джеймс. Он с горячностью заступался за тех серьезных женщин, которые искалечили себя в знак солидарности, и нападал на компанию джеймсианок, говоря, что «они — то самое дерьмо, которое и придает феминизму такой дурной оттенок». Он не мог отказать себе в удовольствии положить их на лопатки, и, хотя он сделал это хорошо, по всем правилам, Хелен совершенно справедливо спросила:

— Для *кого* ты это пишешь? *Кто* — эти серьезные женщины, которые так и не *поняли,* что джеймсианки совершенно безумны? Нет, Гарп, ты ведь сделал это именно для них — даже и не для Эллен, а для них, для этих чертовых джеймсианок! Ты сделал это, чтобы к ним *подобраться.* А зачем? Господи, да не пройдет и года, как все забудут, что они делали и почему. Это же просто люди, глупая мода, Гарп, а ты почему-то не можешь просто плюнуть на них. *Почему?*

Гарп тут же надувался и молчал, что естественно для человека, который понимает, что другие-то *правы,* но хочет сам быть прав — любой ценой!

А потому все время думает: что, если все-таки я ошибся? Это чувство заставляло Гарпа сторониться абсолютно всех — даже Эллен Джеймс, которая очень сожалела, что все это затеяла.

— Но ведь это *они* все затеяли! — уверял ее Гарп. *«Не совсем. Это затеял мужчина, который впервые не только кого-то изнасиловал, но и нанес несчастной жертве такое увечье, чтобы она никому ничего не могла рассказать!»* — написала Эллен Джеймс.

— Ладно, — сказал Гарп. — Ладно, хорошо. — Печальная истина, высказанная Эллен, причиняла ему боль. Но разве он не хотел всего лишь ее защитить?

Команда борцов Стиринг-скул одержала победу над командой Бата в финале сезона со счетом 9:2 и завоевала второе место в соревновании команд Новой Англии, а также обрела собственного чемпиона в весе 167 фунтов, с которым Гарп лично занимался больше всего. Но теперь спортивный сезон был закончен, и Гарп, писатель в отставке, в очередной раз изнывал от безделья.

Много времени он проводил в обществе Роберты. Они подолгу играли в сквош, сломали за три месяца четыре ракетки и мизинец на левой руке Гарпа. А однажды Гарп, не подумав, так

размахнулся ракеткой через плечо, что Роберте это стоило девяти хирургических стежков на переносице. По окончании футбольной карьеры Роберте ни разу ничего на лице не зашивали, и она горько жаловалась всем на постигшее ее несчастье. Зато однажды, когда они менялись площадками, длинноногая Роберта нечаянно так заехала Гарпу коленом в причинное место, что он больше недели ходил прихрамывая.

— Честное слово, — сказала им Хелен, — вам обоим стоило бы отправиться путешествовать и на свободе предаться знойным африканским страстям. Это было бы куда безопаснее. Для всех.

Однако Гарп и Роберта считали себя закадычными друзьями, и даже если какие-то «неподобающие» желания и возникали — как у Гарпа, так и у Роберты, — оба мигом превращали все в шутку. Кроме того, Роберта наконец четко и хладнокровно организовала свою любовную жизнь; как и всякая настоящая женщина, она особенно ценила уединение. И еще ей очень нравилось быть директором фонда и править в Догз-Хэд-Харбор. Роберта приберегала свое сексуальное «я» для довольно частых (но не слишком) наездов в Нью-Йорк, где у нее всегда хватало любовников.

— Я только так и могу, — признавалась она

Гарпу.

— И в этом нет ничего плохого, Роберта, — отвечал он. — Далеко не каждому так везет! Ведь нужно еще и уметь правильно рассчитать свои силы, верно?

В общем, они продолжали играть в сквош, а когда стало пригревать солнышко, стали бегать по извилистым дорогам, тянувшимся от Стиринга к морю. По одной из этих дорог от Стиринг-скул до Догз-Хэд-Харбор было всего шесть миль, и они часто бегали от одного особняка до другого. Когда Роберта уезжала по своим делам в Нью-Йорк, Гарп бегал один.

Он и в тот день был один и уже пробежал половину пути до Догз-Хэд-Харбор, где обычно поворачивал и бежал назад, в Стиринг, когда мимо проехал грязно-белый «сааб», сбросил зачем-то скорость, затем снова прибавил и умчался вперед, быстро исчезнув из виду. Это была единственная странность. Гарп бежал по левой стороне дороги, так что хорошо видел встречные машины, «сааб» обогнал его справа, по своей законной полосе, и ничего особенного тут не было.

Гарп думал о чтениях, которые обещал устроить в Догз-Хэд-Харбор. Роберта уговорила его почитать что-нибудь из своих произведений

всем членам фонда и приглашенным гостям; он ведь был, в конце концов, главный попечитель, а Роберта частенько устраивала небольшие концерты, поэтические чтения и т. п. Но Гарпа это откровенно раздражало. Он терпеть не мог чтения — особенно сейчас, когда разгромом джеймсианок нанес душевную рану столь многим невинным женщинам. Наиболее серьезные из них, разумеется, разделяли его позицию, однако и они по большей части оказались достаточно умны, чтобы распознать в его критике джеймсианок что-то вроде сведения личных счетов, это чувство в нем пересиливало логику. Они угадывали в Гарпе некий инстинкт убийцы — исходно мужской и исходно нетерпимый. Да и, по словам Хелен, он был слишком нетерпим к нетерпимому. Большая часть его сторонниц также считали, что он написал о джеймсианках сущую правду, но разве обязательно писать об этом так грубо? Будучи сам борцом и тренируя борцовскую команду, Гарп, возможно, и несколько грубоват. В этом его подозревали многие женщины, и теперь, выступая с чтениями, даже в смешанных аудиториях (в основном, в колледжах, где грубость, похоже, нынче была не в моде) он все время ощущал молчаливую неприязнь — мужчина,

который прилюдно утратил самообладание, показал всем, что способен на жестокость.

И Роберта посоветовала ему не читать пассажи, связанные с сексом; дело не в том, что члены фонда заранее враждебно настроены, а в том, что они, по словам Роберты, *осторожны.* «У тебя там полно и других интересных кусков, — сказала Роберта, — не только с сексом». Ни он, ни она даже не упомянули о возможности прочесть что-нибудь *новенькое.* И главным образом по этой причине — иначе говоря, потому, что у него не было ничего новенького, — Гарп все сильнее нервничал и мрачнел, когда от него требовали устроить чтения.

Гарп взбежал на вершину отлогого холма за фермой, где выращивали особую породу черных коров, — единственного холма между Стирингом и морем — и миновал поставленную им самим двухмильную метку. Иссиня-черные носы коров были устремлены на него из-за невысокой каменной стены, точно дула двустволок. Гарп всегда разговаривал с этими коровами — мычал им.

Грязно-белый «сааб» опять приближался, и Гарп отошел на покрытую мягкой пылью обочину. Одна из черных коров призывно замычала ему; другие шарахнулись в сторону. Гарп не сво-

дил с них глаз. «Сааб» ехал не слишком быстро — водитель явно не походил на лихача. И вроде бы следить за ним не имело смысла.

Спасла Гарпа память. Многие писатели обладают так называемой избирательной памятью, и Гарп, к счастью, умудрился вспомнить, что этот грязно-белый «сааб» специально притормозил, в первый раз нагнав его, и водитель долго еще, вытянув шею, высматривал его в зеркальце заднего вида.

Гарп быстро отвернулся от коров и посмотрел на шоссе. Затихший «сааб» с выключенным мотором почти бесшумно катился прямо на него по мягкой обочине, и за автомобилем поднималось облако белой пыли, на фоне которого хорошо была видна напряженная, чуть наклоненная вперед голова водителя. Этот человек, нацеливший свой «сааб» на Гарпа, был более всего похож на воздушного стрелка в действии.

Гарп сделал два огромных прыжка к каменной стене и перелетел через нее, даже не заметив тонкого электрического провода, натянутого поверху. Он ощутил укол в бедро, коснувшись этого провода, но все же успешно приземлился в мокрую зеленую траву пастбища, изрядно объеденную и испятнанную лепешками коровьего

навоза.

Он лежал, обнимая мокрую землю, и прямо-таки слышал отвратительное кваканье Подводной Жабы в собственной пересохшей глотке. Еще он отчетливо слышал топот мчавшихся прочь от стены коров и скрежет металла, когда грязно-белый «сааб» врезался в стену. Два камня размером с голову Гарпа лениво пролетели по воздуху и грохнулись с ним рядом. Один из черных быков остановился было, однако в «саабе» от удара заело сигнал, и этот неумолкающий вой, возможно, спас Гарпа от нападения.

Гарп понимал, что жив и кровь у него во рту означает всего лишь, что он сильно прикусил губу. Он осторожно поднялся и пошел к тому месту, где в каменную стену врезался белый «сааб». За рулем сидела женщина; и в результате этого удара она потеряла не только язык.

Ей было за сорок. Мотор «сааба», вдвинувшись в салон, заставил ее колени буквально обвиться вокруг покосившейся рулевой стойки. Никаких колец на руках; пальцы короткие и красные, словно от зимних морозов и ветров, которые она, видно, не раз испытала на себе. Разбитое стекло, то ли боковое, то ли лобовое, вонзилось ей в лицо и до кости срезало плоть на виске и

на щеке. Из-за этого лицо казалось кривобоким. Темно-каштановые пропитанные кровью волосы чуть шевелил теплый летний ветер, залетавший в отверстие, где раньше было лобовое стекло.

Гарп понял, что она мертва, заглянув ей в глаза. И понял, что она джеймсианка, потому что заглянул ей в рот. Заглянул он и в ее сумочку. Там, как и ожидалось, были только блокнотик и карандаш. А также множество старых и новых записок. Одна из них, естественно, гласила: «*Привет! Меня зовут*» — ну и так далее. Другая утверждала: *«Ты сам этого хотел»*

Гарп решил, что именно эту записку она намеревалась засунуть под окровавленную резинку на его спортивных шортах, когда оставит его, мертвого и изуродованного, на обочине дороги.

Третья записка была почти лирического содержания и написана как раз в таком стиле, какой обожают всякие желтые газетенки:

«Меня никто никогда не насиловал; и я никогда не хотела быть изнасилованной. Я вообще никогда не была с мужчиной и никогда этого не хотела. Смысл всей моей жизни заключался в том, чтобы разделить страдания с Эллен Джеймс».

О господи! — подумал Гарп. Однако оставил эту записку на месте, чтобы ее потом нашли со всем

остальным. Он был не из тех писателей — и не из тех мужчин, — которые прячут важные письма, даже если эти письма совершенно безумны.

Прыжок через каменную стену и электрический провод несколько растревожили старый ушиб в паху, но все же Гарп оказался в состоянии рысцой пробежать довольно большое расстояние, пока его не подобрал грузовик, везший йогурт; а в городе Гарп и водитель грузовика вместе пошли в полицию.

Когда водитель грузовика — еще до встречи с Гарпом — проезжал мимо места аварии, черные породистые коровы уже успели выбраться через пробоину в стене и толпились вокруг грязно-белого «сааба», точно огромные звероподобные плакальщицы вокруг хрупкого ангела, погибшего в иностранном автомобиле.

Возможно, мне потому все время мерещилась проклятая Подводная Жаба, думала Хелен, лежа без сна рядом с крепко спящим Гарпом и чувствуя его тепло. Прижавшись к нему, она свернулась в клубок; все тело мужа пропиталось ее собственным сильным женским ароматом. А может, погибшая джеймсианка и была Подводной Жабой, и теперь ее больше нет? Хелен так крепко стиснула Гарпа в объятиях, что он проснулся.

— Что случилось? — спросил он. Однако Хелен вдруг онемела, точно джеймсианка, и крепко обхватила ногами его бедра, прижалась к нему, и зубы ее стучали у него на груди так, что он тоже крепко обнял ее и прижимал к себе до тех пор, пока ее не перестала бить дрожь.

Представительница общества джеймсианок особо заметила, что это был совершенно самостоятельный, отдельный акт насилия, ни в коем случае не санкционированный их обществом, но, по всей очевидности, спровоцированный такой «типично мужской, агрессивной и явно склонной к насилию личностью, как Т.С. Гарп». Она заявила также, что их общество не берет на себя ответственность за этот «отдельный акт насилия», однако призналась, что они не слишком удивлены случившимся и не слишком горюют по этому поводу.

Роберта сказала Гарпу, что, если в сложившихся обстоятельствах он не хочет выступать перед женщинами в Догз-Хэд-Харбор, она вполне его поймет. Однако Гарп все же решил читать и читал в присутствии не только всех членов правления фонда, но и целой толпы приглашенных гостей — всего их собралось, по крайней мере, человек сто, и они весьма комфортабельно рас-

положились в просторной солнечной гостиной и на открытой веранде. Он читал им «Пансион „Грильпарцер“», который предварил словами:

— Это моя самая первая и самая лучшая вещь, и я даже не помню, как придумал этот сюжет. По-моему, это рассказ о смерти, которую я в те годы и представлял-то себе не очень хорошо. Теперь я знаю о смерти гораздо больше, но не пишу о ней ни слова. В этой истории одиннадцать главных героев, и семеро из них умирают, один сходит с ума, один убегает с другой женщиной. Я не стану рассказывать, что случается с двумя остальными, однако вы сами видите, что шансы выжить у героев не слишком велики.

И он начал читать. Некоторые смеялись, четверо плакали, то и дело кто-нибудь сморкался и кашлял, возможно от наползавшей с океана сырости, но никто не ушел раньше времени, и все дружно аплодировали в конце. Какая-то пожилая женщина в задних рядах у рояля проспала всю историю, однако в конце аплодировала даже она — проснулась от звука аплодисментов.

Это событие произвело на Гарпа сильное впечатление. Дело в том, что на чтениях присутствовал Дункан — из произведений отца он больше всего любил этот рассказ (на самом деле

один из немногих, какие ему было разрешено прочесть). У Дункана явно открылся настоящий талант художника, и, как выяснилось, он сделал к «Пансиону» более пятидесяти иллюстраций, которые и показал отцу, когда они вместе вернулись домой. Иные из рисунков отличались редкой свежестью и безыскусностью, у Гарпа просто сердце щемило, когда он их рассматривал. Старый медведь со впалыми боками и потрепанной шкурой ехал на нелепом одноколесном велосипеде; тощие, как спички, хрупкие лодыжки бабушки Йоханны торчали из-под двери туалета; злорадство светилось в возбужденно блестевших глазах рассказчика снов… Развратная красота сестры господина Теобальда («… словно и сама ее жизнь, и ее приятели никогда и ничем не способны были ее удивить — словно все они вечно были вынуждены играть роли в нелепом и безнадежном спектакле, связанном с присвоением более высокой категории их заведению»). И мужественный оптимизм человека, который мог ходить только на руках…

— И сколько же времени тебе понадобилось, чтобы все это нарисовать? — спросил Гарп Дункана, едва сдерживая слезы гордости за сына.

Гарп был очень взволнован. Он предложил

Джону Вулфу выпустить «Пансион» отдельным изданием, с иллюстрациями Дункана. «Рассказ сам по себе достаточно хорош, чтобы издать его отдельной книжкой, — писал Гарп Джону Вулфу. — И я, конечно же, достаточно известен, чтобы такая книжка вполне сносно продавалась. Ведь, если не считать небольшого журнальчика да одной-двух антологий, эта вещь по-настоящему никогда раньше не публиковалась отдельно. А рисунки Дункан сделал просто прелестные! И рассказ их вполне достоин.

Я и сам терпеть не могу, когда писатель начинает стричь купоны за счет своей репутации — публикуя всякое дерьмо, завалявшееся в ящиках письменного стола, или без конца переиздавая старье, о котором давно стоило бы забыть. Но это ведь совсем не такой случай, Джон! Ты же сам понимаешь».

И Джон Вулф понимал. Он согласился, что рисунки Дункана действительно свежи и безыскусны, однако особого восторга от них не испытывал. В конце концов, мальчику еще нет и тринадцати — пусть даже он очень талантлив! Однако Джон Вулф всегда сразу видел и рациональное зерно в публикации той ли иной вещи. А чтобы окончательно обрести уверенность, он, разумеется,

отдал книгу на прочтение своему «секретному агенту» — Джилси Слопер. Рассказ Гарпа и особенно рисунки Дункана прошли это суровое испытание с честью и удостоились у Джилси высочайшей похвалы. Единственное ее замечание относилось к тому, что Гарп использует слишком много незнакомых ей слов.

Книга отца и сына, думал Джон Вулф. Что ж, такая книга будет особенно хорошо продаваться на Рождество. И печальная нежность повествования, и искреннее сочувствие, которым оно пронизано, и даже насилие, описанное в мягких и грустных тонах, возможно, даже несколько снизят напряжение в затяжной войне Гарпа с джеймсианками.

Травма в паху прошла, и все лето Гарп каждый день бегал по той же дороге от Стиринг-скул до берега моря, не забывая поздороваться со знакомыми черными коровами за оградой. Теперь их объединяло нечто вроде братства, безопасность которого обеспечивала крепостная каменная стена, и Гарп чувствовал, что навечно сроднился с этими крупными, мощными животными, счастливо пасущимися под опекой заботливого хозяина. А когда приходил срок, смерть для них наступала быстро и безболезненно. Впрочем,

Гарп старался не думать о том, как их убивают. Или как пытаются убить его самого. Он внимательно следил за машинами на дороге, но особо не нервничал.

— Это единичный случай, — говорил он Хелен, Роберте и Эллен Джеймс. Они согласно кивали, но Роберта старалась по возможности всегда бегать с ним вместе. А Хелен думала, что на душе у нее полегчает, когда на улице снова станет холодно и Гарп переберется на беговую дорожку в спортивный зал имени Майлса Сибрука. Или когда снова начнутся занятия борцовской секции и Гарп будет гораздо реже покидать Стиринг. Теплые спортивные маты и обитые мягкими пластинами стены борцовского зала всегда служили для Хелен Холм символом безопасности, ведь она выросла в таком же инкубаторе.

Гарп тоже с нетерпением ожидал начала нового спортивного сезона. А еще он очень ждал публикации «книги отца и сына»: «Пансион „Грильпарцер“» — рассказ Т.С. Гарпа, иллюстрации Дункана Гарпа. Наконец-то у него выйдет книга, предназначенная и для детей, и для взрослых! Он и правда словно начинал все заново, вернувшись назад, к самым истокам. Но что за прекрасный мир иллюзий расцветает при мысли,

что «начинаешь все заново»!

И Гарп вдруг снова принялся писать.

Первым делом он написал в журнал, который некогда опубликовал его гневное письмо в адрес джеймсианок. Теперь же Гарп извинялся за проявленную тогда излишнюю горячность и самодовольство. «Хоть я и уверен, что эти женщины просто *использовали* настоящую Эллен Джеймс и их весьма мало заботила ее реальная судьба, я могу представить себе, что *необходимость* использовать эту трагическую историю в некотором смысле была вполне искренней и весьма сильной. И я, по крайней мере отчасти, чувствую себя ответственным за гибель той весьма, видимо, важной для общества этих женщин и весьма вспыльчивой особы, которая почувствовала себя настолько задетой, что пыталась меня убить. Мне, право, очень жаль».

Разумеется, извинения редко бывают приемлемыми для истинно верующих — или для тех, кто верит в абсолютное добро или абсолютное зло. Джеймсианки, ответившие Гарпу через журнал, все как одна заявляли, что он, по всей видимости, просто боится за свою жизнь, боится той «бесконечной череды преследователей», которых они, джеймсианки, будут посылать до тех пор,

пока до него не доберутся. Они писали также, что Гарп, не говоря уж о том, что он — «настоящая мужская свинья и оскорбитель женщин», еще и «трусливое желтое цыплячье дерьмо, у которого даже яиц-то нет!»

Если Гарп и прочел подобные письма, то они оставили его абсолютно спокойным. Но, скорее всего, он их не читал. Он написал, главным образом, чтобы извиниться за написанное им самим; этот акт был нацелен скорее на расчистку письменного стола, а не на очистку совести. Он твердо решил отвлечь наконец свои мысли от бессмысленных и бесконечных бытовых мелочей, которыми занимал себя, ожидая, когда к нему придет настоящее писательское вдохновение. Он думал, что сумеет помириться с джеймсианками и благополучно о них забыть, хотя Хелен забыть о них не могла. Да и Эллен Джеймс конечно же не могла; и даже Роберта всегда была внутренне напряжена и настроена весьма воинственно, выходя из дома вместе с Гарпом.

Примерно в миле от фермы, где разводили черных коров, Роберта однажды (когда они с Гарпом, как всегда, бежали по дороге к морю) заметила приближающийся «Фольксваген» и вдруг почувствовала, что в машине еще один потенциальный

убийца. Она совершила великолепный бросок в сторону Гарпа, полностью его блокировала и, закрыв собой, швырнула через четырехметровую обочину прямо в грязный кювет. В результате Гарп растянул лодыжку и сидел на дне канавы, подвывая от боли и страшно злясь на Роберту. А Роберта, бросив здоровенный булыжник, которым угрожала «Фольксвагену» — автомобиль был битком набит перепуганными тинэйджерами, возвращавшимися с пикника на пляже, — уговорила ребят потесниться, освободить местечко для Гарпа и доставить его прямиком в изолятор имени Дженни Филдз.

— Да ведь это от тебя угроза исходит! — сердился Гарп на Роберту, зато Хелен была несказанно ей благодарна и очень рада, что Роберта рядом, что работает ее прежний инстинкт «крепкого орешка», способный выручить в случае всяких непредвиденных неприятностей.

Растяжение не позволяло Гарпу заниматься бегом целых две недели, и он сильно продвинулся в своих писательских трудах. Он работал над книгой, которую называл то «Книгой отца», то «Книгой отцов», — над первым из трех проектов, какие он небрежно набросал Джону Вулфу ночью перед отъездом в Европу, тогда он назвал

этот проект «Иллюзии моего отца», и, поскольку отца Гарп *изобретал,* он чувствовал, что теснее соприкасается с миром чистого воображения, некогда породившим «Пансион „Грильпарцер“». Чувствовал, что долгое время шел по ложному пути, ибо оказался в плену, как он теперь говорил, «несчастных случаев и простых случайностей будничной жизни», а также «вполне понятной душевной травмы, явившейся их результатом». Сейчас он опять чувствовал себя на коне, был полон уверенности, что безусловно способен создать нечто стоящее.

«Мой отец хотел, чтобы у всех нас жизнь сложилась лучше, — начал Гарп, — но лучше ли, *чем у него или у кого-то другого?* Вот этого-то он как раз и не знал. Не думаю, чтобы он вообще понимал, что такое жизнь; ему хотелось только, чтобы она была *лучше».*

Как и в «Пансионе „Грильпарцер“», Гарп *выдумал* себе целую семью; у него появились братья, сестры, тетки, эксцентричный и злой дядя — и он снова почувствовал себя романистом. Сюжет, к его превеликой радости, довольно быстро обрастал плотью.

По вечерам Гарп читал вслух Эллен Джеймс и Хелен; иногда и Дункан тоже оставался послу-

шать, а иногда и Роберта оставалась на ужин и непременно тоже присоединялась к слушателям. Гарп вдруг стал очень щедр во всем, что касалось фонда. Он даже раздражал других членов правления: хотел буквально *каждой* претендентке что-нибудь дать.

— По-моему, она пишет искренне, — говорил он. — Послушайте! У нее же такая тяжелая жизнь! Разве у нас денег не хватает?

— Не будет хватать, если мы начнем тратить их подобным образом, — охлаждала его пыл Марсиа Фокс.

— Если мы не будем проводить среди претенденток жесткий отбор, а пойдем у них на поводу, как предлагаете вы, — говорила Хильма Блох, — нам конец!

— Конец? — удивлялся Гарп. — Как это *нам* конец? В последнее время всем (за исключением Роберты) казалось, что Гарп занимается самым либеральным попустительством: он был просто не в состоянии никого оценить по заслугам! Полный воображаемых — хотя вполне целостных и очень печальных — историй своих выдуманных родственников, он был преисполнен сочувствия буквально ко всем, проявляя чрезвычайную чувствительность.

Годовщина убийства Дженни и внезапных смертей Эрни Холма и Стюарта Перси прошла для Гарпа незаметно — в окружении вымышленных персонажей и на волне творческой энергии. Затем, с началом учебного года, начался и борцовский сезон. Хелен никогда не видела Гарпа таким занятым, таким предельно собранным и неутомимым. Он снова стал тем решительным молодым Гарпом, в которого она влюбилась, и она чувствовала такую тягу к нему, что часто плакала, когда бывала одна, сама не зная почему. Хелен слишком часто оставалась одна, особенно теперь, когда Гарп снова был очень занят, и пришла к выводу, что чересчур долго вела пассивную жизнь затворницы. Так что она согласилась на предложение Стиринг-скул и вновь поступила на работу, чтобы учить других и использовать свои недюжинные способности для выработки собственных идей и теорий.

Еще она учила Эллен Джеймс водить машину; и Эллен два раза в неделю сама ездила на машине в университет штата, где занималась на курсах писательского мастерства. «Наша семья, пожалуй, маловата для двух писателей, Эллен», — поддразнивал ее Гарп. Как все они радовались его хорошему настроению! Да и Хелен, снова посту-

пив на работу, тревожилась гораздо меньше.

Хотя в мире Гарпа любой вечер мог быть шумно-веселым, а уже следующее утро — смертоносным.

Впоследствии все они (включая Роберту) частенько вспоминали, как было здорово, когда Гарп получил наконец первый экземпляр книги «Пансион „Грильпарцер“» с иллюстрациями Дункана — как раз перед Рождеством! Еще до того, как увидел Подводную Жабу.

19. Жизнь после Гарпа

Он любил эпилоги, что и продемонстрировал нам в «Пансионе „Грильпарцер“».

«Эпилог, — писал Гарп, — значит даже больше, чем основной текст. В эпилоге, как бы подводящем итоги всего, что было, нас на самом деле предупреждают о будущем».

В тот февральский день Хелен слышала, как он шутит за завтраком с Эллен Джеймс и Дунканом; и голос его безусловно звучал так, словно он был совершенно уверен в своем будущем и вполне им доволен. Хелен выкупала маленькую Дженни Гарп, посыпала детской присыпкой нежные складочки, смазала детским маслом кожицу на голове, состригла крошечные ноготки и облачила дочку в желтенький комбинезон с молнией, который когда-то носил Уолт. Из кухни доносился аромат сваренного Гарпом кофе, и Хелен слышала, как Гарп торопит Дункана в школу.

— Только не *эту* шапку, Дункан, ради бога, — говорил Гарп. — Эта и птичку не согреет, а на улице минус двенадцать.

— Да там *плюс* двенадцать, папа! — возразил

Дункан.

— Это с академической точки зрения — из-за споров Цельсия и Фаренгейта! — сказал Гарп. — Там просто очень холодно — вот и все.

Эллен Джеймс, видимо, в это время вошла в кухню из гаража и написала Гарпу какую-то записку, потому что Хелен услышала, как Гарп обещает помочь ей через минутку. Все ясно: Эллен опять не сумела завести машину.

Затем в огромном доме на время установилась тишина, и до Хелен доносилось только поскрипывание сапог по снегу и медленное завывание холодного движка.

— Удачного дня! — крикнул Гарп Дункану, который, должно быть, шел по длинной подъездной дорожке к школе.

— Спасибо! — крикнул Дункан в ответ. — И тебе тоже!

Машина наконец завелась; Эллен Джеймс аккуратно вывела ее на дорожку: ей было нужно в университет.

— Езжай осторожнее! — крикнул ей вдогонку Гарп.

Хелен в одиночестве выпила кофе. Иногда невнятное бормотание маленькой Дженни, которая не умела еще как следует произносить

многие слова, но с удовольствием разговаривала сама с собой, напоминало Хелен о джеймсианках или об Эллен — особенно когда та бывала чем-то расстроена, — но этим утром малышка на удивление тихо играла со своими пластмассовыми игрушками, и до Хелен доносилось только постукивание пишущей машинки Гарпа.

Он писал часа три подряд. Машинка то выдавала яростную пулеметную очередь страницы на три-четыре, то надолго замолкала, и Хелен казалось, что и сам Гарп перестал дышать; но едва она забывала и о машинке, и о Гарпе и совершенно погружалась в собственные мысли, в какую-то книгу или в занятия с Дженни, машинка вдруг опять взрывалась бешеной очередью.

В половине двенадцатого Хелен услышала, что Гарп звонит Роберте Малдун. Ему хотелось сыграть в сквош до тренировок в борцовской секции, и он спрашивал, не может ли Роберта оторваться от своих «девочек», как Гарп называл членов правления.

— Как сегодня твои девочки, Роберта? — спросил Гарп. — Отпустят они тебя?

Но сегодня Роберта, к сожалению, играть не могла, и Хелен услышала в голосе мужа явное разочарование.

Позднее бедная Роберта будет снова и снова повторять, что *должна* была непременно сыграть с ним; если бы она с ним сыграла, повторяла она, то, возможно, заметила бы приближавшуюся опасность, возможно, даже предотвратила бы ее, оказавшись рядом, всегда готовая к атаке, стремительная, хорошо знающая звериный оскал реального мира и всегда замечающая отпечатки его страшных лап, тогда как Гарп этого не замечал или просто не обращал внимания. Но в тот день Роберта Малдун в сквош с ним играть не могла.

Гарп еще с полчаса писал. Хелен знала, что он пишет письмо, — она умела определить это по ритму работы пишущей машинки. Гарп писал Джону Вулфу, как идет работа над «Иллюзиями моего отца»; он был доволен собой и тем, что у него получается, и жаловался Джону, что Роберта слишком серьезно относится к своей работе в фонде и позволяет себе терять спортивную форму; Гарп считал, что *никакая* административная работа не заслуживает такого внимания, какое Роберта уделяет фонду. И писал, что его совершенно не огорчают ни довольно низкий уровень продаж, ни невысокая цена на отдельное издание «Пансиона»; примерно этого он, собственно, и ожидал. Главное, писал он, «получилась пре-

лестная книга»; ему приятно на нее смотреть и дарить другим, а кроме того, ее возрождение стало возрождением его самого как писателя. Он также сообщил Джону, что, как он ожидает, в этом году его борцы выступят удачнее, чем в прошлом, хотя его фаворит-тяжеловес, к сожалению, нуждается в операции на колене, а его единственный чемпион Новой Англии среди юниоров закончил школу. Он писал, что жить с человеком, который читает так много, как Хелен, очень непросто: это одновременно и раздражает, и вдохновляет; ему, например, очень хочется написать что-нибудь такое, что заставит ее разом забросить все прочие книги.

В полдень Гарп зашел к Хелен, поцеловал ее, погладил по груди, чмокнул малышку Дженни, а потом еще раз и еще — пока вставлял ее в зимний комбинезон, который тоже когда-то носил Уолт, а до Уолта успел немного поносить и Дункан. Затем, как только вернулась с машиной Эллен Джеймс, Гарп отвез Дженни в дневные ясли-сад и заехал в закусочную Бастера выпить традиционную чашку чая с медом, одним мандарином и одним бананом. Это единственное, что Гарп позволял себе перед занятиями бегом или борьбой, и он даже подробно объяснил, почему это

необходимо, одному молодому преподавателю с английской кафедры, совсем недавно получившему диплом и восхищавшемуся книгами Гарпа. Преподавателя звали Дональд Уитком, и, слушая его нервное заикание, Гарп с любовью вспоминал покойного мистера Тинча, а также, если судить по яростному биению его пульса, и Элис Флетчер.

Отчего-то в тот день Гарп был рад поговорить о писательском искусстве с кем угодно, и юный Уитком с восторгом его слушал. Дон Уитком впоследствии часто будет вспоминать, как Гарп определил акт зачатия нового романа. «Это похоже на попытку оживить мертвого, — сказал он и тут же поправился: — Нет, не так! Скорее на попытку всех и навсегда сохранить живыми. Даже тех, кто в конце романа обязательно должен умереть! Их-то как раз и важнее всего сохранить живыми». А потом Гарп сказал еще одну фразу, которая, видно, и ему самому очень нравилась: «Писатель, романист — это врач, обращающий внимание только на терминальные случаи»[15].

Юный Уитком был настолько потрясен, что даже записал эти слова.

---

15 Примечание: 15

Медицинский термин, обозначающий пограничное состояние между жизнью и смертью.

Биографией Гарпа, которую Дональд Уитком напишет несколько лет спустя, будут восхищаться исследователи, презирая Уиткома и завидуя ему. Уитком вспоминал, что Период Расцвета (как он его называл) в творчестве Гарпа обусловлен присущим этому писателю ощущением собственной смертности. Покушение на Гарпа, совершенное джеймсианкой в грязно-белом «саабе», как утверждал Уитком, настолько встряхнуло его, что вновь пробудило в нем потребность писать. И Хелен Гарп этот тезис вполне поддерживала.

В принципе мысль была вполне справедливая, хотя сам Гарп безусловно над нею бы посмеялся. К тому времени он действительно уже напрочь позабыл о джеймсианках и совершенно не искал встреч с ними. Но подсознательно, возможно, все же ощутил ту встряску, о которой позже говорил Уитком.

Так или иначе, а в тот день в закусочной Бастера Гарп продержал завороженного Уиткома до тех пор, пока не настало время для занятий в борцовской секции. Выбегая из закусочной (и оставив Уиткома расплачиваться, как вполне добродушно вспоминал позднее молодой человек), Гарп налетел на декана Боджера, который только что три дня провел в больнице из-за болей

в сердце.

— Они так ничего и не нашли! — пожаловался Боджер.

— Ну а хоть сердце-то ваше на месте обнаружили? — пошутил Гарп.

Декан, юный Уитком и сам Гарп дружно рассмеялись, и Боджер сказал, что в больницу брал с собой только «Пансион „Грильпарцер“» и, поскольку эта книга оказалась слишком короткой, имел возможность трижды перечитать ее с начала и до конца. История, пожалуй, несколько мрачноватая, чтобы читать ее в больнице, признался Боджер, но он хотя бы рад, что у него не бывает таких снов, как у бабушки Йоханны, а значит, наверняка еще поживет на этом свете. И вообще, сказал Боджер, книга ему очень понравилась.

Уитком будет потом вспоминать, что при этих словах Гарп отчего-то смутился, хотя похвала Боджера явно была ему приятна, и убежал, забыв свою вязаную шапочку, но Боджер сказал Уиткому, что отнесет ее прямо в спортзал, он очень любит заходить в зал, когда Гарп тренирует своих воспитанников. «Он там настолько в своей стихии…» — сказал Боджер.

Дональд Уитком борьбой не увлекался, однако

с огромным энтузиазмом говорил о творчестве Гарпа. И оба преподавателя, молодой и старый, сошлись в одном: Гарп — человек на редкость энергичный.

Впоследствии Уитком вспоминал, как вернулся в свою крошечную квартирку в одном из спальных корпусов школы и попробовал записать все то, что так впечатлило его в разговоре с Гарпом, однако закончить записи не успел: наступило время ужина. Спустившись в столовую, Уитком оказался одним из немногих обитателей Стиринг-скул, которые еще ничего не слышали о случившемся. И как ни странно, именно декан Боджер — глаза опухли и покраснели, лицо сразу на несколько лет постарело — остановил юного Уиткома у входа в столовую. Декан, забывший свои перчатки в спортзале, комкал в ледяных руках вязаную шапочку Гарпа. Когда Уитком увидел, что шапочка все еще у Боджера, он сразу, даже не взглянув Боджеру в глаза, догадался, что случилось нечто ужасное.

Гарп вспомнил о забытой шапке, когда уже бежал рысцой по заснеженной дорожке от закусочной Бастера к спортивному комплексу имени Сибрука. Но вместо того, чтобы вернуться за шапкой, он решил прибавить скорость и помчался

прямо в спортзал. Голова у него почему-то успела замерзнуть, хотя на улице он пробыл не больше трех минут, пальцы на ногах тоже замерзли, и он сперва как следует отогрел ноги в душной тренерской и только потом надел борцовки.

Там же, в тренерской, он быстро переговорил со своим любимым воспитанником, который весил 145 фунтов. Парнишка старался пластырем примотать левый мизинец к безымянному пальцу, чтобы не бередить травму, которую другой тренер назвал растяжением. Гарп спросил, делали ли ему рентген; сделали, сказал мальчик, перелома нет. Гарп хлопнул его по плечу, спросил, сколько он примерно весит, нахмурился, услышав ответ — скорее всего, фунтов пять, по крайней мере, он себе прибавил, — и пошел переодеваться.

В тренерской Гарп снова остановился, прежде чем пройти в зал. «Ты просто смажь ухо вазелином, и все», — посоветовал ему один из тренеров. Ухо у Гарпа начинало распухать, он явно слегка его обморозил, а от вазелина оно стало скользким, и Гарп рассчитывал, что это как-то его защитит. Гарп не любил бороться в шлеме, наушники не были частью борцовской формы, когда он сам занимался борьбой, так что он не видел особой причины надевать их теперь.

Прежде чем отпереть борцовский зал, Гарп вместе с другим учеником, весившим 152 фунта, пробежал милю по беговой дорожке. На последнем круге Гарп предложил парнишке рвануть наперегонки, но у того сил явно оставалось побольше, и под конец он обогнал Гарпа на целых шесть футов. Затем, уже в борцовском зале, Гарп устроил с ним «поединок» — просто чтобы разогреться — и легко положил его на лопатки раз пять или шесть, а затем минут пять гонял по залу, пока тот совсем не выдохся. Только тогда Гарп, заняв нижнюю защитную позицию, позволил парню попытаться уложить его на лопатки. Однако долго в такие игры Гарп играть не мог: мышца спины, когда-то поврежденная, до сих пор плохо тянулась, и он велел мальчишке разминаться с кем-нибудь другим, а сам сел в сторонке, прислонившись к стене, и, потея от удовольствия, стал наблюдать, как зал наполняется его борцами.

Он разрешил им разогреться самостоятельно — он ненавидел организованную физическую подготовку, — прежде чем показать первый из приемов, в которых сегодня нужно было попрактиковаться. «Разбейтесь по парам!» — подгонял он их. Потом вдруг спросил: «Эрик, а ты что? Тебе нужен партнер потяжелее. Или, может, хочешь

побороться со мной?»

Эрик, при весе 133 фунта, имел обыкновение разминаться с воспитанником из второго состава, весившим 115 фунтов, тот был его лучшим другом и жил с ним в одной комнате.

Когда Хелен вошла в борцовский зал, температура там уже была под тридцать и еще поднималась. Разбившиеся по парам мальчики пыхтели на матах. Гарп внимательно следил за секундомером. «Осталась одна минута!» — громко крикнул он. Когда Хелен подошла к нему, во рту у него был свисток, так что поцеловать его она не смогла.

Она будет вспоминать этот свисток и то, что тогда не поцеловала Гарпа, — будет вспоминать до конца своих дней, а проживет она еще долго.

Хелен прошла в свой любимый уголок, где на нее почти невозможно было ни налететь, ни свалиться. И, естественно, тут же раскрыла книжку. Очки конечно же мгновенно запотели, она сняла их, протерла и как раз надевала снова, когда с противоположной стороны в зал вошла какая-то медсестра. Хелен не обратила на нее внимания и снова уткнулась в книгу, но внезапно услышала громкий звук падения и необычно пронзительный крик боли. Она не видела, как

медсестра, закрыв за собой дверь, быстро двинулась среди катавшихся по матам тел к Гарпу, в руке у которого был зажат секундомер, а изо рта торчал свисток Гарп вытащил свисток и крикнул: «Пятнадцать секунд!» Собственно, столько ему и оставалось жить. Гарп опять сунул свисток в рот и уже хотел дунуть в него, но тут заметил перед собой медсестру.

Сперва он ошибочно принял ее за ту приветливую пожилую сестру милосердия по имени Дотти, которая помогла ему спастись во время феминистских похорон. Гарпа сбили с толку волосы этой женщины, серо-стальные, заплетенные в косу, обернутую вокруг головы, — конечно же парик. Медсестра улыбнулась Гарпу. Пожалуй, ни с кем, кроме медсестер, он не чувствовал себя столь спокойно; он ласково улыбнулся ей в ответ и глянул на секундомер: десять секунд.

Снова подняв глаза на медсестру, Гарп вдруг увидел револьвер. Он только что думал о другой медсестре, о своей матери, Дженни Филдз, и о том, как она выглядела, когда входила в спортзал на тренировку борцов лет двадцать тому назад. Дженни тогда была гораздо моложе этой медсестры, думал он. А если бы в тот момент Хелен подняла глаза и увидела эту медсестру,

она опять-таки могла бы ошибиться, решив, что ее бесследно пропавшая мать наконец-то решила выйти на белый свет из своего неведомого укрытия.

Увидев в руках у женщины оружие, Гарп сообразил, что и халат у этой «медсестры» не настоящий; это было белое платье «подлинная Дженни Филдз» с характерным красным сердечком над левой грудью. И только заметив это вышитое сердечко, Гарп разглядел груди «медсестры» — маленькие, но твердые и слишком молодые для такой седоволосой женщины, и бедра у нее слишком узкие, а ноги — слишком худые, девичьи. Когда же Гарп всмотрелся ей в лицо, он разглядел и характерные фамильные черты: квадратную челюсть, которую Мидж Стиринг подарила всем своим детям, и покатый лоб, унаследованный от Жирного Стью. Комбинация этих черт делала лица всех младших представителей семейства Перси похожими на носовую часть страшноватого военного судна.

Первый выстрел заставил Гарпа неожиданно громко свистнуть в свисток и выронить секундомер. Гарп медленно осел на теплый мат. Пуля пробила желудок и застряла в позвоночнике. Секундомер не отсчитал и пяти секунд, когда

Бейнбридж Перси выстрелила во второй раз, и пуля вошла Гарпу в грудь, отбросив его, в той же сидячей позе, к мягкой стене. Застывшие от ужаса мальчишки, казалось, вообще не могли пошевелиться. Именно Хелен толкнула Пух Перси на мат и не дала ей выстрелить в третий раз.

Крики Хелен заставили юных борцов очнуться. Один из них, тяжеловес из второго состава, буквально пришпилил Бедняжку Пух к мату лицом вниз и вытащил из-под нее руку с зажатым в ней револьвером. Яростно работая локтем, он в кровь разбил губы Хелен, склонившейся над Гарпом, однако Хелен вряд ли что почувствовала. Восходящая звезда, тот самый, весивший 145 фунтов, с мизинцем, прибинтованным к безымянному пальцу, вырвал у Пух револьвер, сломав ей большой палец.

Когда хрустнула кость, Пух Перси пронзительно вскрикнула, и даже Гарп сумел увидеть, что с нею стало, — хирургическая операция, видимо, была сделана совсем недавно. В разинутом орущем рту Бедняжки Пух любой, кто находился поблизости, мог разглядеть множество черных хирургических стежков, которые, точно муравьи, собрались на безобразном обрубке, оставшемся от языка. Тот мальчик, что удерживал Пух, так испугался

этой безъязыкой разинутой пасти, что прижал свою пленницу слишком сильно и сломал ей ребро. Безумие, недавно овладевшее Бейнбридж Перси и сделавшее ее одной из джеймсианок, явно имело слишком болезненные последствия.

— Иньи! — вопила она. — Онюие иньи! — Это означало «вонючие свиньи», но теперь, чтобы как следует понять Пух Перси, нужно было быть одной из джеймсианок

Любимый воспитанник Гарпа по-прежнему держал револьвер на расстоянии вытянутой руки от Бедняжки Пух, на всякий случай нацелив его вниз и в самый дальний угол зала.

— Инья! — взвизгнула Пух и плюнула в него, но мальчик, весь дрожа, смотрел только на своего тренера.

Хелен, как могла, поддерживала Гарпа, сползавшего по стене. Говорить он не мог, это он понимал, и ничего не чувствовал, и не мог пошевелить даже пальцем. У него сохранилось только чрезвычайно обострившееся обоняние, остатки угасающего зрения и абсолютно живые сознание и память.

Гарп в кои-то веки обрадовался, что Дункан никогда не интересовался борьбой. Отдавая предпочтение плаванию, Дункан избежал этого

ужасного зрелища. Гарп знал, что в эти минуты Дункан либо выходит из школы, либо уже в бассейне.

Он бесконечно сожалел, что Хелен находилась в зале, но, с другой стороны, был счастлив чувствовать рядом ее запах. Он наслаждался, упивался этим родным запахом, как бы отгораживавшим его от всех прочих (и весьма интимных, надо сказать) запахов борцовского зала. Если бы он мог говорить, он бы сказал Хелен, чтобы она никогда больше не боялась Подводной Жабы. Удивило его только одно: Подводная Жаба оказалась вовсе не чужаком, и в ней не было ровным счетом ничего загадочного. Напротив, Подводная Жаба была прекрасно ему знакома — словно он знал ее всю жизнь, словно он вместе с нею вырос. Мягкая, податливая, как теплые маты для борьбы, она пахла чистым потом хорошо вымытых мальчиков и немного как Хелен, первая и последняя настоящая любовь Гарпа. Подводная Жаба — теперь Гарп знал это наверняка — может выглядеть и как сестра милосердия: человек, близко знакомый со смертью и обученный практическими действиями отвечать на боль. Когда декан Боджер, держа в руках вязаную шапочку Гарпа, открыл дверь зала, Гарп не обольщался, что декан снова

здесь, чтобы организовать его спасение, поймать тело, падающее с крыши изолятора, и вернуть его в тот мир, на целых четыре этажа ниже, где жизнь совершенно безопасна. Но мир и внизу безопасен не был. Гарп знал, что декан Боджер сделал бы все возможное, чтобы помочь ему. Он благодарно улыбнулся и Боджеру, и Хелен, и своим юным борцам. Некоторые из ребят плакали, и Гарп любовно посмотрел на своего тяжеловеса из второго состава, который, рыдая, всей своей тяжестью прижимал Пух Перси к мату; Гарп хорошо понимал, какое сложное время настает для этого несчастного толстого парнишки.

И наконец Гарп посмотрел на Хелен; он мог двигать только глазами и видел, что Хелен изо всех сил пытается улыбнуться ему в ответ. Он старался глазами подбодрить ее: не волнуйся, родная, ну и что, если нет никакой жизни после смерти? Есть жизнь после Гарпа, поверь мне! Даже если после смерти есть только смерть, будь благодарна за приятные моменты — иногда, например, после ночи любви случается рождение ребенка. А иногда, если очень повезет, случается и секс почти сразу после рождения ребенка! «Тофьно!» — как сказала бы Элис Флетчер. А раз у тебя есть жизнь, сказали Хелен глаза Гарпа, есть и надежда, что у

тебя хватит сил и энергии. И никогда не забывай, что есть еще и память, дорогая моя!

«Если мы будем смотреть на мир глазами Гарпа, — напишет впоследствии Дональд Уитком, — то мы обязаны помнить все».

Гарп умер прежде, чем его сумели вынести из зала. Ему было тридцать три года, столько же, сколько Хелен. Эллен Джеймс только что исполнилось двадцать. Дункану было тринадцать. Маленькой Дженни Гарп шел третий годик. Уолту исполнилось бы восемь.

Весть о гибели Гарпа вызвала ускоренную публикацию третьего и четвертого издания «книги отца и сына» — «Пансиона „Грильпарцер“» — с иллюстрациями Дункана. Весь уик-энд Джон Вулф пил, подумывая навсегда уйти из издательского бизнеса; порой его просто тошнило оттого, что насильственная смерть так стимулировала *дело.* Впрочем, Джона Вулфа несколько успокаивала мысль о том, как бы сам Гарп воспринял весть о своей смерти. Даже ему не пришло бы в голову, насколько *лучше* самоубийства такая смерть закрепит за ним славу *серьезного, настоящего* писателя! Между прочим, не так уж и мало для человека, который в тридцать три года написал один хороший рассказ и, допустим, полтора

хороших романа (из трех). Смерть Гарпа в самом деле оказалась столь «безупречной», что Джон Вулф невольно улыбнулся, представив себе, как *он* был бы доволен ею. Ведь эта смерть, думал Джон Вулф, при всех своих случайных, нелепых и ненужных качествах — комических, уродливых и странных, — подчеркнула все самое важное, что Гарп успел написать об окружающем мире. Такую сцену смерти, сказал Джон Вулф Джилси Слопер, мог бы написать только Гарп.

Впоследствии, но лишь однажды Хелен горько заметила, что в конечном счете смерть Гарпа была разновидностью самоубийства. «В том смысле, что вся его *жизнь* целиком была самоубийством», — загадочно объявила она. А позднее пояснила: «Дело в том, что он слишком сильно злил людей».

Да, он слишком сильно разозлил Пух Перси; в этом, по крайней мере, никто не сомневался.

Он заставил других людей воздавать ему почести, небольшие и странные. Кладбище Стиринг-скул удостоилось чести установить на своей территории надгробный камень с надписью, но тело Гарпа, как и тело его матери, отправилось в анатомичку. Стиринг-скул также решила назвать в честь Гарпа единственное свое здание, которое

еще никакого имени не носило. Идея принадлежала старому декану Боджеру. Если у них есть изолятор имени Дженни Филдз, аргументировал свое предложение добрый старый декан, то пусть прилегающий к нему флигель носит имя Гарпа.

В последующие годы функции этих зданий несколько переменятся, но названия останутся — изолятор имени Дженни Филдз и флигель Гарпа. Изолятор в один прекрасный день станет всего лишь старым крылом новой больницы «Стиринг хелп клиник», а флигель Гарпа будут в основном использовать как склад медицинского, кухонного и учебного оборудования; впрочем, его предполагали использовать и в случае эпидемий, хотя эпидемий в последнее время, можно сказать, вовсе не случалось. Гарп, вероятно, одобрил бы эту идею: чтобы складское помещение назвали его именем. Он однажды написал, что роман — «лишь кладовая для всех тех важных вещей, которые автор не в состоянии использовать в реальной жизни».

И ему бы, конечно, понравилась идея эпилога — так что вот он, эпилог, «предупреждающий нас о будущем», каким мог бы его вообразить Т.С. Гарп.

Элис и Харрисон Флетчер сохранят свой брак,

несмотря на периодические сложности в супружеских отношениях — отчасти их брак не разрушится именно потому, что Элис так никогда и не научится что-либо доводить до конца. Их единственная дочь станет музыкантом и будет играть на виолончели — на этом большом и неуклюжем инструменте с шелковым голосом, — да так изящно, что чистый, глубокий звук виолончели будет усугублять речевой дефект Элис на несколько часов после каждого выступления дочери. Харрисон Флетчер, который наконец получит должность университетского преподавателя, перерастет свое пристрастие к хорошеньким студенткам примерно к тому времени, когда его талантливая дочь начнет утверждаться в жизни как серьезный музыкант.

Элис так и не закончит ни свой второй роман, ни третий, ни четвертый; и второго ребенка она тоже не заведет. Но писать будет по-прежнему легко и гладко, ничего не доводя до конца и вечно терзаясь муками плоти. Элис больше не сумеет так привязаться к другому мужчине, как привязалась когда-то к Гарпу; и та страсть, что сохранится в ее памяти, не позволит ей по-настоящему сблизиться с Хелен. А влюбленность Харрисона в Хелен постепенно таяла, слабея

от мелких интрижек со студентками. В итоге Флетчеры почти совсем потеряли связь с теми Гарпами, что были еще живы.

Однажды Дункан встретил дочь Флетчеров в Нью-Йорке после ее сольного концерта в этом опасном городе и пригласил на обед.

— Он на мать-то похож? — спросил дочь Харрисон, когда та вернулась домой.

— Я не очень хорошо ее помню, — сказала девушка.

— А ухаживать за тобой он не пыталфя? — спросила Элис.

— По-моему, нет, — ответила ей дочь, твердо зная, что первая и главная любовь в ее жизни навсегда отдана широкобедрой виолончели.

Флетчеры, Харрисон и Элис, погибнут в уже довольно пожилом возрасте, когда разобьется самолет, летящий в рождественские каникулы на Мартинику. Один из студентов Харрисона отвез их в аэропорт, и Элис сказала этому молодому человеку:

— Ефли ты живеф в Новой Англии, то заслуживаеф вефелых фолнечных каникул. Правда, Харрифон?

Хелен, впрочем, всегда считала, что Элис слегка не в своем уме.

Хелен Холм, которая большую часть своей жизни была известна как Хелен Гарп, проживет еще очень, очень долго. Хрупкая, изящная темноволосая женщина с чрезвычайно привлекательным лицом, четко мыслящая и прекрасно умеющая излагать свои мысли. У нее будут любовники, но замуж она больше не выйдет. И каждый из близких ей мужчин будет страдать от незримого присутствия Гарпа — не только в беспощадной памяти Хелен, но и среди вполне реальных вещей, которыми Хелен окружала себя в стирингговском особняке. Она редко покидала этот дом, и там повсюду были книги Гарпа, и множество его фотографий, сделанных Дунканом, и даже призы, завоеванные Гарпом в состязаниях по борьбе.

До конца своих дней Хелен будет утверждать, что не может простить Гарпу, что он умер таким молодым и не только заставил ее прожить большую часть жизни в одиночестве, но и совершенно испортил ее, потому что из-за него она даже никогда всерьез не рассматривала возможность жизни с другим мужчиной.

Хелен станет одним из наиболее уважаемых преподавателей Стиринг-скул, но никогда не утратит саркастического отношения к этому месту. Она даже заведет там друзей, хотя их будет и

немного: старый декан Боджер, пока не умрет, и молодой ученый Дональд Уитком, который будет столь же очарован Хелен, сколь и произведениями Гарпа, а еще — одна женщина-скульптор, постоянно проживавшая в Догз-Хэд-Харбор, с нею Хелен познакомит Роберта.

Ну и, конечно, Джон Вулф, друг на всю жизнь, которого Хелен понемногу прощала, но до конца так и не простила за то, что ему успешно удалось сделать Гарпа известным писателем. Хелен и Роберта тоже остались очень близки; иногда Хелен даже присоединялась к Роберте в ее знаменитых «налетах» на Нью-Йорк. Обе они, становясь старше и эксцентричнее, будут все больше прибирать к рукам управление делами в Догз-Хэд-Харбор, а также в Филдз-фонде. Их остроумные комментарии по поводу окружающей жизни превратились чуть ли не в туристический аттракцион; люди специально приезжали туда, чтобы их послушать. Время от времени, когда Хелен чувствовала себя особенно одинокой или начинала скучать в Стиринг-скул — ведь дети ее выросли и жили своей жизнью где-то в других местах, — она ездила к Роберте в старый дом Дженни Фиддз. Там всегда было многолюдно и кипела жизнь. Когда Роберта умерла, Хелен словно постарела разом

лет на двадцать.

Уже в преклонных годах — после того как посетовала Дункану, что пережила всех своих любимых друзей, — Хелен Холм внезапно тяжело заболела; это был недуг, поражающий одновременно все слизистые оболочки тела. Умерла Хелен во сне.

Она успешно пережила многих биографов-головорезов, которые только и ждали ее смерти, чтобы, точно стервятники, наброситься на то, что осталось после Гарпа. Хелен защищала его письма, незаконченную рукопись романа «Иллюзии моего отца», большую часть его газетных публикаций и записных книжек А всем настоящим и будущим его биографам говорила в точности то же, что сказал бы и он сам: «Читайте сами произведения. Забудьте о личной жизни их автора».

Хелен и сама написала несколько работ, которые у ее коллег пользовались уважением. Одна из них называлась «Инстинкт авантюриста и его проявление в повествовательном тексте». Это было сравнительное исследование нарративной техники Джозефа Конрада и Вирджинии Вулф.

Хелен всегда считала себя вдовой с *тремя* детьми на руках: Дунканом, малышкой Дженни и Эллен Джеймс. Все они пережили Хелен и горько

ее оплакивали. Когда умер Гарп, они были еще слишком юны и слишком потрясены его неожиданной гибелью, чтобы плакать так горько.

Декан Боджер оплакивал смерть Гарпа почти также горько, как Хелен, и, точно верный и грозный питбуль, навсегда остался стражем их семьи. Давно уже выйдя на пенсию, он по-прежнему среди ночи, не в состоянии уснуть, вихрем носился по кампусу и весьма искусно вылавливал в темных уголках юных любовников, которые удирали от него по влажным тропкам, припадали к ноздреватой земле и пытались спрятаться среди нежных кустарников, росших у стен прекрасных старинных зданий.

Боджер активно трудился в Стиринг-скул до тех пор, пока ее не закончил Дункан Гарп. «Я видел выпускной вечер твоего отца, мальчик мой, — сказал он Дункану. — Теперь я увижу и твой выпускной вечер. И если мне позволят, я останусь, чтобы проводить из школы и твою сестренку». Но в итоге его все же заставили уйти на пенсию, ссылаясь, в частности, на «недопустимую» привычку декана разговаривать с самим собой во время службы в часовне и на «оскорбительные» аресты мальчиков и девочек, которых он «отлавливал» в полночь, через несколько

часов после отбоя. Боджеру припомнили даже его вечную фантазию о том, что именно он однажды ночью, много лет назад, собственными руками поймал на лету юного Гарпа — тогда как это был самый обыкновенный голубь. Боджер отказался покидать кампус даже после выхода на пенсию и, несмотря на свое упрямство — а может, и благодаря ему, — стал в Стиринг-скул одним из самых заслуженных «профессоров в отставке». Его вечно тащили на всякие школьные церемонии, вытаскивали на сцену и представляли людям, которые понятия не имели, кто он такой, а потом почтительно уводили прочь. Возможно, именно потому, что его можно было предъявлять как местную знаменитость на различных многолюдных мероприятиях, руководство школы и терпело некоторые весьма странные выходки Боджера; он, например, чуть ли не до восьмидесяти лет был убежден — и твердил об этом иногда по нескольку недель, — что все еще является деканом.

— Но вы ведь и правда декан, честное слово! — любила поддразнивать его Хелен.

— Естественно, я декан! — гремел Боджер.

Они часто виделись, и, по мере того как Боджер постепенно глох, он все чаще появлялся под руку

с этой милой Эллен Джеймс, у которой были свои способы беседовать с людьми, лишенными слуха.

Декан Боджер хранил верность и борцовской команде Стиринг-скул, былая слава которой вскоре осталась в прошлом. В школе никогда больше не было тренера, равного Эрни Холму или хотя бы Гарпу. Команда начала проигрывать, но Боджер всегда активно ее поддерживал, поистине безумствуя на трибунах до тех пор, пока не укладывали на обе лопатки последнего жиденького члена команды.

На одном из таких состязаний Боджер и скончался. Во время необычайно напряженного матча стиринговский тяжеловес и его не менее мощный и не менее измученный схваткой противник лежали точно выброшенные на берег китята, пытаясь в последние секунды взять друг над другом верх, когда прозвучал гонг. Судья объявил время: «Пятнадцать секунд!» Собравшись с силами, здоровяки опять принялись бороться. Боджер от волнения даже привстал. «Gott!» — вырвалось вдруг у него, словно немецкий язык, дождавшись-таки своего часа, вынырнул из недр его души.

Когда поединок закончился и зал опустел, там остался только Боджер, декан на пенсии,

умерший прямо на скамье трибуны. И Хелен пришлось долго утешать впечатлительного Уиткома, который сильно горевал по поводу этой утраты.

Дональд Уитком никогда не спал с Хелен, несмотря на слухи, ходившие среди завистливых молодых биографов, мечтавших прибрать к рукам и наследие Гарпа, и его вдову. Уитком провел всю свою жизнь чуть ли не в монашеском уединении, преподавая в Стиринг-скул. Ему очень повезло, что там он познакомился с Гарпом, хоть и совсем незадолго до его смерти. Повезло ему и в дружбе с Хелен, которая всегда о нем заботилась. Она доверяла ему, позволяла обожать Гарпа и, пожалуй, относиться к нему еще менее критически, чем она сама.

Беднягу Уиткома всегда будут именовать не иначе как «юный Уитком», хотя он далеко не навсегда останется юным. Правда, борода у него так и не вырастет, и на щеках будет играть нежно-розовый румянец — под каштановыми, затем с проседью, а затем и совершенно белыми, точно заиндевевшими волосами. И голос у него останется напевным, напоминая чуть заикающиеся тирольские йодли, и он всегда будет нервно сплетать пальцы. Однако именно Дональду Уиткому Хелен поручит впоследствии заботу о семейных

и литературных архивах Гарпов.

Когда Уитком стал биографом Гарпа, Хелен прочитала все им написанное, кроме последней главы, которую Уитком не мог закончить долгие годы — выжидал, ибо в этой главе он возносил хвалы самой Хелен. Уитком был истинным гарповедом, лучшим знатоком его творчества. И для биографа обладал прямо-таки идеальной кротостью, как шутливо замечал Дункан. С точки зрения членов семьи Т.С. Гарпа, Уитком был очень хорошим биографом; он верил всему, что рассказывала Хелен, верил каждой записке, оставшейся от Гарпа, и каждой записке, которую Хелен *считала* оставшейся от Гарпа…

«Увы, — писал Гарп, — жизнь отнюдь не так хорошо *структурирована,* как добрый старый роман. В жизни конец наступает, когда те, чьим образам положено постепенно бледнеть и отступать на второй план, вдруг умирают. И остается только память. Но память остается всегда, даже у нигилистов».

Уитком любил Гарпа, даже когда тот представал в самом эксцентричном и в самом претенциозном своем обличье.

Среди вещей Гарпа Хелен отыскала следующую записку:

«Совершенно не имеет значения, каковы на самом деле будут мои траханые „последние слова“. Пожалуйста, скажи всем, что они были таковы: „Я всегда знал, что неуемная жажда превосходства в мастерстве — привычка смертельно опасная“».

И Дональд Уитком, который слепо, безоговорочно любил Гарпа, как любят только собаки и маленькие дети, сказал, что последние слова Гарпа были действительно таковы.

— Ну, раз Уитком так говорит, значит, так оно и есть, — всегда повторял Дункан.

Дженни Гарп и Эллен Джеймс полностью разделяли эту позицию.

«Оберегать Гарпа от биографов стало заботой всей нашей семьи», — писала Эллен Джеймс.

— Ну да, естественно! — поддерживала ее Дженни Гарп. — Чем он обязан этой публике? Он всегда говорил, что благодарен только другим художникам, писателям, артистам и тем, кто его любит.

«А не тем, кто сейчас пытается урвать кусок от „его пирога“!» — писала Эллен Джеймс.

Дональд Уитком исполнил и последнюю волю Хелен. Хотя Хелен была уже стара, последняя ее болезнь оказалась внезапной, и именно Уиткому пришлось отстаивать ее предсмертную просьбу. Хелен не хотела, чтобы ее похоронили на клад-

бище Стиринг-скул, рядом с памятниками Гарпу и Дженни Филдз, могилами Эрни Холма и Жирного Стью. Она сказала, что ее вполне устроит городское кладбище. Она не хотела, чтобы ее тело отдали медикам, ведь она уже так стара и от ее тела осталось так мало, что вряд ли эта малость может кому-нибудь пригодиться. Она сказала Уиткому, чтобы ее кремировали и передали прах Дункану, Дженни и Эллен Джеймс. После того как они похоронят часть ее праха, пусть делают с остальным все, что захотят, но пусть ни в коем случае не *развеивают* его на землях, принадлежащих Стиринг-скул. Будь я проклята, сказала Уиткому Хелен, если эта Стиринг-скул, куда, видите ли, не принимали девочек (когда Хелен хотела туда поступить), получит теперь хотя бы частицу моего праха!

Надгробие на городском кладбище, сказала она Уиткому, должно быть предельно простым, и на нем следует написать, что она, Хелен Холм, была дочерью тренера по борьбе Эрни Холма и ей не разрешили поступить в Стиринг-скул только потому, что она была девочкой; а дальше пусть напишут еще, что она была любящей женой писателя Т.С. Гарпа, надгробие которого можно увидеть на кладбище Стиринг-скул — он там

учился, потому что был мальчиком.

Уитком в точности исполнил и эту просьбу Хелен, что особенно умиляло Дункана.

— Вот уж папе бы это понравилось! — все время повторял он. — Господи, я прямо-таки слышу его голос!

А то, что Дженни Филдз непременно аплодировала бы решению Хелен, чаще отмечали Дженни Гарп и Эллен Джеймс.

Эллен Джеймс стала писательницей. Она действительно была «настоящим человеком», как справедливо считал Гарп. Двое любимых наставников Эллен — Гарп и дух его матери Дженни Филдз — оказали на нее какое-то особое влияние, благодаря которому она никогда не увлекалась прозой, ни художественной, ни документальной. Она стала очень хорошим поэтом — хотя, разумеется, сама с чтением своих произведений не выступала. Уже ее первый замечательный сборник стихотворений «Речи, произнесенные перед растениями и животными» заставил бы Гарпа и Дженни Филдз очень ею гордиться. Во всяком случае, Хелен искренне ею гордилась — они вообще были очень дружны и относились друг к другу как настоящие мать и дочь.

Эллен Джеймс, разумеется, пережила движе-

ние джеймсианок. Убийство Гарпа загнало их глубоко в подполье, и даже случайное появление их на поверхности со временем становилось все менее и менее заметным. *«Привет! Я немая»,* — писали они теперь в своих записках. Или так: *«В результате несчастного случая я теперь не могу говорить. Но я хорошо пишу, как Вы можете убедиться».*

— А вы случайно не одна из этих джеймсианок или как их там? — спрашивали *их порою.*

«Как Вы сказали?» — научились «удивляться» бывшие джеймсианки, а наиболее честные писали: *«Нет. Теперь уже нет».*

Теперь они стали всего лишь женщинами, которые не могли говорить. Многие из них ненавязчиво и старательно пытались найти себе применение, понять, что же они в действительности могут *делать* в жизни. И большая их часть вполне разумно решила помогать тем, кто тоже не может чего-то делать в силу понесенного физического ущерба. Они весьма неплохо помогали и больным, и тем, кто слишком сильно жалел себя. Все больше и больше привычных ярлыков слетали с этих бывших джеймсианок, и все чаще эти безъязыкие женщины появлялись в обществе под вымышленными именами, какие придумы-

вали сами.

Некоторые из них даже выиграли гранты «Филдз-фонда» благодаря своим добрым делам.

Ну а некоторые, конечно, оставались прежними джеймсианками, хотя мир вокруг вскоре совсем позабыл, кто они такие. Кое-кто даже полагал, что джеймсианки — просто банда гангстеров, возникшая и быстро сошедшая на нет примерно в середине столетия. Другие, по иронии судьбы, путали их с теми, против кого джеймсианки, собственно, и боролись: с насильниками. Одна из бывших джеймсианок как-то написала Эллен Джеймс, что вышла из этого общества, когда спросила у одной маленькой девочки, знает ли она, кто такие джеймсианки.

«Это такие тети, которые насилуют маленьких мальчиков», — ответила крошка.

Месяца через два после убийства Гарпа появился очень плохой, но быстро ставший очень популярным роман, написанный за три недели, а через пять недель — изданный. Книга называлась «Признание джеймсианки», и по милости этого бездарного автора джеймсианки оказались, можно сказать, навсегда задвинуты в дальний угол. Разумеется, автор был мужчиной. Его предыдущий роман назывался «Признание порнокороля»

а еще один, вышедший до этого, — «Признание торговца детьми». И так далее. Это был скользкий, злой тип, примерно раз в полгода менявший свое обличье.

Одна из его жестоких и, надо сказать, надуманных шуток в «Признании джеймсианки» заключалась в том, что героиня, от лица которой ведется рассказ, лесбиянка, отрезавшая себе язык, осознает вдруг, что стала непривлекательной прежде всего как *любовница.*

Популярность этой вульгарной книжонки была такова, что довела некоторых джеймсианок до самоубийства. «Среди людей, неспособных высказать, что у них на душе, — писал Гарп, — *вечно* происходят самоубийства».

Однако под конец Эллен Джеймс сама стала искать их общества и подружилась с ними. Так, думала она, поступила бы и Дженни Филдз. Эллен начала устраивать поэтические чтения вместе с Робертой Малдун, обладавшей весьма зычным голосом. Роберта декламировала стихотворения Эллен, а Эллен сидела с нею рядом и выглядела так, словно страстно мечтает сама прочесть вслух свои стихи. Она помогла многим джеймсианкам выбраться на свет из тех щелей, где они скрывались, ибо и они тоже очень хотели бы вновь

обрести способность говорить. Некоторые из этих женщин стали близкими подругами Эллен.

Замуж Эллен Джеймс так и не вышла. Вполне возможно, она порой все же встречалась с мужчинами, но скорее потому, что те были поэтами; их мужская ипостась интересовала ее значительно меньше. Она была хорошей поэтессой и отважной феминисткой, верившей, что можно жить, как жила Дженни Филдз, и творить, как Т.С. Гарп, — с той же энергией и с тем же сугубо личным видением мира. Иными словами, Эллен Джеймс хватало упрямства, чтобы на все иметь свое личное мнение, однако она была очень добра к людям и исполнена сочувствия. И всю жизнь Эллен слегка флиртовала с Дунканом Гарпом, который на самом деле был ей как младший брат.

Смерть Эллен Джеймс принесла Дункану немало горя. Уже взрослой женщиной Эллен увлеклась плаванием на длинные дистанции — примерно в то же время она сменила Роберту на посту директора Филдз-фонда. Эллен старательно тренировалась; ей очень хотелось научиться несколько раз подряд переплывать горловину Догз-Хэд-Харбор. В последних и лучших ее стихотворениях плавание и «чаша океана» постоянно используются как метафоры. Однако Эллен

Джеймс была и осталась девчонкой со Среднего Запада, которой никогда не понять, что такое подводное течение и как опасны порой отливы. Однажды холодным осенним днем она слишком увлеклась тренировкой, устала, и проклятое подводное течение погубило ее.

«Когда я плыву, — писала она Дункану, — то всегда невольно вспоминаю о безмерном изяществе споров с твоим отцом и о своих безмерных — и тщетных! — усилиях его переспорить. И еще я всегда чувствую желание моря забрать меня, добраться до моей сухой сердцевины, до моего недоступного маленького сердца (до моей недоступной маленькой задницы, сказал бы, конечно, твой отец). Но мы дразним друг друга, море и я. И, наверное, *ты*, грубиян, сказал бы, что этим я заменяю нормальный секс и любовные игры».

Флоренс Кокрен Баулсби, известная Гарпу как миссис Ральф, всю жизнь проведет в веселой неразберихе и без каких бы то ни было заменителей секса — по всей очевидности, не имея в этом ни малейшей необходимости. Она закончит докторскую диссертацию по сравнительному литературоведению и вскоре получит должность на одной из крупнейших и беспорядочнейших университетских кафедр, и ее коллег

будет объединять только одно: страх перед нею. Известно, что она в разное время соблазнила и облила презрением девятерых из тринадцати старших преподавателей кафедры, которые то допускались в ее постель, то с издевательствами изгонялись оттуда. Студенты прозвали ее «училка-динамит» и относились к ней с должным уважением. Так что она под конец все же продемонстрировала другим, а также самой себе, что вполне способна неплохо проявить себя и в иной области, кроме секса.

Вряд ли можно получить о ней информацию у ее затюканных, поджавших хвост любовников, которые — все без исключения! — напоминали миссис Ральф о том, в каком виде однажды покинул ее дом и сам Гарп.

Узнав об ужасном убийстве Гарпа, миссис Ральф, испытывая сострадание, одной из первых написала Хелен: «Для меня его жизнь была исполнена соблазна, увы, недоступного мне, и я, относясь к нему с величайшим уважением, всегда искренне сожалела, что так и не сумела его соблазнить».

В итоге Хелен, пожалуй, полюбила эту женщину и время от времени переписывалась с нею.

Роберта Малдун также имела случай вступить

с миссис Ральф в переписку, отклонив ее заявку в Филдз-фонд. На Роберту произвела сильное впечатление записка, которую миссис Ральф прислала в фонд, когда ей отказали.

«Да засуньте вы свой грант себе в задницу!» — говорилось в ней. Миссис Ральф явно была очень недовольна тем, что ее отклонили.

Ее единственный сын Ральф умер раньше ее; Ральф стал неплохим журналистом и, подобно Уильяму Перси, погиб на одной из войн.

Бейнбридж Перси, больше известная Гарпу как Бедняжка Пух, прожила очень, очень долгую жизнь. Последний из множества психиатров утверждал, что вылечил ее, но, вполне возможно, Бедняжка Пух просто ускользнула от анализов и обследований, слишком устав от попыток реабилитироваться у целителей-психоаналитиков; у нее уже не хватало пороху, чтобы вновь проявлять прежнюю свирепость.

Так или иначе, Пух после длительного перерыва вновь мирно вступила в общественную жизнь и оказалась человеком вполне активным, хотя и не способным говорить, зато более или менее надежным и — наконец-то! — кому-то полезным. Бейнбридж Перси было за пятьдесят, когда она вдруг заинтересовалась воспитанием детей;

особенно хорошо и терпеливо она работала с умственно отсталыми. В связи с этой работой ей приходилось часто встречаться с другими джеймсианками, которые — каждая по-своему, конечно, — тоже прошли психологическую реабилитацию или сами по себе существеннейшим образом изменились.

Почти двадцать лет Пух ни единым словом не вспомнит свою покойную сестру Куши, однако любовь к детям окончательно собьет ее с толку. В пятьдесят четыре года Пух забеременеет (никто так и не поймет, как) и вернется под наблюдение врачей, убежденная, что умрет родами. Однако этого не случилось; Пух родила и стала превосходной матерью, продолжая работать с умственно отсталыми детьми. К счастью, единственная дочь Пух Перси, для которой страшная история матери окажется впоследствии тяжелым ударом, не страдала умственной отсталостью, Гарпу она бы наверняка напомнила Куши времен их отрочества.

Пух Перси, как считали некоторые, стала положительным примером для тех, кто хотел бы положить конец смертной казни: ее реабилитация производила прямо-таки неизгладимое впечатление, но только не на Хелен и не на

Дункана Гарпа, которые до могилы продолжали мечтать, чтобы Пух Перси умерла в тот миг, когда выкрикнула свое «Иньи!» в борцовском зале Стиринг-скул.

Но однажды Бейнбридж Перси действительно умерла; с нею случился удар во Флориде, куда она отправилась навестить свою дочь. Но для Хелен было весьма малым утешением, что она ненамного пережила Бедняжку Пух.

Верный Уитком предпочел описать Пух Перси так, как однажды ее описал ему и декану Боджеру Гарп, рассказывая о своем бегстве с первых феминистских похорон: «Андрогинная хамка с мордой хорька и жалким умишком, абсолютно испорченным пятнадцатилетним пребыванием в пеленках».

Официальная биография Гарпа, которую Дональд Уитком назвал «Безумие и печаль, или Жизнь и искусство Т.С. Гарпа», будет выпущена компаньонами Джона Вулфа, сам-то он не доживет до публикации этой отличной книги. Джон Вулф приложит немало сил к тому, чтобы биография Гарпа была подготовлена самым тщательным образом, и будет лично работать над ней с Уиткомом как редактор — над большей частью рукописи — вплоть до своей безвременной

кончины.

Джон Вулф умер от рака легких в Нью-Йорке еще совсем не старым. Он всегда был человеком осторожным, добросовестным, внимательным и в известной степени элегантным — во всяком случае, большую часть своей жизни, — однако постоянное внутреннее беспокойство и безысходный пессимизм мог заглушить только с помощью ежедневных трех пачек сигарет без фильтра и выкуривал это убийственное количество с тех пор, как ему исполнилось восемнадцать. Подобно многим деловым людям, которые чисто внешне всегда стараются выглядеть безупречно спокойными и решительными, Джон Вулф попросту докурился до смерти.

Его служение Гарпу и книгам Гарпа переоценить невозможно. Хотя он, вероятно, время от времени все же чувствовал себя ответственным за ту широкую известность Гарпа, которая в конце концов и спровоцировала его жестокое убийство, но был человеком слишком умным и многоопытным, чтобы держаться за столь примитивную точку зрения. Убийство, говорил Джон Вулф, становится «в наши дни все более распространенным видом любительского спорта», и «политически правоверные», как он именовал

почти всех, неизменно были заклятыми врагами художественных натур, которые осмеливались высокомерно настаивать на превосходстве *личностного* видения мира. Кроме того, Вулф знал, что все произошло не только потому, что Пух Перси стала джеймсианкой и ответила на выпады Гарпа; главной причиной ее ненависти к нему были сугубо личные, еще детские, горести и печали, возможно усугубленные политикой, но в основном столь же глубинные, как и ее затянувшаяся потребность в подгузниках. В самом юном возрасте Пух вбила себе в голову, что взаимное пристрастие Гарпа и Куши к неумеренному сексу и привело Куши к смерти. Во всяком случае, для Гарпа эта уверенность Пух оказалась смертельной.

Профессионал в том мире, который слишком часто поклонялся созданному им самим идолу современности, Джон Вулф до самой своей кончины настаивал, что лучшей его публикацией была «книга отца и сына», иллюстрированное Дунканом издание «Пансиона „Грильпарцер“». Он, разумеется, гордился и ранними романами Гарпа, а в итоге стал весьма положительно отзываться о «Мире глазами Бензенхавера», говоря, что этот роман был «неизбежным» — если принять во

внимание то насилие, которому подвергся сам Гарп. Однако, считал Джон Вулф, его издательство прославил именно «Грильпарцер», а еще — неоконченный роман «Иллюзии моего отца», который Вулф рассматривал — любовно и печально — как «путь Гарпа назад к своей собственной и единственно верной форме творчества». Многие годы Джон Вулф редактировал первый черновой вариант этого незаконченного романа; многие годы он обсуждал с Хелен и Дональдом Уиткомом его достоинства и недостатки.

— Только после моей смерти, — твердила Хелен. — Гарп никогда бы не позволил издать незаконченную вещь.

Вулф соглашался, однако продолжал настаивать. Умер он раньше Хелен. Так что Уиткому и Дункану пришлось заниматься публикацией «Иллюзий моего отца» посмертно и много позже.

Именно Дункан проводил больше всего времени у постели Вулфа, тяжело умиравшего от рака легких. Вулф лежал в частной лечебнице в Нью-Йорке, иногда позволяя себе выкурить сигарету через пластиковую трубку, вставленную ему прямо в горло.

— Что сказал бы на это твой отец? — спрашивал Вулф Дункана. — Разве это не подходящая для

него сцена смерти? По-моему, полный гротеск! Слушай, а он когда-нибудь рассказывал тебе о проститутке, которая умерла в Вене, в «Рудольфинерхаусе»? Как же ее звали?

— Шарлотта, — сказал Дункан. Они с Джоном очень сблизились. Вулфу даже стали нравиться рисунки Дункана, которые тот еще в детстве сделал для «Пансиона». Дункан давно уже переехал в Нью-Йорк; он как-то признался Вулфу, что впервые захотел стать художником и фотографом в день первых феминистских похорон, когда смотрел на Манхэттен из окна офиса Джона Вулфа.

В письме, которое Джон Вулф на смертном одре продиктовал Дункану, он просил своих компаньонов пускать Дункана Гарпа в его кабинет и разрешать ему смотреть из окна на Манхэттен до тех пор, пока издательство будет занимать данное помещение.

И долгие годы после смерти Джона Вулфа Дункан неизменно пользовался этим разрешением. Кабинет Вулфа давно уже занимал другой редактор, однако имя Гарпа по-прежнему вызывало в редакции некоторый ажиотаж.

Каждый раз секретарша, войдя в кабинет редактора, сообщала: «Простите, там опять пришел молодой Гарп, чтобы посмотреть из окна».

Джон Вулф умирал долго, и они с Дунканом много часов провели в беседах о том, каким хорошим писателем был Гарп.

— Он стал бы совершенно особенным писателем! — утверждал Вулф.

— Мог бы стать, это правда, — поправлял его Дункан. — Но что еще ты можешь мне сказать о нем?

— Нет, нет! Я не вру! В этом нет ни малейшей необходимости, — говорил Вулф. — Он обладал особым видением мира и совершенно особенным языком. Но главное, конечно, видение мира; он всегда был своеобразной личностью. Просто на некоторое время он как бы сошел на боковую дорожку, но потом снова вернулся на магистральный путь, начав свой новый роман. Жажда творчества опять забила в нем ключом! «Пансион „Грильпарцер“» — безусловно, самая очаровательная его вещь, но не самая оригинальная; он тогда был еще слишком молод; нечто подобное смогли бы написать и другие писатели. А «Бесконечные проволочки» содержали и весьма оригинальную идею, и — для первого романа! — были очень хорошо написаны. «Второе дыхание рогоносца» — по-моему, очень забавная вещь, а название так вообще замечательное! Про-

изведение тоже в высшей степени оригинальное, но слишком нравоучительное и весьма неглубокое. Разумеется, «Мир глазами Бензенхавера» — самый оригинальный из его романов, даже если я и называл его первоклассной мыльной оперой — что, кстати, так и есть, и я не вижу тут ничего зазорного. Но, на мой взгляд, роман чересчур жесткий, сырая пища — хорошая, но *очень* сырая. Я хочу сказать, что не всякий захочет съесть такое. Не всякий захочет переживать чужие страдания как свои.

Твой отец был трудным человеком, — продолжал Джон Вулф. — Он никогда не уступал ни на дюйм — но в том-то и дело: он всегда следовал *собственному* чутью. И всегда был очень честолюбив. Сразу начал писать о мировых проблемах, обо всем мире в целом, хотя сам был совсем мальчишкой. Господи, ведь он тогда только входил в этот мир! Затем некоторое время — как и многие другие писатели — он оказался способен писать лишь о себе, но все же писал и о мире в целом — просто теперь это не так бросалось в глаза. А вскоре ему уже поднадоело писать о собственной жизни, и он снова задумался над общими, мировыми проблемами… Он ведь только-только начинал, Дункан! Господи боже, не забывай, он

ведь был *совсем молодой!* Всего тридцать три года!

— И он был полон энергии, — сказал Дункан.

— И наверняка бы написал еще очень много хороших книг! — воскликнул Джон Вулф, страшно закашлялся и поневоле надолго умолк.

— Но он никогда не умел расслабляться, — сказал Дункан. — И что же в итоге? Он все равно бы рано или поздно просто сжег себе душу!

Джон Вулф качнул головой — очень осторожно, чтобы не вылетела вставленная в горло трубка, — и, продолжая кашлять и задыхаться, прошептал едва слышно:

— Нет, только не он!

— Ты что же, считаешь, он мог бы продолжать без конца с тем же накалом? — спросил Дункан. — Ты правда так думаешь?

Все еще кашляя, Вулф утвердительно кивнул. Через некоторое время он так и умер — непрерывно кашляя.

На его похороны, разумеется, приехали Роберта и Хелен. Злобные сплетники так и шипели, потому что «крошечный» Нью-Йорк был буквально наводнен слухами о том, что Джон Вулф присматривал не только за *литературным* наследием Гарпа, но и за его вдовой. Хотя, зная Хелен, нор-

мальный человек вряд ли мог предположить какие-то шашни между нею и Джоном Вулфом. Когда Хелен слышала, что злые языки приписывают ей связь с очередным мужчиной, она просто смеялась. Роберта Малдун выражала свои чувства более резко.

— Джон Вулф? — вопрошала она. — Хелен и Вулф? Да вы что, смеетесь?!

Уверенность Роберты имела под собой прочную основу. Случайно во время одного-двух «налетов» на Нью-Йорк Роберта Малдун имела удовольствие вступить с Джоном Вулфом в интимную связь.

«Подумать только, ведь я всегда ходил смотреть, как ты играешь!» — сказал ей в постели Джон Вулф.

«Ты и сейчас можешь посмотреть, как я играю», — нашлась Роберта.

«Я имел в виду футбол», — сказал Джон Вулф.

«Есть вещи и получше футбола», — заметила Роберта.

«Но ты, дорогая, многое делаешь **просто отлично!»**— восхитился Джон.

«Ха!»

«Но это правда, Роберта!»

«Все мужчины — лжецы!» — лениво улыбну-

лась Роберта Малдун, которая прекрасно знала, что так оно и есть, потому что когда-то сама была мужчиной.

Роберта Малдун, бывший Роберт Малдун, № 90 из команды «Филадельфия Иглз», переживет не только Джона Вулфа, но и большую часть других своих любовников. Она, правда, умрет раньше Хелен, но проживет достаточно долго, чтобы наконец почувствовать себя вполне комфортно в условиях измененной половой принадлежности. Ей будет около пятидесяти, когда она признается Хелен, что страдает тщеславием мужчины средних лет и одновременно тревогами увядающей женщины средних лет. «Зато, — добавляла Роберта, — тут есть свои преимущества: я всегда знаю, что мужчина намерен сказать, еще до того, как он откроет рот».

— Но и я это знаю, Роберта, — сказала Хелен, и Роберта, громогласно расхохотавшись, заключила Хелен в свои медвежьи объятия; эта ее привычка всегда выводила Хелен из равновесия, потому что однажды Роберта сломала ей очки.

Однако Роберта вполне успешно справлялась со своей невероятной эксцентричностью, будучи ответственным лицом в Филдз-фонде, которым руководила с таким энтузиазмом, что Эллен

Джеймс даже дала ей прозвище *Капитан Энергия.*

— Ха! — сказала Роберта. — Гарп — вот кто был настоящий Капитан Энергия!

Роберту буквально обожали в маленьком женском обществе Догз-Хэд-Харбор, ведь поместье Дженни Филдз в прежние дни никогда не выглядело таким респектабельным. Роберта куда активнее, чем Дженни, сотрудничала с городскими властями. Она, например, десять лет занимала пост председателя местного школьного совета — хотя, конечно, своих детей завести не могла. Она организовала женскую команду по софтболу («Рокингем каунти») и тренировала ее целых двенадцать лет; это была лучшая женская команда в штате Нью-Гэмпшир. Как-то раз все тот же губернатор Нью-Гемпшира — тупая свинья! — предложил Роберте пройти хромосомный тест, прежде чем разрешить ей играть за свою команду на звание чемпиона. И Роберта, не долго думая, предложила губернатору встретиться с ней перед началом игры «и доказать, что он умеет драться, как настоящий мужчина». Из этого, разумеется, ничего не вышло — политики, они политики и есть. Губернатор потерпел первое поражение, а Роберта взяла верх, вместе с хромосомами и

всем прочим.

И, к чести проректора Стиринг-скул по физическому воспитанию, Роберте предложили место тренера школьной футбольной команды. Однако бывший «крепкий орешек» отказался. «Я с этими молодыми парнишками, — ласково сказала Роберта, — в такую беду попаду, что и не до тренировок будет!»

Ее любимым «молодым парнишкой» всю жизнь был Дункан Гарп. Она любила Дункана как мать и как сестра и буквально топила его в своих духах и в своей любви. Дункан тоже очень любил Роберту и входил в число весьма немногих гостей мужского пола, которым разрешалось посещать Догз-Хэд-Харбор, хотя Роберта долго сердилась на него и почти два года не приглашала в гости — после того как Дункан соблазнил одну молодую поэтессу.

— Весь в отца! — сказала на это Хелен. — Мальчик просто обворожителен!

— Даже слишком обворожителен! — проворчала Роберта. — А эта поэтесса совершенно ему не пара. Она невротичка, и к тому же старовата для него!

— Ты так говоришь, будто ревнуешь, Роберта, — засмеялась Хелен.

— Это называется «обмануть доверие»! — громко сказала Роберта. Хелен согласилась с нею. Дункан извинился. Даже поэтесса и та извинилась.

— Я его соблазнила, — сказала она Роберте.

— Нет, не ты! — отрезала Роберта. — Ты бы *не смогла.* Все были прощены, когда однажды весной в Нью-Йорке Роберта удивила Дункана, пригласив его на обед.

— Я приведу с собой одну смазливую девчонку — исключительно для тебя, — сказала она Дункану. — Это моя подруга, так что отмой как следует краски, вымой голову и вообще постарайся выглядеть хорошо. Я ей уже напела, как ты хорош собой, и знаю, что ты *можешь* понравиться кому угодно. Думаю, и она тебе понравится.

Таким образом, назначив Дункану свидание с женщиной по своему собственному выбору, Роберта почувствовала себя значительно лучше. Прошло немало времени, прежде чем выяснилось, что Роберта терпеть не могла ту поэтессу, с которой переспал Дункан; в этом-то и заключалось главное зло.

Когда Дункан разбился, гоняя на мотоцикле, в миле от вермонтской больницы, Роберта первой приехала туда; она в это время каталась на лыжах

чуть севернее места аварии; Хелен позвонила ей, и Роберта добралась до больницы раньше, чем сама Хелен.

— Гонять на мотоцикле по снегу?! — бушевала Роберта. — Подумай, что сказал бы твой отец?

Дункан едва мог что-то прошептать в ответ; у него были переломаны все конечности, серьезно повреждена почка, и — чего тогда не знали ни Дункан, ни Роберта — одну руку впоследствии пришлось отнять.

Хелен, Роберта и Дженни трое суток ждали, пока минует кризис и Дункан будет вне опасности. Эллен Джеймс была слишком потрясена случившимся, чтобы поехать с ними. Роберта бранилась не умолкая.

— Господи, да за каким чертом ему вообще приспичило садиться на этот мотоцикл — с одним-то глазом?

Какое уж тут периферийное зрение, если он с одной стороны абсолютно ничего не видит!

Собственно, в этом-то и было все дело. Какой-то пьяный водитель не остановился на красный свет, а Дункан заметил его машину слишком поздно, попытался увернуться, но увяз в глубоком снегу и превратился практически в неподвижную мишень для пьяного идиота.

И теперь лежал весь переломанный.

— Он слишком похож на своего отца, — сокрушалась Хелен.

Но Капитан Энергия отлично знала, что кое в чем Дункан как раз совершенно на своего отца не похож. Дункану не хватало *направленности,* считала Роберта. Поэтому, когда опасность миновала, она со всей мощью обрушилась на своего любимца.

— Если ты вздумаешь погибнуть до того, как я умру, сукин ты сын, — кричала она, — это меня убьет! И твою мать, скорее всего, тоже!.. И, возможно, Эллен. Но насчет меня можешь быть совершенно уверен: меня это уж точно *прикончит.* Ах, Дункан, мерзавец ты этакий! — Роберта все плакала и плакала, и Дункан тоже заплакал, понимая, что она говорит чистую правду. Роберта действительно очень его любила, и всякое происшествие с ним ранило ее нежную душу.

Дженни Гарп, поступившая в колледж, бросила занятия, чтобы побыть в Вермонте с Дунканом, пока он не поправится. Дженни закончила Стиринг-скул с самыми высокими оценками по всем предметам, так что у нее не возникнет трудностей с возвращением в колледж. Она сама предложила больнице свою помощь в качестве сиделки, а

к тому же служила неиссякаемым источником оптимизма для Дункана, которому предстояло долго и мучительно выздоравливать. Впрочем, Дункан уже имел в этом смысле кое-какой опыт.

Хелен приезжала из Стиринга повидать сына каждые выходные. Роберта специально отправилась в Нью-Йорк, чтобы привести в порядок студию Дункана, пребывавшую в весьма плачевном состоянии, и присмотреть за ней, поскольку Дункан опасался, что все его рисунки, фотографии и стереозаписи непременно украдут. Впервые войдя в эту студию, Роберта обнаружила высокую, тонкую и гибкую, точно ива, девушку, которая явно там жила; на ней была одежда Дункана, вся перепачканная краской. Кухня была завалена грязной посудой — в этом отношении девушка никакого рвения не выказывала.

— А ну-ка, золотко, выметайся, — строго сказала ей Роберта, отворяя дверь Дунковым ключом. — Дункан вернулся в лоно семьи.

— А вы кто? — спросила девушка. — Его мать?

— Я его *жена,* дорогуша, — ласково пояснила Роберта. — Я всегда предпочитала мужчин помоложе.

— *Жена?* — изумилась девушка, уставившись на Роберту. — А я и не знала, что он *женат.*

— Его детишки сейчас на лифте поднимаются, — сообщила ей Роберта, — так что ты лучше спускайся по лестнице. Детишки-то у него почти такого же роста, как я.

— Его *детишки?* — только и вымолвила девица и тут же исчезла.

Роберта наняла уборщицу вымыть студию, а потом пригласила одну молодую женщину, свою хорошую знакомую, чтобы та пока пожила тут и присмотрела за квартирой. Эта женщина-транссексуалка совсем недавно изменила свой пол, и ей просто необходимо было привыкнуть к новой сексуальной сущности и пожить в полном уединении.

— Это местечко тебе просто идеально подойдет, — сказала ей Роберта. — Квартира, правда, принадлежит одному очаровательному молодому человеку, но его не будет здесь еще несколько месяцев. Ты можешь заботиться о его жилище и мечтать о нем, а я сразу же дам тебе знать, когда нужно будет отсюда выметаться.

В Вермонте Роберта сказала Дункану:

— Надеюсь, теперь ты как следует разберешься со своей жизнью и выбросишь все ненужное? Кончай эти гонки на мотоциклах и тому подобное! И прекрати общаться с первыми встречными

девицами! Господи, ложиться в постель с незнакомой девкой! Тебе ведь еще далеко до твоего отца, Дункан; за *настоящую работу* ты пока даже не принимался! Будь ты настоящим *художником*, у тебя просто не было бы *времени* на все это дерьмо! И особенно на такое, которое угрожает твоей жизни!

Только Капитан Энергия и могла *так* разговаривать с Дунканом — теперь, когда Гарп ушел из жизни. Хелен критиковать сына не могла. Она была счастлива уже тем, что Дункан остался жив. А Дженни не смела ругать брата потому, что была на десять лет моложе; она могла лишь восхищенно смотреть на него снизу вверх, любить его и находиться рядом, пока тянется невыносимо долгий процесс выздоровления. Эллен Джеймс любила Дункана страстно и ревниво и, увидев его всего переломанного, впала в такое отчаяние, что зашвырнула куда-то и свой блокнотик для записок, и карандаш, а потом, разумеется, ничего уже сказать не могла.

— Одноглазый и однорукий художник, — вздыхал Дункан. — О господи!

— Радуйся, что у тебя еще осталась одна голова и одно сердце, — говорила ему Роберта. — Много ты знаешь художников, которые держат кисть

обеими руками? А два глаза нужны, только чтобы водить мотоцикл, тупица! Чтобы рисовать, и одного вполне достаточно.

Дженни Гарп, которая любила брата так, словно он был ей одновременно и братом, и отцом — она была слишком мала, чтобы по-настоящему помнить отца, — написала Дункану стихотворение, чтобы он поскорее поправлялся. Первое и единственное стихотворение, которое юная Дженни Гарп написала в своей жизни; у нее не было таких художественных наклонностей, как у отца и у брата. И одному Господу Богу известно, какие наклонности могли бы проявиться у Уолта.

Здесь он лежит, наш первенец, он стройный и высокий, С одной рукой здоровой и второй — ушедшей в прах; Один веселый глаз его сверкает, второй закрыт навечно. Воспоминания о близких в голове его роятся… О брат мой, сын нашей матери, восстань скорее с ложа! Стань крепким, как тот дом, который Гарп построил, Который ждет, когда взойдешь ты снова на его крыльцо…

Стихотворение было, конечно, довольно неуклюжее, но Дункану оно очень понравилось.

— Я обязательно снова стану крепким! — пообещал он Дженни.

Молодая транссексуалка, которую Роберта по-

селила в студии Дункана, слала ему из Нью-Йорка почтовые открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Все растения в порядке, — писала она, — а вот большая желтая картина над камином стала коробиться — по-моему, холст был натянут плохо; я ее сняла, отнесла в чулан, где попрохладнее, и прислонила к стене, как и все остальные. Мне очень нравится синяя картина и еще рисунки — все-все! А особенно тот, про который Роберта сказала, что это Ваш автопортрет».

— О господи! — простонал Дункан, прочитав это послание.

Дженни перечитала ему всего Джозефа Конрада; Гарп в детстве очень любил этого писателя.

А Хелен чувствовала, что ей даже полезно иметь определенную преподавательскую нагрузку, ибо занятия и подготовка к ним отвлекали ее от постоянных тревожных мыслей о сыне.

— Этот мальчик еще встанет во весь рост, — уверяла ее Роберта.

— Он уже не мальчик, а молодой мужчина, Роберта, — возражала Хелен. — Хотя ведет он себя, конечно же, по-мальчишески!

— Они все для меня мальчики, — сказала Роберта. — Гарп был мальчиком. Я сама была

мальчиком, пока не стала девочкой. И Дункан всегда будет мальчиком, для меня.

— О господи! — сказала Хелен.

— Ты бы занялась спортом, — посоветовала ей Роберта. — Чтобы расслабиться.

— Роберта, пожалуйста!.. — умоляющим тоном сказала Хелен.

— Попробуй *бегать,* — продолжала Роберта, словно не слыша ее.

— *Бегай* сама, а я буду читать! — отрезала Хелен. Роберта и бегала — все время. Ближе к шестидесяти годам она стала порой забывать про эстроген, который транссексуалу надо принимать всю жизнь, чтобы сохранить женские формы. Пропуски в приеме эстрогена и усиленные занятия бегом привели к тому, что крупное тело Роберты стало меняться как бы в обратном направлении — прямо у Хелен на глазах.

— Я иногда просто диву даюсь, глядя на тебя. Что с тобой происходит, Роберта? — спросила Хелен.

— Но это ведь даже интересно, — сказала Роберта. — Я сама никогда не знаю, например, как буду себя чувствовать или как буду *выглядеть.*

Уже после пятидесяти Роберта умудрилась поучаствовать в трех марафонских забегах, од-

нако у нее возникли проблемы с сосудами, и врач посоветовал ей бегать на более короткие дистанции. Двадцать шесть миль — слишком много для бывшего «крепкого орешка», которому уже за пятьдесят. «Стареешь, номер девяносто!» — поддразнивал ее Дункан. Роберта была на несколько лет старше Гарпа и Хелен, что всегда было заметно. Она вернулась к прежнему маршруту — шестимильной дорожке, по которой обычно бегала с Гарпом от Стиринг-скул до моря, и Хелен никогда не знала, в какой именно момент Роберта вдруг появится у них дома, вся в поту, задыхаясь и мечтая принять душ. Роберта всегда держала в доме у Хелен огромный купальный халат и несколько смен одежды на случай таких вот неожиданных появлений, когда Хелен, подняв голову от книжки, вдруг видела перед собой Роберту Малдун в костюме для бега — а в руках у нее, в умелых руках, способных точно поймать и отпасовать мяч, тикающий, точно собственное сердце Роберты, огромный секундомер.

Роберта умерла весной, когда Дункан еще лежал в вермонтской больнице. Она совершала спринтерские забеги наперегонки с ветром на пляже в Догз-Хэд-Хар-бор, но вдруг остановилась и с трудом поднялась на крыльцо, жалуясь на

«какой-то стук» в затылке, а может и в висках; она сказала, что не в состоянии точно определить, где слышится этот стук. Потом она уселась в гамак на веранде, глядя на океан, и попросила Эллен Джеймс приготовить ей стакан чая со льдом. Эллен убежала и вскоре прислала Роберте записочку с одним из парнишек, прислуживавших в Филдз-фонде: *«С лимоном?»*

— Нет, просто с сахаром! — крикнула ей Роберта. Когда Эллен принесла чай, Роберта залпом осушила целый стакан.

— Замечательно, Эллен! — сказала она. И Эллен пошла на кухню, чтобы приготовить ей еще стаканчик. — Замечательно! — крикнула ей вслед Роберта. — Принеси еще один, точно такой же! Я хочу, чтобы мне *всю жизнь* приносили такой чай!

Когда Эллен вернулась со стаканом чая, Роберта Малдун лежала в гамаке мертвая. Что-то разорвалось, что-то лопнуло в ее могучем организме.

Смерть Роберты нанесла Хелен страшный удар, но она все-таки держалась: ей нужно было заботиться о Дункане — в кои-то веки его болезнь сыграла положительную роль. Эллен Джеймс, которую Роберта всегда так поддерживала, тоже не могла особенно горевать, ведь на нее свали-

лась огромная ответственность — ей предстояло принять пост Роберты в Филдз-фонде, и она была безумно занята, входя в курс своих новых сложных обязанностей. Юная Дженни Гарп никогда не была так близка с Робертой, как Дункан, так что именно Дункан, еще закованный в гипс, воспринял смерть Роберты тяжелее всех. Дженни не оставляла его ни на минуту и без конца болтала о чем-то отвлекающе-приятном, но Дункан слишком хорошо помнил Роберту и все те случаи, когда она — столько раз! — выручала Гарпов, и его, Дункана, в особенности.

И он плакал от горя. Плакал так много, что пришлось сменить гипсовый корсет у него на груди.

Жившая в его квартире женщина-транссексуал прислала ему из Нью-Йорка телеграмму:

НАВЕРНОЕ, ТЕПЕРЬ МНЕ ПОРА ВЫМЕТАТЬСЯ, РАЗ Р. УМЕРЛА? ЕСЛИ ВАМ НЕПРИЯТНО, ЧТО Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗДЕСЬ ЖИВУ, Я СРАЗУ УЕДУ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ, НЕЛЬЗЯ ЛИ МНЕ ВЗЯТЬ НА ПАМЯТЬ ФОТОГРАФИЮ, НА КОТОРОЙ Р. ВМЕСТЕ С ВАМИ? ТО ЕСТЬ, Я ПОЛАГАЮ, ЧТО ЭТО ВЫ. С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ. ВЫ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ШТАНАХ И ФУТБОЛКЕ С НОМЕРОМ 90, КОТОРАЯ ВАМ СЛИШКОМ ВЕЛИКА.

Дункан никогда не отвечал на ее открытки, на

ее отчеты о состоянии квартиры и домашних растений, о том, куда она поставила или повесила ту или иную его картину. Однако воспоминания о той старой футболке «номер 90» все же заставили его ответить ей, кто бы ни была эта несчастная застенчивая то ли девочка, то ли мальчик, к которой Роберта, как хорошо знал Дункан, всегда была очень добра.

«Пожалуйста, оставайтесь в квартире сколько захотите, — писал он ей. — Но эта фотография мне самому очень нравится. Когда я наконец встану на ноги, я непременно постараюсь напечатать такую же специально для Вас».

Роберта велела ему разобраться со своей жизнью, и Дункан очень сожалел, что теперь уже не сможет доказать ей, что в состоянии сделать это. Теперь он чувствовал ответственность и удивлялся, как это его отец, писатель, в таком молодом возрасте уже завел детей, завел его, Дункана. Лежа в вермонтской больнице, Дункан принял множество самых разных решений, и большую часть этих решений он выполнит.

Он написал Эллен Джеймс, которая все еще чересчур сильно переживала его беду, и предложил ей приехать и полюбоваться, какой он красивый, весь в бинтах, весь на стержнях

«Пора нам обоим приниматься за работу, хотя мне сперва нужно кое-кого нагнать — тебя, — писал он ей. — Теперь, когда Капитана Энергии уже нет с нами, наша семья кажется мне значительно меньше. Давай же постараемся больше никого не терять».

Он хотел написать и матери, сказать ей, что постарается сделать все, чтобы она могла им гордиться, но, даже произнося эти слова про себя, тотчас почувствовал себя полным идиотом; он знал, какой твердый характер у его матери и как мало ей помогают сентиментальные разговоры и сладкие обещания. Так что новый взрыв своего энтузиазма Дункан обратил на юную Дженни.

— Черт побери, теперь мы должны быть особенно энергичными! — заявил Дункан сестренке, и без того исполненной энергии. — Жаль, что ты почти не знала отца — вот чего тебе действительно не хватает. У него-то всегда можно было разжиться энергией! А так придется тебе вырабатывать ее самостоятельно.

— Энергии у меня вполне хватает! — возразила Дженни. — Господи, как ты думаешь, что я в последнее время только и тратила, о тебе заботясь?

День был воскресный; Дункан и Дженни, как всегда, смотрели по телевизору футбольный

матч. А вот и еще одно хорошее предзнаменование, подумал Дункан: вермонтская телестанция в то воскресенье как раз передавала матч из Филадельфии. «Орлы», правда, с позором проиграли «Ковбоям», но сама по себе игра не имела значения; Дункан более всего ценил не игру, а церемонию, предшествовавшую каждому матчу. На этот раз флаг был приспущен в связи с кончиной бывшего «крепкого орешка» Роберта Малдуна. На табло мерцали цифры — 90! 90! 90! Дункан отметил, как все-таки изменились времена: например, феминистские похороны теперь устраивались повсеместно, он только что читал о грандиозном действе в Небраске. А в Филадельфии спортивный комментатор умудрился сказать без всяких ужимок и подмигиваний, что флаг приспущен в честь *Роберты Малдун,* и пробормотал смущенно:

— Она была поистине выдающимся спортсменом! А какие у нее были замечательные руки!

— Исключительная личность! — согласился и второй ведущий.

А первый сказал:

— Н-да, она так много сделала для… — и мучительно запнулся.

Дункан все ждал, когда же он скажет, для ко-

го именно — для всяких уродов, для странных людей, для жертв сексуального насилия, для его отца, для его матери, для него самого и для Эллен Джеймс…

— Она так много сделала для людей, у которых жизнь оказалась слишком сложной! — сказал наконец комментатор, удивив и самого себя, и Дункана Гарпа, но сказал он это с достоинством.

Играл джазовый ансамбль. Далласские «Ковбои» буквально «вынесли» с поля филадельфийских «Орлов»; это было первое крупное поражение из многих других, которые «Филадельфия Иглз» еще потерпит. И Дункан Гарп вполне мог представить себе, как бы его отец оценил страдания комментатора, старавшегося быть одновременно профессиональным, тактичным и добрым. Дункан прямо-таки слышал, что отец и Роберта хором вопят по этому поводу; отчего-то Дункан чувствовал, что Роберта где-то здесь и лично слушает славословия по своему адресу. И она, и Гарп пришли бы в восторг от того, как неуклюже это делалось.

Гарп безусловно стал бы передразнивать комментатора: «Она так много сделала, введя в моду искусственную вагину!»

«Ха!» — гремела бы Роберта.

«О господи! — покатывался бы со смеху Гарп. — Господи!»

Когда Гарпа убили, вспомнил Дункан, Роберта грозила снова переменить свой пол. «Я лучше снова буду паршивым мужичонкой, — рыдала она, — чем допущу, чтобы в мире существовали женщины, которые с жадным любопытством глазеют по телевизору на это грязное убийство, совершенное грязной шлюхой!»

«Прекрати это! Прекрати! Никогда больше не произноси этого слова! — поспешно нацарапала ей записку Эллен Джеймс. — *Сейчас в мире существуют только те, кто его любил и знал, и те, кто его не знал и не любил, — мужчины и женщины!»* — писала Эллен Джеймс.

И тогда Роберта Малдун сгребла их всех в охапку — одного за другим — и щедро, с полной серьезностью заключила в свои медвежьи объятия.

Когда Роберта умерла, Хелен позвонила одна из способных говорить представительниц Филдз-фонда. А потом Хелен, в очередной раз собравшись с силами, должна была позвонить Дункану в Вермонт. Но Хелен позвонила Дженни и посоветовала ей, как лучше всего сообщить брату страшную весть. Дженни Гарп унаследовала отличные качества сиделки от своей знаменитой

бабушки Дженни Филдз.

— Плохие новости, Дункан, — прошептала Дженни, нежно целуя брата в губы. — Старый номер девяносто пропустил мяч…

Дункан Гарп, сумевший оправиться и после первого несчастного случая, когда он лишился глаза, и после второго, в результате которого лишился руки, стал хорошим серьезным художником, в каком-то отношении даже пионером в создании особой разновидности цветной фотографии; этого он достиг не только благодаря своему таланту и чувству цвета, но и унаследованной от отца упорной привычке сугубо *личного* восприятия мира. Он не создавал бессмысленных образов, тут нет никаких сомнений, однако привносил в свое искусство элемент мрачноватой таинственности, чувственный, почти нарративный реализм; зная, кто он такой, было нетрудно сказать, что в этом сквозит скорее писательский талант, чем талант живописца, — и покритиковать его, как обычно и делали, за то, что он слишком «литературен».

— Что бы это ни означало, — неизменно заканчивал эту фразу сам Дункан. — А чего они ожидают от одноглазого и однорукого художника? Да еще и сына Т.С. Гарпа? Чтобы у меня не было никаких отклонений от нормы?

Отцовское чувство юмора передалось Дункану, и Хелен очень им гордилась.

Дункан сделал, должно быть, сотню рисунков — несколько серий под общим названием «Семейный альбом»; именно благодаря этому периоду своего творчества он и приобрел широкую известность. Рисунки были сделаны по фотографиям, которые Дункан «нащелкал» еще в детстве, после несчастного случая, когда потерял глаз. Изображения Роберты и Дженни Филдз, и его матери Хелен, плавающей в заливе Догз-Хэд-Харбор, и Гарпа, бегущего с уже поджившей челюстью вдоль кромки воды. Еще одна серия из десяти — двенадцати маленьких рисунков изображала грязно-белый «сааб». Эта серия называлась «Цвета мира», потому что, как говорил Дункан, все цвета мира видны в двенадцати версиях грязно-белого цвета этого «сааба».

Были там и изображения маленькой Дженни Гарп, и большие групповые портреты — в значительной степени вымышленные, не срисованные с фотографий; и знающие люди говорили, что пустое лицо на таком групповом портрете или повторяющаяся очень маленькая фигурка, повернутая спиной к зрителю, — это всегда Уолт.

Дункан не хотел заводить собственных детей.

«Слишком уязвимо, — говорил он матери. — Я просто не смогу смотреть, как они вырастают». На самом деле он боялся, что не сможет вынести, если они вдруг так и *не* вырастут, навсегда оставшись в детстве.

Поскольку именно таковы были его чувства, Дункану, можно сказать, повезло: детей у него так и не появилось, о них даже беспокоиться не пришлось. Вернувшись домой после четырехмесячного пребывания в вермонтской больнице, он обнаружил в своей студии исключительно одинокую и очень милую транссексуалку, которая привела его жилище в такой вид, словно там действительно жил настоящий художник. Благодаря некоему странному процессу — видимо, своего рода осмосу, — она, как выяснилось, уже довольно много знала о Дункане. Больше того, она практически уже влюбилась в него — полюбив его картины и фотографии. Еще один дар Дункану от Роберты Малдун! И многие — например, Дженни Гарп — считали, что эта девушка не просто мила, но даже красива.

Они поженились, потому что если и существовал на свете мужчина, совершенно беспристрастный в душе по отношению к транссексуалам, то этим мужчиной был Дункан Гарп.

— Это брак, заключенный на небесах, — сказала Дженни Гарп матери. Она, разумеется, имела в виду Роберту, ведь Роберта была сейчас на небесах. Но Хелен, понятно, все же беспокоилась; с тех пор, как умер Гарп, она взяла на себя и его тревоги, а с тех пор, как умерла Роберта, Хелен испытывала такое чувство, словно она должна взять на себя все тревоги мира.

— Не знаю, не знаю, — говорила она. Брак Дункана с транссексуалкой заставлял ее тревожиться. — Эта чертова Роберта! Всегда своего добивалась!

«Зато у них нет риска нежелательной беременности», — написала ей Эллен Джеймс.

— Ох, перестань! — сказала Хелен. — Я ведь, как тебе известно, хотела бы иметь внучат. Одного или двух, по крайней мере.

— Я их тебе обеспечу! — пообещала Дженни.

— О господи! — вздохнула Хелен. — Если к тому времени я буду еще жива, детка.

Как ни печально, но жива она к тому времени уже не будет. Хотя успеет увидеть Дженни беременной и *вообразит*ь себя бабушкой.

«Воображать порой куда лучше, чем помнить», — писал Гарп.

И Хелен безусловно пришлось довольствовать-

ся тем, что жизнь Дункана наконец упорядочилась, как и обещала Роберта.

После смерти Хелен Дункан очень много работал с мистером Уиткомом; они устроили вполне достойную презентацию неоконченного романа Гарпа «Иллюзии моего отца». Как и в издании «книги отца и сына», иллюстрации к этому роману тоже сделал Дункан — например, портрет выдуманного Гарпом отца, который вынашивает честолюбивый и несбыточный план создания такого мира, где его дети будут спокойны и счастливы. Иллюстрации Дункана во многом были основаны на портретах самого Гарпа.

Вскоре после публикации книги к Дункану стал заходить старый, очень старый человек, имени которого Дункан никак не мог припомнить. Этот человек уверял, что работает над «критической биографией» Гарпа, однако Дункана его вопросы почему-то страшно раздражали. Он без конца расспрашивал о событиях, приведших к катастрофе, в которой погиб Уолт. Дункан ничего ему не рассказывал (он, собственно, ничего и *не знал),* и старик каждый раз уходил несолоно хлебавши. Ну конечно же, это был Майкл Мильтон! Дункану все время казалось, будто этот человек что-то потерял, хотя откуда было Дункану знать, что

Майкл Мильтон потерял… свой пенис!

Книга, которую он якобы писал, так никогда и не увидела свет, и никто не знает, что с ним в итоге случилось.

Если литературные круги были, похоже, удовлетворены, когда после публикации «Иллюзий моего отца» назвали Гарпа просто «эксцентричным писателем», «хорошим, но отнюдь не великим», то и Дункан против этого не возражал. По словам самого Дункана, Гарп был человеком своеобразным, настоящим и вполне заслуживал слепого доверия, какое ему оказывали некоторые.

«Доверие не слепое, а одноглазое», — шутил Дункан.

На долгое время у него сохранился набор кодовых выражений, понятных только его сестре Дженни и Эллен Джеймс; они трое были поистине закадычными друзьями.

— А теперь за Капитана Энергию! — говорили они, например, выпивая втроем.

— Нет другого такого секса, как транссекс! — орали они, уже изрядно навеселе, что порой несколько смущало жену Дункана — хотя она, конечно же, была с ними согласна.

«Как дела с энергией?» — писали они друг другу

в письмах, или в телеграммах, или спрашивали по телефону, когда хотели узнать, что, собственно, происходит. А когда энергии у них было очень много, они говорили (или писали) о себе, что «полны Гарпа».

Хотя Дункан прожил очень, очень долгую жизнь, умер он все же нелепо и, по иронии судьбы, из-за собственного чувства юмора. Он умер, смеясь над одной из своих шуток, что было свойственно всем Гарпам. Случилось это на вечеринке в честь одного из новых транссексуалов, приятеля его жены. Дункан, смеясь, вдохнул оливку и задохнулся насмерть буквально за несколько секунд. Ужасная и нелепая смерть, но все, кто знал Дункана, говорили, что он не стал бы возражать ни против такой формы смерти, ни против той жизни, какую прожил. Дункан Гарп всегда говорил, что его отец страдал из-за гибели Уолта больше, чем вообще кто-либо страдал в его семье. И при всех своих возможных формах смерть все равно была одинаковой для женщин и мужчин. «Между мужчинами и женщинами, — сказала как-то Дженни Филдз, — только смерть разделена поровну».

Дженни Гарп, у которой в области смерти было куда больше специфического опыта, чем у ее

знаменитой бабушки, с этим бы не согласилась. Юная Дженни знала, что между мужчинами и женщинами даже смерть не делится поровну. Даже смертей мужчинам достается больше.

Дженни Гарп пережила их всех. Будь она на той вечеринке, где ее брат до смерти задохнулся оливкой, она, вполне возможно, сумела бы его спасти. Во всяком случае, она бы совершенно точно знала, что нужно делать, ибо Дженни Гарп была врачом. Она всегда говорила, что именно время, которое она провела в Вермонте, ухаживая за Дунканом, заставило ее обратиться к медицине, а вовсе не рассказы о том, как ее знаменитая бабушка была сестрой милосердия, ибо эти истории Дженни Гарп знала только из вторых рук.

Юная Дженни была блестящей студенткой; как и ее мать, она впитывала знания как губка и все, что узнавала, всегда так или иначе могла применить на практике. Как и Дженни Филдз, она обрела собственное ощущение людей, странствуя из больницы в больницу и шестым чувством улавливая, какая доброта в данном случае возможна, а какая неприменима.

Еще интерном Дженни вышла замуж за молодого врача. Однако фамилию не сменила, так и осталась Дженни Гарп и в жестоких спорах

с мужем позаботилась о том, чтобы и трое ее детей тоже были Гарпами. Вскоре она, правда, развелась и опять вышла замуж, но не слишком спешила. Второй брак ее вполне устроил. Муж ее был художником, значительно старше ее, и если бы кто-нибудь из членов ее семьи был жив и мог поддразнить ее, то, без сомнения, намекнул бы, что в своем втором муже она отыскала нечто весьма похожее на Дункана.

— Ну и что? — ответила бы она. Как и ее мать, она все решала своим умом и, как Дженни Филдз, навсегда сохранила собственную фамилию.

А ее отец? Чем Дженни Гарп хотя бы немного напоминала его, кого почти и не знала? В конце концов, она ведь была совсем малышкой, когда он умер.

Ну, во-первых, она была довольно эксцентрична. Она взяла в привычку заходить в каждый книжный магазин и спрашивать там книги своего отца. Если там не обнаруживалось ни одной, она заказывала. У нее было чисто писательское чувство бессмертия: пока твои работы в типографии и на книжных полках, ты жив. Дженни Гарп оставляла фальшивые имена и адреса по всей Америке; книги, которые она заказывала, продадут кому-нибудь другому, разумно полагала она,

а Т.С. Гарпа никогда не перестанут печатать — по крайней мере, пока жива она, его дочь.

Она также вполне активно поддерживала знаменитую феминистку и свою бабушку Дженни Филдз. Однако, подобно самому Гарпу, Дженни не придавала большого значения писательству Дженни Филдз. И не тревожила владельцев книжных магазинов заказами на «Сексуально подозреваемую».

Больше всего она напоминала отца тем, *каким* врачом она стала. Дженни Гарп обратила свой медицинский ум к исследованиям. Она не хотела заниматься частной практикой. Ходила по больницам, только когда заболевала сама. Несколько лет Дженни проработала в тесном контакте с Центром онкологических заболеваний в Коннектикуте, а вскоре возглавила один из отделов Национального института онкологии. Подобно хорошему писателю, который должен тревожиться по поводу каждой мельчайшей детали, Дженни Гарп проводила долгие часы, наблюдая за поведением одной-единственной человеческой клетки. Подобно хорошему писателю, она была честолюбива и надеялась, что доберется-таки до сути рака. В некотором смысле так и случилось. Она от него умерла.

Подобно всем прочим врачам, Дженни Гарп давала священную клятву Гиппократа, так называемого отца медицины, и, давая ее, согласилась целиком себя посвятить чему-то такому, что Гарп однажды описывал юному Уиткому — хотя Гарп-то имел в виду *писательские* амбиции — такими словами: «… попытка всех и навсегда сохранить живыми. Даже тех, кто в конце обязательно должен умереть. Их-то как раз и важнее всего сохранить живыми». Таким образом, онкологические исследования отнюдь не действовали на Дженни Гарп угнетающе; она воспринимала себя именно так, как и ее отец воспринимал себя, писателя.

«Врач, который видит только терминальные случаи».

Дженни Гарп понимала, что в мире представлений ее отца мы должны обладать определенным запасом энергии. Ее знаменитая бабка Дженни Филдз когда-то воспринимала (и классифицировала) людей как «внешников», «жизненно важные органы», «отсутствующие» и «конченые». Но в мире глазами Гарпа все мы просто «терминальные случаи».